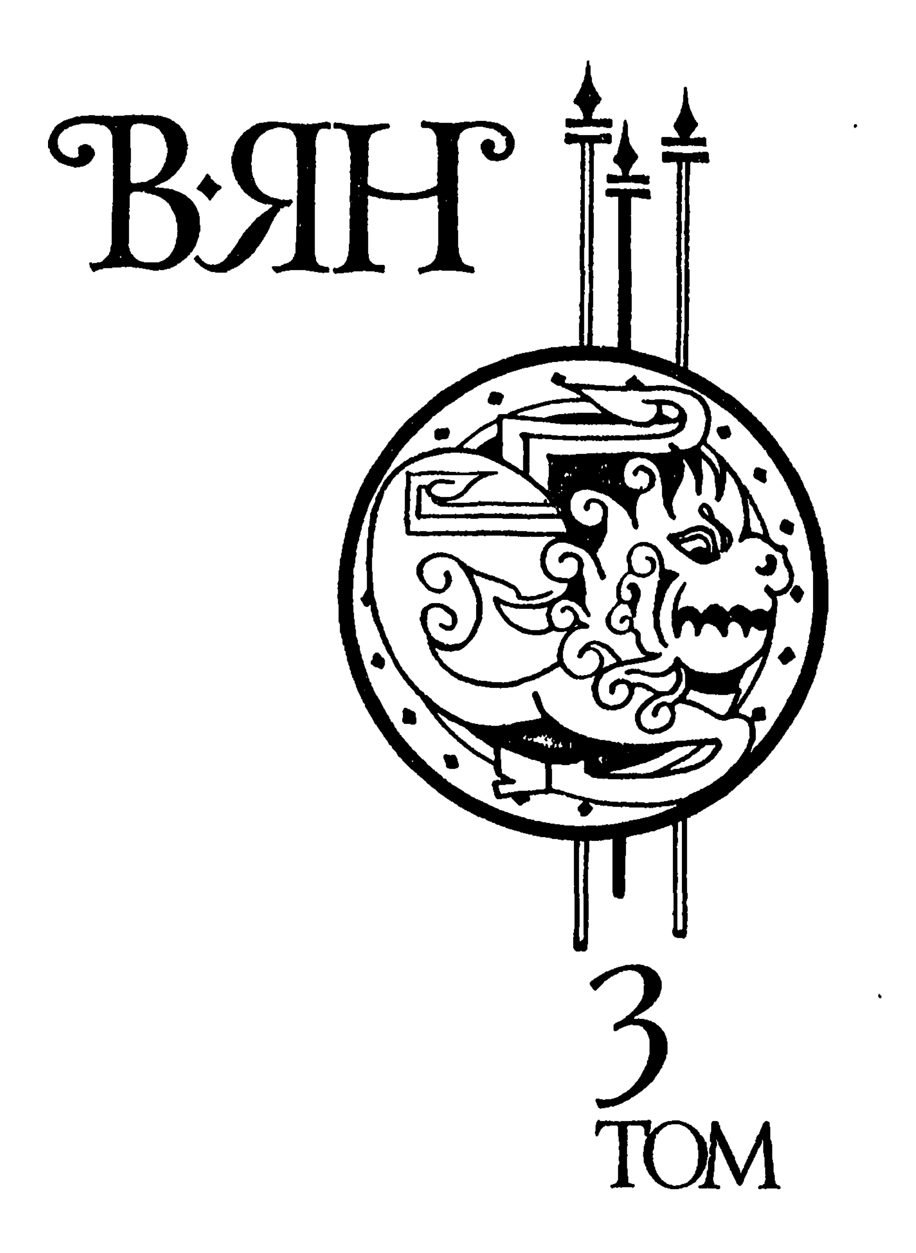
В. ЯН


В·ЯН
3
ТОМ

БИБЛИОТЕКА "ОГОНЁК"

В. ЯН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

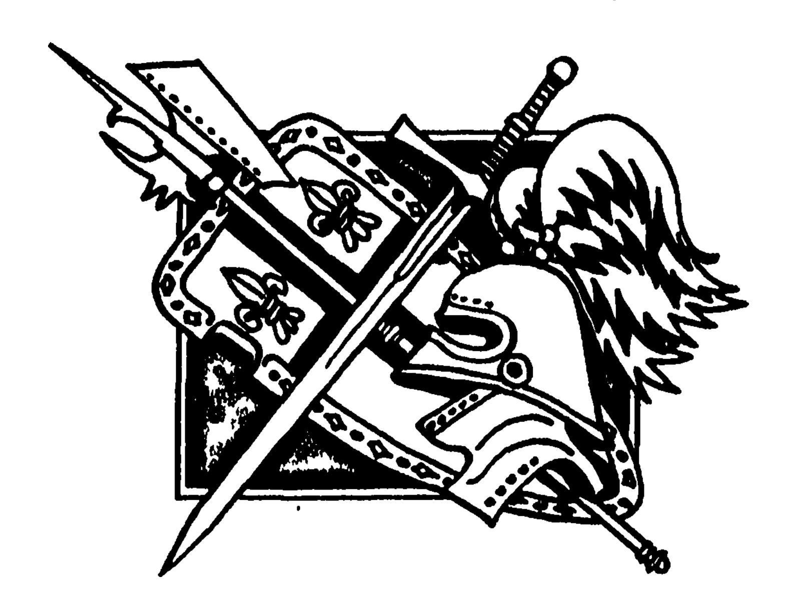


ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРАВДА" МОСКВА 1989

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЁК"

В. ЯН

БАТЫЙ
К „ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ"
РАССКАЗЫ



ТОМ
3

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА" МОСКВА 1989

84 Р7
Я 60

Собрание сочинений
выходит
под редакцией
председателя Комиссии
по литературному наследию В. Яна
Н. Т. Федоренко

Составление и подготовка текста
М. В. Янчевецкого

В томе воспроизведены
фрагменты картин
художника И. Глазунова

Я $\frac{4702010200—1970}{080(02)—89}$ 1970—89

БАТЫЙ



Исторический роман

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

РЯЗАНСКАЯ ЗЕМЛЯ ГОРИТ

...О родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя!..

(В. Жуковский)

Глава первая

ДЕРЖИТЕ КРЕПКО ТОПОРЫ!

Твердым, мерным шагом Савелий Дикорос шел на север, обратно к Рязани. Белая равнина, пересеченная голыми рощами и засыпанными снегом оврагами, была пустынна. Иногда вдали виднелись темные точки. Это были немногие, случайно уцелевшие рязанцы; все они тянулись к родной земле.

Когда-то здесь, на большом шляху, были мелкие поселки, торговавшие со степняками. Они стояли теперь пустые, и ветер свистел в открытых настежь воротах. Стаи галок и ворон опускались на безлюдные дворы и, не найдя ничего, каркая, улетали.

В пути Савелий не встречал монголов. «Видно, отдыхают после боя, отыскивают своих раненых и грабят наших упокойничков».

Его обогнали несколько плетеных коробов на полозьях. Сани везли крепкие лохматые лошаденки. За ними брели коровы, телята, бараны. Из коробов выглядывали детские головки. Мужики и бабы плелись сзади, подгоняя хворостиной усталый скот.

— Откуда бог несет, добрые люди?

— С заставы, за Пронском. Вовремя поднялись, едва ушли от степняков,— ночь и вьюга нас укрыли. Спешим до Рязани, там найдем защиту. Здесь боязно,— нагрянет татарва, тогда божьего свету не увидим! Ну, ходи, пестрянка! Вперед, Рыжуха! Вперед!..

Савелий равномерно шагал, как привык ходить по лесу или за сохой. Он шел и ночью и днем, отдыхая неподолгу, прислушивался к каждому шороху и крику, опасаясь снова увидеть татар. Наконец ранним утром вдали, под нависши-

ми тучами, показались засыпанные снегом высокие валы и бревенчатый тын Рязани. За ним виднелись разноцветные церковные купола. Голубоватый дымок вился над избами пригородных посадов. Бабы в полушубках гнали коров и коней на водопой к речной проруби. Все было так мирно, как будто ничего страшного не происходило, как будто и не было битвы на Диком поле.

У раскрытых городских ворот Савелия задержали сторожа в тулупах и железных шишаках. Опираясь на секиры, они загораживали проход:

— Кто? Откуда? По какой нужде идешь в Рязань?

Узнав, что Савелий идет с Дикого поля, где полегли рязанские полки, сторожа кликнули отрока и поручили ему отвести Савелия к воеводе. На улицах стояли распряженные возы с сеном, зерном, дровами и пожитками беглецов, прибывших в надежде укрыться за стенами стольного города.

Старый хмурый воевода, накинув шубу на одно плечо, стоял на крыльце бревенчатого дома и, печально покачивая головой, слушал рассказы нескольких ратников. Все они были повязаны окровавленными тряпками: у кого была ранена голова, у кого плечо или рука.

— Тяжело было! — говорил лохматый мужик, без шапки, с повязанной головой.— Бились-то мы крепко, да татар было больно много. На одного навалится десять. Отобьемся — думаешь: передохнем! Куда там! Глядишь — опять несутся, проклятые. Не по-людски орут: «Кху-кху! Уррагх![1]» Многих мы порубили. Но и наших не осталось. Все полегли там! И государь наш, князь Юрий Ингваревич, свою голову сложил на Диком поле.

— Как ты-то спасся?

— К ночи татары затихли. Я спустился в овраг, перевязал рубахой голову и зарылся в сугробе. К утру завыли волки. Я подался на север, обошел дорогу на Пронск. Тут сбеги[2] меня подобрали.

Воевода снял меховой колпак, перекрестился на золоченый крест соборной церкви и сказал:

— Вечная память сложившим свои головы за родную землю. И внуки и правнуки не забудут этой крови, залившей Дикое поле. Не мы напали на татар. Это они пришли сюда жечь наши избы, отымать наших коней. Это они хотят резать мужиков наших и полонить детей и жен. Будем драться, братья! Не отдадим родной земли!

---

[1] Уррагх!— Вперед!

[2] Сбеги — беженцы.

Твердая решимость была у всех на лицах. Кто-то сказал:

— Не отступим! Будем биться!

Воевода продолжал:

— Если мы и падем, то в лесах укроются наши дети и внуки. Они подрастут, ответят сыновьям царя Батыги в урочный час. Чую, татары скоро прискачут сюда, к стенам Рязани. Они дерзки и напористы — полезут и дальше, на Суздаль, Ростов и Новгород. Но удержатся ли они там?.. Это мы вспахали пустыри и осушили болота. Мы вырубили древние леса, выкорчевали вековые пни, а татарам здесь будет не любо. Пронесутся они по дорогам, сорвут зипуны, шубы и бабьи телогрейки, а затем все одно повернут назад в свои степи. У них кони легкие, к ковылю привыкли, на болотной трясине они завязнут, нашей сохи-кормилицы не потащат. Не опускайте рук, братья-други, держите крепко топоры! Идите на стены рязанские! Будем крепко биться! Выдюжим!

Глава вторая

НА РЯЗАНСКИХ СТЕНАХ

...В войне надежда светит нам,
не в мире!
(Из старинной трагедии)

Расположенная на высоком обрывистом берегу над Окой, Рязань казалась неприступной. Земляные валы были огорожены тыном из дубовых стояков. Крутые скаты, политые водой, покрылись наледью, по которой взобраться было невозможно.

Все население города и ближайших поселков поднялось на защиту родной Рязани. Немало рассказов вспомнили бойцы о том, как в старину осаждали город и половцы, налетавшие из степей, и безжалостные суздальцы, грабившие своих же русских братьев. Нелегкое дело одолеть эти огромные откосы стен, когда сверху польется горячая вода и кипящая смола. Нужно только дружной ратью встретить врагов. Воевода и бояре не сзывали больше охочих людей,— теперь все улицы, все концы сами собрали свои дружины. Каждый являлся в дружину, приносил с собой меч, секиру, копье или тугой лук. День и ночь стучали молотки, кузнецы «надыманием мешным»[1] «твори-

[1] «Надыманием мешным» — раздуванием мехов.

ли разжение железу» и ковали добротные булатные мечи. Искусные «ремественники» готовили шлемы, кольчуги, щиты и стрелы.

Готовились к долгой тяжелой осаде.

Савелию Дикоросу было указано место на городской стене — над обрывистым скатом к реке. Сам воевода назначил его быть старшиной над полусотней ратников. Савелий не стоял без дела. Он позаботился о запасных стрелах и о камнях, сложенных грудами возле каждого защитника. Достал он и тяжелые секиры и шестоперы. Вместе с другими вырыл землянку, чтобы можно было в ней укрыться от непогоды.

Невдалеке находился лабаз Живилы Юрятича, новгородца, где хранились пенька, соль, хлеб и другие товары. Савелий прошел к купцу и сурово спросил:

— Ты, Живила Юрятич, греешься на теплой лежанке, а почему к нам на стену не заглянул? Мы и днем и темной ночью, в непогоду и в стужу стоим на страже и не видим даже горячей похлебки-пустоварки. Ты как же нам помочь думаешь?

Рослый, дебелый купец в лисьей шубе поежился и заговорил грустным, слабым голосом:

— Я ведь не тутошний, я новгородец. Да и когда выкатывал бочку с варом, с пупа сдернул, и теперь мне в нутре жгет. Лучше я моих молодцов-сидельщиков на стену поставлю. Только вот с делом управлюсь. Князю Юрию Ингваревичу я подарил для ратного дела десять лодок с хлебом. Теперь и вас кормить стану. Сегодня же прикажу поварихам каждый день давать твоим молодцам котел похлебки и котел крупяной каши. Может быть, Спас Нерукотворный простит мне по грехам моим.

Савелий ночевал на стене, завернувшись в тулуп. Ему не спалось, на сердце было тревожно. Он часто вставал, прислушивался, всматривался в туманную даль — не видать ли татарских огней?

Утром подъехали на небольших пегих конях два половчанина в цветных клобуках с меховыми отворотами и в одеждах, обшитых красными тесемками. Один из них окликнул.

— Савелий, аль меня признать не хочешь?

— Кудряш?! Что же ты так чудно́ переоболокся?

— Еду в Дикое поле вместе с половецким побратимом. Воевода послал разыскать тело князя Феодора. Проберемся на реку Воронеж, где стоял царь Батыга. Там теперь

татар нет, один ветер да волки гуляют. Кружными малоезжими дорогами привезем тело в Зарайск. Похоронят его рядом с женой, княгиней Евпраксией, и маленьким сыном.

Савелий снял колпак и перекрестился:

— Упокой, господи, их светлые души! Кудряш, ты ведь понапрасну едешь. Татары бегают по дорогам. Поживы ищут. Слыхал, царь Батыга идет сюда с повозками, с вельбудами, с огнем и молоньей. Схватят тебя татары и кожу сдерут.

— Пустое! Пусть не хвалится Батыга! — отвечал Кудряш.— Может, и споткнется. У него две руки, да и меня мать родная не с одной рукой родила. Погодим сегодня, посмотрим, что будет завтра. Коль увижу, что проезда нет, соберу ватагу молодцов. Будем за татарами и мунгалами следом ходить, за пятки их хватать. Не дадим покоя, пока в землю их не вобьем или сами не свалимся. Пойдем, Савелий, со мной!

Савелий в раздумье покряхтел.

— Нет, Кудряш. Меня здесь на валу поставил воевода. Своей волей этого места не покину. Ты на коне, а я с топором. Оба будем одно дело делать.

— Ну ин так! Прощай, Савелий!

Кудряш, отъехав несколько шагов, вдруг вернулся:

— Главное-то сказать тебе и запамятовал! Видел я твоего Торопку. Он жив, ускакал из плена на татарском коне. И конь же у него — отборный! Как бежит — земля дрожит, из ушей и ноздрей дым валит.

Савелий подбежал и радостно обхватил Кудряша:

— Скажи верное слово: не врешь? Меня утешить хочешь?

— Ей-ей, не вру! Торопка сюда приезжал гонцом от князя Пронского. Привез от него грамотку и помчался обратно. Я его мельком видел. Он мне сказал: «Передай, коли встретишь, тятеньке, Савелию Микитичу, мой низкий поклон. Чести своей,— сказал,— не замараю и татарам спину не покажу. Раз я перенес татарскую неволю, второй раз меня туда не заманишь...» Ну, прощай, Савелий! Бог весть, увидимся ли с тобой еще! Времена-то настали какие!

Лихарь Кудряш махнул плетью и вместе со своим спутником-половчанином ускакал. Савелий вернулся на стену. Теперь, когда он услышал, что сын его жив, все ему казалось светлее: и снег ярче, и голубая даль привольнее... Он сел на приступок стены и опустил голову на руки. На

него, казалось, смотрели серые глаза Торопки, улыбалось веснушчатое худое его лицо. «Теперь Торопка — ловкий удалец,— думал Савелий,— ездит он на красавце коне, точно сам Егорий храбрый...»

Глава третья

«ТАТАРЫ ИДУТ!»

На городских валах Рязани установилась своя жизнь, свой порядок.

Каждый «конец» города выделил дружину, которая выбрала участок на стене, где ей предстояло отбиваться от врагов. Определенные участки занимали «ремественники»: плотники, каменщики, шорники, кузнецы и прочий рабочий люд. Отдельно стояли купцы со своими сидельцами. Была тут и смешанная толпа. Защитой города ведал боярин Вадим Кофа. Избрали его на вече всем народом за прямоту, усердие и воинские заслуги. Князь Юрий Ингваревич утвердил его, отправляясь в Дикое поле.

На старом белом длинногривом коне, под стать седым кудрям и серебристой бороде всадника, боярин Кофа, Вадим Данилыч, и днем и ночью показывался в разных местах города, объезжал валы, проверяя, всюду ли стоят защитники? Много ли сложено камней для метания, востры ли мечи, сколько заготовлено запасных колчанов с закаленными стрелами? Привезена ли вода с реки?

— Выливайте больше воды на скаты,— говорил воевода Кофа.— Надо, чтобы валы так обледенели, чтобы нельзя было ноги поставить. Имейте под рукой котлы с кипятком, запасную воду в бочках и дров вволю. Каждый стой на своем месте, знай свое дело и не покидай сторожевого поста. Не смотри перед собой, а поглядывай во все концы. Враг хитер, подберется темной ночкой, а днем притаится. А ты не зевай!

— Где им добраться сюда! — говорили ратники.— Как на вал заберется, так вниз и скатится!

Воевода Кофа заставал Савелия на стене во всякое время. Всегда Дикорос был занят: то он волочил бревно, то тащил на салазках кадушку с водой, то нес вязанку дров. Как-то боярин прискакал на стену туча тучей. Остановился около Савелия, приставил козырьком ладонь к глазам, долго смотрел вдаль, туда, где расстилались засыпанные снегом рязанские поля, застонал и сказал:

— Зачем только мы с тобой родились в такие тяжелые времена! Нам еще придется увидеть горе горемычное, придется кровью умыться.

— Что ты стонешь, боярин? Ежели ты, воевода наш, будешь охать да кручиниться, что ж делать нам, простым ратникам? Еще солнце светит над Рязанью, еще мы вольным морозным ветром дышим, еще руки наши не опустились, еще мы можем постоять за отчую землю!

— А где все войско рязанское? Где три моих сына и зятья, где наш государь, храбрый князь Юрий Ингваревич? Где все витязи, богатыри, удальцы, узорочье рязанское?

Савелий тяжело вздохнул:

— А может, татары к нам сюда и не придут?

— Нет! — сказал воевода.— Татарская сила идет сюда, она нагрянет на русские земли и, пока не насытится нашей кровью, отсюда не уйдет.

— А может, подавится!

Савелий всю ночь простоял дозорным на стене. На рассвете, упорно отгоняя сон, он все так же зорко смотрел вдаль, на снежные равнины. Солнце поднялось из-за золотисто-багровых туч, протянувшихся над самым небосклоном. С высокого вала было видно далеко, на десятки верст. Равнина была пустынна, кое-где чернели одинокие дубки.

Вдруг что-то привлекло внимание Савелия. Он протер глаза, всматриваясь в дымчатую даль. По снежной равнине рассыпались черные точки. Они двигались, прибывали, ползли торопливо, точно муравьи на белой холстине. Они уже разделились потоками, отклоняясь в разные стороны. Вскоре можно было различить мчавшихся всадников.

«Татары! Кому ж другому быть!» — понял Савелий и побежал изо всех сил по пустынным улицам к дому воеводы. Тот ехал навстречу, подгоняя белого коня.

— Они! Татары! — задыхаясь, крикнул Савелий.— Они!.. Большим валом валят!

— Беги в собор! — распорядился воевода.— Подыми звонаря, пусть бьет в набат!

Савелий побежал в соборную церковь на площади. Главные двери были открыты. Внутри перед иконами в золотых и серебряных ризах мирно светились лампады. Старый пономарь в длинном подряснике, с заплетенной косичкой, подметал веником каменный пол.

— Где звонарь? Звоните в большой колокол!

— Оба звонаря ушли на стену сторожить, а отец протопоп без своего благословения звонить не приказывает.

— Да ты пойми — татары идут! Что ты мне тычешь протопопом! Давай звонаря! — Савелий ухватил пономаря и поволок его за собой.

— Да ты что, нечестивый, дерешься? Чего толкаешь духовное лицо?

— Где звонарь? Беги за ним! Сам буду звонить!

— Вот наш старый звонарь! — сказал пономарь, стараясь вырваться из крепких рук Савелия.— Он теперь на покое, слепенький.

В углу, около свечного ящика, сидел старик с бельмами на широко раскрытых глазах. Он слышал разговор и, протянув руки, уже шел, спотыкаясь, к Савелию.

— Можешь звонить? — спросил Савелий.

— Как не могу? Сорок лет звонил, каждую веревку знаю, от какого колокола, большого или малого...

Все трое поспешили в звонницу, внизу колокольни. Через отверстия в потолке свешивались разной толщины веревки. Слепой звонарь ощупал их, уцепился за одну крученую, самую толстую, и переспросил:

— Большой набат звонить? Отец протопоп ничего не скажет?

— Твоему отцу протопопу влетит по загривку от воеводы, что звонарей около колокола не было! Валяй вовсю! Бей тревогу, бей набат!

— Как при пожаре?

— При самом большом пожаре!

Слепой привычным движением, двумя руками, стал изо всех сил равномерно натягивать веревку. Сверху, с колокольни, полились частые, необычные удары большого колокола, вызывая тревогу, щемящее чувство неизвестной беды, набежавшего горя.

Спящий город ожил. Беда, которую ждали, но в которую до последнего дня не хотели верить, теперь обрушилась воочию: колокол сзывал всех на стены, на защиту города.

Застучали калитки, залились лаем дворовые псы. Люди выбегали на улицу, останавливались, прислушивались и бежали дальше, к стенам. Во всех концах города церкви подхватили призыв, и звонари ударили в большие колокола.

Услышав набат в Рязани, откликнулись церкви ближних поселков. Всюду набатный звон призывал людей браться за мечи и топоры — встречать незваных страшных гостей.

Савелий бегом вернулся на стену. Опираясь на секиру, он жадно всматривался, как приближалась черная конная

масса, ощетинившись копьями. Он видел, как по ту сторону реки выбегали из дворов люди, размахивая руками, указывали на зачерневшую степь. Одни бежали к воротам Рязани, другие, на санях и пешие, подхватив узлы на спину, уходили вверх по берегу реки, угоняя скот в сторону засыпанных снегом лесов.

Татары надвигались быстро, и чем ближе к городу, тем сильнее они ускоряли бег коней. Наконец передовой отряд на светло-рыжих конях с диким, бешеным воем, гиканьем и свистом прискакал к стенам Рязани и остановился в облаке пара от разгоряченных коней. Всадники замолчали. Неподвижно рассматривали они высокие земляные валы, покрытые ледяным накатом, на валах дубовый тын с узкими прорезями, сквозь которые показывались головы защитников Рязани.

Татары зашевелились. От них отделилась сотня. Всадники, по трое в ряд, медленно потянулись вокруг города. Передний монгол держал значок: длинное копье, с верхушки которого свешивался рыжий конский хвост. За ним ехал всадник в золоченой кольчуге и в серебряном сверкающем шлеме с пучком белых перьев.

Далее двигалась вереница монголов в панцирях и кольчугах, с короткими копьями и круглыми щитами на левой руке.

Вторая сотня отделилась от толпы монгольских воинов и поскакала в ближайший поселок, где с колокольни еще слышался беспокойный звон. Вскоре звон прекратился. Над избами густым облаком стал, крутясь, подыматься черный дым.

Третья сотня монголов оставалась на другом берегу Оки, наблюдая, что делается на стенах Рязани. Десяток всадников отделился от отряда, спустился на лед реки и не торопясь поднялся к большим дубовым воротам города.

Рязанцы с любопытством глядели на невиданных раньше татар и, забыв боязнь, влезли на тын и высовывались из бойниц. Враги были в долгополых шубах, прикрывавших ноги до пят. У некоторых на груди виднелись ряды железных и медных пластинок. На спине защитных пластинок не было[1]. К седлам были прикреплены саадаки[2] с луками и красными стрелами. Женоподобные лица монголов были темны, как сосновая кора.

---

[1] По монгольским понятиям, воин должен прикрывать свою грудь, а спину прикрывают только убегающие трусы.

[2] Саадак — кожаный футляр для лука.

Один из татарских всадников, старик с длинной бородой, подъехал к воротам, постучал рукоятью плети и закричал по-русски стоявшим на стене:

— Здравствуйте, рязанцы! К вам приехал великий царь Бату-хан, покоритель всех народов. Присылайте к нему послов с хлебом-солью, бейте челом и покоряйтесь ему с почтением и верностью...

— Долго ему придется ждать! — ответили со стены.— Уезжайте-ка назад, откуда приехали, и забирайте с собой вашего царя Батыгу!.. А ты сам откуда явился, злодей, перевертыш окаянный? Не рязанец ли ты родом?

— Отворяйте ворота, принимайте дорогих гостей,— продолжал кричать бородатый всадник.— Если вы покоритесь, то никакой беды вам не будет. А ежели ослушаетесь, то татары перебьют вас всех до последнего, город будет сожжен и все ваши избы растасканы по бревнышку!

— А много ли ты получил от своего царя, чтобы продавать родную землю? Иуда злодейский, изменник проклятый!

Со стены полетели камни, метнулись стрелы. Татарские кони шарахнулись. Всадники стремглав ускакали обратно.

Глава четвертая

ОСАДА РЯЗАНИ

Пишет Хаджи Рахим: «О, какие времена настали, сколько жестокости и горя видишь кругом! После битвы в Кипчакской степи с отчаянным рязанским войском Бату-хан не пожелал ждать и отдыхать. Он послал гонцов к Гуюк-хану, приказав ему первым двинуться на Рязань и напасть на город. Гуюк-хан и сам имел затаенную мысль — опередить джихангира и дать своему войску радость ограбить богатый город. Но когда это повеление пришло от ненавистного ему Бату-хана, Гуюк-хан раздулся от важности перед гонцами и ответил: «Мое войско утомилось после славного боя, я хочу позволить ему отдохнуть. После этого я выступлю. Рязань от моих рук не уйдет»...

К такому ответу Гуюк-хана побуждало еще то, что его тумен был сильно потрепан после боя с урусутами. Шаманы неумело перевязывали раненых.

Бату-хан посоветовался с Субудай-багатуром — что делать? После свирепой метели в степи стало тихо. Солнце ярко освещало серебряные дали. Гонцы других отрядов, разметанных вьюгой, начали снова прибывать с донесения-

ми. Бурундай сообщал, что идет на Пронск, но его задерживают узкие тропы и густые леса. «По таким дорогам нашим повозкам ехать очень трудно, а пороки[1] невозможно протащить».

Субудай-багатур от имени Бату-хана ответил Бурундаю:

«Ты храбр, но не находчив! Заставь пленных урусутов рубить широкие просеки, чтобы могли рядом ехать три воза. Возьми Пронск и немедля иди на Рязань. Гони туда пленных. Вокруг Рязани встретятся татарские войска. Кто не исполнит приказания и запоздает — увидит смерть».

Бату-хан и Субудай-багатур, не дожидаясь ответа, ускоренными переходами двинулись на север. Раненые следовали позади в повозках и на верблюдах.

Бату-хан заявил: «Рязань я захвачу сам».

Два дня спустя Бату-хан во главе тысячи «непобедимых» был перед стенами Рязани. Джихангир[2] послал переметчика-толмача, старого рязанского князя Глеба, с десятком всадников к запертым городским воротам. Князь кричал стоявшим на стенах, чтобы они сдали город. Со стен его забросали камнями, и он вернулся, ругаясь, вытирая платком рассеченное камнем лицо.

Желая устрашить рязанцев, Бату-хан приказал жечь окрестные селения. Он сам объехал кругом Рязани вместе с князем Глебом, подробно расспрашивал его, откуда лучше всего сделать приступ на стены, где их проломать, где их подкопать? Войти в город было очень нелегко,— со всех сторон подымались крутые обледенелые валы.

«Без лестниц и пороков города не взять!» — решил Бату-хан.

Монголы начали пригонять пленных урусутов, полуголых, ободранных и избитых. Татары стегали их плетьми и принуждали строить штурмовые лестницы. Урусуты спросили: кто будет их кормить? Они голодны, два дня ничего не ели.

— Кони и другая скотина нас возят, а еды не спрашивают,— отвечали татары.— Они сами себе находят корм. Можете есть корни растений или конский навоз, а лестницы стройте.

Упрямых татары били по голове дубинками с железным шаром на конце. Угрюмые, почерневшие от голода, урусуты молча разыскивали в брошенных избах топоры и ручные пилы. Они выламывали из домов бревна и доски и строили лестницы. На другой день прибыли первые пороки, поста-

---

1 Пороки — стенобитные машины.

2 Джихангир — покоритель мира.

вленные на полозья. Против главных городских ворот выдвинули стенобитную машину. С грохотом начала она метать большие камни. Другая машина, когда ее повезли через реку, проломила лед и погрузилась в воду. Пленных урусутов заставили ее вытаскивать, и они работали, проваливаясь под лед...

«Аллах велик! Бату-хан упрям. Что-то страшное будет!»

Глава пятая

«СЛЫШИШЬ, КАК СОБАКИ ЛАЮТ?»

Лунная, серебристая ночь окутала дремой Перунов Бор. Избы, вытянувшись вдоль опушки заснувшего векового леса, глубоко зарылись в снежные сугробы. Тишину изредка прерывал сухой треск плетня и неподвижных деревьев. Затихли и собаки, свернулись кольцом и уткнули носы в пушистый мех.

В голубоватом свете смутно подымались горбатые скирды, засыпанные снегом, черные стволы оголенных деревьев и высокий шест с пучком еловых веток возле избы старосты.

На окраине выселка несколько раз тявкнула собака, потом вдруг залилась тонким протяжным лаем. За ней подхватили другие. Со всех концов Перунова Бора собаки завели неумолчный лай. Где-то стукнула калитка, звонко заржала лощадь.

В крайней избе дремавшая Опалёниха соскочила с полатей, осторожно отодвинула задвижку окна, затянутого рыбьим пузырем. Припав глазами к заиндевевшей трещине пузыря, Опалёниха увидела сидящую на плетне темную фигуру человека в долгополой одежде и чудно́м колпаке. Он соскочил во двор и направился к гумну.

— Вешнянка, вставай! — расталкивала Опалёниха крепко спавшую девушку.— Слышишь, как собаки лают? Это они! Во дворе недобрый человек... Побежал к гумну... Боязно, не подпалил бы он нас! Мужики-то все ушли! Как мы, бабы, одни справимся?

Обе женщины всунули ноги в чеботы, повязали платками головы и накинули полушубки. Опять припали глазами к окну. Все казалось спокойным в серебристом лунном свете. Только собаки продолжали заливаться безудержным лаем и рвались с привязи.

— Тетя Опалёниха, и мне боязно! Что-то будет? — шепотом спрашивала девушка.

А баба торопливо подпоясывалась кушаком, в зубах держала рукавицы, складывала в платок куски хлеба и вытаскивала из-под скамьи топор.

— Думаю, не татары ли это? Бери хлебный нож. И деревянную миску. Не забудь огниво!..

Обе женщины тихо вышли из избы и притаились в тени. Неведомый человек ворошился около сенного сарая и высекал огнивом искры.

Страшный крик донесся с конца деревни. Эхо повторило его из глубины спящего бора. Снова пронесся крик, полный ужаса и боли, звериный крик тяжело раненной женщины.

Деревня быстро просыпалась. Заскрипели ворота, застучали копытами по доскам кони. Крича, проскакал согнувшийся старик-староста без шубы и шапки, на неоседланном коне:

— Горим! Татары! Спасайтесь!

Опалёниха, крадучись, подбежала к человеку, возившемуся около сена.

В лунном свете Опалёниха различила длинную до пят синюю шубу странного вида, белые сапоги из собачьих шкур, кривую саблю у пояса. Неизвестный оглянулся, когда она уже занесла над ним топор... Меткий удар...

Убитый свалился лицом вниз, и кровь темным пятном растекалась по белому снегу.

— Убежим по задворкам, огородами! — шепнула Опалёниха.— Идем скорее, забирайся в тень...

Пройти уже не удалось. Через забор перелезали татары, подобрав и заткнув подолы шуб за пояса. Обе женщины спрятались в груде наваленного хвороста и жердей.

Деревня запылала сразу с нескольких концов. Горели также две избы, стоявшие в стороне, и гумно со скирдами.

Огонь стал вскидываться огромными языками, черный дым клубами понесся ввысь.

Жалобно мычали испуганные, выгоняемые на улицу коровы, метались кони. Отовсюду неслись отчаянные вопли и плач женщин. Бабы бегали, не зная, что спасать, куда бежать, и вытаскивали из загоравшихся изб плачущих детей и мешки с хлебом.

Новый, никогда не слыханный, страшный рев приближался из лесу:

— Кху, кху, кху, уррагх!

Лавина всадников наполнила деревню суматохой, ржа-

нием коней, хриплыми криками и острым запахом неведомого, страшного народа.

Собаки заливались отчаянным лаем и визгом, гоняясь за чужими всадниками, которые носились по деревне, рубили кривыми саблями наотмашь всех, кто попадался на пути, и ловили арканами убегавших женщин.

Татары ворвались с обоих концов деревни и гнали всех встречных к середине, на пустырь, к избе старосты.

Глава шестая

В ПРИГОРОДНОМ ПОСАДЕ

Объехав городские стены, Бату-хан вернулся в селение на противоположном берегу реки. В брошенных жителями избах толпились татарские воины. Они рыскали по улицам, тащили охапки сена, сдирали солому с крыш,— все годилось на корм их диким, неприхотливым коням. Повсюду над избами вились дымки: татары заставили захваченных в плен женщин печь им блины и аржаные лепешки.

Бату-хан проезжал через посад на вороном коне с белыми ногами и белой отметиной на лбу. Загорелое лицо было неподвижно, суженные глаза смотрели поверх людей,— никто не мог прочесть на его лице ни радости, ни заботы. За ним ехали пó трое в ряд, преданные ему ханы. Они носили почетные звания тысячников и десятитысячников, но своих отрядов не имели. Их обязанности состояли в том, чтобы участвовать в обедах Бату-хана, есть за четверых, рассказывать прибаутки и необычайные приключения славных витязей. Когда же они оставались наедине с Бату-ханом, каждый из них передавал сплетни про других ханов, про своих же собеседников за обедом. Бату-хан внимательно выслушивал каждого, жмуря глаза, иногда милостиво шипел: «Дзе-дзе!» Он хотел знать все, что делается вблизи и вдали от него, в войсках других чингизидов, потому терпел этих ханов, как нужных ему людей.

В посаде баурши показал Бату-хану просторную избу и предложил избрать ее для ночлега.

— Кто жил в этой деревянной юрте?

— Урусутский шаман. Зовут его «поп».

Бату-хан сердито отмахнулся.

Вмешался великий советник Субудай-багатур. Подъехав на саврасом коне, он хриплым голосом сказал:

— Разве подобает джихангиру жить в юрте шамана, да еще урусутского? А это что за дом? — он указал плетью на бревенчатое строение с остроконечной высокой крышей и золоченым крестом наверху.

— Это дом урусутского бога.

— Джихангиру подобает жить там, где обитают боги,— сказал строго Субудай-багатур.

Бату-хан искоса посмотрел на потупившего глаза баурши, на ханов, начавших горячо поддакивать великому советнику, и повернул коня к церкви.

Баурши бросился к церковной двери. На паперти около входа сидели четыре монгольских воина.

— Сюда нельзя! — сказал один из них.

Баурши начал спорить с монголами.

— Кто вас поставил сюда? — спросил подъехавший Субудай.

— Сотник Гуюк-хана, Мункэ-Сал.

— Возвращайся к своему сотнику и скажи, чтобы он выбирал для своего хана более подходящую юрту. Убирайся, живо!

Четыре монгола посмотрели друг на друга, посвистали сквозь зубы и, подобрав подолы длинных шуб, пошли через глубокий снег к своим коням, привязанным к церковной ограде. Один повернулся и сказал Субудаю:

— Когда Гуюк-хан начнет нас бить по щекам костяной лопаткой, ты ведь за нас не заступишься?

— Кто тебе отрезал ухо? — спросил Арапша.— Смотри, второе отрежу!

Монгол, оскалив зубы, присел, вытягивая меч, задвинул его обратно в ножны и быстро вскочил на коня.

— И ты того же дождешься! — крикнул он и поскакал.

Арапша злобно посмотрел ему вслед:

— Гуюк-хан опять подсылает к джихангиру убийц!

Нукеры привели старика, найденного в соседней сторожке. Он был в собачьем колпаке, холщовых портах, рубахе и лыковых лаптях. Он весь посинел и дрожал от холода, но не выказывал страха. Старик отпер ключом большой замок на двери. Баурши вошел первый и, сложив руки на животе, стал около двери. Бату-хан соскочил с коня и, разминая онемевшие ноги, прошел в церковь. Татары ее не тронули. Сквозь узкие окна, затянутые пузырями, тускло проникал свет. Впереди поблескивал золотом алтарь с резными деревянными дверьми. Перед некоторыми иконами мигали огоньки лампад, освещая темные, насупившиеся лики святых.

Бату-хан прошел в алтарь, обогнул кругом престол. На столике в углу нашел пять круглых белых просвирок. Приказал следовавшему за ним баурши попробовать эти хлебцы — не ядовиты ли? Баурши откусил, пожевал и сказал:

— Авва! Да сохранит «хан-небо» и тебя и меня от несчастья! Хлеб вкусный!

Бату-хан вернулся на середину церкви, опустился на конскую попону. Возле него полукругом уселись ханы.

— Разожгите здесь костер, пол каменный,— сказал Бату-хан,— и сварите мне чай[1].

Баурши заметался и, переговорив с толмачом и пленным стариком, подобострастно доложил хану:

— Здесь огонь разводить нельзя — это прогневает урусутского бога, и его дом загорится.

Субудай-багатур приказал, чтобы его военные помощники — юртджи — поместились в доме урусутского шамана. Бревенчатый дом состоял из сеней и двух горниц, разделенных стеной. Большая, сложенная из камней и глины квадратная печь выходила в обе горницы.

В первой половине поместились четыре монгольских юртджи и два мусульманских писца-уйгура. Вторую горницу взял себе Субудай. Он увидел рязанского князя — переметника Глеба, сидевшего вместе с юртджи, и спросил:

— Что такое «гречишные блины»?

— Это трудно объяснить, надо попробовать. Заведи себе бабу, она тебе будет каждый день печь, а ты будешь радоваться.

— А что такое «баба»?

— Во дворе монгольский воин предлагает купить у него двух баб. Покупай!

— Сколько он хочет?

— Сейчас их приведу.

Глеб вышел во двор и вернулся вместе со старым монголом, который толкал в горницу двух упиравшихся женщин. Одна, высокая, дородная, в синем сарафане, войдя, поискала глазами и трижды помолилась на тот угол, где остались киоты от содранных образов. Сложив руки под пышной грудью, она пристальным взглядом уставилась на Субудай-багатура, который сидел возле скамейки на полу, на конском потнике. К бабе тесно прижалась девушка

[1] Монгольская аристократия в XIII веке уже знала употребление чая; получали его из Китая в обмен на кожи, шерсть, скот и прочее (см. китайские летописи XIII века).

с русой косой и испуганными глазами, в рваном дубленом полушубке, из-под которого виднелся подол красного сарафана.

— Вот тебе две отборные бабенки,— сказал по-татарски князь Глеб.— Старшая — опытная повариха, а эта — садовый цветочек, макова головка.

Субудай обвел женщин беглым взглядом и отвернулся.

— Станьте на колени! — сказал князь Глеб.— Это большой хан. Отныне вы будете его ясырками[1].

— Большой, да не на́больший! — ответила женщина.— На колени зачем становиться? Пол-от грязный, гляди, как ироды натоптали!

— Поклонись, говорю, твоему хозяину!

— Мой хозяин, поди, лет десять как помер. Ну, Вешнянка, давай, что ли, поклонимся.

Низко склонившись, они коснулись пальцами пола.

Субудай пристальным взглядом уставился на женщин, и глаз его зажмурился. Он покосился на князя Глеба, присевшего на дубовой скамье, поднялся и, положив потник на скамью, взобрался на нее, подобрав под себя ногу.

— Как зовут? — спросил он у Глеба. Тот перевел вопрос.

— Опалёнихой величают, а это Вешнянка.

— Дочь?

— Нет, сирота соседская. Я ее пестую.

— Почему тебя так зовут? — продолжал спрашивать Субудай.

— Моего мужа спалили на костре.

— Кто? Мои татары?

— Куда там! Наши воры — разбойники новгородские. С тех пор я стала Опалёниха, а это — Вешнянка, весной родилась и сама как весна красная.

— Трудные урусутские имена — не запомнишь! — сказал Субудай.— Работать для меня будете или позвать других?

— Всю жизнь на кого-нибудь работала. Такова уж наша бабья доля!

— Пусть они мне испекут и блины, и ржаные лепешки, и каравай.

— Был бы житный квас да мука, тогда все будет.

— Вам старый Саклаб все достанет,— вмешался князь Глеб.— Он, поди, не забыл говорить по-русски.

---

[1] Ясырка — пленница.

Обе женщины живо обернулись к старому слуге Субудая, стоявшему у двери:

— Ты наш, рязанский? Ясырь?

— Сорок лет мучаюсь в плену. Нога с цепью срослась. И с вами то же будет: как надели петлю, так до смерти и не вырваться....— Старик тяжело вздохнул.— Вот вам мука, а вот квас...[1]— И он придвинул к печи мешок и глиняную бутыль. На ногах звякнула железная цепь.

— Батюшки светы! — воскликнула Опалёниха, всплеснув руками.— И ты сорок лет таскаешь на ногах железо! — Опалёниха погрозила пальцем невозмутимо наблюдавшему за ней Субудаю.

— Ладно, поговорим потом... Сейчас натаскаю дров,— сказал старик.

— Ну, Вешнянка, война войной, а тесто ставить надо!

Опалёниха вздохнула и направилась к печи, но ее удержал монгол, натянув ремень, наброшенный ей на шею. Она остановилась, посматривая на Субудая. Тот обратился к монголу:

— Откуда достал этих женщин?

— Я был в сотне, которую послали обойти город. Мы ехали через лес, там бежали люди, много женщин. Одних мы зарубили, других погнали назад в наш лагерь.

— Так!

— Этих двух я сам поймал и притащил на аркане.

— Так!

— Я хочу их продать.

— Так!

— У меня очень старые, рваные сапоги. Ноги мерзнут...

— Так!

— На урусутах я не видел кожаных сапог, они ходят в лаптях из липовой коры.

— Так!

— Я хочу обменять этих женщин на пару новых сапог.

— Значит, ты хочешь, чтобы я снял свои сапоги и отдал тебе? Ты хочешь ободрать своего начальника? Ты знаешь, что тебе сейчас за это будет?

Старый монгол с клочками седых волос на подбородке смотрел испуганными глазами, раскрыв рот:

— Я этого не хотел, великий хан! Прими от меня этих женщин в дар. Пусть хранит тебя вечное синее небо!

Монгол отвязал ремень и, пятясь, вышел из избы.

---

[1] В то время не было дрожжей, хлеб выпекали на квасе.

Глава седьмая

«МЫ И СКОТИНУ МИЛУЕМ»

К крыльцу избы, где помещался Субудай-багатур, был привязан его саврасый жеребец. Перед ним лежал ворох сена и соломы.

Бату-хан потребовал к себе старого полководца. Субудай вышел, нукер подвел ему коня. «Неудобно хану идти пешком, касаться ногой земли». Субудай верхом пересек улицу. Навстречу бежала толпа нукеров. Все кричали, толкались, стараясь ближе подойти к монголу в заиндевевшем малахае, сидевшему на запорошенном снегом коне. Он держал на поводу другого коня. Поперек седла был привязан человек. Сознание оставило его. Лицо, побелевшее от мороза, казалось мертвым.

Внезапно Субудай заревел как безумный. Он хлестнул коня, врезался в толпу, свалился с седла и подбежал к замерзшему.

— Урянх-Кадан, очнись! Раскрой глаза! Услышь меня! — кричал Субудай и, припав лицом к платью замерзшего, хватал и ощупывал неподвижное лицо.

— Это сын Субудай-багатура,— загудели в толпе.— Видно, любил сына, Урянх-Кадана! Хоть молодой, а был он отчаянный храбрец.

— Куда его везти? — спрашивал верховой монгол.— Не лучше ли положить его прямо на костер и сжечь? Все одно жить ему больше не придется.

Субудай вырвал повод из рук всадника и сам повел коня через деревянные ворота обратно к крыльцу дома. Всхлипывая, он кричал:

— Урянх-Кадан! Ты не должен умереть! Я буду дуть тебе в ноздри, пусть мой дух перейдет в твое тело. Я вырву мое сердце и вложу к тебе в грудь вместо твоего замерзшего. Лучше я, старый, умру, а ты, молодой, будешь снова блистать победами... Подожди оставлять этот мир!..

Привлеченная шумом и криками, на крыльцо вышла Опалёниха. Сдвинув брови, она смотрела на кричавшего Субудай-багатура и поняла: «Косоглазый сына жалкует!»

Она быстро сбежала по ступенькам. Сильной рукой оторвала Субудая от сына. Уверенными, спокойными движениями развязала и сняла тело Урянх-Кадана, взвалила себе на плечо и, осторожно придерживая, поднялась по

ступенькам, вошла в сени и положила замерзшего на соломе.

Князь Глеб оказался тут же. Опалёниха, стоя на коленях, расстегивала замерзшему одежду и приговаривала:

— Жив еще покойничек! Мне не впервой застывших оттирать. Дайте суконку, войлок, лампадное масло и миску снега. Нельзя, косоглазый, тащить его в избу — мясо будет отрываться клочьями.

Субудай, пораженный властными движениями Опалёнихи, сидел на корточках рядом с неподвижным телом и наблюдал, положив палец в рот.

Опалёниха стянула с Урянх-Кадана замшевые гутулы[1] и стала быстро и умело растирать побелевшие ступни снегом и войлоком. Два монгола, поняв, что́ она делает, начали тереть кисти рук. Опалёниха переходила поочередно от одной части тела к другой, наконец она ловко и осторожно занялась лицом.

— Вот возьми, чадо мое, потри гусиным сальцем,— косясь на Субудая, сказал священник, хозяин дома, протягивая деревянную миску.— Да еще влей ему в рот винца.

Долго возилась Опалёниха. В сенях стало тепло и душно от набившихся нукеров. Наконец раскрылись глаза, взгляд, далекий и неясный, скользнул по собравшимся, остановился на искривленном лице Субудай-багатура и засветился сознанием.

— Отец! Слушай...— прошептали губы.— Урусуты дикие волки... Их нужно убить... Они не сдаются!..

— Что ты видел, сын мой, Урянх-Кадан? Что с тобой случилось? Кто тебе причинил зло? Я его живого рассеку на мелкие куски.

— Я был в плену!

Урянх-Кадан снова забылся.

Субудай принялся теребить его.

— Не мешай! — строго отстранила Субудая Опалёниха.— Не трогай!

— Слушай, ты, урусутка,— робко попросил Субудай.— Спаси жизнь моему сыну, славному багатуру Урянх-Кадану! Я дам тебе свободу и награду, которой ты не видела даже во сне.

— Постараюсь и без награды. Мы и скотину хво-

---

[1] Гутулы — монгольские сапоги без каблуков, выложенные внутри войлоком.

рую милуем. А он хоть и нехристь, а душа все же человечья...

Субудай спустился во двор, подошел к своему саврасому жеребцу, шептал ему в ухо, дул в ноздри и слушал, что́ ему скажет, какой знак подаст мудрый конь.

— Укажи мне, мой верный товарищ: срубить ли ей голову или одеть в парчовую шубу? Взять ли с собой дальше в поход или раздеть и вытолкать в лес? Какая урусутка! Багатур — а не женщина! Я таких еще не видал...

Конь качал головой, точно соглашаясь, и мягкими губами хватал хозяина за рукав.

Глава восьмая

ТРЕВОЖНЫЕ НОЧИ

Враг замыслов своего врага не знает.

(Восточная поговорка)

Всю ночь Савелий провел в тревоге. Всматривался сквозь бойницы вдаль, прислушивался к шуму взбаламученного города. Обычная ночная тишина вокруг Рязани исчезла. Тысячи огней горели внизу под стенами и на равнине за рекой, точно щедрая рука разбросала вокруг раскаленные угли. Это татары всю ночь напролет жгли костры, безжалостно растаскивая для этого избы, сараи и заборы. Вдали, под небосклоном, полыхали огромные пожары. На низких тучах дрожали их багровые отблески.

Подошли ратники. Беспокойно смотрели вдаль.

— Вон горит Пронск!

— Сказал тоже! До него верст пятьдесят будет.

— А что́ же это?

— Ведь в самом деле Пронск...

— Гляди, Соболевку подпалили!

— Братцы, братцы!.. Ухорскую жгут...

— Где?

— Да вон, за лесом...

— А не Переволоки?

— Нет, их пока не тронули...

— Да что же это, братцы?!! Изверги проклятые!..

— Вон еще горит! Вон — далеко!..

— Это Ярустово...

— Как Ярустово? — застонал Савелий.— Да ведь Ярустово верст тридцать за Рязанью! — И он подумал о своих,

которым советовал, в случае беды, бежать к Пахому-рыбаку в Ярустово.

— Зачем им ждать, пока возьмут Рязань? Что́ им, окаянным, тридцать верст! Вишь их сколько! Кругом так и рассыпались. Жгут да грабят погосты...

В стороне Ярустова зарево было особенно сильным. Яркое желтое пламя поднялось высоко и лизало облака.

— Дурни! — сказал молодой ратник.— Это татары себе на голову стога с сеном подожгли.

— Нет! Зря сказал! — возражал Савелий.— Татарам сено дороже хлеба. Кони-то без сена пропадут... Куда эти стервецы тогда денутся? Это наши сами сено подожгли. Будем жечь скирды и стога, татар выморим.

— Да! Уж им здесь не житье!.. Мы им не покоримся!

Ночь прошла тревожно. Стража не смыкала глаз.

Утром за рекой пропели петухи. В Рязани отозвались другие. Покрытые инеем воины всматривались в затухавшее зарево. Татарские костры продолжали мигать тысячами огней.

Солнце поднялось над синей бахромой дальних лесов. Пробежавшие по снежной равнине розовые лучи осветили татарские отряды, черными потоками направлявшиеся к городу.

Лошади и люди тащили розвальни с бревнами, жердями, досками. На стене с любопытством и волнением толпились рязанцы и гадали, что́ будут делать татары. Стали прибывать группы пленных. Вокруг них вертелись татары и стегали плетьми, подгоняя отстававших. Со стены было ясно видно, что на многих татарах уже надеты русские крестьянские полушубки и армяки, а пленные идут раздетые, оборванные, многие в одних портах и рубахах. Некоторые падали; на них набрасывались татары и били, пока те не вставали снова или же не затихали навсегда.

Пленные начали возводить внизу, вокруг города, деревянный забор, складывая растасканные из домов бревна и доски.

— Гляди, точно баранов огораживают!..— говорили на стенах.

— И шкуру сдерут, как с барана...

— Посмотрим, кто кого! Пусть сюда, стервецы, сунутся!..

К воротам подъехало несколько всадников. Среди них

был князь Глеб. Он кричал, клялся, что никакого вреда никому в Рязани не будет:

— Откройте ворота и выходите в поле! Только добро свое оставьте дома. Свободно пойдете, куда хотите, татары пальцем вас не тронут.

— Это Глеб Владимирович,— заволновались на стене.— Братоубийца окаянный! Сродственников обманом перебил. Каин проклятый!.. Недаром тебе анафему поют!

— Братьев сгубил, теперь родину продаешь... Кол тебе осиновый в спину!

Со стены полетели стрелы. Ловко пущенный камень ударил Глеба. Он поспешно повернул коня и умчался обратно.

На рассвете камнеметная машина придвинулась ближе к городским воротам. Татары, скрываясь за большими деревянными щитами, начали обстрел. Они оттягивали бревно с железной чашкой на конце, опускали в чашку большой камень. Бревно с грохотом откидывалось вперед, швыряя камень. Невдалеке, за развалинами дома, скрывались в засаде татарские всадники, поджидая, не выйдут ли смельчаки из ворот.

Воевода Кофа приказал строго-настрого:

— Сохраняйте свою силу! Отбивайте неверных! Но не выходите из ворот. Они нам готовят лукавую затею!..

Глава девятая

«ЧЕЙ БОГ СИЛЬНЕЕ?»

Вечер накануне штурма Рязани Бату-хан проводил в той же церкви. Юртджи писали последние приказы отрядам. Самые строгие наказания угрожали тем, кто не ворвется в город, а откатится обратно.

Субудай-багатур сидел около Бату-хана мрачный и неразговорчивый. На вопросы кивал головой или отрицательно подымал палец. Наконец сказал:

— Сегодня ты, ослепительный, дал приказ о наступлении. Нельзя вернуть пущенную стрелу. Прикажи завтра сделать из глины тысячи дзаголма[1], чтобы варить мясо для пира, для праздника победы. Но эту ночь надо спать и готовиться к бою.

Ханы, сидевшие около Бату-хана, поддакнули и сказали обычное пожелание:

---

[1] Дзаголма — восточная круглая земляная печь.

— Да не будет у нас недостатка в кровавой войне и в пирах, залитых жиром и маслом!

Бату-хан забеспокоился:

— Я приказал привести моего учителя, мирзу Хаджи Рахима.

— Он здесь, около твоего шатра. Он охраняет иноземных мусульман.

— Это не его дело. Я звал его,— он должен быть здесь.

— Ослепительный! Он сам не идет.

Бату-хан встал и быстро вышел из церкви. Около паперти, прижавшись друг к другу, сидела группа людей в больших белых тюрбанах и цветных ватных халатах, отороченных мехом. Одни причитали, другие твердили молитвы. Около них стоял Хаджи Рахим с поднятой рукой, в которой при ярком лунном свете блестела золотая пайцза.

Группа монгольских воинов стояла в нескольких шагах, подняв над головой мечи. При каждом их движении мусульмане принимались кричать, а Хаджи Рахим поднимал выше золотую пластинку.

Бату-хан сказал несколько слов стоявшему рядом толмачу. Сторожившие монголы отшатнулись. Они попытались убежать, но из темноты выступили «непобедимые» с обнаженными мечами и остановили их.

Толмач обратился к монголам:

— Пожравшие своего отца, желтые дураки! Бродячие глупые собаки! Зачем вы здесь, около порога джихангира? Пожалейте свою красную жизнь толщиной в нитку!

Монголы загалдели, перебивая друг друга:

— Мы поймали добычу, она наша... Ее у нас отнимают. Это торгаши... Мы их зарубим, возьмем их золото и серебро. Они были вместе с урусутами! А этот мусульманский колдун с длинной бородой поднял над ними золотую пайцзу Священного Воителя. Пока он держит пайцзу, мы их не тронем. Когда он опустит руку, мы заколем торгашей и разделим добычу...

Бату-хан топнул ногой:

— Сейчас вы услышите мое решение. А вы, мусульмане, отвечайте! Где ваша родина? Как ваши имена? К кому у вас нужда? Говорите скорее!

Купцы, стоявшие на коленях, склонились до земли. Один, благообразного вида, с длинной черной бородой, выпрямился и сказал:

— Мы люди разных стран, но мы одной веры — сыны Мухаммеда. Мы — купцы, приехали торговать в твоем войске. Наше золото и серебро послужит для общей пользы: мы скупаем у воинов продаваемые ими вещи и сами продаем сушеный виноград, фисташки, имбирь, вино, хлеб и все, что нужно для твоих великолепных храбрецов.

Бату-хан указал на Хаджи Рахима:

— Вы знали раньше этого человека?

— Нет, мы его увидели впервые в тот миг, когда он поднял над нами золотую пластинку.

— Вы обещали ему награду?

— Мы обещали и снова обещаем награду за наше спасение. Но он сказал, что дервиши и имущества не имеют и золото презирают.

Хаджи Рахим прервал:

— Да, презирают золото, кроме золотой пластинки с твоим именем.

Бату-хан заговорил горячо и резко:

— Слушайте вы, купцы! Бату-хан проходит по разным странам и покоряет народы. Кто мне не покоряется, тот увидит смерть. Кто вносит беспорядок, как вы,— указал он на монголов,— тому мои «непобедимые» ломают спину...

Монголы упали в снег и завопили:

— Прости нас, великий джихангир!

— Вы, купцы, пойдите к Субудай-багатуру. Он проверит, кто из вас действительно купец. Каждый купец получит пайцзу и будет ездить с моим войском и свободно торговать. Кто же окажется лгуном, тому разобьют затылок и бросят собакам. А вы, шатуны, бродяги, отошедшие от своего отряда, вы из какого тумена?

— Из тумена[1] сына великого кагана Гуюк-хана.

— Я так и знал. Вы не цените того, что находитесь в войсках будущего кагана, и позорите имя Гуюк-хана. Субудай-багатур, проверь, из каких отрядов эти шатуны, отрежь каждому правое ухо и с охраной отошли их обратно в лагерь Гуюк-хана.

Монголы снова подняли вопли, прося милости. Бату-хан, не обращая на них более внимания, взял за рукав Хаджи Рахима и повел его за собой.

В церкви, у широко раскрытых царских врат, были разостланы ковры и шубы. На них, поджав ноги, сидел Бату-хан. Он рассеянно кивал головой, слушая, что рассказывал сидящий рядом Хаджи Рахим. Дервиш был в рус-

[1] Тумен — отряд в десять тысяч воинов.

ском нагольном полушубке и меховых сапогах — подарок Бату-хана.

Священник в рясе, придерживая рукой серебряный крест на груди, тихо ходил по церкви и, крестясь, прилеплял восковые свечи перед каждой иконой. Это он делал по приказу монгольского владыки, который ему заявил через толмача: «Я хочу выразить почтение каждому урусутскому богу. Я не хочу, чтобы какой-нибудь урусутский бог на меня сердился и мне вредил».

Священник косился на Бату-хана, который продолжал безмолвно сидеть. Хаджи Рахим ему говорил:

— Я снова умоляю тебя — отпусти меня. Я не хочу быть в этом море крови. Зачем ты истребляешь столько народов, которые хотят жить мирно и свободно?..

— Пусть охраняют мечом свою свободу! Монголы сильнее всех. Вся вселенная должна покориться потомкам моего деда — Священного Воителя.

— Зачем я тебе? Отпусти меня.

— Нет, ты будешь следовать за мной. Я слышу кругом одну лесть. Правду говорят мне только Субудай-багатур, Юлдуз-Хатун и ты... Мое желание — иметь всегда человека, который говорит правду. Конечно, ты должен говорить правду, только когда мы вдвоем. Если ты начнешь меня осуждать при других, я прикажу переломить также и тебе хребет, чтобы другие меня боялись...

— Кто говорит правду, умирает не от своей болезни.

Бату-хан повернулся к священнику, проходившему мягкими шагами по церкви:

— Почему хорошо пахнет?

— Я кадил перед святыми иконами.

— Что такое «кадил»? Покажи.

Священник подсыпал на угли кадила ладана и начал кадить перед иконой. Бату-хан засопел:

— Дзе-дзе! Это хорошо! Махай на меня!

Священник испуганно перекрестился:

— Господи, прости мое прегрешение!.. — И он стал размахивать кадилом перед Бату-ханом.

— Чьи боги сильнее? — продолжал Бату-хан.— Урусутские или монгольские?

— Бог один.

— Неправда. Сколько у вас богов навешано по стенам? Богов много, и добрых и злых. А самый могучий — наш бог Сульдэ, бог войны. Он даст нам победу, и все покорятся нашему мечу. Тогда монголы будут править всей вселенной!..

Глава десятая

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РЯЗАНИ

...Сий бо град Резань, и земля Резанская изменися доброта ея, и отиде слава ея, и не бе в ней ничто благовидсти — токмо дым и пепел. Не бе бо в граде пениа, ни звона, в радости место всегда плач творяще.

(«Повесть о разорении Рязани Батыем». XIII век)

С утра татары подошли близко к рязанским стенам, подтаскивая за собой лестницы. Они были разные: и связанные из нескольких коротких тесин, и сбитые сосновые лесины с перекладинами, были и сделанные наспех из длинных бревен с двухсторонними зарубками.

Под городскими стенами раздавались крики татар, вопли избиваемых пленных, стук топоров и заунывный визг дудок, которыми татарские воины подбодряли себя перед штурмом.

Лестницы стали выдвигаться на стены одновременно со всех сторон. Они представляли некоторую опору для нападающих.

Первыми полезли русские пленные, подкалываемые сзади копьями. Полуголые, в рваных посконных рубахах, посиневшие от холода, они с трудом подымались по лестницам и кричали, умоляя защитников Рязани не бить их:

— Пощадите нас, братья! Дайте перевалить через тын. Вместе с вами обернемся на татар... Не своей волей идем, нас сзади рубят...

Сверху отвечали:

— Поворачивайте назад! Трусы, заячьи хвосты! Вырывайте мечи у татар, бейте их, ломайте лестницы!

Некоторые пленные, не желая биться со своими же братьями рязанцами, дойдя до половины лестницы, бросались вниз и скатывались по застывшим наледям. Внизу они схватывались с татарами и падали изрубленные.

Повсюду кипел отчаянный бой.

Савелий, вооруженный топором на длинной рукояти, ждал на стене, готовый сбить всякого, кто подымется по лестнице. Приблизились сразу концы трех лестниц. По ним быстро, один за другим, карабкались люди. Кто они —

русские или татары? Полуголые, в отрепьях, с дубинами в руках, они лезли с отчаянием ужаса и кричали, не помня себя.

Савелий крикнул:

— Наш аль нет?.. Перекрестись!

Первый не ответил, а вопил диким голосом, держа над головой дубину, и хотел ударить ею Савелия. Но дубина вылетела, и он покатился вниз со ската.

Следующий кричал:

— Дикорос! Сват! Не тронь... Я Ваула! За мной Звяга...

Топор Савелия застыл в воздухе. Мужики грузно перевалили через дубовую стену. За ними быстро карабкался молодой татарин с кривым, блестящим мечом. Он полетел вниз с рассеченной головой. Савелий бил с яростью и силой, так же уверенно, как привык рубить в лесу старые вековые ели.

Звяга и Ваула встали рядом с Савелием. Они сталкивали жердями каждого, кто подымался по лестнице. Тут же на стене отчаянно защищались остальные рязанские ратники, отбивая приступ.

Им помогали женщины. Они выливали ведра кипящей воды на штурмующих. Бросали камни и глыбы льда на всех, кто пытался взобраться по лестнице.

К полдню штурм был отбит. Татары притихли и отошли. Внизу, под стенами, двигались, ползали, отчаянно кричали раненые. Татары ходили между ними, своих они оттаскивали, а русских добивали.

Штурмы повторялись и днем и ночью в течение пяти суток. Рязанцы упорно стояли на своих местах. Но ряды их уменьшались, и некому было заменить павших. Женщины становились на место мужчин, убитых стрелами или раздробленных пудовыми камнями. А татары посылали на приступ все новые, свежие отряды. Они лезли упрямо, надеясь на скорую поживу: кто первый ворвется, будет грабить все, что захочет.

Савелий, Звяга и Ваула помогали друг другу, чередуясь. Во время недолгого затишья они ложились тут же, на стене, и засыпали мгновенно, сунув под голову руку.

Вслед за камнеметной машиной к воротам подползли два тарана — большие бревна с железными наконечниками, подвешенные на прочных подставках. Работавшие возле таранов монголы и пленные, прячась за кожаные щиты,

раскачивали бревна, со страшной силой ударяя ими в городские ворота. Дубовые доски трещали, отлетали щепки. Со стены лили кипяток, горячую смолу, метали стрелы и камни.

А тараны упорно били и били без остановки и, наконец, раскололи ворота.

С криками торжества ворвались в ворота татары и натолкнулись на толстую каменную стену, наглухо закрывавшую вход. Ее сложили за дни штурма рязанские женщины, которым помогали дети.

Татары не прекращали натиска и, добавив лестниц, снова посылали отчаянных воинов, старавшихся сломить упорство рязанцев.

Защитники города видели, что силы их слабеют, понимали, что конец близок.

Двадцатого декабря вдова князя рязанского, Агриппина, с молодыми снохами и ближними боярынями сошлись в соборной церкви. Они решили встретить здесь неминуемую гибель. Их окружили многие рязанские женщины. Епископ и священники пели молитвы и сулили райское блаженство всем, принявшим мученическую кончину.

Слепой звонарь неустанно продолжал звонить в большой набатный колокол. Звон, казалось, говорил, что борьба продолжается, что никто не сдается, что русские люди лягут костьми за родную дедовскую землю.

На шестой день осады, 21 декабря, татары снова двинулись по лестницам, неся горящие факелы. Непрерывные потоки татар ползли одновременно со всех сторон. Одни бились кривыми саблями, другие стрелами сбивали защитников.

Наконец татары стали одолевать. Дикий, радостный вой несся со всех концов города. Татары уже бежали по улицам, врывались в дома и рубили всех, старых и малых, никому не давая пощады.

Они разбили церковные двери, вбежали внутрь храма, изрубили женщин и священников, подожгли здание. Они бросали в огонь маленьких детей, вырывая их у матерей, которых тут же, на глазах у всех, насиловали, после чего распарывали им животы.

К вечеру в Рязани в живых не осталось никого. Современник пишет:

«Некому было стонать и плакать, некому скорбеть о погибших, родителям о детях, детям о родителях, братьям о братьях — все вместе лежали мертвые...»

Савелий, взглянув в этот день со стены, ужаснулся: к нему ползли восемь лестниц, а внизу чернела толпа татар, готовых идти на приступ. Савелий сбрасывал глыбы земли, сбивал влезавших, но лестницы поднялись и справа и слева. Татары перевалили через стену. Савелия они не тронули,— им было не до него. Стараясь перегнать друг друга, побежали они к детинцу, где были княжеские хоромы, кладовые, склады и скотные дворы.

Савелий попал в волну убегавших рязанцев, которые, отбиваясь от татар, теснились к выступу стены, нависшей над рекой. Рязанцы перелезали через стену, скользили по обледенелым накатам и падали в реку в том месте, где был проломан лед. У кого хватало силы, тот переплывал реку и бежал полем в сторону леса.

Татары спешили поскорей начать грабеж и не преследовали убегавших: «Далеко не уйдут, все равно наши будут».

В числе немногих спасшихся был Савелий. Несмотря на ледяную воду, он переплыл Оку. В мокрой одежде, с топором за поясом, он вылез на противоположный берег и остановился. В последний раз оглянулся на Рязань.

В вихре пламени и дыма выделялись колокольни горевших церквей. Савелий ясно слышал покрывавший вой и крики победителей равномерный одинокий звон набатного колокола, в который продолжал бить слепой звонарь.

Так, до последнего вздоха, пока его не прикончил разъяренный татарин, звонил старый слепой звонарь, призывая русский люд на защиту родины.

Глава одиннадцатая

ПРОЩАНИЕ С ПАВШИМИ

Штурм окончен. Пожар угасал. Рязань, за ночь засыпанная снегом, вся в обугленных развалинах, лежала, как страшно изуродованная покойница под парчовым серебристым покровом.

Бату-хан пожелал проехать через покоренный им стольный город. Гонцы поскакали в ближайшие отряды «непобедимых» с приказом через день к восходу солнца выстроиться против ворот Рязани.

Татарские отряды растянулись неровной волнующейся линией вдоль берега замерзшей Оки. Сотни построились в десять рядов. Перед каждой полусотней, с копьем, увенчанным цветным лоскутом, сидел на коне лихой багатур.

Сотню возглавлял полновластный джагун[1]. Позади неподвижно застыли барабанщик с двумя котлами, обтянутыми кожей, трубач с рожком на перевязи через плечо и щитобоец с круглым медным гонгом[2].

Сотни заметно поредели. Во многих десятках не хватало где по одному, где по три всадника. Среди оставшихся было немало перевязанных — со следами русских мечей и стрел.

Вдоль реки, на скатах городских валов и на дороге, валялись трупы. Голые человеческие тела, уже запорошенные снегом, лежали в самых необычайных положениях: одни — свернувшись, другие — раскинув руки и ноги, некоторые — упав головой вниз, в выбоину. Из глубокого снега торчали разутые ноги, на которых сидели крикливые галки.

Тысяча «непобедимых» уже давно выстроилась вдоль реки. Кони застоялись и тянули повод. Вдали протрубил боевой рожок. Другие рожки повторили сигнал. Джагун первой сотни проревел:

— Внимание и повиновение!

— Внимание и повиновение! — повторили за ним сотники и десятники. Воины выпрямились, подобрали поводья. Тысяча замерла в напряженном ожидании.

Из посада, со стороны уцелевшей от пожара церкви, выехала группа всадников. Впереди скакали трое, средний держал белое пятиугольное знамя с девятью широкими развевающимися лентами. Под золотой маковкой копья висел рыжий конский хвост жеребца Чингиз-хана. На знамени был вышит золотыми нитками кречет, державший в когтях ворона.

Позади ехал другой всадник. Он вез воткнутую на копье голову рязанского воеводы Вадима Данилыча Кофы. Глаза были закрыты, лицо строгое и спокойное; ветер развевал длинную седую бороду и серебряные кудри.

Далее два скорохода в белых кафтанах, белых замшевых сапогах и высоких белых шаманских колпаках вели под уздцы ослепительной красоты белого жеребца с черными горящими глазами. Он изгибал шею, перебирал легкими ногами с черными копытами и плясал, стараясь вырваться. Покрытый малиновой бархатной попоной с золотыми вышивками, конь, как нарядная игрушка, блистал в лучах утреннего солнца.

Монголы с почтением смотрели на белого коня. Они

---

[1] Джагун — сотник.

[2] Гонг — медный щит для сигнала спешного сбора или отступления.

верили, что на нем невидимо едет бог войны Сульдэ, любящий монголов, давший им новую победу.

— Бату-хан своеволен,— шептали монголы.— Сегодня он посвящает белого коня богу Сульдэ, а захочет — завтра сам на нем поедет. Сегодня он сел на вороного коня урусутов, а завтра взберется на бурого медведя...

Бату-хан ехал на рослом вороном жеребце с белыми до колен ногами и белой отметиной на лбу. Джихангир был в серебристой, переливающейся в солнечных лучах кольчуге и в золотом шлеме с длинным белым пером. На коне была серебряная с золотыми бляхами сбруя, чепрак, расшитый золотом,— все сделанное русскими мастерами. Конь был убран так, как обычно ездили русские князья.

За джихангиром на разукрашенных жеребцах ехали ханы. Среди них выделялся страшный толстый и сутулый Субудай-багатур на саврасом коротконогом иноходце в самой простой ременной сбруе.

Бату-хан проехал вдоль линии войск. Татары и монголы кричали: «Уррагх!». Им вторили кипчаки: «Яшасын!»[1].

Джихангир повернул обратно. Сотня «непобедимых» отделилась и последовала за ним. Бату-хан со своей свитой переехал реку, где на льдинах чернели большие промоины и человеческие трупы.

Городские ворота были уже расчищены. У стены работали пленные. За ними присматривали монгольские воины, держа на правом плече блестящие кривые мечи.

Город был совершенно разрушен. Деревянные дома сгорели. Повалившиеся обугленные бревна чадили. Пахло паленым мясом. Из тлеющих пожарищ стекали грязные ручейки.

Бату-хан подъехал к развалинам соборной церкви и поднялся на каменное возвышение, возле которого прежде собирался народ. Здесь еще сохранился почерневший от дыма медный колокол. Перекладины, на которых он висел, обгорели, и колокол-вечник боком лежал на снегу.

Мрачное зрелище открылось перед глазами монгольского владыки. На середине площади были сложены бревна, доски, двери, оконницы, колеса, сани, оглобли и обугленные остатки рязанских домов. На этой груде правильными рядами тесно лежали мертвые воины Бату-хана — монголы, татары, кипчаки, все, кто пал, штурмуя Рязань.

---

[1] Яшасын! — Да живет!

Сколько их? Кто сосчитает! Кто узнает, откуда они родом? Кто скажет, что́ будет с юртами, где целыми днями родные глаза смотрят на запад, ожидая возвращения сына, отца, брата, обещавшего вернуться с конями и верблюдами, нагруженными богатой добычей?..

Безмолвные, со страшными ранами, с застывшими лицами, искаженными страданием, лежали они на спине, уставив открытые глаза в чужое холодное небо.

Шумливые спутники джихангира затихли при виде недавних товарищей. Они ушли навсегда в тот неведомый небесный мир, где за облаками умершие воины призрачными тенями собираются в отряды Священного Воителя. Так учили шаманы...

Мертвые воины оставались в своих обычных одеждах. Никто не осмелился бы снять с покойника синий чапан или расшитую узорами безрукавку: воин должен явиться к тени Чингиз-хана в благообразном виде. У многих воинов на груди стояла медная или деревянная чашка, наполненная зерном или кусочками мяса. Выдающиеся багатуры уходили в царство сказок и песен со своим кривым мечом, привязанным к застывшей ладони.

В наступившей тишине прозвучал протяжный жалобный стон. Он донесся из середины нагроможденных оледеневших тел. Стон повторился, отчетливо донеслись слова:

— Тяжело... Воды!..

Монголы заволновались:

— Нельзя разбирать священный костер!..

Бату-хан оставался неподвижен. Он процедил сквозь зубы:

— Начинайте скорей!

Один из приближенных ханов сказал нараспев:

— Счастлив тот, кто вместе с багатурами, павшими за величие монгольского улуса, улетит, захваченный дымом священного костра! Он попадет за облака в алмазный дворец бога Сульдэ!

Загремели барабаны. Затрубили рожки. Тридцать шаманов в белых одеждах, с медвежьими шкурами на плечах, издавая пронзительные вопли, приплясывая и ударяя в бубны, пошли вокруг огромного костра. Некоторые монголы, потерявшие близких, сойдя с коней, последовали за шаманами, подняв в правой руке шелковый расшитый платок.

Китайские мастера с восьми сторон подожгли паклю, намоченную горючей жидкостью. Черный дым заклубился над костром и быстро побежал по сухим бревнам и доскам.

Пламя разгоралось, охватывало лежащие тела и желтыми языками взлетало к небу.

Жар становился все сильнее. Монголы попятились от костра, но никто не смел удалиться, пока джихангир, неподвижный и молчаливый, прощался со своими нукерами. Джихангир не уезжал, ожидая, пока его верные слуги не пошлют ему прощального привета.

Пламя облизывало трупы. Промасленная одежда вспыхивала желтыми языками. От жара трупы шевелились, скрючивались, двигали руками. Мертвый монгольский сотник, большой и могучий, приподнялся и, точно прощаясь, повернул голову, оглянулся на стоящих вокруг боевых товарищей.

Воины, прикрывая глаза ладонями, жадно вглядывались в огненные языки и клубы сизого дыма. Им казалось, что багровые языки пламени обращаются в призрачных скачущих всадников на коротконогих монгольских конях, которые в снопах ярких искр взметаются вверх, улетая в заоблачный мир, в священное царство воинственного правителя, Чингиз-хана...

Жар стал нестерпим. Горячий вихрь закрутился по площади. К небу полетели раскаленные головни и обломки досок.

Бату-хан, закрываясь рукавом, крикнул:

— Бай-аралла, баатр дзориггей![1]

Он хлестнул плетью коня и, вырываясь из дыма, поскакал с площади вниз, к реке. За ним, звеня оружием, теряя порядок и сталкиваясь, помчались монгольские всадники с прощальными криками:

— Байартай! Байартай![2]

Подожженная поминальным костром Рязань загорелась вторично. Целые сутки были видны вспышки огней и доносился удушливый запах паленого мяса.

Войско отдыхало три дня. Воины резали пригнанный скот. Ханы ели вареную жеребятину и пили вино, найденное в подвалах рязанского князя. Простые нукеры пили чай, сваренный с коровьим салом и мукой, и переговаривались шепотом:

— Гей, ой-о! Если при штурме каждого города будет гибнуть столько воинов, то много ли багатуров вернется на родину?.. Чуй! Не будем думать о завтрашнем дне! Сегодня будем веселиться, пить и наедаться!..

---

1 Спасибо, доблестные богатыри!

2 Байартай! — До свидания!

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ЧЕРНАЯ ТУЧА НАД РУССКОЙ ЗЕМЛЕЙ

Приде весть зла... смятошася люди.

(Летопись)

Глава первая

«СКРИПИТ!»

Долгой зимней ночью на каменной стене стольного города Владимира-Суздальского стоял дозорный. На нем был бурый армяк, надетый поверх овчинного полушубка. Похлопывая ногой об ногу, дозорный ходил взад и вперед от одной бойницы до другой, и новые лыковые лапотки его поскрипывали на хрустевшем снегу. На уши он надвинул собачий меховой треух. Его жесткая борода стала серебристой от инея, глаза зорко посматривали по сторонам и вдаль, туда, где засыпанные снегом леса дремали в голубоватом свете ущербной луны.

Дозорный Шибалка следил за дорогой на юг в сторону Рязани. Там, говорят, рубятся. Какие вести прилетят оттуда? Отбили рязанцы безбожных татар, напирающих из Дикого поля, или вороги обошли город стороной и теперь скачут по снежным полянам через суздальские погосты прямо на Владимир?

Шибалка стар, но по-прежнему крепко держит копье его жесткая, мозолистая рука. По-прежнему Шибалка готов идти биться туда, где чуется опасность для родной земли. Многое может вспомнить старый воин, и сейчас тяжелые думы охватывают его, как серые тучи, медленно ползущие по небу.

Город мирно спит. Ни звука, ни шороха в морозном неподвижном воздухе.

Тонкие, будто детские, голоса послышались внизу, под стеной. Шибалка прислушался. Голоса приблизились. Три тени, вынырнув из-за угла, скользили по стене. Три мальчика в длинных шубейках, прижимаясь друг к другу, быстро семенили лапотками.

— Кто идет? Зарублю! — сказал хриплым голосом Шибалка и стукнул копьем.

— Дедушка Шибалка, не серчай! Это я, Булатка! — ответил голос.— Со мной суседские, Поспелка и Незамайка!

— Вижу, что ты, бесенок! Чего не спите? Зачем ночью по стене бродите? Князь узнает — распалится!

— Мы, дедушка, только посмотреть, что такое скрипит?

— Чего?

— Вот он, Незамайка, говорит, что земля стонет. А я смекаю, не татары ли ползут к нам? Если придут татары, мы тоже хотим драться с ними,— кажись, не маленькие! Вот мы и прибежали узнать, что за скрип?

— Ишь, чего выдумал! Какой такой скрип? — сказал Шибалка.

— Да ты сними колпак, в нем не слыхать.

Шибалка снял меховой треух и наставил ухо.

В тишине лунной, голубой ночи ясно доносился отдаленный неумолчный скрип и звуки, похожие на приглушенные голоса и тонкий плач.

Шибалка пристально смотрел вдаль, желая понять, что за стон, что за горе несется из глубины снежных полей.

— Смотри-ка туда, дедушка!

Шибалка махнул рукой:

— Эх, вы, малые ребятки! Да это Зима ходит по полям в медвежьей шкуре, стучится по крышам, будит баб ночью топить печи. За Зимой бредут метели и просят дела: засыпать снегом обоз или заморозить запоздавшего путника... А Зима идет лесом, сыплет из рукава иней, идет по реке и под следом своим кует воду льдом на пять локтей... Вот откуда скрипит и потрескивает,— то метелица бабьим голосом воет!..

Но мальчики не успокоились, а продолжали всматриваться и, указывая вдаль, говорили:

— Да вот там, дедушка, на реке!..

Луна выплыла из-за туч, и в мерцающем серебристом свете были ясно видны кони, сани, шагавшие люди, двигавшиеся по укатанной дороге вдоль реки. Несмолкающий тягучий скрип полозьев, и жалобный тонкий плач, и всхлипывания нарушали торжественную тишину морозной ночи. Люди и кони тонули в голубом тумане, а за ними появлялись новые обозы розвальней, которые опять, как тени, почти бесшумно, с легким поскрипыванием уходили вперед.

— Кто это там едет? — спрашивал мальчик.

— Это сбеги... спасаются в леса. Знать, татары близко...

— Дедушка! А какие такие татары? Ты видел их?

— Не видел, а слышал, что эти дикие люди не имеют смысла человеческого, живут со скотом в Диком поле и злобою всех одолевают.

— А нас они тоже одолеют? Придут они сюда?

— Может, придут, а может, их уже порубили и отогнали рязанцы. С табунщиками драться надо, что с медведем. Коли побежишь от него, он догонит и задерет, а как полезешь на него с рогатиной, так опрокинешь его и будешь с медвежьей шкурой.

— Глянь-ка: сюда сбеги едут! А за ними воины на конях. Не татары ли это?

Вереница саней направлялась к воротам крепостной стены; за ними следом ехала группа всадников. Лунный блеск вспыхивал на коротких копьях и железных шишаках, на пластинках нагрудных броней.

Шибалка схватил колотушку и начал ударять в висевшее между бойницами чугунное било, подымая тревогу, вызывая стражу.

Груженые розвальни и десятка два всадников подъехали к запертым крепостным воротам, прозванным «Золотыми».

Снизу отчетливо доносились разговоры прибывших. Некоторые всадники сошли с коней и стучали в ворота.

На стену прибежали воины и медленно поднялся, запахивая медвежью шубу, степенный сотник.

— Кто такие?— крикнул он со стены.

— Князь Роман Ингваревич с важной вестью из Рязани.

— А другие возчики кто такие?

— Пустите в город. Пострадали от безбожных татар. Мы — сбеги. Ищем тихие места.

— Какие у нас тихие места! Ждем ворогов каждый день! Князя с его дружинниками пустим, а вы поезжайте в дальние погосты, там и отдохнете...

На нескольких санях послышались крики и плач. На стене толпа воинов прибавилась. Часть их спустилась к воротам. Тяжелые дубовые створцы раскрылись, пропустили всадников и снова закрылись.

Сбеги, громко проклиная владимирцев и их князя Георгия Всеволодовича, поехали дальше искать крова и приюта.

Глава вторая

ДЛАНЬ КНЯЗЯ ШИРОКА И ПРИЖИМИСТА

Князь Георгий Всеволодович суздальский был высок, плечист и дороден. Окладистая полуседая черная борода украшала могучую грудь. Взгляд темных строгих глаз из-под черных бровей пронизывал насквозь, приводил в трепет. Когда князь стоял в соборе на узком шемаханском ковре, отставив ногу в пестром сафьяновом сапоге с серебряной подковкой и заложив левую руку за золотой пояс, правой истово совершал крестное знамение, касаясь перстами белого открытого лба, золотой пуговицы на животе и широких плеч,— молящиеся дивились его величественным движениям, любовались, как степенно он оправлял вьющиеся полуседые темные волосы и откидывал их назад.

В народе говорили, что «хозяин он крепкий и прижимистый, спуску и поблажки никому не дает». Когда он отправлялся по княжеству, никто не мог отвертеться от дани и подарков, со всякого он умел получить хоть шерсти клок.

Он считал себя на голову умнее и смышленее всех, любил каждого поучать и не терпел спорщиков:

— Ты еще молод, чтобы мне перечить! Если бы ты на моем стольце[1] посидел, то многому бы научился и многое бы понял! Богом указано мне княжить и судить людей.

Когда пришли первые вести о нашествии на Булгарское царство неведомого народа татар и мунгалов, а затем, когда толпы булгарских сбегов с женами и детьми начали прибывать в Суздальское княжество, князь Георгий Всеволодович только посмеялся:

— Ну что ж! Булгарам худо, а мне оттого лучше. Милости просим, с алтына на восемь, гости многоценные искусники кожевенники и сафьянники. Всем место найдется. Мне такие мастера нужны. Я их расселю по разным городам, пусть сколачивают дубильные чаны, пусть мочат и мнут кожу, пусть шьют сапоги. Через год все мои бояре и старшие дружинники будут ходить не в лаптях-шептунах, а в кожаных сапогах.

И князь расселил булгарских кожевенников в Кинешме и в других городах княжества, и стали они выделывать разные кожи — бычьи, конские, козьи, кабаньи — и шить из них сапоги, черевья и чеботы.

Пришли новые вести: татары появились в Диком поле, близ рязанских пределов. Князь нахмурился, но не особенно встревожился:

---

[1] Стольце — кресло.

— Рязанцы всегда носы задирают, своего князя «государем» зовут. Мы же, суздальцы, рязанцев били и их город сожгли, князей и бояр рязанских сажали в порубы, а мужиков рязанских расселяли у себя по дальним погостам. Казалось, Рязань никогда уже не справится,— а вот гляди! Снова заселилась и растет Рязань пуще прежнего, как трава-лебеда на пожарище...

Когда рязанцы направили во Владимир прибывших к ним татарских послов — двух соглядатаев и чародейку,— князь Георгий Всеволодович принял их пышно, показывал свое богатство и могущество: сам сидел на золоченом кресле и в парчовом кафтане; бояре и боярыни были в парчовых и аксамитовых одеждах. С послами говорил он властно, не подслащивая свои речи. Он отослал их обратно, одарив помалу, не так, как мог бы.

Рязанцы прислали к нему челобитчиков. Оставив свою гордость, они слезно просили подмоги:

— Присылай свои полки! Сам веди их, главенствуй над рязанской ратью! Надо соединиться, станет русская сила грозна. Половецкие лазутчики доносят, что бесчисленно татарское войско, что и не бывало еще такого. Надобно всем, кто может, схватить топоры, грудью встретить ворогов, иначе обратят они русские земли в золу и пепел.

— Ишь, как испугались, невесть чего выдумали! — ответил князь Георгий Всеволодович. Сам прийти отказался и от своих полков не захотел дать ни одного ратника: — Вы бы, рязанцы, раньше подумали с Владимиром и Суздалем в дружбе жить и смуту с нами не заводить. А коли ко мне сюда татары и мунгалы докатятся, я сам с ними справлюсь.

Уехали рязанцы ни с чем. И пришлось полкам рязанскому, пронскому, муромскому и зарайскому одним выйти в Дикое поле, чтобы задержать татарский набег.

Бояре стали осторожно спрашивать князя, чтó он будет делать, если татары прискачут к стенам стольного города Владимира? Георгий Всеволодович, грозно поводя очами, сказал:

— Не мне их бояться! Я знаю хорошо повадки табунщиков-удальцов: приедут, повертятся, пошарпают в погостах и предложат уплатить им дань. Тут наше дело переманить их послов, угостить их до отвалу белорыбицей и пирогами, напоить старым медом и с ними отослать дары: тысячу пар красных сапог, сотню аксамитовых и собольих шуб и в придачу подарки ханским женам, всего, что у нас припасено в сундуках и кладовых. Захотят татары еще чего-нибудь — коней вороных, рыжих, пегих и других, так

и это дадим. От того не обеднеем. А стены городские у меня крепкие, ворота прочные. Степнякам и на коне их не перескочить и лбом не пробить.

Все же князь Георгий Всеволодович некоторые меры принял. Он отправил своих лучших коней в дальние северные города, склады зерна и сена, бывшие за рекой, перевез в город, усилил дружину, переписал в городе охочих людей, всех призывая вступить в дружину. Назначил воеводой Еремея Глебовича, написал другим князьям — новгородскому, ростовскому, белозерскому и прочим, чтобы готовились и по первому зову спешили к Владимиру отбивать врагов от русских земель.

Он объяснял всем, что бояться нечего, что он обо всем подумал, все предвидел, все предусмотрел, что татарские табунщики три года будут стучаться в стены, а потом все же уйдут.

Глава третья

ТАТАРЫ БЛИЗКО

Был двадцать третий день десятого месяца Студня[1]. Князь Георгий Всеволодович вечером за ужином, после жареного гуся с кислой капустой, закусил еще парой моченых яблок и прилег на лежанке, крытой бараньими шкурами.

Среди ночи его осторожно разбудил старый дружинник, раскачивая за плечо. Князь, разогретый жарко натопленной печкой, с трудом очнулся. Ему снился архиепископ владимирский, суровый владыка Митрофан, в полном облачении. Будто он с амвона грозил перстом и уговаривал его: «Вставай, княже, очнись, солнцеворот прошел, солнце повернуло на лето, и медведь в берлоге повернулся с одного бока на другой...»

— Ин и я повернусь! — бормотал князь, поворачиваясь, но твердая рука дружинника крепко держала его за плечо.

— Вставай, княже, очнись! — говорил старый преданный воин.— Плохие вести привезли гонцы из Рязани.

— Какие гонцы? Какие вести? — спросил князь, с трудом приходя в себя.

— Прибыл из Рязани князь Роман Ингваревич. Мы его впустили в город.

[1] До XV века декабрь, или, по древнерусскому наименованию, Студень, считался десятым месяцем в году. Год начинался с 1 марта.

— Что говорит?

— Сам тебе хочет поведать.

— Прибыл из Рязани? Что там стряслось? — говорил князь, натягивая сапоги.

— Рязани больше нет!..

— Да ты в уме ли? Где князь Роман?

— Здесь, в гриднице.

Дружинник подал беличий охабень.

Сильные руки князя Георгия дрожали и долго не попадали в рукава.

Князь Георгий Всеволодович прошел в гридницу, где обычно происходили его беседы с боярами. Там уже находилось несколько ближних советников.

Слабый свет лампад перед старыми темными иконами озарял бревенчатые стены, кое-где завешенные сукном и коврами. Впереди безмолвных бояр стояли княжеские сыновья — Владимир и Всеволод, спешно среди ночи прибывшие на совет.

Воеводы Жирослав Михайлович, Еремей Глебович и Петр Ослядукович стояли спокойно. Ничто не могло их удивить,— в долгой боевой жизни они всякое видели.

За столом, на скамье, крытой ковром, сидел, положив кудрявую голову на руки, приехавший из Рязани князь Роман. Он крепко заснул, устав от бессонной дороги и скачки на переменных лошадях.

Громко, властным голосом заговорил вошедший князь Георгий Всеволодович:

— Что ты привез из Рязани? Что сделали с нею татары? Крепко ли бились рязанцы или показали пяты и отдали родной город?

Князь Роман Ингваревич ничего не слышал и продолжал сидеть неподвижно. В тишине ночи слышались легкое дребезжание слюдяного окошка и ровное дыхание спящего.

— Я спрашиваю, как бились рязанцы? Наверное, уже сдали город?

Князь Роман очнулся, услыхав последние слова. Он вскочил и крикнул хриплым голосом, сдерживая ярость, согнувшись, готовый броситься на князя Георгия:

— Не тебе так говорить, не тебе с нас и спрашивать! Отвернулся ты от нас в тяжелый час, и сам не пришел и подмоги не прислал... Нет больше Рязани! Сожгли ее мунгалы, и на горящих развалинах города полегли все рязанцы! Но никто не отступил, и не отдали мы нашего города. Только через наши тела ворвались к нам окаянные мунгалы!

— А князь Юрий Ингваревич?
— Убит в Диком поле...
— А князь Пронский, князь Муромский, Василий Красный, Глеб Михайлович Коломенский?
— Все полегли, отбиваясь!.. Всё оглядывались, не идут ли на помощь суздальцы, ростовцы, новгородцы? Где там! Заперлись вы за своими стенами, взобрались на печи и, ворочаясь, только почесывались и тараканов давили.
— Не смей говорить такие речи! — закричал владимирский князь.
— Где вы были, суздальцы, сальники, кулики?[1] Что вы сделали, на болоте сидючи?
— Больно ты дерзок приехал! — захрипел князь Георгий.
— А ты не порочь рязанцев! Лежат они, застывшие, на снежных полянах, и некому даже бросить на них горсть родной земли... Разобью тебе голову, если услышу хоть слово издевки!..
Князь Роман схватил лежавший рядом с ним меч, но бояре и оба княжеских сына бросились вперед и повисли на руках споривших. Князь Георгий, стараясь вырваться, кричал и тянулся к мечу, висевшему на стене:
— Не ему меня учить! Зарублю! Нищий и безродный пришел ко мне просить помощи, а каркает, что ворона, залетевшая в боярские хоромы...
— Батюшка! Не надо так говорить с гостем! — старались успокоить князя Георгия его сыновья.
Сильный низкий голос вдруг покрыл шум. Послышались протяжные, произносимые нараспев слова:
— Мир, тишина и благодать дому сему!
Все оглянулись. В дверях стоял высокий худой монах в черной до пят одежде и в черном клобуке. Длинная черная с проседью борода, большой с горбинкой нос и запавшие под густыми бровями темные глаза делали лицо монаха мрачным и неприветливым. В правой руке он держал медный крест, а в левой длинный посох.
— Я вижу распрю, слышу спор в высоких княжеских хоромах. Не время заводить ссору, рагозу и котору! Я пришел оттуда, где дымом заволокло небо, где горят города, где движется на нас нечестивый страшный народ и несет миру смерть и гибель...
— Кто ты? Откуда пришел? Что тебе надобно? — спросил князь Георгий Всеволодович.

---

[1] Сальники, кулики — иронический эпитет, который укрепился за суздальцами.

— Я раб божий, странник Феофил Неврюй, родом новгородец. Иду из святой земли, из града Иерусалима, где поклонялся гробу господню и кресту животворящу. В Диком поле попал я в узы немилостивых татар, но чудесным промыслом божиим я спасся из неволи и пришел сюда, в славный город Владимир. Пришел я сказать вам: покайтесь, пока не поздно! Народ мунгальский идет с велбудами, с пороками на колесах и в невиданном скопище. Нет стены, которую бы они не проломили, нет города, которого не захватили бы и не сожгли... Мунгалы и татары бесчисленны, аки прузи[1], и посланы творцом вседержителем в наказание людям за их грехи. Скоро мы все погибнем, аки обре[2], и забудется в людях даже память о том, что была когда-то святая Русь!

— Перестань говорить речи страшные! — воскликнул старый воевода Жирослав.

— Зарастут наши пашни повиликой, репьем и волчцом. Жития миру сему осталось всего три месяца и три дня. И когда мы все поляжем убиенными, вострубят трубы архангельские, молоньей поразятся орды татарские, и будет воскресение мертвых и последний страшный суд. Покайтеся!..

Монах перекрестился три раза и поцеловал свой медный крест.

— Клянусь на этом животворящем кресте, что все мною сказанное — святая истина. Тайну сию открыли мне непорочные отцы-отшельники на Афонской горе...

Князь Георгий Всеволодович перекрестился, приложился к медному кресту и сказал монаху:

— Отче Феофил! Мы беседуем о деле порубежном. Сейчас не до тебя. Время позднее. Что ты по ночам бродишь? Кто пропустил тебя сюда? Пройди-ка в сенницу, там мои дружинники проведут тебя в теплую истопку[3]. А завтра я пошлю за тобой.

— Исполать[4] дому сему! — сказал монах и степенно удалился.

У князя Георгия Всеволодовича гнев отошел, и он заговорил своим обычным самоуверенным, властным голосом:

— Я виноват, что сказал слово неудачливое, речь повел не по-ученому. Вечная память сложившим свои головы за

---

[1] Прузи — саранча.

[2] Обре — авары, древнее племя, населявшее черноморские степи, уничтоженное воинственными соседями.

[3] Истопка — истопа, отапливаемая изба.

[4] Исполать — хвала, слава.

землю святорусскую. Поднимем светлый меч, выпавший из мертвых рук. Продолжим бой. Выгоним из нашего княжества татарских воров-грабителей, истребим их злобное племя. Я разделю мои полки: с одним ты, мой старший сын, князь Всеволод, пойдешь в Коломну, с другим полком пойдет в Москву мой младший сын Владимир. Ему в подмогу я дам воеводу Филиппа Няньку. Скачите изгонной ратью,— татары могут налететь раньше вашего... А здесь, во Владимире, на время моего отъезда останется воеводой Петр Ослядукович...

Все молчали, пораженные желанием князя в тревожное время уехать из Владимира. Княжич Всеволод сказал:

— Батюшка, мы выполним твою волю. Мы не уступим родной земли. Мы будем биться, пока хватит сил.

Князь Георгий Всеволодович встал, обратился к киоту с образами и, торжественно крестясь, стал молиться:

— Боже всесильный, боже милостивый! Помоги мне собрать святорусское войско, вложить мужество в души русских людей! Помоги единой могучей стеной поднять их против нечестивых татар! Помоги прогнать злое племя обратно в дикие поля!..

Повернувшись к сыновьям, князь обнял и благословил их. Затем он сделал знак воеводам подойти ближе. Он говорил тихо, чтобы не услышали женщины в соседней горнице:

— Я вместе с племянниками выезжаю на Волгу — в Ярославль, Кострому, Углич. Я найду укромное поле среди густого леса, где построю боевой стан. Там соберу новую могучую, несокрушимую рать. Князья и ближние и дальние, с Бела-Озера, псковичи, и смоленцы, и новгородцы — все пришлют ко мне свои доспешные дружины и простых воинов. Пока татары будут осаждать суздальские города и укладывать здесь свои рати, я соберу во един сноп свежее могучее войско и наброшусь на них. Они уже рассыпались отдельными отрядами и беспечно бродят по нашей земле. Я буду на них нападать врасплох, пока они не собрались опять в одну силу. Буду разбивать их по частям. Я сделаю то, что не удалось самохвальным рязанцам,— одолею татарского царя Батыгу!

— Дай-то бог! Исполать тебе! — воскликнули все.

Воеводы хотели расспросить князя о воинских приготовлениях в городе Владимире, но он отказался им отвечать.

— Теперь вы сами распоряжайтесь! Теперь вы головы, вы начальники. А ко мне приведите сейчас этого черного монаха. Я выпытаю у него все, что он видел у татар.

Младший сын князя, Владимир, еще безусый и розовый, как девушка, побежал из гридницы искать монаха. Роман Ингваревич рязанский, все время молчавший, сказал:

— Не нравится мне этот черный монах. И лик его дьявольский мне что-то знаком. Откуда он свалился? Каким путем сюда прошел?

Владимир вернулся со слугой, который низко склонился перед великим князем:

— Княже Георгий Всеволодович! Прости ты нас!!! Этот старый монах бог весть какими хитростями пробрался в твои хоромы. Он клялся, что приехал-де вместе с князем рязанским. Только, проходя через узкую дверь в сенях, задел он за притолоку, и его клобук свалился! А волосы-то у него стриженые. Какой же старый монах может быть стриженым? Тут он стал браниться. Не успел я оглянуться, а его уже нет! Точно сквозь стену прошел! Не иначе как это был волкодлак, оборотень! Я слышал, как он шел и шептал нечестивое заклятие: «Них-них, запалам, бада кумара!» Еще, поди, напустил черную немочь, а сам обернулся рыжей крысой-пасюком и убежал!

Глава четвертая

«СПЕШИТЕ НА ОБОРОНУ РОДИНЫ!»

Прощаясь с отцом, князем Георгием Всеволодовичем, младший сын Владимир поцеловал ему руку с большим золотым перстнем на указательном пальце.

— Батюшка, сколько дружинников я могу взять с собой?

— Мои дружинники понадобятся здесь, для защиты моего преславного города. Я передумал. Вместо войска я даю тебе воеводу Филиппа Няньку. Он дороже всякой дружины. Он ополчит[1] горожан, призовет крестьян, быстро соберет целую рать. Под его опытным глазом ты отобьешь всех врагов-недругов. Бейся крепко и не бойся! Я хорошо знаю этих табунщиков: поторкаются в стены, покрутятся и отхлынут назад в свои дикие степи.

— Батюшка, а Рязань-то пала? Стены ее не спасли?

— Рязань! Вон что сказал! Какие у Рязани стены,— кошка перескочит! А сами рязанцы что такое? Разве это воины? Коротконогие, широкие, как пни. То ли дело мы — суздальцы да владимирцы: грудь колесом, росту саженного, красавец к красавцу. Мы всегда били и будем впредь бить рязанцев. Смотри же, сынок, не отдай Москвы!

---

[1] Ополчить — собрать полк, организовать воинский отряд.

— Все же, батюшка, дай мне сколько-нибудь ратников. Ты ведь дал моему брату Всеволоду шесть сотен.

— Так ведь Всеволод едет в Коломну. Она поважнее Москвы. Коломна — передовой порог Дикого поля. А Москва так себе, перекресточек промеж четырех речонок. Татары, пожалуй, и смотреть-то на Москву не станут. Впрочем, выбери десять дружинников, чтобы тебя охраняли. Ты будешь их посылать ко мне с вестями, что у тебя делается. Ну, господь бог да сохранит тебя в боях ратных! Вернешься со славой, награжу тебя знатно.

— Дай мне тогда в княжение Рязань.

— Ну и дам. Я давно хочу примыслить себе всю рязанскую землю...

Великий князь Георгий Всеволодович уехал на рассвете вместе с двумя племянниками и сотней верховых дружинников. Княгиня Агафья Ростиславна, высокая, дородная, в собольей шубе, провожала мужа до последней ступеньки резного крыльца. За ночь, подняв всех поварих, она приказала напечь ему на дорогу пирогов и уложить их в дорожный возок. Она тихо плакала, стараясь сдержать катившиеся слезы, кланялась, прощаясь, в пояс. Верила словам князя, что скоро он вернется.

Кутаясь в медвежью шубу, князь поудобнее уселся в открытом плетеном из лозы возке. Три коня, запряженные гуськом, потащили скрипучие сани. Верхом на переднем коне ехал старый слуга, искусный аргун[1]. Выезжая из ворот, князь высоко поднял бобровый воротник шубы, чтобы его не узнали встречные.

На узких кривых улицах города было еще темно. Кое-где в маленьких окнах деревянных домов тусклый красный свет пробивался через пузыри, показывая, что начиналась повседневная жизнь: топили печи, месили тесто, выкладывали на досках караваи и пироги.

В городских воротах княжеский поезд из двадцати саней и сотни всадников задержался. Сторож Шибалка допытывался, кто едет, а князь приказал дружинникам и слугам никому себя не называть. Шибалка заглянул в возок и узнал пронизывающие черные глаза. Низко снял он колпак и побежал открывать тяжелые дубовые ворота.

Вслед за всадниками проскользнул за ворота высокий бородатый монах с длинным посохом.

---

[1] Аргун — древняя кличка, прозвище плотников. До сих пор владимирских плотников зовут «аргунами».

— Ишь, сколько их бродит, чернохвостых! — проворчал Шибалка.— Пересек чернец дорогу великому князю, как черный кот. Недоброе сулит такая встреча!..

Юный князь Владимир и воевода Филипп Нянька помчались немедленно, чтобы скорее попасть в Москву. Сопровождали их десять дружинников верхами. У каждого был заводной[1] конь. За ними следовали десять саней, груженных кольчугами и другим оружием, с запасом еды для ратников и ячменя для коней.

Ехали сперва по реке Клязьме, потом направились зимними путями, напрямик, чтобы избежать речных извилин и перевертов. Всюду, в глухих лесных деревушках, встречали тревогу. Вся северная Русь всколыхнулась. Мужики вострили топоры и рогатины и расспрашивали, где собирается ратный люд? Но никто толком ничего не знал, и не было одной головы, чтобы собрать воедино всю русскую силу.

Князь Владимир остановился в лесном поселке покормить лошадей. Он сидел возле избы на завалинке. Из лесу показался высокий человек с большой рогатиной в руке и луком за спиной. Он нес на плече дикую козу и шел мерным твердым шагом. Охотник остановился перед Владимиром и снял меховой колпак. На плечи упали белые волосы, пожелтевшие на концах. Он вытащил из-за воротника седую бороду, рассыпавшуюся по груди.

Узнав, что перед ним сын князя владимирского, старик опустил к ногам молодого князя козью тушу:

— Кушай, княжич, на здоровье! Полдничай вместе с твоими ратниками. Слышал я от монаха-странника, что на Русь навалилась несметная сила. Вот и я не удержался и вышел из своего звериного логова. Уж много лет живу я в болотах с медведями и сохатыми, да еще бортничаю[2]— кормят меня дикие пчелки!... Теперь я поднялся скликать на войну сыновей и внуков, а их у меня двадцать семь молодцов. Все вместе пойдем отбивать лихих ворогов. По паре коней на каждого у них да отнимем! Где нам собираться?

— Иди в город, что поближе,— во Владимир.

— Это к батюшке твоему, князю Георгию Всеволодовичу? Нет, к нему я не пойду! У него рука тяжелая и незадачливая. Тому назад годов двадцать стоял твой

---

[1] Заводной — запасной.

[2] Бортничать — добывать дикий пчелиный мед, который пчелами откладывался в «бортях», дуплах старых деревьев. При отсутствии сахара в ту эпоху торговля медом играла большую роль и внутри страны, и в заграничном вывозе.

батюшка с суздальским войском на реке Гзе, а потом на Липице. Оттуда он перешел на Авдову гору и зря уложил там все свое войско. Десять тысяч мужиков-суздальцев тогда пало. Да какие все молодцы! А кто нас рубил? Свои же земляки: новгородские, смоленские, ростовские. А для чего рубились? Ты не скажешь? Нет, ты этого не знаешь!..

— Знаю. Они хотели отнять княжение у моего отца, князя Георгия Всеволодовича.

— Князья промеж себя не поладили: сидеть ли во Владимире князю Георгию Всеволодовичу или его родному брату Константину ростовскому? Брат на брата с ножом полез. Каин Авеля хотел зарубить. Заставили братья за себя биться простых мужиков. Нам-то не все ли равно, какой брат будет сидеть на нашей спине: Константин или Георгий? Так князья мужиков не пожалели, и покатились глупые крестьянские головы! О татарах тогда и не слыхивали, а братья резались хуже татар. Теперь князь Георгий Всеволодович, твой батюшка, небось, почесывается да охает: как бы у колдунов найти живой и мертвой водицы и поднять против татар этих десять тысяч покойничков? Эх, княжич Владимир, в том-то и беда, что покойничков никакими ни заговорами, ни молитвами не подымешь! А кто из стариков остался жив, как я, кто бился в Липице и помнит, что с нами князья сделали, так те за князем Георгием не пойдут!

— Ты что же речи ведешь воровские[1]? — рассердился молодой князь Владимир.— Да как звать тебя? Да я тебя за такие слова зарублю на месте!

— Еще одним покойником больше будет, а татары все равно придут. И мы, мужики, будем с ними драться и гнать из нашей земли — угодно ли это князьям или нет. А как будет с ними драться князь Георгий Всеволодович — мы еще посмотрим! Я с сыновьями и внуками свою ватагу соберу и других сторонников[2] призову. Будем татар ловить и на рогатину насаживать... А ты, княжич Владимир, не серчай на старика и кушай мою козлятину на здоровье, да в бою не показывай татарам хвоста своего коня...

Старик снял колпак, низко поклонился князю Владимиру и, тряхнув седыми кудрями, пошел прочь, высокий и прямой. Из кустов вышло несколько мужиков с рогатинами и луками, таких же высоких, стройных, в овчинных шкурах, и пошли за своим родовиком след в след, нога в ногу.

---

[1] Воровской — раньше означало «разбойничий».

[2] Сторонники — в то время так назывались свободные, не княжеские отряды, своего рода партизаны.

Глава пятая

«ИДЕМ НА МУШКАФ!»

Субудай-багатур сказал Бату-хану:

— Выслушай, джихангир, твоего верного слугу. Немаловажное дело впереди. Ты увидишь ключ к дверям вселенной! Мы должны немедленно двинуться к городу Машфа[1] и взять его раньше, чем его займут другие ханы. Там устроены склады товаров, привезенных из других стран. Там живут иноземные купцы. Там мы захватим большие богатства, заморское серебро и золото, греческое красное вино и германское сукно.

Бату-хан с полузакрытыми глазами ответил усталым голосом:

— Сейчас я занят важным делом. Мы успеем это сделать завтра.

Субудай засопел, наклонился к уху Бату-хана с висящей тяжелой золотой серьгой и едва слышно злобно прошептал:

— На войне один упущенный день, упущенный час — это потерянная победа и пропавшие труды девяноста девяти лет. Ты тратишь по-пустому важный день. Гони, выметай к красным мангусам этих плакальщиков и тунеядцев. Прогони их, или я сам это сделаю! Сейчас пришлю тысячу моих «бешеных» и сам всех здесь разметаю.

Подбородок Бату-хана задрожал от гнева. Глаза раскрылись и уставились в упор в лицо Субудая. Он увидел его прищуренный глаз, изборожденное шрамами, никогда от рождения не мытое лицо с клочками жестких волос, искривленные морщинистые губы, покрывшиеся пеной. Субудая начинала охватывать ярость.

Бату-хан боялся вспышек гнева своего воспитателя и смирился. Он перевел взгляд на просителей-монголов, стоявших на четвереньках, склонив головы до земли. Вереница их тянулась через всю деревянную церковь, выходила сквозь двери во двор, на снежное поле. Бату-хан, стараясь скрыть свое беспокойство, сказал:

— Меня недаром зовут «хороший», «милостивый хан» — Саин-хан! Все, кто мне предан, имеют ко мне доступ, могут сказать моему лицу свои жалобы...

Субудай быстро облизывал длинным языком губы. Бату-хан еще раз на него покосился:

— Я окажу милость еще двум жалобщикам, и мы поговорим с тобой.

---

[1] Машфа, или Мушкаф — так в древних восточных летописях называлась Москва.

Бату-хан сидел, подобрав ноги, на церковном престоле. Сквозь раскрытые двери иконостаса к нему на коленях приблизился старик в полосатом кипчакском халате. Бату-хан остановил на нем равнодушный взгляд, и глаза его опять полузакрылись.

— На что ты жалуешься?

— Меня зовут Назар-Кяризек. Я от самого Сыгнака сопровождаю твое непобедимое войско... Я служу с трепетом и почтением...

— Что ты, слабый старик, у меня делаешь?

— Я сторожу и кормлю будильного петуха у храбрейшего из богатырей, Субудай-багатура...

Бату-хан любил слушать жалобы на своего свирепого воспитателя. Он прошептал: «Дзе-дзе!»

— На что же ты жалуешься? Разве Субудай-багатур тебя обидел?

— Нет, величайший! Но меня наказал аллах,— да будет прославлено его имя! Со мной вместе ушли в поход четверо моих сыновей — все лихие джигиты, один лучше другого.

— Это для тебя почетно! Они заслуживают похвалы!

— В первых же битвах с урусутами пал мой старший сын, храбрый Демир,— да упокоит аллах его душу в садах своих! — и старик, прикрыв глаза рукавом, всхлипнул.

— Гордись, что твой сын умер в битве. Чем я могу наградить тебя?

Назар-Кяризек, вытирая нос ладонью, прошептал:

— Я твоя жертва! Твои милостивые слова — моя лучшая награда!

Субудай прошипел:

— Я его знаю, этого старика. Он старается изо всех сил, и ему можно дать полезное для нас поручение. Стань в сторонке, старик, и жди.

Следующий проситель был в арабской одежде, полосатом шерстяном плаще и мусульманском белом тюрбане. Его кафтан был изодран и висел клочьями. Купец подполз к престолу на коленях и стал с хриплым стоном причитать, ударяя кулаками в грудь.

— Чего он хочет? Я не понимаю его речи.

Толмач объяснил:

— Это бухарский купец. Старшина двенадцати других купцов. Они сопровождают твое блистательное войско и скупают у воинов одежду и вещи, захваченные в битвах. Бухарский купец жалуется, что его обидели твои воины, избили и отняли все имущество.

Бату-хан оживился. Лицо исказилось хищной улыбкой. Он сказал, ударяя ладонью по колену:

— Купцы мне полезны! Купцы привозят нужные товары! Купцы необходимы моим воинам, которые не могут тащить за собой по вселенной все богатства, захваченные в долгой войне. Кто обидит преданных мне купцов, тот увидит смерть. Можешь ли ты указать желтых собак, которые тебя ограбили?

— Число твоих воинов бесконечно, как число перелетных птиц весной. Но если я встречу моих обидчиков, я их укажу.

Субудай вмешался:

— Позволь мне сказать скромный совет. Назначь этого старика, хранителя будильного петуха, защитником и толмачом иноземных купцов. Он хитрый: сумеет их охранить и себя не забыть

— Пусть будет так! — сказал Бату-хан, спуская ноги. Нукеры помогли ему слезть с престола. Бату-хан прошел через церковь к выходу. Просители застонали, и вопли понеслись со всех сторон:

— Выслушай нас, великий, доблестный Саин-хан!

Субудай шипел:

— Говорил я тебе: гони к красным мангусам всех этих просителей! Твое дело воевать, а не суд творить. Нукеры, гоните всех отсюда, очищайте от них юрту!

Татарские тумены шли вперед отдельными самостоятельными отрядами. Они раздвигались в ширину, как растопыренные пальцы ладони, чтобы не мешать друг другу при грабеже городов и сел. Как на облавной охоте, монголы старались охватить петлей русские земли и загнать население в середину, чтобы там прикончить всех, кроме отборных мастеров, нужных для выделки кожи, оружия и шитья одежды.

Монгольские и кипчакские воины рыскали по всем посадам и погостам, обшаривали каждую избу и бранились:

— Куда нас завел Бату-хан! Он соблазнял, что урусуты ходят в собольих шапках и бобровых шубах, что мы все переоденемся, как важные нойоны и богатые купцы, а мы не видели ни одного урусута в кожаных сапогах. Все ходят в заплатанных домотканых зипунах да старых овчинных шубах, на ногах носят лыковые лапти. Не стоило нам и ходить сюда! Кони наши болеют от старой соломы с крыш и ржаного зерна. Они не находят травы под глубоким снегом. Скоро мы потеряем наших коней, а захваченные урусутские кони для набегов не годятся. Мы не знаем, чтó нам везти в повозках,— только коровьи туши и ни одной лисьей шубы! Все попрятали эти хитрецы

в своих вековых лесах, где тропы занесены снегом выше пояса, где нет сена, где всаднику грозит смерть из-за каждой ели...

Монгольские воины становились все более озлобленными из-за неудачной поживы и вымещали гнев на захваченных пленных. Они раздевали их догола. Даже тех, кто был в отрепьях, и тех обдирали. Брошенные на произвол раненые и пленные замерзали на лютом морозе.

Отряды Бату-хана и Субудай-багатура пошли ускоренными переходами по извилистому течению Оки. Они торопились первыми примчаться к небольшому городу Мушкафу, где, по слухам, находились склады иноземных товаров.

Одноглазый полководец держал при себе нескольких булгарских купцов. На остановках он расспрашивал, как они приехали, какими путями? Что за товары везут они из заморья и что они закупают у диких, неподатливых урусутов? Что за город Мушкаф? Где там живут купцы и где их склады? Где они запрятали свое золото? Выгодно ли торговать? Где купцы научились торговому делу?

Жены Бату-хана, его «семь звезд», ехали вслед за головным отрядом. Такова была воля ослепительного. Джихангир не позволил им остаться в прочном теплом монастыре, где он устроил склад захваченной добычи. «Мои «звезды» будут со мной всюду, куда я ни поеду!» — сказал Бату-хан. И жены вместе со служанками ехали в простых плетенных из лозы коробах, поставленных на розвальни. Только старшая жена-монголка имела нарядный красный возок, разрисованный сказочными цветами и золочеными крестами. В нем, бывало, разъезжал по епархии рязанский епископ. Видя красный возок с крестом, встречные урусуты по привычке крестились и становились на колени.

На одном из поворотов реки Бату-хан сдержал вороного жеребца и пропустил двигавшиеся мимо него отряды. Позади него выстроилась охранная сотня.

Многие проезжавшие мимо всадники имели возле себя на поводу одну-две лошади, навьюченные мешками с зерном и кожаными баксонами[1] с разным добром.

После передового отряда приблизилась вереница саней, в которых ехали семь жен Бату-хана и их прислуга. Бату-хан подозвал к себе нукера и что-то шепнул ему.

Красный возок первой жены тянули три белых коня. На переднем сидел конюх с копьем. Сзади следовало пять саней с разной кладью, покрытой медвежьими шкурами. Возок остановился. Жена джихангира, толстая, в простор-

---

[1] Баксоны — кожаные переметные сумы.

ной лиловой одежде, с трудом протиснулась сквозь дверцу. По монгольскому обычаю, она опустилась в глубокий снег на одно колено и стала ждать.

Бату-хан оставался неподвижен. К первой жене подъехал нукер и сказал:

— Джихангир повелевает войти в сани. Сейчас будет быстрая скачка.

Подъехала вторая жена, закутанная в куню шубу, крытую парчой. Три небольших конька гуськом тянули сани. Все три коня, желтые, как воск, были с белыми гривами. На переднем сидел молодой конюх в парчовой, потускневшей от дождя и времени одежде.

Сани двигались медленно, так как за ними тащилась привязанная рыжая корова. За коровой бежал пленный молодой урусут в лохмотьях, перевязанных лыковыми бечевками. Иногда корова трусúла, как могла, рысью, пленный настегивал ее хворостиной. За коровой следовали трое саней, груженных кладью. На последних санях сидели три пленницы-урусутки.

Так же были перегружены сани остальных жен. У каждой кони были разного цвета — у одной вороные, у других рыжие, гнедые, красно-пегие. За санями шестой жены, дочери кипчакского хана Баяндера, шли два скаковых коня, закутанных в попоны. Их вел на поводу кипчакский всадник. Последние сани, запряженные тремя черно-пегими, как барсы, конями, были пусты.

Все сани остановились, из них вышли жены и, преклонив колено, ждали милости джихангира.

— Где Юлдуз-Хатун? — спросил Бату-хан.

Нукер поскакал к вознице, сидевшему на коне барсовой масти, и стремглав вернулся обратно, взбивая снежную пыль:

— Юлдуз-Хатун вместе со своей служанкой верхом на скаковых конях проехала вперед, к разведочному отряду.

Подозвав сотника Кундуя, Бату-хан резко, со злобой проворчал:

— Скажи всем хатунам, пусть немедленно едут в мой лагерь близ Рязани. Пусть они там отдыхают и не отдаляются в сторону: всюду бродят шайки урусутских деренчи[1]. А нас ждет бой, где женщинам грозит гибель.

Бату-хан помчался вперед по дороге. За ним бросилась охранная сотня.

Жены стали плакать и кричать:

— Дуругэй[2]! Почему с джихангиром поехала одна «чер-

---

[1] Деренчи — разбойники.

[2] Дуругэй — не хочу.

ная, «рабочая» жена? Пусть Юлдуз-Хатун тоже возвращается назад! Мы поедем за джихангиром всюду, до конца вселенной...

По указанию Кундуя, строго выполнявшего приказ Бату-хана, нукеры насильно усадили жен в сани и повернули по дороге в Рязань.

Полсотни нукеров охраняли обоз. Жены сперва рыдали, потом стали пересаживаться друг к другу, перешептываться и смеяться. Рассказывали, какие роскошные убранства джихангир захватил в Рязани, Переяславле, Ижеславле и других городах.

— Как жаль, что не удастся попасть в Мушкаф, где много заморских товаров! Но джихангир щедр и нас не обидит!..

Глава шестая

БАТУ-ХАН ПЕРЕД МОСКВОЙ

Бату-хан торопился первым прибыть в Мушкаф.

— Это новый город,— рассказывали булгарские купцы.— Там иногда останавливаются купцы из разных стран, едущие в богатый Ульдемир и Булгар.

Джихангир решил: не надо допускать в Мушкаф других чингизидов. Они без толку и выгоды разрушат городок, а он может ему пригодиться. У Бату-хана были свои мысли, свои планы, и о них он не раз говорил с молчаливым Субудай-багатуром, который сумрачно и коротко отвечал: «Так! Приедем — посмотрим!»

Утром передовая тысяча, с которой ехал Бату-хан, прибыла к берегу, поросшему старым сосновым лесом. Внизу изогнулась заснувшая подо льдом река.

На другом берегу, на холме, виднелся небольшой деревянный городок, опоясанный бревенчатыми стенами. В беспорядке теснились дома, пестрые терема, амбары, небольшие церквушки. Засыпанный снегом городок был окутан сизым дымом, клубившимся над деревянными крышами.

Хотя великий князь уже послал в Москву своего младшего сына, Владимира, однако здесь, видимо, еще не ожидали такого скорого прихода врага. К городу тянулись обозы, шли люди к реке и обратно. Бабы на коромыслах несли деревянные ведра. У проруби на реке стояли сани с бочкой. Человек доставал черпаком воду. Несколько женщин, стоя на досках у проруби, били вальками по вымытым портам.

Черные маленькие срубы, из которых валил густой пар, выстроились вдоль берега реки. Голые люди выскакивали

оттуда, бежали к проруби, окунались с головой и стремглав возвращались назад.

Бату-хан указал плетью на черные срубы:

— Что делают эти безумцы?

— Эти домики называются «мыльни»,— объяснил толмач.— Там люди бьют себя березовыми вениками, моются горячей водой и квасом, затем окунаются в проруби на реке. Это очень полезно. Оттого урусуты такие сильные.

Бату-хан важно заметил:

— Кто смывает с себя грязь, тот смывает свое счастье. Не потому ли монголы счастливы в боях, что никогда не обливаются водой и не моются?

Бату-хана заинтересовали большие лодки, перевернутые кверху днищами и лежавшие рядом на берегу. Другие барки застыли во льду. Около них ходили люди, дымились костры.

— Здесь живут купцы и их слуги,— сказал толмач.— На этих лодках купцы ездят отсюда в Булгар и к латынянам[1] через Смоленск. Купцы эти из-за ранних морозов застряли в Мушкафе.

— Я хочу видеть иноземных купцов. Я буду с ними говорить! — сказал Бату-хан.— Их не надо резать, а поймать и привести ко мне.

Бату-хан на вороном коне остановился около высокой вековой сосны. Невдалеке в снегу зарылась крохотная, осевшая набок избенка. В ней, несомненно, были люди: через волоковое оконце над дверью выходил дымок. Два нукера стали трясти грубо сколоченную дверцу. В избушке послышался кашель и сердитый окрик:

— Чего надо? Леший тебя задери! Не ломай избу-то! Опрокинется.

Монголы продолжали дергать дверь.

— Да постойте, окаянные! Сейчас заверну подвертки. Дайте обуться.

Маленькая дверца открылась. Согнувшись, вылез тощий человек в сером армяке. Его сморщенное лицо обросло белыми волосами, торчавшими в стороны, как перья. Красные глаза слезились. Подняв ладонь к седым бровям, он всматривался в обеспокоивших его нукеров. Они подхватили его под локти и притащили к Бату-хану. Старик был длинный и высохший. Жизнь в низкой избушке приучила ходить согнувшись, и он напоминал колодезного журавля, который то наклоняется, то выпрямляется.

---

[1] Латыняне — так в то время на Руси обычно называли иноземцев, исповедовавших «латинскую» католическую религию.

— Ты кто такой? — спросил Бату-хан.

— А здешний могильщик.

— Как тебя звать?

— Неупокоем звать, а по-хрестьянскому — Никитой, про него же сказано, что «его беси не приемлют».

— Что такое?

— Что?! Да святой Никита — мой покровитель, а его беси боятся и от него бегают.

— Такой человек мне нужен! — сказал Бату-хан.

— Какой с меня ляд! Стар я да болен.

— Что ж ты тут делаешь?

— Грехи замаливаю, и если кто попросит, так от того я бесей отгоняю.

— Какие такие «беси»?

— Такие смрадные паскудники, со рогами, со хвостами, иногда человеческий лик имеют. А коли человеку нагадят — так радуются.

— Я их знаю! — сказал Бату-хан.— У нас они называются красные мангусы. И у нас они на людей похожи и мне делают много зла. Ты полезный человек. Проси у меня, что ты хочешь.

— Не знаю, как и величать тебя,— позволь мне с моей клячонкой ездить вокруг Москвы по красным селам и хоронить покойников. А кто брошен, без сродственников,— тому, несчастному, глаза закрыть. Ты уж дай мне какую-нибудь грамотку, чтобы твои стервецы меня не изрубили.

Бату-хан кивнул головой:

— Юртджи, надень ему на шею деревянную пайцзу. Она спасет его от нашего меча.

Помолчав, Бату-хан обратился опять к могильщику Неупокою:

— А можешь ли ты отгонять болезнь?

— Могу, великий хан мунгальский. Заговоры такие бывают и настойки, травы сушеные,— отгоняют и болезни и кручину. Как рукой сымают...

Но Бату-хан уже не слушал Неупокоя.

Вдали, позади городка Мушкафа, к небу поднялся густой черный дым. Загорелись сразу три села. В клубах дыма вспыхивали дрожащие красные языки огня. Старые дома горели сухим высоким пламенем, выбрасывая пылающие головни. Они падали на соседние дома, и пожар разгорался сильнее. На реке и в городке забегали люди. Водовоз, бросив черпак и нахлестывая коня, промчался к городским воротам. Бабы, схватив порты, врассыпную побежали в разные стороны.

— Шейбани!.. Хан Шейбани пришел! — заговорили монголы.— Шейбани набросился на Мушкаф с другой стороны, раньше нас!

Подъехал Субудай-багатур и прищуренным глазом всматривался в горевшую сторону.

— Откуда свалился Шейбани? — спросил Бату-хан.

— Шейбани-хан поджигает город,— говорил Субудай.— Он примчался по льду через реки Жиздру и Угру, торопясь обойти нас. Он не дает жителям скрыться в лесах. Прикажи окружить город с этой стороны и вылавливать купцов и ремесленников. Скоро молодой князь Ульдемир придет к тебе с поклоном и мольбой.

— Я останусь здесь, на горе,— сказал Бату-хан, сходя с коня.— Пусть мне ставят юрту.

Субудай-багатур возразил:

— Невдалеке отсюда в лощине, где нет ветра, стоит селение. Там ты, джихангир, можешь выбрать себе теплый чистый дом.

— Не хочу. Мы с тобой привыкли спать у костра.

— Верно,— сказал Субудай.— Но для чего в этот сердитый мороз коптеть в дыму? Мушкаф голыми руками не взять. Там сидит хитрый старый воевода. С ним придется повозиться немало дней.

— Пусть, но Мушкаф будет мой!

Бату-хан и его брат Шейбани-хан осаждали Москву пять дней. Жители укрылись за прочными бревенчатыми стенами и отчаянно бились, сбрасывая татар, влезавших по приставным лестницам. Воевода Филипп Нянька и князь Владимир руководили защитой, сменяли усталых бойцов и посылали помощь на особенно опасные места.

На пятый день прибыли метательные машины. В город полетели длинные стрелы с пылающей паклей, намоченной горючей жидкостью. Деревянные дома загорались сразу в нескольких местах. Жители уже не поспевали их тушить.

На высоком берегу между двумя дымящимися кострами, на ковре, переброшенном через упавший ствол сосны, сидел Бату-хан. Рядом — Субудай-багатур. Они равнодушно смотрели на горящий город. Что для них пылающий Мушкаф?! — одним городом больше или меньше, не все ли равно? Много лет они разоряли Китай, Хорезм и другие страны, сжигая и громя города...

К джихангиру подъехали нукеры, гоня пленных. Раздетые, без шаровар, посиневшие от холода, они все же старались сохранить гордый вид, хотя и были перевязаны веревками.

Среди них выделялся один пленник, хорошо одетый,— видно, его не коснулась татарская рука. На нем была широкая малиновая шуба-безрукавка, отороченная соболем. Рукава шелкового кафтана, шерстяные полосатые чулки, башмаки с металлическими пряжками, бархатная шляпа с широкими полями и пышным пером — все это говорило об иноземном происхождении пленника.

Пленных кроме нукеров провожали факих Хаджи Рахим и старик Назар-Кяризек. Они подошли к Бату-хану и остановились.

Сухой, с морщинистым лицом, козлиной бородкой и бегающими глазами, Назар-Кяризек выступил вперед, стараясь придать себе особую важность. В одной руке он держал конец веревки, которой были связаны пленные, в другой — обнаженную кривую саблю. Назар снял малахай и опустился на колени перед владыкой монгольского войска. Нарядно одетый пленный тоже снял шляпу.

— Становитесь на колени! — крикнул Назар-Кяризек.

Пленные опустились в снег.

— Кто эти люди? — спросил Бату-хан.

— Ты пожелал увидеть иноземных купцов. Вот они здесь, перед тобой. Они владеют большими ладьями и складами товаров. Мне и факиху Хаджи Рахиму с большим трудом и опасностью удалось освободить их из арканов и привести сюда. Вот этот нарядный купец — их старшина. Он тоже был ободран дочиста, и синяки на его лице говорят, что он близко познакомился с могучей татарской силой. Но все же, стремясь почтить тебя, ослепительный, он вытащил из тайника спрятанную праздничную одежду, чтобы в достойном виде предстать перед твоим сверкающим лицом.

— Пусть он расскажет,— сказал Бату-хан,— кто он такой, как его имя, из какой страны и города он прибыл? Какие у него дела в городе Мушкафе?

Старшина купцов поднялся, выставил вперед ногу, склонился низко перед Бату-ханом, махнул широкой шляпой с пером перед собой, точно сметая снег. Купец заговорил по-русски, видимо, хорошо и давно зная этот язык, а толмач переводил его речь:

— Я, как и два моих почтенных товарища, родом из Любека, богатого города Вендской области германской земли. Остальные из других городов: Дитмар из Брюггена, Рудольф из Дортмунда, Рейнольд из Сеста и Карол из Медебаха. Все мы принадлежим к купцам «Рузариям», потому что, как и отцы наши, давно, десятки лет, ведем торговлю с русами. Здесь, в этом городе, мы имеем склады

товаров и несколько больших лодок; на них мы ездим летом по русским рекам. На родине нас зовут еще «ганзейцы»[1]. Так именуются те купцы, которые на кораблях, не боясь опасностей, торгуют с далекими странами. Главный город, через который мы ведем торговлю с русами,— это досточтенный город Смоленск. От него мы направляемся вниз, по реке Днепру, в Киев и дальше на восток. Некоторые наши ганзейцы ездят за товарами и в отдаленный, но славный город Новгород и в еще более далекий и богатый город Булгар на реке Каме.

— Какими товарами вы торгуете? — спросил Бату-хан.

— Мы покупаем у булгар и арабов восточные товары: имбирь, перец, гвоздику, изюм, сушеные фрукты. У русов мы покупаем воск, мед, меха, шерсть, щетину, смолу, деготь, кожи, сало, кудель.

— А сами вы что продаете?

— Мы торгуем славным, добротным германским сукном и белоснежными холстами. Мы привозим также оружие и железо, отличное вино рейнских виноградников, искусные изделия из благородных металлов, золота и серебра. Продаем предметы из меди, оловянные тарелки и кружки, имеем также свинец, краски и синьку.

— Можете ли вы сейчас показать мне ваши товары?

Купец снова низко поклонился:

— Для нас было бы величайшей честью представить вашему ханскому величеству все, чем мы торгуем. К сожалению, произошла маленькая неприятность, ничтожное недоразумение, которое легко исправить при благосклонной милости вашего величества.

— Что случилось? — спросил Бату-хан, стараясь сохранить величественное равнодушие, хотя в глазах его замелькали веселые искры.

— Склад наш посетили гости, твои почтенные и храбрые воины. Они взяли, что каждому понравилось. Воинов было много, а товаров недостаточно. Каждый воин отрезал себе кусок сукна или холста, выпил вина. Так как почтен-

---

[1] Ганза, или Ганзе — древнее готское слово, означает товарищество германских купцов, торговавших за границей. Позднее, в XIV—XVII столетиях, объединение отдельных ганзейских товариществ разных городов образовало могущественный союз, имевший свой торговый и военный флот и заграничные конторы в портах от Гибралтара до Новгорода. Во времена Батыя ганзейские купцы (еще не объединенные в один союз) доходили до Владимира и до Булгара и вели оживленную торговлю по Западной Двине, Днепру и Дунаю. Нашествие татар разрушило южное направление торговли Запада с Востоком через Киев и усилило северное направление, создав вышеупомянутый Ганзейский союз и особую их «Контору святого Петра» в Новгороде.

ных гостей было очень много, то мы не смогли ничего сберечь, чтобы поднести вашему величеству для выражения нашей преданности.

— Прикажи их зарубить! — тихо прошипел Субудай-багатур.— Все они хитрые соглядатаи.

— Нет! Я награжу и возвеличу их,— ответил невозмутимо Бату-хан.

— Это опасно!..

— Молчи! Так нужно! — ответил Бату-хан и снова обратился к купцам: — Вы, значит, жалуетесь на моих воинов?

— Нисколько! — ответил спокойно старшина.— Я жалею только, что мы были недостаточно богатыми хозяевами. Все же мне удалось сохранить для вашего величества этот скромный подарок,— и купец вытащил из-за пазухи большой серебряный кубок прекрасной работы, с фигурными украшениями.

Улыбка скользнула по лицу Бату-хана, и он покосился на хмурого Субудай-багатура. Приняв кубок, он стал рассматривать его, приподнял крышку, заглянул внутрь:

— Почему здесь только половина птицы? И что значит этот ключ?

— Это герб нашего ганзейского товарищества в Любеке: половина германского черного орла, а на другой стороне — ключ святого Петра, покровителя купцов. Он, как известно, хранитель ключа от двери в рай, сад господа, куда после смерти улетают праведники.

— Дзе-дзе! — засмеялся Бату-хан.— Это вы, купцы, праведники? Скоро вы будете вырезать на кубках и на ваших монетах: «Бату-хан, джихангир, Покоритель вселенной». Я проеду через ваши земли и возьму приступом ваш город Любек.

Ободранные ганзейские купцы воскликнули:

— Пока ты возьмешь город Любек, согрей нас и верни наши теплые одежды!

— Я вас помилую. Вы получите от меня в дар татарские шубы. Вы мне нравитесь, смелые купцы. Мне полезны такие люди. Теперь не будет больше царств булгарского, урусутского или германского и прочих, а будет только одно великое монгольское... И вы, купцы, свободно будете ездить по всему моему царству и торговать нужными мне товарами. Скоро вы вернете себе богатства, покроете свои убытки и станете самыми счастливыми из заморских купцов. Есть у вас еще просьба ко мне?

— Мы боимся за свои лодки. Твои почтенные воины начали рубить и жечь их на кострах. Прикажи своим

воинам, чтобы они перестали уничтожать этот полезный город, наши склады и лодки.

Бату-хан нахмурился и сжал кулаки:

— Говорите о том, что вас касается,— о коже, воске и сукне, но не трогайте моих воинов! Когда стрела пущена, ее удержать нельзя. Когда дан приказ брать город, моя воля кончается. Воины знают, что, по законам «Ясы», три дня они могут грабить и жечь город, и никто не смеет остановить их радость и веселье. Через три дня я сломаю хребет каждому, кто останется в покинутом городе. Довольно просьб! Разрешаем идти!

Купцы со страхом посмотрели друг на друга, не зная, что делать. Перед ними появился старый Назар-Кяризек и поманил их пальцем:

— Пойдемте! Надо вырвать у баурши обещанные шубы.

— Какой умный, приятный человек этот купец! — сказал Бату-хан, повернувшись к Субудаю.

— И потому особенно опасный,— ответил тот мрачно.

Город Мушкаф продолжал пылать. Деревянные строения быстро превращались в горящий костер. По небу в темных облаках дыма метались белые точки голубей. Проносились с хриплым карканьем стаи галок и ворон.

Стенобитные машины проламывали широкие проходы в стенах, через которые бросались, теснясь, татарские всадники.

— Так велит Яса! Уррагх, кху-кху!..— кричали монголы, рубили встречных и срывали с них шубы и шапки. Пробираясь по узким улицам города, они врывались во дворы и дома. Было дымно и жарко возле горящих зданий. Захватив добычу, татары спешили выбраться из города. Некоторые гнали перед собой женщин или везли на седлах плачущих детей. Другие тащили на арканах пленных со связанными руками.

Два дня город и окружные села были во власти татар. Они скакали во все стороны, рылись в развалинах и рубили пленных, в которых больше не нуждались.

На третий день татары стали собираться в отряды. Повсюду складывались костры. На них монголы положили рядами своих убитых воинов. Костры задымились вокруг развалин Москвы. Татары сидели кругами, ели жеребятину, пели, раскачиваясь, заунывные песни и кричали: «Байартай!», прощаясь с павшими товарищами.

Утром следующего дня татары ушли так же быстро, как и появились. Ни одного человека больше не было видно. Тогда тощий Неупокой на худой взъерошенной кля-

чонке переехал усеянную трупами реку. Его розвальни поскрипывали и точно охали, ударяясь о лежащие повсюду замерзшие, твердые, как камень, тела.

Неупокой останавливался, пробовал оттащить трупы с дороги. Не всегда это ему удавалось.

— Земля цепко держит покойников. Не хочет отдавать! — бормотал он и направлялся медленно дальше. Вскоре к нему присоединились еще двое: старик и юноша, вылезшие из погребов. Старик потерял своих детей. Юноша, беспрерывно вытирая рукавом лицо, искал тело любимой девушки..

— Чего носом шмыгаешь? — заговорил Неупокой.— Почем ты знаешь, что твою Любашу зарезали? Своим глазом, что ли, видел? Ее какой-нибудь хан татарский к себе в жены взял.

— Сердце мое чует! — хныкал парень.

— Подумаешь, чует! Помогай лучше! Видишь, сколько покойников. Всех надо похоронить, чтоб души их не скитались по ночам.

Они стали свозить трупы на лед, обыскивая лохмотья, искали куски хлеба, складывали трупы рядом. Среди них оказалось несколько татар. Неупокой крестился и ворчал:

— Теперь вы не поссоритесь. А река вскроется — всех унесет в Синее море. Больно вас много! Где же мне вырыть всем могилки!

Глава седьмая

ХАН КЮЛЬКАН ПОД КОЛОМНОЙ

Еще до гибели Москвы монголы осадили крепость Коломну[1]. Старые бревенчатые стены казались городу прочной защитой. Ворота с ржавыми железными щитами, бляхами и перекладинами были закрыты. Жители взбирались на стены и со злобой смотрели, как кругом разъезжали группы невиданных всадников. Их небольшие крепкие кони то неслись вскачь, легко перелетая через бугры и кусты, то останавливались, крутились на месте и снова мчались в другом направлении.

Иногда железные ворота с визгом открывались, из города выезжали в поле сотни русских всадников. Они бросались на вертевшихся перед стенами монгольских удальцов, гонялись за ними, чтобы захватить пленных, как приказы-

---

[1] Коломна — передовая крепость, ограждавшая Рязань от набегов кочевников.

вал воевода. Но монголы близко к себе никого не подпускали и не считали постыдным удирать во всю прыть. Русские всадники, помня наказ воеводы, боялись отъезжать далеко от городских стен.

Некоторые отчаянные татарские удальцы показывались перед самыми воротами. Они стреляли из луков в защитников Коломны, наблюдавших сверху, со стен. Монгольские стрелы были длинные, с железными закаленными остриями. Татары стреляли почти без промаха, стрелы их пронизывали грудь насквозь.

Старый воин, кряхтя и ругаясь, вытащил стрелу из кровоточащей раны. Все с любопытством рассматривали невиданную стрелу. К ней была приделана глиняная свистулька, издававшая при полете пугающий визг.

Группа татарских всадников на легких, быстрых конях оказалась близ городских ворот, дразня и вызывая на схватку. Коломенские удальцы просились у воеводы на битву с татарами, но старый, опытный воин их удерживал:

— Еще не пришел последний час. Не верьте хитрому татарину,— он вас заманивает!

Защитой Коломны ведал Еремей Глебович, прославившийся в войнах с половцами. Помогали воеводе сын великого князя Всеволод Георгиевич и спасшийся из Рязани князь Роман Ингваревич. Оба начальствовали полками: князь Всеволод — суздальским, а Роман — собранным из ратников, прибежавших из Рязани.

Сперва казалось, что татар не особенно много. Хотя они окружали город кольцом своих отрядов, все же их было нисколько не больше, чем коломенских защитников. Молодые князья, Всеволод и Роман, порывались схватиться с татарами, разбить их и с боевой славой двинуться дальше, на другие татарские полчища.

Воевода приказал десяти сотням приготовиться, чтобы с рассветом сразу выйти из всех ворот города. Воевода хотел сделать налет на татарский лагерь.

— Захватите татарских пленных. Надо у них выведать: сколько у татар войска, кто из ханов перед Коломной и где другие ханы; придут ли они тоже в Коломну или поведут свои отряды на другие города? Без пленных не возвращайтесь!

Главным начальником войска, осаждавшего Коломну, был молодой хан Кюлькан, младший сын великого Чингизхана. Он вел тумен в десять тысяч монголо-татарских всадников; кроме того, у него было пять тысяч кипчаков хана Баяндера и смешанный тумен из воинов разных татар-

ских племен. Но отряды эти к Коломне не явились, а рассыпались по суздальской земле, занимаясь грабежом убегавшего в леса населения. В течение месяца они сожгли и пустили на пыль и ветер четырнадцать городков.

Хан Кюлькан подъехал к Коломне в суровый зимний день. Он приказал поставить походные юрты на противоположном берегу реки, у опушки соснового леса. Оттуда отчетливо виднелись зубчатые бревенчатые стены Коломны, запертые железные ворота и вооруженные люди между бойницами. Безлюдная равнина замерзшей реки, где над льдинами стаями перелетали черные вороны, была хорошим полем для передвижения войск и предстоящей битвы.

Высокий, сильный Кюлькан, такого же богатырского сложения, как и отец его Чингиз-хан, стоял возле своей юрты и жадно всматривался в крепость, разгром которой принесет ему первую воинскую славу. Лицо Кюлькана было неподвижно, но в душе его кипели страсти, стремление к богатырским подвигам и в то же время недовольство собой.

«Мне уже девятнадцать лет,— думал он,— а я еще ничего не сделал! Правда, в мои годы отец тоже ничего еще не сделал. Он был в то время лишь бедным сыном простого десятника, от которого разбежались его голодные нукеры. Он был рабом и находился в плену с тяжелой колодкой на шее, стучал молотком по наковальне, подгоняемый ударами жестокого хозяина-кузнеца. А я же — могущественный хан Кюлькан! Я сын Повелителя всех народов вселенной, у меня прекрасные кони, под моей властью двадцатипятитысячное войско. Одним движением руки я могу послать его в любую сторону. Я, хан Кюлькан, закончу то, что не мог выполнить отец, я покорю вселенную до Последнего моря. Мне мешают соперники! Первый — Гуюк-хан. С ним нужно дружить до моей победы. Сильнее всех Бату-хан. Зачем его избрали джихангиром? При первой же неудаче Бату-хана надо казнить, объявив его неспособным. А потом убрать и Гуюк-хана. Но главное, здесь, под Коломной, надо прославиться удальством, смелостью, щедростью к нукерам, чтобы они говорили у костров, как они любят Кюлькан-хана. Потом они же помогут мне сделаться великим каганом...»

В отряде хана Кюлькана находился хан Баяндер с пятью тысячами кипчаков. Как правоверные мусульмане, кипчаки стояли особыми лагерями, не смешиваясь с мон-

голо-татарскими отрядами. Здесь с ними были сеиды[1] в зеленых чалмах, затянутые матерчатыми зелеными поясами. Они наставляли кипчаков в правилах мусульманской веры, поучали их, как держаться в бою, говорили им, как радостно пасть за веру. При этом пена выступала у них на губах. Речи их кончались призывом:

— Избивайте иноверцев! Кто падет в бою за веру, тот попадет в райские сады, там он испытает неомрачаемое счастье и блаженство.

Среди мусульманских воинов были еще подразделения по вере: сунниты и шииты. Суннитского толка придерживались кипчаки, а шиитского — воины из иранцев, говорившие по-персидски. На остановках сунниты и шииты никогда не садились рядом и ели из разных котлов. Имамы — проповедники шиитов — рассказывали у костров о приходе «Ожидаемого», или «Господина времени», имама Мехди, давно исчезнувшего, но не умершего.

— Когда зло и насилие в мире достигнут предела, исчезнувший имам Мехди явится вторично, и тогда в мире установится справедливость, не будет ни бедных, ни богатых, а все будут равны и счастливы.

Шиитские воины любили слушать такие рассказы. Они освобождали сеиду место около своего котла и расспрашивали, не скрылся ли Мехди у иноземцев и как найти колодец, куда пролилось молоко из сосцов святой Мариам и приняло там вид отраженного в воде месяца.

— Мы непременно пойдем прямо к этому колодцу,— уверенно заявлял сеид, захватывая тремя пальцами кашу и величественным жестом отправляя ее в рот.— Верьте мне: глаза того, кто заглянет в этот колодец и заметит там молочный полумесяц Мариам, никогда не увидят адского огня...

Кипчакские воины любили слушать былины про подвиги богатырей или смешные рассказы о приключениях плешивого силача Кечель. Но особенно любили они подшучи вать над сотником Тюляб-Бургеном, вспоминая, как связанный урусутский пленный угнал у него красавца коня.

Под Коломной заговорили, что среди урусутских всадников, выезжавших из ворот, многие видели удальца на гнедом коне Тюляб-Биргена. Каждый давал свой совет, как бы вернуть скакуна.

Тюляб-Бирген отворачивался, скрипел зубами и готов был зарубить шутников:

---

[1] Сеид — духовнос лицо, считающее себя потомком пророка Магомета.

— Такого коня, как был мой гнедой, не найти во всем нашем войске. Я на нем догонял всех. На каком коне теперь я смогу нагнать моего гнедого? Не на тех ли одрах, на каких вы привыкли ездить?

Мулла Абду-Расуллы озабоченным голосом стал объяснять:

— Здесь опять, как и всегда, поможет только женщина.

— Как? Почему? — воскликнули кипчаки.

— Такого коня, как тебе нужно, может дать только хан Кюлькан. Лишь у него имеются кони, быстрые, как ветер. Но он щедр только на выпивку, а коней бережет с жадностью. Поймай черноброву и румяную урусутскую красавицу и приведи ее к хану Кюлькану. Подари ему пленницу, а он тебе подарит скакуна.

— Хотя бы не дарил, а только дал для охоты за моим гнедым! — простонал Тюляб-Бирген.

— Берегись, чтобы урусут не отобрал у тебя и второго коня. Ма́шалла... Ма́шалла[1]! — добавил мулла.

Сотник Тюляб-Бирген отправился искать помощи к хану Кюлькану. Два запорошенных снегом дозорных, после долгих уговоров, пропустили сотника в юрту. Позади костра из сосновых веток, на ковре из барсовых шкур, сидел светлейший сын Священного Правителя. Налево от хана тесно прижались друг к другу шесть тысячников. У каждого в руке была круглая деревянная чашка. Слуга-монгол, без сапог, в войлочных чулках, стоял на ковре близ бурдюка, подвешенного на крюке, и подливал ковшиком крепкую арзу в деревянные чашки. Тюляб-Бирген скромно выжидал, сняв меховой колпак и повесив на шею пояс — знак того, что он всецело отдает себя на волю вечного синего неба. Кюлькан, желая показать свое величие, продолжал беседу. Наконец он заметил безмолвного просителя:

— На что ты жалуешься и что просишь, храбрый и славный Тюляб-Бирген? Проходи сюда к нам.

— Я твоя жертва! Ты один можешь спасти меня. Если ты не поможешь, я брошусь в бой и отдамся мечам урусутов. Если я не способен сам проложить себе дорогу доблести, то лучше мне умереть.

— О чем тебе горевать? — сказал старый темник Бурундай, прославленный опытный полководец Чингиз-хана.— Ты молод, но в рассказах у наших костров уже отмечен как отчаянный рубака и лихой разведчик. Продолжай начатый путь! Добивайся новой славы!

---

[1] Ма́шалла — не дай бог!

— Это все было. А теперь каждый желторотый юнец при виде меня гогочет, хотя сам еще не умеет поднять правильно меч и отрубить одним взмахом голову врага.

— Что же ты просишь? — спросил хан Кюлькан.

— Прошу... искру жалости! Из крепости Коломны каждый день вместе с урусутскими всадниками выезжает молодой урус на украденном у меня гнедом коне. Мое сердце не может перенести этого...

— Разве воин может допустить, чтобы кто-нибудь из врагов ездил на его коне? Поймай дерзкого да изруби.

— Ты читаешь, как по книге, скрытые мысли твоих верных слуг и знаешь, о чем я хочу просить.

— Я все понял! Дай чашу арзы верному Тюляб-Биргену. Я устрою облавную охоту на этого дерзкого урусута... Надо захватить живьем коня и ездока. Даю тебе сорок всадников на лучших моих конях. Ты расставишь их вдоль реки по четыре человека через каждые триста шагов. Как только урусут выедет из ворот, сотня моих всадников врежется в толпу урусутов, расколет их и отгонит молодого щенка в сторону. Охотники погонятся за мальчишкой, готовя арканы. Все время будет прибавляться новая четверка всадников на свежих конях. Самый лучший конь не выдержит такой скачки. И мы захватим арканами усталого коня...

— Ты великий, ты щедрый!

— Потом я сам буду допрашивать мальчишку, а ты, Тюляб-Бирген, будешь прикладывать к его спине раскаленные угли, чтобы он говорил правду. Для этой веселой охоты я дам тебе лучшего коня.

— Я твоя жертва на всю жизнь!

Глава восьмая

ОБЛАВНАЯ ОХОТА

...Он догадлив был:
Вымал из налучника тугой лук,
Из колчана вынул калену стрелу.
А и вытянул лук за ухо...
А спела ведь тетива у туга лука,
Угодила стрела в сердце молодца.

(Из древней русской песни)

Торопка приехал в Коломну в рязанском отряде князя Романа Ингваревича. Он остался рассыльным при князе, оценившем юношу за точность и быстроту.

— Что ни поручишь Торопке,— говорил князь Ро-

ман,— он все исполнит, хотя бы пришлось спуститься в пылающее пекло, да еще прихватит ротозея чертенка.

Любимым товарищем Торопки стал стройный гнедой жеребец, вынесший его из татарского плена. Торопка и холил, и лелеял его, и кормил из рук хлебом, и, сам часто голодая, отдавал коню последнюю корку. Доставать в Коломне хлеб и сено становилось все труднее, и конь стал худеть. Жители берегли и прятали хлеб, не зная, сколько времени продолжится осада. Народу в городе набилось много, после того как съехались сбеги из окрестных погостов. Уже начали есть конину.

Торопка, чтобы спасти своего любимца, решил взяться за самую опасную задачу, самое трудное поручение, лишь бы выйти из города. Седло его коня и сбруя были всегда в исправности, кожаные переметные сумы полны ячменя для дороги и плотно прихвачены ремнями, чтобы не свалились при скачке.

Он стал упражняться в стрельбе из лука, найденного на убитом монголе. Доставать стрелы было легко: каждый день они летели в крепость из монгольского лагеря, сбивая на стенах воинов.

Торопка прикрепил к стене мешок со стружками и учился попадать в него с коня. Сперва это казалось невозможным: монгольский лук, сделанный из черных рогов горного козла, был очень тугой. Торопка мог натянуть его только до половины стрелы, которая летела вяло и скоро валилась на землю. Монголы же не натягивали лук, а держали тетиву у подбородка и сразу выпрямляли всю левую руку. Коснувшись тетивой правого уха, они пускали стрелу, которая летела с визгом, готовая пробить любую цель. Постепенно Торопка добился такой же сноровки.

Однажды князь Роман призвал Торопку и дал ему сложенную грамотку, завернутую в красную тряпицу:

— Тебя недаром прозвали Торопка-расторопка. Князь Всеволод поручает тебе важное дело. Завтра мы неожиданно ударим на татар. Будет горячая сеча. Татары не заметят, если во время схватки ты бросишься через реку в сторону соснового леса. Там охотничьими тропами попытайся уйти на север. Князь Всеволод извещает в этой грамоте своего отца, великого князя Георгия Всеволодовича, как тяжело идет у нас защита города, и просит его о помощи. Татарва к Коломне валом валит и скоро нас задавит. Ты дорогу держи на Киржач, Ростов и Углич. Туда еще татары не дошли и проезд свободен. Месяц, два мы выдержим. Но если к тому времени великий князь не

поспеет, все мы до единого здесь поляжем, и спасения нам нет. На тебя надежда, что ты доспеешь, найдешь великого князя и с его дружиной вернешься к нам на выручку...

Перед рассветом назначенного дня, еще в темноте, вооруженные всадники заполнили узкую улицу, ведущую к городским воротам.

Торопка и с ним еще три княжеских отрока находились у самых ворот. Этим отрокам тоже был дан наказ: в темноте пробиться через татарские посты и отвезти грамотки в три разных города.

Уже с ночи закрутила метель. Ветер сметал с крыш снег и осыпал всадников. Немногие были в кольчугах, большинство только в нагольных шубах с нашитыми на груди и плечах железными и костяными пластинками.

— Ну, чего еще ждать! — зашумели хриплые голоса.— Эй, сторожа, открывай!

Заскрипели с лязгом и скрежетом ржавые петли ворот, и обе дубовые створки распахнули путь в жуткую, темную пустоту. Та́м затаилась смерть. Там ждали тысячи скошенных глаз и отточенные кривые мечи.

Гнедой конь Торопки сам тронулся вслед за другими всадниками. Впереди отряда, окруженный телохранителями, ехал князь Роман Ингваревич. Отряд знал свою задачу — налететь на спящий татарский лагерь среди леса на другой стороне реки.

Отряд перешел на рысь, всадники подтягивались, держась теснее друг к другу. На белом снегу выделялись черные фигуры. Небо, закутанное низкими облаками, начинало на востоке светлеть.

Доехав до середины реки, Торопка свернул в сторону и стал ускорять бег коня. Вдруг высокий тонкий голос, совсем вблизи, закричал:

— Кху-кху, кху-кху, монголы!..

По льду застучали копыта. Впереди двигались всадники, они перекликались между собой на неведомом языке.

Торопка круто свернул в сторону, но впереди, среди льдин, опять выросли человеческие и конские тени. Торопка бросился назад, смутно заметив протоптанную тропинку, и помчался по ней, боясь, что гнедой грохнется на скользком льду.

Сбоку вылетели три монгола. Просвистела около уха стрела. Гнедой мчался, перелетая через бугры и льдины. Татары с яростными криками преследовали его некоторое время, но потом отстали. Торопка сдержал коня. Остановился. Прислушался. Впереди снова были слышны глухие

голоса и топот коней. Торопка бросился опять в сторону и налетел на монголов, державших под уздцы лошадей. Послышались радостные крики:

— Тюляб-Бирген! Твой гнедой сам скачет к тебе! Держи его!

Монголы вскочили на коней и помчались за Торопкой. Они все были на отличных конях, легко гнались за гнедым, и скоро один стал настигать. Гнедой уже несся из последних сил. Торопка предоставил коню выбирать дорогу. Оглянувшись, он натянул лук и спустил стрелу, целясь в голову. Всадник вскинул руками и упал с коня. Скакавшие сзади монголы дико завыли:

— Горе! Горе! Хан Кюлькан! Убит хан Кюлькан!

Гнедой уже уходил от погони. Монголы отстали.

Торопка свернул на боковую замерзшую речку с ровной наезженной дорогой среди частых береговых кустов. Места были знакомые. Эта речка вилась бесконечно, начинаясь в тех трясинных болотах, где стояла родная деревня Перунов Бор. Конь, тяжело дыша, перешел на шаг и остановился. Кругом тихо дремали засыпанные снегом старые ели. Небо светлело. Ветер шуршал в неосыпавшихся сухих листьях одиноких дубков.

Торопка, сдерживая коня, поехал охотничьей тропой, чутко прислушиваясь к каждому лесному шороху.

«Почему я поехал к Перунову Бору? — думал он.— Что потянуло меня сюда, оставив дорогу на север? Не серые ли глаза Вешнянки? Нет, это монголы согнали меня с пути, а своя деревня недалеко. Как же мне не заехать? Может быть, кто жив остался, расскажет, что делается в наших местах?»

К полдню пошли глухие, опасные места. Болота затянуло льдом. Только трясинные «окна» чернели и дымились странными вьющимися облачками. Осторожно ехал Торопка козьими тропочками, зная, что опрометчивый шаг может столкнуть коня в бездонное «окно», откуда нет спасения.

Наконец в просвете между деревьями показались знакомые вековые дубы невдалеке от Перунова Бора. Точно к старым друзьям, подъехал Торопка к громадным деревьям. Он нашел валявшегося под ними большого деревянного истукана, перед которым молились прадеды. Кто-то, совсем недавно, сметал с него снег, и веник лежал рядом. Выпученные глаза истукана смотрели в небо, и лицо его как бы жаловалось: «За что меня повалили?»

Кругом на снегу виднелись свежие следы. Видимо, недавно здесь бегали в лапотках бабы и ребята. Смелее тронул коня Торопка и въехал на бугор.

Половина избенок погорела. Уцелели только крайние. Кто сжег? Кому нужно было выкинуть на мороз бедных лесовиков?

Избы Савелия Дикороса не было. На месте ее подымалась только закоптелая пузатая глиняная печь и высокий шест с привязанной на верхушке метелкой. Кругом торчали полузасыпанные снегом обугленные бревна.

С лаем бросился навстречу мохнатый пегий пес. Где-то залились ответным лаем другие собаки. Неужели это Пегаш? Жив еще? Пегаш узнал своего молодого хозяина, стал прыгать и бросаться к седлу.

Торопка приблизился к закоптелой избе, где жил когда-то Звяга. В щель окна пробивалась тонкая полоска света. Торопка подъехал к оконной заслонке:

— Эй, живые люди! Отомкнитесь! Свои приехали, принимайте!

Шепотом переговаривались тонкие детские голоса:

— Не отмыкай, мамка! Может, недобрый человек? Спроси сперва — кто?

Из окошка донесся голос:

— Да ты чей будешь? Откуда?

— Или не хочешь признать? Торопка я, Савелия Дикороса сын! Скорее отомкнитесь! Мне недосуг. Должон дальше ехать.

Застучал засов, отворились ворота. Высокая сухая жена Звяги, кутаясь в рваную шубу, взяла за повод коня и отвела под навес.

— Сена найдется?

— Есть немного, родимый. Сейчас принесу. Куда его теперь беречь: и коня и коровенку злодеи зарезали. Проходи в избу.

Дымная лучина горела неровным огнем, потрескивая и вспыхивая красноватым пламенем. Жена Звяги и трое белоголовых детей сидели кругом Торопки. Разинув рты, смотрели на него, пробовали пальцами кольчугу, остроконечный шишак, высокие красные сапоги...

— Они и у нас здесь были, точно с неба свалились, окаянные! — рассказывала изможденная женщина.— Награбили хлеба, пожгли скирды, избы, захватили с собой баб и девок и много детей. Вот эти трое моих забились под хворост, их и не сыскали татаровья, а троих увезли... Не увижу их больше никогда. Опалёниху угнали, и твою...— она всхлипнула,— твою Вешняночку угнали. Помолись за них. Из татарского плена разве кто вернется? А где мой Звяга? Одни говорят, будто видели его на рязанских стенах, другие — что ушел, в лесу скрывается. Если так, то

домой скоро вернется... Покушай, родимый, хоть хлебушка. Мы теперь хлеб пополам с сосновой корой печем: натолчешь кору и с аржаной мукой замесишь. Муку беречь надо, а не то до весны не дотянем... Иногда выловишь мережкой на озере рыбку. А греемся мы горячей водой с березовой чагой[1]. Заболтаешь в котелке воду мукой, сделаешь болтушку, вот ребятки и хлебают...

— А что о других мужиках слыхала?

— Все, кто в лесах укрылся, все ополчаются в отряды, ловят отсталых татар, садятся на их коней. Татар, говорят, очень много. Такая сила, что и в сказке не сказать. Но и наши мужики дерутся, как волки, ни за что не сдаются. Думаю я, что татары здесь побудут да и уйдут когда-нибудь, а мы тогда снова построимся...

Передохнув, Торопка отправился дальше. Впереди, задравши высоко хвост, важно бежал Пегаш. Он показывал, на зависть другим собакам, что теперь с хозяином не расстанется,— тоже будет воевать.

Глава девятая

ГНЕВ БАТУ-ХАНА

Гонцы, посланные один за другим, примчались к Бату-хану с известием о гибели хана Кюлькана, младшего сына Священного Правителя Чингиз-хана.

Джихангир не пожелал никого видеть. Гонцы твердили, что они не могут ждать «ни на кормежку коня», что они сейчас же должны мчаться обратно с ответом джихангира.

— У нас нет полководца! Войско не знает, что делать! — кричали они.

Дозорные тургауды их грубо отталкивали:

— Нельзя! Ждите!

Гонцы шепотом спрашивали проходивших мимо нукеров:

— Чем занят джихангир?

— Важными делами: колдует вместе с урусутским колдуном, узнает пути дальнейших побед.

Гонцы привязали поводья коней к своим поясам и ждали, сидя на пятках близ юрты. Подъезжали новые гонцы и садились возле.

Проходя мимо, на них обратил внимание начальник охранной сотни Арапша. Высокий, худой, с несмеющимся взглядом, он остановился перед ними, точно оценивая и стараясь узнать каждого.

---

[1] Чага — древесные наросты на березе.

— Отличились! — сказал Арапша.— Плохо теперь ваше дело!

— Чем мы виноваты! Мы преданно исполняем приказы и привезли джихангиру донесение от темника Бурундая.

— Вы привезли черную весть, в которой виноваты только вы. Знаете ли вы, что вас ожидает?

Гонцы вскочили, некоторые хотели садиться на коней.

— Внимание и повиновение! — крикнул Арапша.— Нукеры, не выпускайте никого из этих «черных вестников». Держите их коней. А вы ждите, скоро с вами будет говорить джихангир.

Арапша вошел в юрту. Бату-хан сидел мрачный, скрестив ноги, опустив голову, и пристально смотрел на концы соединенных пальцев.

Рядом сидел на пятках Субудай-багатур. Он взглянул на вошедшего Арапшу, остановившегося у входа. На тихий вопрос: «Можно ли остаться?» — ответил движением головы.

— Он и Гуюк-хан были моими злейшими врагами,— сказал Бату-хан.— Что же мне остается, как не радоваться? Никакого утешения дать я не могу. Я радуюсь: злого змееныша нет!

— Бату-хан может радоваться, джихангир обязан горевать! — тихо, но твердо возразил Субудай.

— Кюлькан искал моей гибели, Кюлькан громко говорил, что я баба с бородой. Только ты помешал мне распороть ему грудь и вырвать ядовитое сердце. Многие из моих врагов еще живы. Главный из них Гуюк-хан, я с ним разделаюсь.

— Зачем ты напоминаешь об этом? Разве я, твой верный слуга, не сторожу тебя днем и ночью?..

— Арапша трижды спасал меня от подосланных черных собак, наемных убийц...

— Тише!..— Субудай начал сердито сопеть.— Никто в войске не должен знать об этом. Не говорил ли ты сам, что полководец должен быть скрытным... Если бы ты стал радоваться, все бы сказали: «Бату-хан такой же, как все!» А ты, как внезапный гром с неба, порази вокруг всех ротозеев, зубоскалов, гуюкских блюдолизов! Укажи цель, куда идти и что делать. Оставайся необычайным, неведомым, непонятным...

Бату-хан очнулся, вскочил:

— Где эти «черные вестники»? Теперь я знаю, что делать.

Арапша ответил:

— Они здесь, близ юрты, ждут твоих повелений.

Бату-хан с мечом в руке вышел из юрты, обвел взглядом сидевших гонцов. Они упали на колени.

Бату-хан начал говорить тихо, сквозь зубы. Постепенно голос его усиливался. Под конец он выкрикивал слова:

— Вам было вверено великое счастье, кусок солнца — сын Священного Правителя. А как вы сберегли его?

— Он сказал, что сам хочет биться,— лепетали гонцы.

— А вы и обрадовались? Разве дело полководца рубить мечом в передовом отряде? Разве так поступал Священный Правитель — великий Чингиз-хан? Он был настоящим полководцем. Он находился позади войска и передвигал девятью словами десятки и сотни тысяч всадников. Так он одержал победы, потрясавшие мир...

— Мы это знаем... Мы это помним...

— А что вы сделали с ханом Кюльканом? Вы обрадовались, что хан Кюлькан стал простым нукером и скачет впереди в драке с урусутами, и никто не удержал его, не отвел назад, не закрыл его своим телом. Вы предатели, и нет вам пощады...

Гонцы распростерлись на земле, лицом в снег.

— Скачите назад. Скажите войску, что джихангир приказывает загладить вину и взять крепость Коломну до моего прихода... Если же я приеду, а вы всё еще будете скакать вокруг города, я прикажу всех вас перебить как отбросы великого войска, созданного Чингиз-ханом. Прочь отсюда, желтоухие собаки, пожравшие труп своего отца! Чего вы еще лежите?

Батый, хрипя, взмахнул мечом.

Гонцы бросились к своим коням, вскочили на них. Через несколько мгновений ни одного из них не осталось.

— Ты слышал, Субудай-багатур?

— Да, ослепительный. В твоих словах я узнал голос твоего деда!

— Я покажу урусутам, что значит убить сына величайшего из людей — Чингиз-хана!.. Я залью кровью всю урусутскую землю... Я перебью все живое, всех живущих, последнюю собаку и последнего ребенка. Страшным пожаром пронесется монгольское войско и обратит урусутскую землю в молчаливое кладбище, где будут слышны только крик ворон и вой волка. Скорее подавайте мне коня!..

Глаза Бату-хана стали круглыми. На губах выступила пена. Он топал ногой и кричал в бешенстве:

— Коня мне! Скорее коня!

Зазвенели медные гонги, сзывавшие нукеров. Задребезжали рожки, извещавшие о походе. Только Субудай-багатур и Арапша оставались спокойными и неподвижными.

— Позволь, ослепительный, тебе напомнить,— тихо сказал Субудай,— что гонцов ты отослал, а преемника погибшему хану не назначил.

— Пока будет начальствовать, по обычаю, старший темник Бурундай. Он воин опытный, а через день я сам буду на месте и покажу, как надо брать приступом крепости!..

Через день передовые отряды Бату-хана и Субудай-багатура были перед Коломной. Бой был в полном разгаре. Монголы непрерывной лавиной старались взобраться на стены, откуда их сбивали защитники города. Но силы русских воинов слабели, помощи ниоткуда не приходило. Татары ворвались в город.

С великим мужеством бился среди рязанских дружинников и пал доблестной смертью князь Роман Ингваревич Рязанский. Рядом с ним сложил седую голову воевода Еремей Глебович.

Татары резали всех без милости. Немногие оставшиеся в живых попали в тяжелый плен. На дымящихся развалинах Коломны татары гуляли и пировали три дня. В середине города, на площади, где стояла сгоревшая церковь Воскресения, Бату-хан приказал сложить большую кладку бревен, на которую положили тело молодого хана Кюлькана. Вместе с ним монголы сожгли сорок самых красивых коломенских девушек. Два любимых коня в нарядной золотой сбруе были убиты в ногах хана Кюлькана. И девушки и кони должны были последовать в заоблачный мир, чтобы там верно служить своему юному погибшему господину.

На той же площади был устроен второй костер для павших монгольских воинов. Костры запылали одновременно. Бату-хан, на вороном коне, мрачно наблюдал за погребальным торжеством. Иногда кричал вместе с другими воинами прощальный привет:

— Байартай, байартай!

Глава десятая

ДИКАРИ ГРОЗЯТ СТОЛЬНОМУ ГОРОДУ

Княгиня Агафья, супруга великого князя владимирского, переживала тревожные дни. Она старалась забыть о надвигавшейся грозе. Проводила время в заботах о семье, о дворцовом хозяйстве, утешала всех, убеждая быть мужественными. Молодые снохи ее, княгини Мария и Христина, и многие боярские жены плакали навзрыд,

твердя, что пришел конец миру. Дети убегали из княжьего двора на стены.

— Не хотим учиться в школе! — кричали они.— Теперь и нам нужно воевать. Мы будем помогать дружинникам, пускать стрелы в татар, бросать в них камни.

Днем и ночью молилась княгиня Агафья. По утрам она посещала соборную церковь Успения богородицы, где вела беседу с мрачным и угрюмым епископом Митрофаном.

— Молись,— говорил ей владыка,— чтоб всевышний помог войску и отогнал безбожных татар. Молись за мужа твоего князя Георгия Всеволодовича и за сыновей, чтоб господь сохранил их от злого врага!

Княгиня Агафья непоколебимо верила обещанию мужа скоро вернуться с большой ратью и освободить землю русскую от татар. Молясь горячо, со слезами, она закрывала глаза и видела мужа перед собой, как живого: высокого, сильного, с уверенной речью, с могучей рукой... Он знает ратное дело, быстро соберет полки, разгонит татар. Он въедет на своем верном белом коне в Золотые ворота Владимира, где княгиня вместе со снохами будет встречать его. Она сама возьмет повод коня и поведет его на княжеский двор...

Князь Всеволод с малой дружиной внезапно примчался из Коломны. Княгиня Агафья сейчас же устроила совещание ближних бояр. Присутствовали воевода Петр Ослядукович, некоторые тысяцкие и обе княжеские снохи.

— Я прорвался к вам чудом, архангел уберег меня. Татары обложили город Коломну со всех концов. Войска у них очень много. Правил ими молодой хан, сын ихнего самого главного хана Чагониза. Третьего дня вдруг поднялся в татарском стане звериный вой и барабанный перестук. Пленные сказали, будто их вождя, хана Кюлькана, убило русской стрелой. Оттого они завыли, своему богу жаловались. В этой суматохе я и проскочил. Татары придут сюда огромной силой, разольются по полям, как вода весной в половодье, и не будет нам тогда выхода... Кто из женщин может, пусть бегут на север, в Новгород, Кострому, Галич или на Белоозеро. Надо прятаться в лесах, в пустошах. Во Владимире будет резня, и вряд ли мы удержимся до прихода князя-батюшки.

Княгиня Агафья твердо заявила:

— Мы вас не покинем. Вместе будем пить горькую чашу!

Обе снохи заплакали и сказали:

— Никуда мы от вас не уйдем! Зачем нам ехать в холодные леса и пустоши? Там все едино пропадать с малыми

детьми! Лучше мы здесь на стене будем биться рядом с вами!

— Не женское это дело! — заметил воевода Петр Ослядукович.

Сидевшая между снохами приемная дочь-сирота юная княжна Прокуда вмешалась:

— А я вот слышала, что у татар женщины на конях бьются рядом с мужьями и братьями.

— Молчи, Прокуда! — строго заметила княгиня Агафья.— Совсем ты от рук отбилась. Вместо того чтобы в терему сидеть, на стену бегаешь да с простыми смердами речи ведешь!

— Все одно убегу я от вас и проберусь в заволжские леса к батюшке крестному. Чего нам сидеть да вздыхать? Лучше биться в лесу или в поле. Все одно: когда смерть захочет, то нас поймает.

— Запру тебя в терему! — закричала княгиня Агафья.

— Придут сюда татары, и терема не будет, и нас с тобой не будет!

— Что за охальная девка! — застонала княгиня.— Эй, нянюшка! Отведи-ка Прокуду в теремок!

— Сегодня урок в школе. Позволь сходить проститься с учителем! — И Прокуда убежала.

Глава одиннадцатая

В ГРЕКО-РУССКОЙ ШКОЛЕ

В небольшой каменной пристройке при Соборной церкви собирались мальчики. В сенях они отряхали и веником обметали лапотки. Входили в избу, скидывали шубейки и бросали в угол, затем, достав с полки деревянный гребень, расчесывали волосы, остриженные в скобку. Выходили на середину светлицы, медленно и чинно крестились на икону с горящей лампадкой и подходили к учителю, сидевшему в резном деревянном кресле. Громко говорили:

— Здравствуй на многие лета, Максим Далматович.

Учитель, смуглый, чернобородый, с большим острым носом, строго посматривал на ребят и отвечал сухо:

— Садись за стол, расправь книжицу!

Мальчиков было двенадцать. Они чинно усаживались на скамьях по обе стороны длинного узкого березового стола и раскладывали перед собой рукописные книги из сшитых пергаментных листов, замусоленные, засаленные, по которым уже учились до них.

— Встать! — сказал учитель и, сняв меховой колпак, повесил его на стенке на деревянном гвозде возле полочки с книгами.

Мальчики встали. Один из них прочел молитву.

— Сядьте.

Ребята сели. В это время дверь распахнулась и в избу вбежала Прокуда. За ней вошла пожилая нянюшка. Сняла с Прокуды шубейку, оправила сарафанчик и села в углу на ларец.

Прокуда поклонилась в пояс учителю, сказала приветствие и уселась рядом с другими учениками, отодвинув локтем крайнего.

Учитель провел темной, смуглой рукой по черной бороде, откашлялся и начал:

— Сегодня я должен сказать вам особое поучительное слово. Булатко, смотри на меня, Верещага, перестань толкать Чапыгу. Глядите мне в глаза.

Учитель сильно кашлянул.

— Я чернец Максим, мое дело писать книги и учить таких младых детей, как вы, грамотной хитрости. Вы изучили все буквицы, и я уже намеревался, яко по лестнице, подымать вас на изучение часовника, псалтыри и прочих божественных премудростей.

Ребята, раскрыв рты, слушали. Прокуда подперла щеку кулачком и, сдвинув брови, старалась понять туманные для нее слова учителя.

— Эта школа, рекомая «греко-русская», основана великим князем Константином Всеволодовичем, доблестным и мудрым государем, великим князем владимир-суздальским. Держал он при себе многих ученых людей, любил книги и сам их писал. Одних греческих книг у него было более тысячи, частью сам их купил, частью получил в дар от царьградского патриарха...

Учитель закрыл лицо руками, склонился к столу и замолчал.

Ребята подталкивали друг друга локтями и спрашивали на ухо: «К чему это он говорит? Что с ним деется?»

Учитель отнял руки, тряхнул головой:

— Пришло время тяжкое, трудно выносимое. На славный город наш Владимир, где светится, яко лампада в нощи, эта школа, надвигаются темные тучи с грозой и молоньей, хотят все обратить в угли и пепел. И эта школа и эта драгоценная вивлиофика — что все это значит для народа зверского и дикого? Схватит татарин эти драгоценные книги — памятники веков минувших — и бросит в костер, чтобы поджарить лошадиную ногу.

Учитель вытер рукой глаза и обвел внимательным, прощальным взглядом ребят:

— Сегодня наш последний урок. Отныне ваше место на стенах города. Мы, взрослые, возьмем мечи и копья, а ваше дело помогать отцам и братьям — подбирать стрелы, приносить воду и хлеб...

— Мы только этого и хотим! — воскликнули мальчики.

— Теперь еще одна, последняя моя к вам просьба. Может быть, татары ворвутся в школу и сожгут ее. Снесем книги этой вивлиофики в подклеть, сложим в ларцы и закроем камнями. Кто из вас выживет, тот вспомнит после ухода татар об этой подклети, вынесет книги на свет божий, и ваши дети и внуки будут по ним учиться. Наш святой долг — спрятать сей драгоценный светоч знания... Надевайте ваши хламиды!

Ребята вскочили и стали одеваться, радуясь предстоящему занимательному делу. Прокуда подошла к одному из мальчиков и оттянула его в сторону:

— Булатко! Никому ни слова о том, что скажу! Разыщи и принеси мне какой-нибудь зипунишко, порты, рубаху и лапотки...

— Да у меня ничего нового нет, все рваное!

— Вот рваное-то мне и нужно. Мамонька задумала запереться в соборе и сжигаться, если татары придут... А я переоденусь мальчишкой и убегу в лес. Буду биться с татарами, пока мы их не выгоним...

— И я с тобой, Прокуда! Все тебе достану! — обрадовался Булатко.— И другие ребята с тобой пойдут!..

Глава двенадцатая

СКОРБНЫЕ ДНИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Татары появились перед городом внезапно. Еще на рассвете из городских ворот выехало несколько десятков крестьянских саней; на них уезжали горожане, желавшие спасаться в лесах, а в полдень город Владимир уже был отрезан от всего мира.

Сперва татары подходили к городу медленно, мирно, совсем как народ, в престольный праздник съезжавшийся на торжище. С каждым часом их становилось все больше, и вскоре они заполнили все окрестные поля. Всюду задымили костры, возле них расположились обозы. Татары отпрягли коней и вели себя так, точно ничто им не угрожало, точно они совсем не боялись русского войска.

Потом их всадники на крепких конях, держась кучно, стали быстро проноситься под стенами Владимира. Одеты они были в долгополые, бурые, как земля, шубы, в меховые колпаки, прикрывавшие опущенными отворотами лицо и шею, так что видны были только раскосые глаза. Татары громко кричали, бранились. В тихом морозном воздухе ясно звучали их непонятная, странная речь и дикие возгласы.

Все население Владимира поспешило на стены взглянуть на воинов невиданного народа, о странных обычаях и жестокостях которого передавалось столько жутких рассказов.

Княгиня Агафья и снохи ее, княгини Мария и Христина, в сопровождении ближних боярынь и нянюшек, тоже поднялись на крепостную стену близ Золотых ворот. Здесь уже находился воевода и молодые князья Всеволод и Мстислав. Все они внимательно следили за передвижением татарских войск.

К Золотым воротам подъехал отряд, в котором выделялись нарядно одетые ханы в красных полосатых и пестрых одеждах. Под ними были отличные рослые кони с дорогой сбруей, отделанной золотом. Некоторые всадники были в кольчугах, другие в блестящих панцирях. Ханов сопровождала сотня воинов с длинными тонкими копьями.

Толмач, по виду половецкий перебежчик, на чубаром коне приблизился к воротам и обратился к стоявшим на стене:

— Не стреляйте! Слушайте! Великий джихангир, Бату-хан, прибыл сюда со своим могучим, непобедимым войском. Знает ли великий князь и государь Георгий Всеволодович о прибытии в его земли великого хана? Почему же ваш князь до сих пор не явился к великому хану с поклоном? Почему он не шлет даров, не дает клятвы верности, не открывает городских ворот? Где прячется ваш князь? Приведите его сюда, мы с ним будем говорить!..

Стоявшие на стенах бояре тихо перешептывались. Воевода вздохнул:

— О, времена тяжкие!

Некоторые из нетерпеливых владимирцев пустили стрелы. Раненый татарский конь закружился на месте. Татары сейчас же ответили десятком стрел. На стене кто-то вскрикнул.

Татарский толмач продолжал:

— Не стреляйте! Смотрите сюда: узнаете ли, кто перед вами?

Два всадника тащили на аркане высокого худого юношу. Он не упирался, а шатался от слабости, ноги передвигались, как деревянные. Его поддерживала веревка, закрученная на шее. Всадники натягивали концы веревки. Так иногда охотники ведут опасного дикого зверя, натягивая веревки в разные стороны, не давая зверю броситься на провожатого.

Отчаянный крик донесся со стены. Это закричала княгиня Агафья, узнав в пленном своего сына, князя Владимира, уехавшего оборонять Москву. Женщины, стоявшие рядом с княгиней, громко зарыдали, видя юношу, оставленного в жестокую стужу в одних холщовых портах и рубахе, с тряпками на ногах вместо сапог.

— Сын мой, Владушка! — стонала в слезах княгиня Агафья.— Что они с тобой сделали?

— Матушка моя, не плачь! — ответил снизу князь Владимир.— Крепко стойте за родной город! Побивайте их и ничего не бойтесь! Они долго в нашей земле не останутся и скоро уйдут в Дикое поле! Они мучили и ущемляли меня, но сломить не могли. Не бывать их воле над нами! Стойте крепко! Отбивайте недругов!

Проводники стали стегать Владимира плетьми.

— Довольно! — вмешался толмач.— Замолчи! Слушайте, упрямые владимирцы! Перед вами неразумный гордец, молодой князь Ульдемир. Смотрите, какую жалкую судьбу он себе приготовил. Он наказан за то, что не хотел покориться великому джихангиру. Вот что ожидает каждого, кто дерзок и упрям. Города Рязань, Пронск, Ижеславль, Мушкаф и девяносто девять других взяты и обращены в пепел. Непокорные жители перебиты или уведены в плен. Князь Ульдемир перед вами, и мы его водим на веревке, как медведя, на потеху людям. И вы хотите того же? Сдавайте ключи от городских ворот, и вам, под властью нашего великого Бату-хана, будет хорошо, спокойно и светло!..

— Не слушайте его! — кричал Владимир.— Отбивайтесь. Татары жалости не знают. Если вы покоритесь, они все равно вас вырежут! Врут они, окаянные!

— Умрем, но не покоримся! — ответили со стены.

Князья Всеволод и Мстислав и толпа на стене подхватили:

— Умрем, но не покоримся! Уезжайте в свои степи! На русской земле делать вам нечего!

Татары повернули обратно. Два всадника, сторожившие Владимира, сбили его с ног и потащили за собой по снегу, как мертвую тушу.

В тот же день татары поставили на бугре против Золотых ворот желтый шатер и по обе стороны его десяток круглых, как шапки, белых и черных войлочных юрт. Кругом задымили костры многочисленной стражи.

Жители Владимира жадно наблюдали с крепостных стен за поведением татар. Никто не говорил о сдаче, о покорности. Все знали, какая участь ждет пленников, все слышали об уловках татар, старавшихся хитростью проникнуть в город; «только пусти их, а потом жителям пощады не будет».

Князья Всеволод и Мстислав хотели вместе со своими дружинниками выйти из городских ворот для битвы с татарами:

— Умрем, но умрем с честью, в поле!

Старый воевода Петр Ослядукович не дал им на это разрешения:

— Умереть мы сумеем и даже много татар перед тем уложим. Но разумнее выждать. Наш государь, великий князь Георгий Всеволодович, даром не сидит. Он собирает великую рать, скоро явится сюда на выручку и спасет нашу землю и стольный город.

Пока татары готовились к приступу, большой их отряд отделился и направился к Суздалю. Город защищался два дня. На третий — татары ворвались в Суздаль, разграбили его, подожгли княжий двор и Дмитриевский монастырь, перебили жителей. Спаслись из суздальцев только те, кто ранее убежал в леса. Татары безжалостно рубили всех: стариков, беспомощных старух, калек, слепых и, вопреки своему обыкновению щадить церковников, перебили в Суздале и попов, и монахов, и монахинь. Остались в живых только молодые монашки, уведенные татарами в плен.

От разгрома спасся стоявший в стороне, среди густого леса, Богородицкий девичий монастырь. Татары его не нашли, торопясь вернуться обратно в свой лагерь под Владимиром.

Шестого февраля[1] тысячи татар подтащили к стенам города странные, собранные из бревен сооружения, каких владимирцы раньше не видывали. Это были стенобитные и камнеметные машины. Татары подвозили на санях большие камни, глыбы замерзшей земли, хворост и бревна и сваливали все это грудами, возводили леса и складывали примёт, по которому собирались взобраться на крепостные стены.

---

[1] В 1238 году, а по летосчислению того времени — «в 6746 году от сотворения мира».

Они спешно окружили город сплошным тыном, чтобы перехватывать убегавших горожан.

Никаких надежд у владимирцев больше не оставалось. Татар было так много, что на одного горожанина приходилось по двадцати противников. Владимирцы в слезах прощались друг с другом:

— Завтра, в день памяти святого Феодора Стратилата, снежная вьюга споет всем нам вечную память!

Седьмого февраля на рассвете татары бросились со всех сторон на город.

Княгиня Агафья и две ее снохи, ближние боярыни и старейшие попы и монахи укрылись в каменной Соборной церкви. Там их ждал епископ, владыка Митрофан, высокий, худой, с черной бородой и воспаленными черными глазами. Рядом с ним на амвоне перед иконостасом, в погребальных черных ризах, стояло все духовенство. Они пели хором молитвы. Епископ низким сильным голосом призывал всех спокойно, мужественно, с верой встретить неизбежную мученическую кончину.

— Вместо сопротивления врагу покоряйтесь воле божьей и думайте о спасении душ наших. Я постригу вас великим постригом, и вы, облекшись в схиму, обретете лик ангельский, убиенные безбожными татарами, и возлетите прямо ко господу нашему вседержителю в обители райские... Воззри на нас, господи, и простри невидимую руку твою! Прими в мире души рабов твоих!

Бывшие в храме поочередно подходили к владыке Митрофану. Он отрезал у каждого прядь волос, в знак пострига, и чертил священным маслом крест на лбу. Посвящаемые в схиму надевали себе на голову черные куколи[1] и брали друг друга крепко за руки. Все стояли тесными рядами и пели священные псалмы. А снаружи доносились грубые голоса разъяренных татар и дикие пронзительные вопли убиваемых женщин.

Уже слышались тяжелые удары бревен в церковные двери, треск ломаемых досок, как вдруг княгиня Агафья хватилась, что приемной дочери Прокуды нигде не видно. Прокуду стали звать, нянюшки подымались наверх, на хоры и колокольню, но нигде Прокуды не нашли.

— Погибнет девка без пострига, без покаяния! — стонала княгиня Агафья.— Не попадет она со мной в обители райские! Бедная я, бедная! Всех родных сразу потеряю!

---

[1] Куколь — остроконечный черный колпак с нашитым белым крестом.

Глава тринадцатая

ЖИВОЙ КОСТЕР

С высокого берега Клязьмы Бату-хан внимательно следил за штурмом города Владимира. Багровые отблески пожара переливались на золотой сбруе его коня. Красными искрами вспыхивала золотая насечка стального шлема.

К главным воротам, волна за волной, подъезжали все новые и новые татарские всадники. Они оставляли коней внизу, лезли вверх по примёту и осадным лестницам.

Наверху, на каменной стене, шел отчаянный бой. Владимирцы упорно отбивались. Татары схватывались с ними, старались спрыгнуть со стены внутрь города. Русские ратники спешили на место погибших, но бойцов становилось все меньше, а новые толпы татар непрерывным потоком с буйными криками влезали на стены.

Слева от Бату-хана на низком саврасом коне, как неподвижный истукан, сидел широкоплечий, приземистый Субудай-багатур. Он молча смотрел в сторону города, откуда слышались грохот и протяжный вой. Справа от Бату-хана на толстоногом иноходце съежился худой и сутулый темник Бурундай.

— Смотри, джихангир! — Бурундай повернул к Бату-хану желтое безволосое лицо.— Воины хана Гуюка подожгли город с двух концов!

Лицо Субудая перекосилось.

— Воины Гуюк-хана всегда опаздывают! Это не они, а урусуты сами подожгли город...

— Что же медлят «непобедимые»? — крикнул Бурундай.

— Не слушай Бурундая! — огрызнулся Субудай-багатур.— Осажденные храбры и упрямы только по утрам. Надо выждать: в полдень сюда приплетутся дрожащие старики в парчовых шубах и поднесут тебе на золотом блюде ключи от города... Да!.. Так всегда бывало и в Китае, и в Тангуте, и в Бухаре, и в Самарканде! Так будет и сегодня здесь!

Но Бату-хан не хотел ждать. Он визжал и бесновался. Его вороной жеребец перебирал ногами, прыгал на месте и порывался броситься вперед.

— Темник Бурундай! Скачи к воротам, проверь, не улегся ли там спать китайский мастер Ли Тун-по?

Бурундай хлестнул плетью. Чалый иноходец стрелой унесся вперед.

У ворот длинный тяжелый таран с железным набалдашником с грохотом выскакивал из бревенчатого сруба на полозьях и ударял в ворота. Полуголые пленные раскачивали таран под равномерный счет:

— Вдарь сильней! Вдарь еще!

Монголы стегали плетьми пленных, понуждая их бить сильней. Некоторые пленные отказались помогать врагам. Монголы их тут же зарубили.

Сверху, из бойниц и из окон церковки на Золотых воротах, в монголов швыряли кирпичи, горящие головни и метали стрелы. Под ударами тарана дубовые створки ворот трещали и, наконец, развалились. Татары с ликующим воем бросились вперед, сбивая натиском коней встречных защитников.

Узкая улица была загорожена бревнами, телегами, санями, наваленными заборами. Владимирцы встречали татар ударами топоров и тяжелых дубин. Защитники сидели на крышах домов, стреляли из тугих луков, швыряли сверху тяжелые камни... Улицы все более загромождались трупами, но ничто не могло удержать ворвавшихся разъяренных насильников. Они прыгали с коней, сдирали одежды с мертвецов, грабили дома и лавки, снова вскакивали в седла и пробивались дальше. Их маленькие крепкие кони, спотыкаясь, карабкались на преграды, перебирались через бревна, падали вместе с всадниками. Нукеры упорно расчищали путь для следовавшего за ними Бату-хана и его свиты.

Джихангир ехал медленно. Вороной конь поводил ушами, храпел, прыгал через еще двигавшихся раненых. Стоны, дикие вопли и торжествующие крики неслись со всех сторон.

Бату-хан остановился перед каменным собором на главной площади, где толпились «непобедимые». При его приближении воины прекращали грабеж и падали лицом в снег. Бату-хан, не глядя на них, сохранял надменное величие. Изредка хищная улыбка кривила его неподвижное лицо. Он сказал Субудай-багатуру:

— После Булгара и Рязани я беру уже третью столицу!

Субудай прохрипел:

— Да! К концу великого похода монголов на твоем ожерелье будет девяносто девять столиц!..

— Где же обещанные тобой старики с ключами? — насмешливо тонким голосом спросил подъехавший Бурундай.

— Если они сейчас не придут, тем хуже для них! — отвернулся Субудай.

— Тем хуже для них! — повторил Бату-хан.— Я не стану слушать просьбы о милости... Весь город будет вырезан! Сегодня оскорбленная тень хана Кюлькана напьется вдоволь урусутской крови.

Высокий величественный собор, сложенный из белых камней, казался неодолимой твердыней. Около его входных дверей суетились татары, стараясь разбить топорами темные дубовые створцы, украшенные тонкой резьбой. Из собора доносилось плавное протяжное пение многих голосов.

— Что там поют? Где толмач? — спросил джихангир.

— Я здесь! — откликнулся князь Глеб.— Люди, укрывшиеся в соборе, сами поют себе панихиду, чтобы легче было умирать.

Нукеры притащили длинное бревно. Раскачивая его на руках, они стали равномерно ударять в соборные двери и вскоре выломали их.

Пение послышалось сильнее. В темном отверстии под входной аркой показались искаженные ужасом женские лица. В черных куколях с нашитыми на лбу белыми крестами и в черных одеждах, держа зажженные восковые свечи, женщины протяжно пели: «Со святыми упокой!..»

На возвышении посреди собора, в черной ризе, с золотой митрой на голове, стоял епископ Митрофан. Двумя руками он высоко подымал золотой крест, благословляя им на четыре стороны, и кричал звучным голосом:

— Кайтесь, братья и сестры! Настал день судный! Страха не имейте!.. Души убиенных в селениях праведных успокоятся!.. Кайтесь!..

Бледные трепещущие женщины, держась цепью ряд за рядом, в страшной тесноте, широко раскрывая рты, кричали:

— Спаси нас, господи!.. Каемся!..

Другие продолжали заунывно петь: «Со святыми упокой!..»

Бату-хан влетел по ступеням на каменную паперть, заглянул внутрь собора и бросил толпившимся нукерам:

— Уррагх! Смелые соколы! Перед вами белоснежные цапли и жирные утки. Хватайте их, добыча ваша!

Монголы радостно закричали:

— Уррагх! Кху-кху, монголы!

Двери были слишком узки для толпы теснившихся монголов, желавших проникнуть в собор. Монахи в длинных черных подрясниках встречали их яростными ударами топоров, избивая напиравших воинов. Куча изрубленных тел росла в дверях, закрывая доступ к добыче.

— Огня! — шепнул джихангиру Субудай-багатур.

— Разведите костер! — крикнул Бату-хан.

Нукеры разломали соседние заборы и сложили на паперти огромный костер. Высокое пламя закрыло темный вход. Огненные языки врывались внутрь собора, лизали прочные каменные стены. Из верхних окон собора повалили клубы черного дыма. Сквозь дым и огонь из собора доносилось все то же протяжное заунывное пение, прерываемое отчаянными криками женщин.

Все выше взвивалось пламя, все тише становилось пение. Монголы ждали, пораженные упорством и непримиримостью владимирских женщин.

Последние крики затихли. Донесся одинокий жалобный плач и оборвался. Слышался только треск горевших досок.

Монголы разметали костер и бросились внутрь собора. Они вытаскивали полубесчувственных женщин, волокли их на площадь, вырывали из их рук детей и швыряли в пылающие кругом дома. Они срывали с женщин одежды, набрасывались на них; насытившись, отрезали им груди, вспарывали животы и спешили к своим коням. Нагрузив их узлами с добычей, монголы отъезжали в поисках новой поживы.

Бату-хан сохранял надменное спокойствие, ожидая на площади своей доли «священной добычи»[1].

На разостланных женских шубах росли груды разноцветных ожерелий, серебряных и золотых крестов, запястий, колец и других дорогих украшений. Сюда же бросали парчовые поповские ризы, боярские шубы, серебро с икон, золотые священные чаши. Поверх всего красовалась золотая митра епископа Митрофана.

Сюда же монголы приволокли потерявшую сознание великую княгиню Агафью и положили ее у копыт вороного коня...

Бату-хан равнодушно смотрел, как воины сорвали с нее шелковую одежду, головные жемчужные подвески, красные чеботы с серебряными подковами, складывая все в общую груду.

— Дзе-дзе! Кто хочет урусутскую красавицу? — спросил Бату-хан.— Уступаю!

— Конечно, темник Бурундай! — закричали, смеясь, монголы.— Бурундай любит больших женщин!.. Смотри,

---

[1] Согласно строгим законам «Ясы», каждый нукер и просто воин после битвы должен был подъехать к джихангиру, и, опустившись на правое колено, сложить перед ослепительным самую ценную пятую часть всего захваченного. Кроме того, особая часть откладывалась для отправки в Монголию великому кагану.

Бурундай, какая грудь: это розовое вымя, как у самой добротной буйволицы!..

Бурундай подъехал к лежащему обнаженному беспомощному телу, долго рассматривал его. Чалый конь, опустив голову, фыркал и пятился. Бурундай кряхтя слез с коня. Несколько тысячников, сдерживая нетерпение, почтительно теснились полукругом, желая после Бурундая попробовать почетную добычу.

Княгиня Агафья очнулась... Она не плакала, не кричала. Стараясь прикрыть руками свое обнаженное тело, она вся съежилась от стыда и ужаса и остановившимися глазами смотрела на приближавшуюся к ней сухую костлявую фигуру...

Монголы притащили к Бату-хану могучего старика. Он был скручен арканами, но упрямо старался вырваться.

— Джихангир! Ты приказал показывать тебе смелых вражеских багатуров! — сказал подошедший сотник Арапша.— Этот старик оставался последним в доме урусутского бога. Он бился один против всех... Ни дым, ни огонь, ни три стрелы в боку не свалили его...

— Берикелля! — сказал Бату-хан.— Коназ Галиб, расспроси старика!

Князь Глеб спросил пленного, как его зовут, давно ли он служит в войске.

— Меня зовут Шибалка. Я тридцать лет простоял дозорным на городской стене у Золотых ворот.

— Я прощаю твою вину! — сказал величественно Бату-хан.— Я беру тебя к себе нукером.

— Шибалка! — перевел князь Глеб.— Великий царь татарский оказывает тебе большую милость. Он прощает тебе, что ты по неразумению своему осмелился биться против его царского величия. Он берет тебя к себе на службу. Стань на колени и земно благодари!

Шибалка свирепо поводил налитыми кровью глазами, широко раскрывал рот, задыхался,— три стрелы торчали в его боку.

— Ладно, послужу я ему верой и правдой! Дайте мне мою рогатину, я воткну ее в толстый живот великого царя татарского! И тебя, отступника, зарублю! — И, собрав последние силы, старик плюнул кровавой пеной князю Глебу в глаза...

— Желтоухая собака! — завизжал Бату-хан, стегнув плетью по лицу Шибалки. Тот, не дрогнув, продолжал стоять. Четыре монгола крепко повисли на его руках.

— Эй, нукер! — прохрипел Субудай-багатур.

Ближайший нукер соскочил с коня, вытащил из ножен кривую саблю и наискось вонзил ее по рукоять в живот Шибалки.

Кровь показалась на губах старика и ручейком потекла по седой бороде.

— Придет день! Будет свободной наша земля! — крикнул Шибалка, медленно осел и упал лицом в снег...

. . . .

. . . .

Так погиб славный город Владимир — краса северо-восточной Руси, быстро поднявшийся среди остальных городов русской земли, как бы на смену великому Киеву.

Замечательные белокаменные храмы украшали его. Далеко славился его великолепный княжеский дворец, вызывавший восхищение всех иностранцев. Его Золотые ворота — соединение триумфальной арки с крепостным сооружением — говорили о мощи города как военной твердыни. Подобно тому как в Киеве, на его торговой площади, шумели купцы, прибывшие с востока, юга и запада. В его ремесленных кварталах шла постоянная работа. Высоко ценились повсюду искусные изделия владимирских умельцев, еще шире разносилась слава владимирских каменных дел мастеров, создавших в городах Суздальщины прекрасные храмы, украшенные снаружи художественной скульптурой.

Богат и славен был Владимир не только своим изобильным благосостоянием, не только богатством своих бояр и купцов, но и своим просвещением, своей библиотекой, чудесной стенописью своих храмов, собранием художественных произведений великокняжеской казны.

И вот теперь, растоптанное дикими монгольскими ордами, все это лежало в прахе и пепле.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ЕВПАТИЙ НЕИСТОВЫЙ

Какая тишина повсюду гробовая!
Какая пустота унылая кругом!
Все те, что жили здесь, судьбу благословляя,
Лежали на камнях и спали мертвым сном.

(В. Гюго, «Восточные песни»)

Глава первая

КОРЕНЬ РЯЗАНСКИЙ

Отряд всадников — все в железных кольчугах, кованых шлемах, стальных наколенниках — ехал Диким полем по дороге из Чернигова на Рязань. Отряд растянулся длинной молчаливой вереницей, сверкающей на солнце. Не слышно обычных шуток, веселых возгласов и споров. Чем ближе к Рязани, тем чаще попадались разоренные погосты, опустошенные гуменники без единого снопа... Видно, здесь успела похозяйничать татарская орда!

Впереди отряда, на беспокойном половецком коне, ехал молодой витязь. Он часто подымался на стременах, пытливо всматривался в туманную даль. Росла тревога: что ждет его там, в родной Рязани? Ужель отряд опоздает, ужели помощь больше не нужна?..

И он вспоминал недавние дни.

Неласково встретил князь Михаил Черниговский Евпатия Коловрата[1], прибывшего послом из Рязани. Смирив гордыню, Евпатий воздал князю великий почет — поклонился земно:

— Челом бью тебе, княже, помоги! Великий князь и государь Юрий Ингваревич Рязанский прислал молить тебя — не оставь нас без помощи в злой беде!..

И Евпатий рассказал князю и боярам черниговским о грозных полчищах мунгальских, которые, как тучи саранчи, надвигаются через Дикое поле на северную Русь. Все

[1] В некоторых древних источниках Евпатий Коловрат именуется «Евпатий Неистовый».

рязанцы, и стар и млад, встали на защиту родной земли. Но одних рязанцев мало, не справиться им с бесчисленными татарами!..

— Красно говоришь ты, Евпатий! — ответил Михаил Черниговский.— Да над просьбой твоей поразмыслить надо... Не можем мы отдать своих ратников!

Бояре зашумели:

— Нельзя вести на мунгалов наш большой полк!

— С чем тогда останется Чернигов?

— Кто его оберегать будет?

Долго спорили бояре. Долго убеждал и упрашивал их Евпатий. Порешили наконец созвать охочих людей.

Бирючи[1] кликнули клич, собрали народ черниговский. Вышел на вечевой помост Евпатий, рассказал про угрозу Рязани и всей земле русской, поговорил с народом так, как привык говорить в родном городе на шумном рязанском вече.

Дружно откликнулись черниговцы. Много набралось охотников, да что толку от такого войска — без оружия, пешие, без теплой одежды...

Нахмурился Евпатий: в Рязани ждут не дождутся помощи, а тут...

— Слушай, Евпатий! Я так решил,— сказал князь Михаил Черниговский.— Выбери триста удальцов. Я им выдам отборных коней, воинские доспехи и запас на дорогу. А больше — не взыщи — помочь не могу!

Поблагодарил Евпатий народ черниговский, отобрал триста лихих молодцов. Снарядил их князь Михаил, и отряд поспешил в далекую, изнемогающую от врага Рязань.

После трудного пути по степным малоезжим дорогам отряд приблизился к Рязани. Всадники ускорили бег коней. На высоком берегу Оки, где недавно красовался нарядный город, они увидели пустынные, засыпанные снегом развалины.

Всадники провели коней по льду через реку. В полыньях и промоинах виднелись оледенелые тела. Всюду, на отвесных откосах берега, на городских валах и на дороге, лежали в беспорядке скованные морозом трупы.

Крепкие деревянные стены вокруг города были разрушены. Из широкого пролома на месте главных ворот выскочили одичалые, взъерошенные собаки. Они бросились врассыпную и скрылись.

---

[1] Бирюч — глашатай.

Всадники осторожно пробирались через рухнувшие балки и груды кирпичей и мусора. Они въехали на главную площадь. С трудом узнавал Евпатий места, где еще недавно шумело народное вече, где пестрели разноцветные купола Соборной церкви, где стояли великокняжеские хоромы с нарядными теремами и высоким резным крыльцом, откуда, бывало, князь говорил с народом. Все выжег, все сровнял бушевавший здесь огонь татарского разгрома!

Среди площади виднелись следы огромного костра. Валялись обгорелые людские кости, черепа, закоптелые татарские шлемы и щиты.

— Немало и татар здесь, видно, полегло! — говорили ратники.

Они сошли с усталых коней. Мрачно смотрели на опустошенный город, безмолвный и печальный, как заброшенное кладбище. С высоты вечевой площади вся разгромленная, сожженная Рязань была как на ладони. Куда ни взглянешь — везде смерть, все разрушено...

Около сохранившегося каменного вечевого помоста лежал на боку закоптелый медный колокол, чей могучий голос сзывал, бывало, рязанцев на многолюдные, шумные сходы.

Евпатий медленно пошел в сторону. Ратники расступались, давая ему дорогу.

Он с трудом разыскал родные места. Вот каменные ступени церкви на углу улицы, а вон там, на пригорке, стояла его старая просторная изба. Среди рухнувших, обгорелых бревен одиноко высилась теперь лишь закоптелая большая глиняная печь.

Евпатий пробирался с трудом через валявшиеся бревна, камни, железные прутья. На обломках, опустив голову на руки, неподвижно сидел человек. Что-то знакомое показалось в его могучих плечах, в длинных седых кудрях...

Камень покатился под ногами Евпатия. Сидящий обернулся:

— Евпатий!..

— Ратибор!..

— Я ждал тебя, друже,— говорил Ратибор, обнимая молодого воина.— Я знал, что ты придешь. Твое слово крепко...

— Приехал, но поздно! — И Евпатий показал на обугленные развалины.— Где мои? Не знаешь?

— На все воля божья! Мужайся, Евпатий!.. Старуха, мать твоя, еще дышала, когда я сюда добрался. Жену твою татары хотели в плен утащить. Она топором отбивалась. Тогда всех зарубили.

— А дети?

— Их в плен увели... вместе с другими...

Евпатий молчал.

— Евпатий! — продолжал Ратибор.— Догоним ворогов! Посчитаемся с ними!.. Привел ли ты черниговцев?

— Привел, да мало: триста человек. Но все удальцы: каждый десяти стоит.

— Найдем еще людей! Много народу в лесах схоронилось. Я был у сторонников. Их с каждым днем все больше. Соединимся с ними и нагоним татар... Идем, друже!

Евпатий взглянул в последний раз на развалины родного дома.

— Идем!

Друзья пошли к вечевой площади. По дороге Ратибор рассказал Евпатию о гибели рязанских полков в Диком поле, о том, как его подобрал молодой князь Роман, как они вместе пробирались обратно в Рязань, как раненая нога заставила его задержаться в пути, а князь Роман покинул его, торопясь в Рязань. Едва оправившись, Ратибор поспешил домой и прискакал как раз к разгрому родного города. Теперь татары ушли в сторону Владимира. Здесь их не видно.

Черниговские ратники отдыхали на обугленных бревнах. Они поднялись навстречу Евпатию и Ратибору.

Широкий кряжистый воин, черниговский старшой, выступил вперед:

— Что надумал, Евпатий? Что будем делать?

Евпатий снял стальной шлем и обвел всех спокойным взглядом:

— А вы чего хотели бы, братья черниговцы?

— Ты звал нас помочь рязанцам. А Рязани больше нет! Татары ее в кладбище обратили!

Евпатий молчал.

— Так неужто мы стерпим это? — продолжал старшой.— Вот тебе наш сказ: порешили мы, черниговцы, на татар идти, отомстить за русских людей!

Евпатий низко поклонился:

— Спасибо, братья! И я и отец Ратибор так же мыслим. Не станем медлить, пойдем по татарским следам. Может, пленных кого выручим...

— Пойдем! Пойдем! — загудели ратники.

— Порешите сперва, кому воеводой быть.

— Евпатий! Пусть нас ведет Евпатий!..

Старшой снова заговорил:

— Кому же, как не тебе, Евпатий, вести нас на татар? Ты все дороги здесь знаешь, да и человек ты ратный. А мы

ведь пахари! От сохи воевать пошли... Да не бойся! Сумеем и мы постоять за Русь! Голов не пожалеем. Будем рубить татар, как лесины рубили. Запомнятся им топоры мужицкие!

— Верно! Верно!

— Спасибо, братья черниговцы! — сказал Евпатий.

Протяжный, будто жалобный звук пронесся над площадью. Евпатий обернулся. Несколько человек поднимали тяжелый колокол. Притащили три бревна, подняли их и связали верхние концы. Одни подтягивали веревками колокол, другие помогали, подхватив его за края. Наконец колокол повис. Ратники обсасывали пальцы, на которых от натуги выступила кровь из-под ногтей.

— Не валяться же тут ему,— пояснил старшой.— Вечник, чай, наш, народный голос!..

Воины подошли к колоколу.

— А может, и жив еще кто? — сказал Евпатий.— Ну-ка, кто молодший? Бей в колокол! Не всех же рязанцев татары перебили.

Молодой дружинник раскачал язык и ударил с размаху. Раздался сильный, протяжный звук.

— Покойников не подымешь! — заметил один из ратников.

Дружинник продолжал бить в колокол, и медный гул пронесся над опустошенным городом, над спаленными ближними городскими посадами, долетел до разгромленных дальних погостов.

Евпатий стоял на вечевом помосте и зорко смотрел по сторонам. Неужто никто не откликнется?..

Но что это? Из черного погреба, из-под обгорелых обломков, показался человек. Он поднялся и, закрывая глаза от солнца, смотрел в ту сторону, где звучал вечевой колокол. За ним появился другой, третий... Отовсюду из темных дыр, из-под избиц, незаметных тайников и подклетей вылезали изможденные, выпачканные в саже и пыли ратники, старики, женщины, дети. Пошатываясь и ковыляя, они спешили к площади.

Мертвый город ожил. Люди прыгали с груды на груду, спотыкались, падали и снова вставали. Их было немного, но все же это были рязанцы!

Вдали, на снежных полях вокруг города, показались черные точки. Прятавшиеся долго люди торопились к развалинам старой Рязани, куда звал их знакомый призывный звон вечника.

Ратибор бросился им навстречу:

— Жива еще Русь!.. Жив еще корень рязанский!..

Глава вторая

НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ

Тихо в дремучем вековом лесу. Отчетливо слышно, как падает с ветки клочковатый снег, как прыгает белка или вспорхнет одинокая зимняя птица. Иногда треск мороза в стволах разбудит тишину и откликнется вдали в густом ельнике. Изредка высоко в верхушках стройных сосен, покачиваемых ветром, послышится слабый шорох. И опять торжественная тишина наполняет тайной онемевший, словно настороженный старый лес.

Сугробы снега прикрыли кусты вереска, можжевельника и волчьих ягод. Ни пешком не пройти, ни верхом не проехать. Только на коротких лыжах, подбитых конской шкурой, можно пробраться через глухую чащу.

Еле заметная извилистая тропинка, протоптанная в глубину леса, вела на небольшую полянку. На ней собрались «сторонники». Здесь были те, кому посчастливилось спастить от татарского отточенного меча или тугого аркана: мужики из сожженных селений, немногие уцелевшие защитники Рязани, оставшиеся ратники уничтоженных отрядов. Там, за лесом, где протянулись родные снежные поля, обливается слезами горе, сверкают мечи, течет кровь русских людей, пылают родные избы...

Ратники отдыхают, лежа на сосновых ветках, греясь у костров.

Тихий, задушевный голос затянул песню:

Еще что же вы, братцы, призадумались?
Призадумались, ребятушки, закручинились?
Что повесили свои буйные головушки,
Что потупили очи ясные во сыру землю?

Несколько человек дружно подхватили:

Еще ли лих на нас супостат-злодей,
Супостат-злодей, татарин лихой...

Молодой сторонник сердито проворчал:

— Распелись не к добру!..— и отвернулся с недовольным видом. Тяжелая рука крепко ударила его по плечу.

Он обернулся. Рядом стоял долговязый мужик в нагольном тулупе и собачьем треухе, с топором за поясом.

— Чего каркаешь? — спросил он.

Парень потирал плечо:

— Тьфу, Звяга! И рука ж у тебя!..

— Чем тебе песня плоха?

— Татары услышат...

— Где им сюда добраться! В снегу утопнут.

— Все одно, какое нонче пенье...

— А почему не петь?

— Избу сожгли... Тятьку зарубили... Любашу увели...— плаксиво протянул парень.

— Вот оно что!.. Да разве у тебя одного? Чего ты хлюпишь? Все мы это видели, все горя хлебнули! А завтра сами косоглазым хвосты отрубим! Все одно прогоним их!

Парень недоверчиво покачал головой.

— Нет! Без песни нельзя! — продолжал Звяга, опускаясь на подостланные еловые ветки.— Наше дело правое. Почему татары весело не поют, а волком воют? Их дело неверное. А правильный человек завсегда поет! То-то...

— У меня вон брюхо с голоду поет,— не уступал парень.

— Ишь ты! — громко засмеялся третий сторонник, подходя ближе.— Щи про тебя еще не сварены.

— Ничего! — спокойно возразил Звяга.— Как закипит в котелке вода, мы болтушки с мучной подпалкой нахлебаемся. Не взыщи только, что соли нет.

— Да и муки-то последняя горсть...

— И это нам впрок: заснем покрепче — во сне пироги увидим!

Неожиданно раздался резкий окрик:

— Стой! Кто идет?

По лесу пробирался на лыжах широкий, плотный и коротконогий крестьянин. Оглядывая сторонников, он часто откидывал голову назад, и тогда черная борода его стояла торчком. На плечах он тащил куль муки. Несколько сторонников подошли ближе. Остальные продолжали лежать, подставляя бока теплым лучам костра.

Насмешливый голос прокричал:

— Эй, удальцы, молодцы, гвозди вострые! Прибежал сват от тещи, прямо с погоста, отмахал верст со ста! Притащил муки аржаной куль большой. Подходи, кто не спесивый, не ленивый, подставляй чашку, ладони аль шапку! Торопись печь блины, не то опара сядет, кумовьев отвадит!

— Откуда мука? Кто принес? — загудели, приподнимаясь, мужики.

— Да вот — человек тороватый, борода лопатой. Татарва его с печи спугнула, косноязычным стал и зовется с тех пор Ваула.

Звяга подскочил:

— Ваула! Сват!..— и бросился обнимать приятеля.

— Смекнул я, что вы здесь голодуете, мучки вам и притащил,— объяснил Ваула.

— Ай да молодец! Накормил нас до отвала, когда в брюхе пусто стало!..— говорили мужики.

— Садись, Ваула, к нашему костру!

— Нет, к нашему!..

— Да ты скажи, что с тобой сталось? — спрашивал Звяга.— Видел я, как ты с рязанской стены в реку скатился. Я думал, ты утонул...

— Знать, день мой смертный еще не пришел,— выбрался! Двое суток по лесу скитался, пока не обсох.

— Го-го-го! — засмеялись мужики.— Своим ли паром сушился?

— А то чьим же? Бежал как мог, искал сторонников, наткнулся на выселок. Два старика меня обогрели, на лыжи поставили, каравай и куль муки дали. Иди, говорят, на сиверко. Там встретишь удалых сторонников. Скажи: земно им кланяемся, спасибо им, что родину берегут! И мы, старики, рогатины точим и скоро к ним прибежим.

— А что слышно там, у нас?

— Сами, что ли, не знаете? Время лихое, татары носятся то здесь, то там, всех рубят, душат петлей, пощады никому не дают.

Издалека послышался протяжный свист, потом оклик дозорного:

— Эй, постой! Кто там едет на коне татарском?

Молодой, звонкий голос отвечал задорно:

— Конь из татарвы, да ездок такой же, как и вы!

На поляну выехал всадник. Конь был горбоносый, с поджарым, как у борзой, животом. На нем была татарская сбруя в сердоликах с серебряными пряжками и пестрые переметные сумы. На коне сидел мальчик в большой шапке и заплатанном зипунишке, обтянувшем узкую грудь. Тонкие ноги в кожаных лаптях были вдеты в короткие татарские стремена. Сзади, вцепившись в хвост коня, плелся второй мальчуган.

— Го-го-го! — грохотали сторонники.— Вот так вояка!

— Да с ним попутчик идет, коня за хвост дерет!

— Давно ли под лавкой медведкой ползал?

— Вишь какого лихого воина нам бабушка прислала!

Юный всадник подъехал к сторонникам:

— Примите нас, люди добрые. Мы из татарского плена удрали!

— Молодцы, ребята!

— Иди, иди к нам, кирпатый! А это что за молодец за тобой плетется?

— Да Поспелка! Он из сил выбился... Мы вдвоем на коне ускакали, а теперь по очереди пешком идем.

— Садись к нам, ребята!

Мальчик сошел с коня, привязал его к елке и подошел к костру. Его темные глаза казались огромными на бледном, исхудалом лице. Мальчик взглянул на своего спутника и прыснул от смеха:

— Брось, Поспелка, нюнить! Спаслись — и ладно!

— А что они с Булаткой сделают?

— А мы его выручим!

— Да как же вы, ребята, из плена-то удрали?

— Сейчас расскажу. Только нет ли у вас, люди добрые, сена хоть клок — коня подкормить? Без него мы бы пропали!

— Чего захотел! Откуда мы тебе сена достанем? Да твои сумы за седлом, поди, сухарями набиты?

— А я и не знаю, что в сумах, они не мои!

— Сейчас посмотрим, что тебе татары подарили!

Сторонники подошли к коню, отвязали переметные сумы и распустили ремешки. Разостлав на снегу армяк, вытряхнули сумы. Оттуда посыпались: бабья панева, вышитая рубаха, серебряный кубок, несколько нательных крестов и три цветных узелка. В одном оказались золотые и медные серьги, в другом — горсть монет, черных и серебряных, в третьем, побольше,— мелко накрошенные сухари.

— Вот это тебе впрок! — воскликнули сторонники.— Хоть мало сухарей, все же коня спасешь!

— Братцы, соколики! Да что ж это! Изверги вместе с серьгами у девок уши отрезали!

Мужики вскочили и стали передавать друг другу серьги:

— Ну, мы им это припомним! Где они, воры, разбойники? Откуда вы прибежали, ребята?

Мальчики присели к костру и стали рассказывать быстро, захлебываясь, перебивая друг друга:

— Мы из Владимира. Татары подожгли город. Мы втроем бежали в лес, хотели к сторонникам пробраться... Нас поймали татары из отряда Бай-Мурата — злые что звери! Они поволокли нас на арканах. У них много пленных. Есть не дают, таскают за собой со связанными руками. В Ярустове татары нашли бочонки вина и браги и все перепились. Они заснули, а мы с Поспелкой перегрызли ремни, подползли к коню Бай-Мурата и ускакали. Жаль, Булатку выручить не могли!..

Поднялся Ваула:

— Братцы! Ярустово недалеко, я туда тропу знаю. Идем!

Сторонники зашумели:

— Верно! Может, разбойники еще опохмеляются...

— Нам со Звягой там каждый пень знаком,— добавил Ваула.— Мы вас проведем!

— Идем, идем! — И сторонники стали быстро собираться.

— Поспелка! Пошли Булатку выручать! — вскочил шустрый мальчуган.

— Молодец, кирпатый! Да как звать-то тебя?

— Меня-то? Прокудой зовут!

— Что? Прокудой? Да ты девчонка, что ли?

— А то кто же? — засмеялся курносый мальчуган, сдернул меховую шапку и лихо тряхнул русыми косами.

Вскоре отряд сторонников потянулся гуськом в сторону Ярустова. Впереди шел Ваула, за ним Прокуда и Поспелка. Муку и немногие пожитки сторонники нагрузили на татарского коня, которого вел за собой Звяга.

Глава третья

«АМАН!..»

Полная яркая луна светила с беззвездного неба. Быстро набегали мелкие облака. Словно зацепившись за луну, они закрывали ее на мгновение и летели дальше.

Ваула озабоченно покачал головой.

— Скоро пурга будет! — сказал он шагавшему рядом бородатому сторонинку.

— Заметель подымается! — отозвался тот.

— Пурга нам на руку,— сказал Звяга.— Татары, поди, в избы забились, нас и не заприметят.

Облака закрывали луну, и лес тогда сразу окутывался густой тенью с сумраком. Сторонники медленно продвигались вперед, гуськом, держась близко друг к другу. Передние шли на лыжах, пешие упорно шагали за ними, проваливаясь по колено в глубокий снег.

— Тесней, соколики! Шагай дружнее!..

Пурга разыгралась внезапно. Лес вдали начал гудеть, завыли верхушки вековых сосен и елей. Ветер проносился с пронзительным свистом, подхватывал вороха рыхлого снега и засыпа́л им сторонников.

Вскоре отовсюду послышался непрерывный гул, треск ломавшихся сучьев и грохот падающих деревьев.

— Не отстава-ай! — кричал Звяга.

Идти становилось все труднее. Колючий снег обжигал лицо. Ветер валил с ног, захватывал дыхание.

— Эй, со-ко-лики!.. Не отстава-ай!..— глухо доносились перекликающиеся голоса.

Сторонники шли долго, упорно пробиваясь сквозь бурю, боясь отстать. Знали, что гибель ждет того, кто затеряется в лесу.

Наконец передовой Ваула сказал:

— Теперь пойдем тише. Ярустово близко...

Сквозь свист ветра донеслись злобные голоса собак. Они не тявкали привычным ночным лаем, а заливались яростно. Не умолкая ни на мгновение, хрипя и давясь, точно чуя врага.

Сторонники остановились, прислушались и решили:

— Собаки нам весть подают, что татары на погосте!..

— Подходи, сгрудись! — передавали они друг другу.

Сторонники собрались на опушке леса. Они настороженно всматривались сквозь порывы пролетавшего снега. В слабом свете луны, часто прятавшейся за облака, виднелись черными пятнами избы. В некоторых дымились трубы. Повеяло горелым салом и ржаным хлебом. Кое-где в узких окошках чуть светились тусклые огоньки.

Прокуда ухватила Звягу за рукав:

— Вон в той крайней избе стоит ихний главный разбойник — Бай-Мурат.

Звяга прислушался:

— Да он и сейчас там шумит, еще не угомонился.

Порывы ветра донесли всхлипывающий женский плач, жалобные стоны и выкрики пьяных голосов.

Звяга шепотом отдавал приказания. Сторонники внимательно слушали его. Потом разделились и стали медленно пробираться огородами. Небольшая группа пошла за Звягой, от которого не отставала Прокуда. Ваула повел остальных. Измученный Поспелка остался на опушке леса сторожить татарского коня.

Пурга стихла так же внезапно, как и началась. Сторонники подошли бесшумно к частоколу. Невдалеке прижался к столбу дремавший дозорный. Звяга приблизился, и татарин упал, широко раскинув руки. К ограде были привязаны татарские кони. Рядом лежали в снегу голые истерзанные людские тела.

— Господи! Что же это? — зашептали сторонники.

— Идем! — торопил Звяга.— Может, успеем еще кого спасти!

Сторонники отвязали коней, взобрались на них и осторожно объехали погост. По пути им встречались полудикие монгольские и уворованные русские кони. Они перехватывали их и продвигались дальше, крепко сжимая в руках рогатины, топоры, заостренные колья и дубины.

Дойдя до околицы, трое спешились, подползли к темневшему в стороне сараю и подожгли его. Весело вспыхнула солома. Красный язык лизнул крышу сарая и потух. Потом загорелся снова и затрепетал в клубах черного дыма, озаренного багровыми отблесками.

— Вперед, рязанцы! — закричали мужики со всех сторон, врываясь в избы. Им отвечал яростный визг татар.

Они выбегали из теплых изб на мороз, очумелые от неожиданности, с трудом приходя в себя от недавнего хмеля. Они метались в разные стороны, искали своих коней. Но коней не было, а из темноты на них набрасывались неведомые люди, сбивали с ног и рубили топорами. Татары убегали по задворкам, сторонники догоняли их и приканчивали.

В сараях сторонники нашли связанных русских пленных. Освобожденные, они вырывали из ограды колья и бросались преследовать своих мучителей.

Ваула одним ударом уложил хмельного дозорного, сидевшего на крыльце поповского дома, и осторожно вошел в горницу.

На столе еще видны были остатки пира, обглоданные кости, корки, опрокинутые чашки. Несколько пьяных татар валялось на полу. Старый, полураздетый поп сидел в углу, обняв колени руками, и повторял: «Господи помилуй! Господи помилуй! Не ведают бо, что творят!»

На горячей печке, прикрывшись поповской рясой, храпел Бай-Мурат. Рядом, вздрагивая обнаженным худеньким телом, всхлипывая, стонала внучка старого попа.

Связанного Бай-Мурата сторонники притащили к обледенелому колодцу с высоким журавлем. Он стоял, покачиваясь, еще не понимая, чтó с ним произошло. Исподлобья, свирепо посматривал на толпившихся перед ним мужиков, поводил хмельными, налитыми кровью глазами и твердил:

— Аман, аман!..[1]

— Какой тебе аман? — сказал Ваула, тыча в лицо Бай-Мурату медную серьгу с отрезанным ухом.— Откуда эта серьга? Из твоей котомки! Кто нашим девкам уши резал? Кто насильничал? Кто пленных голыми на мороз бросал? Ты, собачий сын! Кого казнить за это? Тебя, стервеца!

Подбежала Прокуда, грозя кулаками:

— Что они с Булаткой сделали? К журавлю на колодце привязали, холодной водой обливали... Вот он — еле живой!

---

[1] Аман — пощади! *(по-тюркски).*

— Привязать разбойника к журавлю! — решил Ваула.— Да прибить к столбу гвоздем за ухо. Пусть знает, как сладко было нашим девкам, когда он им уши отрезывал!..

Подъехал Звяга на татарском коне:

— Что вы с этим супостатом возитесь? Кончайте его да на коней! Татар на погосте уже не осталось...

Спасенные из татарского плена окружили сторонников. Женщины и дети плакали от радости и просили хлеба. Сторонники отдали им награбленную татарами добычу, себе брали лишь коней, татарские кольчуги и оружие. Мужчины присоединялись к сторонникам. Женщины решили пробираться с детьми лесами и малоезжими дорогами к родным погостам.

— Отдыха не будет! — крикнул Звяга.— Нас еще мало, надо замести следы, пока татары не хватились... Скорей вперед, рязанцы!

— Я с бабами не пойду! — твердо заявила Прокуда.— Поеду с вами!..

Она помогла посадить в седло Булатку. Сзади него сел Поспелка.

— Держи Булатку крепко! — наказывала ему Прокуда.

Она ловко взобралась на своего татарского коня и поехала рядом.

Светало. Тучи унеслись. Буря стихла, точно ее никогда и не было. Ярустово опустело. Повсюду валялись трупы убитых татар. Ни одной живой души не оставалось в погосте. Только собаки бродили безмолвными тенями между покинутыми избами да, чуя новую поживу, слетелась большая стая крикливых ворон.

Полукругом перед журавлем у колодца сидело несколько собак. Они смотрели, облизываясь, на привязанного к столбу полураздетого Бай-Мурата, который еще ворочал злыми глазами и бормотал костенеющим языком:

— Аман, аман!..

Глава четвертая

«СЛЫШЬ ТЫ!»

Субудай-багатур давал последние распоряжения сидевшим перед ним на корточках трем юртджи. Они внимательно смотрели в изборожденное морщинами и шрамами лицо старого полководца, боясь упустить хотя бы одно его слово.

— Важнее всего узнать... где собираются... новые отряды... длиннобородых...

— Понимаем! — шептали юртджи.
— Пленные знают... Заставьте их говорить...
— Заставим!
Субудай застучал кулаком по колену:
— Зачем ждете? Чего надо?.. Уходите!..
— Внимание и повиновение! — прошептали юртджи и попятились к выходу.

Субудай остался один. Он сидел, поджав ноги, на старой потрескавшейся скамье в углу, под образами.

Скрипнула дверь. Вошла, топая чеботами, Опалёниха, за ней Вешнянка. После того как Опалёниха спасла замерзшего сына Субудай-багатура, он всюду возил их с собой.

Сбросив на лавку заячью шубейку, Опалёниха засучила выше локтей расшитые рукава холщовой паневы и сполоснула руки под глиняным рукомойником. Перекрестив квашню, стоявшую у жарко натопленной печи, осторожно сняла наквашонник и сказала Вешнянке:

— Тесто поднялось! Месить пора...

Субудай посматривал на Опалёниху, на ее полные белые руки, равномерно опускавшиеся в тесто, на ее пышную грудь, перехваченную под мышками красным передником, и выпячивал сморщенные губы. Он достал из-за пазухи медную чашку и застучал по ней ножом. Вбежал старый безбородый нукер в запорошенной снегом шубе.

— Внимание и повиновение! — хрипло крикнул он.
— Принеси походные сумы красно-пегого коня! — приказал Субудай.

Нукер выбежал в сени.

Опалёниха приподняла тесто из квашни и со злобой бросила его обратно. Она подошла к оставшейся полуоткрытой двери и прихлопнула ее локтем.

— Дурень безбородый! — ворчала она.— Тепла не бережет!

Вешнянка шепнула Опалёнихе:
— Гляди, как одноглазый на тебя смотрит! Словно проглотить хочет...
— Тошно мне от него! — сердито отвечала Опалёниха.

Нукер вернулся, неся на плече кожаные переметные сумы, и опустил их на земляной пол.

— Развяжи!

Нукер распустил шнурки и сунул руки в баксоны.
— Зачем? — зашипел Субудай.— Что ты там оставил? Уходи!

Нукер отшатнулся и бросился из избы.

Субудай строго крикнул:
— Слышь ты! Слышь ты!

— Это он тебя зовет,— сказала Вешнянка.

Опалёниха не торопясь вытерла руки о передник и подошла перевалистой походкой. Субудай повторил:

— Слышь ты! Слышь ты! Вишнак!

Вешнянка подошла, робея. Субудай-багатур показывал на раскрытые сумы и старался объяснить:

— Давай! Мина! Давай...

Женщины переглянулись. Вешнянка опустилась на колени и стала доставать свертки. Опалёниха развернула сарафан из шелковой парчи, женские узорчатые рубашки, красные туфли с острыми загнутыми кверху носками. Субудай показал рукой Опалёнихе, чтобы она надела сарафан.

— Слышь ты! Скоро! — повторял он нетерпеливо.

Опалёниха пожала плечами:

— Да ты лучше, хан немилостивый, не меня, Вешнянку наряди! Куда мне такое княжеское роскошество.

— Угга! Маленьким не любим! — Субудай сердито затряс головой.

— Ишь какой хитрый! — сказала Опалёниха.— Понашему заговорил...

Она отошла к печке, ловко накинула просторный сарафан, оправила тяжелые складки, вдела ноги в диковинные красные туфли.

— Сюда! Слышь ты, сюда! — шипел Субудай.

Опалёниха подошла. На скамье, на куске зеленой замши, лежали украшения из сверкающих алмазов, из переливающихся желтых, зеленых и красных как кровь камней. Субудай перебрал их, взял ожерелье из больших золотых монет, головную повязку из жемчужных нитей, несколько золотых браслетов и протянул их Опалёнихе.

— Скоро, скоро! — хрипло повторял он.

Опалёниха повела плечами, надела на шею тяжелое ожерелье, надвинула низко на лоб жемчужную повязку с длинными подвесками. Ее блестящие глаза лукаво посматривали из-под темных бровей на свирепого полководца. Опалёниха отошла в угол, горделиво приосанилась, подбоченилась и особой задорной походкой, как бывало в хороводе, проплыла по горнице. Вешнянка зажимала рот рукой и давилась от смеха.

— Вот, корявый леший, что надумал!

Субудай хлопал рукой по колену, впивался выпученным глазом в Опалёниху и нежно твердил:

— Кюрюльтю! Кюрюльтю!..[1]

Опалёниха остановилась посреди комнаты.

— Хватит! Побаловались! Пора блины печь! — сказала она сурово и хотела скинуть сарафан.

---

[1] Кюрюльтю — желанная *(по-монгольски)*.

Субудай замахал рукой:

— Угга! Нет! Тибе! Слышь ты! Тибе...

Он вдруг отвернулся, наклонился к окну и прислушался. На улице раздались крики: «Урусуты! Урусуты!» — и резкие удары в медные щиты.

Лицо Субудая стало страшным. Он громко застучал ножом по медной чашке, сгреб ожерелья, драгоценные украшения, сунул их в баксоны и, не глядя на женщин, вышел, ковыляя, из избы.

Обняв испуганную Вешнянку, Опалёниха прислушалась. Топот коней и крики монголов на улице быстро удалялись и затихли. Опалёниха выглянула за дверь:

— Все куда-то ускакали... Скорей, Вешнянка, собирайся! Теперь или никогда!

Быстрыми уверенными движениями она сняла парчовую одежду, свернула ее и бережно положила на скамейку рядом с дорогими украшениями и красными туфлями.

— Боязно! — шептала Вешнянка, торопливо одеваясь.— Беда, если изловят нас! Одноглазый нас не обижал...

— Не надо нам его роскошества!

Опалёниха поправила свою посконную паневу, натянула заячью шубейку, вдела ноги в чеботы, повязалась старым шерстяным платком. Вешнянка была уже готова.

— Бежим!.. Даст бог, к своим доберемся!..

Женщины осторожно вышли из избы и плотно прикрыли за собою дверь. Около горячей печи громко вздыхала и пыхтела забытая квашня.

Глава пятая

В ПОГОНЮ ЗА БАТЫЕМ

Пронеслась по русской земле молва, будто на безлюдных развалинах сожженной Рязани упавшие колокола сгоревших церквей сами зазвонили... Передавали, что вечевой колокол вдруг поднялся из пепелища, повис в воздухе и загудел, сзывая рязанский народ на борьбу с татарами...

Рассказывали, что во многих местах всколыхнулась разгромленная Русь, что укрывавшиеся в лесах мужики собираются в отряды сторонников, что во главе их встал удалой витязь Евпатий Коловрат, лихой медвежатник, знающий лесные тропы, ходы и выходы, что его отряд уже не раз нападал на мунгальские разъезды и уничтожал целые отряды сильных супостатов.

Слыша такие разговоры, пахари и охотники, много лет промышлявшие в лесах, все, у кого рука не ослабла и глаза не померкли, стали поспешно привязывать подтужинами к дреколью ножи и обломки кос, точить на черном камне копья и рогатины и, засунув топор за пояс, направлялись на перекрестки дорог разыскивать боевые дружины Евпатия-медвежатника.

Тем временем Евпатий Коловрат двинулся на север, по следам Батыевой рати.

Примкнувших охочих людей Евпатий разбивал на десятки и сотни, назначал им атаманов и всем давал наказы, как биться с хитрыми и находчивыми врагами, к каким прибегать уловкам, как не поддаваться на татарские обманы. Едва ли треть ратников Евпатия была на конях. Но и пешцы не отставали от конников и быстрым шагом или побежкой делали большие переходы.

Евпатий торопился. Он расспрашивал встречных, куда пролегла кровавая Батыева тропа. Остановки в лесах делал он самые короткие. Нужно было все идти вперед, добывая корм коням и хлеб ратникам, торопясь скорее догнать главного врага — царя Батыгу.

На одной из стоянок дозорные задержали двух монахов. Засунув за кожаные пояса длинные пóлы черных подрясников, с лыковыми котомками за плечами, оба монаха брели по тропинке на юг, в сторону половецких степей.

Один, высокий и тощий как жердь, шагал впереди; другой, низкий и широкий, жмуря красные слезящиеся глаза, зацепил крюком посоха за ремень переднего и ковылял боком, стараясь не отстать.

— Куда вас нелегкая несет? — спросил их Ваула.— И почему на вас рясы обвисли, точно с чужого плеча?

Красноглазый, теребя рыжую бородку, выступил вперед, переломился в поясе и поклонился до земли:

— Хощу рещи вам, о братие, что бежим мы от бесчинствующих злодеев, рекомых татарами, кои все земное искореняют нещадно...

— Потому вы и рясы надели?

— Рясы эти исконные наши и обвисли на нас от малоядения,— пропищал бабьим голосом высокий монах.

— Людие стали скупы, людие стали немощны, не чтут сана духовного. Чего только очи наши не видели! — продолжал красноглазый.— И бессловесные скоты и бесчувственные каменья оттого, что сейчас деется, могут повергнуться в плач и стенание! Увы!.. Горе нам, увы!

— А куда же вы путь держите? — строго спросил Ваула.— От смерти или за смертью?

— Да что ты непутевое речешь!.. В Киев мы идем, братие, в Киев златоглавый, первопрестольный! Там, сказывают, монаси не голодуют и не бегают, как здесь, а спасаются в монастырских скитах в достодолжном почете... Потому — народ там богобоязненный, полный благочестия, а злые татаровья далеко. О них там и слухом не слыхали.

— А вы топоры держать умеете или их за печку запрятали? — спросил Ваула.

— Отроду топора в руках не держали. Где нам мирским делом заниматься! Мы духовные стихи поем, заупокойные молитвы и сладостные стихиры читаем.

— Видим мы, что вы из родной земли бежите, когда она кровью заливается, когда мунгалы детей в костры бросают! — сказал грозно Звяга.— У нас в отряде тоже есть монах, отец Ратибор. Да еще человека четыре сбросили подрясники, натянули зипуны и взялись за рогатины. А вы что? Ненужные вы, дармоеды! Ни пользы от вас, ни толку. Отвечайте не мешкая, где вы видели татар?

— В земле суздальской, о братие! Там татары и мунгалы по всем погостам рассыпались, жгут и насилуют христиан.

— И страху не имеют?

— А кого им бояться? Говорят, князь Георгий Всеволодович Суздальский уехал далеко, в белозерские леса, большой полк собирать, а его дружинники и ратные люди заперлись по городам за крепкими стенами... Нам бы поесть чего!

— Ладно! Садитесь к костру. Может, кто вас и покормит.

Оба монаха, не снимая заплечных котомок, подсели к костру, где на угольях кипел закоптелый глиняный горшок.

— Чего варите?

— Аль не видишь? Свежую уху!

— Свежую? То-то радость, отче Авраамий! Да разве в такой лесной чаще рыба водится?

— А то как же! — ответил Ваула.— У нас тут щука и белуга по лесу ходила. Леса пали, горы встали, щучий хвост увяз!

— Поди ж ты, какое чудо!

Длинный монах заглянул в горшок:

— А что же рыбы в горшке не видно?

— Ну так что ж! Из твоей котомки щучий хвост торчит, горшка ждет. Давай-ка его сюда.

Монах нехотя скинул котомку и ворча вытащил мороженую щуку:

— Добрые люди на дорогу дали. Путь-то нам до Киева еще долгий... Кушайте, братие, только нас отпустите!

Ваула взял рыбу, поскоблил засапожным ножом чешую, разрубил щуку на части и бросил в горшок:

— Мучной подпалкой заправим, вот и ладная уха будет. Может, и соль у тебя есть?

— Есть полгорсти...

— Давай и соль. Мы давно без соли хлебаем.

Длинный монах достал со вздохом из котомки тряпицу, отсыпал из нее соли в горшок и опять бережно спрятал тряпицу. Оба присели к горшку, держа деревянные ложки.

— Чего ты все вздыхаешь, отче? — спросил Звяга.— Прилетел тень на Петров день, сел тень на пень и начал плакать: волосы вянут, дубрава шумит. О чем плачешь? Хочешь на тот свет с солью прийти? Там отчет дадите: как с татарами воевали!

— Да мы ничего! Мы с охотой! — испугались монахи.— Только окажите милость, как прикончим ушицу, отпустите нас подобру-поздорову!

— Да нам что за корысть держать вас! — сказал Ваула.— Только обуза одна.

Оба монаха, забыв об ухе, спрятали ложки, стали креститься, кланяться всем в пояс и быстро зашагали по дороге на юг.

Сторонники, посмеиваясь, принялись за еду, когда между елями снова показался путник. Он вел в поводу коня.

— Кого бог несет? — крикнул дозорный.

— Гонец из Коломны!

— Ты нам самый нужный человек. Пойдем к старшому!

На поляне горели костры. В стороне стояли привязанные кони. Возле костров сидели ратники. Один из них, в коротком нагольном полушубке, зашивал дратвой разорванный сапог. Другой точил на камне топор, третий рассказывал:

— «Налетел тут на витязя Алешу печенежский могучий удалец по имени Редедя и хотел ударить его в грудь торчмя головой. А лихой Алеша Попович как схватит Редедю за голову, как поднимет его над своим темечком да как шваркнет о землю, тут у Редеди и дух вон!..»

Рассказчик замолк. Все рассматривали подходившего. Он был еще очень молод, безусый, в кольчуге и высоких булгарских сапогах. Конь его строен и статен, но очень истощен.

— Видно, дальний путь ты проехал, что конь твой так замаялся? — спросил один из сидевших у костра.

— Из Коломны. Еду гонцом к великому князю Георгию.

— Что же ты таким кружным путем едешь? — спросил ратник, чинивший сапог.

— Всюду татарские разъезды. Поневоле пришлось петлять...

— Что-то, сынок, лицо твое мне больно знакомо?

— Да и я тебя помню,— отвечал прибывший.— Не ты ли приезжал в Перунов Бор на медвежью охоту? Отец мой, Савелий Дикорос, тебя по лесу водил. Здоров буди, Евпатий Коловрат!

— Ужель Торопка? Каким же ты удалым витязем стал! Да что же ты стоишь? Садись к нам!

Торопка привязал коня к дереву и опустился на ворох еловых ветвей у костра. Он подробно рассказал об осаде Коломны, Владимира, о своем бегстве и стычке с монголами. Евпатий расспрашивал его, где сейчас стоят татарские отряды, куда пролегает Батыева тропа. Торопка толково объяснил, что знал. Тогда Евпатий повернулся к сторонникам:

— Сниматься со стоянки! Идем на север!

Глава шестая

НОЧНАЯ СХВАТКА

Хоть мало нас, но мы — славяне!
Удар наш меток и тяжел...

(Н. М. Языков)

Евпатий узнал от встречных селян, что в усадьбе великого князя Георгия Всеволодовича близ Суздаля пирует и бесчинствует какой-то татарский отряд и что туда проехали важные ханы со знаменами и значками.

«Может, там стоит сам царь Батыга? — подумал Евпатий.— Теперь иль никогда я сосчитаюсь с ним!..»

И отряд, разделившись, спешно направился к Суздалю. Конные, «ястребки», делали большие обходы, чтобы миновать многолюдную дорогу, где рыскали татарские отряды в поисках поживы. Пешие, «волчата», шли напрямик, лесными тропами.

Подъехав к усадьбе, Евпатий задержал конных черниговцев за рощей, а сам пробрался вперед, на опушку.

Из-за высокого бревенчатого тына слышались заунывные песни и переливные трели татарских дудок. Сумерки быстро сгущались. Из ворот усадьбы выехало около сотни

татарских всадников. Один из них держал белое девятихвостое знамя. Монголы стегнули коней и вскачь помчались по дороге.

Когда совсем стемнело и над спящим лесом поднялась яркая луна, к Евпатию подобрался Звяга:

— Волчата здесь, стоят наготове. Не пора ли?..

— Начинайте! — отвечал Евпатий.— Не подымайте шума. Бейте молча!..

Сторонники напали тихо, без единого крика. Спавшие крепким хмельным сном монголы долго не могли понять, чтó случилось, откуда свалились неведомые враги. Быстро носились по широкому двору усадьбы безмолвные всадники. Переливались голубыми искрами их стальные кольчуги. Длинные прямые мечи и тяжелые палицы поражали татарских воинов. Только хриплые стоны нарушали тишину.

— Крылатые мангусы! — пронесся крик. Его повторяли в ужасе просыпавшиеся татары. Очнувшись, они метались по двору усадьбы, стараясь вырваться, бежали к воротам, где их встречали неведомые люди и рубили топорами.

Отчаянный бой продолжался всю ночь в багровом дыму разгоравшегося пожара. Старые деревянные постройки пылали яркими огнями. Монголы, застигнутые врасплох, перепутались в общей суматохе и с воем отчаяния бегали между пылавшими избами и конюшнями.

В эту ночь сторонники вырезали многочисленный татарский отряд, но и сами в жестоких схватках потеряли немало своих.

Глава седьмая

БЕРЕНДЕЕВО БОЛОТО

Узнав о гибели отряда монголов, Бату-хан разослал во все концы нукеров, сзывая войска, рыскавшие по суздальской земле. Указано было место, где встретиться,— около города Переяславля-Залесского. Отряды должны были стягиваться кольцом, как на облавной охоте, затягивая петлю и сгоняя встречных в середину круга.

Новые вестники донесли Бату-хану, что неуловимые «летучие урусуты» перебили еще несколько татарских отрядов и опять исчезли в дремучих лесах.

Тем временем Евпатий со своими сторонниками продвигался на север. От встречных убегавших в леса селян Евпатий узнал, что татары не идут дальше, а повернули обратно. Это известие встревожило Евпатия. Татары стали появляться со всех сторон, нужно было проскользнуть

между ними, пробиться дальше, а корм кончался, не было ни сена, ни хлеба.

Лесными тропами Евпатий вышел на Берендеево болото, из которого берет начало речка Трубеж, впадающая в Плещеево озеро. По руслу реки Евпатий думал вырваться из кольца татарских отрядов и уйти к Угличу.

На гладкой поверхности замерзшего болота неожиданно показались татарские всадники. С копьями наперевес, на маленьких крепких конях, они выезжали из густого леса и мчались к растянувшемуся по льду отряду Евпатия. Не доезжая нескольких шагов, татары пускали стрелы и быстро скакали прочь, точно завлекая за собой противника.

Евпатий знал татарские уловки и вел свой отряд в сторону Плещеева озера. Однако на пути показалась новая густая толпа конных татар. Они медленно отступали в лес, уклоняясь от боя. Евпатий продолжал двигаться прежним путем, приближаясь к руслу речки Трубеж.

Впереди подымалась возвышенность, поросшая сосновым лесом. На ее обнаженной вершине виднелись каменные развалины странных древних построек, засыпанных снегом.

— Палаты царя Берендея! — заговорили сторонники.— Здесь жил «царь Берендей, до колен борода»!

Около развалин на холме появился еще новый татарский отряд. Впереди развевались длинные концы пятиугольного знамени.

— Батыга там!..— крикнул Евпатий.— Вперед, соколики! — и вместе с конниками помчался в сторону холма.

Пешие сторонники продолжали идти ровным шагом, готовые помочь черниговцам. Татары на холме зашевелились и стали спускаться на лед. У подножия конники сшиблись с татарами. Евпатий отбросил несколько встречных татар и помчался вверх к белому знамени с изображением кречета.

Наперерез Евпатию скакал на большом рыжем коне огромный монгол с поднятым кривым мечом. Евпатий изловчился, повернул своего коня в сторону и, поравнявшись, понесся рядом с монголом. Тот замахнулся, но Евпатий рубанул по мечу монгола с такой силой, что кривой меч переломился. Вторым ударом Евпатий рассек монгола до пояса, и тот свалился с седла. Крики ужаса послышались среди татар:

— Уй! Тогрул убит!.. Вай-дот! Тогрул убит!..

Евпатий снова бросился к холму. Подоспевшие конники скакали рядом с ним, сшибаясь с налетавшими врагами. Татары, бывшие на холме, умчались врассыпную.

Евпатий остановился на вершине и оглянулся. Татары появлялись со всех сторон. Все новые и новые отряды выезжали из леса и кольцом окружали холм, где на древних развалинах собрались бесстрашные «ястребки» и «волчата».

Бой длился долго. Бесчисленные татары густым строем наступали на русских воинов. Спешившиеся черниговские всадники стояли плотной стеной, не уступая стремительным нападениям. Плохо вооруженные сторонники в яростных схватках уложили немало татар. Но ряды русских быстро редели.

Там, где всего больше теснилось воинов, где чаще свистели стрелы, где громче звенели мечи,— выделялись два высоких воина. Они не пригибались к земле, укрываясь от удара; они не прятались от смертоносных стрел. Выпрямившись во весь рост, они отчаянно бились, не отступая.

Рядом с ними сражались плотными рядами русские ратники. Меткие татарские стрелы отлетали от крепких кольчуг, кривые сабли их не задевали. Несокрушимой стеной стояли они и отбивали буйные налеты татар.

Изредка, сквозь страшные звуки сечи — дикий визг татар, крики русских, ржание коней, лязг железа, вопли раненых — слышался густой раскатистый возглас:

— Держись, друже Евпатий! Рази их, окаянных!..

В ответ раздавался звучный голос, которым, бывало, на вече любовались рязанцы:

— Не бойся, отче Ратибор, держусь!

Прямой блестящий меч свистел в руках Евпатия. Рядом Ратибор сокрушал наседавших татар своей страшной палицей.

Лучших всадников посылали сюда ханы. Но кони испуганно поднимались на дыбы и уносились в сторону. Другие падали вместе с седоками, сраженные ударами витязей. Кто успевал увернуться от меча Евпатия, того настигала палица Ратибора.

Громадный, с блестящим шлемом на длинных седых кудрях, с горящим смуглым лицом и сверкающими темными глазами, с тяжелой палицей в руках, Ратибор приводил в ужас нападающих, Евпатий был также грозен в своей решительности и мужестве.

И в страхе отступили татары.

В стороне, верхом на вороном жеребце, окруженный главными темниками, Бату-хан наблюдал за битвой. Движением руки он подозвал Субудай-багатура.

— Повелеваем: привести мне обоих урусутов живыми!

Субудай послал отборную сотню, за ней вторую... Воины не вернулись, а урусуты продолжали биться.

Взбесившийся конь примчался, на нем едва держался в седле раненый. Он тяжело упал к ногам Бату-хана:

— Джихангир! Их взять нельзя! Это сам урусутский бог Сульдэ!..

Последние слова раненый прошептал чуть слышно. Он вздрогнул, вытянулся и затих. Нукеры оттащили его в сторону. Бату-хан отвернулся. Лицо его исказилось гневом.

— Почему спят мои шаманы? — прошипел он.

Прибежавшие шаманы выли, били в бубны, плясали. Они просили всесильного монгольского бога Сульдэ сразить урусутского бога. На разные голоса призывали они своих заоблачных богов, молили их о помощи, обещали им девять лучших вороных коней и девяносто девять пленных юношей.

Но бог Сульдэ был сердит. Он не захотел помочь и спуститься в глубокие снега, в бездонные болота. Да и шаманам не нравилась злая земля урусутов, где выли свирепые метели и трещали жестокие морозы. Им хотелось скорей обратно в привольные монгольские степи, где остались их милостивые боги.

А воины все падали вокруг страшных урусутских витязей.

Уже давно длилась битва. Но Ратибор и Евпатий не чуяли усталости. С прежней сокрушающей силой взлетала страшная палица, с прежней верностью косил острый меч. Так же громко звучал призыв Ратибора. По-прежнему уверенно отвечал Евпатий.

Русские воины, забывая усталость, сомкнув ряды, продолжали сражаться. Они наступали на татар, подбадривая друг друга громкими криками:

— Вперед, черниговцы!.. Держись, Рязань!.. За волю русскую!..

Бату-хан напряженно, не отрываясь следил за битвой. Он завыл, увидев, как третья сотня полегла от ударов грозных урусутов:

— Я теряю лучших моих воинов!..

Теснившиеся около джихангира темники попятились.

— Вай-дот! — кричали они.— Что с ними делать? Это не люди, а крепкие камни!

Бату-хан ударил себя по щекам и завизжал:

— Субудай! Субудай!

И бросил подскакавшему старому полководцу какое-то распоряжение.

Забегали нукеры. Послышался тяжелый топот коней, странный скрип и шум. Прозвучали новые татарские вы-

крики, треск и грохот. Резкие удары в медные щиты отозвали с холма татарских воинов, схватившихся с урусутами.

Евпатий, видя отступление татар, высоко поднял меч.

— Вперед!.. За...

Но страшный удар в грудь прервал его могучий голос. Он упал, обливаясь кровью.

С ужасной силой, сбивая все встречное, летели в теснившихся на холме русских воинов огромные камни. Это татары подтащили на полозьях китайские камнеметные машины.

Взвыл Ратибор волчьим голосом. Отшвырнул палицу, бросился к любимому другу. В отчаянии теребил его:

— Жив ли ты, Евпатий?.. Откликнись, друже!

Осторожно припал к нему ухом... Кончено! Больше не придется им вместе биться за родную Русь.

Он поднял голову, оглянулся. Со всех сторон с диким грохотом падали страшные камни, сокрушая русских храбрецов.

Ратибор поклонился мертвому другу, поднялся во весь свой громадный рост и пошел, безоружный, большой и грозный, с бурно дышащей грудью и горящими глазами, навстречу неминуемой смерти.

Глава восьмая

ПОСЛЕДНИЕ НА БУГРЕ

...Где честна́я могила Евпатия,
Знают ясные зори с курганами,
Знала старая песня про витязя,
Да и ту унесло ветром-вихорем!..

(Лев Мей, «Песня про Евпатия»)

Битва подходила к концу.

Между соснами на бугре еще стояла маленькая кучка людей. Это были последние оставшиеся в живых воины отряда Коловрата. Камни редко падали на бугор, где люди стояли выпрямившись, тесно прижавшись друг к другу, спокойно ожидая смерти. Они выпустили последние стрелы. Сделать больше ничего нельзя.

Нет... Можно!

Неожиданно высокий, звонкий, словно детский, голос затянул песню... Родную, протяжную и грустную песню:

Еще что же вы, братцы, призадумались,
Призадумались, ребятушки, закручинились?
Что повесили свои буйные головушки...

Песню дружно подхватили другие голоса, и она полилась, смелая и вольная. Песня, казалось, говорила, что русские люди, умирая, прощаются с любимой родиной. Песня, казалось, говорила, что татары русских не сломили!

Взглянув в сторону оставшихся урусутов, Бату-хан приказал остановить машины. Грохот прекратился. И тогда до монгольских военачальников донеслись звуки плавного, протяжного пения. Джихангир удивленно прислушался.

— Взять их! — приказал он.— Привести сюда живыми!

«Непобедимые» бросились исполнять священную волю джихангира. Они окружили оставшихся урусутов. Набросились одновременно со всех сторон, захлестывая арканами, сломили уже бесполезное упорство, скрутили урусутам руки за спину. Только помня строгий приказ джихангира, монголы не разделались с ними.

Бату-хан окинул приведенных пленных внимательным взглядом. Многие урусуты были ранены, залиты кровью, ушиблены камнями. Были среди них белобородые старики, были двое юных, совсем мальчики. Урусуты стояли спокойно и мрачно. Они не склоняли головы, как виноватые, не было у них волнения или страха. Готовые к смерти, они смотрели в глаза грозному хану.

— Развязать пленным руки! — приказал джихангир.— Субудай-багатур, надень на шею каждому урусуту деревянную пайцзу.

— Внимание и повиновение! — сурово отвечал старый полководец.— Баурши, принеси мой мешок с пайцзами!

— Скажи им, коназ Галиб,— обратился джихангир к стоящему сзади старому толмачу,— Бату-хан прощает храбрых урусутов и дарит им жизнь и свободу. Они настоящие багатуры!

Князь Глеб поморщился, но поспешил исполнить приказание. Бату-хан пристально следил за ним.

Показывая на пленных урусутов, Бату-хан крикнул громко, чтобы воины слышали его:

— Вот как надо любить и защищать свой родной улус!

К Бату-хану подошел летописец, факих Хаджи Рахим и до земли склонился перед молодым джихангиром:

— Ты великий, ты справедливый! Твоими устами говорил сейчас Священный Воитель, твой мудрый дед. Он учил так поступать...

Баурши направился к урусутам, которые еще не понимали происходившего. Но Бату-хан остановил его. Князь Глеб перевел вопрос джихангира:

— Кто запел песню?

Урусуты переглянулись. В одном порыве три пожилых бородатых воина сделали шаг вперед. Но в тот же миг, оттолкнув их, выбежал молодой воин.

— Неправда, это я запел! — воскликнул он странно тонким, звенящим голосом. Задорно закинув голову, вызывающе смотрел он на джихангира.

Бату-хан сдержал улыбку. Его прищуренные, слегка раскосые глаза смотрели на вспыхнувшее юное, почти детское лицо, в смелые, взволнованно блестящие, темные глаза мальчика. Джихангир повернулся к толмачу, но тощий высокий темник Бурундай перебил его. Приблизившись к молодому воину, он крикнул:

— Перед ослепительным целуют землю, урусут! Благодари на коленях за милость! — И неожиданно грубо толкнул мальчика. Тот упал, его меховая шапка свалилась, и с головы молодого воина сползли две русые косы.

К Бурундаю подскочил другой урусутский мальчик и вцепился в него.

— Не тронь! — крикнул он.

Бурундай схватился за меч, но властное движение джихангира его остановило. Бурундай отступил с искаженным от злобы лицом.

— Девушка? — удивленно протянул Бату-хан, наблюдая с любопытством, как молодой воин запрятывал косы под шапку.— Как зовут эту девушку?

— Она княя...— быстро заговорил ее маленький защитник, но девушка прервала его:

— Молчи, Поспелка, не к тебе вопрос! — Оборачиваясь к Бату-хану, она спокойно отвечала: — Мое имя — Прокуда. Я бедная сиротка...

— Откуда ты?

— Из стольного города Владимира.

Бату-хан небрежно кивнул головой:

— Ульдемира больше нет! Мои воины его сожгли.

— Знаю. Я видела, как вы жгли город. Я тогда и бежала с Поспелкой.

Бату-хан улыбнулся.

— Берикелля! — сказал он вполголоса.

Прибежавшие нукеры доложили, что найдены тела урусутов — молодого воина-силача и старого шамана, павших под ударами тяжелых камней. Бату-хан пожелал их увидеть. Нукеры подвезли на деревенских розвальнях тела Евпатия и Ратибора. Джихангир внимательно осмотрел

мертвецов, осторожно тронул пальцем полузакрытые глаза Евпатия.

— Нет, это были не мангусы и не шаманы, а храбрые воины, большие багатуры. Если бы они были живы, я хотел бы иметь их против моего сердца... Мои воины должны учиться у них!

И, обращаясь к теснившимся вокруг монголам, Бату-хан сказал:

— Воздадим им воинский почет!

Тогда непобедимый полководец Субудай-багатур, приближенные знатные темники и нукеры, с суровыми и строгими лицами, вынули блестящие мечи, подняли их над головой и трижды прокричали:

— Кху! Кху! Кху!

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ВЬЮГА ЗАКРУЖИЛА

...Татары под предводительством хана Батыя опустошили и завоевали восточную Русь. Русские везде защищались героически: не сдался ни один город, ни один князь.

(Н. Костомаров, «Русская история»)

Глава первая

РОСТОВСКИЙ КНЯЗЬ ВАСИЛЬКО

Великий князь и государь Георгий Всеволодович, покинув свой стольный город Владимир, направился на север.

Лихая тройка, запряженная гуськом, не переводя духа скакала от погоста к погосту, где подавали свежих коней. Великий князь строго говорил сбегавшимся селянам:

— Берите мечи и топоры! Ополчайтесь в дружины, собирайтесь вокруг князей, готовьтесь к смертному бою с врагом хитрым, жестоким! Кто нам поможет отогнать его в Дикое поле? Никто! Мы сами должны спасти родные земли. С нами бог! Он — защита! Я сам поведу вас.

Кони снова неслись вперед по узкой дороге. Князь ехал в открытых санях, закутанный в медвежью шубу. В следующем возке находились два его племянника, в третьем — старый слуга с запасом еды. Верховые дружинники охраняли княжеский поезд. Проводник, знавший хорошо дороги, скакал впереди: зимой было легко сбиться с пути в унылых снежных равнинах, где погосты походили один на другой.

Князь торопил возничих. Стараясь нигде не задерживаться, он мчался дальше. В морозном тихом воздухе, укачиваемый скользящими санями, под равномерный конский топот и покрикивание конюха, князь погружался в дремоту, а в ушах еще звучали последние слова княгини Агафьи, обнимавшей его полными, горячими руками: «Зачем меня, свою лапушку-лебедушку, бросаешь? Если смерть, то рядом с тобой!»

«Конечно,— думал он, вспоминая, как сурово и твердо отстранил цеплявшиеся руки жены,— можно было отправить княгинюшку подальше, на Бело-озеро, куда и воронто с трудом долетает. Но чтó сказали бы владимирцы: «И сам уехал и жену услал!»

Очнувшись от дум, князь хмурился и вздрагивал, когда впереди из-за поворота вдруг показывались черные кусты. Ему мерещились татарские всадники, которые, изогнувшись, припали к гриве коня, готовые метнуть стрелу из огромного лука... Но возница лихо посвистывал, гикал: шарахнувшиеся в сторону кони снова подхватывали, и черные кусты оставались позади.

На другой день к вечеру князь уже пересекал снежную равнину озера Неро. Впереди вырисовывались стены ростовского кремля.

Князь Георгий Всеволодович решил остановиться на ночь в Ростове, чтобы повидать своего племянника, князя Василько Константиновича. Василька очень ценили и любили и родичи и остальные князья. В народе о нем говорили: «Он ко всем любовен и милостив и гордости ненавидит». К тому же он был храбр и доблестен. Еще юношей, пятнадцать лет назад, он ходил с ростовским отрядом в Киев и на реку Калку сражаться с татарами.

Возки осторожно проехали по узким улицам Ростова и остановились у княжьего двора. Сбежались слуги и дружинники, помогли князю выйти из саней и под руки повели его по ступенькам крыльца.

— Где же мой любезный племянник, князь Василько Константинович?

— В кузнице.

— Какая ему там забота?

— Мечи кует!

— Проведите-ка меня к нему.

Князь Георгий Всеволодович скинул медвежью шубу и, оставшись в лисьем полушубке, пошел за дружинником по темным переулкам города.

— Кузницы у нас на отлете за крепостной стеной.

Ряд черных кузниц вытянулся на берегу озера. Изнутри доносился грохот молотов. Из труб вырывались клубы багрового дыма, освещенного жаром печей. Снопы огненных искр, крутясь, улетали в темное облачное небо.

В кузницах кипела работа. Кузнецы, склонившись к наковальням, передвигали большими щипцами раскаленные добела железные полосы и постукивали молоточками, указывая молотобойцу место, куда ударить. Дородные молотобойцы, ухая, били с размаху тяжелыми молотами.

— Сейчас, сейчас, дорогой гость! — крикнул один из молотобойцев, так же вымазанный сажей, как и остальные.— Вот свариваю два куска железа! И не достать его! Отодрал в городе все засовы, пороги, ободья... Все потребно на секиры и мечи! Нет кузнецов... бью сам...

— Что же ты, князь Василько, бьешь кувалдой, как простой молотобоец?

Вмешался ближайший кузнец:

— Наш князь горазд все делать не хуже заправского мастера!

— Сейчас руки обмою, и пойдем ко мне. Княгинюшка угостит нас пирогами. Эй, Тыря-конопатый! Ходи сюда живей! Смени-ка меня.

Молотобоец опустил молот и передал его высокому молодому парню с лицом, изрытым оспой. Сполоснув руки в деревянном ведре, князь Василько вытер их о прожженный передник, сбросил его и подошел к Георгию Всеволодовичу. При свете пылающего горна можно было рассмотреть этого богатыря, высокого, с красивым, ясным и в то же время грозным лицом. Что-то соколиное было в его сдвинутых черных бровях, в пристальном, пытливом взгляде.

Князья обнялись и трижды поцеловались.

— Времена-то какие настали! Каждый день слышишь: такой-то город пал, такие-то удальцы погибли, таких-то жен опозорили!.. Теперь всем нам надо встать дружно, одной волей, одним сердцем...

— И одной головой! — ответил князь Георгий и, выпрямившись, гордый и самоуверенный, пошел из кузницы вслед за племянником.

Ночью оба князя долго сидели за столом при мерцающем огоньке светильника с конопляным маслом. Они отведали налима, запеченного в пироге, и блинов со снетками, и копченого медвежьего окорока. Запивали старым медом и судили и рядили, что предпринять.

Георгий Всеволодович объяснил свой план войны:

— Татары, как реки в половодье, разливаются по всей русской земле и все более распадаются на мелкие отряды. Мы же должны собраться в одну великую силу, создать единую грозную рать. Но собираться надо тихо и скрытно, в глухих лесах, чтобы татары не догадались и не узнали, что где-то скопляются наши силы. А затем надо ударить на один отряд татар и уничтожить его, потом на другой и на третий, не давая им собраться. Надо держать их расколотыми и бить по частям.

— Время золотое уходит. Где же ты думаешь собирать войско?

— Где-нибудь в Галиче, Весьегонске, на Белом Озере.

— Больно далеко!

— Тогда вот где можно скопить силу: на реке Мологе! Там стоят леса непроходимые, один Шервинский лес чего сто́ит! Выгодно место это еще вот почему. Татары, жадные до богатства, разумеется, пойдут на Новгород. Где же найти им ценные заморские товары, как не на складах новгородских купцов? Когда татары сцепятся с новгородцами, тут наша рать перережет татарам дорогу и ударит им в затылок. Здесь мы их и прикончим.

— Я бы по-иному сделал,— отвечал Василько.— Евпатий Коловрат имел небольшую рать, всего около полутора тысяч воинов, а как он колотил татар!

— Но он погиб!..

— Погиб, зато здорово их потрепал. Так и надо воевать с ними, гоняться по пятам, нападать на спящий лагерь, прятаться в лесу, выжидая удобного случая... Я думаю, надо собирать повсюду вольные ватаги ратников и помогать им, чтобы татары никогда не знали, откуда им грозит беда.

— Нет, неверно это! Это значит дробить силы. Нужно с верой в благой промысел божий собрать грозную рать и с хоругвями и попами впереди броситься в последний бой. Тогда бог нас не оставит и поразит своим гневом поганых насильников. Я верю, мне нужно свершить столь славный подвиг! Моей помощи ждет вся русская земля. Я спасу ее!.. И я прошу тебя, князь Василько Константинович, помоги мне! Твоему слову верят, твоего совета слушаются. Разошли гонцов ко всем князьям, боярам и воеводам, чтобы шли они со своими дружинами и ополченцами на реку Мологу... Там я устрою воинский стан, оттуда я сам поведу славные рати на погибель татар.

— Я все сделаю, чтобы помочь родине, и сам приду с ростовскими удальцами.

Глава вторая

БОЕВОЙ СТАН

Из Ростова помчались гонцы. Они везли письма великого князя Георгия Всеволодовича и князя Василька Константиновича князьям, воеводам и волостелям и в Новгород, и в Псков, и в Полоцк, и в волжские города Судиславль, Ярославль, Кострому и дальше — в Галич и на Белое Озеро. Они призывали ратников в боевой стан близ Красного Холма, где русские люди будут собираться в единую большую рать.

Со всех сторон к Красному Холму потянулись воины. Некоторые были на конях, в кольчугах, с мечами и копьями. Другие — их было большинство — шли пешие, в зипунах и полушубках, с одними рогатинами и топорами.

В Красном Холме князя Георгия не оказалось.

— Где же боевой стан? — толковали собравшиеся воины.

— Место это держат скрытно! А не то татары раньше времени о нем проведают...

Греясь у костра, ратники говорили:

— Хорошо, что наконец великий внязь Владимирский отбросил свое долгое раздумье!

— Он теперь самый сильный из князей, пора ему встать во главе русского войска. Давно надо было так поступить, при первом слухе о татарах!.. Он сам тогда оплошал, не поддержал рязанцев...

— Теперь время упущено, сколько русских людей напрасно полегло!..

— Всем миром надобно подняться на лютого врага, только тогда одолеем его...

— Эх, из-за княжеской розни, ссоры да которы гибнет русская земля!..

Великий князь Георгий Всеволодович, пробыв недолго в Ростове, поскакал в Углич, спустился по Волге до Мышкина и оттуда, лесными дорогами, проехал на реку Сить, недалеко от ее впадения в Мологу. Там, в деревне Боженки, князь остановился у попа, отца Вахрамея.

Поп был древний, как и его деревянная покосившаяся церковка, любил поговорить про старину. Попадья Олимпиада, рыхлая, словно опара, ласковая и радушная, бесшумно бегала по горнице, несмотря на преклонные годы, стараясь угодить гостю и солеными груздями и пирогами, половина которых была начинена кашей с грибками, а другая — рыбой с луком.

Отец Вахрамей объяснил, что к погосту Боженки с запада ведет только одна дорога из Бежецка, а с востока можно проехать лишь зимой по рекам Мологе и Сити. Кругом леса, летом здесь непроходимые, топкие болота с трясинными окнами, которые даже в стужу не замерзают, а дымятся.

— Значит, татары сюда не доберутся! — заявил князь Георгий.

— Все утопнут! — подтвердил отец Вахрамей.

— Эти места мне любы. Я построю здесь мой боевой стан.

— С богом! — поддержал отец Вахрамей.— Начинай, государь, а я отслужу молебен и каждодневно буду просить господа вседержителя о даровании твоей рати победы и одоления над врагом.

На призыв первыми отозвались ближайшие к стану князья Сицкие. Они стали присылать дружинников и обозы с сеном, мукой и соленой рыбой. Пришли сицкие мужики, в зипунах и заячьих полушубках, обшитых цветными ленточками, в волчьих треухах, с длинными, до плеч, волосами. Опираясь на рогатины, они тесной толпой остановились перед крыльцом, на которое вышел князь. Выступивший вперед старшой спросил шепелявой скороговоркой:[1]

— Зацэм кликал? Цаво сицкарей поднял? Сказывай нам, лесовикам, цаво рубить?

Князь Георгий сейчас же показал свою хозяйственную сноровку. Одним поручил ставить вдоль берега Сити срубы и крепко наказал, чтобы в каждом срубе была сбита из глины и камней печь. Другим поручил рыть длинные окопы, глубокие, в рост человека.

— Это мы мозем! — отвечали сицкие мужики.— Мы и болотце копать и елоцки рубать — ко всему привыцные.

Мужики немедля ушли гуськом в лес, застучали там топорами. Стали валить сосны и ели, а на высоком берегу глубоко врывшейся в землю Сити начали вырастать новенькие срубы с плоскими крышами, прикрытые пластами коры. Через несколько дней над ними закурились дымки́.

Добровольные ратники прибывали отовсюду, и в одиночку и десятками. Всем им князь Георгий указывал работу: одни копали низкие землянки, другие свозили лесины, пни, сухостой и складывали из них длинные засеки.

Вскоре прибыл князь Василько Константинович ростовский с отрядом в триста всадников и в тысячу пеших ратников. За ним следовал обоз саней, нагруженных мясными тушами, мешками с мукой и сеном.

Князь объехал шумный лагерь, нахмурив брови, покосился на белые срубы, остановил коня перед засеками, покачал головой и направился к церкви. Рядом с поповским домом над новым срубом развевался великокняже-

[1] Особая цокающая манера говорить сохранилась у части населения, живущего на реке Сити, до настоящего времени; соседи дали им прозвище «сицкари».

ский черный стяг. На нем был вышит золотыми нитями образ Спаса Нерукотворного.

На крыльцо вышел в долгополом выцветшем подряснике старый священник с седой бородой клинышком и с заплетенной седой косичкой:

— Исполать тебе, князь Василько Константинович! Окажи честь, заходи погреться.

— Здравствуй, отец Вахрамей! Давно тебя не видал, с последней охоты на сохатых. И ты и твоя церквушка все стареете?

— Плечи гнутся, а старая голова все еще держится и, может, еще пригодится.

Князь сошел со своего статного буланого коня. Дружинник подбежал и взял коня за повод. Василько поднялся на крыльцо старого дома и поцеловал благословившую его морщинистую руку отца Вахрамея.

— Что же, вы как будто город строите?

— Да, похоже на то,— отвечал священник.

— И долго будет стоять этот город? Год, два или больше?

— Что могу сказать я, скромный иерей! Это великий князь Георгий Всеволодович решает. Он приказал строить, свозить бревна — вот и растет боевая крепость.

— Народу, вижу, собралось много. Как же все кормятся?

— Обо всем наш государь думает. Прибывшие ратники принесли с собой караваи. Окромя того, по приказу великого князя, отовсюду везут муку и соленую рыбу. А здешние сицкие бабы квасят, месят и пекут хлебы.

— А сено у вас есть? Со мной конные дружинники.

— Для твоего коня сена у меня найдется. Я накосил его летом для моей коровенки. А твоим дружинникам князь выдаст. Я видел, мужики везут и сено... Да что же мы мерзнем на крыльце? Заходи, княже, милости прошу, в мою убогую храмину.

Князь Василько повернулся к дружинникам, растянувшимся вдоль берега, подозвал начальника передней сотни:

— Осмотри лагерь и подыщи место, где поставить коней. Я переговорю с князем Георгием Всеволодовичем насчет кормов.

— У нас сена дня на три припасено. Да и овса хватит лишь дней на десять.

— Как бы не пришлось коней наших резать на щи! Народу привалило сколько!.. А вот и великий князь!

Георгий Всеволодович шел с развальцем, в шубе нараспашку, веселый, с красным, распаренным лицом:

— Здóрово я в мыльне попарился! Люблю погреться... Успел здесь шесть новых мылен поставить... Без них люди обовшивеют. Голова трещит, обо всем надо домыслить!.. Здравствуй, племянник, на многая лета! Обнимемся и пойдем в мою новую избу!

Глава третья

БАТУ-ХАН В МОНАСТЫРЕ

Подъезжая к Угличу, Бату-хан придержал коня. Он показал плетью на бревенчатые здания странного вида, будто сдвинутые и прилепленные в беспорядке одно к другому, с крестами на крышах.

— Что это?

Субудай-багатур, ехавший рядом будто в полудреме, очнулся и крикнул:

— Толмач! Позовите толмача!

— Толмач! — закричали нукеры.

Подъехал старый переводчик из половцев:

— Это Воскресенский мужской монастырь. В нем живут несколько сот монахов. Это такие шаманы, которым запрещено смотреть на женщин. Они все время молятся...

— О чем они молятся?

— Чтобы на земле были мир и тишина...

— Мне этого не нужно!

— Чтобы не было голода, землетрясения, пожара...

— Этого мне тоже не нужно! А могут они узнать у своих богов, чем кончится моя война с коназом Гюргом?

— Могут!

— Я буду ночевать сегодня в этом доме бога,— сказал Бату-хан и покосился на Субудая. Тот сильно засопел.

— Толмач! — приказал Субудай-багатур.— Возьми сотню нукеров. Поезжай прямо в дом урусутского бога. Скажи главному шаману, что сейчас прибудет великий джихангир Бату-хан.

— Будет исполнено, непобедимый!

Толмач во главе сотни нукеров поскакал в монастырь, а Субудай-багатур потребовал сотника. Арапша подъехал на разукрашенном гнедом коне. На темной шерсти выделялся серебряный ошейник. На сбруе появились серебряные и золоченые бляхи и цепи, снятые с коня какого-то убитого урусутского воеводы.

— Окружи монастырь! — распорядился Субудай-багатур.— Поставь стражу у каждых ворот. Осмотри все дома и подвалы: нет ли спрятавшихся воинов или хитрой заса-

ды. Скажи урусутам, что к ним прилетело великое счастье — у них будет ночевать сам владыка вселенной! Поставь дозорных внутри домов, у лестниц и главных переходов. Десять самых голодных нукеров поставь на кухне, чтобы они там откормились и присматривали, не будут ли шаманы готовить что-нибудь плохое или запретное. Если что окажется не так, если заметят злой умысел, пусть колотят поваров плетьми по затылкам. И смотри, чтобы ни один монгольский воин из других отрядов не смел войти в этот дом, пока там будет отдыхать джихангир Бату-хан.

— Внимание и повиновение! — отвечал Арапша и помчался исполнять приказание.

В главной церкви монастыря шла торжественная обедня. У правой стены на возвышении, крытом ковром, стояли два кресла с высокими спинками. В одном сидел Бату-хан, подобрав под себя ноги и положив на колени кривой меч. В другом сидела Юлдуз-Хатун в высокой черной шапке, обвитой золотыми кружевами и жемчужными нитями. Около Бату-хана расположились на полу шесть его главнейших ханов. Тут же находился Субудай-багатур. Пристально и недоверчиво присматривался он прищуренным глазом ко всему, что происходило в церкви.

Богослужение было торжественное. Служил сам епископ, приехавший, спасаясь от татар, в монастырь. Старый, высохший, согнувшийся, в парчовом облачении, с блистающей золотой митрой на голове, епископ стоял на возвышении посреди храма. Впереди него справа и слева застыли двенадцать священников, по шесть с каждой стороны, все в праздничных цветных и парчовых ризах. Два мальчика, тоже в парчовых одеждах, с длинными свечами в руках, стояли по обе стороны епископа. Перед иконами горели свечи и лампады. Огоньки, мерцая, отражались на парче и на золоченом иконостасе.

Бату-хан был доволен новым зрелищем. Он иногда кивал головой, улыбался, пробовал подпевать хору. Цветные искорки вспыхивали на его стальном шлеме с золотой стрелой, охраняющей его лицо, на серебристой кольчуге и на ожерелье на шее из больших изумрудов и алмазов. Каждый раз, когда к Бату-хану подходил высокий, дородный дьякон и, широко размахивая кадилом, окутывал его ароматным дымом, Бату-хан милостиво наклонял голову, жадно вдыхая сладкий дым ладана.

Юлдуз сидела неподвижно в глубоком кресле. В шелковой, расшитой серебром китайской одежде, увешанная драгоценностями, с алмазными перстнями на руках, с набеленным, неживым, точно кукольным лицом, она казалась маленьким идолом. Только расширенные глаза лихорадочно блестели.

Верная И Ла-хэ стояла около кресла, косилась на Юлдуз и, наклоняясь к ней, шептала:

— Будь спокойней! Не показывай тревоги. Господин заметит!

— Вот он! Там, у окна... так близко! Я должна говорить с ним,— отвечала шепотом Юлдуз.

Возле бокового выхода, опираясь на копье, стоял нукер. Он был в стальном шлеме, в стальной кольчуге, в булгарских красных сапогах. Юное безусое лицо казалось равнодушным. Иногда он посматривал в сторону Бату-хана, но больше глядел в небольшое слюдяное окошко, в которое слабо проникал сизый свет сумрачного морозного дня. Это был Мусук, поставленный дозорным у входа. Вдруг он заметил пристальный взгляд жены Бату-хана — взгляд, устремленный прямо на него. Он отвернулся, но через некоторое время снова встретился с прямым упорным взглядом маленькой женщины.

«Что во мне особенного? — подумал Мусук.— Чего ханша уставилась на меня?»

Он еще раз поймал ее взгляд. Заметил, что служанка склонялась к ней, будто успокаивая. Вдруг яркая мысль обожгла его: «Эти темные глаза, это лицо с узким подбородком... Как оно похоже! Но что может быть общего между бедной степной девушкой и разукрашенной драгоценными ожерельями женой завоевателя вселенной! Нет! Это сон, это невозможно!» И он снова стал смотреть в окно.

Неожиданный ревущий возглас заставил Мусука очнуться. Большой, могучий дьякон, в парчовом облачении, во весь свой богатырский голос провозглашал:

— Великодержавному, достопреславнейшему хану...

Благообразный, степенный отец эконом отделился от группы монахов, неслышными шагами подошел к дьякону и прошептал ему в красное, мясистое ухо:

— Подымай выше!

Эконом подсказывал, а дьякон ревел:

— Государю нашему...

— Подымай еще выше! — настаивал отец эконом. Дьякон повторял с налившимся кровью, натуженным лицом:

— Государю нашему и владыке народов ближних и дальних царю Батыге Джучиевичу жить и здравствовать! Многая лета!..

Хор на клиросе подхватил и трижды повторил:

— Многая, многая лета!..

После обедни избранные спустились в длинную, узкую трапезную, где был подан самый лучший обед, какой только могли придумать монахи-повара совместно с отцом экономом. Была и уха из стерлядей, и цельный огромный осетр, и пироги с запеченными налимами, расстегаи с мелко нарубленными груздями, и кутья из вареной пшеницы с медом, и моченые яблоки, и зернистая черная икра. Служки приносили кушанья на больших резных деревянных блюдах. Монахи достали из погребов глиняные кувшины с зеленым хлебным вином и крепким старым медом. Пили еще пенную брагу и настойки из вишен и других ягод.

В конце стола сидел Бату-хан. Рядом, по левую сторону, архимандрит, далее Субудай-багатур. Справа, блистая драгоценностями и яркими одеждами,— Юлдуз-Хатун, за ней шесть приближенных ханов. Ниже сидели самые старые и почтенные монахи в клобуках и длинных черных рясах.

Старый епископ, благословив трапезу, сослался на болезнь и удалился отдохнуть в свою келью.

Бату-хан ел очень мало, с большой опаской, но попробовал всего. Субудай-багатур пожевал только гречневой каши с луком и постным маслом. Он зачерпнул кашу из блюда собственной медной чашкой, достав ее из-за пазухи. Из этой же чашки, предварительно вылизав ее языком, Субудай пробовал все напитки. То, что ему не нравилось, он выплескивал на пол.

В середине обеда к Бату-хану подошла китаянка И Ла-хэ:

— Юлдуз-Хатун не может больше выносить запаха соленой рыбы и слушать грубые голоса урусутских шаманов. Она сейчас упадет от слабости. Ее надо увести отсюда!

Бату-хан посмотрел на Юлдуз. Она сидела неподвижно, опустив глаза, точно спала. Он приказал проводить ее в покои, где маленькая ханша сможет отдохнуть.

Величественный отец эконом встал и, поглаживая окладистую бороду, сам повел ханшу и китаянку в лучшую келью.

Глава четвертая

У ДВЕРИ КЕЛЬИ

Арапша позвал Мусука. Они пошли через крытые переходы, поднимались лесенками, спускались в темные закоулки. Наконец Арапша оставил Мусука в длинном узком проходе. С одной стороны светились небольшие тусклые окошки, затянутые рыбьим пузырем, с другой — был ряд закрытых дверей. Арапша указал на дверь:

— Здесь отдыхает жена джихангира, отхан-хатун[1]. Не впускай никого. Придется сторожить всю ночь. Я приду сменить тебя. Не сходи с этого места.

Мусук стоял долго. Иногда мимо него проходили старые монахи в черных клобуках и длинных черных одеждах. Они прикрывали ладонями зажженные восковые свечи и что-то шептали.

Послышались голоса. Шел Субудай-багатур, за ним вели под руки Бату-хана. Он пошатывался, водил рукой по воздуху, будто ловил что-то, и говорил заплетающимся языком:

— Священный Правитель разрешил напиваться три раза в месяц, но лучше один раз... Я говорю... и монгольские шаманы, и арабские муллы, и урусутские попы... весьма полезные и преданные мне люди! Они учат народ повиноваться власти, уговаривают не бунтовать и вовремя платить налоги. Всем шаманам я дам пайцзы на право свободных поездок по моим землям для сбора денег. Я прикажу, чтобы шаманы, муллы и попы не платили никаких налогов...

Архимандрит и четыре монаха с большими горящими свечами провожали Бату-хана до двери его кельи. Бату-хан вошел, шатаясь.

Архимандрит низко поклонился Субудаю и удалился вместе с монахами.

Субудай-багатур сказал:

— Сейчас в этом доме бога все сверху донизу пьяны. Я боюсь, чтобы не было поджога, чтобы наши нукеры не обидели монахов и не началась резня. Ты, нукер, стой, гляди и слушай внимательно. Не сходи с места. Я сам обойду монастырь и проверю стражу.

Мусук стоял полный тревоги...

«Юлдуз?.. Или не Юлдуз?.. Нет! Это, конечно, ошибка! Таких сказок в жизни не бывает. А финики? А голос

---

[1] Отхан-хатун — младшая госпожа.

в пустыне, назвавший его имя? А маленькая рука, бросившая шелковый узелок с пряниками и золотыми монетами?..»

Через дыру в прорванном пузыре окна виднелся большой монастырский сад с обнаженными черными деревьями. Голубоватый снег лежал сугробами. Протоптанная дорожка пересекала сад. По ней медленно ходил нукер в долгополой шубе, вооруженный копьем... Ветер залетал в окно и осыпал Мусука снежной пылью.

Послышался шорох. Мусук оглянулся. Перед ним стояла, вся закутанная в легкую материю, маленькая стройная женщина. Голова повязана пестрым шарфом. Расширенные глаза смотрят тревожно, чего-то ждут, спрашивают.

Женщина сделала шаг вперед:

— Мусук?

Мусук повернулся. Зазвенела сталь его кольчуги.

— Одна мысль меня жжет,— прозвучал знакомый голос.— Ты тоже взял деньги, полученные за меня?

Мусук жадно вглядывался в блестящие глаза.

— Я виноват только в том, что не был дома, когда братья увезли мою маленькую Юлдуз. Если бы я видел это, я бился бы с ними, как со злейшими врагами. Узнав, чтó они сделали, я проклял свою юрту и отрекся от отца и братьев.

— Теперь я снова могу жить!

Она хотела сказать еще что-то, но остановилась. Мусук заговорил резко:

— Теперь Юлдуз — жена моего повелителя. Он дал мне коня, меч и кольчугу. Он щедр, заботлив, справедлив к своим нукерам. Он храбр и быстр в решениях. Он делает великие дела. Он пройдет через всю вселенную, и не найдется ни одного полководца, который сумеет победить его... И я любил его...

— А теперь? — спросила задыхающимся голосом Юлдуз.

— Теперь я должен его ненавидеть.

Юлдуз с кошачьей гибкостью обвила его руками. Она почувствовала леденящий холод кольчуги. Лицо Мусука побелело. Он оставался таким же неподвижным и холодным, как его кольчуга.

— Разве ты больше не мой Мусук?

Юлдуз коснулась маленькой рукой щеки Мусука. Он почувствовал аромат неведомых цветов. Он трепетал, полузакрыв глаза, не зная, как поступить.

— Скажи, Юлдуз, он тебя очень любит?

— Меня?.. Я сама не знаю, за что он меня любит! Бату-хан сказал мне однажды, что я дала ему три горячие лепешки, когда он скрывался от врагов. За эти три лепешки он обещал подарить мне три царства — северное, восточное и западное... Теперь я скажу ему, что ты мой брат, и он осыплет тебя подарками, как в сказке. Он завернет тебя в парчу, даст алмазный перстень и табун лошадей!

— Ты скажешь, что я твой брат? Братья продали ту, которая была мне дороже аллаха и всей вселенной! У меня остался конь, он мне лучше брата. Я уйду от Бату-хана...

Юлдуз отшатнулась, но снова бросилась вперед и ласкала руками суровое лицо Мусука.

Дверь скрипнула, послышалось насмешливое «дзе-дзе!». Оба оглянулись. В дверях стоял Бату-хан.

Из соседней кельи в приоткрытую дверь смотрели приближенные ханы.

Глава пятая

«ТОРОПИСЬ!»

В узкой келье отца ключаря на лежанке, крытой овчиной, сидел, подобрав под себя ноги, широкий, грузный Субудай-багатур. Старый полководец немигающим раскрытым глазом всматривался в древнюю икону, написанную на покоробившейся доске. На ней был изображен святой Власий, покровитель домашнего скота и прочих животных.

— Вот этот бог нашему монгольскому улусу приятен! — громко рассуждал сам с собой Субудай и старательно рассматривал суровое темно-коричневое лицо Власия, его седую бороду с вьющимися на концах колечками.— Это наш, настоящий монгольский бог! Он любит и бережет скотину, охраняет коров и баранов и стережет лошадей. А нашим коням нужен защитник, иначе они погибнут здесь, в стране урусутов, где дороги загораживают болота, ели да сосны высокие, как горы. А харакун[1] от злобы и неразумия сжигает скирды с хлебом и стога сена... Скажи, Саклаб,— ты сам урусут,— для чего они все это делают? Не лучше ли покориться монгольскому владыке Бату-хану?

Тощий раб, сидевший на скамье возле двери, равнодушно-сонным голосом отвечал:

— Я уже сорок лет здесь не был. Ничего теперь не

[1] Харакун (хара-кун) — простой, «черный» человек, простолюдин, рядовой кочевник, подчиненный феодалу.

знаю, чтó думают наши суздальские мужики. Все с тобой шатаюсь по белу свету, а с людьми не говорю. Кроме котла и поварешки, ничего не вижу.

Субудай продолжал поучать своего раба:

— Ты все забыл, Саклаб! Так нельзя. Надо все помнить и все объяснить своему господину.— Субудай выпрямился и заговорил резким, повелительным голосом: — Сходи посмотри, стоят ли нукеры на местах, не дремлют ли? И сейчас же вернись ко мне!

— Так и знал! Даже ночью покоя нет! — ворчал, уходя, Саклаб.

Субудай зажмурил глаз. Голова его свесилась, рот раскрылся. Он заснул и увидел во сне... степь, беспредельную, голубую, и колеблемые ветром высокие желтые цветы. Багровое солнце, заходившее за лиловые холмы, уже закрывало свои дверцы. Стадо сайгаков неслось по степи, прыгая через солнце. «Торопись доскакать до уртона[1], пока солнце не спряталось!» — шепчет чей-то голос. Он протягивает руку, чтобы удержать солнце. Рука вытягивается через всю степь, в руке копье. Острие прокалывает насквозь солнце... Это уже не солнце, а залитая кровью голова рязанского воеводы Кофы, которого нукеры схватили израненным, а он все бился, пока силач Тогрул ударом меча не срубил старому воеводе голову... Голова раскрыла глаза, насмешливо подмигнула и прошептала: «Торопись! А то завязнет в снегу твое нечестивое войско...»

Грубо стукнула дверь. Огонек лампадки закачался, тени запрыгали на потолке. В келью вошел, задевая за ножки скамьи, засыпанный снегом огромный монгольский нукер. Меховой колпак с отворотами закрывал уши и лицо. Виднелся лишь нос с черными отмороженными пятнами и двигавшиеся с трудом губы:

— Внимание и повиновение!

— Я слушаю тебя,— сказал равнодушно полководец.

— Черный урусутский шаман повторял два слова: «Байза[2], Субудай». Он толкался и лез сюда. Сотник Арапша приказал провести его к тебе.

— Где черный шаман?

— Здесь, за мной! — Монгол отодвинулся. За ним стоял, тоже весь в снежной пыли, черный монах с длинным посохом и котомкой за спиной. Черный клобук спускался на густые брови.

---

[1] Уртон — стоянка, поселок в степи на большой дороге.

[2] Байза — внимание.

Субудай, прищурив глаз, смотрел на монаха. Тот снял клобук. Полуседые кудри и длинная черная борода показались очень знакомыми. Монах заговорил по-татарски:

— Байза! Субудай-багатур! Важные вести.

— Уходи,— обратился полководец к нукеру.— Постой за дверью. Я позову тебя.

Монгол, топая огромными гутулами, вышел. Дверь закрылась. Оглянувшись, монах скинул верхнюю просторную одежду, подошел к Субудаю и сел рядом на лежанке:

— Я переоделся монахом. Благословлял черный народ. Все целовали мне руки.

— Дальше, коназ Галиб!

— Я спрашивал всех, где находится великий князь Георгий Всеволодович. Кругом я слышал тот же вопрос: «Где князь Георгий, где собирается войско?..» Все, кто могут, точат рогатины и топоры. Все идут толпой на север. Я тоже торопился. Где мог — садился на сани, где не было попутчиков — шел пешком, только чтобы тебе угодить.

— Дальше, коназ Галиб, дальше!

— Простаки подвозили меня на санях, говорили: «Молись за нас, принеси нам победу!»

— Довольно об этом! Где коназ Гюрга?

— Я проехал тропою через древние, непроходимые леса...

— Куда?

— По реке Мологе.

— Молога? Где Молога?

— На севере... За важные вести ты обещал мне мешок золота.

— Я еще не слышу важной вести. Ты все едешь, едешь, а все без толку.

Князь Глеб остановился и недоверчиво посмотрел на каменное лицо полководца. Крючковатые пальцы его протянулись вперед, словно ожидая обещанного золота.

— Великий грех беру я на душу! Иду против родного народа. На том свете бесы будут на вилах палить меня огнем.

— Хорошо сделают! Ты этого заслуживаешь.

— Я жду золота.

— Я дам его. Дам много. Говори, что знаешь.

— Молога впадает в Волгу, а в Мологу впадает речка Сить. На этой речке есть погост Боженки. В нем старая церковь. Около церкви в поповском доме живет князь Георгий Всеволодович. Там же собирается войско.

Субудай отшатнулся. Его глаз закатился кверху, точно

рассматривая старый бревенчатый потолок, затянутый паутиной. Левой рукой он полез за пазуху, достал истертый кожаный кошель, затянутый пестрым шнурком с желтым янтарным шариком на конце.

— Здесь триста золотых. Половину ты получишь сейчас, другую — когда мы придем на эту речку Сить. Ты покажешь дорогу. Если ты обманул — на реке Сити ты будешь надет на вилы и сожжен над костром. Мои монгольские нукеры сожгут тебя живьем с большой радостью!

Князь Глеб, заикаясь, прошептал:

— Но это очень мало!

— Не хочешь, не бери!

Субудай ловко, одной рукой, помогая зубами, развязал кошель, высыпал, не считая, половину монет на колени, схватил горсть золота и протянул князю. Тот подставил обе ладони.

— Я беру это золото только на пользу своего дела,— сказал он.— А после похода ты, Субудай-багатур, поможешь ли мне стать великим князем земель рязанских, суздальских и прочих? Ведь только для этого я помогаю вам раздавить моего врага, князя Георгия Владимирского!

— Завтра будет завтра, и тогда будем решать, что делать.

Сильный стук в дверь прервал разговор. Кто-то тревожно колотил руками и кричал:

— Байза, байза! Субудай-багатур! Байза!

Мнимый монах торопливо спрятал деньги. Субудай-багатур встал и отодвинул деревянный засов. В келью вбежала китаянка И Ла-хэ, закутанная в черную шелковую шаль. Она бросилась на колени и, задыхаясь, ухватилась за одежду полководца. Тот оттолкнул ее, выпустил монаха из кельи и спокойно закрыл дверь.

— Несчастье! Ужасное несчастье! — лепетала китаянка, захлебываясь от слез.— В этом проклятом доме урусутского бога шаманы напоили джихангира ядом. Он стал безумным и бешеным. Он бегает с мечом в руках, рубит все, что видит, рубит урусутских богов, бросает скамейки в стены.

— Это меня не касается! — ответил хладнокровно Субудай.— Я только военный советник. А дома джихангир поступает, как ему нравится.

И Ла-хэ продолжала рыдать, не выпуская из рук одежды Субудая. Он с любопытством смотрел на ее тонкое, бледное лицо, маленький рот и два зуба, выступавшие вперед, как у зайца.

— Почему ты плачешь? Тебе жалко урусутских богов?

— Что он сделал, что он сделал! В безумии джихангир приказал связать руки и ноги маленькой Юлдуз-Хатун...

— Это его право. Муж делает со своей женой, что захочет.

— Мою нежную госпожу привязали к нукеру, который сторожил ее дверь... Их выбросили в сад, в снег, где бегают собаки-людоеды. Сейчас придет шаман Бэки и его помощники и задушат ханшу Юлдуз и молодого нукера.

— Это не мое дело. Я участвую в войне, а в юртах жен джихангира распоряжаются его шаманы и китайские евнухи.

— Джихангир никого не слушается, кроме тебя, непобедимый. Спаси Юлдуз-Хатун! Клянусь, она ни в чем не виновата: нукер — ее родной брат!

— Напрасно ты ко мне пришла, китаянка! Поищи Хаджи Рахима, который пишет книгу походов Бату-хана. Он его учитель, его почитает джихангир. Он даст лекарство, от которого Бату-хан выздоровеет и простит свою маленькую жену.

— Куда я побегу ночью, когда всюду стоит стража? Где я найду сейчас Хаджи Рахима? Шаманы сегодня задушат мою маленькую госпожу, а завтра никакие врачи ее не спасут!..

Китаянка упала на пол и билась головой в отчаянных рыданиях.

Субудай осторожно обошел ее, открыл дверь и позвал стоявшего на страже нукера:

— Беги к юртджи! Скажи, чтобы немедленно шли ко мне! Все!

— Внимание и повиновение! — ответил нукер и побежал, гремя оружием.

Глава шестая

В МОНАСТЫРСКОМ САДУ

В голубом свете ущербной луны туманными тенями стояли монастырские деревья с клоками снега на ветвях.

Под старой яблоней, широко раскинувшей искривленные сучья, подпертые кольями, облокотился на копье монгольский нукер. Стоя по колено в снегу, он смотрел удивленным, недоумевающим взглядом на снежный сугроб. Там лежали два тела: воин в кольчуге и молодая женщина в золотистой шелковой одежде, связанные за локти, спина к спине. Голова воина была обнажена, и длинные черные кудри, обычные у молодых кипчаков, разметались по плечам.

Воин что-то говорил, женщина изредка со стоном отвечала. Нукер не понимал их шепота. Он вмешивался, стучал копьем.

— Я скажу, что ты мой брат, и ты будешь освобожден. Джихангир даст тебе золота, коней и оденет тебя в шелка...

— Я не хочу быть только братом. Я счастлив умереть рядом с тобой. Я скажу Бату-хану, что ты моя хурхэ[1].

— Ты этого не скажешь. Мы должны вырваться из этой беды и спастись... Ты поклянешься аллахом, что я твоя сестра.

Монгол поднял копье:

— Байза! Замолчите! Джихангир запретил вам говорить.

Стороживший нукер хорошо знал связанного воина: это был смелый, ловкий юноша из передовой сотни, ездивший на отличном коне, любимец сотника Арапши.

Что помутило его разум? Как он посмел поднять глаза на молодую жену джихангира? Теперь ему придет скорый конец.

Между старыми деревьями пробиралась стая больших монастырских собак. Передние подошли совсем близко и ждали, посматривая на лежащих, как на свою скорую добычу. Одна из собак подходила слишком смело. Нукер метнул копье и пробил ей спину. Собака с визгом бросилась в сторону, волоча копье. За ней умчались остальные. Монгол пошел через глубокий снег, подобрал копье и вернулся на свое место.

Стукнула дверь на крыльце. Заскрипела калитка. Несколько человек шли по тропинке. Собаки снова подняли лай и бросились навстречу.

Показались Субудай-багатур, Арапша, Хаджи Рахим и три нукера. Хаджи Рахим нес зажженный резной фонарь из промасленного шелка. Он первый, большими шагами, поспешил к Юлдуз, склонился к ней и осветил тусклым светом фонаря ее страдальческое лицо.

— Когда-то ты меня кормила... Ты приносила молоко и горячие лепешки и продлевала дни бедной жизни дервиша! Что же ты теперь, маленькая Юлдуз-Хатун, потонула в урусутских снегах? Ты можешь стать добычей этих голодных псов! Скорее, скорее очнись!

Хаджи Рахим поставил фонарь на снег и с трудом развязал обмерзшие веревки. Он помог приподняться полубесчувственной, застывшей Юлдуз, Арапша завернул ее

---

[1] Хурхэ — милая.

в соболью шубу. Развязанный Мусук вскочил и подошел, шатаясь, к Субудай-багатуру, стоявшему неподвижно, расставив ноги, будто все, что происходило, его не касалось.

— Чей ты сын? Скажи ясно! — спросил Хаджи Рахим.

— Вольного ветра! — ответил Мусук.

— Кто эта женщина? — продолжал Хаджи Рахим.— Знаешь ли ты ее?

Мусук молчал. Из шубы послышался слабый голос:

— Это мой брат, Мусук. Мы оба дети Назар-Кяризека из Сыгнака.

— Все это верно! — сказал Хаджи Рахим.— Я узнаю обоих.

— Довольно! — вмешался Субудай-багатур.— Что говорит Хаджи Рахим,— то всегда верно! В этом доме черных шаманов все потеряли разум... Воин Мусук! Ты докажешь мне, какой ты «сын ветра». Ты поедешь вперед, на самую трудную разведку... Нукеры! Отнесите Юлдуз-Хатун в ее покои.

Из-за двери кельи, где помещался джихангир, слышались странные крики и дикий всхлипывающий вой.

У стены жались нукеры.

— Что там случилось? — спросил Субудай-багатур.

— Джихангир свирепствует! Он порубил мечом урусутских богов и зарезал двух друзей — блюдолизов. Теперь он плачет.

— Как плачет?

— Разве ты не слышишь?

Субудай подошел к двери. Оттуда раздавался вой то шакала, то гиены...

— Не входи! Он зарубит тебя...

Арапша внес Юлдуз в соседнюю келью и опустил на лежанку. Китаянка И Ла-хэ стала ловко растирать ее.

Субудай ждал возле двери. Снова послышался крик:

— Какая казнь! О-о!.. Какое вероломство!.. О-о! Злодеи опять встали на моем пути... О-о! Они увидят, что я внук Чингиз-хана!.. Да, они это увидят!..

Субудай-багатур, склонившись так, что его широкая спина стала совсем круглой, решительно отворил дверь и вошел в келью.

Из-под стола торчали ноги зарубленных. На полу растекалась лужа крови.

Бату-хан сидел на столе, скрестив ноги. Он держал на коленях кривой меч. Лицо его распухло, глаза, красные

и воспаленные, яростно уставились на Субудая. Тот выпрямился и посмотрел ему прямо в лицо. С большой лаской Субудай спросил:

— О чем плачешь, джихангир?

Бату-хан поднял меч над головой, точно раздумывая, кого бы ударить. Вдруг, повернувшись, стал бить по иконе святого Власия. Меч зазвенел, от иконы отлетали щепки.

— За что ты наказываешь урусутского бога? — продолжал Субудай необычным для него мягким отеческим голосом.

— Мне сказали, что этот бог с длинной бородой спасает несчастных и оберегает всякую скотину, а для меня он ничего не делает!.. Висит на стене и дерзко глядит на меня. Прочь, урусутские боги!

— Но что случилось? Никто ведь не погиб?

Бату-хан прищурился на Субудая пьяным, мутным взглядом:

— Не погиб, говоришь? О-о! Ты тоже хочешь быть среди моих друзей! Мне не нужны друзья, мне нужны только верные слуги!.. Я не прощу коварства. Вон торчат ноги двух бывших друзей! Я затолкал их в угол. Они осмелились распоряжаться моим именем! Попробовали бы они это сделать при Чингиз-хане! О-о! В этом доме черные злые онгоны выползают из щелей и делают людей безумными... О-о!

Субудай оставался спокойным. Бату-хан соскочил на пол и потащил Субудая за рукав:

— Идем! Я покажу тебе, что они наделали! Иди за мной!.. Хаджи Рахим, ты тоже иди с нами! Где твой фонарь? Зажги его.

Бату-хан быстро пошел вперед, все последовали за ним. Он спустился в сад.

— Там нет никого! — сказал Субудай.

— Ты обманываешь меня?

Бату-хан направился к развесистой яблоне, остановился, посмотрел кругом, свистнул, сказал: «Дзе-дзе!» — и поспешил дальше. Монголы вышли через калитку в тихий монастырский двор, где протянулись сараи и конюшни.

— Хаджи Рахим, свети здесь!

На снегу, вытянув ноги, лежал вороной конь. Он приподнял голову и выпуклыми умными глазами посмотрел на Бату-хана. Голова его снова упала, и ноги, белые до коленей, забили по снегу.

— Кто-то заколдовал коня: злые мангусы, или черные шаманы урусутов, или добрые друзья! Они завидовали, они

не хотели, чтобы я на нем догнал и зарубил коназа Гюрга... О-о! Скажи, вороной, кто погубил тебя!

Конь с человеческим стоном изогнул шею и стал лизать кровавую рану в боку.

— Хаджи Рахим! Ты умеешь разговаривать со звездами! Выслушай коня, узнай, кто убил моего скакуна?

Хаджи Рахим осветил фонарем место, которое лизал конь. Хаджи Рахим положил руку на больной бок, ощупал и надавил.

— Здесь опухоль. Выходит кровь и гной. Вот отчего конь умирает...— И факих вытащил из раны тонкое железное острие.

Бату-хан склонился к тусклому фонарю.

— Это женская шпилька для волос! — сказал позади чей-то уверенный голос.

— Нет, это не женская шпилька! — ответил Субудай-багатур, рассматривая острие.— Женщины убивают шпилькой своего господина, когда он спит, но никогда не убьют его коня. Это сделали добрые друзья. Я говорил тебе, не заводи поддакивающих блюдолизов, а держи около себя только верных слуг... Это обломок кинжала!

Конь вытянулся, забил ногами. Бату-хан присел перед ним на короточках:

— Не придется тебе, вороной, въезжать в захваченный пылающий город... Ты верно служил мне, но коротка была твоя жизнь. О-о!

Бату-хан завыл, вскочил и бегом направился назад через сад и крыльцо. Все поспешили за ним. Около двери своей кельи Бату-хан остановился и обвел мутным взглядом, точно кого-то разыскивая. Он вошел, взял глиняный кувшин с вином и покосился на Субудая:

— А кто там, рядом?

— Пойди и посмотри!

Бату-хан с кувшином в руках прошел в соседнюю келью. На лежанке, освещенная поставцом с горящей лучиной, лежала Юлдуз-Хатун. Она посмотрела на подходившего Бату-хана скорбными глазами и натянула себе на голову соболью шубу.

— Она здорова? — спросил Бату-хан.

— Юлдуз-Хатун здорова и ни на кого не жалуется! — отвечала китаянка И Ла-хэ.

Бату-хан повернулся к Субудай-багатуру.

— Это ты сделал? Ты спас ее?

— Да, я!

— Ты один меня понимаешь... Ты мой верный слуга! Я не давал приказа ее казнить. Это сделали от моего имени

мои друзья...— Он припал губами к кувшину и стал пить вино, которое стекало ему на грудь. Он покачнулся, опустился и растянулся на полу.

Субудай-багатур осторожно отобрал глиняный кувшин и тихо вышел.

— С рассветом мы выступаем,— сказал Субудай ожидавшим нукерам.— Предстоит далекий и очень быстрый переход. Будьте все наготове. Я приказал позвать юртджи! Где они?

— Они ждут тебя, непобедимый!

Глава седьмая

СОН БАТУ-ХАНА

Монголы ушли из Углича в багровом зареве пожара. Монастырь, подожженный со всех сторон, горел, как костер. Монахи бегали, выкатывали бочонки с вином и елеем, выносили иконы. Согласно грозному приказу Бату-хана: «Не убивать и не обижать урусутских шаманов» — монгольские воины не трогали монахов, но при удобном случае, когда сотники не замечали, сдирали с монахов подрясники, соблазненные добротностью просторной одежды.

Бату-хан после старых монастырских медов и настоек еще плохо соображал, что кругом происходит. Субудай-багатур приказал бережно завернуть его в пушистую долгополую шубу, поднесенную архимандритом. Джихангира уложили в наполненные сеном раскрашенные сани. Рядом посадили закутанную в шали Юлдуз. Китаянка И Ла-хэ ехала в другом возке, охраняя имущество «седьмой звезды».

Монгольские отряды шли на север и запад широкой лавой, заходя во все встречные погосты. Воины забирались в каждую избу, вытряхивали из сундуков полотенца, сарафаны, рубахи и порты,— все годилось, все переходило в монгольские переметные сумы и в розвальни, следовавшие за отрядом. Монголы выгребали из закромов зерно, жарили его в своих котлах и ели горстями, сидя у костров.

Утром, на остановке, Бату-хан пришел в сознание. Он бодро встал, удивленно осматриваясь. Рядом с санями стояли выпряженные кони с подвязанными к мордам торбами. На снегу были просыпаны ячменные зерна и валялись клочки сена.

В санях, сжавшись, сидела маленькая женщина. Из-под меховой шапки пытливо смотрели карие глаза. Бату-хан отвернулся. Невдалеке начинался молодой еловый лес. На

опушке дымились костры, толпились люди, проезжали всадники. Дальше виднелась окраина деревни. Горели ярким пламенем избы, доносились крики, яростный лай собак.

— Где мы? — спросил Бату-хан.

Неподвижный нукер, в заиндевевшем меховом колпаке, отвечал, с трудом шевеля губами:

— Мы в дневном переходе от того города, где сожгли дворец урусутских черных шаманов.

— А это что за деревня?

— Деревня упрямая. Урусуты не покоряются, бьются топорами. Уже уложили многих наших воинов. Мы гонялись за проклятыми, а они точно не видят, что им спасенья нет,— грызутся, как затравленные волки.

— Где Субудай-багатур?

— Вон, недалеко у костра. Там и тысячники.

— Позови!

Нукер, приложив руку к губам, закричал:

— Внимание и повиновение! Джихангир проснулся!

Монгольские военачальники вскочили, неуклюже переваливаясь, подбежали к саням и подтащили их к костру. Бату-хан стоял, недоверчиво косясь на всех. Он вышел из саней, засучил рукава и присел на корточки, грея над огнем потемневшие от грязи ладони.

Нойоны и темники стояли полукругом, почтительно ожидая, когда заговорит ослепительный.

Бату-хан поднялся. Вздрогнув, все замерли на месте.

— Черные шаманы-попы усыпили меня волшебными напитками из колдовских ягод и трав. Но я не умер. Заоблачные боги сохранили меня для великого дела, которое прославит монгольское имя. Тень моя вылетела из моего тела через раскрытый рот и унесла меня в небесные голубые просторы, где царствует мой дед, Священный Правитель. Да, и я увидел его, и он говорил со мной...

Все воскликнули «Бо!», всплеснув руками, и снова застыли.

— Да, я увидел его! Он стал еще выше, плечи его шире, белая борода еще длиннее, почти до колен. Он сказал: «Ты, мой внук, хорошо продолжаешь мое дело. Ты ушел на запад на девятьсот девяносто девять переходов от горы Бурхан-халдун, где под высоким кедром в золотом гробу покоится мой прах. Я все вижу и знаю, что ты не уберег моего младшего сына, хана Кюлькана. Почему ты не уберег его?» И я ответил деду: «Я твоя жертва!

Я виноват в этом, ты можешь казнить меня. Я внимаю и повинуюсь!» — «Еще рано казнить тебя. Ты был далеко от хана Кюлькана, когда он погиб».— Так ответил Священный Правитель.— «Сперва я должен казнить тех, кто убил моего сына. Хан Кюлькан до сих пор не прилетел ко мне. Его тень скитается над холодными снежными полями урусутов. Бродит по лесам, воет по-волчьи и пробирается ночью между спящими монголами, разыскивая своих убийц. Хан Кюлькан стонет и плачет: «Я хотел подвигов и славы, а умер молодым и безвестным! Никто не споет песни о молодом хане Кюлькане! Я не успокоюсь, пока монголы не сделают славного подвига, о котором будут со страхом и ужасом рассказывать наши враги и гордиться им наши внуки и правнуки...»

Бату-хан угрюмо замолчал. Мрачными суженными глазами взглянул он на стоявших тихо военачальников:

— Вы слышите, что говорил Священный Правитель?

— Слышим и понимаем! — ответили шепотом монголы.

— Я сказал великому вождю: «Внимание и повиновение! Я исправлю горькую ошибку. Тень хана Кюлькана получит на земле успокоение и прилетит на крылатом коне к тебе, наш повелитель, чтобы встать в ряды твоих небесных призрачных воинов!»

Шаркая широкими гутулами, подошел Субудай-багатур и остановился. Кивая головой, старый полководец всхлипывал:

— Верно!.. Верно говоришь! Так мы и сделаем!

— Кто был около хана Кюлькана в день его смерти?

— Темник Бурундай! — воскликнули все.

— А где темник Бурундай?

Высокий сутулый монгол с плоским желтым лицом без волос опустился на одно колено:

— Это я виноват! Я недосмотрел!

Бату-хан подошел к нему с яростным от гнева лицом:

— Ты заплатишь за это или умрешь! Я даю тебе задачу. Ты не вернешься назад, пока ее не выполнишь. Со всем своим туменом и с туменом кипчакского сброда, который пристал к тебе, ты отправишься туда! — Бату-хан показал широким жестом на безмолвные снежные равнины.— Там, за дремучими лесами, на замерзшей реке...

— Сити! — подсказал Субудай-багатур.

— На реке Сити строится боевой стан урусутского коназа Гюрга. Ты набросишься на урусутов, не думая, можно или нельзя их победить. Твои воины будут их избивать, не отступая ни на шаг. Знай, что впереди твоего

войска полетит тень хана Кюлькана. Ты должен этой победой дать ей успокоение. Тогда хан Кюлькан отправится к своему отцу, моему деду, с радостной вестью о новой монгольской победе. Если же ты будешь разбит и будешь метаться по земле, подобно летучей мыши, тогда тень хана Кюлькана станет прилетать к тебе по ночам, пить кровь из твоих глаз...

Бату-хан замолчал. Ноздри его раздувались. Он сильно дышал и поглядывал на Субудай-багатура. Тот, отвернувшись, смотрел в сторону и повторял:

— Верно, верно!

— За эту ночь приготовь своих воинов к набегу. Довольно им тормошить урусутских женщин. Помни, что я и непобедимый пойдем с нашими туменами по вашим следам. Остерегайтесь, чтобы мы вас не обогнали. Тогда мы ударим первыми...

— Внимание и повиновение! — сказал Бурундай, упав на ладони. Поцеловав снег, он вскочил и, придерживая рукой висевший на боку кривой меч, побежал к своим воинам.

Бату-хан отошел и беседовал вполголоса с Субудай-багатуром. Непобедимый хрипел и доказывал:

— Хотя воин Мусук и брат прекрасной «седьмой звезды», но лучше отправить его подальше, так далеко, чтобы он вернулся назад через девяносто девять лет или вовсе не вернулся. Обычно брат новой царицы получает подношения от низших и подарки от высших. У него появляется много золота, он пьянствует с новыми друзьями и быстро становится негодным, как дырявый бурдюк. Дай ему опасное, но достойное поручение, чтобы он гордился им, а выполнить его было бы трудно... Пошли его с сотней нукеров на разведку прямо на Сить, к лагерю коназа Гюрга. Пошли так, чтобы темник Бурундай и не подозревал об этом. Тогда мы проследим и проверим темника Бурундая, как он выполнил твой приказ.

Бату-хан пристально смотрел на старого полководца, желая понять, какая тайная мысль скрывается за его словами. Он нахмурился и вздохнул:

— Ты мой верный слуга и учитель. Я так и сделаю. Вместе с Мусуком я пошлю сотника Тюляб-Биргена, у которого русский пленный мальчишка увел скакового коня. Этот удалец с отчаяния будет бешеным!

— Верно! — подтвердил Субудай.— Надо торопиться и напасть на войско урусутов, как орел на ястреба, пока коназ Гюрга еще не ожидает нас!

Глава восьмая

ТРОПА БАТЫЕВА

> ...В Заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам... Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «Тропу Батыеву»... Старая там Русь, исконная, кондовая...
>
> *(П. И. Мельников-Печерский, «В лесах»)*

После разгрома Владимира-Суздальского татарское войско двинулось на северо-запад тремя потоками. Один отряд под начальством темника Бурундая шел на Суздаль, Юрьев, Переяславль, Скнятин и Кашин[1]. Отсюда татары направились на Бежецк и Красный Холм.

Отряд Бату-хана прибыл в Углич, оттуда рекой Корожечной поднялся вверх по течению до лесного поселка Кой. Третий отряд пошел на город Мышкин и далее, пробираясь лесными дорогами, направился к верховьям реки Мологи. Татары пытали на огне захваченных в пути крестьян, стараясь выведать от них, где находится боевой стан коназа Гюрга Владимирского.

Мелкие татарские отряды были разосланы Бату-ханом для разорения великого княжества Владимирского. Они жгли все встречные города и погосты.

В начале марта Бату-хан стоял в лесном поселке Кой, где нашел много сена, заготовленного к весеннему сплаву. Темник Бурундай расположился в Бежецке. Оба уже знали, что где-то невдалеке, среди дремучих лесов, собираются воинские силы великого коназа Гюрга.

На совещании тысячников Бату-хан сказал:

— Я должен в одной битве уничтожить главное урусутское войско, иначе мы сами бесславно погибнем в этих снегах, лесных трущобах и болотах. Вы будете драться, не жалея жизни. Уничтожив главное войско, я стану единственным повелителем всей урусутской земли, так как больше ни одного опасного противника не останется. В стране этих длиннобородых медведей воцарится слепая покорность мне и мертвая тишина... Так учил и так всегда поступал в своих войнах величайший из всех людей, мой дед, Священный Правитель. Завтра для монгольского имени будет день великой славы или день великого позора.

— Позора не будет! — воскликнули тысячники.

---

[1] Города Калязина тогда еще не было. Основан в XII веке.

— Разбив коназа Гюрга, мы не будем отдыхать. Мы повернем коней на большую дорогу к самому богатому урусутскому городу Новгороду. Мы помчимся туда со всей быстротой, чтобы добраться раньше, чем начнут таять реки...

— А потом? — спросил один тысячник.

— Потом, отъевшись и отдохнув на женских пупах, мы пойдем в страну гордых купцов, которых мы поймали в Мушкафе. В той стране города еще более богатые, чем Новгород. Как зовутся эти города, скажи, Хаджи Рахим?

— Рига, Любек, Гамбург, Брюгге, Лигниц,— ответил тихий голос.

— Да, это так! Я засуну все эти города в мою походную рукавицу. Но сперва мы должны прикончить урусутского коназа Гюрга.

Глава девятая

В ЛЕСНЫХ ТРУЩОБАХ

...Лесом ехать — будет темно.
Лужками ехать — будет топко.

(Из старинной былины)

Долго совещались сотник Тюляб-Бирген и Мусук-тайджи[1], брат Отхан-Юлдуз, неожиданно возвеличенный джихангиром. Они решили завоевать себе славу и поразить дерзкой удалью самого Субудай-багатура. Решив попытать счастья, они выехали вперед, в неведомую урусутскую лесную чащу. Распоряжался опытный в походах и набегах Тюляб-Бирген. Мусук-тайджи со всем соглашался, что предлагал его новый старший друг:

— Очень хорошо! Будь всегда моим учителем в военных делах!

Предстояло сделать разведку, проникнуть в глубину еще не покоренных урусутских округов и разыскать главный лагерь коназа Гюрга. Бату-хан в Кое и темник Бурундай в Бежецке ожидали известий от Тюляб-Биргена.

Леса кругом были густые, непролазные, дороги среди вековых елей были похожи одна на другую. Пойманные лесные охотники говорили малопонятно: «Цаво хоцес?» — и упрямо отвечали: «Насы сыцкари зивут на сторонке. Знац мы не знаем, слысац не слысали, видец не видели!»

---

[1] Тайджи — царевич, князь.

В наказание за упрямство татары раздели пойманных охотников. Голые, в одних лаптях сицкари побежали в лес, остановились вдали и стали прыгать и дразнить татар непристойными жестами. Два татарских всадника, разозлившись, погнались через замерзшее озерко, чтобы зарубить их, но провалились под лед, попав в трясинное «окно», и утонули вместе с конями. Голые сицкари, прыгая как зайцы, скрылись в лесной чаще.

Тюляб-Бирген и Мусук понимали, что в урусутских лесах кругом грозят опасности, что каждый шаг нужно делать с особой осторожностью. Они разделились. Тюляб-Бирген с отрядом остановился на перекрестке, а Мусук с десятком всадников отправился на разведку. Вьюга усиливалась. Метель непрерывно засыпала дорогу снегом. Впереди послышался лай собак. Мусук оставил коня спутникам, а сам стал осторожно пробираться вперед. Зачернела ограда, показались привязанные кони. Это была застава урусутов. Мусук тихо повернул обратно и помчался к Тюляб-Биргену.

Тюляб-Бирген немедленно послал гонцов к Бурундаю и, укрывшись со своими нукерами в чаще, стал выжидать. К вечеру прибыл ответ: Бурундай приказывал ждать и не пугать заставу.

Вскоре прибыли передовые сотни Бурундая. Они обошли заставу, ворвались за ограду, перехватили коней и рубили всех выбегавших из землянок, где беспечно задремали урусутские сторожа. В живых остались только два воина, взятые в плен. Они рвали на себе волосы и не отвечали на вопросы. Сказали только, что это сторожевая застава воеводы Дорожи. Который из убитых был воевода Дорожа, татары так и не узнали,— все были одеты одинаково: в овчинные полушубки и лапти, и все полегли в неравном бою, где одному приходилось биться против двадцати.

Бурундай прискакал к заставе, когда уже не было ни одного живого урусута. Он послал гонцов к Бату-хану в Кой, извещая, что, судя по сильной утоптанной дороге, невдалеке от вырезанной заставы должна быть стоянка коназа Гюрга. Бурундай будет ожидать до утра, а на рассвете двинется дальше.

Ночью Мусук с тремя всадниками снова отправился на разведку. Он вскоре приблизился к поляне, которую прорезало глубокое русло замерзшей реки. На другом берегу протянулось селение с древней деревянной церковью. Там разъезжали всадники, ходили люди, виднелось много новых белых построек.

Мусук решил, что это, несомненно, боевой стан коназа Гюрга. Он стал выжидать, укрывшись между елями. Су-

мерки затянули туманной дымкой поляну. Вьюга стихла. Серебряный ободок полумесяца повис над верхушкой ели. Мусук задался дерзкой мыслью проехать через селение. Там все затихло. Кое-где вдали лаяли собаки, несколько огоньков мерцало на другом берегу реки. Постепенно, один за другим, огоньки угасали.

Мусук ехал медленно, напряженно вглядываясь в темноту, стараясь узнать, как расположены укрепления и засеки, откуда лучше повести нападение.

Вдруг из темноты послышался голос, и высокий человек быстро двинулся навстречу. Мусук повернул коня и поскакал обратно к отряду, боясь, что за ним уже мчится погоня. Но все было тихо в лесу.

Бурундай придвинул свой отряд еще ближе к открытому Мусуком селению. Всю ночь всадники провели, сидя на снегу возле коней. Среди ночи поднялся ветер и повалил густой снег. Вьюга завыла, заскрипели верхушки качавшихся елей. Под утро был передан приказ: «Дать коням по нескольку горстей зерна. Проверить оружие. Мы будем здесь биться так долго, что новорожденный младенец станет стариком, но назад не повернем».

Глава десятая

«ПОМОГАЙТЕ, БЕЛЫЕ МУРИИ!»

Снег валил трое суток, не переставая. Ветер усилился, гудел в вершинах вековых сосен, наносил вороха легкого снега и, точно передумав, снова сдувал нагроможденные сугробы, перебрасывал их, наметая в других местах новые пушистые холмы. Сплошное белое покрывало затянуло низкие, прижавшиеся друг к другу шалаши и землянки боевого стана.

Все живое попряталось, спасаясь от разгулявшейся метелицы.

Но один человек стоял неподвижно на бугре, как обломанный молнией ствол старой березы. Прочно опираясь на длинную рогатину, зашитый в звериные шкуры, он громко, нараспев говорил, обращаясь к пустому полю, где, точно белые тени, проносились подхваченные ветром вороха снега. Ему вторила метелица, а человек то громко завывал, то говорил шепотом:

«Иду я из ворот в Дикое поле, во просторные луга, в дольные места, ко дремучему лесу, ко ручью студенцу, где стоит старый дуб мокрецкой, возле лежит горючий камень

Алатырь... Под этим камнем живут седьмерицей семь старцев, не скованных, не связанных... Отвалю я тот камень Алатырь, призову я тех старцев, поклонюсь им низехонько: «Отпирайте вы, старцы, свои железные сундуки, выпускайте белых муриев!.. Пусть полетят по небу те белые мурии, пусть нагонят они бури и метелицы, пусть засыпят снегом злые полки татарские, заморозят их лютою стужею!..» Татарин, татарин, злодейской породы, урод из уродов! Зачем ты, татарин, пришел в наши земли? Не убежишь своей волей ты вслед за метелью за каменные горы, вырву я тебя с корнем, заброшу за синюю даль, где засохнешь ты, как порошинка, завянешь, как былинка!.. Вспомнишь ты свою ошибку, да будет поздно. Замыкаю свои словеса замками железными, бросаю ключи под бел камень Алатырь! А как у замков смычки крепки, так мои словеса метки... И ничем, ни воздухом, ни бурею, ни водою, мой заговор не отмыкается... Рать могуча, мое сердце ретиво... Слово мое крепко, крепче сна и силы богатырской. Чур, слову конец, моему делу венец. Заговор мой все превозмог!..»

Точно покорясь колдовскому заговору, буря снова закрутила сильнее. Налетели порывы ветра, стараясь свалить говорившего.

В стороне послышался крик:

— Гей! Кто жив челове-аак! Погиба-аа-ем!

Колдовавший ответил:

— Ходи сюда-а! Здесь дорога-а!

Из сизой мглы вынырнула тень, за ней другая, третья:

— Здоров буди! Где мы?

— Там, где тебе нужно. На татар идешь?

— Вестимо, на татар! Нас тринадцать робят и семь девок...

— Целое войско! И мы здесь на татар рогатины навострили.

— Мы ищем ратный стан князя Георгия Всеволодовича.

— Счастливо мамка вас выходила! К нему вы и пришли, а не завалились в лесных буераках. Идите за мной, след в след, нога в ногу. Не то леший вас закрутит, ведьма замучит! Будете всю ночь плутать промеж двух сосен.

— О-го-го! Где вы, рязанцы, лесовики, сторонники? Все сюда валите! Поживей, а то, гляди, стар человек уйдет от нас...

Дружный крик сильных голосов ответил:

— Идем, отец, все идем!

— Кто твои люди? — спросил старик.

— А двенадцать моих сыновей да еще дочки... Девки сбежали из татарского плена, тоже хотят воевать.

— Честь им и слава!

Все пошли гуськом, след в след, опираясь на рогатины. Впереди старик, нагонявший на татар метель, за ним прибывшие рязанцы, завернутые в овчины, все здоровые, широкие, коротконогие, с медвежьими ухватками.

Перейдя замерзшую реку, рязанцы увидели много землянок, в которые, спасаясь от метелей, запрятались русские ратники. Землянки растянулись длинной цепью, едва выделяясь из сугробов снега. Только вьющиеся дымки́, проникавшие сквозь волоковые оконца и отверстия в крыше, говорили, что под снегом живут, что там тепло, в горшках кипит похлебка и гуторят русские люди.

Глава одиннадцатая

НА СИЦКИХ БОЛОТАХ

Князю Васильку не спалось. Он поворачивался с боку на бок, поправлял шубу, которой был прикрыт. Он лежал на полу, на ворохе сена, с краю близ двери. Возле него вповалку спали его дружинники, храп раздавался со всех сторон. Из двери ду́ло. В щелях жалобно свистел ветер.

Князя неотступно мучила мысль: «Что делать в такой великой народной беде?» — и черные мысли, одна тяжелее другой, отгоняли сон.

«Что здесь готовит дядюшка, князь Георгий? Не себе ли устраивает новую вотчину? Не ждет ли он, пока татары сами уйдут? Тогда он — сильнейший князь северной Руси — поставит здесь новый стольный город, такой же пышный, как его Владимир. Уже не раз он говорил, что следует соорудить здесь и клети, и закрома, и водяные мельницы, запрудив в трех местах реку: «Народу-де ратного прибывает больно много, и не разумнее ли самим молоть зерно...» А там, за лесами, пылают погосты, рыщут татары и рубят всех, кто только попадется в их жадные руки... Я долго медлить не буду. Если князь Георгий не начнет воевать, я уйду с моими ростовскими ополченцами в леса. Буду близ больших дорог ловить татар и добираться до их злого змея — хана Батыги...»

Князь поднялся, ощупью в темноте нашел холщовые онучи, повешенные на горячей печи, обернул ими ноги, сверху намотал шерстяные обвертки и подвязал кожаные лапти. Надел полушубок, туго затянул ремень с прямым

мечом и толкнул дверь. В избе все продолжали крепко спать.

Молодой месяц светил с правой стороны на спокойном, беззвездном небе. Ветер хлестал лицо колючим снегом. Князь пошел вдоль лагеря. До рассвета недалеко. На белом снегу резко выделяются бревенчатые новые избы, землянки, засеки. Тихо в боевом лагере. Все спит. Враг далеко. Кто забредет в жестокие морозы в такую трущобу! Ни дозорного оклика, ни стука, ни скрипа шагов...

Князь присел на бревенчатой кладке. Тоска охватила его сердце.

«О русская земля!— думал он.— Лежишь ты прекрасная, привольная, раскинувшись на снежных полянах, в лесных чащах. Только лесные буераки да мужицкая сила — вся твоя защита! Эх, сбежались бы все мужики со всех погостов, повел бы их в бой старый Илья Муромец! Какой коварный враг устоял бы тогда? Отогнали бы всех врагов, как раньше отгоняли! Ворвался к нам народ чужой, злобный и немилостивый. Пробрался он в самую глубину, в сердце русской земли, расколол ее на мелкие клочки и грызет, и гложет, и рвет, не давая передышки... Эх! собраться бы с силой и сбросить с плеч насевшего врага!..»

Слышно, как брякнуло стремя. Впереди скользит тень. Всадник все ближе. Князь застыл на месте и вглядывается. Кому сейчас дело, кому забота бродить среди ночи по лагерю? Не князь ли Георгий? Конь высокий, стройный, половецкий. Всадник не русский! Как он попал сюда? А вдруг это татарин?.. Князь Василько сжимает рукоять меча и бросается вперед. Конь прыгает в сторону, всадник мчится прочь поляной, к лесной просеке и скрывается в густых елях.

— Татарин!.. Лазутчик!..

Василько бросился за ним, но не догнать! С другой стороны показался новый всадник. Впереди него пегий пес-волкодав.

«Опять враг? Нет, уж его не упущу...»

Всадник все ближе. Конь поджарый, стройный, идет спокойной тропотой. Пес зарычал и остановился. Всадник натянул повод.

— Кто идет?

— Гонец из Владимира. К великому князю Георгию Всеволодовичу.

— Попал как раз куда надо. Давно ли из Владимира?

— Давно. Уже дней пятнадцать. Пришлось кружить.

Татары грозят отовсюду. Раза три от них отбивался. Только добрый конь выручил.

— Что слыхать о Владимире?

— Я выехал — Владимир еще стоял. А в пути уже ходили дурные слухи...

— Ужели пал Владимир?

— Да, говорят, сожжен! Рассказывают, небо три дня было красным...

Князь Василько опустил голову. Но лишь на миг. Он тотчас же очнулся:

— Сейчас, перед тобой, здесь проехал всадник. Я окликнул его, и он ускакал...

— Наш не ускакал бы! Это татарин, соглядатай! Берегись! Татары близко! И охнуть не успеем, как навалятся...

— Пойдем скорее к князю!

Глава двенадцатая

БУРЯ БУШУЕТ НАД СИТЬЮ

Торопка, приехав в лагерь гонцом из Владимира, встретил здесь земляков. Они рассказали, что отец его, Савелий Дикорос, был в боевом стане и уехал накануне с обозом за мукой, зерном и сеном. Остаться в лагере Торопке не пришлось. Князь Василько Ростовский поручил ему отправиться в сторожевой дозор, на перекресток дороги, ведущей от Сити к городу Мышкину.

— Твой конь что ветер легкий,— сказал князь Василько.— Если покажется татарский разъезд, скачи сюда, чтобы мы вовремя ополчились.

В лощине под высоким яром, среди наваленного грудами хвороста, тихо потрескивал небольшой костер.

— Время-то какое! Татары всюду так и шныряют, вынюхивают. Увидят в лесу огонь — разом налетят... Не успеешь и молитву прочесть, как без головы останешься!

Потому сторожа огородились хворостом и лесинами, чтобы ночью татары не приметили огня.

За яром стеной наступал густой вековой бор. Он тянулся далеко на север, как говорили охотники — до самого Студеного моря[1]. Сквозь этот бор можно ходить только звериными тропами, зная приметы и заговоры. Эти тропы

---

[1] Студеное море — Белое море.

веками прокладывало зверье и лесные чудища, лешие и кикиморы. Если ступить вправо или влево от тропы, там столько бурелому и такой сырой мох, что сразу провалишься по плечи...

У костра лежали четыре молодца, из тех, кому ни дождь, ни снег, ни буря-завируха, ни ведьмино заклятье — все нипочем! Завернутые в овчины и звериные шкуры, они подложили под себя еловые ветки, из ветвей же сделали косой навес и беспечно слушали песни зимней вьюги. Они жарили на углях тонкие ломтики конины. На сучьях рядом была растянута рыжая шкура коня, которого ратники поторопились прирезать на обед, пока он сам с голодухи не протянул ноги. Рядом с ними лежал Торопка, а возле него калачом свернулся верный Пегаш.

Все четверо дозорных — молодцы-удальцы, узорочье рязанское — ускользнули из-под Рязани от татарских арканов и стали сами своей четверкой воевать «вольными охотниками» в лесах, вылавливая отставших татар. Услыхав, что князь Георгий Всеволодович собирает где-то на верхней Волге войско, они прибежали к нему на охотницких лыжах. По его приказу они были поставлены сторожевыми дозорными на этом яру, на глухой дороге.

Князь дал им доброго коня, чтобы, в случае тревоги, быстро сообщить в лагерь. Князь не выделил для коня корма,— добывайте себе сами запас как знаете! А кругом ни стога, ни болотных камышей! Поэтому сторожа решили положиться на свои верные ноги и легкие, прочные лыжи, а коня съели.

Дозорные коротали время, рассказывая о подвигах богатырей, о чудесах муриев и колдунов. В этот дозор попал Торопка. Он слушал рассказы и косился на рыжую шкуру коня, боясь, как бы и его гнедой не испытал такую же участь.

— Как-то,— рассказывал один,— идут по лесу мужики и видят, плетется маленький горбатый старичок и тащит вязанку дров в десять раз его больше. «Зачем, старчеловек, в лесу дрова тащишь? Дров-то кругом сколько хочешь!» — «Знать, так нужно, я родную землю спасаю. Я на татар с поленьями воевать иду».— «Как же ты, чудной, воевать поленьями будешь?» И вдруг в этот миг налетели татары. Тут горбатый старичок рассердился, бросил вязанку на землю и стал дровами кидать в татар. Бросит полено — воин встает, бросит другое — войско наступает. В трубы играют, в барабаны бьют, мечами машут. Набросились молодцы на татар и всех как косой

скосили... Верные люди говорили: этот горбатый старичок уже пришел на Сить воевать с татарами...

— А еще пришел сюда мужик,— рассказывал другой дозорный.— Борода у него длинная, а усы как у сома, он их за уши закручивает. Так он хвалился, что может бурю, и дождь, и вёдро, и ростепель заговорами призывать. Ему все мурии, и белые и черные, послушны. «Призову, говорит, муриев, они татар заморозят, снегом засыплют,— тут им и смерть придет. Русских же людей, хрестьянских, мурии не тронут, потому заклятие подходящее знают». А звать этого ведуна — Барыба...

Оставаться в дозоре Торопке не пришлось. Через просеку, что вела к реке Сити, увидел он вдали черный дым.

— Да ведь это Боженки горят! — всполошились мужики.— Не привалила ли татарва?..

Один ратник остался в дозоре, остальные поспешили к боевому стану.

Глава тринадцатая

СТРАШНАЯ ВЕСТЬ

В избе попа Вахрамея, склонившись над старым, потемневшим дубовым столом, опустив голову на ладони, сидел князь Георгий. Он вцепился пальцами в полуседые вьющиеся волосы и глухо стонал. Перед ним лежал пожелтевший лоскуток пергамента, вырванный в спешке из священной книги. Князь в который уже раз перечитывал неровные строки, написанные большими буквами знакомым почерком княгини Агафьи:

«Сокол ты мой ясный, княже Георгий! Куда улетел ты от своей лапушки-лебедушки! Злые татаровья в огромном множестве обложили город со всех сторон. Смерть грозит и мне, и нашим детям, и всему люду. Одна надежда, что ты прилетишь и всех врагов раскидаешь... Молюсь Спасу Пречистому, чтобы дал он мне радость еще раз увидеть твои милые очи! А как богу будет угодно, так и сбудется. Приезжай...»

Поп Вахрамей, прижимая к груди древний медный крест, старался утешить и ободрить князя. Тот его не слушал, вспоминая последний миг прощания на крыльце, бледные, дрожащие губы, быстро катившиеся по щекам слезы и полные, горячие руки, трепетно обнимавшие его...

Послышались крики:

— Где князь? Скорей подымайте его!..

Князь Георгий очнулся, прислушался.

— Скажите князю — татары вало́м валят!..

Князь вскочил, опрокинув скамью; бросился из избы, оставив дверь открытой. Клубы холодного тумана ворвались в жарко натопленную горницу. Поп Вахрамей дрожащими руками натянул просторную шубу, туго подпоясался валявшейся веревкой для дров, взял в руки медный крест и сказал жене, растерянно стоявшей с поднятыми в ужасе руками:

— Да хранит тя господь, матушка Олимпиадушка. Мое место теперь там, с воинством. Видно, сейчас будет смертный бой...

Семеня дрожащими старческими ногами, отец Вахрамей скрылся в синих сумерках.

Князь Георгий прибежал в свой новый сруб:

— Аргун! Проворней! Кольчугу, красные сапоги! Да поскорее, Аргун! Седлай гнедого!..

Князь метался, срывая с деревянных гвоздей оружие. Старый слуга помогал надеть поверх полушубка кольчугу, завязать ее ремешки. Дружинники вбегали, слушали приказы князя и спешили обратно. Со двора доносились крики.

Дружинник втолкнул в избу двух посиневших от холода голых мужиков. Те упирались, твердя:

— Цаво деласи! Соромно!..

— Идите, идите! Сами расскажете князю...

Стараясь перекричать шум и возгласы бегавших в суматохе ратников, дружинник обратился к сумрачному, озабоченному князю Георгию:

— Взгляни, великий князь! Вот удалые сицкари: татары их раздели, а они ускользнули, как ужи!

— Честь им и слава! — сказал князь Георгий.— Аргун, выдай обоим шубы и чеботы!

Дружинник продолжал:

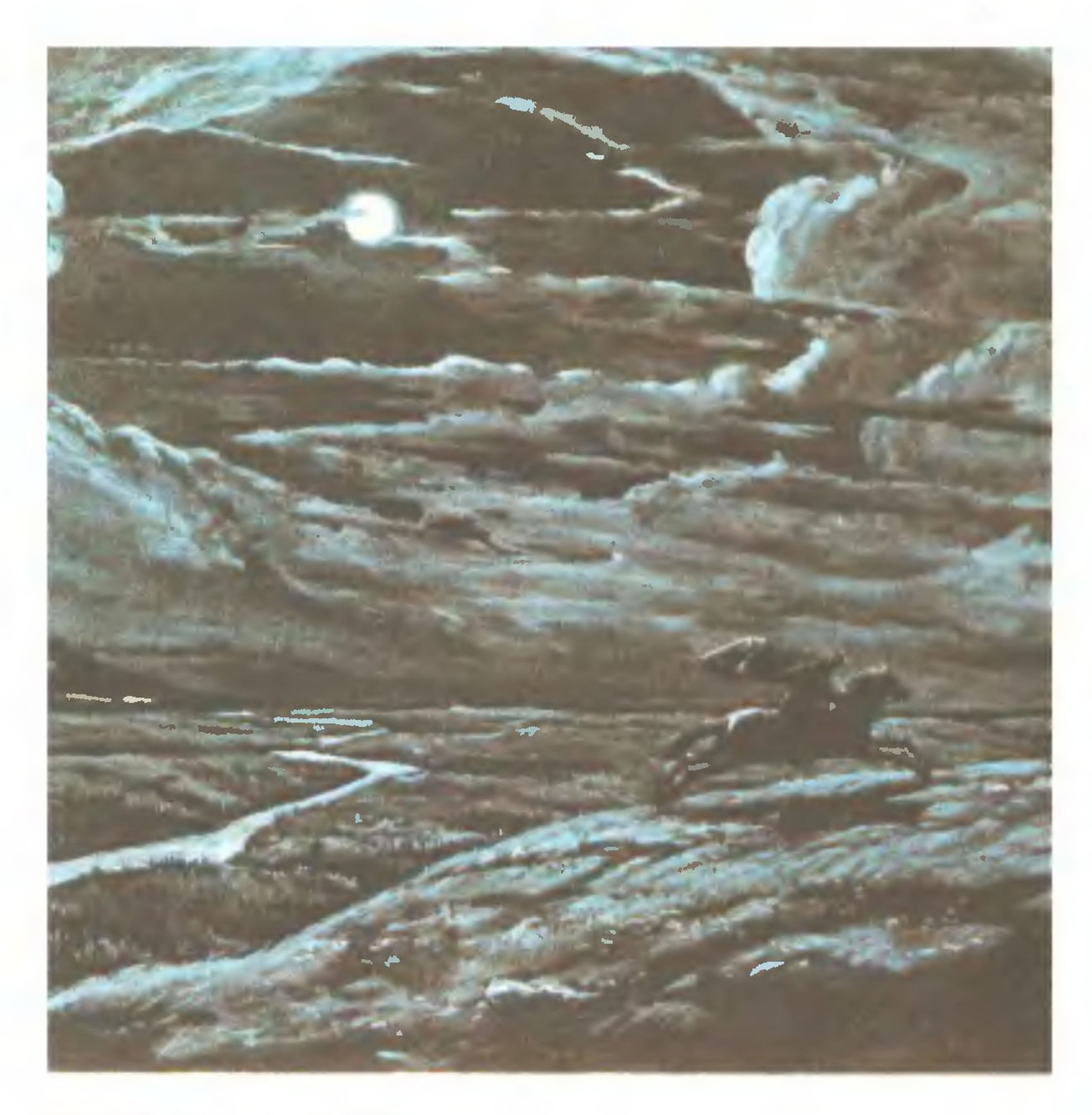
— Сицкари следили за татарами. Видели, как отчаянно бился воевода Дорожа, пока не упал... Татары близко, сейчас тут будут...

Князь Георгий выбежал во двор. Дружинники туже подтягивали подпругу высокого гнедого коня. Князь поднялся в седло, левой рукой в перстатой рукавице натянул повод. Перехватив повод, надел на левое плечо ремень небольшого круглого щита. Золоченый шлем глубже надвинул на брови.

— Эй, соколики, готовы ли?..



СЕВЕРНАЯ ТВЕРДЫНЯ (Фрагмент). *1968*



ГОНЕЦ (Фрагмент). *1978*

Дружинники сбегались со всех сторон, ведя в поводу коней.

Во всех концах боевого стана звонко пели рожки, выли трубы и трещали маленькие барабаны.

Глава четырнадцатая

БИТВА

...Не стреножимши добрых коней,
не пускайте в степь,
Не поставимши дозоры,
не ложитесь спать.

(Из старинной казацкой песни)

Пишет Хаджи Рахим:

«О, вечное небо! Ты все еще заставляешь меня быть очевидцем потрясающего ужаса, переживать бессильное негодование, бесполезное сострадание!

Я видел ужасную битву, в свирепый мороз, на льду замерзших бездонных болот. Я видел, как десятки тысяч полных зверской ярости татар напали на несколько тысяч урусутских крестьян, из которых ни один не подумал сдаться в плен, а все резались мечами и ножами и рубились топорами с той же отчаянной отвагой, с какой отбиваются и грызутся до последнего вздоха волки, окруженные охотниками.

Я все это видел и не умер, а все еще живу!..»

Хаджи Рахим находился при двадцатитысячном отряде темника Бурундая. Он получил от него добронравного коня и возил с собой кожаный ящик с чистыми повязками, с серой в порошке, с жженым войлоком, с целебными настойками и другими средствами для перевязки и лечения раненых.

Небольшой, но сильный монгольский конь мчался или останавливался вместе со всем отрядом и не слушался повода Хаджи Рахима, который должен был изо всех сил держаться за седло и за гриву, чтобы не свалиться.

Бурундай приказал отряду быть готовым выступить по первому призыву боевых рожков. Всадники не отходили от своих коней и, привязав повод к поясу, лежали всю ночь в снегу, свернувшись, как кошки, у передних копыт своего коня. Под утро, когда прозвучали рожки, кони заиндевели и казались серебряными.

Предстоял опасный набег на боевой стан урусутов, готовых к схватке и защите. Каждый монгол знал, что его ждет удача или смерть в далекой, чужой земле.

Отряд двинулся ускоренной тропотой, переходя, где можно, на скок. Тогда жутко было слышать, как стонет земля, как трещит лед, как несется кругом гул от скачки многих тысяч всадников.

Хаджи Рахим предоставил себя воле своего крепкого коня.

Лес стал редеть. Впереди тянулась извилистая, замерзшая река. Из ряда в ряд передали приказ темника Бурундая:

— Вынуть оружие!

Монголы, засучив до локтя правый рукав, со свистящим лязгом вытащили из ножен кривые мечи и положили их на правое плечо. Кони ускорили бег. Кончились последние деревья. Монголы вылетели на широкую снежную поляну с диким криком, переходившим в тонкий визг:

— Кху-кху, монголы! Уррагх, уррагх!

Поляна уходила далеко вперед, вдоль русла реки. Справа тянулся невысокий, но густой болотистый лес. Отдельно подымался холм с десятком засыпанных снегом сосен. Слева, по другую сторону реки, у самого берега рассыпалось урусутское селение со старой церковью. Там же, на берегу, выстроились новые белые избы.

Оба берега были загорожены засеками из наваленных бревен, елок, пней с длинными корнями, чтобы коням было невозможно перебраться через них.

По-видимому, урусуты не ожидали нападения татар. Они выбегали из домов, одевались на ходу и спешили к новой белой избе, над которой развевалось черное знамя. Уже после появления на поляне монголов запели урусутские рожки, завыли трубы и затрещали барабаны.

Вскоре возле церкви показался на высоком гнедом коне красивый, сильный, с большой черной бородой всадник в серебряной кольчуге и сверкающем золотом шлеме. Это был коназ Гюрга, повелитель урусутов. За ним неотступно следовали три всадника. Средний держал черное знамя, расшитое золотом, с образом Спаса Пречистого.

Монголы помнили твердый приказ джихангира — не останавливаться ни на мгновение ни перед какими препятствиями. Один отряд бросился влево, спустился на лед реки, поднялся на другой берег и двинулся дальше на избы. Другой отряд помчался вправо, вдоль засек, обогнул их, тоже спустился вниз к реке и схватился на льду с урусутскими воинами.

Третий отряд, бывший в середине монгольского войска, отчаянный и безрассудный, направился стремительным потоком прямо на валы и засеки. Тысячи монгольских коней ударились грудью в засеки, ломая встречные укрепления. Кони падали, всадники вместе с ними валились на землю. Налетевшие новые всадники проносились через упавшие тела, топтали их, взбирались на укрепления, прыгали внутрь и, не замедляя натиска, устремлялись дальше и скатывались по крутому берегу в реку.

Лед не выдержал тяжести, и воины стали проваливаться в воду.

Урусуты сбегáли с другого берега навстречу монголам. Главная схватка разгоралась на льду, среди промоин, куда сваливались и монголы и урусуты. Даже утопая в воде, они продолжали драться.

Урусутский коназ Гюрга со своей дружиной в несколько сот человек быстро спустился на реку и поднялся на правый берег. Урусуты отважно бросились навстречу монголам, прибывшим из лесу. Дружинники очень искусно владели длинными и тяжелыми мечами. Не раз от удара урусутского меча разлеталась в куски более тонкая татарская сталь. Урусуты бились каждый сам по себе, а татары теснились рядами по десяти воинов, не отходя один от другого.

♣

Хаджи Рахим, оказавшись в потоке скакавших коней, не смог сдержать своего Барсика, который продолжал мчаться прямо на засеку. В ужасе от предстоящей гибели Хаджи Рахим скатился с седла и упал в снег. Несколько всадников пронеслись, не задев его. Ему удалось подняться и отбежать.

Впереди возвышался небольшой холм. Хаджи Рахим поднялся на него, наблюдая за разгоравшейся битвой. Он соображал: если бы коназ Гюрга с дружинниками, держась тесно, плечо к плечу, пробивались сквозь татарские ряды, они могли бы проложить себе путь в лес и спастись безвестными дорогами. А здесь их гибель можно было предсказать заранее.

Урусутские дружинники бросались то вправо, то влево, отдаляясь друг от друга. Постепенно они рассеялись в татарской массе. Черное знамя коназа Гюрга долго реяло над местом битвы, стремительно передвигалось вместе с бросавшимися в схватку урусутскими воинами, потом стало колебаться и наконец упало. Невдалеке был убит, пронзенный стрелами и копьями, урусутский коназ Гюрга.

Руководивший битвой темник Бурундай находился на высоком холме, заросшем соснами, куда поднялся Хаджи Рахим. Длинный, худой, с желтым неподвижным лицом, на саврасом спокойном коне[1], Бурундай, казалось, равнодушно наблюдал, как схватывались, резались, метались из стороны в сторону тысячи разъяренных всадников и пеших воинов.

Заметив, что черное знамя заколебалось и упало, Бурундай вдруг очнулся, дико завизжал: «Вперед, за мной!» — и бросился со своей охранной сотней вниз с холма. Его нукеры, беспощадно отбрасывая встречных, пробились к тому месту, где был коназ Гюрга, надеясь захватить его в плен еще живым. Здесь было столько раненых и трупов, что отыскать сразу коназа было нелегко. Наконец его нашли и узнали по серебряной кольчуге и красным сапогам. Черное знамя лежало поблизости, заваленное трупами и громко стонущими ранеными. Своих раненых татары вытаскивали из свалки, урусутских дорезывали.

Коназ Гюрга был уже мертв. Удар татарского меча сбил шлем, глубоко рассек лоб, и две стрелы впились в горло. Бурундай остановил коня, сошел в залитый кровью снег и сам, маленьким острым ножом, не торопясь, отрезал голову коназа Гюрга. Он продел тонкий сыромятный ремень сквозь уши и крепко привязал голову с полуседыми вьющимися волосами и длинной черной бородой к репице своего коня, вытер запачканные кровью пальцы и, садясь в седло, сказал:

— Теперь Бату-хан не может более меня укорять, что я и мои нукеры не стараемся возвеличить монгольское имя: голова урусутского коназа на хвосте моего коня!

— Но не на хвосте коня Бату-хана,— заметил один из старых нукеров.— Остерегайся! Джихангир тебе этого не простит!..

Торопка прибежал к боевому стану, где так недавно люди мирно строили, ходили и работали. Он увидел здесь отчаянную борьбу. Татары — их было очень много — носились по полянам, по обеим сторонам реки, кричали, выли страшным звериным воем, рубили кривыми клинками. Русские отбивались рогатинами и топорами и нападали сами.

Торопка заметил князя Василька. Он шел крайним левым в первом ряду ростовских ратников. Они быстро приближались несокрушимым валом, равномерной побежкой, с топорами и мечами в руках.

---

[1] Чингиз-хан ездил на саврасом коне, поэтому его старые полководцы, подражая ему, избирали саврасых коней.

На них помчались татары, пытаясь сбить их натиском коней. Но ростовцы, тесно прижимаясь друг к другу, прорубались в татарской массе, продвигаясь вперед к лесу.

Силы были уже равны. Русские ратники оправились от первого натиска татар и сами теснили их. Татары метались во все стороны, отлетали, быстро заворачивали коней и снова налетали на русских. Среди ростовских ратников мужественно бился князь Василько. Торопка поспешил к нему.

Русские стали одолевать. Но из просеки показались новые отряды конных татар. Они вылетали из леса беспрерывным потоком с воем, криками и тонким, ужасающим визгом.

Это примчались тумены Субудай-багатура и самого Бату-хана. Налетевшие внезапно татары метнули черные арканы и захватили князя Василька. Он пытался перерезать веревки, но новый аркан обвил его шею и свалил с ног. Татары с торжествующими криками поволокли его по снегу[1].

Торопка кинулся к нему на помощь. Сильный удар налетевшего коня сбил его на землю. Он поднялся, пробежал еще несколько шагов, прыгая через трупы. Новый удар по голове окончательно сбил Торопку с ног. Он свалился между двумя трупами, татарина и русского, слышал несколько мгновений крики, но шум битвы быстро затихал, и Торопка потерял сознание.

Глава пятнадцатая

РОКОВОЙ ДЕНЬ

> 1238. Юрий II (великий князь Суздальский или Владимирский)... при реке Сити был разбит, пал на поле битвы вместе со знатнейшими людьми. Судьба России была решена на 2½ столетия.
>
> *(К. Маркс, Хронологические выписки)*

Пишет Хаджи-Рахим:

«...Бату-хан примчался к месту битвы впереди своего тумена. Напрасно его уговаривал Субудай-багатур:

---

[1] Летописи говорят, что князь Василько Ростовский был приведен татарами в их лагерь, где они его угощали, хвалили его мужество и уговаривали поступить в войско Батыя. Василько отказался от какой-либо еды вместе с врагами родины и заявил, что служить у Батыя он не будет. Тогда Батый приказал за дерзкие, неуважительные речи подвергнуть князя Василька мучительной казни. Василько мужественно, без стонов, перенес все страдания и смело встретил смерть.

— Вспомни своего мудрого деда. Он никогда не скакал, как пьяный нукер, впереди войска в поисках славы храбреца. Он всегда ехал позади своих железных, непобедимых туменов, искусно ими управлял и посылал подмогу туда, где надо было нанести решительный удар. Вспомни участь твоего молодого, неразумного дяди, беспечного хана Кюлькана. Он захотел отличиться удалью и без пользы для дела получил стрелу в горло...

Бату-хан отмалчивался или недовольно отвечал:

— Я не хочу, чтобы темник Бурундай вырвал у меня из-за пазухи новую великую победу.

Воины Бату-хана примчались к берегам Сити, когда победа татар колебалась. Урусуты бились отчаянно, татары метались в беспорядке. Темник Бурундай не мог собрать своих рассеявшихся всадников, чтобы одним ударом сломить сопротивление упрямых противников.

Два новых тумена решили исход великой битвы. Урусуты стали отступать, скатываться с крутых берегов реки, убегать в леса. У них не было сил противостоять свежим татарским отрядам. Не было вождя, который мог бы собрать воедино и направить бойцов в опасные места. Пало черное знамя, был убит коназ Гюрга и захвачен в плен смелый и опытный коназ Василько. Урусутское войско уже представляло собой беспорядочную толпу, где каждый дрался, как мог. Храбрость воинов и беззаветная их жертва оказались уже бесполезными.

Бату-хан поднялся на холм и наблюдал оттуда, как проносились с криками и визгом татарские воины, как они затихали, когда набрасывались на урусутов, и как в полном безмолвии происходила бешеная рубка. Только вскрикивания и стоны тяжелораненых наполняли страшными звуками снежные равнины.

Темник Бурундай, сойдя с коня, медленно поднялся на холм. Приблизившись к Бату-хану, мрачный, всегда угрюмый Бурундай припал на одно колено и поцеловал копыто коня. Повернувшись, Бурундай взял из рук нукера, следовавшего за ним, небольшой стальной щит с золотым узором, на котором лежала голова коназа Гюрга, и поднял щит над головой.

Бату-хан смотрел вдаль, как будто не замечая Бурундая.

— Почему горит дом урусутского бога? — недовольно воскликнул Бату-хан.— Я приказал щадить и оберегать урусутских шаманов, чтобы они молились за великого кагана монголов.

Бурундай молча продолжал стоять на одном колене, держа над головой щит. Бату-хан перевел взгляд на голову

урусутского коназа Гюрга. Лицо, залитое темной кровью, с черной бородой и вьющимися волосами, казалось спящим, далеким от скорби и страданий.

Бату-хан резко наклонился и потрогал уши отрезанной головы:

— Уши продраны!.. Ты мне подносишь подарок, который ты уже таскал на хвосте своего коня? Ты хочешь посмеяться надо мной?.. Уходи!

Бату-хан ударил по щиту. Голова упала, покатилась по откосу холма и застряла в снегу. Бурундай с желтым злобным лицом, согнувшись вдвое, отошел в сторону мелкими почтительными шагами.

Свита Бату-хана с любопытством следила, что сделает дальше джихангир, как он проявит свой гнев. А Бату-хан, с непроницаемым лицом, продолжал спокойно наблюдать за боем. Урусуты всюду отступали, быстро сбегали с крутого берега на лед, поднимались на другой берег и удалялись в глубь лесов. Татары догоняли урусутов, схватывались с ними, рубились и мчались дальше. На снежных полянах оставались тела убитых.

Джихангир пожелал увидеть тело убитого коназа Гюрга и стал спускаться с холма. Серый конь осторожно шел по снегу, подбирая ноги, перепрыгивая через лежащие тела. Бурундай ехал впереди, указывая путь.

Около тела урусутского коназа дрались два воина. Один стянул с ноги убитого красный сапог и держал его под мышкой, стараясь стянуть другой сапог. Его отталкивал другой воин и колотил по лицу. Оба отчаянно дрались и так озлобились, что не заметили приближения главного начальника войска.

— Задержите их! — приказал Бату-хан.— А сапоги отнесите в мой обоз...

Нукеры соскочили с коней и набросились на драчунов. Бату-хан сказал:

— В монгольском войске не может быть ссоры, драки, воровства или убийства между воинами великого завоевателя вселенной. Если монгольские воины станут драться между собой, то как же они смогут побеждать? Надо твердо помнить законы мудрой «Ясы» Чингиз-хана. Виновные увидят равное наказание — смерть! Возьмите их и накажите тут же!

Нукеры со смехом поставили одного из дравшихся на голову. Ноги в старых, заплатанных желтых сапогах с длинными острыми каблуками мелькнули в воздухе. Пыхтя и отбиваясь, схваченный кричал, что он не виноват, а виноват Бури, кипчак, сын свиньи и шакала.

Два дюжих монгола прижали пятки наказанного к затылку. Раздался сухой треск. Пронзительный крик оборвался. То же повторилось с другим драчуном, который кричал, что он Бури-бай, сын петушиного сторожа Назара-Кяризека. Еще короткий пронзительный крик, треск, и казненные с раскрытыми, удивленными глазами остались лежать на снегу.

Битва кончилась. Монголы добивали последних урусутов, которые продолжали сопротивляться, хотя были окружены со всех сторон.

Бату-хан проехал вдоль урусутских укреплений, заваленных трупами воинов и коней, переправился на другую сторону реки, остановился около пожарища на месте сгоревшей церкви. Здесь он пожелал отдохнуть. Нукеры разыскали в доме урусутского шамана мороженого барана и, проткнув его деревянным прутом, изжарили целиком над угольями.

Субудай-багатур сидел возле Бату-хана на войлочной попоне, указывал на небо и бормотал:

— Урусутские шаманы все-таки очень сильны и нам вредят. Пора нам выбираться из этих лесных трущоб!

— Сперва я возьму Новгород,— ответил Бату-хан.

К полдню ветер переменился, подул в другую сторону, разогнал серые тучи, и на весеннем бирюзовом небе показалось яркое солнце. Теплые золотистые лучи скользили по снежным полянам, всюду заструились ручейки воды, снег таял, делался рыхлым. Кони стали проваливаться по колено.

Несколько черных грачей опустились на засыпанные снегом трупы. Татары снимали малахаи, скребли бритые затылки и нюхали воздух:

— Теплый ветер повеял из монгольских степей. Смотри, черная птица прилетела, на хвосте весну принесла!

Зазвенели частые удары в медные гонги, извещая об отступлении, призывая к сбору. Татары, подчиненные железной дисциплине, ругаясь, что их лишают добычи, оставляли грабеж трупов, поворачивали коней и вскачь направлялись к дымящемуся пожарищу на месте бывшего селения, где около уцелевшей белой избы подымался на шесте блистающий медью и золотом бунчук джихангира с рыжим конским хвостом.

Сотники скакали во всех направлениях, собирая воинов в отдельные отряды. Слышались возгласы:

— Идем на богатый Новгород! Скорее прочь отсюда, из заколдованных болот! Скорее! Или мы все тут погибнем!

Татары с хриплыми криками быстро построились по десяткам и сотням. Некоторые тащили за собой на арканах захваченных тощих коней.

Вскоре бунчук джихангира заколебался и поплыл впереди охранной сотни. Бату-хан ехал на сером в яблоках коне, мрачный, с непроницаемым лицом. Суженными глазами он всматривался в просеку векового бора.

За Бату-ханом следовал старый непобедимый Субудай-багатур и приближенные ханы. Далее тянулась длинная, бесконечная вереница татарских воинов...»

Глава шестнадцатая

ПОСЛЕ БИТВЫ

...Песня русская!
Не сама собой ты сплася-сложилася:
С пустырей тебя намыло снегом-дождиком.
Нанесло тебя с пожарищ дымом-копотью.
Намело тебя с сырых могил метелицей...

(Лев Мей, «Запевка»)

Горячий шершавый язык лизал лицо... Тихое повизгивание и настойчивый, короткий лай. Кто это? Торопка медленно приходил в себя. Первая мысль испугала его: «Собака-людоед! она слизывает кровь, а потом начнет грызть лицо!»

С трудом Торопка вытащил придавленную руку и схватил собаку за горло. На шее обрывок веревки... Да это Пегаш! Он перегрыз веревку и прибежал искать хозяина. Да, это Пегаш! Торопка ощупывает его и узнает в темноте вытянутую морду, стоячие уши, широкую грудь со старыми шрамами от волчьих зубов.

Торопка силился подняться, но тяжелая туша отдавила ноги,— это навалился убитый конь. Левая рука тоже чем-то придавлена... Может, это прилетела судьбина...[1] Он лежит среди покойников, и его черед пришел, испить бы! Торопка достает горсть мокрого снега... У снега вкус крови!

Где он? Вспоминаются последние мгновения — скачущие татары с разъяренными лицами. Удар по голове, падение... Это поле битвы... Почему такая тишина? Наверху темное небо и серебряный, тонкий полумесяц. Тусклый,

[1] Судьбина — древнее выражение, означавшее «смерть».

слабый свет едва озаряет снежную равнину, притихший невдалеке лес и высокие старые ели.

Стон... Отчетливый человеческий стон. Еще жалобный вздох в другой стороне, еще грустные, скорбные звуки в разных местах. Точно русская земля плачет над своими сынами, павшими на этом кровавом поле!

Где же татары? Они никогда не оставляют раненых, они их добивают. Торопке хочется крикнуть, призвать на помощь, да боится: услышат татары!..

Пегаш затих, прислушался и заворчал. В ночной тишине слышен шорох, шаги. Непонятное бормотание. Кто-то идет и говорит сам с собой. Торопка с трудом приподымает голову. Высокий человек в длинной одежде, почти до пят, в остроконечной шапке. Сумка на ремне через плечо. В одной руке — посох, в другой — светится фонарь. Слабый огонек раскачивается, и на снегу движется светлое пятно.

«Ночной грабитель? Приканчивает убитых?..»

Опять протяжный стон невдалеке:

— Ох, смертушка!.. Испить бы!.. Погибаю...

Незнакомый высокий человек приближается, наклоняется к лежащему, Торопка осмелел:

— Сюда! Ко мне!

Странный человек подходит. Стоит настороже, подняв посох. Пегаш рычит. Шерсть на спине поднялась дыбом.

— Пегаш! Назад!

Человек сделал еще шаг. Говорит, коверкая слова:

— Знакар... Здоров буди...

Не татарский ли это знахарь? Может, пожалеет? А вдруг увидит, что перед ним не татарин, и ударит посохом... Но все одно погибать, и Торопка просит:

— Помоги!

Длиннобородый человек склоняется. Освещает фонарем с восковой свечой. Ставит фонарь на бок мертвой лошади, кладет на снег сумку и посох. Через силу старается приподнять два трупа, навалившиеся на Торопку. Он кряхтит, шепчет непонятные слова. Торопке стало свободнее, он может двинуть второй рукой. Еще нужно вытащить ноги из-под трупа лошади. С крайними усилиями это удается.

Торопка приподымается, садится. Знахарь ощупывает голову, плечо. Волосы на голове слиплись от крови. Затылок саднит, правая рука плохо двигается. Знахарь опускается на корточки, осторожно расстегивает полушубок Торопки, открывает плечо, залитое черной, запекшейся кровью. Он достает цветную тряпку, мочит ее из бутылки, перевязывает рану и застегивает снова полушубок.

— Здоров буди! — Он указывает рукой себе на грудь и говорит: — Знакар, Хаджи Рахим!..

Тихими, спокойными шагами знахарь удаляется, направляясь туда, где слышатся новые стоны. Торопка сидит на боку павшего коня и думает. Что теперь делать? Куда девались татары? В какую сторону ушли? Надо пройти в лес, где стоит привязанный голодный конь. Надо вывести его и лесными тропами пробраться домой, назад, в Перунов Бор. Два друга у него остались — конь и Пегаш. Где отец? Не погиб ли он в этой страшной битве? Его надо разыскать...

Торопка старается втолковать это Пегашу, который повизгивает, перебирает нетерпеливо передними лапами, желая понять, что́ от него требует хозяин.

— Пегаш! Побегай по полю, загляни в лица павших, нет ли нашего хозяина? Где хозяин? Где хозяин? Поищи!

Торопка гладит Пегаша по морде и толкает в сторону поля:

— Ищи, где хозяин!

Пегаш бросается со всех ног, несется вперед, прыгает через трупы, ищет, обнюхивает, кружится и вдруг останавливается, лает и воет.

Торопка встает, осторожно шагает через лежащие тела. Ноги, отдавленные тяжелой тушей, еще плохо слушаются, но Торопка все же заставляет себя идти вперед.

Торопка ускоряет шаги. Вероятно, Пегаш нашел отца. Верный пес стоит около нескольких тел, упавших в беспорядке, как их настигла татарская стрела или копье.

С дрожью и робостью Торопка приближается, склоняется над неподвижными, уже запорошенными снегом телами. Нет! Это не отец! Молодое, красивое, но бледное как воск лицо... Это мальчик... Глаза, серые, с длинными ресницами, спокойно смотрят в небо. На ресницах искрятся белые снежинки. На щеках заметны мелкие веснушки, красивый рот полуоткрыт, точно шепчет ласковые слова...

Какое знакомое лицо!.. Вешнянка! Как ты сюда попала? В одежде мальчика!.. И тебя сразил страшный удар татарина!

Торопка присел около неподвижного тела... Вот лежат еще девушки в мужской одежде. И они бились с татарами за родину!

Осторожно наклонился Торопка и коснулся губами мертвого лица. Вешнянка!.. Он вспомнил ее ласковую улыбку и грустные речи при прощании...

— Вешнянка! — шептал Торопка.— Скажи хоть одно слово, последнее, прощальное! Ты обещала дождаться

меня! И вот дождалась встречи на этом мертвом, скорбном поле!..

Он еще раз коснулся ледяных губ, потрогал руки — холодные и твердые... Затих и задумался.

Вдруг заунывные звуки пронеслись в тихом морозном воздухе. Знакомая песня, какую он не раз слышал дома, в Перуновом Бору, на кургане, где теснились родные могилки.

Пел женский голос, тонкий и высокий, к нему пристал второй голос, низкий и грудной. Потом оба голоса, точно обнявшись, слились вместе. Звуки плавно неслись над затихшей снежной равниной, где, словно прислушиваясь, лежали с раскрытыми глазами мертвые русские ратники.

Тонкий голос жалобно пел:

Укатилось красное солнышко
За горы оно да за высокии,
За лесушки оно да за дремучии,
За облачки оно да за ходячии,
За часты звезды да подвосточные...
Покидат меня, победную головушку,
Со стадушком оно да со детиною,
Оставлят меня, горюшу, горе-горькую,
На веки-то меня да вековечные!

Второй низкий голос продолжал:

Подходила скорая смерётушка,
Она крадчи шла, злодейка-душегубица,
По крылечку ли она шла да молодой женой,
По новым ли шла сеням да красной девушкой,
Аль каликой она шла перехожею;
Потихоньку она да подходила
И черным вороном в окошко залетала;
Скрытно садилась на крутоскладно изголовьице
И впотай ведь взяла душу со белых грудей...

Пошатываясь от слабости, Торопка подошел к певшим женщинам. Они сидели полукругом. В середине на снегу лежали рядом трупы ратников. Большинство женщин было одето по-мужски. Возле них валялись на снегу топоры и рогатины. Женщины замолчали. С робостью и любопытством смотрели они на подходившего Торопку.

— Здоровы будете! Можно ли к вам положить еще одну девушку?

— Иди, иди к нам. Ты откуда?

— Из-под Рязани...

— Поболезнуем и о ней. Вместе с нашими семеюшками[1] похороним, как сможем, без домовины[2].

---

[1] Семеюшка *(ласкательно)* — муж.

[2] Домовина — гроб.

Две женщины встали, пошли за Торопкой. Они перенесли Вешнянку, положили ее рядом со своими покойниками. Торопка сидел на снегу и слушал, а женщины продолжали петь то вместе, то по очереди:

Ты расти, моя тоска, травой незнаемой,
Процветай да всяким разныма цветочками,
Мимо людушки бы шли да любовалися.
Шли бы старые старушки — порасплакались,
Стогодовы старики да поужахнулись...

Бесшумными шагами подошел к сидевшим Хаджи Рахим. Он приблизился так тихо, что женщины вздрогнули и замолчали. Он сделал приветственный знак, приложив руку к груди, к устам и ко лбу.

— Крестится по-ихнему! — сказал чей-то голос.— Кто такой?

— Это знахарь татарский,— отвечал Торопка.— Святой, вроде как юродивый. Всех без отказу лечит, что своих, что наших, и ничего за то не спрашивает.

Хаджи Рахим долго стоял, опершись на посох, и неподвижными глазами смотрел на лежавших покойников. Он стоял так долго, что женщины, переглянувшись, начали снова заунывно петь. Пегаш, поджав хвост, осторожно подошел сзади к чужому знахарю и обнюхал полы его одежды. Потом равнодушно отошел в сторону и, свернувшись, лег в ногах у Торопки.

Хаджи Рахим повернулся и поднял руку. Его черные глаза блестели, отражая огоньки костра. Певшие затихли... Он говорил горячо, вставляя русские слова. Женщины, раскрыв рты, внимательно слушали.

— Вишь, чего он говорит! И не понять — ученый! — зашептали женщины.

А татарский знахарь снова повторил рукой приветственный жест и медленными шагами удалился в темноту.

Глава семнадцатая

ОСТАНОВКА БЛИЗ ИГНАЧ-КРЕСТА

Пишет Хаджи Рахим: «...Я видел смерть вокруг себя. Копье, меч и стрелы пока меня пощадили. Но я знаю, что острие несчастья продолжает висеть надо мной и поразит в тот миг, когда я менее всего буду ждать его...»

При тусклом свете бледного полумесяца Хаджи Рахим пошел лесной дорогой, где проехали тысячи татар. Кони измололи снег, ноги скользили и проваливались.

На перекрестке дорог Хаджи Рахим услышал свое имя. Кто-то звал его. Показались четыре всадника. Один держал в поводу его пятнистого Барсика. Это были Арапша и татарские воины.

Арапша сошел с коня, поцеловал руку Хаджи Рахима и провел ею по своим глазам.

— Я твой мюрид и не смел оставить тебя в час бедствия. Твой конь скакал без всадника между монгольскими отрядами, джихангир заметил и узнал его. Он приказал мне вернуться и разыскать твое тело. Урусуты, конечно, зарезали бы тебя, если бы ты им попался.

— Урусуты такие же люди, как и мы все,— сказал Хаджи Рахим.— Я помогал раненым урусутам и слушал их погребальные песни. Они не сделали мне зла. Рука судьбы и добрый друг снова вытащили меня из колодца несчастья.

Арапша придержал стремя и помог Хаджи Рахиму сесть на пятнистого Барсика.

Всю ночь и утро монгольское войско продвигалось в направлении богатой северной урусутской столицы Новгорода. Но к полудню идти вперед уже стало невозможно. Кони постоянно проваливались по брюхо в рыхлый снег. Ростепель обращала еще недавно крепкие дороги в набухшие бурные потоки. Кони падали. Всадники, подымая их, выбивались из сил. Проводники из пленных урусутов говорили, что дальше дорога будет еще хуже, что на пятьдесят дней всякая езда по дорогам прекратится, пока поднявшаяся вода в реках не утечет в море.

Бату-хан был в ярости. Он сам зарубил урусута, который громко смеялся, широко раскрывая рот, при виде проваливавшихся в болото воинов.

Бату-хан говорил:

— Для смелого и упорного нет преграды. Проводники нарочно завели нас в эти болота, чтобы погубить, но мы будем сильнее и хитрее их. Мы доберемся до славного торговлей богатого Новгорода!

Воины стали громко роптать. На одном перекрестке, где был вкопан высокий, в три человеческих роста, деревянный крест, войско остановилось. Татары сошли с коней, чтобы дать им передышку. Субудай-багатур посоветовал обратиться к богам-покровителям и призвать шаманку Керинкей-Задан.

Она подъехала на небольшой черной лошади, обросшей за время морозов густой лохматой шерстью. Увидев Бату-хана, шаманка стала бить в бубен, прыгать в седле и выкрикивать слова молитв и заклинаний.

— Скажи, служительница заоблачных богов,— спросил Бату-хан,— идти ли мне вперед, будет ли мне в Новгороде удача, или я там погибну? Спроси у небожителей.

Керинкей-Задан, с медвежьей шкурой на плечах и в колпаке с нашитыми птичьими головами, соскочила с коня, приплясывая и ударяя в бубен, забегала по кругу и вдруг, в несколько прыжков, бросилась к одинокой высокой сосне, стоявшей на поляне.

— Я поговорю с облаками, посмотрю вдаль! — кричала она.— Боги все знают, боги все скажут!

Шаманка ловко вскарабкалась на верхушку сосны и стала раскачиваться. Сосна постепенно склонялась в сторону. Монголы закричали:

— Берегись! Слезай скорее!

Сосна наклонялась все быстрее и наконец рухнула. Шаманка упала в снег, пробила лед, бывший под ним, и погрузилась в мутную воду. Она барахталась, засасываемая черной вязкой топью...

— Арканы! Бросайте ей арканы! — кричал Субудай-багатур. Он отстегнул от седельной луки аркан и ловко бросил его левой рукой. Конец не достал до шаманки. Субудай стал снова наматывать аркан и направил коня ближе к гибнущей Керинкей-Задан. Саврасый осторожно шагал, погружаясь по колено в снег. Субудай снова бросил аркан, и конец его хлестнул шаманку по голове. Она ухватилась за аркан рукой, продолжая погружаться в черную грязь. Конь Субудая сделал еще шаг вперед и вдруг тоже провалился. Субудай, пытаясь соскочить с коня, откинулся назад, но лед трескался, конь быстро опускался, ударял ногами и вязнул еще более.

Монголы завопили:

— Непобедимый тонет! Скорей на помощь!..

Несколько монголов с разных сторон с опаской приблизились к тому месту, где тонул старый полководец. Черные арканы мелькнули в воздухе и захлестнули поднятую руку и шею Субудая. Монголы напрягались изо всех сил, таща своего начальника. Арканы натянулись, как струны. Субудай кричал:

— Спасите коня!.. Спасите моего саврасого!

Монголы выволокли Субудая на дорогу. Его конь провалился по шею, голова, фыркая, еще несколько мгнове-

ний подымалась над болотом. Саврасый заржал отчаянным человеческим криком... Голова исчезла. Никаких следов не осталось от двух жертв жадного болота. Только круглый бубен плавал на поверхности страшного черного «окна», где навеки скрылись шаманка и верный конь Субудая.

Монголы с трудом удерживали вымазанного грязью Субудая, который порывался броситься к коню и кричал:

— Саврасый! Ты всегда выручал меня из беды! Ты всегда был мудрым советником! Как я останусь без тебя, саврасый! Проклятая урусутская земля!..

Старые монголы, сойдя с коней, обступили тесным кольцом своего начальника и, навалившись, пригнули его к земле:

— Сиди так и больше туда не смотри! Здесь проклятое место! Урусутские черные мангусы искали кровавой жертвы. Они проглотили смелую Керинкей-Задан, они сгубили твоего мудрого, неутомимого коня. Здесь мы должны остановиться и повернуть назад. Видишь этот большой деревянный крест? Его урусуты ставят на могилах своих шаманов. Здесь уже погибло немало путников от руки разбойника Игнача, который бросал убитых им в болото... Скажи джихангиру, что не надо нам богатого Новгорода. Повернем назад!.. Другие кони преданно послужат тебе. Выбирай любого!

Субудай-багатур тряхнул плечами, отбросил монголов и встал. Не оглядываясь на болото, он сел на ближайшего коня и подъехал к Бату-хану. Джихангир стоял, держа в поводу своего серого в яблоках жеребца, потемневшего от пота и налипшей грязи, и кормил его коркой черного хлеба.

Субудай-багатур сошел с коня и сел на корточках у ног Бату-хана. Тысячники стали кругом тесной толпой. Все молчали, жадно прислушиваясь, что решат их начальники. Бату-хан сказал:

— До сих пор не было ничего, что могло бы удержать меня. Мое войско прошло через пустыни, переплыло многоводный Итиль и другие большие реки. Теперь урусутские злые мангусы хотят погубить всех моих воинов, когда реки разольются и обратят дороги в озера. Я поворачиваю назад. Мы едем отдыхать в Кипчакские степи.

— Назад! В степи! — закричали монголы.

Радостный клич пронесся по всему войску, растянувшемуся по черной разрытой дороге.

Глава восемнадцатая

«ЗАТУШИТЬ КОСТЕР НЕПОВИНОВЕНИЯ!»

> ...За честь нашей родины я не боюсь...
> А если б над нею беда и стряслась,—
> Потомки беду перемогут!
>
> *(А. К. Толстой, «Змей Тугарин»)*

Пишет Хаджи Рахим: «Рука с трудом повинуется, излагая печальные и в то же время славные страницы...»

Татарское войско несколькими потоками двинулось из урусутской земли назад в Кипчакские привольные степи. По пути татары захватывали и уничтожали города, грабили и сжигали села, убивали жителей. Были разрушены Торжок, Тверь, Волок, Дмитров и другие города. Татары ничего не жалели, ничего не берегли, не рассчитывая поселиться здесь. Пусть помнят урусуты татарскую грозу!..

Кормов не было. Кони исхудали и дохли. Им приходилось идти по размытым, вязким, топким дорогам. Встречные речки раздулись после снежной зимы. Где нельзя было найти бродов, приходилось перебираться вплавь. Ослабевшие кони тонули, не справляясь с быстрым многоводным течением.

Повсюду по дорогам валялись сани, нагруженные облезлыми шубами, окровавленными одеждами, мешками, набитыми старыми, изношенными сапогами без подошв, тряпками, битой посудой, треснувшими деревянными мисками, пересохшими хомутами и седелками — всем, что попадалось под цепкую татарскую руку. Все это везли отобранные у крестьян лошади. Для огромной прожорливой татарской орды не хватало ни сена, ни зерна. Голодные, тощие, с выпиравшими ребрами кони с трудом тащили сани; на раскатах запрокидывались кверху ногами, не имея сил подняться. Пленные мужики старались поднять коней — кто за хвост, кто за плечи — и плакали, видя, как беспомощно лежат их кормильцы, обессиленные от голодухи. Монголы посвистывали и равнодушно бросали целые обозы.

Часть татарских войск задержалась у крепости Козельска, обычно бойкого и шумного сторожевого поста урусутов на границе половецкой степи. Над татарскими войсками здесь начальствовал Гуюк-хан. Ему хотелось прославиться громкими победами, но его все время опережали другие военачальники.

Осада Козельска затянулась. Жители, вооруженные короткими мечами, отчаянно дрались, делали ночные вылазки, убивали отдыхавших татар и смело сбрасывали тех, кто пытался взобраться на крепостные стены.

Гуюк-хан видел, что татарские отряды проходили мимо, отправляясь в Кипчакские степи. Его воины тяготились трудной осадой, стремясь поскорее уйти из урусутских болот в приволье Дикого поля. Гуюк-хан решил снять осаду. Об этом узнал Бату-хан и сейчас же примчался. Он обложил город тесным кольцом своих «непобедимых». «Бешеные» Субудай-багатура загородили отступление отряду Гуюка и погнали его обратно к стенам Козельска.

Город принадлежал малолетнему князю Василию. Защитники города бились упорно и резали татар. Захваченные в плен воины говорили:

— Наш князь — младенец! Мы верные сыны родины и будем драться до последнего. Мы умрем, если нужно, чтобы оставить по себе в мире добрую славу...

Сорок девять дней стояли татары под Козельском и не могли ничего поделать с мужественными защитниками города. Ни уговоры, ни обещания, ни угрозы не могли поколебать твердости жителей. Наконец под ударами стенобитных машин стены Козельска были проломаны. Горожане пошли в ножи. Они дрались с бешенством отчаяния. Четыре тысячи татар пали в один день. Рядом с ними полегли защитники Козельска. Бату-хан приказал вырезать всех без жалости, не оставив ни жен, ни младенцев.

— Злой город! — сказал он.— Надо стереть его с лица земли! Если я оставлю без наказания этих дерзких разбойников,— здесь будет тлеть постоянный костер неповиновения и тайных заговоров. Тогда и булгары, и мордва, и Рязань, и Владимир, и прочие сто городов — все начнут точить рогатины, чтобы ударить мне в спину, когда я поведу войска дальше на запад. Пусть знают злобные урусуты, что никто не останется без наказания за сопротивление моей священной власти, утвержденной Великим Потрясателем мира, Чингиз-ханом. Если урусуты хотят жить и дышать — они должны мне почтительно покориться!..

Нукеры Бату-хана искали повсюду в пылающем городе маленького князя Василия, но найти его не смогли. Некоторые уверяли, что младенец утонул в крови.

Не задерживаясь более ни на один день, Бату-хан повел войско в Кипчакские степи.

На месте шумного, людного города Козельска были груды золы и каменных обломков.

Позади оставалась урусутская земля, покоренная, разгромленная, умирающая...

— Страна урусутов никогда больше не залечит своих ран, никогда не встанет на ноги! Такова моя воля! — сказал Бату-хан.

Глава девятнадцатая

ОПЯТЬ СТЕПИ!

Пишет Хаджи Рахим: «Лучшее благо — немедленное! Высшее счастье человека — иметь юрту на родине близ светлого ручья, а кто без конца скитается по чужим странам, тот погибает без снисхождения!..»

Монгольское войско непрерывным, широко разлившимся потоком подвигалось на юг через Кипчакские степи. Солнце раскрыло свои бирюзовые дверцы и, ослепительное и горячее, смотрело с небес на широкую равнину, по которой ехали всадники, довольные и веселые, распевая песни, бесконечные и однообразные, как степные дороги. Взлохмаченные истощенные кони жадно тянулись к первым зеленым побегам степной травы.

Порывы весеннего ветра доносили аромат вереска и полыни, который сменялся острым запахом тления от валявшихся повсюду растерзанных зверями трупов.

Отлогие увалы сменялись долинами, где еще белели сугробы тающего снега и поблескивали недолговечные весенние озерки. Над ними носились тучами утки, отливающие серебром лебеди и гуси.

Отряды делали остановки, удаляясь один от другого, выбирая места с лучшими кормами.

Бату-хан потребовал свежих коней. Покорные половецкие ханы пригнали табуны отборных коней и кобылиц. В одном из табунов находился белоснежный жеребец Акчиан, на котором Бату-хан двинулся в поход. Щадя нежного арабского аргамака, джихангир после взятия Рязани поручил половецким ханам беречь его. Они старательно исполнили Батыеву волю.

Бату-хан пересел на горячего серебристого Акчиана и с охранной сотней «непобедимых» и небольшой свитой поехал вперед к заранее выбранному месту на берегу степной речки.

В долине, окруженной старыми курганами, был поставлен золотисто-желтый шатер. Возле него снова появились шатры семи ханских жен.

Джихангир поочередно заходил в каждый шатер, начиная с самой почтенной старшей жены. Он оставлял каждой жене подарки: браслеты, ожерелья, перстни, куски аксамита и шелка. Жены пытались задержать его просьбами, слезами и воплями. Но Бату-хан, не слушая их, дошел

до седьмого шатра своей младшей звезды, Отхан-Юлдуз, где пожелал пить кумыс, привезенный кипчакскими ханами.

Около входа в шатер стояли, почтительно преклонив колено, большой, тучный Ли Тун-по, великий строитель стенобитных орудий, и молодой нарядный Мусук-тайджи. Китаец был в просторной шелковой одежде, расшитой золотыми драконами, в маленькой синей шапочке с длинным павлиньим пером, сдвинутой на затылок. Молодой брат седьмой звезды блистал алмазами на пестром индийском тюрбане, золотым поясом и кривой дамасской саблей.

Лицо джихангира оставалось невозмутимым, когда он бросил на обоих беглый взгляд.

— Я вызвал тебя, великий строитель Ли Тун-по. Под охраной вот этого храброго воина и сотни нукеров ты поедешь на реку Итиль, к тому месту, где переправлялось мое войско. Там находится заколдованная гора Урака. Ты проедешь вниз по реке Итиль и осмотришь ее берега. Найди место, где наиболее достойно можно построить мой походный дворец. Я хочу, чтобы к ступенькам его могли приставать морские корабли, чтобы с крыши дворца были видны родные степи, чтобы невдалеке зеленели луга с травой, любимой кобылицами. Дворец не должен стоять на открытом месте, где на него могли бы напасть степные разбойники. Поэтому разыщи остров, омываемый рукавами реки.

— Слушаю и повинуюсь,— отвечал Ли Тун-по.

— Мой дворец будет сердцем и головой вселенной. Мои приказы, как быстрые стрелы, полетят во все стороны. Я буду назначать великих каганов в Каракоруме. Буду сажать своих баскаков в городах покоренных народов. Моей воле подчинятся земли Востока и Запада... Тогда исполнится порученный мне завет великого Чингиз-хана!

— Слушаю и повинуюсь! — повторил Ли Тун-по.

— Так будет!..— сказал Субудай-багатур.— С крыши золотого дворца ты набросишь аркан на шею вселенной и затянешь его могучей рукой!..

Бату-хан остановил свой взгляд на загорелом мрачном лице Мусука:

— Ты будешь начальником сотни, которая должна охранять строителя Ли Тун-по. Когда он найдет место для постройки дворца и возведет первую сторожевую башню, ты отправишь ко мне гонца, и я приеду сам. Дворец должен быть лучше всех дворцов, какие когда-либо строились на подносе вселенной.

— Понимаю и повинуюсь,— сказал Мусук.

— Выезжайте сегодня же! — добавил Бату-хан и вошел

в шатер. За ним последовали любимый брат джихангира Орду, непобедимый полководец Субудай-багатур и летописец Хаджи Рахим.

Юлдуз-Хатун в шафрановой одежде, расшитой золотыми цветами, бледная, с расширенными глазами, встретила Бату-хана. Она опустилась на колени, пала ниц и поцеловала красный шагреневый сапог Бату-хана, снятый с убитого коназа Гюрга. Китаянка И Ла-хэ подняла шатавшуюся Юлдуз и помогла ей дойти обратно до замшевых подушек.

— Маленькая хатун нездорова,— сказала китаянка.— Она очень горевала, не получая долго известий от ослепительного. Ей сейчас трудно ходить, она ослабела. Нужны опытные лекари, которые вернут ей силы.

— Это неверно! — возразила тихо Юлдуз, опустив глаза.— Увидев целым и невредимым моего повелителя, я могу снова и работать, и петь, и рассказывать сказки...

Бату-хан опустился возле Юлдуз на ковер. Вошедший баурши подал ему сверток в зеленом шелковом платке. Бату-хан высыпал на ковер драгоценности, отобранные в урусутских городах,— золотые нательные кресты, иконки, ладанки, серьги, ожерелья, браслеты и другие красивые безделушки. Китаянка поочередно брала каждую вещь и показывала ее своей госпоже. Юлдуз смотрела равнодушно и говорила:

— Благодарю тебя, великий джихангир. Все очень красиво. Я не достойна твоей милости.

Лицо Юлдуз, набеленное, с длинными нарисованными до висков темно-синими бровями, оставалось грустным и потухшим. Она оживилась, только увидав небольшое серебряное зеркальце. Она взяла его в руки, внимательно посмотрела на блестящую полированную поверхность:

— Вот какая я стала теперь! Раньше, когда я целые дни ходила в степи, у меня был золотистый загар.

— Ты можешь и теперь ходить без этих китайских мазей, которые накладывает тебе на лицо искусная И Лахэ,— отвечал Бату-хан.— Может быть, у тебя имеются какие-нибудь желания? Скажи их мне.

— У меня одна просьба... Для тебя она ничтожна. В твоем отряде едет старик. Из-за его неприятного лица я часто слабею. Прикажи, чтобы он уехал обратно в Сыгнак. Тогда моя душа станет спокойной.

— Если у этого старика дурной глаз и он призывает на тебя болезни, я прикажу его утопить в ближайшей луже. Как имя этого старика? Где найти его?

— Нет! Не делай ему зла. Будь великим, будь щедрым! Подари ему четырех коней, покрытых коврами, но прикажи, чтобы он, не замедлив ни на один день, уезжал на родину. Зовут его Назар-Кяризек. Он сопровождает непобедимого Субудай-багатура и стережет его будильного петуха.

— Внимание и повиновение! — сказал Субудай-багатур.— Желание Отхан-Юлдуз для меня — повеление. Я отпускаю старика вместе с петухом, верблюдом и двумя кеджавэ. В них он может увезти домой ту святую добычу[1], которую он собрал в урусутских городах.

Глава двадцатая

ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

В юрту вошел князь Глеб и окинул всех пытливым взглядом. Бату-хан казался довольным, Субудай-багатур был менее суров, чем всегда. Князь Глеб согнулся, подполз к Бату-хану, поцеловал перед ним землю. Бату-хан смотрел в сторону. Князь Глеб ждал на коленях.

Наконец Бату-хан взглянул на него:

— Чего ты хочешь, коназ Галиб?

— Ты великий! Ты щедрый! Помоги своему верному рабу...

— Что тебе нужно? — повторил Бату-хан, поморщившись.

— Ослепительный! Я преданно служил тебе во время твоего великого похода. Теперь непобедимое твое войско возвращается в родные степи.

Князь Глеб замолчал, стараясь заглянуть в неподвижное лицо Джихангира.

— О чем же ты просишь?

— Прикажи мне снова служить тебе!

Бату-хан молчал. Князь Глеб продолжал смелее:

— В цветущих твоих степях я тебе не нужен. Но на русской земле я буду тебе очень полезен... Будь милостив! Назначь меня в Рязань твоим баскаком! Вспомни мою преданную службу...

Князь Глеб, ища поддержки, взглянул на Субудай-багатура. Тот сидел неподвижно, с непроницаемым лицом, смотря в землю немигающим глазом. Юлдуз-Хатун отвернулась.

Бату-хан заговорил:

---

[1] «Святая добыча» — всякая добыча, захваченная при штурме города, считалась в то время «святой» и становилась собственностью победителя.

— Кто предает свою родину, тот человек ненадежный. Ему нельзя верить. Он изменит и господину.

— Я был верен тебе! — с отчаянием воскликнул князь Глеб.— Я оказал тебе важные услуги... Я открыл, где находился лагерь князя Георгия...

— Так...

— Вспомни, я сам, добровольно пришел к тебе!

— А куда тебе было идти? Урусуты прогнали тебя, Кипчакские степи стали покорны мне.

— Но...

Бату-хан повернулся к Субудай-багатуру:

— Мой мудрый советник! Ты обещал рассказать о борьбе моего великого деда с храбрым Ван-ханом.

Точно проснувшись, Субудай-багатур поднял голову и взглянул пристально на молодого джихангира. Он начал ровным, спокойным голосом:

— Бессмертный Воитель, твой славный дед воевал с владыкой караитов[1] Ван-ханом. Могучее и сильное племя было покорено. Но смелый Ван-хан не сдавался. Собрав своих последних храбрецов, он защищался, как волк. Это был могучий, смелый враг! Твой великий дед уважал его храбрость...

— Что же было дальше?

— Воины Чингиз-хана одерживали победы, нельзя было противиться им. Ван-хан был окружен. Он потерял последних нукеров и бежал с двумя слугами...

Бату-хан слушал внимательно и кивал головой. Юлдуз-Хатун придвинулась ближе. И Ла-хэ взволнованно прижала руки к груди. Князь Глеб обводил всех злобным взглядом.

— Славный Ван-хан спасся?

Субудай-багатур засопел:

— Нет, ослепительный! Желтоухие собаки, его слуги, предали его. Во время сна они подкрались к своему господину, убили и принесли его голову великому Чингиз-хану.

Все молчали. Субудай-багатур продолжал:

— Подлые собаки ждали милости Великого Воителя. Но он разгневался: «Когда Ван-хан был могущественным и сильным — вы служили ему! Когда он в несчастьи доверился вам — вы воспользовались его горем!..» И мудрый Чингиз-хан приказал сломать предателям спину...

Бату-хан медленно повернулся:

— Ты слышал?..

Князь Глеб уцепился за ноги джихангира. Бату-хан оттолкнул его:

[1] Караиты — одно время самое сильное племя в Центральной Азии. В молодости Чингиз-хан служил простым нукером у караитского хана Вана.

— Ты говоришь, что служил мне? За это тебе давали золото. А за предательство следует наказывать... Могу ли я доверять предателю?

Бату-хан покосился на серое, помертвевшее лицо Глеба:

— Достойный человек не боится смерти...

— Ослепительный! Прости... сжалься...— бормотал князь Глеб.

Маленькая дрожащая ручка легла на темную сильную руку Бату-хана.

— Хорошо... живи!

Князь Глеб бросился целовать красные сапоги Бату-хана.

— Уходи! — сказал резко джихангир.— Арапша! Прикажи нукерам увести коназа из лагеря в степь.

— Куда же я пойду!..— закричал князь Глеб.— У меня больше нет родины!

Бату-хан отвернулся. Два нукера вытащили отбивавшегося Глеба[1]. Арапша, с непроницаемым, спокойным лицом, опустил за ним тяжелый дверной полог.

Глава двадцать первая

«А РУСЬ-ТО СНОВА СТРОИТСЯ!»

В марте в Перуновом Бору было безлюдно и тихо. Ратники, ушедшие по призыву рязанского князя,— как доходили слухи — бились и под Суздалем, и на Берендеевом болоте, и на берегах Сити и Мологи.

Вернутся ли? Вороги немилостивые никого в живых не оставляют...

На месте сгоревших изб разгромленного татарами селения остались только глиняные печи и груды черных, обугленных обломков. Только несколько крайних к озеру избенок сиротливо прижались друг к другу. Там ютились оставшиеся в живых ребятишки. Их пестовала жена Звяги, еще более исхудавшая, и две бездомные старухи. Они каждый день проверяли в озере мережи и приносили линей и карасей. Тем все и кормились, да еще коржиками, спеченными из мякины и толченой сосновой коры.

Весеннее яркое солнце растопило снега, завалившие вековые леса. Вокруг Перунова Бора нельзя было ни пройти, ни проехать. Птицы налетели дружными стаями, свистели, перекликались, пестрые дятлы долбили стволы и почирикивали: «Чок-чок!»

---

[1] По летописным сведениям, князь Глеб долго скитался в половецких степях. К концу жизни он сошел с ума. Дата смерти его неизвестна.

В начале апреля на лодках переехали озеро первые сбеги. Они говорили старухам рыбачкам вполголоса, точно все еще боялись, что их услышат татары:

— Много их еще бродит по дорогам, но, кажись, главная их сила ушла в Дикое поле. Теперь последние отряды татар потянулись туда же. А мы хотим к вам пристать. Здесь жито сеять... Не откажите! Тут нам любо: и от больших дорог подальше, и тихо, и рыбка в озере поплескивает... Наши яровые взойдут, и никто уже нашего хлебушка не отберет.

Понемногу стали прибывать еще сбеги. Когда спали весенние воды, подсохли дороги, приплелись также первые кони, заморенные, взъерошенные, но они приволокли сохи и бороны.

В Перуновом Бору стало веселее. Застучали топоры, перекликаясь с малиновками, дятлами и грачами. Длинными рядами вырастали белые срубы из еловых лесин. Откуда-то прибежали лохматые собаки и тявкали днем и ночью.

О татарах было все менее слышно. Мужики судили и рядили, что дальше будет? Все думали, что татары отхлынут в Дикое поле, как раньше делали половцы, и назад на Русь не вернутся.

Пришла высокая, худая как скелет, женщина. Она подталкивала упиравшуюся, такую же отощавшую корову. Все кости выпирали. Бабы окружили рыжую корову, покачивая головами, указывая на высохшее вымя, висевшее как тряпка. А владелица коровы не унывала:

— Моя кормилица будет! На весенних травах поправится. Я здесь все места знаю, где какая трава растет.

— Разве здешняя?

— А то как же! Вот печь от моей избы. Сызмалетства я здесь выросла.

— Да ты, поди, Опалёниха? — закричала вдова Звяги и выбежала из толпы. Обе женщины, обнявшись, плакали навзрыд.

— Куда твоя краса подевалась, Опалёниха? — причитала одна. Другая всхлипывала:

— А где твой семеюшка? Поди, лежит где-нибудь под ракитой?

Они расспрашивали о всех, ушедших с погоста на ратное дело, но рассказать толком ничего не могли.

— Савелия, говорят, убили на реке Сити, Ваулу видели среди сторонников под Суздалем. Торопка лихим удальцом стал, да и его, поди, уложила татарская стрела.

В мае на погост явился пеший Торопка, целый и невредимый; только вырос очень и стал костлявый: давно не ел.

Стал он всех расспрашивать про своих родителей: живы ли? Где искать следов их? Рассказал про себя, что был у него лихой татарский конь, да погнались за ними встречные басурманы, перепрыгнул конь овраг, сорвался, сломал ноги, а сам Торопка едва спасся, заполз в валежник, татары его и не нашли.

В тот же день приехал на половецком коне Лихарь Кудряш. Узнав от Торопки о гибели Вешнянки, он бросился с коня на землю и долго бился и кричал. Старухи над ним причитали, отливали его водой, а Лихарь твердил:

— Для кого мне теперь жить? Без дочки свет мне стал не мил!..

Потом он долго лежал тихо, точно думал о чем-то. Встал и спокойно и твердо сказал Торопке, сидевшему рядом на земле:

— Послушай, малец! Вот что я узнал. Татарская сила ушла, но в больших городах остались татарские отряды: за нашими мужиками присматривать, чтобы мы не ворошились. Новый князь владимирский Ярослав Всеволодович прибыл в Переяславль, свою вотчину, и сказывали мне, что он собирает дружину. Я обещал князю привести надежных молодцов.

Кругом стояли ребятишки и, засунув пальцы в рот, дивились на Лихаря, на его половецкие пестрые шаровары и половецкий колпак.

— Видишь, ребята малы. Их еще надо поднять и прокормить. А отцы все в боях полегли. Теперь долго мы будем с татарами разговоры разговаривать и тяготы нести, как покоренные... А потом за все рассчитаемся! Так сам князь Ярослав Всеволодович дружинникам говорил.

— Я пойду с тобой! — решил Торопка.

Оба вскоре покинули Перунов Бор. Они направились просекой и долго слышали в притихшем перед грозой зеленом бору, как на погосте перестукивали топоры и кричали бабы, укладывая лесины на новые срубы.

Лихарь остановился, указал рукой в сторону Перунова Бора, откуда доносился стук топоров, и сказал:

— А Русь-то снова строится!

Глава двадцать вторая

НА ДАЛЕКОЙ РОДИНЕ

Старый Назар-Кяризек уехал из орьги Бату-хана вместе с толпой раненых кипчаков и уйгуров, желавших вернуться на родину. Они поехали обратно тою же дорогой, по кото-

рой прошел Бату-хан, и через четыре месяца, в начале осени, прибыли в Сыгнак.

Женщины города и окрестных кочевий давно уже стояли на дорогах, ведущих с запада, поджидая своих близких.

Старая Кыз-Тугмас, жена Назара-Кяризека, стояла возле своей юрты вместе с маленьким сыном Турганом и четырьмя невестками. Они напряженно всматривались в загорелые до черноты лица подъезжающих всадников.

К юрте подошел величественной ханской походкой высокий желтый верблюд, за которым следовали четыре оседланных коня, покрытые коврами. На верблюде важно сидел в кеджавэ незнакомый старик в нарядном парчовом халате, бобровой круглой шапке, походивший на посланника неведомой страны. В руках он держал длинноногого петуха.

Вдруг мальчик Турган воскликнул:

— Да это тату! А братьев нет!..

Кыз-Тугмас и ее невестки подняли отчаянные пронзительные вопли, на которые сбежались все обитатели кочевья. Всех поразили пустые седла на четырех конях и привязанные сверху кривые мечи сыновей Назара-Кяризека. Невестки бросились к коням, взяли их под узды и с горьким плачем повели к своим юртам.

Кыз-Тугмас упала на сырую землю, скребла ее ногтями и рвала на себе седые волосы:

— Мои сыновья! Где мои сыновья? Кто мне их вернет?

Назар-Кяризек сошел с верблюда на землю и торжественно сказал жене:

— Да живет твоя среброкудрая голова после твоих четырех сыновей-удальцов! — И старик закрыл глаза парчовым рукавом.

Вдруг Кыз-Тугмас приподнялась и спросила:

— А где мой сын Мусук? Ты слышал ли о нем?

Назар-Кяризек молчал, сдвинув брови, точно что-то вспоминая. Затем он провел рукой по седой бороде и сказал важно:

— Имя Мусуку я дал, а долгую жизнь пусть даст ему аллах!

Подошли соседки, подняли Кыз-Тугмас и отнесли в юрту. Они старались утешить ее как могли, пели жалобные песни, рвали на себе одежды и царапали щеки, оплакивая четырех кипчакских удальцов-батыров: Демира, Бури-бая, Янтака и Клыч-Нияза, погибших в великом походе на запад.

— А где твоя «священная добыча»? — спрашивали соседи.

— Моя добыча? Да... где она? Вот хан Баяндер имеет теперь много новых рабов, и они ведут большой караван верблюдов, нагруженных его священной добычей... А я!.. Ведь я не хан!..

Вечером, после плова (в котором был сварен длинноногий будильный петух), Назар-Кяризек сидел на конской попоне у двери старой юрты. Вокруг теснились кипчаки и жадно слушали рассказ Назара-Кяризека о диковинных народах, живущих за многоводной рекой Итиль, покоренных смелым молодым полководцем Бату-ханом, сыном Джучи, внуком Священного Воителя — великого Чингизхана.

«Много монгольской крови пролилось и на пашнях урусутов, и в их дремучих лесах, и в Кипчакских привольных степях... Еще более пролилось крови мирных народов, сопротивлявшихся беспощадному войску кочевников. Все это делалось для величия и ужаса монгольского имени.

Возвращением в Кипчакские степи закончился первый поход джихангира Бату-хана для завоевания земель булгар, урусутов, буртасов и других северных народов.

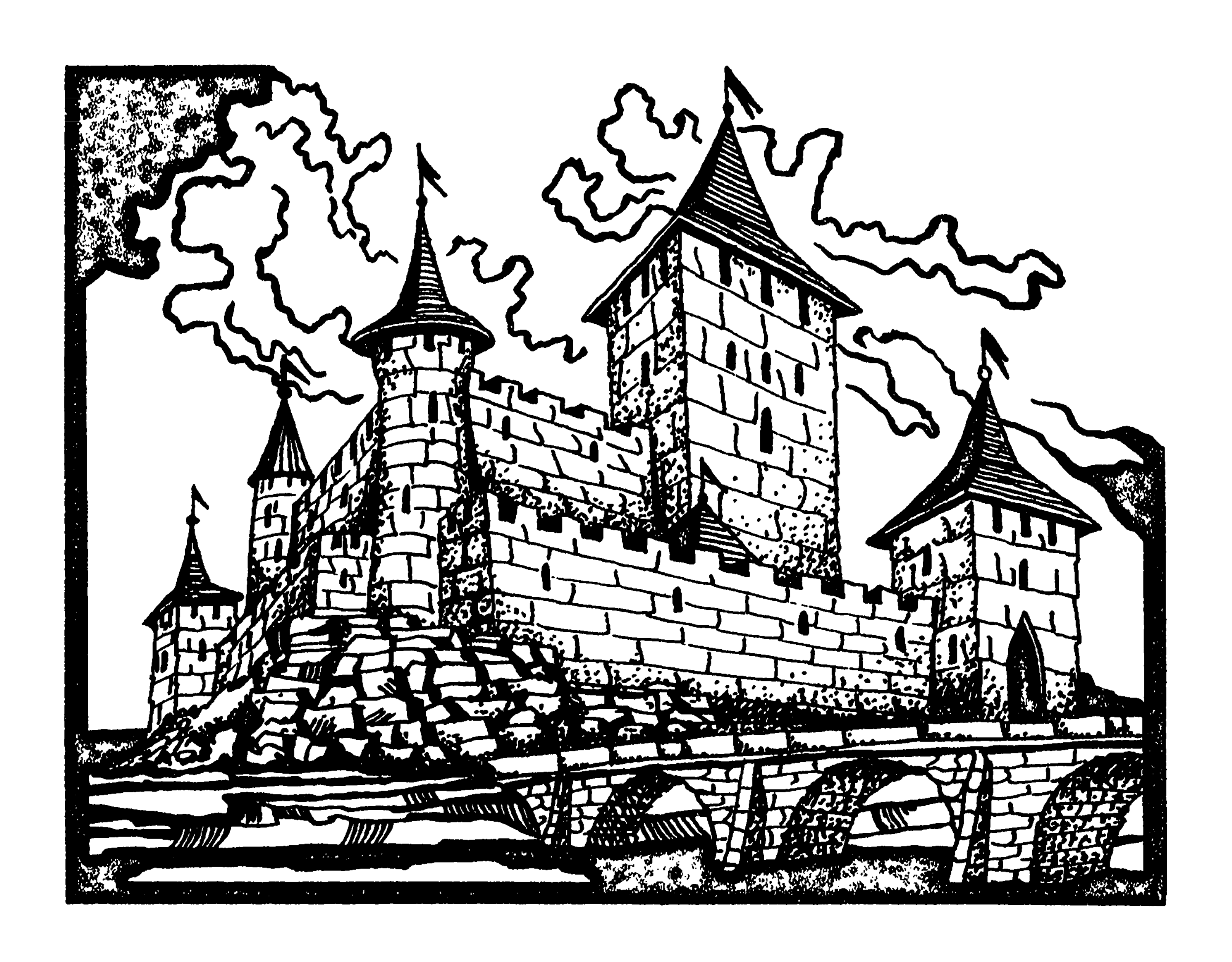
Но этим не ограничились грозные замыслы молодого полководца, внука Чингизова. Пробыв два года в Кипчакских степях и поправив истощенных походом монгольских коней, Бату-хан со своей огромной ордой предпринял новое, еще более потрясающее нашествие на Запад — сперва на златоверхий урусутский город Кивамень, а затем дальше на вечерние страны, обрушив на них ужас и смятение.

Однако обо всем этом мною написано в другой книге. К ней я отсылаю любознательного читателя, пожелав ему мирной и долголетней жизни, без тех страданий, которые приносит народам пожар бушующей войны...»

(Выписка из «Путевых заметок Хаджи Рахима»)

1940

К „ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ“



Исторический роман

России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и вздыхающей Россией...

А. С. Пушкин

«Я дойду до последнего моря, и тогда вся вселенная окажется под моей рукой».

(Из летописей о Чингиз-хане)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«ЭТО БЫЛО В БАГДАДЕ...»

Глава первая

РЕЗЧИК ПЕЧАТЕЙ ДУДА ПРАВЕДНЫЙ

На площади, перед главной мечетью Багдада, на самом краю широкой каменной лестницы сидел за маленьким столиком Дуда Праведный и вырезывал надписи на шлифованных сердоликовых печатях. На них он писал имена заказчиков красивой вязью, арабскими буквами, с искусным росчерком. На перстнях с камнями он писал также таинственные заклинания, дающие силу и здоровье владельцу или предохраняющие его от дурного глаза и губительных заклятий злых людей.

«Дуда Праведный» — так звали резчика печатей... Кто из посетителей величественной мечети не замечал согнувшегося мастера с длинной рыжей бородой и черными мохнатыми бровями, под которыми глаза казались сумрачными, затаившими сокровенную мысль.

Однажды к Дуде Праведному подошел человек благообразный, в дорогой шерстяной одежде «абе», уже выцветшей от времени, с приветливой улыбкой на спокойном лице. Он положил на столик полупрозрачный молочно-голубоватый камень, называемый «лунным», и попросил вырезать надпись: «Хасан Осторожный, брадобрей его святейшества халифа».

— Ты меня прости, что я вмешиваюсь не в свои дела,— сказал Дуда, не отрываясь от работы.— Но такая надпись может повлечь за собой нежелательные толки и даже опасные для тебя последствия. Надо написать иначе. Его святейшество халиф, как образец добродетели и совершенства, не должен и не станет брить бороды. Это вызовет волнение в народе. Ма́шалла, ма́шалла! Не дай бог!

— А какую надпись ты предложишь? — спросил удивленный и обеспокоенный Хасан.

— Твой предшественник, закончивший счеты с земной жизнью пять лет тому назад, как говорят, имел звание:

«Абдулла Бербер, оберегающий бороду его святейшества халифа»... Такая надпись не вызывает никаких сомнений... «оберегающий бороду!» — И Дуда многозначительно поднял указательный палец.— Тогда и сам халиф,— да будет над ним покой и благополучие! — оценит твою осторожность.

— Так ты и сделай! — сказал Хасан резчику и хотел уже уходить, как вдруг заметил золотой перстень с надписью, которая чем-то привлекла его внимание.— А это что за печать? — спросил он и протянул руку к перстню.

Тут Дуда Праведный, с необычайной для него живостью, схватил золотой перстень и спрятал его в кожаную коробочку за пазухой, где хранились и другие драгоценности его заказчиков.

— Я еще не кончил работы над этим перстнем. И я не люблю показывать незавершенные вещи.

В это время к мечети подскакал молодой всадник на горячем, танцующем золотисто-рыжем жеребце. Не сходя с коня, он крикнул:

— Привет тебе, мой почтенный наставник Дуда Праведный! Готов ли перстень?

Дуда, всегда спокойный и величавый, вдруг засуетился, раскрыл кожаную коробочку, достал золотой перстень и быстро спустился по ступенькам лестницы к молодому всаднику. И всадник и его конь были молоды, стройны и красивы.

Всаднику можно было дать около двадцати пяти лет. Одет он был скромно, как простой кочевник пустыни, бедуин, но видно было, что даже в лохмотьях он сохранил гордую осанку смелого вольного человека. Обаяние молодости и лицо, освещенное внутренней силой, делали его прекрасным и привлекательным.

— Кто это? — спросил брадобрей Хасан, когда всадник, взяв перстень, вскачь умчался через площадь и скрылся в облаке пыли.

Дуда отвечал раздраженным голосом:

— Не все ли тебе равно? Ты бреешь бороды, а он укрощает коней. Это самый лихой наездник на конских играх арабов, и не было еще жеребца, который не смирился под его уверенной рукой.

— Но зачем ему такой золотой перстень?

Дуда Праведный так рассвирепел, что стал шипеть и кричать, размахивая руками. Поднимавшиеся по ступенькам богомольцы останавливались в удивлении.

— Почему ты привязался к этому перстню? Какая у тебя до него забота? Если бы ты был джасусом —



ПРОВОДЫ ВОЙСКА. *1980*



ЗАРЕВО (Фрагмент). *1978*

шпионом — правителя этого города, я бы стал тебе отвечать, а сейчас ты отвяжись-ка лучше от меня!..

Хасан-брадобрей попятился и быстро удалился. Он помчался прямо во дворец, чтобы рассказать векилю — смотрителю дворца — о виденном.

— Ведь это, кажется, перстень Ал-Мансура[1],— повторял он ему взволнованно.— Ты доложи об этом. Здесь скрыта какая-то тайна.

Глава вторая

РОВНО В ПОЛНОЧЬ

В Багдаде ночь наступает быстро, почти мгновенно. Множество огоньков засветилось в лавках торговцев, когда Дуда, широко шагая, спешил по узким улицам вслед за вереницей других прохожих.

В глухом переулке он постучал в небольшую дверь. Ее открыл на условный стук одноглазый мрачный сторож, и Дуда прошел в узкий двор, заставленный двухколесными арбами. Осторожно пробрался он среди теснившихся верблюдов и попал наконец в свою каморку, в подвале двухъярусного строения, где хранились товары купца Махмуда-урганджи[2].

Хозяин, богатый торговец хорезмскими шелками и вышивками, богомольный и странноприимный, несколько лет назад позволил жить в его доме резчику печатей, оставшись доволен вырезанным на золотом перстне заклинанием великого Сулеймана[3], принесшим ему удачу в торговле.

В полной темноте Дуда по привычке нашел низкий столик, положил возле него в нише принесенную с собою кожаную сумку с инструментами и снова вышел во двор. Он сел на деревянном обрубке около входа и долго покорно ждал, поднимая глаза к звездам, ярким и лучистым, сверкающим на потемневшем небе.

Сопевшие верблюды — одни лежали, другие стояли, и казалось, оранжевые огни костра, разведенного посреди двора погонщиками, пылают между их ногами.

---

[1] Ал-Мансур — в средневековых европейских сказаниях это имя начальника гвардии рабов в Кордовском халифате переиначено в Альмансор.

[2] Урганджи — то есть родом из Ургенча.

[3] Сулейман — библейский царь Соломон, позднее герой многих мусульманских легенд.

Наконец мелькнула заветная тень и приблизилась к Дуде. На него повеяло ароматом розового масла. Нежный голос прошептал:

— Наш почтенный хозяин посылает тебе привет и просит помолиться за него.

Принимая горячую лепешку и глиняную миску дымящейся похлебки, Дуда почувствовал маленькие руки с серебряными кольцами, и край покрывала коснулся его лица. Он покорно ждал, пока говорившая тень скрылась, обещав принести горячих углей, и жадно глядел ей вслед. Она вскоре вернулась, раздувая угли, и тогда алый отблеск осветил нежные черты девичьего лица, ее насурмленные брови и расшитую повязку на лбу. Певучий голос как будто насмешливо спросил:

— Почему у тебя так дрожат руки, когда ты от меня принимаешь похлебку? Я каждый раз боюсь, что ты ее прольешь.

И с легким смехом девушка скрылась во мраке.

Дуда, вернувшись в свою каморку, раздул угли и поджег хворост в очаге. При колеблющемся свете он стал писать на полях толстой священной книги корана. Раза два он доставал маленький узкий ножик и оттачивал камышинку для письма. Все время он бормотал странные слова и размахивал руками, точно спорил с кем-то:

— Полночь... Сегодня в полночь! Это выше моих сил! Больше сердце не выдержит. Пора кончить с этой скитальческой жизнью... Но все же у меня остаются надежды... Перехитрить меня не удастся никому. На шахматной доске жизни выручит только «ход коня»! Глупо идти прямой дорогой, если ее перегородила брошенная шайтаном скала. Завтра утром должна засверкать вспышка моего гения. Люди забегают и закрутятся в безумном хороводе под напев моей дудочки, такой скромной и слабой. Только бы хватило сил, только бы скорпион несчастья не ужалил меня прямо в сердце в то мгновенье, когда удача уже может подхватить меня и вскинуть на гребень волны.

Дуда задвинул засов входной двери. Отвернул войлок посредине комнаты. Под ним показалась небольшая дверца люка.

Стараясь не шуметь, Дуда опустился в черное отверстие. Ощупью, в полной темноте, прошел он несколько шагов и наткнулся на вторую лестницу, ведущую кверху. Осторожно он поднялся по ней и оказался в каморке с узким длинным столом посередине. Через маленькое окно лился слабый звездный свет.

Дуда стал на колени и опустил голову на руки. Тихо, про себя, читал он молитвы, сперва по-арабски, потом на каком-то другом языке.

Он поднимал голову, смотрел на овальное окно, потом снова принимался за молитвы. Глухие рыдания потрясали его, и он с трудом удерживал их, стараясь сохранять тишину.

Наконец в окне показался яркий, точно раскаленный добела, край равнодушной полной луны, свершающей по небу свой обычный путь.

Стоя на коленях, Дуда выпрямился и вцепился руками в край стола... Бледный печальный луч осветил стоящие на столе узкие носилки, сплетенные из прутьев.

На носилках лежало женское тело в темной шелковой одежде. Оно так исхудало и высохло, что едва намечалось среди складок платья. Две маленькие ручки скрестились на груди, и на них блеснули серебряные кольца.

Дуда откинулся назад и с трепетом ожидал...

Когда диск луны заполнил окно, на его ярком серебристом фоне четко вырисовался нежный профиль.

Дуда с безумной страстностью шептал:

— Я здесь, твой верный слуга... Я здесь, возле тебя, как всегда!.. Нежная, безгрешная Мариам! Слышишь ли ты меня? Протяни свою маленькую ручку и коснись моего лба! Укрепи мои силы!

Он жадно всматривался в профиль, все еще надеясь, что поднимутся ресницы и лицо вздрогнет снова, пробудившись к жизни.

— Судьба! Всюду рок! Ужасная судьба, с которой не может справиться даже моя неукротимая воля. Судьба ломает все, что я наметил, все, что я подготовил, разрушая все заклинания, но я все же не сдаюсь!..

Луна, медленно подвигаясь, уходила. Вот она исчезла, и нежный профиль потонул во мраке.

Дуда упал на колени, кусая пальцы, стараясь подавить глухие рыдания.

— Светлая, безгрешная Мариам умерла. Я вижу ее в последний раз. В последний раз. Завтра ее отнесут в обитель вечного покоя!..

Вдруг его привели в себя крики, раздавшиеся во дворе:

— Дуда, резчик печатей! Открой дверь, или мы ее выломаем!

Дуда колебался несколько мгновений; затем, быстро поднявшись, вернулся в свою комнату и закрыл люк старым войлоком.

В дверь настойчиво продолжали стучать. Он отодвинул засов.

Чернокожий раб с пылающим факелом шагнул внутрь каморки, наполнив ее дымом. За ним на пороге стоял человек в полосатом плаще, которого Дуда знал как самого свирепого из палачей халифа.

— Ты — Дуда, резчик печатей, прозванный Праведным?

— Ты сказал истину, почтенный Мансур, меч правосудия и могучая защита трона его святейшества!

— Сейчас ты пойдешь со мной, и мы проверим, насколько ты праведный. Рабы, возьмите этого человека за руки и держите, чтоб он в темноте не убежал. Он колдун, может обратиться в летучую мышь и улететь.

— Я и так покорно повинуюсь, мой господин! — Дуда послушно подставил свои руки, и два чернокожих раба быстро скрутили их жесткими веревками.

Глава третья

ВО ДВОРЦЕ ВЕЛИКОГО ХАЛИФА

Когда два эфиопа, державшие за руки Дуду, поднялись с ним из подвала во двор, Дуда вдруг так пронзительно закричал, что спавшие на крыше люди стали просыпаться и отовсюду доносилась брань:

— За что вы мучаете праведного старика? Оставьте его! Злодеи!

Мансур торопил эфиопов:

— Скорей, скорей вперед!

Дуда упирался:

— Зачем эти бесхвостые обезьяны выворачивают мне руки? Ведь руки меня кормят! Я пойду и так...

Он с непонятной силой повернулся к одному из эфиопов:

— Смотри мне в глаза, копченый свиной окорок! Сейчас ты сам захочешь улечься на земле, здесь, прямо на верблюжьем помете! Ложись! Засыпай скорее, как сурок!

Огромный эфиоп в пестром балахоне с медным кольцом в носу вдруг зашатался, осел и лег на бок.

Дуда повернулся ко второму эфиопу и, впиваясь в него горящими глазами, продолжал:

— И ты тоже, перезрелая тыква, уже захотел спать! Ложись рядом с твоим приятелем-лентяем и начинай храпеть, как этот черный буйвол!

Второй эфиоп, шатаясь, подошел к лежащему, свалился возле него, и оба громко захрапели.

Мансур, разъяренный, бросался к спавшим чернокожим, толкал их ногами и неистово ругался. Потом он вытер концом матерчатого пояса пот со лба и повернулся к Дуде, спокойно стоящему с протянутыми к небу руками.

— Жемчужная луна! — говорил Дуда.— Ты равно светишь великим и малым, умным и глупцам. Проясни головы непонимающим, чтобы они не тащили Дуду Праведного, как тушу зарезанного барана!

Он поклонился Мансуру и сказал:

— Ты ведешь меня к счастливейшему обладателю правильного мнения. Зачем же ломать нужные его святейшеству руки, такие тонкие, искусные? Я пойду сам. А чтобы эти два грубых верблюда не провалялись здесь сутки, я им прикажу, что надо делать. Эй вы, шакалья падаль! Бегите скорее домой и спите там до завтрашнего утра!

Оба эфиопа вскочили и, подтягивая руками просторные шаровары, со всех ног бросились в ворота.

— Иди вперед, подаватель благого совета, достойный Мансур! — сказал Дуда посланнику халифа.— Я следую за тобой.

Чернокожий слуга с факелом пошел впереди, за ним Мансур, постоянно оглядываясь и грозно стуча посохом. Последним шагал Дуда Праведный, легко выбрасывая длинные сухие ноги.

Они прошли узкими извилистыми улицами спящего Багдада, днем всегда оживленного, полного шумной толпой. Теперь только стаи собак грызлись на перекрестках из-за брошенных костей, и ночные сторожа, вертя трещотками, загораживали путь, издали крича:

— Кто идет? Говори или зарублю!

Услышав, что идет великий палач халифа, кровавый Мансур, сторожа отходили в сторону и склонялись до земли, бормоча приветствия.

Дорога привела к берегу великой реки Диджлэ[1]. Они вошли в поджидавшую их халифскую лодку, переправились на другой берег, где их встретили векиль и несколько вооруженных воинов.

— Царь времени гневается, — сказал векиль, — и не спит. Он приказал немедленно представить перед его блистающим взором опасного злодея.

— Великий Ал-Мансур! — воскликнул Дуда, подняв руку и обращаясь к луне.— Ты все слышал и за все отомстишь в свое время!

---

[1] Диджлэ — так тогда назывался Тигр.

Мансур подошел к векилю, отвел его в сторону и, волнуясь, шепотом объяснил ему, что этот высокий рыжебородый старик, вероятно, могущественный волшебник; его не надо раздражать, а бережно доставить во дворец, чтобы он не обратил всех в летучих мышей. Эфиопов он усыпил, и они мгновенно свалились, как пьяные, а потом, по его приказанию, вскочили и убежали, словно облитые кипятком!

— Понял, понял!.. Пожалуйста, почтенный Дуда Праведный, следуй за мной. Его святейшество — да будет над ним мир! — тебя ждет. Надо торопиться.

Дворец и сад халифа занимали огромное пространство, чуть ли не половину города. Из-за высокой стены видны были раскидистые пышные финиковые пальмы, стройные кедры и между ними плоские крыши бесчисленных зданий, в которых, под неусыпным присмотром тысячи евнухов, хранились «жемчужины» халифа Мустансира — его семьсот жен. Дальше высились тонкие стрельчатые минареты дворца. Местами на стене виднелись неподвижные часовые с копьями.

У ворот, с двумя башенками по сторонам, стояла стража и, волнуясь, ожидала возвращения начальника палачей, всегда бешеного и раздражительного.

Стража расступилась, и Дуда Праведный зашагал через роскошный сад халифа важно и торжественно, не глядя по сторонам.

Векиль и Мансур быстро прошли вперед, поднялись по ступенькам дворца, где уже ждал великий визирь с двумя слугами, державшими бронзовые резные фонари.

— Кто ты? — спросил великий визирь, положив руку на седую бороду.

— Сын Адама, резчик печатей, прозванный Дуда Праведный.

— Ты сейчас предстанешь перед светлыми очами халифа Мустансира,— да будет над ним милость неба! Запомни, что ты не смеешь ему задавать вопросы, а должен только отвечать.

— Я буду говорить все, что пожелает узнать его святейшество! — пробормотал Дуда.

Все поднялись по витой лестнице на крышу дворца, устланную мягкими коврами. Над ней бескрайним куполом простиралось сапфировое небо, усыпанное алмазными переливающимися звездами.

В одном углу крыши лежали груды подушек из знаменитого багдадского красного сафьяна. Среди них сидел человек средних лет с крашеной черной бородой, в большом белом тюрбане. Красная шелковая одежда была расшита

на плечах золотыми цветами. Расположившиеся полукругом несколько приближенных сидели на пятках, положив руки на колени.

Дуда долго стоял в ожидании и, полуотвернувшись, смотрел вдаль.

Главная торговая часть города, за рекой, уже затянулась легким туманом. Кое-где еще мигали огоньки. Река Диджлэ слегка рябила золотыми лунными блестками. В ярком свете можно было ясно различить, как далеко уходила река в сторону Персидского залива.

«Наконец я во дворце могучего халифа,— думал Дуда, задыхаясь от волнения, но наружно спокойно-величавый.— Девять лет я ждал этого счастливого мгновения. Не упускай счастья, которое встает перед тобой сегодня в этом сказочном дворце всесильных владык!.. А что будет с тобой дальше? Будет то, чего ты сам сумеешь добиться...»

— Выслушай меня, почтенный человек,— сказал вполголоса приблизившийся векиль.— Ты подойдешь сейчас к его святейшеству, опустишься перед ним на колени и будешь молча ждать.

Дуда скинул сандалии на краю ковра, подошел к халифу, опустился на колени, склонился и поцеловал ковер между руками.

— Здравствуй, рыжая борода! — сказал халиф.— Я слышал, что ты знаешь тайное!

— Ты, как всегда, сказал истину, непогрешимый,— да возвеличится еще более твое могущество и слава! Но я должен все важное, что знаю, рассказать только тебе, без посторонних слушателей. Этого требует завещание Ал-Мансура.

— Мои преданные друзья,— обратился халиф к сидевшим.— Вы можете пойти отдыхать в залах дворца, а я останусь только с моим великим визирем.

Все поднялись и, прижав руки к груди, тихо вышли мелкими почтительными шажками.

Дуда молча смотрел на халифа и думал:

«Вот передо мной самый могущественный среди мусульман, преемник пророка. Этот араб, такой с виду обыкновенный, сохраняет в себе высшую духовную силу ислама. К нему обращены мысли и моления всех почитателей веры Мухаммеда восьми концов света. Он может меня возвеличить и поднять на вершину удачи и счастья или низвергнуть в бездну горя».

Халиф вынул из резной серебряной коробочки золотое кольцо и спросил:

— Ты резал это кольцо?

— Я должен его посмотреть.

— Возьми!

Дуда на коленях приблизился к халифу, взял кольцо и почувствовал, как дотронулся до выхоленной руки халифа. Ему показалось, что духовная сила ислама через это прикосновение проникла в него и обожгла его.

Осмотрев кольцо, Дуда сказал:

— Пять лет назад я резал это кольцо.

— Знаешь ли ты, что за надпись на нем тебе следует отрубить безумную твою голову?

— Ты можешь это сделать, хранитель закона, но тогда тайное я унесу с собой, а ты ничего не узнаешь, и оно повиснет над тобою, как отточенный меч судьбы.

Халиф вздрогнул...

— Говори все, что знаешь, а я обещаю тебя охранять, и ни один волосок не упадет с твоей головы...

Глава четвертая

«ХОД КОНЯ»

Дуда отодвинулся, сел на пятки в позе молящегося и резко повернулся назад. На площадке за ним уже никого из охраны не было. Он заговорил сперва спокойно, затем все более горячо:

— Ты хорошо знаешь, великий, что со времени кончины мудрого халифа Харун ар-Рашида могущество и слава великого арабского племени стали колебаться и поражение следовало за поражением.

— Как же этого не знать! Как нам не горевать об этом!

— Великая держава, созданная светлым непобедимым мечом арабов и раздвинувшая свои границы от плодоносных земель Мавритании до диких пустынных гор китайского Кашгара, стала потрясаться от внутренних беспорядков и вторжений враждебных орд диких монголов.

— И это мне известно!

— Должны ли мы, правоверные, примириться с этим и ждать печального конца, к которому нас приведет ослабление могущества арабов, или нам нужно собрать все силы, чтобы снова всюду победоносно реяло великое зеленое знамя пророка?..

— Эта мысль давно тревожит мне сердце.

— Тебя беспокоит кольцо, найденное на руке убитого воина, последнего потомка великого полководца Абд ар-

Рахмана. А может быть, у него остался сын? Сын достойный и прекрасный, полный ясного ума?.. Арабы всегда страдали оттого, что их шейхи враждовали друг с другом.

— Да, это наше давнишнее постоянное горе,— вздохнул халиф.

— Великие люди для создания великих дел должны окружать себя достойными же помощниками. Если же существует последний потомок Абд ар-Рахмана, великого полководца, разгромившего франков и грозившего завоевать все «вечерние страны»... если жив такой юноша, изучивший круг высших знаний в медресе, тобою основанном, блистающий красотой и мужеством, как месяц на небе, укрощающий диких коней, владеющий светлым мечом, как молнией,— хотел бы ты, могучий халиф, чтобы такой юноша был тебе близок, как сын, предан, чист и верен, как слово аллаха?.. Чтобы он повел твои войска к новым победам, чтобы опять ярко засверкала, как в былые времена, слава арабской доблести?..

Халиф взглянул удивленно на великого визиря. Тот тихо и почтительно ответил:

— Такого светлого воина, разумеется, лучше иметь преданным другом и защитником, чем тайным коварным врагом. Всякий, кто сумеет помочь славе арабского имени, должен найти поддержку и благословение святейшего багдадского халифа.

— Но где же этот воин, покажи мне его, если он живой человек, а не выдуманный, созданный праздной сказкой болтуна на базаре.

— Я могу тебе его показать. Но я боюсь, не пришлось бы мне потом расплачиваться, лить слезы сожаления и рвать на себе волосы от скорби, что я погубил его.

Халиф сказал:

— Я обещаю тебе, что если он такой, каким ты его описываешь, что если он не сделал и не сделает никаких преступлений, то он будет под моей постоянной защитой. Что ты думаешь об этом, мой верный мудрый великий визирь?

— Я хочу дать совет,— да не покажется он тебе дерзким и безумным...

— Говори! — приказал халиф.

— Ты ведь слышал, конечно, о новом страшном великом завоевателе Темучине Чингиз-хане, пришедшем с востока с ордами диких монголов или татар и оставившем в Хорезме своего внука?..

— Конечно! Ты говоришь о грозном Бату-хане? Почему ты о нем спрашиваешь?

— Я предлагаю тебе этого смелого юношу,— если он действительно такой, как его описал Дуда Праведный,— послать к грозному хану татарскому как твоего посла с приветственным письмом и с подарками. Прикажи этому юноше сопровождать Бату-хана и дальше во всех его походах и убеждать его отвернуться от захвата земель халифа, а идти на «вечерние страны» для их разгрома и завоевания... Мы пока еще не знаем, какие мысли у могучего Бату-хана? Может быть, татары захотят двинуться и на нашу счастливую страну?.. Тогда твой посол, следя за всеми приготовлениями татар, заблаговременно тебя предупредит, чтобы наши доблестные войска были наготове.

Помолчав, халиф сказал:

— Ты, как всегда, даешь полезные советы, мой верный слуга. Разумеется, сперва надо испытать молодого потомка Ал-Мансура. Поэтому, Дуда Праведный, приведи его сюда, прямо ко мне, а я решу, послать ли мне юношу к хану татарскому, или же я ему дам другое поручение.

— Я с радостью исполню твое приказание,— сказал Дуда,— и приведу к тебе в самом скором времени молодого Абд ар-Рахмана.

— А теперь, Дуда Праведный, расскажи мне, как ты нашел этого юношу, и все, что ты о нем знаешь.

Глава пятая

ТАЙНА ВОЛЬНОГО ОХОТНИКА

Дуда Праведный соединил концы пальцев и начал свой рассказ:

— Ты, конечно, слыхал и помнишь о великой битве народов пятьсот лет назад, когда славные непобедимые арабские войска, покорив Испанию и перейдя через Пиренейские горы, разлились, как бушующее море, по цветущей равнине франков?.. Ты, конечно, помнишь, всезнающий и прозорливый, что эта битва была сперва победоносна для наших львов, но франки тоже сражались, как разъяренные бешеные волки, и знамя победы все время клонилось то в одну, то в другую сторону... Предводительствовал войсками франков закованный в железные доспехи смелый полководец по имени Карл Мартел, что означает «молот»... Казалось, милостивый глаз всевышнего засветился радостью, что его правоверные всюду побеждают... Но случилось непоправимое: в разгаре битвы пал вместе с конем наш славный вождь Абд ар-Рахман, и рядом с ним пал его верный знаменосец. Зеленое знамя пророка, реявшее над

бесстрашными шахидами, в пылу битвы было затоптано конницей.

— О, какое несчастье!..— вздохнул халиф.

— Не видя больше своего знамени, наши всадники заметались, и часть, остановив свой натиск, стала выжидать нового дня. А франки, понесшие большие потери, были утомлены жестоким сражением и ночью ушли к востоку, думая, что они проиграли битву... Напрасно наши верные витязи разъезжали по равнине и тщетно разыскивали тело Абд ар-Рахмана; они так и не нашли ни его, ни его оружия, ни его коня... Вероятно, Азраил, ангел смерти, живыми унес их к престолу аллаха... Если бы тогда нашелся смелый вождь и, собрав наши войска, снова повел их вперед на отступавших франков, то мы бы легко одержали полную победу и овладели всей франкской землей. Но вожди, собравшись на ночной совет, долго рассуждали и решили так:

«Мы всегда успеем собрать наши войска, привести в порядок расстроенные ряды и снова вернуться в землю франков, чтобы окончательно разгромить и покорить нечестивых». И — увы! — наши войска двинулись обратно.

— Это было неразумное, недостойное нашего народа решение!

— Прошли годы, целых пять столетий,— продолжал Дуда,— арабские шейхи враждовали между собой, и среди них не было нового Абд ар-Рахмана, чтобы всех объединить под своей могучей рукой, под великим зеленым знаменем и снова сокрушительными волнами бушующего моря обрушиться на цветущие равнины неверных...

— Неужели не сохранилось никаких известий о славном Абд ар-Рахмане? — спросил халиф задумчиво.

Дуда развел руками:

— Я много расспрашивал всех, кого мог: старых имамов, мудрейших ученых в медресе, бродячих певцов и знающих древние сказания дервишей... Все говорили разное, но никто ничего точно не сказал. Ведь когда сидишь на ступеньках мечети, воздвигнутой благодаря твоим заботам,— да будет твое имя во веки прославлено! — то мимо проходит много разных людей со всех восьми сторон света, и не раз услышишь дивное...

— Вот теперь ты мне и расскажи дивное.

— Однажды ко мне пришел путник с сумрачным лицом, глаза у него горели затаенной мыслью. Меня поразило, что он заказал мне вырезать на золотом перстне надпись...— Дуда замолк.

— Какую надпись? Говори скорее!— воскликнул халиф глухим, дрожащим от скрытого гнева голосом.

— Он приказал написать «Абд ар-Рахман-Франкобоец — надежда верующих»...

— И ты сделал такую надпись?

— Что мне заказывают, то я и делаю.

— Какой он был с виду? Встречал ли ты его потом? Здесь ли он, в Багдаде, или уехал в иные страны?

— Я его видел несколько раз. Жизнь моя длинная,— чего только не увидишь! В последний раз я увидел, как этот человек, уже сильно поседевший, входил в мечеть. С ним рядом шел жизнерадостный юноша, держа в руках священные книги. Я запомнил этого юношу. Он стал усердно посещать медресе. Раз как-то я его окликнул. Он подошел и сел рядом. Я угостил его свежими финиками. Мы разговорились и стали друзьями. Он даже заходил ко мне на дом и у меня ночевал. Мне понравился этот веселый, ласковый со всеми юноша, его почтение к старшим, его живой ум, любовь к старинным песням. Больше всего он увлекался не духовными книгами, а древними сказаниями и повестями о великих завоеваниях арабов.

— Где этот юноша? Я посажу около того места, где ты работаешь, особого опытного человека, который его выследит.

— Позволь дать тебе мой скромный совет. Я знаю, где он живет теперь. Окончив с похвалой и почетом медресе, он поставил свою старую палатку в кочевом племени бен-абаядов. Там он живет вместе с прабабушкой, которая ему готовит пищу и поет старинные песни. Он самый смелый из всех юношей этого кочевья. Он завернул в ковер и спрятал книги, а зарабатывает себе на пропитание укрощением и обучением своенравных лошадей и охотой на диких зверей. Иногда, приезжая в Багдад, заходит он ко мне и привозит то сыр, то финики и виноград. У меня же он ночует и слушает мои рассказы про старину. Если он узнает, что ты желаешь его видеть, то будет счастлив стереть своим лбом пыль перед твоим блистательным троном.

Халиф подумал и сказал:

— Если он действительно ученый, как ты говоришь, и душа его стремится к доблести, то я сделаю его...— тут халиф запнулся и добавил:— то я, может быть, его возвеличу.

Несколько дней спустя Дуда Праведный явился во дворец к халифу с юношей, о котором рассказывал. Халиф принял обоих в зале, где среди цветов взлетали тонкие

серебряные струйки нескольких фонтанов, распространяя прохладу.

Юноша был строен и красив. Держался скромно, но с достоинством.

На нем была обычная полосатая одежда кочевников, за поясом старинный кинжал дамасской работы.

Халиф усадил юношу перед собой на ковре, смотрел на него милостивым взглядом, но иногда в его прищуренных глазах Дуда замечал зловещие, недобрые огоньки. Халиф расспрашивал юношу о конях и о прабабушке — какого она рода, и об охоте на львов.

Абд ар-Рахман обо всем говорил просто и очень искренне:

— Я верю, что будет война и что мне удастся обнажить свой меч для защиты знамени пророка. Я бы хотел уехать в дальние страны, особенно на заход солнца, в Испанию, чтобы узнать, сохранились ли там смелые потомки наших великих завоевателей.

— Теперь нужно ехать совсем не в Испанию, а на восток и север. Там назревают великие события и готовятся невиданные еще войны,— заметил Дуда.

— Почему ты так думаешь?— спросил халиф и приказал подать душистого ширазского вина. Угощая Дуду и юношу, он внимательно выслушивал их ответы.

Дуда, почтительно поглаживая бороду, сказал:

— Люди, одетые путниками из далекой страны, говорили, что в низовьях великой реки Итиль[1] расположилась боевая ставка неведомого могучего племени неверных — татар, иначе называемых мунгалами.

— Это очень важно. Мне нужно туда отправить своего посла и верных лазутчиков.

— Если ты пошлешь Абд ар-Рахмана к татарскому хану, а я буду его сопровождать в качестве писца и лекаря, то уверен, что он сумеет вскоре заслужить там благосклонность грозного татарского владыки, а я, кроме того, сделаюсь у хана придворным лекарем. Тогда бы мы присылали твоему святейшеству через надежных людей донесения обо всем, что замышляет повелитель диких северных орд, насколько он могуч, как возможно одолеть его.

— Я подумаю над этим, а пока ты пройдешь в мой странноприимный дом для почетных путников. Там будут кормить и беречь Абд ар-Рахмана как дорогого гостя. Ему предоставят все, что он пожелает. И ты будешь вместе

---

[1] Итиль — Волга.

с ним. А великий визирь снабдит вас всем необходимым для дороги.

Дуда низко склонился перед халифом:

— Да сохранит тебя всевышний и даст тебе славу, достойную тебя и твоих великих предков!

Когда Дуда с Абд ар-Рахманом удалились, великий визирь сказал:

— Над этим юношей на небосклоне удачи поднимается его светлая звезда. Очень хорошо, что ты отсылаешь его к хану мунгалов, но еще лучше будет, если могучий Бату-хан увезет и его с собой на край света, а оттуда они оба уже не вернутся, отправившись к своим предкам.

Халиф покачал головой и заметил:

— Один аллах всевышний знает, что для нас будет наилучшим.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В НИЗОВЬЯХ ИТИЛЯ

Глава первая

«ЛЮБИМЕЦ ВЕТРОВ»

Двухмачтовый крутобокий корабль «Любимец ветров», с черными просмоленными бортами, слегка покачиваясь, плыл к северу по суровому Абескунскому морю[1]. Ветер надувал паруса, сшитые из серых и красных квадратов, напоминавшие шахматную доску. Истощенные, полуголодные гребцы с цепями на ногах неподвижно лежали на скамьях возле длинных обсохших весел.

Коренастый рулевой, надвинув синюю чалму на переносицу, налегал на рукоять руля и, щурясь, пристально всматривался далеко вперед, мимо высоко поднятого корабельного носа, вырезанного в виде головы хищной птицы.

На грани поверхности моря и туманной дали с нависшими серыми тучами протянулась тонкая полоса камышей. Там многочисленными руслами вливалась в Абескунское море великая река Итиль.

На деревянной изогнутой шее птицы на носу корабля сидел верхом арапчонок, прислушиваясь к окрикам рулевого:

— Саид, черная лягушка, ты видишь наконец устье? Нашел пролив между камышами?

— Я вижу много, много проливов!— кричал Саид.

— Ищи холм на берегу! На нем стоит каменный бог. Почему ты его не видишь, змееныш? Протри глаза!

— Нет каменного бога... Не вижу никакого каменного бога...

— Полезай на мачту, на самую верхушку! Да живей!

У борта на пальмовом ящике с пряным ароматом далекой страны сидел молодой араб в красной полосатой одежде, перетянутой цветным матерчатым поясом. Широкие синие шаровары были всунуты в грубые башмаки из желтой кожи. Ветер трепал его черные кудри и конец белоснежной чалмы, свисавший над левым ухом, как знак учености.

---

[1] Абескунское море — Каспийское.

Огромные стаи болотных птиц проносились над густыми камышами.

— Где устье Итиля?— крикнул араб.

— Великий Итиль имеет семьдесят устьев,— отвечал рулевой.— Надо найти главное из них. Пройдя в неверное устье, корабль затеряется между островами в камышах и завязнет на отмелях... Ищи, Саид, каменного бога!

Арапчонок с верхушки мачты завизжал:

— Я вижу груду камней! Там лежит на боку какой-то каменный бог!

— Старые боги умерли! Старые боги попрятались в болотах!— усмехнулся араб.— В одряхлевшей вселенной царствуют новые боги, прилетевшие вместе с грозным татарским ханом. Это они приносят удачу мунгалам.

— Весла!— зычно крикнул рулевой.— Эй, надсмотрщик, очнись! Скорей налегай на весла! Приглядись к воде, шейх Абд ар-Рахман!— продолжал рулевой, обращаясь к арабу.— Мы уже идем не по соленому морю, а по сладкой воде великого Итиля. Видишь, как плывут косяки серебристых рыб. Над ними вьются чайки... Скорей гребите. Итиль близко!

— По веслам!— очнулся обожженный солнцем угрюмый надсмотрщик в красной истрепанной чалме, дремавший на связке канатов. Он стал ловко щелкать плетью с очень длинным ремнем, стегая по голым спинам устало поднимавшихся гребцов, и застучал по доске деревянным молотком.

— Дармоеды! Отоспались при попутном ветре... Теперь живее принимайтесь за работу. Не дам обеда лентяям!

— Все равно дашь!— отозвалось несколько голосов.— Без нас не доедешь!

Весла пенили мутную зеленоватую воду, равномерно поднимаясь и опускаясь под все ускорявшийся стук молотка надсмотрщика. Гребцы напрягались изо всех сил, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад, почти падая на спину.

Клетчатые серо-красные паруса обвисли и слегка полоскались под слабыми порывами ветра.

— Хаджи-Тархан...[1] Вон там я вижу Хаджи-Тархан!— кричал с мачты арапчонок.

— Ойе, Ислам-ага, проснись!— крикнул рулевой в сторону каюты корабельщика.— Хаджи-Тархан близко!

Из каморки с узкой дверью послышалось рычанье, ругань и пронзительный женский визг.

---

[1] Хаджи-Тархан — название Астрахани. Здесь раньше находилась богатая столица хазарского царства, разгромленная князем Святославом Киевским.

— Иди прямо, Максум! Отвернись от Хаджи-Тархана!— донесся оттуда же хриплый голос.— Никого не пускай на палубу! Отгоняй лодочников! Иди вверх по Итилю.

Максум налег всем телом на длинный руль, слегка заворачивая корабль в сторону.

Небольшое селение медленно проплывало мимо,— когда-то богатая хазарская столица. У берега виднелись лачуги, прикрытые побуревшим камышом, поставленные над водой на бревенчатые сваи. Люди выбегали на помосты, выступавшие далеко в реку, кричали, размахивая цветными лоскутами. Многие садились в узкие длинные челны и торопливо гребли, направляясь к кораблю.

Матросы стояли с баграми у бортов, грозя столкнуть в воду всякого, кто вздумает взобраться на палубу.

Благообразный длиннобородый человек, по виду купец, подплыл в большой лодке с несколькими гребцами.

— Ойе, Ислам-ага! Позовите Ислам-агу!— кричал он.— Жив ли, здоров ли Ислам-ага? Я его давнишний друг и странноприимец. Уже много раз я плавал на «Любимце ветров». Скажите хозяину, что я — Абдул-Фатх из Багдада.

Молодой арабский посол подошел к резной двери и сильно постучал:

— Ислам-ага! Пусти на корабль этого человека! Я о нем слышал и должен говорить с ним.

Резная дверца распахнулась. Из нее вывалился широкоплечий толстый владелец корабля Ислам-ага, в темно-синей рубахе до колен, без пояса. Его распухшее измятое лицо с жесткой темной бородой и заплывшие глаза говорили о пьяной ночи. Корабельщик почесал веснушчатой пятерней живот, вдел босые ноги в ярко-желтые туфли с загнутыми кверху носками и подошел к борту.

Молодой араб внимательно следил за раскрытой дверью. Из темноты выступила маленькая женщина с матово-бледным лицом. Дымчато-серая одежда строгого монашеского вида, обшитая красной тесьмой, имела византийский покрой. С тонкой, чуть-чуть приоткрытой шеи спускались жемчужные нити. Спокойные темные глаза, подняв стрельчатые ресницы, на мгновенье остановились, точно с удивлением и вопросом, на молодом арабе. Красивая голова резко повернулась к морю, и маленькие уста прошептали:

— Чужая дикая страна! Камыши и болота! А дальше, бедная Дафни, тебе предстоит опять новая неволя!..

Тонкая белая рука с резным серебряным браслетом прикрыла глаза, и маленькая женщина скрылась в темной каюте.

Глава вторая

ДИКОВИННЫЕ ДЕЛА

Небольшой кочевой род старого Нурали Човдура вынырнул из голубой степи в лучах утреннего солнца. Впереди широко разлилась великая многоводная река Итиль. Бараны, рассыпавшись по береговой тропе, вяло плелись, подгоняемые полуголыми смуглыми ребятишками. Верблюды, привязанные друг к другу за хвосты и ноздри, растянулись длинным караваном. Между их горбами, на вьюках хозяйского добра и разобранных юрт, сидели темноликие изможденные старухи с грудными детьми на руках.

Женщины в малиновых полинялых и выцветших лохмотьях, раскачиваясь, свободной горделивой походкой шли по одну сторону каравана. Мужчины шагали отдельно, говорили приглушенным голосом и в волнении размахивали руками. Некоторые, согнувшись, поднимались на песчаные бугры и быстро сбегали обратно. Все были охвачены ужасом.

Знакомые места... Здесь, из года в год, весною останавливалось на тучных пастбищах родовое кочевье старого Нурали Човдура. Раньше тут постоянно проносились стада желтых сайгаков, иногда пасся табун пугливых, диких лошадей.

Весной же этого страшного года на пустынном месте, на отлогом холме, как яркий степной весенний цветок, внезапно вырос необычайный дом, блистающий золотом, с высокой узкой башенкой, разукрашенной цветными изразцами. Да еще на всех тропах и вдали и на ближних буграх стали проноситься диковинные всадники на низкорослых и взлохмаченных, точно медведи, быстрых конях.

Все потомство Нурали Човдура — и его уже длиннобородые сыновья, и его крепконогие медногрудые внуки, и малые, непоседливые правнуки, а всех насчитывалось девяносто девять мужских имен,— да хранит их милость всемогущего и всезнающего!— все из дружно спаянного рода Човдура в это светлое утро смотрели друг на друга расширенными глазами. Старшие восклицали:

— Что это такое? Шутки джиннов?.. Только в садах аллаха бывают такие золотые дворцы! Или здесь, в пустыне, выстроил для себя сказочный дворец могучий Ифрит...[1] Кто может жить в таком доме?

---

[1] Ифрит — могущественный злой демон мусульманской мифологии.

И все ждали, что скажет и что решит старейший глава рода, мудрый прадед, и нетерпеливо посматривали на него. А Нурали Човдур, в большой белой чалме, в выгоревшем на солнце шерстяном плаще, положив поперек седла посох со стертым от времени серебряным набалдашником, безмолвно ехал на старом сивом, с красными крапинками, жеребце и все еще, точно себе не доверяя, всматривался слезящимися глазами в сторону невиданного за его долгий век сказочного золотого дворца.

Наконец Човдур натянул поводья. Крики остановили весь караван. Сыновья и внуки подбежали и обступили непогрешимого вождя племени. Ветер играл его белой бородой, а хриплый голос тихо шептал полные горя слова:

— Настали новые тяжелые времена!.. Все, что видим кругом, нам не на радость! Если же такова воля всевидящего и всезнающего, то мы должны со всем усердием выйти из солончака тягостных бедствий на верную тропу спасения... Здесь же нас поджидает гибель... На наших древних пастбищах уже пасутся чужие табуны!.. Наши гордые женщины будут опозорены, стада угнаны, любимые дети, вся наша надежда, будут увезены и проданы в чужие страны!.. Скорее гоните скот в дальние степи к Большому камню [1]... Прочь от этого страшного места, от жестоких, безжалостных мунгалов! Гроза разгневанного аллаха пригнала этих диких воинов издалека, от восхода солнца, на наши исконные дедовские земли. Скорее прочь отсюда!.. А будет ли там лучше?.. Тучи сгущаются на нашем пути. О, какие времена!— И Нурали Човдур со стоном поднял к небу руку с посохом, бормотал молитвы, колотил пятками кавушей[2] бока сивого старого жеребца и со слезами просил далекого аллаха пощадить и сохранить его сыновей, внуков и правнуков.

Глава третья

МОНГОЛЬСКИЙ КАРАУЛ

Курчавый арапчонок Саид, висевший на перекладине передней мачты, с визгом соскользнул вниз и опрометью пронесся по палубе.

— Ислам-ага! Перед нами прикатившийся на колесах город и золотой дом!

---

[1] Большой камень — Южный Урал.

[2] Кавуши — грубые мужские кожаные туфли.

— Ты, видно, расшиб о камень свою пустую голову! Ты во сне увидел город! Где он? Где он?

— Мальчишка прав!— вмешался молодой матрос, стоявший у руля.— Перед нами новый татарский город, страшный подвижной город, катящийся на колесах по степи.

— Я его не вижу!— Корабельщик протер глаза широким рукавом синей рубахи.— Все вы бредите, как пьяные, попав в этот болотный туман.

— Посмотри туда, ага!— твердил арапчонок и подпрыгивал на месте.— Видишь, там, где холмы, стоит светящийся дом.

— Вижу. Это горят костры.

— Это совсем не костры! Это дом, сделанный из чистого золота. Он переливается в лучах солнца, как огонь.

— Да что ты врешь, лягушонок! Как может здесь, среди дикой степи, вырасти дом из золота?

— Это западня разбойников пустыни,— возражал матрос.— Они подстерегают паломников, едущих в святую Мекку. Здесь они их ограбят, а тела выбросят в реку.

Полуголые, прикованные к скамьям рабы, забыв о веслах, цеплялись за борт, жадно всматриваясь в даль, где золотистая постройка светилась, как огонь.

— Дом из чистого золота! — хриплыми, грубыми голосами кричали гребцы и рвались с цепей.— Если отломать кусок, то каждый из нас купит себе свободу. Пойдем ломать этот золотой дом, подаренный нам аллахом!

— Это город! Я сказал правду! Это город! — продолжал радоваться и прыгать арапчонок.— Ислам-ага! Ты обещал серебряный дирхем тому, кто первый увидит стены татарского города. Я его увидел, давай мне скорей дирхем!

— По местам, за весла! — заревел корабельщик.

Надсмотрщик хлестал длинной плетью по голым спинам гребцов. Рыча и вопя от боли, они быстро уселись по скамьям и вцепились в весла.

— Может быть, это мазар[1],— сердился корабельщик.— Это всего только одна постройка, возведенная каким-нибудь степным ханом над могилой своего предка... Это мазар, могила! Но это еще не город! Где же мечети? Где медресе? Где, наконец, бани и лавки купцов? Где дома жителей? Какой же это город! Не видать тебе, поросенок, серебряного дирхема!

— Да, это татарский город на колесах! — уверенно сказал рулевой.— Здесь новая столица страшного непобе-

---

[1] Мазар — мавзолей над могилой святого.

димого племени, пришедшего с востока на ужас всем народам. Они живут в шатрах на колесах, и их город то кочует здесь, то уходит в степь, где ищет лучших пастбищ для скота. А в этом золотом доме живет их главный каган, у которого голова величиной с большой котел. Одним взглядом раскосых глаз он останавливает и опрокидывает каждого, кто осмелится подойти к нему близко...

— Налегайте сильнее на весла! Вперед! — сердился корабельщик.— Надсмотрщик, бей их, ленивых скотов!

Гребцы, с блестящими потными плечами, старались изо всех сил. Двухмачтовый красавец корабль с крутыми бортами медленно подвигался вперед, против сильного течения многоводной реки. Матросы по обе стороны корабля длинными тонкими шестами измеряли глубину.

— Мель! Корабль царапает дно!..

— Бросай якоря! — крикнул корабельщик.

Два якоря плеснули по воде, канаты натянулись, и вода закипела у бортов. Течение реки проносило холодные валы и на них вертевшиеся соломинки и зеленые ветки.

Берег, заросший высоким камышом, был недалеко.

На равнине показались всадники в долгополых шубах и остроконечных меховых колпаках. Они повернули к реке, въехали в воду и остановились на отмели, потрясая короткими копьями, выкрикивая непонятные слова. Глубокие промоины мешали им приблизиться к кораблю. Темные безбородые лица, и молодые и старые, обожжены ветром и зноем. Коротконогие кони с толстыми шеями и длинными гривами храпели и фыркали, обнюхивая быстро проносившуюся воду.

Из толпы всадников выделился старик в желтом полосатом халате. Голову покрывал парчовый колпак с широкой лисьей опушкой. Старик въехал в воду и кричал то по-персидски, то по-арабски, то по-кипчакски[1]:

— Кто вы? Откуда прибыли? Чей это парусник? Что пригнало вас сюда? Что везете? Отвечайте! Я терджуман — переводчик — великого завоевателя вселенной.

Рулевой, повидавший разные страны, отвечал по-кипчакски:

— Это корабль почтенного купца Ислам-аги из «Железных ворот»[2]. Он везет чрезвычайного, важного посла его святейшества халифа багдадского. А вы кто такие?.. Далеко ли отсюда подножие трона великого Покорителя все-

---

[1] По-кипчакски — по-половецки.

[2] «Железные ворота» — город Дербент на западном берегу Каспийского моря. Название произошло оттого, что Дербент в качестве крепости запирал сухопутную дорогу в Иран.

ленной? Владелец корабля хочет поцеловать перед ним пыль ковра и поднести ценные дары.

Старый переводчик, погрузившись в воду до стремян, сердито кричал:

— Спускайте лодку! Переезжайте на берег! Покажите фирман с разрешением въезда на землю монгольского царства.

Другие всадники подхватили:

— Покажите, что вы привезли для воинов джихангира[1]?

Корабельщик Ислам-ага дрожащими губами вполголоса давал матросам спешные приказания:

— Прячьте в трюм все, что можно! Закрывайте люки!

Из густых береговых камышей выползла узкая просмоленная лодка. В ней сидели вооруженные татарские воины. Они уцепились за борта корабля копьями с крюками и, закинув веревочные лестницы, взобрались на палубу. Татары быстро разбежались по всему кораблю и стали переворачивать мешки, вспарывали их кривыми ножами, волокли в одну кучу шубы и прочую одежду, тюки с финиками и сушеным виноградом.

Разбуженные шумом, из трюма поднялись на палубу несколько путников. Жмурясь от ярких лучей солнца, они со страхом наблюдали за перебегавшими по кораблю неведомыми странными воинами.

Молодой арабский посол стоял близ мачты, положив ладонь на рукоять кинжала, засунутого за матерчатый широкий пояс. Он имел гордый и бесстрашный вид. Позади него стоял рыжебородый писарь, держа в руках ковровый мешок и большую священную книгу.

Два татарских воина, подойдя бесшумно сзади, попытались стащить с арабского посла кафтан. Он легко отбросил воинов и, выхватив кинжал, стал отбиваться.

На корабль взобрался по веревочной лестнице благообразный старый терджуман. Величественным жестом он приветствовал корабельщика и уверенным голосом человека, знающего, что все им сказанное непогрешимо, громко воскликнул:

— Кто хочет обидеть знатного путника, посла к великому джихангиру? Храбрые, благородные воины, оставьте в покое иноземца! Кто он? Пусть скажет свое имя.

— В этой свалке наносится оскорбление послу багдадского халифа! — закричал, вытаращив глаза, корабельщик.— Эти разбойники его грабят.

---

[1] Джихангир — покоритель мира.

— Это не разбойники! — внушительно заявил терджуман.— Это непобедимые багатуры великого татарского владыки Бату-хана.

Возле терджумана появился молодой воин в стальной кольчуге и шлеме с серебряной стрелкой, спущенной на лицо. Он властно крикнул:

— Внимание и повиновение!

— Внимание и повиновение! — хором воскликнули монгольские воины, сразу прекратили беготню, и каждый неподвижно выпрямился на том месте, где находился. Все повернулись лицом к молодому воину.

— Слушайте мой приказ, соколы храбрые и непобедимые! Подождите! — Молодой воин обратился к корабельщику, который, опустив голову и подняв плечи, подтягивал сползавшие шаровары и поводил злыми глазами.

— Кто этот безрассудный человек, осмелившийся драться с воинами великого хана?

У корабельщика раскрылся рот, и он, заикаясь, отвечал:

— Это посол багдадского халифа.

Молодой араб, ругаясь, оправлял разодранный кафтан, свирепо косился на стоявших близ него монголов. Их начальник продолжал:

— Вы знаете, багатуры, что послы правителей других стран святы и неприкосновенны. Их нельзя трогать и сдирать с них одежду. Поблагодарите чрезвычайного посла халифа багдадского и хозяина этого корабля за полученные вами от них подарки.

— Благодарим за подарки! — воскликнули монголы.

— Первый десяток останется здесь, на корабле. Остальные перевезут на берег все подарки и доставят в лагерь Бату-хана.

В это мгновенье из каюты корабельщика вывалился старый косоглазый монгол, держа в руке ковровый узорчатый мешок, вырывая его из рук маленькой бледной женщины. На ее ногах звенела серебряная цепочка. Увидя, что все другие воины стоят вытянувшись, монгол выпустил мешок и тоже выпрямился.

— Арабский посол, корабельщик и все едущие на этом корабле путники! — продолжал воин в кольчуге.— Вы, конечно, нисколько не жалуетесь на моих воинов? Они вас ничем не обидели?

— Как не жаловаться! — воскликнул корабельщик.— Ведь они ограбили все, что увидели на палубе...

— Постой! — прервал его монгол.— Помни, что храбрые непобедимые воины великого татарского владыки ни-

когда никого не грабят, а только как завоеватели вселенной берут свою законную добычу. Но так как ты оскорбил моих воинов, назвав их грабителями, то сейчас же будет суд. Здесь, на этом месте, судить буду я... А за ложное обвинение ты будешь наказан по великому закону Ясы...[1] Наказание одно и немедленное: удар палицей по темени. Может быть заменено только повешением на мачте.

— Никто не обвиняет! Аллах свидетель,— да будет его имя прославлено! — дрожащим голосом оправдывался корабельщик, облизывая пересохшие губы.— Мы все рады, если наши скромные подарки нравятся славным воинам величайшего и справедливейшего татарского владыки.

Молодой начальник спокойно смотрел на корабельщика, подождал немного и сказал:

— Я суд отменяю. Всему, что я скажу, без возражений подчиняйтесь! Все путники корабля, и корабельщик, и матросы — станьте в ряд... Кроме посла. Ты встанешь с другой стороны. Хони и Мункэ, тщательно осмотрите путников.

Старый монгол с морщинистым зверским лицом и узкими, как щелки, глазами подошел к крайнему из выстроившихся в ряд путников. Он спокойно стал отбирать полосатый матерчатый пояс, кошелек, запрятанный в поясе, с указательного пальца стащил золотое кольцо с бирюзой, кожаные ярко-желтые туфли...

Все с опаской глядели на палицу с железными шипами, висевшую на ремне, перекинутом через плечо монгола. Второй монгол, разостлав на полу длинную овчинную шубу, складывал на нее отобранные вещи.

Старый терджуман спрашивал у каждого одно и то же:

— Кто ты? Откуда едешь? Куда? Зачем? И надолго ли?

— Я купец. Родом из великого Хорезма, из города Ургенча,— говорил полуседой, богато одетый путник, в полосатом шелковом халате, розовых шароварах и голубой чалме.— Я везу шелка, драгоценные камни и гашиш, дающий блаженство всем к нему прибегающим. Что, по закону мудрой Ясы Чингиз-хана,— да будет его прах благовонен! — я должен сделать с моими товарами?

— Ты можешь свободно здесь все распродать, предварительно выделив одну пятую твоих товаров нашему справедливому джихангиру, а другую пятую часть отложив для великого кагана всех монголов. Эта часть будет отправлена в его столицу Каракорум.

---

[1] Яса — свод законов, установленных Чингиз-ханом.

Второй путник, крайне бедно одетый, в широком выцветшем плаще и в остроконечном колпаке дервиша, нараспев стал объяснять:

— Я скиталец по плоскому подносу вселенной. Меня зовут: Шейх Муслих ад-Дин. Я пишу сладостные стихи. У меня нет ни дома, ни сада, чтобы я мог платить подати. Все мое имущество со мною. Все мои богатства я черпаю из этой бронзовой чернильницы.

Монгол с палицей, обшарив дервиша, нашел у него за пазухой кошелек с несколькими серебряными монетами, оторвал подвешенную на поясе бронзовую чернильницу и, откупорив ее, выпачкал себе пальцы чернилами.

Дервиш воскликнул, подняв руки к небу:

— Если моя чернильница будет у меня отобрана, то мне придется отдать и мою печень на растерзанье воронам!

Монгол с палицей ответил сердито:

— Твоя бронзовая сокровищница понадобится нашим писарям.

Второй монгол содрал с дервиша просторный побуревший плащ, разостлал на палубе и на него стал сбрасывать отбираемые вещи.

Шейх Муслих ад-Дин опустился на колени, закрыл лицо руками и бормотал непонятные слова, раскачиваясь и завывая. Молодой монгольский начальник подошел к нему и коснулся рукой.

— Ты кто: нищий, или шаман, или звездочет? О чем ты плачешь?

— Я не нищий. Я был богаче самых могущественных владык, а теперь стал беднее и птицы и зверя. С моим плащом я бродил по вселенной тридцать лет. У зверя есть меховая шкура, у птицы есть перья, а у меня — этот плащ. Он и моя постель и моя скатерть, на которой я раскладываю хлеб и сыр, а ночью я лежу на этом плаще и им же укрываюсь. Разбей мне голову палицей, но я все-таки скажу: не может великая мудрая Яса Чингиз-хана приказывать, чтобы у нищего певца, воспевающего подвиги великих правителей народов, отбиралась его единственная чернильница и единственный старый плащ!

Монгол с палицей тем временем связал концы плаща и поднял узел. Сквозь прорехи посыпались деньги, кольца и другие мелкие отобранные у путников вещи.

Монгольский начальник сказал:

— Ты пойдешь со мной к нашему справедливому хану. Он сам решит, что делать с тобою. Хони, отдай ему обратно дырявый плащ и бронзовую чернильницу. А ты

кто такой? — Монгол указал рукой на тощего человека с рыжей растрепанной бородой, одетого в белый с черными полосами шерстяной чекмень арабского покроя.

— Это мой писарь Дуда Праведный. Он же очень искусный лекарь, мудрый звездочет и предсказатель,— объяснил арабский посол.

— Лекарь?! — воскликнул монгольский начальник.— Мне очень нужен знающий искусный лекарь. Что хранится в твоем кожаном мешке?

— Тут мои лекарства, чтобы спасать от болезни и смерти истинно верующих. А эта старая книга — «благородный свиток»[1] великого пророка, молитва над ним и привет!

Монголы нагрузили лодку отобранными вещами. Лодка отъезжала несколько раз и перевозила захваченные грузы. Вместе с монголами уплыла женщина с серебряной цепочкой на ногах, дервиш и арапчонок.

На корабле остались дозорными десять монголов. Они сели тесным кружком на корме и затянули заунывную песню.

Корабельщик Ислам-ага стоял у борта. Слезы текли по его щекам. Он вытирал их кулаком и бормотал:

— Ушла от меня колючая заноза, ядовитая сколопендра!

Арабский посол сочувственно положил руку на плечо:

— Нашел о чем горевать! На каждом базаре теперь рабынь сколько хочешь. Найдешь другую пленницу получше.

— Но не такую, как эта, самого высокого царского рода Комнинов[2]. Такой я больше никогда не найду. Я за нее не пожалел бы дать сто золотых и мешок сушеных персиков. Зачем ее у меня отобрали?!

— Да что ты в ней нашел? Маленькая, бледная, сухая, как горошина. Всегда с тобой ссорилась, царапалась и грозила убить...

— Верно! — сказал корабельщик и, нагнувшись к послу, шепнул ему на ухо: — Но она умела пробуждать глубокую страсть.

— Аллах велик! — воскликнул посол.— Это редкое достоинство!

---

[1] «Благородный свиток» — у мусульман обычное наименование Корана.

[2] Комнины — династия византийских императоров (1057—1185); в 1204—1462 гг. занимали престол Трапезундской империи.

Глава четвертая

АБД АР-РАХМАН У ГАДАЛКИ

Абд ар-Рахман выпрыгнул из лодки на берег,— на тот берег таинственной земли степных народов, куда он так давно стремился, совершив длинный трудный путь от Багдада, через Курдские горы, путь, полный ужасов и опасностей.

Теперь, в темноте, он чувствует под ногами твердую землю. Ноги спотыкаются о кочки с кустами жесткой, режущей травы,— но он ее ощущает как нового друга.

— Хасан! Где Хасан? — крикнул он в темноту, призывая матроса, обещавшего отнести его вещи до караван-сарая.

— Хасан здесь! — ответил из мрака голос матроса.— Постой, ага. Я должен еще вытащить из лодки вещи и держать их в руках, чтобы здешние злодеи не растащили их в темноте. Я нашел одного бездельника, который согласился помочь мне нести тяжелый тюк, но я должен на шею ему набросить петлю, чтобы он не убежал.

Абд ар-Рахман стоял, выжидая. Глаза привыкали к темноте. Две фигуры приближались: матрос и «бездельник», навьюченные дорожными переметными сумами, в которых хранятся драгоценные подарки халифа. Корабельщик обещал дать надежного провожатого, который укажет дорогу к арабским купцам. В темноте, в толпе бегавших и кричавших, все перепуталось.

Куда идти? Холодный ветер сурово дул в лицо, засыпал легкой пылью. Впереди, где-то далеко, мигали огоньки. Черные тени проходили мимо. Нужно быть осторожным — всюду дикие люди, готовые убить и ограбить. Как жутко и неудобно идти одному, без верного Адсума — Дуды, уведенного монгольской стражей... И Абд ар-Рахмана охватило уныние.

Не переждать ли на берегу, возле молчаливой реки, пока начнет светать,— и тогда приступить к розыскам гостеприимных земляков, арабских купцов?.. Они дадут приют, безопасный шатер, расторопных слуг и развернут на коврах расшитую цветными шелками скатерть с великолепными разнообразными яствами в честь его, посланника священного халифа.

Маленькая, точно детская, рука коснулась мускулистой, крепкой руки Абд ар-Рахмана, и нежный, певучий голос ласково и вкрадчиво прозвучал на неведомом языке. Потом тот же голос сказал по-арабски:

— Достойный путник! Если ты ищешь теплого крова в эту холодную ночь, иди за мной. Тебе, неведомому гостю, опасно проходить ночью через это становище суровых воинов различных племен. А совсем близко тебя ждет радостный приют. Там тебе уже приготовлена дружеская встреча, чистый мягкий ковер, шелковые подушки, горячий ужин и желанный после дороги отдых. Доверься мне!

Матрос проворчал:

— Кто ты? Мы тебя не знаем, дочь мрака и греха!

— Послушайся меня, путник! Я хочу тебе блага: не оставайся на берегу! А переночевать тебе будет стоить совсем недорого — три серебряных дирхема.

— Хасан, пойдем за нею! Все равно надо же куда-нибудь идти! Я решил довериться случаю.

— Я повинуюсь, ага! Да сохранит тебя аллах от девяноста девяти несчастий!

Маленькая рука настойчиво увлекала Абд ар-Рахмана вперед, в неизвестное.

— Я иду за тобой! Я дам тебе пять серебряных дирхемов в награду, если все окажется правдой. Ты приведешь за собой твое счастье.

— А ты в придачу еще получишь блаженство...— ответил бархатный вкрадчивый голос.

Они шли через бугры, между кустами. Красные огоньки то пропадали, то светились снова. Приходилось подниматься по склону холма. Дорога казалась длинной, бесконечной.

Впереди выросли черные шатры, знакомые арабские шатры из шерстяных темных тканей. Сквозь продранные отверстия мерцали отблески красных огней.

— Мы пришли! — сказала маленькая спутница и откинула полог.

В шатре посередине тлели угли небольшого костра. На нем грелся закоптелый бронзовый кумган[1].

Черные, выцветшие, задымленные ткани крыши поддерживались деревянными шестами. Привешенный на одном шесте глиняный светильник тускло озарял внутренность шатра.

Абд ар-Рахман сбросил на пестрый бархатистый ковер свои дорожные сумы, колчан и пояс с кривым мечом в серебряных ножнах. Он опустился на ковер и, подняв руки к лицу, прошептал молитву.

Молодой матрос и «бездельник» в изодранной одежде,

---

[1] Кумган — металлический чайник с длинным изогнутым носиком.

с бегающими глазами, сбросили свою ношу при входе и, вытирая рукавом пот с лица, остановились в ожидании платы.

— Нужно прибавить, ой, какой тяжелый вьюк! — простонал «бездельник».— Можно думать, что гость привез в этих мешках гвозди, а может быть и золото. Да принесет тебе аллах удачу и удвоит тяжесть вьюка!

Абд ар-Рахман посмотрел внимательно на «бездельника»: длинный крючковатый нос, круглая шапочка, полуседая всклокоченная борода.

— Как тебя зовут? — Абд ар-Рахман бросил каждому по нескольку монет.

— Как меня зовут? — «Бездельник» пожал плечами и нагнулся, подбирая деньги.— Зовут меня теперь Самуил Со-Вздохом. А когда-то я был Самуил бен-Абрам, имел в Иерушалайме свой дом с апельсиновой рощей и торговлю редкими товарами. И сам я имел сотню таких же слуг Со-Вздохами, каким теперь я стал сам. Всему виной франки-крестоносцы. Им не сидится спокойно в родной земле. И они решили тревожить мирных жителей Иерушалайма и освобождать «гроб господень». От чего освобождать? Гроб — это гроб, и, думаю, ему не нужно никакого освобождения. А бедные люди страдают и гибнут. Сперва меня захватили в плен франки, и один барон сделал меня своим поваром. Только варить и жарить было нечего, и я же должен был находить, а чаще воровать моему господину баранину и финики... А потом я попал в плен к арабам, и они меня продали так далеко, что я оказался здесь, на берегу Итиля...

— Сколько же тебе еще прибавить, почтенный Самуил бен-Абрам?

— Сколько? Для меня чем больше, тем лучше! — И Самуил Со-Вздохом развел руками.

— Я не знаю, какие тут «ходят» деньги и сколько за что платят?

— Здесь деньги ходят всякие, лишь бы это было настоящее звонкое серебро и золото... Ох, золото! Давно мне не попадался в руки золотой динар! А когда-то у меня был свой особый приказчик, чтобы менять золото на серебро и серебро на золото. Знаете, что я вам скажу?

— Что скажешь, Самуил бен-Абрам?

— Если у вас есть горсть золота, то здесь в несколько дней вы можете обратить эту горсть в три горсти золота. Тут много богатств, награбленных... ой, что я сказал! — не награбленных, а привезенных храбрыми воинами Бату-хана из других стран, которые они здорово пообчистили. Эти

воины не знают цены того, что у них в руках. Сейчас самое мудрое: скупать по дешевке все, что они привезли, и перепродавать по более дорогой цене. Где же делать хорошую торговлю, как не здесь?.. Вы увидите завтра, что тут начинает вырастать большой город, замечательный город, где много людей, где все хотят есть, а пить еще более. Ой, бедный Самуил бен-Абрам! О, если бы у тебя была свобода, а не медное кольцо в ухе и тавро хозяина, выжженное раскаленным железом на правом бедре, ты бы стал первым купцом в этой молодой монгольской столице!

— А кто твой господин?

— Не господин, а госпожа Биби-Гюндуз... Тсс!.. Она живет здесь. Ой, какая она умная! Взглянет, и каждого человека насквозь увидит и всю правду о нем скажет. Ей большие деньги платят за то, что она говорит, точно читает в «книге судеб».

— А сколько ты стоишь? Сколько надо денег, чтобы тебя выкупить из рабства?

— Денег? Моя госпожа меня не продаст. Я ей нужен. Она советуется со мной во всех делах: что купить и что продать. Она обещала, что сама меня освободит.— И он добавил шепотом: — Но разве можно верить женщине? Тсс!.. Тише! Она сюда идет.

Глава пятая

МУДРАЯ БИБИ-ГЮНДУЗ

Приоткрыв ковровую занавеску, вошла женщина в длинной красной шелковой одежде с пестрым тюрбаном на голове.

— Привет, простор и благополучие путнику после трудной дороги!

Хозяйка опустилась на колени на край камышовой циновки и ясным проницательным взглядом окидывала прибывшего гостя. Взгляд, прямой и смелый, точно говорил: «Я умнее тебя». Лицо арабского типа, с правильными чертами, озарялось улыбкой. Блестящие глаза как будто соперничали с блеском нитки изумрудов на смуглой шее и алмазных серег, вспыхивающих голубыми искрами.

— Ты, вероятно, приехал из счастливой Аравии или из далекого прославленного Багдада? Об этом говорит и твоя одежда и узоры походных ковровых мешков.

— Все разглядела, все поняла! — пробормотал Самуил Со-Вздохом.

Оставив без внимания замечание слуги, она, все так же улыбаясь, продолжала:

— Если у тебя большие заботы здесь, в этом новом городе, и ты меня послушаешься, то получишь всяческие блага. В этом военном лагере все ново, все неведомо, и я хочу, чтобы ты не совершил непоправимых ошибок. Тот, кто выжидает и медлит, выбирая наиболее правильный путь,— достигает исполнения надежды... А тому, кто торопится, не взвешивая на весах благоразумия своих поступков, выпадет на долю раскаянье... Здесь, в этом удивительном становище удивительного народа, уже имеются свои законы и свои обычаи. Их надо знать, чтобы не сделать непоправимого. Татары здесь владыки, и если ты им не понравишься, они могут тебя схватить, отобрать все твое достояние, и ты исчезнешь бесследно в холодных водах Итиля.

— Но они меня не посмеют тронуть! — воскликнул в бешенстве Абд ар-Рахман.— Я послан святейшим халифом багдадским,— да будет над ним мир!

— Я так и подумала,— сказала Биби-Гюндуз. Ее пронизывающий, впивающийся взгляд и радостная улыбка становились утомительными, и Абд ар-Рахман чувствовал себя скованным, точно под взглядом большой змеи, поднявшейся на хвосте и разглядывающей свою жертву.

— Самуил, приготовь кебаб, как обычно для более знатных! — приказала хозяйка, не пошевельнувшись, и продолжала испытующим взглядом рассматривать гостя.

Абд ар-Рахман перевел глаза на старого слугу. Тот достал связку железных вертелов и развернул на ковре кусок красной полосатой ткани, в которой хранилось мелко нарубленное мясо.

Оставаясь неподвижной, Биби-Гюндуз приказала слуге:

— Самуил, достань запечатанный кувшин со сладким ширазским вином, выжатым из белого винограда, который задерживает появление седины. А пока поспеет ужин, не пожелаешь ли ты, почтенный гость, чтобы моя рабыня Зульфия спела тебе родные песни? Я бы хотела рассеять тревоги, которые написаны на твоем лице... Не бойся ничего. Я вижу над тобой сияние больших удач...

Абд ар-Рахман вздрогнул.

— Моя девушка поет, как соловей. Не отказывайся от нее.

— Я не хочу песен!.. Если ты отличаешься проницательностью и перед тобою раздвигается завеса будущего, то лучше расскажи, что суждено мне в этом году?

Лицо Биби-Гюндуз вдруг стало строгим, улыбка исчезла, и она опустила свои блестящие, неотвязчивые глаза.

— Я не хочу говорить тебе всего, что читаю на твоем лице.— И Биби-Гюндуз подняла свой взор, ставший печальным.— Хочешь, я расскажу тебе только о светлых победах и умолчу о днях горя и позора?

— Позора?! — воскликнул Абд ар-Рахман.— Какой позор может быть на моем пути? Я никогда не допущу ничего недостойного. Говори мне все, ничто меня не устрашит. А будущее покажет, солгала ты или нет. Я хочу знать, что мне грозит, чтобы с закрытыми глазами не шагнуть в пропасть.

— Не поможет ни хитрость, ни смелость против того, что написано в «книге судеб», и от этих огненных строк ты не уйдешь. Зульфия́! — позвала она.

Девушка, приведшая Абд ар-Рахмана, завернувшись в черное покрывало с серебряными блестками, сидела, собравшись в комок, в глубине шатра. Она откинула покрывало и бесшумными, плавными движениями достала замшевый мешочек, камышовую палочку и принесла глиняную чашу с водой.

Биби-Гюндуз поставила чашу перед собой. Доставая из мешочка разноцветные камешки, всматриваясь в воду, она разбрасывала их на ковре.

Абд ар-Рахман почувствовал облегчение, не видя перед собой пристального взгляда гадалки. Он наблюдал, как она сгребала камешки и снова их разбрасывала. Низко склонившись над чашей, всматриваясь в воду, которая вдруг стала закипать, точно под ней был огонь, Биби-Гюндуз тихо зашептала:

— Я вижу битвы, много битв... Скачущих и падающих с коней всадников... Зарево пожаров... Целые города пылают и окутываются черным дымом... Он возносится до багровых облаков... Будет столько крови, что земля станет красной... Ни стрела, ни меч тебя не коснутся до черного дня... Я вижу, как молодой воин, похожий на тебя, поднимается все выше по лестнице, вырубленной в скале. Он поднимается высоко, очень высоко, до самой вершины горы, засыпанной снегом... С тобою золотой талисман, оберегающий тебя... Но тучи летят таким ураганом, что ты шатаешься, с трудом удерживаясь, чтобы не свалиться в пропасть... Я вижу башню... Да, это каменная башня... На верхней площадке стоит молодой воин... Рядом с ним женщина с золотистыми волосами... Воин любит ее, готов ей поверить,— но бойся ее, как смерти... Она хочет тебя столкнуть в пропасть... Гибель грозит тебе... Бойся женщины с золотистыми волосами!

— Ожидает ли меня смерть от этой женщины? — спросил Абд ар-Рахман дрогнувшим голосом.

— Я только предостерегаю...

— Буду ли я богат?

— Богат?.. Нет! Ты ищешь славы, а не богатства... Всю жизнь ты будешь скитаться по равнине вселенной и увидишь далекие края... Богатство потечет между твоими пальцами, как песок, но ты останешься суровым воином, завернувшись в плащ воздержания и надев броню железной воли.

Абд ар-Рахман лежал на ковре. Костер догорал. Красные угли покрылись пеплом и угасали. В шатре было темно. Сквозь разорванную ткань мерцали две бледные звезды. Сон не прилетал... Неясное волнение... Тревоги о завтрашнем дне, когда он надеется добиться свидания с ханом татарским... Предсказания, которым, он не знал, верить или не верить... Воспоминания о проделанном трудном пути, где всюду грозили опасности и приходило неожиданное спасение... Ужин с гадалкой, ее пристальный взгляд... Изящные движения Зульфии, подававшей чаши с ароматным дурманящим вином... Самуил Со-Вздохом, его всклокоченная борода, железные вертела с поджаренным кебабом... Все вспоминалось, все всплывало снова, когда сон затягивал сознание легкой дымкой...

Чуть заметное движение воздуха заставило насторожиться. Маленькая бархатная ладонь опустилась на губы и коснулась его глаз.

Он протянул руку и почувствовал очертания нежной гибкой женской спины, шелк вьющихся волос, заплетенных в две косы... Запах гвоздики... Маленький полураскрытый рот, призывающий без слов, без звука...

Кто-то прищемил большой палец правой ноги. Абд ар-Рахман быстро приходил в сознание. Тени ночных снов бесшумно улетели. В шатре слабо тлели угли костра, от него веяло теплом блаженства и уюта.

— Кто это?

— Адсум! Это я, господин! Дуда! За тобою присланы верховые кони. Меня отпустил татарский хан, узнав, что я преданный слуга посла багдадского халифа.

Воспоминания ночи обожгли Абд ар-Рахмана. Он приподнялся, осматриваясь: где же она, с ароматом гвоздики?

Слуга стоял на коленях с краю ковра, держа в руках медный таз и кувшин с резным узором.

— Почтенный ага, я принес свежую воду. Ты можешь совершить омовение и молитву.

— Кто прислал коней?

Голос за занавеской проговорил:

— Твои новые друзья. Мы ждем услышать от тебя вести о нашей далекой родине.

Абд ар-Рахман совершил моление в три раката[1], не сходя с ковра. Он был озабочен — искал глазами вчерашнюю душистую тень.

Слуга принес большое глиняное блюдо с вареным рисом, изюмом и кусками жареной курицы. Опустившись на колени, он поставил все это перед гостем, вынул из-за пазухи сложенный красный платок и положил его рядом.

— Какие будут твои приказания?

— Где...— Абд ар-Рахман запнулся и с достоинством продолжал: — ...хозяйка этого дома?

Она явилась немедленно, как всегда сияющая изумрудами, алмазными подвесками и ослепительной улыбкой.

Расправив пышные складки просторной шелковой одежды, Биби-Гюндуз опустилась на ковер. Ее голову украшал голубой, с оранжевыми полосками тюрбан, обвитый жемчужной нитью.

Абд ар-Рахман хотел задать несколько вопросов, но удержался: «Нельзя вопросами раскрывать то, что обжигает сердце». Наконец он спросил:

— Откуда кони? Кто ждет меня?

Хозяйка величественным жестом указала на стоящего у входа благообразного человека, почтительно скрестившего руки на животе.

— Вот это посланец от старшины арабских купцов. Он расскажет то, что ему поручено.

Склонившись к Абд ар-Рахману, как бы поправляя подушки, слуга Адсум Дуда шепнул:

— Не уезжай один. Возьми меня с собой. Я помогу в трудную минуту.

Абд ар-Рахман обратился к ожидавшему посланцу:

— Найдется второй конь для моего писаря?

— Есть, мой господин! И кони достойны тебя — прекрасные и горячие.

Адсум проворчал:

— Горячими я люблю только кофе и похлебку, а не диких коней. Я не безумный джигит, а факих[2], привыкший к спокойствию и книге.

---

[1] Ракат — часть мусульманского молитвенного обряда.

[2] Факих — законовед, богослов, знаток мусульманского права.

Абд ар-Рахман встал и властно приказал:

— Послушай, Дуда! Ты останешься здесь и не отойдешь от моих дорожных вещей.

— Слушаю! — ответил слуга. Сердито вытащив из своего мешка книгу в кожаном переплете и калямницу[1], он положил их на ковре близ костра. Достав шерстяной дорожный плащ, он помог своему господину прицепить к поясу кривую саблю в зеленых ножнах и засунуть за пояс два кинжала. Натянув ему на ноги зеленые сафьяновые сапоги с загнутыми кверху острыми носками и красными каблуками, Дуда почтительно, как драгоценность, подал искусно закрученный тюрбан — знак потомка великого пророка.

— Помни: не отходи от вещей. Может быть, они мне сейчас же понадобятся,— сказал Абд ар-Рахман, выходя из шатра.

Выйдя, он невольно остановился. Два рослых рабаарапа, в красных повязках на голове, крепко упираясь ногами в землю, изо всех сил старались сдержать бешено рвущегося прекрасного жеребца редкой игреневой масти. Изогнув шею, грызя удила, большой конь бил передними ногами и поджимал широкий зад с длинным черным хвостом.

Абд ар-Рахман, прищурив глаза, наблюдал за усилиями арапов.

«Они хотят испытать меня: решусь ли я справиться с этим зверем? Абд ар-Рахман не колеблется и страха не знает. Укротитель коней рад лишний раз испытать свою силу...»

Клочья пены падали на грудь коня, украшенную серебряными цепями. Жеребец казался особенно красивым на фоне восходящего алого солнца, прорезавшего розовыми лучами узкие длинные тучи, низко протянувшиеся над горизонтом.

Но не конь привлек особое внимание Абд ар-Рахмана — за ним, на груде камней, вырисовываясь стройным силуэтом, стояла девушка с кувшином на плече... «Аромат гвоздики»...

Тени ночных снов опять пролетели перед Абд ар-Рахманом... Уверенно он подошел к коню, косившему черным глазом, подобрал левой рукой повод, легко отделился от земли и оказался в арабском седле с широкими металлическими стременами.

---

[1] Калямница — пенал, обыкновенно искусно разрисованный. В нем хранились перья, вырезанные из камыша, и бронзовая чернильница.

Глава шестая

У АРАБСКИХ КУПЦОВ

Слуги ехали впереди, пробираясь тропинками между низкими хижинами с камышовыми крышами. Кругом видны были также бесчисленные юрты на телегах. Семьи монгольских воинов разводили костры возле их больших тяжелых колес без спиц, из цельного дерева. В глиняных горшках и медных котлах готовилась пища и грелась вода. На углях жарились куски мяса.

Перед небольшим домиком, окруженным чахлыми деревцами, собрались все арабские купцы. Каждый пришел к своему старшине с несколькими приказчиками и слугами. Все хотели узнать последние новости о священном Багдаде, о великом халифе и о том, что он думает о татарах и ордынском нашествии.

Перед домом была протянута дорожка из небольших ковров в честь знатного гостя. Старшина купцов, с белой повязкой вокруг высокой черной бараньей шапки, знак «хаджи́»[1], стоял впереди. Рядом два его маленьких внука держали подносы с гроздьями винограда.

Абд ар-Рахман соскочил с коня и передал поводья слугам. Старшина провел Абд ар-Рахмана вдоль стоящих в ряд низко склонившихся арабских купцов, и гость говорил каждому несколько приветственных слов. Некоторые уверяли, что знали его мальчиком, старики вспоминали отца, павшего в бою с неверными.

Старшина пригласил знатного гостя внутрь дома, куда были допущены только несколько наиболее почтенных и влиятельных купцов; там все расположились полукругом на пушистых коврах, а слуги подсунули под локоть каждому цветную шелковую или ковровую подушку.

— Нам нужно знать, какого пути держаться,— шепотом, боязливо говорили старики.— Оставаться ли здесь и разворачивать торговлю, или уезжать обратно? Мы еще не знаем монголов и еще не верим Бату-хану. Он обещает нам свободную торговлю, но пока что любой монгольский начальник может безнаказанно забрать у нас все, что захочет. Если здесь установится порядок и спокойствие, то мы сумеем развернуть в десять раз большую торговлю. Только бы установился прочный порядок!..

— Что ты обо всем этом думаешь, достойный гость наш Абд ар-Рахман? Что сказал халиф багдадский,— да будет

---

[1] Хаджи — звание паломника, побывавшего в Мекке, религиозном центре ислама.

над ним мир?! Оставаться ли нам здесь, или, распродав все свои товары за бесценок, скорее подыскивать другие города, более подходящие и спокойные?

Подумав, Абд ар-Рахман ответил:

— Мой повелитель многого не говорит, но то, что он сказал, значительно. Он хочет, чтобы арабское имя всюду пользовалось почетом, как это было пятьсот лет назад. Он хочет, чтобы арабский меч разил врагов, прославляя знамя пророка, а смелые арабские купцы прославляли честность и верность своему слову и добротность своих товаров на всех землях и морях.

Купцы с большой осторожностью и оговорками вполголоса объяснили, что, по их мнению, Бату-хан очень удачно избрал место для своей будущей столицы на скрещении великих торговых путей: из Хорезма, Индии и Китая в Византию и «вечерние франкские страны», а также в другом направлении между Ираном, Аравией и далекой Индией — вверх по Итилю... Таким образом, Бату-хан хочет сделать свою столицу центром вселенной, и она станет одной из первых столиц мира. Но сюда будут приплывать корабли и придут верблюжьи караваны только в том случае, если окрепнет уверенность в порядке и полной безопасности для купцов и их товаров в этом городе.

Абд ар-Рахман спросил:

— Почтенные седобородые сыны моей далекой родины! Вы видели разные страны — и на восход солнца, и к его закату. Скажите мне ваши тайные думы: смогут ли татары завоевать «вечерние страны», разбить войска франков, румийцев и других народов, войска могучие, закованные в железные латы?

Старшина ответил:

— Татарам помогают: слепая покорность их воинов своим начальникам, их смелость в бою, но более всего — ужас, ими внушаемый мирным народам. Если народы «вечерних стран» не будут достаточно единодушными и попрежнему среди них будут царить разногласие и взаимная ненависть, то многотысячная дикая татарская орда свободно пронесется по цветущим «вечерним странам», как беспощадный смерч, и повсюду законом станет Яса Чингизхана.

— А кто такой Бату-хан? Мудрый ли он правитель, каким был его дед, и такой ли он смелый и счастливый полководец, каким был великий завоеватель Ирана Искендер Двурогий? — спросил Абд ар-Рахман.

Старшина арабских купцов ответил:

— Бату-хану, несомненно, покровительствуют пери и джинны[1]. Все, за что он берется, встречает удачу... Потому ли, что здесь мы видим только чудо, или же ему помогают в делах его воля, смелость и проницательный ум,— кто на это сможет ответить, какой мудрец?

— А каковы его соратники? Человек становится великим, когда он сумеет окружить себя преданными, способными людьми, настойчиво проводящими в жизнь его волю.

Старшина сказал:

— Конечно, Бату-хану помогают его соратники, но ведь их он сам же и выбрал. Войско слушается его беспрекословно, потому что оно ему верит и прозвало его «Саин-хан» — доблестный, щедрый, великодушный. Поэтому я думаю, что если Бату-хан пойдет на запад, на «вечерние страны», и не дрогнет, не поколеблется, то он разобьет и покорит все встречные народы и власть его разольется по всем землям до «последнего моря».

Абд ар-Рахман снова задал вопрос:

— Я должен сопровождать его в походе. Следует ли мне это делать?

— Следует! Следует! — воскликнули все присутствовавшие.— Так ты поможешь и нам распространить арабскую торговлю по всему пути, проложенному Бату-ханом. Не забудь нас!

Купцы показали широкую щедрость и радушие в угощении, приготовленном для высокого гостя. На ковре было расставлено столько блюд с разнообразными изысканными кушаньями, что ими можно было накормить десяток послов со всеми их слугами.

Соблюдая арабские обычаи, Абд ар-Рахман ел мало, но попробовал от каждого блюда, благодаря и все расхваливая.

— Прости наши нескромные вопросы,— сказал старшина.— Но, только желая помочь тебе дружеским советом, мы бы хотели знать, какие подарки ты привез татарскому хану?

Абд ар-Рахман рассказал, что он передаст золотой перстень с редким камнем и надписью мудрого Сулеймана, меч дамасской гравированной стали, золотой кубок с талисманом, предохраняющим от отравы, и другие ценные подарки.

— Позволь мне дать тебе один полезный совет,— сказал старшина.— Ты знаешь, что арабы, кроме дамасских клинков, особенно славятся прекрасными благородными конями...

---

[1] Пери — добрые, джинны — злые духи в восточных верованиях.

— Но где же я могу взять коня? Отправляя меня послом, святейший халиф мне его с собою не дал.

— Мы хотим помочь тебе. Ты поедешь на прием к Бату-хану на том самом чистокровном арабском коне, на котором приехал сюда к нам и с которым ты так умело справился. Не всякий может сесть на такого горячего жеребца. А тебе следует с честью подъехать к шатру Бату-хана. Все простые смертные должны приближаться к этому священному шатру пешком. Ты же объяснишь страже, что должен предстать перед светлые очи Саин-хана на коне, присланном халифом багдадским ему в подарок в знак дружбы. Если же хан татарский разгневается, то, увидев чудесного красавца коня, он тебя простит и полюбит.

Другие купцы добавили:

— Прими еще от нас куски разноцветного шелка для его жен, «украшений вселенной», и ожерелье из двадцати семи драгоценных жемчужин для его любимой молодой жены Юлдуз-Хатун.

Абд ар-Рахман ответил:

— Я не имею слов, сил и уменья, чтобы отблагодарить вас, почтенные соотечественники. Среди вас я самый младший, а вы меня возносите, как старшего. Конечно, это сделано вами не в силу моих заслуг, а как знак вашего почтения багдадскому халифу,— да возвеличится могущество его и да будет над ним мир!

Старшина купцов сказал, что сам позаботится о том, чтобы Абд ар-Рахман был принят татарским ханом, и предложил остановиться в его доме, пока не настанет торжественный день приема.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В СТАВКЕ БАТУ-ХАНА

Глава первая

«ЗОЛОТОЙ ДОМИК»

Тумен[1] «синих непобедимых» примчался к берегам великой реки Итиль близ ее впадения в Абескунское море и рассыпался по равнине, пустив разгоряченных коней щипать сухие метелки серебристого ковыля.

Первая сотня личной охраны джихангира на молочно-белых конях, переплыв глубокий рукав, разбила свою стоянку на узком длинном островке. В верхнем, северном конце его, на каменистом бугре, переливался радостными яркими красками странного, необычного вида небольшой домик-игрушка с легкой кружевной башенкой, весь выложенный цветными изразцами. Каждая плитка имела рисунок затейливого цветка с завитками и узорной каймой, и в каждом цветке был вплавлен тонкий лепесток червонного золота. В ярких лучах утреннего солнца весь домик сверкал и светился, точно сделанный из раскаленных углей.

Этот дом-игрушка, по приказу молодого владыки Бату-хана, был выстроен на развалинах некогда бывшего здесь древнего города в кратчайший срок замечательным китайским мастером, строителем и изобретателем, Ли Тун-по, вывезенным из Китая еще Потрясателем Вселенной Чингиз-ханом. Сюда же сделали огромный путь китайские мастера рабы,— из трех тысяч мастеров до Итиля добрела только небольшая часть.

Ли Тун-по стоял у входа в сказочный домик, большой, толстый, в просторной черной шелковой одежде до пят, с маленькой шапочкой на затылке, с которой длинное павлинье перо ниспадало на его широкую пухлую спину. Безбородое одутловатое лицо Ли Тун-по, всегда невозмутимо спокойное, седые усы, свисавшие по краям рта, и заплывшие узкие глазки, казалось, говорили о каком-то странном несоответствии между философски-созерцательным настроением китайского строителя и сверкающим красотою, жизнью и фантастической сказкой капризным созданием великого мечтателя.

---

[1] Тумен — отряд в десять тысяч воинов.

Ли Тун-по застыл близ входа, выложенного плитками разноцветного рисунка. Сложив руки на толстом животе, строитель равнодушно посматривал на шумную, озлобленную, ревущую толпу рабов, двумя тесными рядами стоявших вдоль дороги.

К китайцу подошел молодой татарский воин. Серебряный пояс стягивал его тонкий стан. На поясе висела кривая сабля в зеленых ножнах. Рукоять, украшенная бирюзой и алмазами, говорила о ханском благоволении. Он приблизился стремительной бесшумной походкой: что-то гибкое, кошачье чувствовалось во всех его движениях.

— Тысячу лет тебе еще жить, мудрый, искусный Ли Тун-по!

Улыбка освещала загорелое юное лицо.

Ли Тун-по с трудом поклонился, коснувшись концами пальцев каменной плиты.

— Тебе тоже желаю прожить тысячу лет, достойный тайджи[1] Мусук, и со славой умереть на поле битвы! «Ослепительный», кажется, уж близко?

— Еще до захода солнца он будет здесь! — сказал воин.— Ты, вероятно, теперь уже спокоен и счастлив, мудрый Ли Тун-по?

— Я был счастлив, пока выполнял приказание великого джихангира,— грустно покачивая головой, простонал китаец.— Но чему я могу радоваться теперь? Счастливые дни труда над созданием моей мечты — чудесного дворца — прошли... А впереди — утомительный, залитый кровью поход. Мне опять прикажут сооружать камнеметы... приносить людям ужас и смерть... А ты покинешь меня?

— Джихангир отправит меня вперед,— ответил Мусук,— с отрядом самых смелых разведчиков. Да и я сам буду просить об этом. Джихангир не любит встречать меня в своей ставке.

— Он в тебе ценит бесстрашного находчивого нукера, поэтому и не держит в своей свите веселых рассказчиков, годных только для вечерних пиров.

Тайджи Мусук нахмурился и махнул безнадежно рукой.

— Может быть, не потому!.. Но больно говорить об этом! Вспомним лучше, как мы с тобой старались изо всех сил, чтобы выполнить в срок повеление джихангира. Оценит ли он наши труды?..

Оба стали вспоминать время, проведенное на постройке «золотого домика». Ли Тун-по приказание выполнил: маленький чудесный походный дворец джихангира вчерне был

---

[1] Тайджи — титул монгольских царевичей.

уже выстроен в девять месяцев — счастливое предзнаменование! Девять месяцев ушли на устройство гончарной мастерской, обжиг разноцветных изразцов с глазурью, поливной посуды, глиняных труб для водопровода, китайских узких печей «канов», проходящих из комнаты в комнату... А сколько времени ушло на поиски нужных сметливых рабочих! Много пленных, забитых плетьми, сложили свои кости вокруг сказочного домика. Их изможденные тела сбрасывались в великую реку. Она смывает всякое горе! И тела погибших, качаясь на волнах, сопровождаемые стаями крикливых чаек, были унесены рекой в бурное Абескунское море.

Теперь искусный строитель Ли Тун-по, возможно, получит высшую награду из рук самого джихангира — право вернуться на родину!.. Конечно, благодарность получат и другие. Вот уже выстроились в ряд свирепые надсмотрщики рабов с треххвостыми плетьми на перевязи. Им немало пришлось потратить сил, чтобы заставить стонущих и ругающихся рабочих трудиться без отдыха над постройкой дворца и днем и ночью, при свете костров. Надсмотрщики уже получили подарки... Джихангир щедр, он, конечно, наградит и рабочих. Чтобы не оскорбить светлого взора джихангира своим грязным, жалким видом, на рабочих надели халаты всех цветов и размеров. Эти халаты были привезены из складов военной добычи, принадлежащей джихангиру. Рабочие кутались в розовые, желтые, красные, полосатые халаты, из-под которых виднелись босые грязные ноги и концы рваных шаровар...

Где же, однако, Бату-хан? Его все нет. Уже вдали проехали запыленные сотни из тысячи телохранителей Бату-хана: одни на рыжих конях, другие на красно-пегих, третьи на темно-гнедых, и все они скрылись среди холмов.

Наконец прискакал монгольский всадник на взмыленном коне и, задыхаясь, крикнул:

— Хан тяжело болен! Разжигайте огни! Пусть всюду горят костры! Пусть молятся и поют шаманы! Джихангира надо согреть — он уже остывает!..

Глава вторая

БАТУ-ХАН ГОВОРИТ...

Из степи приближался длинный караван верблюдов, охраняемый всадниками. Выделялось несколько особенно высоких верблюдов, желтых, с цветными яркими паланкинами,— под их занавесками притаились «драгоценные жем-

чужины»: семь главных жен Бату-хана. Они кричали, требуя к себе хитрого упрямого строителя золотого дворца, китайца Ли Тун-по.

Он тотчас же переехал в лодке через проток. Опускался на колени перед каждым верблюдом с паланкином. Оттуда слышались крики:

— Мы приехали, чтобы поселиться в новом дворце! Кто смеет нас задерживать? Почему нас не перевозят на остров? Мы сами войдем в лодку и будем грести веслами и, может быть, утонем, если нас не перевезут!

Ли Тун-по на коленях клялся, что, под угрозой отсечения головы, получил самое строгое приказание Бату-хана: до его приезда и личного осмотра никого не пускать внутрь золотого дворца, особенно плачущих женщин! Кроме рабочих, никто и не видел внутреннего убранства чудесного домика и не увидит, пока джихангир не объявит своего решения относительно новой постройки.

Одна из жен, откинув занавеску, кричала, пытаясь сползти с верблюда:

— Если джихангир сейчас тяжело болен, то ни говорить, ни приказывать никто не может. Поэтому его заменяет старшая жена — это я! Теперь я повелеваю! И горе тому, кто меня ослушается! Молчи и не спорь, толстая черепаха, дерзкий китаец, червяк, мокрица!

Военная охрана окружила бушующих жен. Всадники погнали плетьми верблюдов, и караван удалился обратно в степь, под звон бубенцов и крики погонщиков.

Приближался новый караван. Впереди двигалась охранная сотня на буланых конях, ставших бурыми от пота и насевшей пыли. Высокие тагутские верблюды тащили вьюки и разобранные шатры. Несколько жеребцов редкой красоты в тройных серебряных ошейниках и с серебряными цепями вместо поводьев плясали, сдерживаемые опытными конюхами. Впереди коней выделялся пятнистый, как барс, любимый конь Бату-хана.

Между двумя верблюдами была подвешена на длинных бамбуковых жердях узкая корзина... В ней лежало неподвижное тело татарского владыки, закутанного в собольи одеяла. Когда верблюды добрались до высокого берега, послышались возгласы:

— Вот она, великая река Итиль!

Тогда Бату-хан, сбросив одеяло, с юношеской ловкостью вскочил и поставил колено на спину верблюда. Он жадно всматривался в туманную даль и долго глядел на блиставший нарядными красками сказочный домик на

острове. На кружевной башенке дворца развевалось девятихвостое знамя джихангира.

— Коня мне! — закричал Бату-хан.

Всех поразил желтый цвет его лица, блуждающие, как у безумного, беспокойные глаза. Два нукера подвели пятнистого коня.

Бату-хан тяжело поднялся в седло. Он указал на величественную, залитую солнцем равнину, прорезанную синей гладью медленно текущей реки, по которой плыл двухмачтовый корабль с раздутыми клетчатыми алыми парусами. Он говорил прерывающимся от волнения и приступа болезни голосом:

— Здесь будет стоять главный из моих походных дворцов и здесь будет новая столица всех покоренных мною народов. Здесь вырастет до небес новое великое мое царство...

Силы оставили его. Бату-хан зашатался и упал на шею коня, вцепившись в его гриву.

Тургауды[1] подхватили Бату-хана, бережно сняли с седла и положили на расшитую богатым узором конскую попону.

Забегали нукеры и слуги, привели навьюченных походной кладью верблюдов и быстро над лежащим больным полководцем воздвигли золотистый шелковый шатер.

Глава третья

КРЫЛО СМЕРТИ

Бату-хан, с пожелтевшим, как померанец, лицом, вытянулся на ковре, закусив оскаленными зубами синий рукав собольей шубы. Один глаз закрылся, другой, болезненно прищуренный, неподвижно уставился в прорезь шатра, в которой виднелись далекие мигающие огни степных костров.

В ногах Бату-хана, сжавшись и подобрав колени, сидела младшая жена его, Юлдуз-Хатун, закутанная в черное с золотой каймой индийское шелковое покрывало. Иногда из складок протягивалась узкая белая рука с золотыми браслетами и осторожно касалась смуглой загорелой головы Бату-хана с давно не бритым щетинистым теменем и черными косами на висках. Лицо Бату-хана, суровое, с ястребиным носом, оставалось бесчувственным, точно мысли больного улетели так далеко, что ничто земное не могло больше его тревожить.

Едва слышно было, как за дверным ковровым пологом тихим шепотом разговаривали сторожевые нукеры:

---

[1] Тургауды — охранные стражники ханской ставки.

— Сорок дней его тело борется с вестником смерти. Сорок первый день будет днем милосердия или жертвы...

— Не подумать ли о заместителе?

— Остерегайся говорить такие слова! И стены имеют уши, земля повторяет сказанное... Говори всем: «Ему, могучему и единственному, достойного заместителя быть не может...»

Послышался конский топот... Только очень высокий гость, хан из ханов, осмелится на коне подъехать к шатру повелителя грозного татарского войска. Конь остановился, бряцая удилами.

Старый нукер откинул дверной полог. Большой грузный монгол, высоко подняв ногу, переступил порог. Он бесшумно, на коленях подполз к лежащему. Долго и пристально всматривался в безжизненное лицо.

Юлдуз-Хатун, натянув на голову покрывало, пала ниц перед гостем и поцеловала землю между руками. Она выпрямилась, откинула за спину покрывало и подбросила пучок можжевеловых веток на потухавшие угли маленького костра посреди юрты. Вспышки огня озарили все красноватым светом.

— Привет тебе, Юлдуз-Хатун! Что случилось с моим младшим братом? Я боюсь... Он, кажется, теряет последние силы... Почему у него желтое лицо? Какие злые духи терзают его тело?

— Ты нам привез надежду, пресветлый хан Орду[1]. Если сейчас не помочь джихангиру — завтра будет поздно.

Хан Орду, ворча и сопя, направился к выходу, постоял в раздумье. Вернулся и снова сел около больного, заглядывая ему в лицо.

— Что делать? Говори. Кого призвать? Что принести в жертву подземным богам: по девять черных быков, коней и баранов? Или по девяносто девяти?

— Это все уже сделано...

— Что же придумать? Я сам сяду на коня и помчусь. Но куда, зачем?..

Юлдуз смотрела глазами, полными слез.

— Надо призвать опытного, знающего лекаря. Надо поднять тревогу во всем войске...— дрожащим, хриплым голосом говорил хан Орду.— Пусть мудрый строитель Ли Тун-по даст свои китайские лекарства: толченый жемчуг, сердце летучей мыши, сушеных морских червей...

---

[1] Хан Орду — старший брат Бату-хана; пользовался у него особым почетом и любовью. Орду добровольно уступил Батыю управление Золотой Ордой, однако в ярлыках (указах) великого кагана имя Орду ставилось впереди имени Бату.

— Великий хан! И это все уже делалось. Мудрый Ли Тун-по уже сидел здесь, испробовал все свои лекарства, но ничто не помогло. Ли Тун-по, извиваясь от страха, убежал в степь, и теперь его разыскивают. Он сказал, что разобьет себе голову о камни от горя... Он не знает, как можно помочь джихангиру...

Орду неистовствовал: сорвал шапку и отбросил ее, колотил кулаками по коленям, бил себя ладонями по щекам:

— Что делать? Завтра будет поздно! Моего любимого брата не станет! Кто же начнет великий поход на «вечерние страны»? Никто, кроме него, не удержит в руках золотые поводья могучего войска! Что делать?

Юлдуз-Хатун откинула покрывало, соединила ладони и прошептала:

— Еще есть одно, последнее средство: я его испробую.

Хан Орду затих и недоверчиво следил за маленькой подругой умирающего брата.

Она протянула вперед руки, подняла ясные блестящие глаза и певучим голосом, полным мольбы, произнесла:

— Старый праведный Хызр![1] Пожалей нас, беспомощных, щенков слепых, не знающих, что делать!

Точно отозвавшись на призыв, откуда-то послышался голос:

— Да... Это я! Пропустите!

Орду резко повернулся и уставился в изумлении на дверной ковровый полог. Вошел, низко склонившись, нукер. Он держал в руке меховой колпак, на шее висел пояс — знак того, что нукер сейчас молился.

— Сотник Арапша привел неведомых людей. Говорит, что они нужны тебе, великий хан Орду.

— Пусть войдут!

Бату-хан заскрипел зубами и пошевелился, прошептав:

— Холодно...

Юлдуз-Хатун прикрыла больного двумя шубами.

Неведомые люди вошли и опустились на колени близ входа. Мрачный, очень истощенный человек, с растрепанной рыжей бородой, с длинным крючковатым носом, смотрел сверкающими темными глазами из-под нахмуренных бровей. Костлявой рукой он прижимал к груди кожаную старую сумку. Рядом стояла на коленях молодая женщина в длинной светло-серой одежде странного покроя. На бледном, прозрачном, как воск, лице горели тревожным бле-

[1] Хызр — по мусульманским поверьям, бродящий по дорогам праведник, всегда являющийся на помощь, если к нему мысленно обратятся с молитвой.

ском зеленоватые глаза. Третий был мальчик-арапчонок в полосатой рубашке. С веселым любопытством он вертел курчавой головой, стараясь все рассмотреть.

Приведший их сотник Арапша ждал, преклонив левое колено.

— Объясни, что это за люди? — приказал хан Орду.

— Внимание и повиновение! — сказал, приглушая голос, Арапша.— Сюда приплыл двухмачтовый парусник, полный ценных купеческих товаров. На нем я позволил воинам сторожевого поста немного подкормиться,— они давно уже голодали,— и я оставил на корабле охрану, а этих людей приволок сюда. Эти двое — знахари. Краснобородый — арабский кятиб (писарь), ученый лекарь, резчик печатей-талисманов и звездочет. Он слуга молодого арабского шейха, который приехал, по его словам, как посол от святого и великого халифа багдадского...

— А эта желтая, как собачья кость, женщина?

— Она клянется, что родом из великого Рума[1], что она царского рода, излечивает самые трудные болезни, а терджуман еще слышал от владельца корабля, что эта румийка делает стариков молодыми.

— А арапчонок тоже знахарь?

— Я притащил его на всякий случай, по просьбе нашего великого шамана Беки. Он сказал, что если другие лекарства не помогут, то надо вытопить жир из чернокожего мальчика и этим жиром растереть больного.

Арапчонок, догадываясь, что речь идет о нем, стал жалобно всхлипывать. Рыжий лекарь вмешался:

— Не говори при ребенке того, что должны знать только обросшие бородой.

Хан Орду медленно и величественно повернулся к женщине. Он встретил ее смелый и уверенный взгляд.

— Кто ты?

— Я греческая царевна Дафни из Рума. Говори со мною почтительно: я из древнего рода царей Комнинов...

— Садись ближе к огню, румийская царевна.

Подобрав длинное платье, Дафни грациозными движениями приблизилась к огню и опустилась на колени. Ее маленькие ноги, обутые в красные башмачки, были скованы тонкой серебряной цепочкой.

— Как же ты, румийская царевна, попала к нам сюда, в дикую степь? Где твои служанки, где евнухи и рабы и где военная охрана?

---

[1] Рум — в то время на Востоке так назывались Византия и Малая Азия.

— Я ехала на корабле из Рума со свитой и охраной. Мой жених, грузинский царевич, должен был меня встретить, чтобы отвезти в свое царство. Буря разбила корабль, но святая матерь божья сохранила меня. Я спаслась, ухватившись за сломанную мачту, и была выброшена на берег волнами. Там меня захватили дикие, как звери, курды и увезли к себе. Но мои хозяева не захотели меня держать, потому что я, как царевна, не желала исполнять черной работы. Я кусалась и не боялась плетей. Курды привезли меня в город Казвин, вблизи берега Абескунского моря. Оттуда я бежала на корабле вместе с арабским послом Абд ар-Рахманом, который тоже приехал сюда, в твою ханскую ставку.

— Что же ты знаешь?

— Я понимаю книги мудрецов, в которых скрыто тайное. Мне известно учение Гиппократа[1] о болезнях человека и о способах их лечения...

Хан Орду передвинул на затылок меховой треух и приложил широкую ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Но он не знал, как поступить. Можно ли довериться румийской царевне?.. Он взглянул на нее и снова встретил острый взгляд зеленых неморгающих глаз.

— Дзе-дзе! Чего бы ты хотела?

— Я устала от человеческой грубости. Я требую, чтобы со мной обращались достойно, как с царевной. Тогда я согласна остаться здесь, при дворе великого татарского полководца. Я буду лечить страдающих, залечивать раны... Но я могу сделать еще большее: я умею раскрывать прошлое и приподнимать завесу будущего.

— Это нам очень, очень нужно! — одобрительно кивал головой Орду. Он обратился к Арапше: — Эта полезная женщина останется здесь.— И, подумав, добавил: — Она будет жить около моего шатра.

Больной шевельнулся. Послышался стон.

Орду ткнул пальцем в сторону рыжебородого арабского лекаря:

— Можешь ли ты вылечить больного?

— Я не излечивал до сих пор только покойников.

— Если вылечишь, получишь большую награду, а если больной умрет — посажу на кол и сожгу на костре. Лечи! Начинай!

Осторожными движениями рыжий знахарь подполз к неподвижному Бату-хану. Юлдуз-Хатун встрепенулась,

---

[1] Гиппократ — древнегреческий врач (460—377 гг. до н. э.), «отец медицины»; оставил много сочинений.

готовая своей грудью охранять больного. Хан Орду вытащил из ножен тонкий блестящий кинжал и тоже приблизился.

Арабский знахарь коснулся рукой щетинистого смуглого темени Бату-хана. Он взял его исхудавшую руку — она была беспомощна, эта мускулистая рука, недавно натягивавшая могучие поводья всего татарского войска.

Знахарь покачал головой, приблизил ухо к оскаленным зубам больного, послушал биение сердца и резко отшатнулся. Снова прислушался, сделался мрачным и стал дрожать.

— Я боюсь! — прошептал он.

— Не смей отказываться! Лечи! — прохрипел, отдуваясь, Орду и ткнул в плечо знахаря острием кинжала.

— Я боюсь, что уже... Я боюсь... У меня нет с собой нужного целебного зелья мудреца Сулеймана, сына Дауда,— да будет над ними мир!

Дафни воскликнула:

— А византийская царевна Дафни лечить не боится! Я знаю эту страшную болезнь, когда лицо больного покрывается золотисто-желтым налетом. Это — «золотая лихорадка».

— Он не мудрый табиб[1], а трусливый червяк! — пробормотал, отдувая губы, хан Орду.— Ты, румийская царевна, приступай к лечению. Но помни: если джихангир умрет, то его погребальный костер будет полит твоей кровью. Если же мой младший брат встанет, то ты получишь девяносто девять подарков и косяк отборных кобылиц.

— И свободу?

Орду на мгновенье задумался и добавил:

— Клянусь девять раз вечным синим небом, ты получишь также свободу.

Загадочная улыбка скользнула по бледному лицу гречанки. Дафни легко поднялась, притянула к себе ковровый мешок и достала из него серебряную коробочку. Из нее она вынула девять темных шариков, зажала в ладони и, приблизившись к больному, опустилась перед ним на колени. Нежными, тонкими пальцами она отодвинула черную жесткую косу Бату-хана и слегка прикоснулась к неподвижным векам закрытых глаз... Затем резко повернулась к хану Орду:

— Теперь надо лечить быстро! Смерть надвигается! Пусть этот краснобородый знахарь тоже мне помогает.

Рыжий лекарь замахал руками:

---

[1] Табиб — врач, лекарь.

— Невозможно! Ты взялась лечить, ну, сама и лечи! — Он поднял глаза кверху и стал бормотать заклинания на непонятном языке.

Орду, подняв руку с кинжалом, другой дернул знахаря за рыжую бороду и грозно закричал:

— Помогай, рыжая лисица!

Лекарь замолк и быстро подполз к гречанке. Он внимательно стал рассматривать темные шарики, лежавшие на узкой ладони.

— Что это?

— Будто бы ты не знаешь? — певучим голосом усмехнулась Дафни.

— С виду мускатные орехи... Но на каждом нарисован глаз мудреца Сулеймана. Он один знал скрытое.

— Ты сказал истину. Теперь ты будешь исполнять мои приказания. Поджарь в бронзовой чашке эти орешки. Истолки и разотри их в порошок. Разведи в чашке воды. Дай больному отпить три раза: сейчас, после полудня и под вечер. Мне, как дочери царского рода, не подобает заниматься простой работой, какую исполняют такие рабские лекари, как ты. Но я буду сидеть около больного, неотступно следить и ждать. Скоро великий джихангир будет здоров и силен, скоро сядет на боевого коня.

Дафни, подобрав под себя ноги, опустилась рядом с Юлдуз-Хатун, сложила руки на коленях и скромно опустила глаза.

Лекарь принялся за работу. В бронзовой чашке, на углях костра, затрещали девять орешков. Затем они были растерты в маленькой медной ступке. Высыпаны в чашку с водой. Костяная ложечка долго размешивала лекарство.

— Это зелье ты сама попробуешь, первая! — свирепо прохрипел хан Орду.

— Но и ты попробуешь тоже, со мной вместе! — воркующим голосом пропела Дафни.

Лекарь дал отпить из чашки гречанке. Потом, сопя, отпил хан Орду. Причмокивая, он сказал:

— Очень горько!

Лекарь нагнулся к лежавшему неподвижно Бату-хану. Повернул его беспомощную голову с закатившимися полузакрытыми глазами. Долго бился он, пока удалось раздвинуть крепко сжатые зубы, а Дафни влила в рот лекарство, растекавшееся по щеке.

Все ждали, впиваясь взглядами в суровое лицо Бату-хана.

Дафни уверенно сказала:

— Теперь он будет спать. Блуждавшая в заоблачном мире душа джихангира вернется в свое тело...

Гречанка метнула загадочный, чарующий взгляд зеленых глаз на хана Орду и, вздохнув, снова их опустила.

Орду завозился, оправляя пояс, и вложил в ножны блестящий кинжал.

Снаружи донеслись женские причитания и плач.

— Эй-вах! Беда! Какая великая беда! — простонал Орду, схватившись за голову.— Это идут «украшения вселенной», прекрасные жены джихангира!.. Они своими жалобами и плачем снова погубят моего брата!..

Глава четвертая

«УКРАШЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ»

В шатер вошли три молодые женщины в пышных цветных шелковых одеждах, в златотканых шапочках, каждая из которых была украшена длинным драгоценным пером белой цапли. Они наполнили шатер громкими стонами, жалобным всхлипыванием и причитали, стараясь перекричать друг друга:

— Наш обожаемый повелитель умирает! Мы останемся сиротами! Кто станет о нас заботиться!.. Не покидай нас!

— Молчать! — заревел свирепо Орду.— Или сидите тихо, или я вас прикажу завернуть в ковры и отправить к вашим родителям.

Три жены затихли и, переглядываясь, уселись в сторону, изредка всхлипывая. Все молчали. Арапчонок, обняв колени руками, уже спал. Царевна Дафни, грациозно облокотившись на свой ковровый мешок, как будто дремала. Изредка она приоткрывала один глаз и наблюдала, что происходит в шатре. Хан Орду лег на бок и захрапел. За ним, с тонким присвистом, захрапел арабский лекарь. Нукер у входа дремал стоя, опираясь на копье.

Тогда три жены стали подползать к Юлдуз-Хатун. Слышались их голоса:

— Ты думаешь, что ты, Юлдуз-Хатун (госпожа)? Ты тварь подлого происхождения навсегда останешься Юлдуз-каракыз (черная девка)!

— Разве мы не знаем, что ты выделываешь тайком?

— Ты всегда делаешь подлости!

— Ты обманываешь нашего доблестного повелителя с обласканным и возвеличенным простым нукером, по имени Мусук...

— Он так же подл и коварен, как кошка (мусук). Он не знает благодарности и преданности!

— Джихангир болен потому, что ты его отравила!

Юлдуз-Хатун, точно защищаясь от ударов, плотнее закуталась с головой в черное покрывало и молчала.

— Ты давно околдовала джихангира, ты опасная змея!

— Уходи отсюда, пока мы тебя не задушили! Это наша забота, старших жен, находиться около повелителя.

— Мы его вылечим нашими молитвами, мы ему откроем правду!

Внезапно шубы отлетели в сторону. Бату-хан резко поднялся и выпрямился. Три жены припали к его ногам.

— Наконец ты очнулся, ослепительный! Ты будешь снова сверкать, наш алмазный, драгоценный повелитель, и теперь навсегда останешься с нами!

Бату-хан заговорил громко, твердым, звучным голосом:

— Нукер, кто из высоких темников этой ночью в дозоре?

Тот, очнувшись, ответил:

— Внимание и повиновение! Они в соседнем шатре: Бурундай, Курмиши и старый Нарин-Кэхэн.

— Пришли их сюда. Скажи также Субудай-багатуру, брату Шейбани и хану Мункэ, чтобы поспешили ко мне. Я созываю военный совет.

— Внимание и повиновение! — ответил нукер и вышел.

На его место встал другой вошедший нукер. Хан Орду очнулся и поводил налитыми кровью глазами, еще не соображая, что произошло.

Бату-хан, оттолкнув ногой цеплявшихся жен, шатаясь, подошел к Орду, сел рядом и обнял его.

— Мой почтенный старший брат, ты примчался издалека, чтобы спасти меня и отогнать злых духов болезни. Ты всегда был мудрым старшим братом, моим верным защитником и спасителем. Я твоя жертва, я твой нукер!

Неуклюжий толстый Орду прижимался к Бату-хану, лизал его щеки[1] и шептал в ухо:

— Я знаю, что тебе суждены великие победы... Я примчался, чтобы убрать камни с твоего пути и отогнать желтоухих, завистливых предателей!

Юлдуз-Хатун подбросила сухих веток в костер. Тени забегали по стенам шатра.

Вошли три темника, еще заспанные, вытирая рукавами рты: высокий, тощий и желтый, как луковичная шелуха, Бурундай; широкий, коренастый, с длинными лошадиными зубами Курмиши, и старый, сморщенный, как гриб, Нарин-Кэхэн, с согнутой спиной и шаркающими слабыми ногами. За ними ввалился грузный, волочивший ногу, одноглазый полководец, знаменитый Субудай-багатур.

---

[1] Монголы не знали поцелуя.

Бату-хан выжидал, пока прибывшие пали ниц и выпрямились, сидя на пятках. Затем заговорил торжественным голосом:

— Мои верные слуги, темники Бурундай, Курмиши и Нарин-Кэхэн! В походе на урусов и в боях с кипчакскими войсками вы оказали сотни услуг. Вы не знали отступлений, вы приносили победы. Я давно хотел наградить вас достойно. Храбрый темник Бурундай, победитель в битве с урусами при реке Сить, тебе я уступаю драгоценность, одну из моих семи блистающих звезд — жену Ерке-Хара-Нюдюн («Власть черных глаз»)! Тебе, верный сотник Курмиши, я дарю другое сокровище — Аля-Миндасун («Шаловливую нитку»). Я знаю, что ты будешь эту нитку крепко держать в зубах,— тебя на ласку не обманешь, на хитрость не возьмешь! А тебе, почтенный сподвижник моего деда, великого воителя, храбрый Нарин-Кэхэн,— тебе я дарю эту самую молодую красавицу Набчи («Сладость жизни»). Ты будешь с ней наслаждаться в благоденствии и радости...

Три темника пали ниц, а жены стали отчаянно плакать и молить:

— Не отдавай нас! Не отпускай нас от себя! Прости наши ошибки, вызванные любовью к тебе, наш светлый повелитель!

— Вы будете жить спокойно и счастливо у заботливых мужей. А здесь вы болтали, как сороки... Вы говорили слова нестираемые, как царапины соколиных когтей... Уходите!

— У нас не будет счастья без тебя! Верни нас! Не отдавай!

Бату-хан махнул рукой.

— Нельзя схватить рукой сказанное слово, нельзя метнуть утерянный аркан! Темники, уведите ваших жен! Сейчас здесь будет военный совет, а на нем не могут присутствовать жены темников. Скорее!

Три темника грубо ухватили женщин и поволокли из шатра. Хан Орду сказал:

— Нукер! Отведи рыжую лисицу и мальчика к ближайшему юртчи[1]. Пусть он их допросит. Потом я сам буду говорить с ними. А ты, румийская царевна, получишь обещанный косяк отборных кобылиц.

— И свободу и девяносто девять подарков? — пристально глядя в глаза Орду, сказала Дафни.— Хан Орду двух слов не говорит.

---

[1] Юртчи — лицо, ведавшее выбором места для кочевья и распределением в нем мест.

— Свою судьбу ты узнаешь потом, а пока будешь жить в соседней юрте.

Нукер с гречанкой, рыжим лекарем и негритенком вышли. Бату-хан опустился на подушки и стал смеяться сухим, деревянным смехом. Его лицо, всегда суровое и непроницаемое, избороздилось складками. Довольный, он взглянул на маленькую жену Юлдуз-Хатун, сидевшую у стенки. Она испуганно смотрела недоумевающими, ясными глазами на своего господина. Бату-хан снова нахмурился и сказал:

— Для того чтобы верно управлять, нужно все знать. За эти тяжелые дни моей болезни, когда все думали, что я ничего не слышу, я узнал многое и понял, как следует повести войска на запад, на «вечерние страны», до «последнего моря», где каждый день тает солнце, и на все земли опустить могучую лапу монгольского степного беркута...

Глава пятая

АРАБСКИЙ ПОСОЛ У ТАТАРСКОГО ХАНА

Когда Абд ар-Рахман вошел в просторный шатер, расшитый цветами, аистами и золотыми драконами, он остановился при входе, желая понять, кто из находившихся здесь был главный татарский хан?

Около десяти монгольских военачальников, все в обыкновенных долгополых, синих одеждах, перетянутых ременными поясами, сидели полукругом на большом персидском ковре.

Абд ар-Рахман боялся выразить почет не тому, кому следует, и показаться смешным. Он сделал шаг вперед, опустился на колени, сел на пятки и, смотря прямо перед собой, не обращаясь ни к кому, заговорил:

— Великий святейший халиф земель и народов ислама приветствует храброе татарское войско, его молодого владыку и желает ему здоровья и бесчисленных побед...

Сидевший в стороне на коленях престарелый толмач немедленно переводил, слово за словом, все сказанное с арабского языка на татарский.

— Халиф всех правоверных направил меня, последнего потомка славного арабского полководца Абд ар-Рахмана, разбившего некогда войска франков, к тебе, владыка всех татар, с просьбой разрешить мне участвовать в походе непобедимого татарского войска и посылать донесения о новых ослепительных победах и о завоеванных тобою вражеских землях.

Один из сидевших, толстый и одноглазый, с багровым шрамом через все лицо, сказал:

— Если на нас нападут враги, будешь ли ты, так же как и мы, защитой нашего владыки Саин-хана, внука Покорителя Вселенной, или твой светлый меч останется дремать в ножнах?

— Я воин, и мой меч в этом походе будет послушен каждому слову татарского владыки.

Тогда заговорил молодой монгол. Казалось, он ничем не отличался от остальных, но в резком голосе и пристальном взгляде узких черных глаз чувствовалась привычка повелевать:

— Если ты потомок великого полководца арабов и прибыл сюда как друг, то можешь оставаться близ меня, когда я двину мои непобедимые тумены на «вечерние страны». Разрешаю тебе писать донесения халифу Багдада и посылать их с твоими гонцами, и я не буду спрашивать и проверять, что ты написал. Но ты должен говорить мне правду обо всем, что увидишь...

— Слава твоему мудрому решению! — сказал Абд ар-Рахман, поняв, что говоривший с ним и есть монгольский владыка Бату-хан.

Бату-хан продолжал:

— А сейчас расскажи нам о твоем славном предке и его битве с франками.

— Прежде чем начать рассказ, позволь мне положить к твоим ногам присланные моим повелителем дары.— Он слегка обернулся назад.

— Я здесь! — прошептал стоявший близ входа Дуда Праведный. На коленях он подполз к Абд ар-Рахману и передал завернутые в пеструю шелковую ткань подарки.

Тот развернул и положил перед Бату-ханом: саблю в бархатных зеленых ножнах, украшенную драгоценными камнями, золотой кубок, небольшую книгу корана в кожаном переплете, искусно покрытом золотым узором, два кинжала с рукоятками из слоновой кости и много других драгоценностей.

Бату-хан равнодушно смотрел на разложенные подарки и вдруг протянул руку к простому золотому перстню с темным камнем, казавшимся то зеленым, то темно-красным.

— Я вижу на этом перстне надпись? Какую она имеет силу?

Абд ар-Рахман сказал:

— Это перстень величайшего мудреца Сулеймана, сына Дауда, знавшего тайное. Этот перстень приносит счастье,

исполняя желания того, кто его носит. На нем вырезаны слова аллаха: «Да будет так!»

Бату-хан показал перстень толстому, сидевшему рядом с ним монголу с рассеченным лицом. Тот одобрительно кивнул головой и надел его на указательный палец Бату-хана, сказав:

— Это достойный подарок! — И, повернувшись к Абд ар-Рахману, прибавил: — Мой владыка тебя благодарит. Когда он одержит девятьсот девяносто девять побед, то посмотрит на этот перстень и скажет: «Да, случилось так, как захотел аллах!» А теперь он ждет твоего рассказа...

Глава шестая

РОЖДЕНИЕ «НЕБЕСНОЙ» СТОЛИЦЫ

Налетевший холодный вихрь ворвался, откинул дверную занавеску внутрь шатра, разметал тлевший огонек костра и окутал дымом всех сидящих.

Великий военный советник Субудай-багатур сказал:

— Это прилетел бог войны Сульдэ проверить, скоро ли войско выступит? Не променял ли джихангир свою благородную воинскую славу на мирную постройку своей столицы и просторных складов для заморских купцов?

Все льстецы остолбенели. Только один Субудай-багатур, старый воспитатель (аталык) Бату-хана, мог говорить таким независимым голосом, как бы с осуждением. Бату-хан обвел собравшихся пытливым колючим взглядом и спросил:

— А кто мне ответит: что такое слава?

Полукругом сидели, повернув голову в сторону Бату-хана, его главные военачальники, арабский посол Абд ар-Рахман и несколько льстецов-ханов, умевших шутить и рассказывать веселые случаи из жизни людей. Субудай-багатур ответил первый:

— Слава — это одержанная победа. Чем больше побед, тем ослепительнее слава.

Строитель ханского золотого дворца, искусный китайский архитектор Ли Тун-по, почтительно заметил:

— Слава не только победа на поле брани. Если правитель заботится о благе народа, строит новые города, справедлив к подданным, не облагает население непосильными налогами, дарит благополучие всем шатрам своего племени,— его называют доблестным, справедливым, Саин-ханом, и он пользуется любовью подданных и немеркнущей славой. Истинная любовь народа — это слава!

Арабский посол Абд ар-Рахман сказал:

— Слава — это то, к чему мы все стремимся. И мы ее добудем с помощью нашего светлого меча! Слава — это власть над другими покоренными народами.

Саин-хан, как все привыкли называть Бату-хана, обратился к своему летописцу и звездочету Хаджи Рахиму:

— Мой мудрый учитель! Ты знаешь многое. Почему Искендер Двурогий до сих пор пользуется немеркнущей славой среди народов всех наших земель?

— В старой книге написано: «Искендер Великий, покорив всех, кто становился на его пути, в то же время оставался милостивым к новым, вошедшим в его царство народам. Он их не притеснял, а делал своими равноправными детьми. Поэтому слава Искендера Двурогого — истинная, вечная слава!»

— Нет, это неверно! — сказал Бату-хан.— Разве создал Искендер Двурогий нечто такое, что несокрушимо стояло бы и после его смерти? Его царство развалилось... Его молодая прекрасная жена, персиянка Рокшанак, вместе с единственным сыном, наследником царства, созданного Искендером, была брошена в тюрьму и затем задушена его же друзьями, товарищами боевых походов. Они, объявив себя новыми царями, растерзали его владения на части, постепенно растаявшие, как лед на солнце.

Все сидевшие переглянулись, послышались тихие возгласы восхищения, а Бату-хан продолжал:

— Владыка, стремящийся к славе, должен воздвигнуть сооружения, которые возвещали бы его славу и после смерти много лет, сотни лет!

— Верно! Как это мудро сказано!

— Вы сейчас присутствуете при рождении небывалого великого дела, при возникновении нового, чудесного государства, вырастающего в бывших пустынных степях... Вы стоите возле колыбели, где лежит только что родившийся младенец... Он подрастет и станет могучим богатырем, который сорвет с солнца сияющий венец...

Бату-хан замолк. Послышались вопросы:

— Скажи имя этого богатыря? О каком новом небывалом сооружении ты говоришь? Разве мы не идем завоевывать другие народы, громить их и бросать под копыта наших лошадей? Вероятно, это и будет новое невиданное монгольское царство, или, может быть, кипчакское?

— Нет! — сверкнув глазами, воскликнул Бату-хан.— Оно не может быть названо монгольским потому, что такое уже существует — монгольское царство великого кагана и его столица Каракорум и прославляется как создание

моего деда, Потрясателя Вселенной. А у меня в моем большом войске монголов очень мало, всего четыре тысячи воинов моей охраны!.. Это царство не может быть также названо кипчакским, потому что в него входит много всяких других народов. Кипчаки могли бы возгордиться, а гордиться им нечем: они боролись против меня, а я их покорил и заставил служить мне.

Мудрый Ли Тун-по спросил:

— Как же ты назовешь это блистающее, как солнце, невиданное царство?

Бату-хан спокойно, косясь на внимательно слушавших его ханов, сказал:

— Могучее царство Бату-хана — Синяя Орда. Это небесное царство призвано небом повелевать народами всех стран вечно, десять тысяч лет. Это и будет немеркнущая слава моя — повелителя вселенной!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НОВГОРОДСКИЙ ПОСОЛ У БАТУ-ХАНА

Глава первая

ДОПРОС РУССКИХ ПЛЕННЫХ

В многолюдном лагере Бату-хана, в небольшой войлочной юрте сидел на ковре Хаджи Рахим, придворный летописец грозного татарского владыки, и, склонившись над «Путевой книгой», при слабом мерцании глиняного светильника, старательно выводил арабской вязью свои ежедневные записи.

Вот что он писал:

«Я не раз слушал речи Саин-хана и убеждался, что он очень встревожен известиями с севера, из богатого русского торгового города, имеющего название: «Господин Великий Новгород».

Это, кажется, самый свободолюбивый, а потому и опасный город урусов. Он не испытал еще на себе тяжести могучей, властной монгольской руки. Когда Бату-хан, два года назад, двинулся с войском на север, он, несмотря на все усилия, не смог дойти до Новгорода и, едва не утонув в болотах, повернул обратно.

Может быть, поэтому вольнолюбивые новгородцы, считая себя непобедимыми и недоступными для врагов, обращаются со всеми гордо и заносчиво, не боясь своих воинственных соседей.

Я слышал, что Бату-хан давно хочет послать в Новгород войско, и помню его слова: «Когда Субудай-багатур весь новгородский край обратит в золу и пепел, а жителей его погонит для продажи в неволю, только тогда на северной границе моей Орды воцарится спокойствие назарестана (кладбища)».

Утром, во время приема гостей, в шатре Бату-хана произошло следующее: пришел любимый телохранитель Бату-хана Арапша и сказал:

— Саин-хан! Твое приказание исполнено. Ты пожелал увидеть пленных урусов, которые раньше бывали на севере и видели богатый город Новгород. Среди находящихся у нас пленных я выбрал двух особенно толковых. Они могут рассказать тебе многое.

— Приведи их ко мне. И пусть Субудай-багатур тоже придет сюда, а всем находящимся здесь я передаю мой «салям».

Бывшие на приеме гости тотчас вышли, кланяясь и шепча молитвы и пожелания. Остались только Хаджи Рахим и вскоре пришедший Субудай-багатур.

Арапша вернулся с двумя пленными русскими. Один был высокий, очень тощий старик, с длинными белыми, как серебро, волосами. Багровый шрам пересекал его лицо. Другой молодой, с живыми, сметливыми глазами, широкоплечий, почти такого же роста, как старик. Обычно пленные ходили босые, в отрепьях, но, для того чтобы явиться перед владыкой орды, их приодели в мало поношенные халаты и кожаные кавуши. Из предосторожности руки обоих были туго закручены ремнями.

Опираясь на короткое копье, Арапша стоял близ русских, следя, чтобы они не сделали чего-либо недозволенного. Он понимал русскую речь и стал переводить ответы пленных.

Батый сперва расспросил: откуда они родом, где были захвачены, знают ли Новгород?

Старик отвечал не колеблясь и, по-видимому, правдиво:

— Зовусь я Савва Бобровник. Жил прежде в лесу, выслеживая бобров и охотясь также на других зверей. Часто ездил в Переславль, отвозил дичину и всякие меха князю нашему Ярославу Всеволодовичу. А этого молодца зовут Кожемяка. У него руки сильные, и он при выделке может хорошо мять конские и бычьи кожи. Два года назад захватил нас татарский разъезд в верховьях Волги. Отбивались мы тогда, да не удалось уйти: целый десяток на нас двоих навалился.

— Был ли ты в Новгороде? Кто там правит?

— Бывал много раз за свою долгую жизнь и даже живал там по году и более. Правили в Новгороде бояре, да между собой плохо они ладят. Когда же наступает тяжелая година или сами бояре договориться не могут, а на нашу землю напирают немцы да шведы...

— Это кто же такие?

— Это те народы, что живут по соседству с Новгородом, жадные до чужой земли,— быстро ответил молодой пленный.

— Постой, Кожемяка, дай я доскажу,— продолжал старик.— Как увидят новгородские бояре-спорщики, что им беда грозит,— посылают они тогда своих послов к переславскому князю Ярославу Всеволодовичу просить, чтобы поспешил он выручить Новгород из беды. Князь сейчас

же приходит в Новгород со своей дружиной и наводит порядок и тишину.

— А какие у него полки, у этого князя? — спросил Бату-хан.

— Князь Ярослав своими полками славится,— сказал с гордостью Савва.— Каждый ратник у него — точно песня! Как въезжают в город его полки на холеных конях, ощетинясь копьями и сверкая серебряной броней, народ на улицы выбегает, славу поет переяславльским ратникам.

Бату-хан нахмурился.

— Серебряная броня на воинах — это еще не все. А показал ли коназ Ярослав свою смелость и удачу в бою с врагами?

— Показал, да еще как! — ответил Савва.— Года четыре назад я вместе с новгородскими охотниками вступил в дружину, которую призвал себе на помощь князь Ярослав, чтобы отбросить напиравшие немецкие отряды. Они рвались захватить и покорить Новгород. Бились мы на реке Омовже[1], где князь разметал врагов и половину утопил подо льдом.

— А кто был у коназа Ярослава помощником?

— Славные были воеводы. А самым верным помощником был его сынок, княжич Александр. На то не гляди, что ему тогда было годов пятнадцать. Князь Ярослав дал ему отдельную сотню, и княжич смело бился против врагов, как заправский воин.

— Я об этом Искендере уже слышал,— сказал Бату-хан.— Мне доносили, что он теперь правит Новгородом, дружина его растет и он становится опасным. Великие полководцы, как Искендер Двурогий и другие, уже в юности проявляли дерзость и отвагу в воинских делах. Мне надо больше знать об Искендере Новгородском. Может быть, мне еще придется встретиться с этим подрастающим беркутом, выкормленным в снегах северной земли. Нукеры! Уведите пленных!

Тотчас же явились два нукера и сделали знак русским удалиться. Пятясь и кланяясь, оба пленных уже почти достигли выхода, когда Бату-хан неожиданно крикнул:

— Стойте! Скажите мне еще, сколько войска у новгородского коназа?

Старик замялся. В это мгновение Кожемяка, будто зацепившись за ковер, навалился на него и шепнул:

— Придержи язык-то!

— Хан милостивый,— медленно сказал Савва,— неведо-

---

[1] Омовжа (Эмбах, Эмайнги) — река, впадающая в Чудское озеро. В устье ее в 1234 году произошла битва между новгородским войском и германскими рыцарями, окончившаяся победой новгородцев.

мо нам это. Я из дружины в та поры ушел и в лесу жил. Кто ж его знает, сколько войска у князя стало!

Бату-хан сдвинул брови:

— Ступайте вон!

Пленные еще раз поклонились и исчезли за дверной занавеской.

— А мне нравится этот молодой коназ Искендер,— заметил Субудай-багатур.— Видно, что он прирожденный смелый воин. Я бы назначил его тысячником, начальником отряда пленных урусов, который пойдет с тобой на «вечерние страны».

— Пока я пошлю проверить, что замышляет этот коназ,— сказал Бату, пристально глядя на Арапшу.— Тебе поручаю я это важное дело.

— Внимание и повиновение! — ответил Арапша.

— Ты поедешь в Переяславль, а может быть, и дальше, в Новгород. Там ты разузнаешь, что теперь делает и что замышляет беспокойный молодой коназ Искендер. Возьмешь с собой десяток самых надежных нукеров. Через них ты будешь присылать мне донесения. Отправиться должен сегодня же.

— Будет сделано, великий,— ответил Арапша и стремительно вышел.

Глава вторая

ИДУТ РУССКИЕ ПЛОТЫ

Бату-хан со своими приближенными находился на верхней площадке «золотого домика». Он получил тревожные известия с южного побережья Абескунского моря, что там один из его родичей, хан Хулагу, собирает войско, посылая отдельные отряды на север, к реке Куре на границе Синей Орды, и что эти отряды затевают стычки, стараясь захватить пленных и разведать от них все, что возможно, о войске Бату-хана.

Приехавший с этим донесением сотник, старый и опытный монгол, еще помнивший Чингиз-хана, на вопросы темников отвечал убежденно, что с юга надвигается война: хан чингизид Хулагу хочет напасть на ставку Саин-хана.

Все посматривали на Бату-хана — как он отнесется к этому известию?

Ничто не изменилось на сухом холодном лице Бату-хана. Он, как обычно, внимательно выслушал сотника, но свое мнение затаил про себя.

Быстро поднявшийся на площадку нукер доложил, что с севера, из кипчакской степи, прибыл на взмыленном коне второй вестник и тоже просит лично сообщить «непобедимому» важные новости.

— Приведи его!

Вошел молодой кипчакский воин в хорезмском полосатом халате и желтом кожаном малахае с лисьими отворотами. Он бросился Бату в ноги, поцеловал ковер между руками и отцепил от серебряного пояса черно-бурую лисицу с длинным пушистым хвостом, разостлав ее перед троном.

— Берегись, великий хан! — воскликнул он, оставаясь на коленях.— На тебя по реке плывет войско урусов. Я прискакал, чтобы сказать: готовься к битве!

Слегка сдвинулись брови у Бату-хана, сейчас же лицо его снова приняло обычное невозмутимое выражение. Он встал и подошел к решетке, окружавшей площадку. В лучах яркого солнца широко раскинулся беспорядочно строящийся город, где наспех слепленные домишки терялись в кольцах кочевых юрт. На север уходила бесконечная даль серебряной широкой реки. Солнечные блики сверкали на ней, как прыгающие золотые рыбки.

Гонец, указывая рукою вдаль, повторял:

— Гляди туда! Видишь, вниз по реке к нам плывут урусы. Они замыслили недоброе.

— Но где же их корабли? Я не вижу ни мачт, ни парусов.

— Их нет. Это связанные длинные бревна, на которых поставлены маленькие соломенные юрты, в них прячутся урусы. Такие связанные бревна они называют «плоты». Их плывет много: я сам насчитал пятьдесят или больше...

— Слушайте, смотрящие мне в глаза! — воскликнул Бату-хан необычно звенящим, радостным голосом.— Этот новгородский коназ Искендер оказался мне верным: он выполнил то, что обещал. Это он мне посылает бревна для постройки дворцов в моей будущей столице Мира. А тебя я хочу отблагодарить, кипчакский воин, за твой зоркий глаз, за радостную весть. Тургауд, принеси для доброго вестника самаркандский халат.

Русские плоты, сплоченные из вековых огромных стволов, приплыли не без труда из глубины муромских лесов до Нижнего-Новгорода, чтобы плыть дальше по широкому раздолью великой реки. Пристав к берегу, они подождали и приняли на плоты обоз, собранный князем Александром. Плоты сопровождали длинные лодки «дубовики». В них

сидели гребцы, направлявшие плоты и следившие, чтобы на поворотах реки они не налетели на берег.

Всем гребцам и плотовщикам были обещаны большие награды хана и свобода их родичам, томящимся в татарской неволе. И плоты, наконец, двинулись по широкому раздолью великой реки в понизовье к татарам немилостивым.

Почти весь путь погода стояла тихая...

— Это заступничество матери божией. Она, милосердная, нас оберегает на добром начале! — говорили плотовщики.

Только раза два надвигались тучи, неистово хлестал дождь и принимался бушевать ветер, поднимая большие серые волны. Тогда главный «вата́ман» каравана Авксентий приказывал приставать к берегу и выжидать, пока уляжется непогода и успокоится своенравная река.

Наконец вдали показались золотая точка и несколько стройных тонких башенок над бесчисленными войлочными юртами и домишками, сооруженными из глины, камыша и камней. Плотовщики поняли, что татарская ставка близко. У берега поднимались мачты небольших кораблей. Все голоса затихли, и только Волга ласково плескала волны на скрипучие древесные кряжи, связанные рядами с помощью липового крепкого лыка.

И вдруг откуда-то издалека понеслась протяжная, заунывная песня:

Уж как пал туман на сине́ море,
А злодей-тоска на ретиво́ сердце...

— А ведь это наши поют! Вот где довелось услышать родную песню!

Навстречу плотам уже быстро приближались лодки с русскими гребцами. В лодках сидели вооруженные монголы в пестрых ярких одеждах. Причалив к плотам, гребцы закричали:

— Откуда, православные, вас бог принес?

— Новгородские мы! Плывем по приказу нашего князя Александра Ярославича. Надумали выручать вас из неволи.

Монголы, зацепившись баграми за плоты, хотели взобраться, чтобы посмотреть соломенные и деревянные шалаши, но строгий старший плотовщик приказал никого на плоты не пускать:

— Надо стеречь новгородские дары! Не допускайте никого, иначе ироды все растащат!

Авксентий приказал отвязать собак, и огромные псы забегали по лесинам, перескакивая с плота на плот, злобно и оглушительно лая на всех подплывавших близко.

Плоты пристали к берегу верстах в трех выше татарского становища, и возле них сейчас же выросла Батыева стража. Узнав о прибытии земляков, русские пленники отовсюду бегом кинулись к берегу реки. Худые, изможденные, обросшие длинными волосами, в жалких отрепьях, они, в чем были, бросались в воду, взбирались на бревна и расспрашивали: кто и откуда родом, надеясь среди прибывших найти родное, близкое лицо, узнать что-либо о своих земляках.

Глава третья

МЕДВЕЖЬЯ ПОТЕХА

Бату-хан приказал самые ценные подарки, привезенные из Новгорода, собрать во дворе «золотого домика» и пригласил русского посла Гаврилу Олексича прийти туда на утро следующего дня. «Пусть не забудет о медведях»,— напомнил он через своего векиля.

Гаврила Олексич сам внимательно следил за тем, чтобы все подводы были в порядке, одну за другой скатывали их с плотов, сводили коней, сносили дары, и они подъезжали к «золотому домику», где помещалась со своими служанками любимая жена Бату-хана Юлдуз-Хатун — «Звездочка, удивление вызывающая».

По два вооруженных копьями дружинника стояли на страже около каждой подводы, не подпуская любопытных монголов. Посреди двора был вкопан прочный столб; к нему привязали цепями одного из привезенных медведей: был он страшен, свирепо ревел, рыл лапами землю и пробовал своротить столб.

Другой медведь, привязанный к подводе, мирно лежал в обнимку с небольшим окованным сундуком, в котором хранились серебряные сосуды и драгоценности, присланные новгородцами для выкупа пленных.

А с той стороны дворца, где обычно привязывались кони приезжавших к Бату-хану гостей, красовался удивительный конь-великан, присланный князем Александром Бату-хану. Все поражало в этом красавце: и седло иноземного образца, просторное, как кресло, и широкие стремена, и чепрак с вышитым на нем золотым львом с поднятым мечом в когтистой лапе. Это был конь, отнятый у побежденного противника, шведского воеводы.

Длинные кожаные трубы-«карнаи» хрипло заревели, когда на крыльцо дворца вышел Бату-хан в парчовом халате, с мечом у пояса, украшенным драгоценными камнями. Хан уселся на низком широком троне с золотыми драконами по

сторонам. Этот трон, вывезенный из китайского дворца, принадлежал еще деду, Потрясателю Вселенной Чингиз-хану, и Бату-хан берег его как символ власти грозного завоевателя.

Рядом с троном, слева на ковре, на шелковых подушках, расшитых золотыми узорами, поместился молодой посол багдадского халифа Абд ар-Рахман, присланный к Бату-хану, чтобы сопровождать его в походе на «вечерние страны». Далее расположились военачальники. Справа от трона сидел непобедимый угрюмый Субудай-багатур, воспитатель и военный советник Бату-хана, сверкая своим единственным глазом.

Плоская крыша дома вдруг расцветилась, будто сказочными птицами,— это жены Бату-хана и некоторых его приближенных вышли полюбоваться невиданным зрелищем и расположились на коврах вдоль узорчатой решетки.

После второго призыва карнаев раскрылись ворота и показался молодой новгородский посол Гаврила Олексич. Он был в серебряной кольчуге, в блистающем шлеме и в таких же перстатицах и налокотниках. Всех поразило его юношеское лицо, смелый открытый взгляд светлых глаз. Он был намного выше сопровождавшего его рослого монгола-переводчика и всей своей могучей фигурой напоминал сказочного богатыря.

Подойдя к трону Бату-хана, Олексич, сняв шлем, опустился на колени, снял с шеи и положил перед собой небольшой серебряный складень, сделанный из трех иконок, поцеловал его и тихо прошептал обычную молитву, которая начиналась: «Да сохранит господь бог нашу родную землю...» Но в шуме толпы дальнейших слов не было слышно.

Бату-хан милостиво указал Олексичу на лежащую у его ног ковровую подушку, приглашая сесть.

В это время конюхи Бату-хана провели взад и вперед диковинного шведского коня и поставили его перед троном. Слуга подал на золотом подносе несколько лепешек, которыми Бату-хан сам кормил коня, гладил и трепал его по крутой шее.

— Как вам нравится этот красавец? — обратился Бату-хан к своим женам, глядевшим с верхней площадки.

— Это конь из сказки, изумительный и невиданный! — воскликнули женщины.— Но мы хотим, чтобы новгородский гость показал нам также своих ученых медведей.

Толмач перевел просьбу женщин. Олексич встал.

— Передай царевнам, что сейчас я покажу им моих питомцев.

Женщины радостно зашумели.

Гаврила Олексич взглянул вверх. Рядом с любимой женой Бату-хана, Юлдуз-Хатун, он увидел девушку, в которой все было необычайно: продолговатые черные сверкающие глаза казались драгоценными камнями. Над ними крыльями бабочки трепетали длинные ресницы. Подрисованные темные брови изогнутой линией тянулись от уха до уха. Маленький алый рот загадочно улыбался. Заметив пристальный взгляд Олексича, она протянула гибкую руку с ярко накрашенными ногтями к серебряной вазе, выдернула оттуда розу на длинном стебле и бросила ее со смехом молодому русскому послу.

Схватив на лету розу, Олексич прошептал, нагибаясь к толмачу:

— Что это еще за чаровница?

— Это одна из любимых танцовщиц повелителя, Зербиэт-ханум. Она не только танцовщица, но и соловей. Если джихангир отдаст ее тебе, не вздумай отказываться,— голову потеряешь!

— Вот еще беда нежданная! — прошептал Олексич. Он приказал своим дружинникам привести медведей и их расшевелить.

— А это не опасно? — спросил Бату-хан.

— В жизни многое опасно,— ответил Гаврила Олексич.— Но если бояться опасности, то и победы не будет, да и жить не стоит!

— Хорошо сказал!

Старый одноглазый Субудай недовольно замотал головой и крикнул:

— Прислать сюда десять наших пехлеванов[1], пусть стоят наготове!

Два русских дружинника расшевелили медведя, лежавшего на подводе. Он сполз на землю, подхватил небольшое бревно и, держа его на плече, подошел на задних лапах к тому месту, где находился Бату-хан. Он осторожно опустил бревно на землю, затем сел, размахивая передней лапой, как бы прося подачки.

Бату-хан через нукера передал медведю лепешку. Олексич сказал:

— Сейчас, великий хан, этот медведь будет бороться с твоими воинами. Прикажи, чтобы несколько твоих лучших силачей попробовали свалить его на землю.

Гаврила Олексич сделал знак одному из своих дружинников. Тот подошел.

---

[1] Пехлеван — силач, герой, витязь.

— Кирша, постой около Мишки и последи, чтобы он вел себя пристойно.

По приказанию Субудая подошли к медведю три коренастых монгольских нукера. Рядом стоял настороже дружинник Кирша и держал в руке конец цепи, прикрепленный к ошейнику медведя.

Он добродушно сказал медведю:

— А ну-ка, Мишенька, покажи, как у нас в Новгороде козлы бодаются.

Медведь вскочил и с такой неожиданной стремительностью бросился к монголам, что они со всех ног пустились бежать по двору, а зверь погнался за ними, звеня вырванной цепью, под улюлюканье и хохот зрителей.

— Эй, Мишка! — закричал ратник.— Постой! Ступай ко мне! Покажи теперь, как ты любишь свою хозяйку!

Медведь остановился, повернулся и вперевалку подошел к Кирше. Став на задние лапы, он передние положил ему на плечи и розовым языком облизал лицо.

Толмач громко переводил слова дружинника. Монголы приседали от восторга, кричали «кху, кху!», а женщины на площадке хлопали в ладоши, заливаясь звонким смехом.

Олексич сделал знак дружинникам, и они увели медведя обратно к телеге. Жены Бату-хана сверху закричали: «Могут ли русские багатуры бороться с привязанным к столбу большим медведем?»

— Отчего не попробовать! А что получится — увидим! — сказал Олексич.— Эй, дружинники, отвяжите-ка Лешего и приведите сюда.

Вскоре огромный медведь неохотно приблизился к трону Бату-хана. Он был на двух цепях: одна прикована к ошейнику, другая — к широкому кожаному поясу. Шесть дружинников держали натянутые цепи, чтобы медведь не подошел к татарскому владыке слишком близко.

Леший сел, мотая головой и сильно сопя, вдыхая незнакомые запахи, и недоверчиво поглядывал на толпу маленькими злыми глазками.

Кирша подошел к медведю, ударил его по плечу и отступил на шаг.

— Эй, Леший! — сказал, ударяя медведя еще раз.— Зачем ты вчера моего барана задрал? Давай обратно!

Зверь недовольно зарычал.

— Ты зачем прошлый год обидел мою бабку? Зачем задрал ее петуха?

Медведь еще сильнее стал мотать головой, как бы отрицая возводимую на него вину.

— Ты что головой мотаешь, ровно отнекиваешься? —

шутливо дразнил его Кирша.— Разве я не дело говорю? Давай бороться: кто победит — тот и прав. Покажи свою силушку, ведь ты нынче к новому хозяину переходишь. А ну-ка, вставай! — И ратник ткнул медведя концом сапога.

Медведь обхватил лапами ногу Кирши; тот схватил его за уши, и зверь оставил ногу. Он ловко поднялся на задние лапы и пошел, покачиваясь, на отступавшего ратника.

Вдруг он стремительно бросился на медведя и обхватил ремень на поясе. Напряжением всех сил Кирша слегка приподнял медведя и, поддев плечом, сбросил на землю.

Медведь проворно вскочил и с диким ревом снова кинулся на Киршу. Толпа замерла.

— Еще хочешь бороться? — сказал Кирша.— Ну, теперь будем в обнимку.

Человек и медведь схватились крест-накрест и стали, раскачиваясь, топтаться на месте. Ратник наступал на медведя и вдруг быстрым неожиданным движением, сделав «подножку», опрокинул его на землю.

По толпе пронесся крик ликования. Вытирая скатившийся пот, ратник спокойно отошел в сторону. Олексич тихо сказал дружинникам, державшим концы цепей:

— Теперь привязывайте его к столбу, а то он и впрямь задерет Киршу. Чую: серчать начал!

Дружинники оттянули цепи и намотали их вокруг столба. Медведь, упираясь и задрав морду кверху, недовольно ворчал. Оказавшись возле столба, он стал его царапать и трясти.

Бату-хан подозвал переводчика и что-то тихо спросил у него.

Толмач наклонился к уху Гаврилы Олексича:

— Наш великий джихангир очень доволен и хочет оказать милость тебе и твоим нукерам. Он спрашивает, чего жаждет твое сердце.— И еще тише добавил: — Проси прекраснейшую розу его сада, и он тебе ее отдаст.

Гаврила Олексич ему не ответил. Он быстро встал и, обратившись к Бату-хану, горячо заговорил:

— Великий хан! Я видел твою столицу, которая начинает расти и расцветать, как сказочный цветок. Здесь люди богатеют, а отъезжающие гости разносят по свету рассказы о величии и славе твоего имени. Но здесь же я увидел моих несчастных русских братьев. Они высохли от голода и непосильных трудов. Многие из них доживают последние дни. Ты можешь всех их сделать счастливыми, и они будут до конца дней молиться о твоем благополучии.

— Какие твои братья? О ком ты говоришь? — спросил Бату-хан, и брови его сдвинулись.

— Это наши русские пленные, которых твои храбрые войска пригнали из наших разоренных городов и селений. Отпусти их на родину!

Бату-хан молчал. Вдруг нежный голос прошептал:

— Исполни просьбу гостя, Саин-хан. Это принесет тебе счастье.

Гаврила Олексич поднял глаза. Возле Бату-хана садилась на широкий трон, расправляя пестрое шелковое платье, его маленькая жена Юлдуз-Хатун, а за нею стояла красавица половчанка с цветком в зубах. Она теперь не смотрела на Олексича, а, опустив длинные ресницы, только слегка улыбалась.

— Хорошо! — сказал Бату-хан.— Разрешаю тебе забрать часть русских пленных. Ты сам же позаботишься, чтобы они спокойно добрались до своей родины.

— Великий джихангир! — прервал его одноглазый Субудай.— Вспоминаю твои слова: не ты ли хотел сделать особый полк из пленных?

— Я не забыл об этом,— ответил Бату-хан.— Но ты, храбрый батыр, обещай мне опрашивать каждого пленного: не хочет ли он вступить в особый тумен, который пойдет вместе с моими войсками на завоевание «вечерних стран». Каждый воин получит от меня и оружие, и одежду, и коня, а в битвах разделит славу и добычу наравне с моими батырами.

— Сегодня, великий джихангир, ты принес счастье не только моим русским братьям, но и мне.

— Ты будешь дважды счастлив,— ответил Бату-хан.— Вскоре поблизости от моего дворца для тебя будет поставлен шатер, в котором ты найдешь лучший цветок моего сада — Зербиэт-ханум. Вот она! — И он указал рукой на стоявшую неподалеку половецкую красавицу.

По окончании торжественного приема Гаврила Олексич подошел к молодому приветливому Абд ар-Рахману и спросил его:

— Не знаешь ли ты, пресветлый хан, что сталось с нашим старым воеводой Ратшей? Не вижу я его нигде.

Арабский посол не ответил и отвернулся.

— Князь новогородский Александр заранее послал его сюда,— продолжал Гаврила Олексич,— чтобы обрадовать наших пленных братьев, рассказать, что их не забывают, о них думают и шлют Бату-хану дары для их выкупа.

— Плохое я слышал, очень плохое! — прошептал Абд ар-Рахман.— Твой Ратша отказался выполнить волю Бату-хана, и за это джихангир повелел заковать его, и я даже не знаю, жив ли он еще.

Глава четвертая

НАЗОЙЛИВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Гаврила Олексич долго не мог добиться следующего приема у грозного повелителя татаро-монгольской орды. Наконец однажды, поздно вечером, к нему в походный шатер, где он временно поселился, явились два запыхавшихся Батыевых сановника со своим писарем. Облаченные в парчовые халаты, они старались сохранить благообразный, степенный вид, перебирая янтарные четки. Долго не могли они отдышаться, сидя на пятках и вытирая лица концами скрученных матерчатых поясов. Видно было, что присланные выполняли какое-то ответственное поручение своего повелителя.

Олексич приказал распечатать сулею крепкого сладкого меда и гостеприимно потчевал назойливых гостей: он сам наполнял большие серебряные кубки, желая проникнуть в замыслы гостей и еще более в те мысли, которые руководили их повелителем, приславшим этих доверенных сановников.

Опытный толмач, побывавший прежде в плену у кипчаков, изучивший кипчакскую речь и обхождение с татарами, сидел у входа и старательно переводил все то, что говорили гости и что отвечал им Гаврила Олексич, и все записывал. Он, как и они, не подозревал, что Олексич, воспитанный при дворе Мстислава Удалого половецкими нянюшками-рабынями, понимал кипчакскую речь[1].

Оба сановника сперва спрашивали:

— Здоровы ли кони, на которых русский посол приехал? Сколько дней он провел в дороге? Какие города проездом он посетил? Разрушены ли эти города? Долго ли он там оставался? Здоров ли скот, оставленный дома? Правда ли, что черно-бурые лисицы и бобры бегают в русских городах и их ловят сетями? Сколько жен у новгородского князя Александра и как зовут его самую любимую жену? Сколько у князя детей и как зовут каждого из них?

Олексич отвечал на все вопросы немедленно, как бы не задумываясь, но сам был настороже и подмигивал дружиннику, чтобы тот не забывал подливать хмельного вина в кубки гостей.

Писарь-толмач отцепил от пояса медную чернильницу, поставил ее перед собой и, переспрашивая, стал записывать

---

[1] Во владениях Бату-хана, где монголы составляли меньшинство, общий разговорный язык был преимущественно половецкий (кипчакский, тюркского корня).

камышовым пером имена князей и бояр, названия городов, а также число шведов и их кораблей, участвовавших в битве на Неве.

Один из сановников, более молодой, то ли вскоре захмелев, то ли притворяясь захмелевшим, начал беспричинно смеяться и задавать неожиданные вопросы:

— Водится ли в русских лесах большой страшный зверь с одним длинным рогом на носу? Хотел бы новгородский князь иметь женой еще монголку и не за этим ли приехал сюда северный витязь? Знает ли что-либо высокий гость про город Кыюв?[1] Хан Менгу рассказывал, что там крыши «домов бога» из чистого золота. А в Новгороде они тоже золотые? Сколько конских переходов до Новгорода? Имеются ли по пути заставы для сменных коней?

Гавриле Олексичу надоели все эти вопросы, и, не отвечая на два последних, он резко сказал:

— Если ваш владыка захочет узнать больше, то это я расскажу только ему одному.

Затем, прищурив глаз, он спросил:

— А можете ли вы мне ответить всего на три вопроса?

— Ответим, конечно, ответим, если это окажется в наших силах.

— Правда ли, что великий Бату-хан может попасть каленой стрелой из лука на расстоянии ста шагов в золотой перстень, который держит маленькая ручка его любимой жены?

— Кха! Кха! — воскликнули пораженные сановники, смотря друг на друга.

— Правда ли, что великий и мудрый Бату-хан ночью, во сне, улетает за облака к Священному Правителю, своему деду Чингиз-хану, беседует с ним и получает от него указания, как завоевать всю вселенную, а сам, в свою очередь, тоже дает почтительные советы покойному деду, живущему в небесах: как управлять всеми заоблачными полчищами, состоящими из душ храбрых воинов, павших на поле брани? Я слышал, священная тень Чингиз-хана каждый раз благодарит за мудрые слова и привет любимейшего из своих внуков.

Последние слова Олексич проговорил шепотом, наклонившись к собеседникам.

Оба сановника, с раскрытыми ртами, остолбенели, посмотрели друг на друга и быстро допили свои чаши. Старший, взяв у писаря свиток, спрятал его за пазуху, а второй, заикаясь, сказал тоже шепотом:

---

[1] Кыюв — Киев.

— Мы не получили указаний отвечать на такие важные и трудные вопросы. Мы придем еще раз объявить, когда наш великий Саин-хан тебя примет, и тогда объясним все то, что ты хотел узнать.

Оба с поклонами вышли, по обычаю засунув за пазуху серебряные кубки, из которых пили, сели на коней и умчались обратно к тому, кто их прислал.

Утром, когда первые розовые лучи восходящего солнца пронзили ветви прибрежных деревьев, возле шатра Гаврилы Олексича дружинники уже разводили костер под большим медным котлом, подвешенным на растопырках, и резали на части барана, раскладывая куски на бараньей шкуре, положенной на траве шерстью вниз. Несколько вооруженных всадников подъехали к шатру. Шагах в десяти от него они сошли с коней. Гаврила Олексич спокойно сидел у входа в шатер на складном ременчатом стуле и равнодушно наблюдал, как оба вчерашних гостя и с ними молодой статный воин с великолепной украшенной ценными камнями саблей на золотом поясе приближались к нему. Они низко склонились, затем молодой воин сказал, а толмач, появившийся близ Олексича, стал переводить:

— Наш великий повелитель, доблестный и могучий Бату-хан...

При этих словах Гаврила Олексич быстро встал, выпрямился и снял свою бобровую шапку. Прибывшие переглянулись, а молодой воин продолжал:

— ..повелел передать тебе, благородный и храбрый посол новгородский, что, занятый неотложными делами своего государства, его царское могущество не был в состоянии уделить тебе должное внимание и только теперь нашел время, чтобы принять тебя для беседы. Он разрешает тебе, почтенный боярин, прибыть в его царский шатер завтра в полдень. Утром тебе будут присланы ханские конюхи с жеребцами для тебя и для твоей свиты. На этих конях ты приедешь туда, где наш повелитель соблаговолит принять тебя.

Гаврила Олексич, продолжая держать шапку в руках, сказал:

— Благодарю его царское могущество за милостивое разрешение. Передай, что его верный слуга прибудет в назначенное время. Могу ли я также привезти некоторые скромные подарки?

— Насчет подарков я не получил никаких распоряжений, и о них тебе будет объявлено после, если в беседе наш великий Саин-хан отнесется к тебе милостиво.

Татарский воин, не сгибаясь, сделал величавый жест, слегка коснувшись пальцами правой руки — сердца, губ и лба. Затем, резко повернувшись, он направился к своему

рыжему коню, грызущему удила. Воин легко поднялся в седло и, покосившись еще раз на провожавшего его Олексича, придержал тронувшегося с места коня.

— Ты что-то еще хотел спросить меня, почтенный русский посол?

— Ты угадал, доблестный воин. Я хотел узнать твое славное имя.

— Мое имя Мусук, личный телохранитель моего великого государя.

Конь, сдерживаемый поводом, роняя пену, заплясал и двинулся вперед. Всадник, статный и гордый, в блеске солнечных лучей, игравших на его парчовой красной одежде и серебряных пряжках сбруи, не торопясь, повторил свой величественный привет и скрылся за деревьями.

Всю ночь Олексич пролежал без сна на конской попоне, расстегнув ворот синей шелковой рубахи, заложив руки за голову. Мысли его неслись причудливым потоком. То он вспоминал дубовые стены Переяславля, отраженные в тихом озере, то тусклые огоньки засыпанных снегом деревень, растянувшихся вдоль оврагов, то белые величественные храмы богатого вольного Новгорода, праздничный перезвон церковных колоколов и настойчивый тревожный звук вечевого колокола, сзывающего шумную толпу на вече, где он много раз стоял рядом с другом детских лет, горячим и смелым князем Александром.

Мысли возвращали снова к предстоящему свиданию с грозным татарским ханом, свиданию, которое для многих бывало последним... Что скажет ему обычно молчаливый повелитель, владыка беспредельных степных равнин? Чего потребует? И что можно будет ему ответить? Да и дойдет ли он до шелкового Батыева шатра, охраняемого безмолвными монгольскими воинами и крикливыми ведунами-шаманами, которые перед приемом требуют поклонения кустам и священному огню. Смирится ли гордость и воля русского витязя, согнется ли его спина? Или придется ему испить горькую чашу русских пленников, замученных, с переломанными костями, брошенных под доски, на которых после победы при Калке Чингизовых орд пировали татарские ханы? Не задумал ли злопамятный Батыга снова отправить свои дикие стремительные полчища в Залесье, на Суздальскую Русь, уже однажды им разгромленную, и на буйный вольный Новгород? И кто для Новгорода страшнее: надменные немцы и шведы, напирающие на Русь, или до времени затаившийся Батыга?

Глава пятая

СКОРБНЫЙ ПУТЬ

Когда прибыли воины с обещанными конями, Гаврила Олексич был уже готов к приему. Он надел блестящую кольчугу, подпоясался широким серебряным поясом с золотыми бляшками. На нем слева на перевязи висел меч в зеленых ножнах, отделанных серебром, с рукоятью из «рыбьего зуба» — моржовых клыков. На голове сверкал шлем с узорчатой насечкой, из-под которого виднелись слегка вьющиеся светло-русые волосы. На ногах были расшитые узорами красные сафьяновые сапоги с загнутыми кверху носками.

Дружинник подошел к Олексичу, остававшемуся в шатре, и, заикаясь, с тревогой сказал:

— Там кони ханские пришли, только... не серчай... никудышные они! Не гоже тебе будет садиться на такую скотину! Сами же татары засмеют! — И дружинник отогнул ковер, прикрывавший вход.

Перед шатром действительно стояла чалая, полуседая кобыла с отвисшей нижней губой, показывая желтые стертые зубы. Седло было ханское, но крайне ветхое, с красным бархатным чепраком; вся сбруя тоже старая, выцветшая; хвост лошади полуоблезлый, а ноги она держала растопырив, того и гляди свалится. Присланные другие два коня были такие же,— не к чести удалого всадника, хотя этих коней торжественно держали под уздцы нарядно одетые молчаливые татарские воины.

Гаврила Олексич опустил полог шатра. Он снял шлем и в гневе сорвал кольчугу. Приказал дружиннику стянуть сафьяновые сапоги. Он переоделся и вышел из шатра в голубой шелковой рубашке, обшитой по воротнику мелким жемчугом, гладком синем суконном охабне, подпоясанном кожаным ремнем. На ногах были простые булгарские сапоги. Никакого оружия он с собой не взял.

— Позвать сюда Никодима!

— Я здесь, мой господине! — отозвался и подошел степенный казначей, спутник Олексича.

— Слушай, Никодим, внимательно и сделай, как я скажу: ты покроешь кобылу лучшим куском заморского аксамиту, перетянешь, как подпругой, золотым поясом,— выбери, какой понарядней. Морду кобыле перевьешь жемчужными нитями. Другого коня покрой двумя куньими женскими шубами и перевяжи нарядными поясками, чтобы по пути не растерять.

Никодим вскинул глаза на Гаврилу Олексича, но перечить не посмел.

— Будет сделано, господине! Повремени немного, пока распорю дорожные сумы.

Олексич увидел и позвал в шатер в стороне прибывшего в Орду вместе с ним княжеского летописца и книжника отца Варсонофия.

— Послушай, отче! Одень на себя благообразную рясу получше, захвати кадило. Ты сейчас пойдешь со мной. Может быть, придется нам испытать с тобой часы тяжелые, судьбу горькую и даже домой не вернуться.

— Слушаю, сын мой! Только я возьму еще с собой глиняный горшочек с горящими углями, чтобы раздувать кадило.

Монгольские воины стояли, словно каменные, лишь брови их то поднимались, то опускались, пока Никодим с дружинниками украшали приведенных коней. Гаврила Олексич вернулся в шатер, но вошедший к нему без доклада Батыев толмач сейчас же вылетел обратно, с трудом удержавшись на ногах. Наконец казначей приподнял полог шатра и сказал:

— Все сделано, как ты повелел!

Тогда Гаврила Олексич вышел и, надвинув на лоб бобровую шапку, сказал монголам:

— Эти кобылы присланы мне по ошибке. Я знаю, что ханы татарские и русские князья ездят только на жеребцах. А на таких кобылах ездят женщины и перевозятся вьюки. Поэтому отведите этих кобылиц к почтенной и мудрой матери светлейшего владыки татарского,— при этих словах он снял бобровую шапку,— и скажите ей, что по скудости моей лучших подарков я прислать не смог. Прошу-де принять их от ее преданного слуги, посла новгородского.

Оба Батыевых сановника стали что-то возражать, но Олексич ответил им сурово:

— Хан двух слов не говорит, русский витязь — тоже! Как я сказал, так и будет сделано! — И он пошел медленно и задумчиво к своей новой, загадочной судьбине. Он шел не оглядываясь, тяжелой поступью, а за ним потянулись люди, кони и повозки с дарами, которым задолго было приказано быть наготове в случае, если Бату-хан вызовет своего северного гостя.

Идти пришлось берегом, неровной дорогой, мимо строившихся домиков и лавчонок, где продавалась жареная рыба, копченая вобла, ржаные и пшеничные лепешки. Всюду работали толпы крайне изможденных русских пленных.

Затем дорога стала подниматься в гору, и шедший близ Олексича толмач указал рукою вдаль:

— Там, за холмом, ты увидишь лагерь и маленький золотой дворец повелителя монголов.

Вот показался «золотой домик» с высокой башенкой из пестрых изразцов, горевший, как пламя, на солнце. Дорога повернула в сторону, и Гаврила Олексич увидел страшное зрелище, от которого холод побежал по спине. Вдоль дороги, на расстоянии нескольких шагов один от другого, тянулись колья вышиной в рост человека. На каждом из них была воткнута человеческая голова. Гаврила Олексич замедлил шаг и, наконец, остановился. Следовавшие за ним спутники тоже остановились.

— Отец Варсонофий! Где же ты?

Старый монах подошел, сжимая в дрожащих руках серебряное кадило и качавшийся на веревочке глиняный котелок с углями.

— Что же, отче, давай помолимся!

— Все готово...

— Ведь это наши... те, кому хан Батый должен был дать волю и отпустить со мной на родину...

Порывистый ветер трепал русые, полуседые и черные бороды и длинные кудри отрубленных голов. Их было много. Колья тянулись вдоль дороги, покуда хватало глаз.

Вороны и крикливые сороки сидели на дальних головах и, ссорясь, клевали застывшие очи.

Варсонофий читал молитвы нараспев, размахивая кадилом, и голубоватый дым легким облачком поднимался к мертвому лицу, точно, лаская, дарил прощальный привет.

Гаврила Олексич медленно двинулся дальше, осеняя себя крестным знамением, и вдруг остановился перед одной головой. Полузакрытые, еще не выклеванные глаза, казалось, пристально глядели из-под густых, черных, сросшихся на переносье бровей. Бороды не было, и длинные седые усы шевелились на ветру. Полуоткрытый рот как будто не договорил последних слов.

— Ратша! Дедушка, родимый!..

Олексич покачнулся, закрыл лицо рукой, потом еще раз посмотрел на голову и твердыми шагами, не останавливаясь и не оглядываясь, пошел вперед.

Отец Варсонофий шептал заупокойные молитвы, размахивая кадилом, и слезы медленно катились по его старческому лицу.

Глава шестая

МИЛОСТЬ БАТЫЕВА

С того дня, когда Бату-хан захотел обласкать своего гостя, жизнь Гаврилы Олексича пошла по-новому. Степенные слуги в длинных цветных халатах провели русского витязя в пестрый шатер, стоявший среди рощицы на высоком берегу. Виднелось там поблизости много и других переносных юрт, около которых ходили и сидели монгольские женщины в ярких одеждах с белыми тюрбанами на головах. Гаврила шел, закусив губу, стараясь сохранить беспечный вид, но в то же время ничто не ускользало от его внимательного и зоркого взгляда.

Шатер, предназначенный для жилья Олексича, был выше и роскошнее остальных. Возле входа, завешенного шелковым ковром, выстроились монголы и пели хвалебную славу по случаю прихода пресветлого гостя.

В нескольких шагах от большого шатра Гаврила остановился, решив выполнить все татарские обычаи и причуды, помня, что на чужом пиру надо покоряться хозяину. Слуги разостлали на дорожке, ведущей к шатру, полосы шелковой розовой ткани, незримая рука отодвинула ковер, и вдруг из шатра выскользнула гибким движением пантеры молодая женщина и замерла настороженная. На ярком солнце сверкали золотые и серебряные запястья и браслеты, украшавшие тонкие руки и щиколотки стройных ног. Легкими шагами она подбежала к Олексичу и, опустившись на колени, обняла его узорчатые сафьяновые сапоги. Стоявший рядом почтительно склонившийся рыжебородый толмач тихо подсказывал Олексичу, что тот должен делать.

— Обними прекрасную невесту! Поцелуй ее звездоподобные глаза! Возьми на руки и отнеси в твой шатер!

Гавриле Олексичу стало весело. Он смотрел на все происходящее, как на диковинный сон, как на невиданную забаву. И он легко поднял свою новую суженую, а она, собравшись в комочек, прижалась к его богатырской груди.

— Целуй! Целуй! — шептал рыжий толмач.

— Не учи! Сам знаю! — И он шагнул внутрь шатра, помня, что нельзя зацепить каблуком порог.

Посреди шатра тлел небольшой костер. Обойдя его, Олексич опустил девушку на груду шелковых подушек. Решительно и властно он откинул покрывало, опущенное на лицо, и бережно и нежно поцеловал черные, вспыхнувшие радостью глаза и красиво изогнутые алые губы.

Толмач что-то шептал, но Гаврила нетерпеливо махнул ему рукой.

Кругом слышалось пение, удары в бубны и медные тарелки. Девушка оттолкнула Олексича, выскользнула из его объятий и, подобрав под себя ноги, уселась у задней стенки шатра.

— Сядь рядом! — прошептал переводчик, опустившись на колени неподалеку от Олексича.— Принимай подарки! Великий Саин-хан хочет оказать тебе высокую милость.

В шатер стали входить старые и молодые монголы и кипчаки. Каждый, произнеся несколько пышных приветствий, клал на ковер серебряные и бронзовые кувшины, чаши, куски шелка, цветные одежды и, пожелав долгой и счастливой жизни, пятясь спиной, выходил из шатра. Для всех приходивших в соседних юртах были разостланы ковры и на больших бронзовых подносах стояло обильное угощение.

Последним в шатер Олексича вошли лихого вида два молодых воина и громко прокричали:

— Блистающий Бату-хан,— да живет он тысячу лет! — тебе прислал в дар самого быстроногого коня в мире.

Толмач прошептал:

— Ты должен выйти, взять коня за повод и сам привязать его около своей юрты.

Услышав о коне, Олексич вскочил и, полный радости, вышел из шатра. Перед входом, на розовой шелковой ткани, стоял, нетерпеливо перебирая ногами, пятнистый могучий жеребец, грызя удила и разбрасывая клочья пены. Два конюха, вцепившись в поводья с золотыми бляшками, оглаживали коня, стараясь успокоить. Олексич подошел. Он не стал брать повода, а только протянул руку к ноздрям коня. Тот ударил ногой по разостланному шелку и фыркнул. Олексич велел принести большой медовый пряник и протянул его коню. Конь недоверчиво скосил глаз и мягкими теплыми губами взял пряник с ладони.

На следующий день Олексича навестили разные люди, также подносившие подарки: шелковые ковры, серебряные кумганы и другие замысловатые серебряные вещи, с которыми Гаврила не знал, что делать... Он, в свою очередь, всех одаривал ответными подарками, думая только об одном: как бы поскорее вырваться из Батыевой ставки, чтобы вернуться на север.

Среди гостей Олексича одним из первых навестил молодой арабский посол Абд ар-Рахман. Он долго говорил о том о сём, видимо, крутил вокруг да около, желая что-то сообщить, но не решаясь приступить прямо к разговору.

Гаврила, заметив это, сам его спросил:

— Объясни мне, преславный эмир, одно страшное дело, о котором здесь, может быть, все и знают, но никто мне не говорит...

— Не о старом ли русском воеводе Ратше ты спрашиваешь?

— Да. Не могу я понять, чем дед мой, Ратша, такой опытный и осторожный, мог навлечь на себя беспощадный гнев великого владыки?

— Сейчас я тебе все расскажу... «Бату-хан знал, что Ратша прославленный русский воевода, и он захотел выказать ему особый почет. Самый высший почет в этом войске, это когда Бату-хан назначает кого-либо из иноземных воинов начальником монгольского отряда.

Однажды Бату-хан призвал Ратшу к себе и предложил ему: выкажи свою доблесть и вступи в мое войско.

— А потом? — спросил Ратша.

— Ты соберешь полк из пленных урусов. Сделай этот полк надежным, чтобы я мог раздать воинам оружие и посадить на коней.

— Против кого ты хочешь послать нас?

— Вместе со мной вы пойдете покорять упрямые города урусов.

Ратша даже не задумался, а прямо ответил:

— И сам не пойду и других не стану уговаривать.

Разгневанный Бату-хан приказал посадить Ратшу в яму, чтобы он там одумался, но, когда через несколько дней вызвал его снова, ответ старого воина был все тот же. Тогда были отрублены головы сотне русских пленных, и первым, кого казнили, был Ратша...»

— Да,— тихо сказал Олексич,— ничего другого я от бесстрашного деда своего и не ожидал.

Начались у Олексича дни, полные тревоги и беспокойства. Он собирал пленных партиями, по двадцать — тридцать человек, давал им вьючных коней, нагруженных мукой, житом, сушеной рыбой, караваями хлеба, и посылал одну партию за другой сперва вверх по Волге, а затем через степь на Рязань. На некоторых конях сидели, согнувшись, больные и крайне истощенные пленные.

— Скорей, ребятушки, уходите, добирайтесь до родных мест! — торопил Олексич.— Татарский хан может передумать и всех нас задержать для новых своих построек или для дальнего похода.

Иногда Бату-хан призывал Гаврилу Олексича на свои военные советы, где обсуждались планы похода на «вечер-

ние страны». Тяжело было Олексичу слышать, как Бату-хан и его соратники готовятся напасть на Киев, Чернигов и другие русские западные города... Поход был близок, передовые татарские войска уже начинали уходить на запад через половецкие степи. Олексич опасался, что Бату-хан и ему прикажет быть в походе около него.

Проходили дни... Олексич с рассветом покидал шатер, спускался к реке, где вдоль берега горели костры. Вокруг них сидели знакомые плотовщики и, склонивши взлохмаченные головы над глиняными горшками, степенно хлебали деревянными ложками свое незатейливое варево.

— Ушицей подкармливаетесь? — спросил Олексич, присев на бревне близ старика в изодранном до крайности бараньем полушубке. Сквозь дыры местами просвечивало загорелое тело.

— А то чем же? Здесь рыбки вволю, сама на берег лезет. Только вот соли нет.

Гаврила свистнул и повернулся. За его спиной вырос угрюмый татарский слуга, повсюду неотступно сопровождавший гостя.

— Есть ли у тебя соль, Шакир? — спросил Олексич. Он уже немного научился говорить на языке ханского окружения.

— Все есть, что ты ни прикажешь, мой хан! А нет, так достану! — И он пошарил в ковровом мешке, который носил за Олексичем. Оттуда он достал кожаную коробку. Гаврила взял из нее горсть соли и хотел высыпать в горшок с ухой, но старик задержал руку:

— Стой, стой, добрый молодец! Соль-то у нас теперь дороже золота. Я ее приберегу в моем рукаве, посолонить краюшку.

Старик вытащил из-за пазухи оторванный рукав, завязал узлом конец, и Гаврила всыпал в него несколько горстей соли.

— А где же твоя рубаха?

— Да поистлела вся. Один рукав и остался. Вот вернусь домой, старуха мне новую сошьет.

— Шакир, доставай новую рубаху!

Слуга, метнув недоверчивый взгляд, вполголоса ответил:

— Есть, мой хан! Только не для такого оборванца.

— Что я тебе приказал?

Шакир с обиженным лицом вытащил малиновую шелковую рубаху и, поставив мешок на землю, встряхнул ее и подал Олексичу.

Старик вскочил и замахал руками:

— Что ты, что ты, Гаврила Олексич! Не по купцу товар даешь! Такую богатую рубаху носить бы именитому боярину, а с меня хватит и дерюги.

— А коли тебе рубаха не по нраву, так ты ее обменяй.

— Да мне за такой товар пять холстинных рубах дадут... Только стану ли я твой подарочек менять? Вернусь домой, в шелковой рубахе в избу войду, то-то моя старуха начнет причитать да дивоваться!

Другие плотовщики, сидевшие у костров, вскочили и, подойдя, осторожно щупали огрубелыми пальцами добротность ткани.

— Ладно! — сказал Олексич.— Рубаха твоя, что хочешь, то с ней и делай!

И он отошел к другим кострам. Подсаживался к плотовщикам и всех расспрашивал об их житье-бытье... У всех на уме были только родная сторонка, седой Волхов, суровое, угрюмое Ильмень-озеро.

— Маленько еще потерпите! Достройте Батыевы хоромы, а там вместе двинемся домой.

Одарив особенно сноровистых и усердных в работе, опустошив свой мешок, Олексич отходил на бугор. Оттуда он подолгу смотрел в туманную даль. Где-то слышалась переливчатая, заунывная песня, доносились стуки топоров, надрывные стоны и рев верблюдов, ржание коней и знакомые, родные, русские напевы.

И опять проходили дни...

Каждый вечер в шатре Олексича собирались гости: соратники и друзья Бату-хана. Слуги подавали сладкие вина в запечатанных смолой глиняных кувшинах, сушеный виноград, лепешки и жирные палочки сладкого печеного теста.

Охмелевшие, лежа на подушках, они любили слушать непонятные чуждые перезвоны струн и песни прибывших с Олексичем двух новгородских гусляров. Иногда Гаврила сам начинал петь, и голос его, низкий и звучный, казалось, заполнял собой шатер.

Когда гости расходились, появлялись бесшумные рабыни, прибирали все вокруг, а старшая из них, с медными кольцами в ушах, шептала хмельному Гавриле:

— Моя прекрасная госпожа давно ждет своего обожаемого повелителя.

Олексич выходил, останавливался на краю обрывистого берега, долго любовался переливами воды, игрой отблесков лунного света. Кое-где мерцали огни костров. Уже лагерь грозного хана погружался в глубокий сон, только слышалась изредка перекличка часовых, взвизгивания неукротимых жеребцов и далекий лай собак. Насладившись красотой тихой

ночи, Гаврила шел в шатер своей восточной красавицы. Он находил Зербиэт-ханум сидящей на небольшом коврике. С кошачьей гибкостью она бросалась на шею Олексичу, под тихий перезвон золотых и серебряных браслетов.

Яркий лунный свет, падая в прорези шатра, освещал ее черные зовущие глаза, тонкие подрисованные брови...

Она заботливо спрашивала:

— Что задержало тебя так долго? Кого ты видел? С кем говорил? Какие вести получил от твоего преславного князя? Расскажи мне! Я так терпеливо ждала тебя.

— Потом, в другой раз! Сейчас я устал. Лучше расскажи мне сказку...

Олексич уносил ее на шелковые подушки и в полудремоте слушал удивительные рассказы о нежной прекрасной царевне, грустящей в роскошном дворце о своем суженом, уехавшем далеко на войну, или о злом волшебнике, обратившем царевну в птицу, или о том, как царевна, переодевшись в мужское платье, отправилась бродить по бесконечным дорогам Азии в поисках своего любимого, которого заточили в подвале старой крепости, откуда царевна, после многих приключений, его выручила...

Гаврила засыпал под журчание мелодичного голоса, но тревога не стихала, и в полусне ему казалось, что перед ним клубятся грозовые тучи и вереницей проносятся над серебристой ковыльной степью...

И вдруг точно острой стрелой кольнуло сердце: он вспомнил «их», страшных недругов, отлично вооруженных, в железных доспехах, на добрых конях, немецких всадников... Домой, скорей домой!

Глава седьмая

«ЖИВУЛИ»[1]

Однажды к шатру Гаврилы Олексича подошел седобородый странник с берестяным коробом за плечами. На нем был выгоревший от солнца зипун и обычный новгородский поярковый колпак. На поясе висели новые лапти — на обратную дорогу после длинного пути. Татарский часовой отталкивал старика, не подпуская к шатру.

— Боярин родимый! Гаврила Олексич! — кричал странник.— Где твоя милость? Услышь меня! Эти нехристи не пущают меня перед твои ясные очи. Весточку я тебе принес с родной сторонки.

---

[1] «Живули» — игрушки: фигурки людей и зверей.

Гаврила бросился из шатра, подбежал к страннику, обнял его за плечи:

— Знакомо мне твое лицо, а где видел — не помню...

— Да на торгу в нашем Новгороде. Я всегда там возле блинника стою, что насупротив Мирона-жбанника. Охотницкими силками занимаюсь: плету сети и на соболя, и на белок, и на тетеревов.

— Ну, пойдем ко мне. Посидим, поговорим. Порадовал ты меня.

— И еще порадую,— сказал странник, следуя за Гаврилой Олексичем в шатер и садясь возле тлеющих углей костра.

Он скинул потертый зипун, бережно сложил его, поставил перед собой берестяной короб и, став на колени, принялся в нем шарить.

— Как же ты сюда-то попал?

— Постой, постой, все расскажу кряду. Услышал я, боярин, что ты с плотовщиками и струговщиками пустился в далекие края на волжское низовье. И погоревал, что к вам не присуседился. Давно я задумал одно дело и пошел как-то на твой боярский двор посоветоваться со сватом моим Оксеном Осиповичем...

— Знаю хорошо,— подтвердил Гаврила Олексич.— Добрый и верный сторож он у меня.

— Нашел я свата, а он около крыльца стрелочки из щепок стругает. Обговорили мы с ним то да сё, а тут хозяйка твоя, боярыня, на крыльцо вышла. «Опоздал ты, дедушка, говорит, хозяин мой давно уже уехал в низовье Волги к царю татарскому Батыге наших пленников из неволи выкупать. И сколько еще раз черемуха зацветет, пока он домой вернется, не знаю. Только святителям молюсь, чтобы живым и невредимым его сохранили. А сам ты не согласился бы поехать его проведать? Запаса на дорогу, говорит, я прикажу тебе выдать...» — «Можно! — отвечаю.— Волга мне река родная, знакомая. Сколько раз я когда-то по ней с молодчиками нашими ушкуи гонял!» Тут она позвала меня к себе в светелку и плакала, скажу без утайки, слезами обливалась. И вот что тебе передать велела...— Старик вынул из короба и протянул Гавриле Олексичу большой комок седого мха.

Тот жадно схватил его и стал осторожно разворачивать. Внутри оказались так хорошо знакомые, обсосанные и потертые ребятками две искусно вырезанные из липовых чурбашек детские игрушки: одна изображала медведя на задних лапах, другая — мужика в поярковом колпаке, играющего на балалайке.

— И в мох этот сама боярыня игрушки детские завернула. «Пусть, говорит, от седого лесного мха на моего Гаврилу Олексича родным русским духом повеет, а то еще, упаси господи, дом родной позабыл, татарскую веру принял...»

Гаврила прижал мох к лицу и долго молчал, вдыхая знакомый запах хвои векового соснового бора. Глубокая тоска и нежность охватили его. Перед глазами как живой всплыл широкий двор родного дома, заросший буйной травой, где ходила его Любава с малюткой на руках, а старший, в белой рубашонке, ухватившись за материнский подол, был еле виден в высокой траве. Вспомнились веселый смех жены, ямочки на румяных щеках и стук подковок сафьяновых полусапожек... Перед ним стали проплывать зубчатые стены старого Новгорода, величавое течение Волхова, шумное, беспокойное вече... Каким далеким и вместе дорогим и близким все это было! Скоро ли, наконец, его отпустит домой коварный татарский владыка?

Глава восьмая

ТРИ СЛОВА

Рано утром, еще в сумерках, к Олексичу явился знающий много языков толмач в пестрой чалме и полосатом халате. Он почтительно прошептал:

— Великий владыка Саин-хан требует к себе немедленно новгородского посла.

— Ты не проведал, для чего меня призывает великий хан? — спросил Олексич, быстро одеваясь.— Для того ли, чтобы выказать мне свою милость, или чтобы излить на меня свой гнев?

— Что я могу сказать? Я только передаю то, что мне приказывают. Больше этого знает один аллах.

Гаврила вложил в руку толмача золотую монету. Тот смущенно повел плечами.

— Одно я подслушал: сегодня разговор будет о чем-то весьма значительном, большом, как гора или небесная буря. Но я буду тебя сопровождать к великому хану, и стану тихо предупреждать обо всем, что тебе следует делать.

— Меня не о чем предупреждать! Я и сам знаю, что мне надо сделать или сказать!

— Не гневайся на меня, господин, я твой слуга! — прошептал толмач. — Оставь только здесь твой меч.

Оставив в шатре все свое оружие и даже неизменный нож на поясе, Олексич последовал за толмачом.

Было раннее утро. Легкий туман плыл над еще не проснувшейся боевой ставкой Бату-хана. Вдали повсюду светились огоньки костров.

Вскоре Гаврила Олексич увидел площадку с широким кольцом обычных кипчакских черных войлочных юрт. Посреди них одиноко стояла большая белая юрта. К ней вела дорожка, на которой пылали три ярких костра. За ними, ближе к юрте, росли три густых, колючих куста.

Толмач объяснил, что это степные растения, через которые не сможет переступить человек, имеющий злые умыслы против великого хана.

Олексич остановился, задумавшись на мгновение, но двинулся дальше, решив выполнить все требования, которые обычно предъявлялись всем приходящим на поклон к Бату-хану. Поэтому он прошел через колючие кусты, перепрыгнул через три пылающих костра, возле которых завывали и гукали, как совы, монгольские жрецы-шаманы. Они ударяли в большие бубны и кидали в огонь сушеные травы, вызывающие одуряющий дым.

Здесь Олексича встретил арабский посол. Приветливо улыбаясь, он сказал:

— Ты явился очень своевременно, преславный воин, так как «великий и единственный» уже спрашивал о тебе.

Перед входом в шатер Олексич остановился. Два рослых монгольских нукера в шлемах и железных латах, скрестив руки на груди, застыли неподвижными истуканами, закрывая небольшую створчатую дверцу, украшенную искусной резьбой.

Абд ар-Рахман протяжно возглашал условное приветствие. Вскоре из шатра послышался тихий ответ. Оба нукера расступились, и Гаврила Олексич вслед за Абд ар-Рахманом протиснулся в низкую дверцу.

Посреди юрты тлел небольшой костер. Дымок от него, завиваясь, уходил вверх, к круглому отверстию в середине крыши.

Позади костра, у стенки, на небольшой связке из девяти войлоков, сидел, поджавши ноги, сам повелитель бесчисленного монгольского войска. Он выбирал ветки из груды степного вереска и подбрасывал их в костер.

В стороне сидел придворный летописец Хаджи Рахим. Опустившись на ковер возле него, толмач начал вполголоса бормотать приветствия и молитвы.

Гаврила Олексич, вспоминая все наставления, которые ему накануне настойчиво твердил Абд ар-Рахман, решил их выполнить. Мысли вихрем крутились в его голове, но он заставлял себя думать только об одном: как бы не накли-

кать новой беды на далеких родных русских людей, ожидающих, что, вернувшись из Орды, он привезет им мир и спокойствие.

Бату-хан жестом предложил гостю сесть.

Тут начался обычный обмен приветствий и вопросов: о здоровье, о любимом коне, об удобствах жизни. Бату-хан, по-видимому, еще кого-то ожидал.

Вскоре ожидаемый явился — одноглазый военный советник Бату-хана Субудай-багатур. Он тихо сказал что-то Бату-хану и опустился на ковер близ него. Потом, повернувшись к Гавриле Олексичу, отрывисто, как бы с упреком прохрипел загадочные слова:

— Пора! Давно пора!

Тогда Бату-хан, соединив концы пальцев, тяжело вздохнул и сказал:

— Я призвал тебя, чтобы поговорить об очень важном. И я хочу, чтобы ты отвечал мне с открытым сердцем.

— Слушаю тебя и обещаю говорить правдиво, великий хан.

Бату-хан, прищурив глаза так, что они обратились в узкие черные щелки, впился колючим взглядом в спокойное лицо русского витязя. Он начал говорить медленно и вкрадчиво, давая время толмачу переводить его слова.

Олексич, сдвинув брови, вдумывался в сказанное Бату-ханом, рассуждая про себя: «Только бы не поторопиться! Не поспешить с неосторожным ответом и в то же время сохранить почтительность».

— Хотя ты еще и молод, но, как мне рассказывали, ты уже встречал боевые опасности, выказывая каждый раз смелый замысел, и вместе с коназом Искендером всегда одерживал победы. Удача сопровождает тебя.

— Я очень благодарю тебя, великий хан, за приветливые слова.

Бату-хан продолжал:

— Теперь я жду, что ты захочешь проявить свою боевую удачу не только в северной стороне, но и в том великом походе, который я задумал и о котором не раз говорил тебе. Как ты намерен помогать мне?

У Олексича мелькнула мысль: «Он хочет, чтобы я, не колеблясь, дал ему обещание выполнить всякое его приказание. И тогда я буду связан данным словом и, возможно, буду вынужден поступить бесчестно. Поэтому надо быть особенно осторожным». И он сказал:

— Что я могу тебе ответить? Ты, как могучий степной орел-беркут, взлетев к облакам, озираешь оттуда зорким

оком далекие просторы. Я же, как медведь, затерянный в новгородских лесах, люблю и оберегаю свою берлогу...

Бату-хан укоризненно покачал головой:

— Дзе-дзе! Ты уже выказал себя как смелый воин. Такие воины у нас называются багатурами. Но зачем ты говоришь уклончиво? В нашем великом царстве все смелые багатуры сами рвутся туда, где слышен звон мечей. Неужели ты останешься спокойным и захочешь вернуться в свои медвежьи трущобы, когда мое войско двинется вперед и победоносно пройдет по всей вселенной? Могу ли я этому поверить?

Взгляд Бату-хана, казалось, старался проникнуть в мысли задумавшегося витязя.

— Я оказываю тебе великую честь — тебе поручается взять Кыюв!

У Гаврилы Олексича захватило дыхание. Как ответить? Ему казалось, что пристальный взгляд Бату-хана видит, как под тонкой шелковой рубашкой вдруг бурными толчками забилось сердце, но он постарался овладеть собой и молча ждал, что еще скажет татарский владыка.

Бату-хан продолжал, и голос его стал нежным и мурлыкающим:

— Я оказываю тебе самую высокую честь, какую только может получить иноземный воин: ты станешь начальником тысячи, а может быть и целого тумена, с которым ты покоришь для меня Кыюв. Вступай в ряды моего войска, и после Кыюва ты вместе со мной пронесешься через «вечерние страны». Мой славный дед, Потрясатель Вселенной, не колебался делать начальниками монгольских отрядов бывших своих противников, и они, как Джебэ-нойон[1], становились преданными его помощниками.

Гаврила Олексич сказал:

— Прости меня, великий хан, что я назвал мою родную новгородскую землю лесными трущобами. Но мы не прятались в этих трущобах, как медведи, а все время были на границе, сражаясь и ожидая новых битв, новых кровавых встреч с врагами нашего народа. Могу ли я, честный воин моего князя, в эти бурные дни оставить беззащитной мою родную землю?

Олексич прямо и смело смотрел в глаза Бату-хану, ожидая его рокового решения.

— Дзе-дзе! — проворчал Бату-хан и повернулся к Субудай-багатуру.— Что ты скажешь на это, мой дальновидный и мудрый учитель?

Старый полководец подумал и сказал:

---

[1] **Нойон** — титул монгольской аристократии, князь.

— Я отвечу тебе, Саин-хан, тоже вопросом. Разреши мне спросить твоего летописца Хаджи Рахима: что было написано в том послании, спрятанном внутри его дорожного посоха, которое отправил когда-то посол Махмуд Ялвач в Ургенч твоему отцу, несравненному, блистательному Джучи-хану?

Погруженный в свои записи, Хаджи Рахим, вздрогнув от неожиданности вопроса, почтительно прижал руки к груди и прошептал:

— В этом письме, спрятанном в моем выдолбленном посохе, было написано только три слова: «Этому человеку верь».

Бату-хан, зажмурив глаза, засмеялся тихими шипящими звуками. Затем обратился к безмолвному, полному внутренней тревоги Олексичу:

— И я тоже скажу тебе только три слова: «Твоему обещанию верю». Теперь возвращайся в твой далекий Новгород и верно служи твоему коназу Искендеру. Мой верный эмир Арапша там, и он будет присылать мне вести о ваших новых тревогах и победах. Хоть я уйду далеко, но не перестану думать о Новгороде. Разрешаю удалиться. Красавицу Зербиэт-ханум ты возьмешь с собой.

Когда Олексич вышел из шатра, Бату-хан с необычайным проворством вскочил и стал метаться, как зверь в клетке. Задыхаясь, он весь отдавался налетевшей на него ярости. Глотая слова, он заговорил быстро и неразборчиво, с раздувающимися ноздрями, и то подпрыгивал, то приседал.

— Я вижу впереди бои... Пылающие города... Близкие схватки тысяч и тысяч всадников. Я вижу, как испуганно летят кони, прыгают через овраги, роняя своих всадников. Я вижу ряды упрямо наступающих пеших воинов в иноземных одеждах... Они рубятся с моими несравненными багатурами. Я пройду через самую гущу боя и опрокину всех встречных... Я напою кровью врагов своих коней, я прикажу убивать каждого сопротивляющегося, женщин, стариков, детей. Копытами моих несравненных монгольских коней я вытопчу луга и посевы, чтобы после того, как пройдет мое войско, не осталось ни одной травинки, ни одного зерна... Я позвал в этот великий поход Новгородского коназа Искендера и его соратников. Я рассчитывал на них, а они вдруг оказались равнодушными и не захотели принять участие в моих ослепительных победах. Близорукие! Будущие дни великих сражений скоро покажут, кто из нас прав: они или я. И тогда они пожалеют, что не пошли вместе со мной через превращенные в золу и пепел «вечерние страны»...

Бату-хан успокоился, помрачнел и, медленно пройдя к своему месту, стал опять задумчиво подбрасывать в костер ветки душистого вереска. Он сделал знак толмачу приблизиться и, обняв за шею, стал шептать ему в ухо:

— Отныне ты должен удвоить твои наблюдения за этим русским воином. Проникать во все его думы и замыслы. Разведывать, кто его друзья и враги. Тебе известен мой гнев и моя милость...

— Постараюсь,— ответил дрожа перепуганный толмач,— но разгадать мысли русского гостя очень трудно: никогда никому он не говорит, что думает, что готовит.

Бату-хан еще тише прошептал:

— Тебе поможет в этом Зербиэт-ханум. Она до сих пор усердно извещала меня обо всем. Разрешаем тебе отправиться в путь вместе с Олексичем. Буду ждать твоих писем. Ступай!

Всякая сказка, каждая «бывальщина» имеет свой «зачин», имеет и свой конец, нежданный, негаданный...

В этот счастливый день, когда Гавриле Олексичу удалось, наконец, уговорить Бату-хана отпустить его домой в Новгород, радостный подходил он к своему шатру. Его поразило, что на этот раз хозяина не встречают приставленные для охраны слуги. У шатра татарской красавицы тоже никого не было. Что за чудо?

Обойдя рощицу, Олексич вдруг заметил между кустами несколько слуг и женщин из шатра Зербиэт-ханум. Они стояли на коленях, закрыв лицо руками, и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалобно стонали.

— Что случилось? Говорите!

— Не гневайся на нас! Прости наш недосмотр, эмир великодушный! Мы не ждали, что такая беда свалится и на тебя и на нас! О-о-о!

— Да говорите же толком, какая беда?

— Наш драгоценный цветок, наш соловей, Зербиэт-ханум похищена!

Переводчик, неотступно следовавший за Олексичем, расспросил слуг и потом объяснил:

— Есть такой молодой знатный хан Иесун-Нóхай. То он на охоте, то бражничает с молодыми ханами, и никакого другого дела у него нет. Он приезжал сюда в твое отсутствие раза два и с коня, подыгрывая на дутаре, пел песни, восхваляя красоту Зербиэт-ханум.

— Знаю такого,— всегда озорной и на полудиком коне.

— Сегодня утром он прискакал сюда и осадил коня перед шатром Зербиэт-ханум. Он пел о том, что красавица

томится в тяжком плену у страшного медведя и что он приехал ее освободить. Зербиэт-ханум, услыша песню, вышла из шатра и неосторожно приблизилась к всаднику. А тот схватил ее, положил поперек седла и умчался. Слуги не успели задержать. Не казни их!

И все снова упали на колени и завыли.

— Наказывать я вас не стану, но и хвалить тоже не буду.

Гаврила Олексич строго приказал слугам пока никому не говорить о похищении, дивясь и радуясь неожиданному случаю, который избавил его от опасного ханского подарка. Он стал спешно готовиться к отъезду, еще опасаясь новой вспышки милости, либо гнева монгольского владыки.

Глава девятая

НАКОНЕЦ, ДОМА!

Ее глаза все время светились перед ним, вспыхивая искрами то радости, то укоризны. В тот последний далекий день, когда она, вся запорошенная снегом, стояла на высоком крыльце родного дома, накинув на плечи малиновую шубку, опушенную темным соболем, и махнула ему узорчатым платочком, а он обернулся в воротах, сдержал коня и, не утерпев, помчался обратно к крыльцу, сжал маленькую руку, горячую и крепкую, и, выхватив ее платочек, понесся вскачь, вздымая снежную пыль. Этот день он вспоминал потом много, много раз, доставал тайком заветный платочек, расшитый по краям алыми шелками, и вдыхал нежный, чуть заметный аромат весенних цветов.

Не забыл он ее, свою Любаву, но помимо воли одурманила голову прекрасная татарка, зачаровала своей грустной песней, знойной пляской, змеиной гибкостью тела, и он проводил в ее шатре дни и ночи, все забывая, слушая ее бархатный голос, заливая свою кручину крепким янтарным вином.

И как хорошо все же, что теперь ему не придется, как приказал Батый, везти ее с собой в Новгород. Он снова один, свободен, и гибельного дурмана как не бывало.

Теперь впереди дальняя дорога, такая же бесконечная и томительная, как щемящая сердце тоска. Его дружинники и слуги, все на лохматых взъерошенных конях, растянулись по узкому бечевнику вдоль застывшей бескрайней реки и делали короткие остановки в редких селениях, утонувших в снежных сугробах.

Наконец наступил желанный день, и путь окончен. Знакомые ворота с медным складнем на поперечной балке. Высокие шапки снега венчают боковые столбы. Мощный стук кулака разбудил дворовых псов, и они, гремя цепями, отозвались яростным лаем.

Узнав зычный голос хозяина, заохали, забегали слуги, распахивая створки тесовых ворот.

Гаврила Олексич медленно въехал во двор, окидывая зорким взглядом и блистающие на утреннем солнце слюдяные окошки с зелеными резными ставенками, и сани, и крытый возок под навесом, и свисающие, готовые рухнуть глыбы снега на крыше, и ледяные сосульки, и крыльцо с красными витыми столбиками.

Крыльцо, видимо, старательно подметено и так же, как тогда, запорошено легким снегом, но лапушки еще нет... На ступеньках видны чьи-то следы. Гаврила Олексич придержал коня, ожидая, что вот-вот распахнется тяжелая дверь и выбежит его хозяюшка, простоволосая, не успев по-замужнему заложить тяжелые шелковистые косы... А из дому уже стали доноситься визги и радостные крики женских голосов.

Отворилась знакомая с детства дверь, и в ней показался седой сторож, Оксен Осипович, в синем охабне. Он спускался по ступенькам медленно и, сняв меховую шапку, низко поклонился боярину. А где же лапушка?

— Здравствуй, друже родной! — сказал Гаврила Олексич.— Где же моя хозяюшка? Или занемогла? — сходя с коня и отдавая поводья подбежавшему челядинцу, спрашивал он.

А во двор уже въезжали веселые дружинники, и все кругом наполнилось шумом, звоном оружия и громкими приветствиями.

Оксен Осипович бросился к Олексичу и припал к его плечу:

— Нету боярыни нашей, Любавушки твоей! Нянюшки тебе все расскажут. Мне невмоготу. Эх! — И старик, махнув безнадежно рукой, быстро засеменил к воротам, пробираясь между шумевшими всадниками.

Из дверей выбежала старая кормилица. Одной рукой она придерживала накинутую на плечи шубейку, другой поправляла съехавший на сторону платок на седой голове. Семеня слабыми ногами, она опустилась на колени и стала причитать:

— Зачем долго не приезжал? Зачем в Орде гулял, женушку-лапушку свою позабыл?

Гаврила Олексич наклонился, нежно поцеловал старушку в голову, сильными руками поднял ее и сказал тихо:

— Да говори толком всю правду, что случилось с моей боярыней?

Кормилица, всхлипывая и вытирая широким рукавом глаза, принялась рассказывать:

— Она много плакала и мне так говорила: «Узнала я, что мой хозяин в Орде себе другую жену завел, меня, бедную, позабыл. Жить больше не хочу. Руки бы на себя наложила, да боюсь гнева божьего...» И два дня назад обняла она меня крепко, так горячо, будто прощалась, просила детей беречь и к вечеру на коне уехала из дому, никому ничего не сказав.

Пока старушка объясняла, на крыльце уже собрались другие нянюшки и служанки, прибежали и его дети: мальчик и девочка. Все говорили, перебивая друг друга, некоторые утирали слезы. Гаврила Олексич, схватив на руки обоих детей, закричал:

— Эй, хватит! Довольно охать и кудахтать! Я знаю, куда уехала боярыня. Завтра я ее домой привезу на тройке с бубенцами. А сейчас ступайте обратно в хоромы. Принимайте гостей долгожданных. Накормите моих дружинников.

Все бросились в дом. А перед Гаврилой Олексичем остановилась высокая и дородная главная домовница Фекла Никаноровна и, удерживая его за рукав, вкрадчиво сказала:

— Я тебе открою, свет наш ненаглядный, где ты найдешь свою боярыню. Я уже все разведала. Она побывала у бабок вещих, и те наговорили ей бог весть чего. Вот и уехала она в женский скит. Постриг хочет принять, монахиней сделаться. Молодая женская кровь играет,— чего с досады не придумаешь!.. Постриг! Шуточное ли дело! Вот какой узел скрутился! А ты его сумей распутать...

Глава десятая

НЕЗАДАЧА

В день приезда Гаврила Олексич вел себя необычно, дружинники косились на него, но спрашивать не решались.

— Затуманился наш сокол!.. Вестимо дело: сколько дён ехал, подарков сколько на вьючных конях вез, а лапушка дома его и не встретила.

— Сидит теперь туча тучей за столом и прямо из ендовы романею пьет.

— Куда же боярыня уехала?

— Да не уехала, говорят тебе... Сбежала!

— Ой ли! Может, ее какой лихой молодец чернобровый силой увез?

— Тише ты! Не смей такого слова молвить!

— Не я говорю. От боярских поварих слышал.

— Поварихи же мне иное сказывали: в скит боярыня на богомолье уехала, а домовница обмолвилась, будто решила она постриг принять. Надоело без сроку Гаврилу Олексича ждать, а он, говорят, в Орде завел себе другую жену, татарку. Вот боярыня и затужила. Кровь-то у нее молодая, горячая, кипит,— вестимо, дурман-то в голову и кинется.

— Верно! А может, ее опоили. У боярина недругов немало.

— Зачем! Это она от обиды. Такую умницу-красавицу, как наша боярыня, и вдруг на басурманку сменить.

— А где же она, басурманка-то? Может, ее и не было?

— Нет, была! Пленные сами видели. Вот они и обмолвились...

— Все же сам подумай: пóстриг! Шуточное ли дело, ведь опосля оттуда возврата нет...

Все разговоры, однако, сразу оборвались, когда забегали слуги и стали сзывать некоторых близких дружинников в гридницу на беседу к боярину.

Не всех удалось собрать: одни ушли по своим дворам, других не могли добудиться,— спали крепким сном после тяжелой дороги.

Оправляя кафтаны, приглаживая длинные кудри, туже затягивая пояса, дружинники поднимались по скрипевшим ступеням в знакомую издавна гридницу. Все, казалось, на месте, как раньше бывало: и большие образа в углу в серебряных ризах, и скамьи, крытые червленым аксамитом. Так же сквозь обледенелые слюдяные оконца пробивались солнечные лучи и веселыми пятнами играли на широкой скатерти, расшитой мудреным узором.

Еще утром, повидав всех домашних, Гаврила Олексич собрался пойти к Александру Ярославичу, чтобы подробно рассказать ему о своей поездке к Батыю, но узнал, что князь на охоте и вернется в Новгород только дня через два. Значит, тем временем можно было заняться своими делами и отдохнуть.

Сейчас, без кафтана, в расстегнутой рубашке, с голой грудью, на которой виднелась серебряная цепочка с иконкой и ладанкой, он сидел, откинувшись назад, в красном углу, широко расставив на медвежьей шкуре длинные босые ноги. Татарские пестрые сафьяновые сапоги небрежно валялись под скамьей.

Он тяжело дышал и обводил угрюмым взглядом входивших, которые ему низко кланялись и становились кучкой близ двери. Возле Гаврилы Олексича, на краю стола, красовалась большая деревянная ендова и чеканной работы ковшик.

— Здравствуй на многие лета, Гаврила Олексич,— сказал старший из дружинников, высокий и степенный, поглаживая густую рыжеватую бороду и пытливо всматриваясь в побледневшее, но по-прежнему красивое лицо Гаврилы, то и дело облизывавшего сухие, воспаленные губы.

— Здравствуйте, ребятушки! — воскликнул тот, будто очнувшись от забытья.— Садитесь поближе. Сейчас потолкуем. Эй, челядь! Подайте новый жбан с медом и чаши, да не малые, а побольше.

Слуги забегали, доставая с деревянных резных полок, тянувшихся вдоль стен, серебряные кубки и узорчатые заморские чаши.

Олексич подождал, пока слуга, стоя на коленях, обернул ему ноги цветными онучами, и сам натянул сапоги. Он встал, слегка покачиваясь, пока другой слуга помог ему надеть кафтан и опоясаться серебряным поясом. Поведя плечами, он провел рукой по волосам и сел в старое резное кресло. Держался он прямо, глядел зорко и только воспаленные, покрасневшие глаза говорили о долгих часах раздумья, проведенных в одиночестве возле жбана с заморской романеей.

— А где Кузьма Шолох? Эй, Кузя! — крикнул Гаврила Олексич так громко, что, казалось, на дворе его услышали.

— Здесь я, здесь,— ответил весело Кузьма, входя в двери и застегивая кафтан.— Едва меня отлили ледяной водой. Теперь я в полной справе.— Он улыбнулся задорно, низко поклонился и скромно уселся на скамье возле двери, всматриваясь в боярина, стараясь разгадать, что он надумал.

Тот выждал, пока слуги не расставили посуду и не налили в кубки и чаши темного меду или заморского густого вина.

— Ну, живо поворачивайтесь и уходите отсюда,— сказал он челядинцам.— Да прикройте двери. А здесь, кто помоложе, пусть подливает ковшиком из жбана.

Все взяли в руки чаши и кубки и ждали.

— Я вас призвал к себе, други,— сказал Олексич и замолчал, прикрывая глаза большой крепкой ладонью.

— Верно, немец опять зашевелился? — осторожно прервал воцарившуюся тишину старший дружинник.

— Это дело нам не новое,— ответил, медленно опуская

руку, Гаврила Олексич.— Немцы всегда против нас зубы точат, и с ними счеты мы сведем очень скоро.

— То-то мы разгуляемся! — весело воскликнул Кузьма Шолох.

— Погуляем! — поддержали другие голоса.

— Нет!.. Сейчас у меня другое дело. На это нужна ваша хитрость...— Он задумался на мгновение и, тряхнув головой, добавил: — Нужна еще... малая толика озорства. Недаром же мы все Васьки Буслаева внучата.

— Верно, верно,— загудели дружинники.— С тобой мы не прочь и поозорничать... Только пока нам невдомек, куда ты речь клонишь.

— Так и не угадали? А ты как смекаешь, Кузя?

— Мне думается: не на охоту ли ты нас зовешь? Бурнастая лисичка сбежала, да не простая, а с серебристой спинкой.

— Верно, Кузя, верно! И вот что нам нужно сделать. Тут главное — мешкать нельзя. Кое-кто уже норовит захватить драгоценную лисичку. А нам надо этих охотников перехитрить...

— Пойдем, непременно поймаем! — воскликнули дружинники и переглянулись, сообразив, к чему клонит речь Гаврила Олексич.

— И медведя мы ловили и на волков ходили. Нам ли не освободить лисичку.

Гаврила Олексич встал и, опираясь руками на стол, вполголоса начал объяснять свой план:

— Смотрите, сейчас домой к своим женам да сестрам не отлучаться! Если вы там обмолвитесь одним словом, завтра уже будет знать весь Новгород. Берите из моих конюшен свежих коней, седлайте, и мы тотчас же выезжаем.

Глава одиннадцатая

ЗАМУТИЛА ТУГА-ТОСКА

Верстах в двадцати от Новгорода, вниз по течению седого пенистого Волхова, на правом его берегу, среди березовых перелесков, затаилась женская обитель святой Параскевы-Пятницы. Купцы-кожевники братья Ноздрилины сперва возвели каменную церковь в память усопшей бабки своей Прасковьи Дормидонтовны, прозванной «Кремень», положившей начало богатству семьи Ноздрилиных, которые развернули большую торговлю с заморскими городами, поставляя им кожи, волос, щетину и шерсть, а главное — всевозможные меха.

В эту церковь с тех пор потекло паломничество, главным образом женщин, приходивших со всех концов новгородской земли. В народе укрепилось поверье, что горячая молитва святой Параскеве-Пятнице помогает и в бабьих болестях и во всяких женских печалях. Сведущие странницы-богомолки объясняли, что сама святая Параскева в жизни много претерпела от изверга мужа и от тринадцати детей, рождавшихся с великой трудностью. И после смерти великомученица продолжала жалеть всех, кто приходит к ней изливать в слезах и молитвах свою тяжелую бабью долю.

Братья Ноздрилины не ограничились постройкой церкви, а срубили целый скит из еловых и сосновых бревен, со всеми службами, общежитиями, конюшнями, складами, баней, погребом, коптильней для рыбы и пристанью для монастырских рыбачьих лодок.

Игуменьи избирались с высокого благословения новгородского архиепископа особо суровые, неулыбчивые, которые сумели бы держать в страхе божьем и повиновении всех монахинь и послушниц, прибывавших из ближних и дальних новгородских пятин. Игуменьи должны были строго и неусыпно блюсти монастырский порядок и добро, не допускать расточительности и наказывать нерадивых, зорко присматривая за мастерскими — ткацкой, вышивальной, иконописной, златошвейной, за пасекой и монастырским садом, где зрели яблоки, вишни и тянулись гряды кустов крыжовника и смородины.

Однажды после благовеста к заутрене в покои игуменьи, матери Евфимии, прибежала юная Феклуша, «послушница на побегушках», и, запыхавшись, рассказала:

— Сегодня, только что сторож Михеич пошел ворота отпирать,— глянь, а к скиту кто подъехал-то! Боярыня, настоящая боярыня, молодая, с жемчужными подвесками в ушах. Сама видела, как она платок с головы сдернула и, простоволосая, пошла к воротам. А Михеич чего-то перепугался и перед ней ворота снова запер. И говорит, что боярыне не иначе как грозит большая беда, наверное старый муж убить хочет. Почему, говорит, она руки все ломает и тайком слезы смахивает, а сама пригожая да нарядная... И с нею две чернавки. Все трое на конях верхами, точно из татарской неволи прискакали.

— Да где ж они? Сюда, что ли, идут?

— Нет, нет, мати Евфимия! Михеич их не пускает и никак не хочет отпереть ворота.

— Экой старый корень!

— Не хочет, ей-ей не хочет! Я говорю ему: «Отворяй,

Михеич, пущай боярыню. Видишь, как устала с дороги». А он все одно отмахивается: «Может, за ней вдогонку сейчас боярин прискочит с молодцами и первому мне накладет по загривку. Знаю мужей обманутых!» Так и сказал: «Коли ежели мать-игуменья прикажет, то пусть и примают гостью послушницы. А я от беды ухожу подальше на Волхов сигов ловить».

— Вот неуёмный старик, путаник! Беги к матери Павле, скажи, что я велела ворота отворить, а боярыню у себя в келье принять. Да чтобы сейчас же затопили баньку.

Феклуша помчалась со всех ног, а мать-игуменья стала облачаться, чтобы показаться прибывшей во всем своем великолепии.

Прибывшую молодую боярыню поместили в келье ключницы, матери Павлы, и та сама с ней сходила в жарко натопленную баньку, где они обе мылись и обливались квасом. Мать Павла потом шептала на ухо игуменье, что у молодой боярыни все исправно, никаких бесовских знаков или синяков не видно. Сама мочалкой ей терла и спину и живот. Тоже неприметно, чтобы она была на сносях,— хоть небольшая, но складная и в юном теле. Жить бы ей и поживать в любви и радости, а вот заладила одно: «Примите меня в скит, хочу постриг принять».

— Мать честная! — воскликнула игуменья.— Да ведь если она к нам в обитель вступит, то вклад богатейший внесет и казной и угодьями. Какие земли, пашни и покосы наш скит сможет от нее заполучить в вечное владенье! Надо немедленно свершить над боярыней постриг, пока она не одумалась назад домой не уехала. Феклуша, попроси ко мне отца Досифея. Мы с ним все обсудим.

Глава двенадцатая

В СКИТУ

Любава стояла на коленях на подложенной черной бархатной подушке посреди храма, перед аналоем с образом пресвятой богородицы. Рядом с ней старая монахиня бережно держала на руках длинную черную одежду и черный же куколь. В эту одежду будет облачена после пострига молодая боярыня. Ее длинные белокурые распущенные волосы ниспадали по спине. Сегодня, после пострига, шелковистые волосы будут отхвачены резаками и упадут на холодный каменный пол.

Пока еще только послушница, Любава крепко сжимала маленькие руки. Полубезумным взглядом она уставилась

на большой образ богоматери с младенцем на руках и сухими дрожащими губами тихо шептала то слова молитвы, то какие-то бессвязные жалобы: «Господи, укрепи веру мою! Помоги, мати божия, исполнить волю господню! Изгони мою слабость!»

Позади молившейся стояла величавая и суровая игуменья Евфимия. Строго сдвинув черные брови, она опиралась на высокий посох с золотым набалдашником. Игуменья зорким, как бы скорбным, а иногда хмурым взглядом посматривала то на маленькую боярыню, то на лицо Досифея, иеромонаха, стоявшего возле боярыни и тихо твердившего, склоняясь к ее уху:

— Молись, чадо мое... и повторяй слова, издревле реченные: «Аз, раба божия, грешная...»

Но боярыня как будто его не слышала, и совсем другие слова слетали с ее бледных дрожащих губ.

Игуменья сделала глазами строгий знак монашке, стоявшей поблизости с небольшим медным подносом, на котором был серебряный ковшик с теплым вином, подносимым причастникам. Монашка подошла ближе. Стоявший рядом с Досифеем громоздкий, краснолицый, с рыжей бородой дьякон взял ковшик, поднес к устам Любавы и пробасил:

— Испей, дочь моя, теплоты на поддержание сил телесных.

Хор монахинь на клиросе пел необычайно скорбный псалом, говоривший о бренности земной жизни, о тщете и суетности всех мирских стремлений и радостей.

— «Свете тихий святые славы, пришедый на запад солнца, видеста свет вечерний...» — жалобно выводили нежные женские голоса, и делались более грустными лица стоявших рядами монахинь, старых и молодых, в черных рясах, истово крестившихся и одновременно опускавшихся на колени или бесшумно встававших.

«Послушница для побегушек», Феклуша, мышью пробралась среди стоявших монахинь и проскользнула к самой игуменье. Та сурово скосила на нее глаз, но, увидев встревоженное лицо черницы, величаво склонилась и подставила ухо.

— Приехали! Много молодцов... На лихих конях... Одни ворота ломают, другие поскакали в обход скита. Там теперь у ворот мать Павла с ними бранится и прочь гонит. Послала спросить, святая мать игуменья, что ей делать?

— Скажи, чтобы крепилась во славу божию. Только господь нам поможет, и беси окаянии все отринутся.

Точно порыв ветра и шорох пронеслись по рядам безмолвно стоящих монахинь, которые слегка зашевелились

и потом снова застыли в благоговейной тишине. Феклуша исчезла. Игуменья, качнув утвердительно головой, посмотрела многозначительно на Досифея:

— Поспешай! — и, повернувшись к пышнотелой монахине, сестре «на ключах», прошипела: — Свечи!

Две черницы пошли по рядам, раздавая молящимся тонкие восковые свечи. Все зажгли одна от другой, и храм озарился множеством огоньков. Хор стал разливаться еще более скорбным антифоном, какие обычно слышатся при отпевании покойников: ведь раба божия уходит добровольно из мира, отказываясь от всех житейских радостей, и становится верной «рабою Христа».

Отец Досифей снова склонился к стоящей на коленях Любаве и продолжал настойчиво внушать:

— Повторяй, чадо мое, что аз тебе реку: «Добровольно хочу чин ангельский принять...»

Черница вставила в сжатые руки боярыни толстую зажженную свечу, и в дрожащем ее свете уже можно было яснее различить нежные черты бледного лица и крупные слезы, катившиеся из-под опущенных ресниц.

Тщетно отец Досифей склонял свое волосатое ухо к устам Любавы, он не мог уловить ни одного ее слова. А игуменья продолжала твердить, будто не замечая молчания Любавы:

— Она уже говорит... Говорит все, что положено. Продолжай, отец Досифей. Свершай постриг! Где резаки?

— Здесь, у меня резаки! — прогудел дьякон, держа в руках большие полузаржавевшие ножницы.

— Чего ждете? — торопила игуменья.— Отрезай четыре пряди крестообразно на голове и выстригай поскорее гуменцо...

Боярыня, зажмурив глаза и крепко сжав губы, больше не произносила ни слова. Вдруг ее маленький рот полуоткрылся и засияли удивлением и радостью глаза: она услышала рядом такой знакомый, такой родной голос:

— Любава! Любушка моя! Цветочек вешний! Каким злым ветром тебя сюда занесло? Ты зачем здесь, моя ласочка?

Любава, точно очнувшись, вскочила на ноги и уронила свечу. Перед ней, в полумраке храма, в сизом дыме душистого ладана стоял он, ее любимый, долгожданный муж и смотрел на нее веселым, ласковым взглядом.

Она покачнулась и, протянув вперед руки, бросилась к Гавриле Олексичу, но, потеряв последние силы, упала плашмя на каменный холодный пол.

— Ты откуда, бесстыжий басурман, взялся? — визгли-

во закричала, забыв свой сан, игуменья.— Какая тебе здесь надоба в женской святой обители? Вон отсюда, охальник, нечестивый татарский перевертыш!

Все монахини, смешав ряды, бросились в стороны и столпились в углах. А в храм, стуча сапогами и копьями, входили дружинники и громко переговаривались. С гневным, оскорбленным видом, замахиваясь посохом, игуменья направилась к Гавриле Олексичу, а он, как бы ее не замечая, бережно подхватил на руки потерявшую сознание Любаву и быстро пошел в выходу. За ним и дружинники с шумом стали покидать храм, поглядывая на оторопелых монашек.

Пение на клиросе прервалось. Все певчие застыли в изумлении. Лишь одна игуменья продолжала стучать посохом о пол и кричала:

— Окаянный безбожник! Владыке пожалуюсь! В Киев к самому митрополиту поеду! Он на тебя нашлет и грозу, и страх, и трепет!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Глава первая

ДЖИНН ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«...Вчера мне приснился такой необычайный сон. Будто бы я шел пустынной степью, погружаясь в воспоминания, спотыкаясь о камни, по которым скользили зеленые ящерицы, иногда извивалась золотистая змейка.

Вдруг раздался короткий свист ветра и оборвался. Точно большая темная птица промчалась мимо и скрылась в туманных сумерках.

На перекрестке извилистых пыльных дорог, на заросшей дикими травами «Могиле неизвестного дервиша» задумчиво сидел мой Джинн.

Много лет я не видел его, но сразу узнал по смуглому прекрасному лицу, по бирюзовым светящимся, пронизывающим глазам, по его темно-лиловой легкой одежде, расшитой золотыми узорами, с алмазными блестками. Когда я подошел ближе, глаза его потемнели от гнева и стали черными.

Он заговорил... И слова его, тихие и мелодичные, бархатными переливами долетали до меня, как обрывки древней дивной песни:

— Ты забывал меня? Ты уходил от вечности? Ты шатался по шумным базарам, в беспокойной толпе, и пропадал в трущобах, где враждуют завистники и неверные? Месяцы проплывали бесследно, а ты забывал восторги творчества и полеты по синему Эфиру к сверкающим созвездиям...

Затаив дыхание, я молчал, стараясь не пропустить ни одного слова моего могучего, своенравного покровителя, надолго меня покидавшего.

— Я сегодня являюсь перед тобой в последний раз. И если я увижу, что ты отвернулся от бессмертной мысли

и от бесед с великими тенями прошлого, борцами за ослепительные дали,— ты меня никогда больше не увидишь.

Я ответил:

— Долго я скитался по свету, разыскивая тебя, свободный неукротимый гений, и не мог заметить хотя бы мимолетную тень, хотя бы какие-либо полустертые твои следы...

Он пошевельнулся, и светлый отблеск его заколебался на серой земле, как жемчужное пятно лунного света.

— Где твоя неистовая подруга — Мысль? Где она, уводившая тебя в необычайное? Почему я не вижу ее рядом с тобой? Разве и она от тебя отвернулась?

— Нет! Ничтожные, не сумевшие погубить меня, по безумию и злобе убили мою легкокрылую, доверчивую подругу. С тех пор я скитаюсь, я ранен, я одинок и не нужен людям...

— Ты бредишь! Сделайся им необходимым! Добьешься ты этого только своей волей... Человек умирает, но Мысль его остается бессмертной... Я уже вижу легкую тень твоей стремительной подруги снова рядом с тобой...

Джинн выпрямился. Его стройный силуэт четко вырисовался на вечернем небе, где вдали вспыхивали яркие бесшумные зарницы. Он указал на запад:

— Твой путь направь туда! Там на необозримой равнине будут страшные бои. Ты увидишь там и великое мужество защитников своей родины, и неодолимую волю завоевателя. И те и другие сильнее железа и огня. Будь среди смелых, и ты о них расскажешь другим...

Величественный облик Джинна становился все прозрачнее и, наконец, исчез.

Налетевший холодный ветер шелестел полузасохшими стеблями растений. Могила была пуста и печальна. И я решил направиться на запад, в сторону загоравшихся и потухавших зарниц.

Такой странный сон я увидел. Сбудется ли он?..»

Глава вторая

В БАГРОВЫХ ЛУЧАХ

Когда кончились теплые дни, осень подула холодными ветрами и морозные утренники заставили вспомнить о меховых шубах, Юлдуз-Хатун впервые услышала точные сроки, когда хан великой татарской орды решил броситься в стремительный набег на «вечерние страны»...

К этому времени веселые певучие ручьи затянулись ледяной корой, реки по берегам обросли наледью, обещая скоро замерзнуть совсем. Тогда все пути окажутся удобнопроходимыми не только для многотысячной конницы, но и для верблюжьих караванов и обозов, скрипучих арб, увлекаемых откормившимися за лето могучими круторогими волами.

Тихая Юлдуз-Хатун вместе со своей верной рабыней китаянкой И Ла-хэ все время проводила в небольшом саду, устроенном вокруг золотого домика за высокой каменной оградой. Китаянка И Ла-хэ еще ранней весной уезжала на маленькой лошадке в степь, отыскивала там любимые на ее далекой родине растения и привозила ирисы, тюльпаны и другие красивые цветы, а также целебные травы. Все они были старательно рассажены на грядках, вдоль дорожек, искусно переплетавшихся по хитроумному рисунку строителя дворца Ли Тун-по. Он же устроил легкую, точно кружевную, беседку, какие на его родине обычно ставятся над дворцовыми прудами. Через сад проходила канавка, выведенная из родника, находившегося выше города Кечи-Сарая. Большой арык прорезал всю новую столицу и ниспадал несколькими каскадами. Он вращал колеса небольшой водяной мельницы, где перемалывалась самая тонкая пшеничная мука на надобности дворцового стола.

Посреди сада находился бассейн, обложенный цветными камешками. В нем плавали маленькие красноперые рыбки. Юлдуз-Хатун любила кормить их, когда при звоне ее колокольчика они всплывали веселыми стайками.

Этой осенью Бату-хан по многу дней не навещал Юлдуз-Хатун, все время был в разъездах, проверял отдельные части своего огромного войска или совещался с темниками, подготовляя поход на запад. Он должен был начаться внезапно и стремительно.

Однажды Бату-хан приехал к Юлдуз-Хатун под вечер. Они сидели одни в кружевной беседке, и тут у них впервые произошел спор. Юлдуз-Хатун сказала, опустив глаза:

— Прости, что я коснусь задуманного тобой, но о чем я знаю только понаслышке. Я хочу высказать то, что томит мое сердце. Ведь я люблю тебя не за то, что ты непобедимый полководец и великий правитель народа. Я впервые затрепетала, увидев тебя еще тогда, когда ты был гоним и когда, как лихой джигит, ускользнул от убийц на захваченном тобой чужом белоснежном коне. С тех пор мое маленькое сердце лежит на твоей ладони и мысли мои вьются постоянно вокруг тебя...

Юлдуз-Хатун замолкла и с тревогой наблюдала, как последние лучи заходящего солнца, пробившись сквозь по-

желтевшую листву деревьев, багровыми пятнами упали на смуглое суровое лицо, такое близкое и родное. От порывов ветра эти красные пятна шевелились, и она подумала о потоках алой крови, всегда проливавшейся по мановению жестокой руки этого, сейчас так тихо и мирно сидящего рядом с ней человека.

— Скоро мы с тобой расстанемся,— сказал он.— Впервые я поеду без тебя.

— Это в твоей воле! — И Юлдуз-Хатун закрыла глаза узорчатым рукавом.

— Ты плачешь?

— Как всегда, когда ты хочешь меня покинуть... Я хочу тебя спросить. Можно?

— Говори.

— Для чего ты начинаешь еще один поход?

Она увидела, как брови удивленно поднялись и глаз скосился, недоверчивый и пытливый.

— Почему ты это спрашиваешь? Ты давно знаешь, что я должен выполнить завет Священного Правителя. Он приказал, чтобы непобедимое войско монголов дошло до «последнего моря».

— А для чего тебе надо выполнять то, что завещал этот...— она боялась сказать, но все-таки, пересилив себя, сказала,— страшный старик?..

При этих словах Бату-хан вздрогнул.

— Он же ненавидел и боялся твоего отца, Джучи-хана. Поэтому теперь он бы ненавидел и тебя, завидуя твоим победам.

Один глаз Бату-хана прищурился, и легкая улыбка скользнула по губам.

— Ты, Юлдуз-Хатун, самая смелая во всей моей Синей Орде. Ты одна сказала мне то, что не решился бы прошептать ни один из самых храбрых воинов.

— Моя любовь к тебе сильнее страха. Поэтому я скажу тебе еще кое-что. Ты необычайно раздвинул границы своего царства. Укрепи и сбереги его... И еще скажу... Не разрушай столицы урусов Кыюва, а сделай ее своей второй столицей и передовой крепостью против «вечерних стран»...

Бату-хан в гневе вскочил:

— Кто тебя научил так говорить? Сама ты не смогла бы это придумать. Твой совет — это женские гаремные разговоры и страхи! Я не могу нарушить данное слово. Я обещал моим воинам, что каждый, кто ворвется в Кыюв, сможет отломить кусок золотой крыши с дома бога. Довольно и того, что три года назад я обещал войску, что будет разграблен богатый город урусов Новгород, но

я не дошел до него, застряв с войском в непроходимом болоте, мои багатуры скажут, что я хвастун и не выполняю своих обещаний.

Юлдуз-Хатун завернулась с головой в свое легкое черное покрывало.

— Опять слезы?

— Долго ли ты будешь в походе?

— Двенадцать лун.

Уже уходивший Бату быстро повернулся, подошел к Юлдуз и жесткой рукой схватил ее за нежное плечо. Он быстро стал шептать:

— Подари мне сына! У меня много сыновей, но я с горечью вижу, что среди них нет полководца. Нет похожего на солнце! Нет у меня достойного наследника! Все мои сыновья между собой дерутся и ссорятся, готовые отравить друг друга. Наследником может стать только тот, кто умеет повелевать. А такого нет!

Юлдуз-Хатун стыдливо закрыла лицо руками и сказала:

— Потому я и хочу, чтобы ты никуда больше не отправлялся, а довольствовался твоим блистающим, как солнце, царством небесной Синей Орды, чтобы ты оставался в Сарае.

— Почему?

— Потому что я уже надеюсь и даже уверена, что скоро я тебе подарю сына, и у него будут твои зоркие глаза, твоя смелость и твое уменье повелевать...

Бату-хан стоял задумчивый, озаренный багровыми лучами заходящего солнца:

— Для меня смелый доблестный сын будет высшей радостью. Весь поход я буду думать о тебе и ожидать твоего драгоценного для меня дара. Но я отправлюсь в поход в назначенный мною день... Чтобы оставаться могучим, я должен раздавить моих соседей, или они раздавят меня.

Глава третья

ГНЕВ БАТУ-ХАНА

Бату-хана редко кто видел разгневанным. Смуглое сухое лицо его, точно выточенное из старого ореха, всегда казалось спокойным и невозмутимым в самых потрясающих обстоятельствах, хотя в сердце его, может быть, бушевали вихри. Так, в разгар боя, отчаянной атаки «бешеных» или штурма города вся сила воли, напряженной мысли полудикого ума, злорадства или досады — все достигало высшей

силы, сжатое, словно в клещах, в несокрушимый алмаз, который все может разрезать, вспыхивая холодными искрами сухих коротких приказаний.

В таких случаях особенно сверкал прищуренный глаз и левый уголок рта с изогнутым разрезом сухих губ слегка приподнимался, показывая оскал хищных зубов. Его смуглое холодное лицо освещалось мимолетной усмешкой, самоуверенной, убежденной в своем могуществе и неизменной боевой удаче.

При этом Бату-хан не раз говорил:

— Могучий бог войны Сульдэ еще от меня не отвернулся!

Но в этот роковой день Саин-хан почувствовал угрозу возможной опасности. Всегда полагаясь только на себя, считая, что для него нет ничего невозможного, в этот день он почуял веяние черного крыла беды, и ему представилось вдруг страшное крушение задуманного похода, развал величественного плана завоевания вселенной, плана волнующего, задуманного его более счастливым, но ненавистным дедом.

Чтобы проверить свои опасения, Бату-хан созвал «малый совет» из семи высших умудренных опытом чингизидов и багатуров. Однако, из гордости решив пока не раскрывать перед ними возникших тревог, он надеялся в разговоре навести своих собеседников на те же мысли, но сделать так, чтобы эти опасения исходили как будто от них самих.

В назначенный час все входили, скрестив руки на животе, в комнату, украшенную при входе двумя позолоченными китайскими «драконами счастья». Комната «великого приема» небольшая, квадратная. Пол затянут хорезмским красным ковром. У задней стены разложен, поверх первого, другой небольшой шелковый персидский ковер с причудливым рисунком. Здесь посередине лежит стопка квадратных, выделанных до нежности замши, кусов толстой верблюжьей кожи. На стене, над этим священным местом, прикреплены два «туга» — знамена правого и левого крыла монгольского войска. Между ними — девятихвостый «туг» джихангира, Повелителя Вселенной и начальника всех монгольских сил. Среди восьми густых черных хвостов яка посредине выделялся длинный рыжий хвост знаменитого Чингиз-ханова жеребца.

Эта стопка из двадцати семи (три счастливых девятки!) верблюжьих кож, заведенная Потрясателем Вселенной, являлась священным походным троном внука его — Бату-хана. Все монголы помнили однажды сказанные Бату-ханом слова: «Полководец не должен возить с собой золотой трон.

Он должен отбирать золотые троны у покоренных владык и переливать их в кубки для веселых пиров с верными соратниками. Троном великого смелого завоевателя должен быть подседельник его коня».

По правую сторону от трона обычно садились великие начальники отдельных орд, кюряганы[1]-чингизиды: Орду, Шейбани, Гуюк и Менгу. В этот вечер Орду еще не явился. Гуюк (как обычно) тоже прислал гонца с известием, что он заболел. По левую сторону поместились грозные темники: Пайдар, Кадан, Бурундай и великий аталык, воспитатель и военный советник Бату-хана, Субудай-багатур, сверлящий каждого своим единственным глазом.

Бату-хан поднялся по витой лестнице и вошел бесшумной походкой тигра.

— Да сохранит тебя вечное небо на тысячу лет! — склонившись, воскликнули все ожидавшие.

Гибкими движениями хищного зверя Бату-хан уселся на желтой стопке верблюжьих кож и обвел всех внимательным взглядом: никакой тревоги или озабоченности ни у кого на лице он не заметил.

Все подходили к Бату-хану и совершали положенные выражения верности и почтения, целуя ковер между руками. Затем медленно и с достоинством садились вдоль стен. Ловко проскользнувший в комнату арапчонок Саид принес ворох ковровых подушек и подложил каждому под руку. Осталось пустым только место справа от Бату-хана, где обычно сидел его старший и любимый брат Орду.

Общее молчание превал хан Менгу, сказав с приветливой улыбкой:

— Кажется, мы уже накануне «счастливого дня», начала долгожданного похода? Как ты здравствуешь, наш любимый Саин-хан? Силен ли ты? Как дышит твоя грудь? Как могучи твои руки?

Бату-хан равнодушно отвечал, смотря прямо перед собой:

— Благодарение вечному небу! Я здоров. Все благополучно. Ты здоров ли?

Менгу пробормотал обычную благодарность.

Все затихли, ожидая, что скажет Бату-хан. Он начал отрывисто:

— Верно сказал мой почтенный кюряган Менгу. Впереди «счастливый день». Он уже близок. Но... поведайте мне, что вы думаете, все ли у нас благополучно? — Бату-хан обвел всех угрюмым взглядом и остановился на крайнем

---

[1] Кюряган — царевич.

слева хане Шейбани. Тот поправил колпак из пушистой черной лисы, передернул плечом и сказал:

— Как будто все даже очень благополучно. Батыры наши рвутся в поход. Кони сыты, отдохнув за лето. Могучий победоносный бог войны незримо витает над нами и ждет с нетерпением, когда запылит конница. Поход будет так же славен, как все предыдущие походы нашего непобедимого Саин-хана, хотя мы и рассчитывали на большую подмогу, которой, к сожалению, теперь лишились.

Все сидевшие воскликнули:

— Да живет и будет всегда озарен блеском победы великий Саин-хан! Он справится со всеми противниками! Горе тем, кто встанет на его пути!

Бату-хан тихо процедил сквозь зубы, но все расслышали загадочные слова:

— Шейбани-хан что-то знает, но предпочитает умолчать.— Бату-хан перевел свой взгляд на задумавшегося Менгу-хана:— А ты что скажешь, мой всегда правдивый советник?

Общий любимец, всегда беспечный и чуждый коварства, Менгу-хан развел руками:

— Что я могу сказать? Я никогда не боюсь опасности. Если возникает препятствие или угрожает бедствие, надо только удвоить свою осторожность, свое старание и смелость. Но пусть лучше скажет Шейбани-хан то, о чем он умалчивает.

Шейбани посмотрел на всех, потом строго прикрикнул на арапчонка, который стоял у входа, раскрыв рот, внимательно слушая разговор:

— Проваливай отсюда, черный змееныш! — И Шейбани подождал, пока Саид убежал, затем спросил шепотом:— А кто там за занавеской?

— Там находится Юлдуз-Хатун,— сказал спокойно Бату-хан.— Она моя тень и может знать все мои думы. Откликнись, маленькая госпожа этого дворца! Я хочу, чтобы ты лучше слышала нашу беседу.

Нежный голос ответил:

— Я повинуюсь, мой властелин!

Отодвинулась черная шелковая занавеска, расшитая большими золотыми драконами. В глубине небольшой комнаты с низкими диванами вокруг стен сидели две женщины. Их знали все близкие Бату-хана. Это была его маленькая любимая жена Юлдуз-Хатун и преданная ей рабыня, раньше знатная китаянка И Ла-хэ. В раскрытые двери, выходившие на балкон, виднелись низко плывущие облака и багровый закат потухающего солнца.

Шейбани-хан заговорил медленно, растягивая слова:

— Мне думается... что мы начинаем... поход... не вовремя... и даже с большой неудачей...

Все, вздрогнув, замерли, удивленно смотря на хана Шейбани. Слова его показались дерзкими.

— Какой неудачей? — холодно спросил Бату-хан. Но лицо его оставалось непроницаемым.

— Конечно, неудачей! Наше войско сразу уменьшилось на четверть, а может быть, и на две.

— Почему? — так же невозмутимо протянул Бату-хан.

Шейбани, торопясь и волнуясь, стал объяснять:

— Мы давно ждем посольства от кипчакских беков. Но напрасно. Все кипчакские отряды были нами беспощадно разгромлены, и хотя они рассыпались по степи, но упрямо продолжали воевать с нами. Кипчаки храбрые и выносливые противники. К ним не раз подсылались наши послы. Они соблазняли кипчаков, предлагая присоединиться к победоносному монгольскому войску. Если бы они на это согласились, то могли бы принять участие в разгроме «вечерних стран» и набить свои седельные сумы несметными богатствами. Но у кипчаков вместо голов на плечах пустые тыквы с длинными усами и пучком волос на затылке. Отчего они бегут и куда? Кипчаков не менее шестидесяти тысяч кибиток. Они могли бы свободно выставить союзное нам войско в шесть туменов лихих всадников. Но кипчаки бессмысленно убивали наших послов. И теперь, как только наши лазутчики прибывают к ним в кочевья и передают дружеские письма от нашего мудрого советника Субудай-багатура, кипчаки, точно в ужасе, поспешно складывают шатры, вьючат их на верблюдов и уходят на заход солнца.

Все молчали, посматривая на Бату-хана. Тот равнодушно отчеканил:

— В чем же вторая неудача для нас?

— Вторая неудача,— продолжал Шейбани,— это упрямые упорные урусы. Они тоже могли бы выставить войско не менее ста тысяч пеших и конных воинов. Разве устояли бы «вечерние страны» против такого вторжения грозных воинов востока?

— Для чего еще вспоминать об урусах и жалеть, что их нет! — возразил хан Менгу.— Мы достаточно их узнали. Эти бородатые силачи любят свои медвежьи берлоги и не хотят вылезать из них. Они хорошо дерутся только тогда, когда защищают свою родную землю, и не любят вторгаться в чужие. Нечего надеяться на их помощь! Медведям не угнаться за нашей стремительной конницей, все равно они от нас отстали бы по дороге.

— Никто их помощи и не просит,— сказал хан Пайдар.— Кипчаков нет с нами. Подумаешь, какая беда! Фью! — свистнул он.— Они теперь уже далеко и будут бежать без оглядки все дальше, пока не перекинутся через Карпатские хребты. Как союзники кипчаки для нас потеряны, а как враги? Что за противники, которые убегают!

— Но ни забывать, ни прощать кипчаков нельзя! — прохрипел ржавым голосом Субудай-багатур.— Мы их должны ненавидеть как изменников, как подлых шакалов. Если они воюют против нас и вредят нам как предатели, то нет и не будет им пощады! Если и мадьяры тоже станут воевать против нас, то и их мы накажем строже, чем обыкновенных противников. Наш проницательный владыка уже много раз посылал через верных людей письма к мадьярскому королю Беле, напоминая, что он должен встретить нас гостеприимно, как единокровных братьев, и соединиться с нами для дальнейшего похода на «вечерние страны», скрепив союз булатной цепью дружбы.

— А если Бела притворно согласится, а потом изменит нам? — тихо спросил Шейбани.

Участники «тайного совета девяти» впервые увидели всегда невозмутимого Бату-хана, вдруг охваченного яростным гневом. Он внезапно упал вперед на руки, оттолкнув ногой замшевое сиденье, и, несколько мгновений стоя на четвереньках, с оскаленными зубами и сверкающими глазами, был похож на огрызающегося от собак разъяренного волка:

— Вздор! Болтовня! Пустые страхи! Недостойно сказал Шейбани-хан.

Бату-хан вскочил на ноги и в бешенстве продолжал:

— Жалок, ничтожен тот полководец, который, отправляясь в поход, озирается по сторонам, подыскивая союзников... А я думаю, что все то, что для Шейбани кажется несчастьем, на самом деле наша большая удача. Скрытый враг опаснее явного. Какая польза от таких союзников, которые колеблются и которых нам же еще пришлось бы спасать! В гнилое болото их, к злым духам — мангусам! Если наше войско стало меньше, как говорит Шейбани-хан, а врагов стало больше,— то вот как я думаю, и со мной так же думает Субудай-багатур, мой мудрый учитель. Ведь он же меня наставлял в правилах войны, когда мы вторгались в великое царство Цзин[1]. «Если нас мало,— говорил он,— то мы должны нападать, как дикие звери, бешеной стаей.

[1] Царство Цзин — Китай.

Там, где другое войско идет десять дней, мы должны пронестись ураганом в два дня. Тиходумы, тяжкостопы мне не нужны. С ними победы не добиться!» Верно ли я сказал? Так ли ты учил?

— Верно, все верно! — прохрипел Субудай-багатур.

— И мы выступаем немедленно! — горячо продолжал Бату-хан.— Бросаемся на «вечерние страны»! Мы сметем с лица земли всех, кого встретим на пути. Правое крыло нашего непобедимого войска разгромит город урусов Чернигов, затем Переяславль[1] и двинется на поляков и далее на угров[2] или мадьяр. А левое крыло переправится через Днепр и обрушится на Кыюв, сдерет золотые крыши с домов их бога и обратит в золу и пепел эту древнюю столицу урусов. Это будет последний смертельный удар копьем в спину поверженного навсегда в прах когда-то сильного народа...

— Ай, хорошо! Ай, как хорошо! — воскликнули ханы.

— Останавливаться в Кыюве я не буду! — продолжал, задыхаясь, Бату.— Впереди много новой добычи... Очень много! Надо сперва пронестись через страну польского короля, разметать его войско, чтобы оно не затаилось в крепостях и лесах и не поджидало удобного случая напасть на нас сзади. Все войска поляков и их союзников германов, хвастунов с белыми крестами на спине, и других их союзников мы растопчем нашими чудесными конями и смешаем их с пылью дорог... И тогда я займусь сладостной местью! Я нападу на предателей кипчаков и мадьяр и раздеру их в клочки, как барс, вскочивший на спину ревущего от ужаса быка. Там, на равнинах плодоносной угорской степи, я дам передышку нашим смелым воинам и нашим дивным неутомимым коням...

Все замерли, с удивлением глядя на обычно молчаливого Бату-хана. Поднявшись, он стоял, сжав кулаки, бурно дыша, ноздри его раздувались, губы вздрагивали. Он продолжал с злобной усмешкой:

— Я клянусь, что поймаю мадьярского короля Белу и сам перекушу ему горло и напьюсь его крови... Тогда я буду, наконец, свободен и померяюсь силами с другими войсками «вечерних стран». Тогда Шейбани-хан увидит, кто сильнее: быстрая, как ветер, непобедимая монгольская конница или их прославленная медлительная конница,

---

[1] Имеется в виду южный Переяславль на реке Трубеж, притоке Днепра (ныне Переяслав-Хмельницкий).

[2] Угры — венгры.

спрятанная под железными латами и прикрывшаяся тяжелыми щитами...

— Ты удалец! Ты настоящий багатур, мой младший брат! — прозвучал низкий голос. В дверях стоял грузный хан Орду.— Я узнаю в твоих речах могучий голос нашего деда, Священного Правителя, Потрясателя Вселенной!

При этих словах все монголы подняли руки кверху и несколько раз наклонились, произнося тихо заклинания.

Орду подошел к Бату-хану, обнял его и слизал языком с его щек капли пота. Он сам подобрал и сложил в стопку рассыпавшиеся верблюжьи кожи и усадил на них побледневшего, нахмуренного Бату-хана. Тот указал Орду на место рядом с собой и спросил:

— Отчего ты запоздал? Здоров ли ты? Силен ли ты?

Орду отмахнулся и стал скрести пятерней толстую шею.

— Какое горе! Какая потеря! — притворно застонал он.

— Догадываюсь: твоя греческая царевна! — невозмутимо произнес ледяным голосом Бату-хан.

Глава четвертая

ДЕРЗОСТЬ ХАНА НОХАЯ

Все участники «великого совета» с веселыми улыбками переглянулись. Орду засопел и развел руками:

— Она моя, и уже не моя! Ее у меня похитили. Или, может быть, она сама убежала... Но только, как я узнал, она теперь скрывается у твоего, Саин-хан, любимца, молодого буяна Нохая, беспутного сына почтенных родителей.

Раздались удивленные голоса:

— Как? У достойного Татар-хана сын буян и сорванец? Да может ли это быть?

— Вы этого не знаете, потому что последнее время, почти целый год, юный хан Нохай кочевал в степи, охотясь на сайгаков, лисиц и волков. А недавно его отец, когда прошел слух о предстоящем походе, вызвал сына домой, сюда, в нашу ставку. В этом походе должен участвовать каждый чингизид. Поэтому отец надеется, что в походе Нохай остепенится и покажет себя доблестным воином. И что же! Здесь, в ставке, он снова буянит, никому не дает покоя, затевает драки, устраивает попойки. На своем вороном коне с дутаром в руках он подъезжает пьяный к юртам

разных достойных ханов и поет песни, прославляющие их жен и наложниц...

— Дзе-дзе! — воскликнули сидящие, укоризненно покачивая головой.

— Полоумные женщины, услышав песни Нохая, как зачарованные, выходят к нему, а он их хватает, перекидывает поперек седла и вскачь увозит в свое становище. Говорят, что там у него уже образовался целый гарем из похищенных жен, и первой была Зербиэт-ханум, подаренная тобой новгородскому послу...

— А первой распутницей в этом гареме — твоя греческая царевна? — равнодушно спросил Бату-хан.— Почему же ты не зарубил и ее и хана Нохая?

Орду обратился к китаянке И Ла-хэ, сидевшей у ног молчаливой Юлдуз-Хатун:

— Почтенная китаянка! Не можешь ли ты мне уступить пару подушек? Мне трудно сидеть на этом ханском священном троне.

И Ла-хэ бесшумно принесла и положила ковровые подушки, на которых Орду удобно уселся и продолжал:

— Да, я не зарубил Нохая. Моя вина! Наоборот: я обнял его, когда он через день прискакал ко мне, как безумный, держа в руках лисий колпак и повесив пояс на шею[1]. Он просил меня его зарезать и взять пленницу-гречанку обратно, обещал дать в придачу отборного коня, персидский ковер и двадцать рабов. Он поклялся, что будто бы в тот вечер похищения гречанки был совершенно пьян. Но это все неверно. Он снова шутил. Это меня развеселило. Я даже обнял его и сказал, что охотно дарю ему эту ядовитую змею, колючую фалангу, неукротимую дочь скорпиона. Я пожелал им обоим всяких утех. Так, мы вместе, обнявшись, просидели долго, до утра. Я подливал ему вина, радуясь, что благополучно мог избавиться от этой, всегда беспокойной, всем недовольной и требующей невозможного румийки. Нохай тоже был доволен и всю ночь пел песни.

— А все же, думаешь ли ты, что Нохай принесет пользу в предстоящем походе?

— Хан Нохай, несмотря на юность, обладает острым умом полководца. Вот что он говорил, вот что предлагал... Да что это такое? Этот дерзкий мальчишка уже тут!.. Он ничего не боится и каждый день придумывает что-либо новое.

Все остолбенели. С улицы донеслась песня. Чистый задорный мужской голос пел:

---

[1] Знак раскаяния и просьбы о прощении.

Хороши стройные девушки монгольские,
Их глаза сияют, как ночные светлячки,
Летающие весною над нашей степью.
Счастлив тот удалец, который не боится
Держать на ладони такого светлячка...

Все ханы шептали:

— Верно! Верно! Прекрасны наши ночные светлячки! Прекрасны наши монгольские девушки!

А голос издалека продолжал:

Чудесную птицу Симург хранил в своем шатре
Хан Орду, прославленный бесстрашный багатур.
У этой птицы глаза изумрудные
Вспыхивают, как вечерние звезды,
Но ее похитил пьяница и бродяга
Вольный охотник и удалец Нохай.
Он ее за лодыжку приковал
Серебряной цепью к столбу
Близ своей юрты, рядом с любимым конем.

Все ханы посмотрели друг на друга, покачивая головами, и следили, что будет делать хан Орду. А тот, по привычке соединив концы коротких толстых пальцев, шептал:

— Какое счастье! Какую радость послало мне вечное небо! Теперь я могу, наконец, отдохнуть от забот и тревог, которые мне доставляла эта беспокойная женщина из румского царского рода. Занозы и колючки в моей юрте больше нет!

Голос из темноты снова запел:

Прекрасный цветок лилия хранится в золотом дворце.
Сто волкодавов и тысяча воинов ее стерегут.
Ни один отважный сокол не проникнет
В этот кружевной дворец,
Но дерзкая песня бродяги донесется
И до прекрасной белой лилии,
Воспевая красоту ее глаз, стройность бедер
И походку пугливой лани.

Задумчивое лицо Бату-хана осветилось загадочной улыбкой. Прищурив глаза, он пристально стал вглядываться в лицо Юлдуз-Хатун. Та сбросила черное шелковое покрывало, вскочила и ответила ему прямым смелым взглядом черных глаз. Ее бледное лицо, всегда кроткое и покорное, теперь пылало гневом. Она стояла напряженная, подобно натянутой струне, сжав маленькие кулачки.

— Спой ему ответную песню! — тихо и медленно сказал Бату-хан.

— Ему? Такому наглецу и разбойнику? Никогда.

— Спой! Спой и призови его сюда! — настойчиво приказал Бату-хан.— Я хочу его увидеть! Перед собой, здесь!

Высокая китаянка И Ла-хэ склонилась к уху маленькой Юлдуз и что-то стала настойчиво шептать. Юлдуз утвердительно кивнула головой и, взяв дутар, вышла на балкон. Она запела нежным, трогательным голосом. Слова песни отчетливо разносились в тишине заснувшего города:

Усталый путник — гость желанный,
Войди спокойно в этот дом!
Ты повидал иные страны,
Ты нам расскажешь обо всем.

Вдруг Юлдуз-Хатун вскрикнула, отбежала обратно в комнату и кинулась на грудь И Ла-хэ.

На балкон быстро вскарабкался юноша в хорезмском бархатном колпаке, опушенном лисьим мехом, и в полосатом кафтане, подпоясанном серебряным кушаком. В его лице, очень смуглом, поражал самоуверенный взгляд блестящих черных глаз, высокий лоб и задорная улыбка.

Он стремительно упал на колени, подполз к Бату-хану и почтительно склонился к его ногам. Бату-хан от неожиданности откинулся назад. Все повскакали с мест. Юноша воскликнул:

— За мою дерзость прошу казнить меня, но сперва выслушай, великодушный, милостивый Саин-хан! Я привык разъезжать, имея притороченными к седлу аркан и шелковую лестницу с крюком. Я взобрался к тебе самым прямым и скорым путем только потому, что я услышал ласковый призыв. Без таких нежных слов разве я осмелился бы пройти по священным коврам твоего дома? Однако ты оказался в тысячу раз мудрее и проницательнее меня: этой песней, как опытный охотник, ты сам заманил меня сюда, чтобы я понял свой долг...

— Какой?

— Долг монгольского воина — в час великого похода быть в первых рядах твоего войска!

Бату-хан поднял правую бровь и смотрел на юношу недоверчивым взглядом. Нохай четко проговорил:

— Зачисли меня простым воином в самый передовой отряд и прикажи сделать невозможное! — Нохай снова припал лицом к ковру и остался неподвижным.

Бату-хан обратился к хану Орду:

— Почтенный брат, отдаю тебе этого безрассудного. Делай с ним что хочешь.

Орду подошел к юноше, легко поднял его своими, как медвежьи лапы, сильными руками и погладил по щеке:

— Чудак! Шутишь со смертью! Садись здесь в угол и жди, и слушай, что дальше решит сделать с тобой наш любимый Саин-хан.

Бату-хан обратился к своему воспитателю и советнику:

— Мудрый Субудай-багатур! Я уже много раз беседовал с тобой, и вместе мы обдумывали предстоящий поход. И я знаю и помню твои советы. Другие же еще их не знают. Не скажешь ли ты что-либо важное пришедшим сюда моим верным соратникам?

Субудай заговорил кратко, отрывисто, голосом хриплым, как рычанье волкодава:

— Мы должны вспомнить заветы и походы «единственного»... По ним учиться... Вспомним, что объявленное им вторжение в Китай нашим степным ханам показалось сперва безумием. Царство Цзиней имело тогда народ в триста тридцать три раза более многочисленный, чем монголы всех родов и племен нашей степи. Войско Цзиней казалось беспредельным лесом. Но сквозь него, по приказу единственного, стала прорубаться наша бесстрашная конница... Города китайцев имели высокие каменные стены... Неприступные... За ними прятались испуганные жители... Они издали грозили нам большими топорами и мечами и высовывали сделанные из глины и соломы чучела своих страшных богов... И они сами же нам покорно сдавались... Так будет и теперь... Сколько впереди урусов, румийцев, мадьяр, кипчаков, латынцев, франков и других племен? Даже вечно синее небо сразу этого не скажет... Но мы должны помнить и не забывать строгих заветов Священного Правителя, и мы победим. Столицы «вечерних стран» будут опрокидываться, как наши войлочные юрты во время урагана... Наш удар должен быть внезапным и неотразимым... и в том месте, где враг не ожидает... Врага надо обмануть, показать, будто мы его боимся. Крикнуть: «Гаргар!» (назад, обратно!) и отступить. Затем ударить снова, еще более стремительно и бешено, когда он в глупой радости погонится за нами и расстроит свои ряды. Но зачем я это повторяю? Разве вы сами этого не знаете?

Субудай закрыл свой единственный глаз. Он похрюкивал, как кабан. Казалось, что он спит.

— Скажи нам еще что-нибудь, наш почтенный учитель! — обратился к нему хан Орду.

Субудай ткнул пальцем в сторону сидевшего с покорным видом Нохая.

— Твоего племянника назначь тысячником... в отряде самых «буйных»! Там он либо сейчас же сломает себе шею, сцепившись с таким же, как он, смельчаком, либо заставит его покориться. Но, думаю, что через год после того, как он покажет себя настоящим чингизидом... и сделает невозможное, он уже станет твоим грозным темником. Испытай его.

В общей тишине Бату-хан сказал:

— Иесýн Нóхай[1]... Ты докажешь, что у тебя собачий нюх и железная смелость. Возьми с собой в поход свою шелковую лестницу. С ее помощью ты первым влезешь на стену Кыюва, столицы урусов. Сейчас возвращайся через эту дверь в свою юрту. К тебе придет тургауд и объявит мою волю. Разрешаем удалиться.

Нохай подхватил красную шелковую лестницу и, пятясь мелкими шажками, вышел из зала великого совета.

Глава пятая

В ЛАГЕРЕ «БУЙНЫХ»

Они сломали печати еще с одного кувшина с янтарным мазандеранским вином. Они распили его до последней капли, вылитой, согласно обычаю, себе на голову. Бату-хан водил рукой по воздуху, точно желая схватить летающего мотылька.

— Я должен их увидеть, этих свирепых безудержных воинов... Услышать их дикий рев, песни и споры.

— Тебе не подобает идти в это сборище буйных пьяниц и драчунов! — сказал Субудай-багатур. Он оставался спокоен, с каменным лицом, только его шрамы, пересекавшие правый глаз и щеку, после попойки стали багровыми. Он продолжал:

— «Буйные» не знают правил почета. Они недостойны встретить тебя и высоких почтенных людей...

— Почет мне надоел!.. Я хочу увидеть ссору, когда двое хватаются за ножи, и пройти между ними незамеченным, в одежде странника.

— Твоя священная нога, о великий, должна опускаться только на ковер отдыха или вдеваться в стремя похода.

— А сегодня мои ноги будут ступать по тропинке новых испытаний. Пусть меня сопровождает только один безумец Нохай. Принесите мне другие одежды.

---

[1] Иесýн Нóхай — «железный пес», впоследствии обычная кличка хана Нохая.

Субудай-багатур, сопя, встал, подошел, ковыляя, к стоявшему за дверью дозорному тургауду и, вцепившись в его плечо, зашептал ему в ухо:

— Принеси пять самых грязных простых плащей! Пусть десять тургаудов на конях следуют за нами в нескольких шагах и пусть будут готовы к нашей защите.

— Внимание и повиновение! — сказал тургауд и вышел из шатра.

Бату-хан, никого не слушая, продолжал что-то бормотать и ловить мотылька. К нему подполз на коленях дервиш-летописец Хаджи Рахим:

— Ослепительный, позволь и мне идти с тобой. Там «буйные», непокорные воины девяноста девяти племен. Я помогу тебе понимать их ругань, песни и речи...

— Иди и в темноте не упади в яму бедствия. Кто тогда будет писать о моих походах?

Вскоре пять человек, закутанных в старые плащи, вышли из шатра в безмолвие ночи.

Через несколько мгновений застучали копыта коней: несколько всадников последовали за ушедшими...

На равнине среди невысоких холмов горели бесчисленные костры. Посреди, на торговой площадке, лежали верблюды и возле них спали купцы и погонщики, обнимая тюки с товарами. Повсюду, вокруг багровых огней, лежали и сидели разноязычные воины, собравшиеся сюда из отдаленных земель. У них еще не было порядка, начальников, сковавших воинов единой волей. «Буйным» была указана для их лагеря эта равнина неподалеку от реки Итиль. Все ждали похода на закат солнца и собирались группами вокруг тех костров, где слышалась знакомая речь — тюркская, персидская, белуджей, курдов, адыгеев, лезгин и других равнинных и горных племен.

Всюду виднелись небольшие походные шатры, сшитые из войлоков или простых полотнищ, подпертых и растянутых на шестах. Слышались крики и хмельные песни.

Некоторые племена сидели правильными кругами, где посредине пылали большие костры. Воины, тесно прижимаясь друг к другу, слушали рассказы опытных в походах батыров, или бывалых стариков, или переливчатую поэму-песню, длинную и тягучую. Певец тонким горловым звуком выводил старинную песню, сопровождая ее бренчанием на хуре[1], про подвиги дедов, степных славных багатуров.

---

[1] Хур — монгольский трехструнный музыкальный инструмент.

Пять путников, проходя мимо костров, останавливались, прислушиваясь к песням.

— О чем он поет?

— Он поет про Искендера Двурогого, про его войну с рыжебородыми...

Вдруг два всадника с гиканьем промчались наперерез через равнину, догоняя друг друга. Кони прыгали через костры, разбрасывая пылающие головни. Сидевшие ревели, кричали, вскакивали, выхватывали мечи.

Первый всадник, молодой, в арабском чекмене, был без оружия. Его поджарый гнедой конь легко перепрыгивал через высокие огни костров и метался по равнине, стараясь спастись от преследования. Второй всадник, в шлеме, панцире, с копьем наперевес, сидел на вороном коне, пригнувшись и храпя, как разъяренный вепрь. Сопровождаемые проклятиями разгневанного лагеря, враги умчались в сторону дальних холмов.

Вскоре оттуда вернулся только второй всадник. Он ехал медленно, на спокойном сильном широкогрудом вороном коне, осторожно объезжая костры, отвечая шутками на ругательства «буйных». Все уже успокоились и смотрели с любопытством на неведомого силача.

Сбруя его коня была украшена цветной бахромой, седло покрыто замшевым чепраком необычайной белизны. На шее коня, среди серебряных украшений, свешивался странный темный обрубок, напоминающий руку до локтя со сжатым кулаком.

Всадник подъехал к одному кругу, где степенно сидели воины в красных и желтых полосатых халатах. При его приближении улигерчи (певец) замолк, разговоры прекратились. Все рассматривали прибывшего, а он, подражая певцу, вдруг залился высоким голосом:

Я, барс, Утбой Курдистани́, неодолимый в битве воин!
Разбил я тьму неверных, и славы я достоин!
Это хорошо!
Я бежал из плена франков, ускользнув от их оков,
И сложил большую гору из отрубленных голов!
Это хорошо!
Я сразил Джелаль эд-Дина, погрузив в смертельный мрак!
И содрал с него всю кожу, сделав под седло чепрак!
Это хорошо!
Я его повесил руку талисманом под уздой!
И случится с каждым то же, кто с Утбоем вступит в бой!
Это хорошо!

Тогда один из пяти стоявших в отдалении путников, сбросив на землю плащ, подбежал к сидевшим в кругу кипчакам.

— Слушайте меня, медногрудые, железнорукие!

Все повернулись к говорившему. Он был высок, строен, в ургенчском чекмене, с двумя кинжалами за поясом.

— Этот хвастун и наглец никогда не убивал Джелаль эд-Дина, опаснейшего из наших врагов, который еще жив и рыщет по Ирану, преследуемый Джебэ-нойоном, пока не будет пойман и в цепях приведен сюда, к Саин-хану. Если сейчас никто не даст мне светлого меча, прямо бьющего копья и верного коня, чтобы сразиться с этим болтуном и насадить его ослиную голову на острый кол, то, клянусь, я брошусь на него только с кинжалом! Я лучше паду в битве, чем примирюсь с таким лживым хвастуном.

Все кипчаки вскочили. Послышались крики:

— Скажи нам твое имя! Бери мой меч! Бери моего коня! Вот щит и копье!.. Устроим суд аллаха! Он даст победу правому и низвергнет в вечный огонь преступного!

— Мое имя — Железный пес, Иесýн Нóхай, не знающий поражений.

— Это хан Иесýн Нóхай, славный из славных!.. Любимый племянник джихангира Бату-хана!.. Поможем ему.

Кипчаки забегали, принося мечи и копья. Несколько оседланных коней были поспешно приведены, и каждый владелец предлагал своего.

Не колеблясь, Нохай выбрал рослого рыжего коня и легко взлетел в седло. Кипчаки надели на него широкую ременную перевязь с кривым мечом, дали копье и маленький круглый щит.

Утбой Курдистани, натягивая поводья, осаживал своего широкогрудого вороного коня. Сжавшись, оскалив зубы, он злобно поводил глазами.

— Да будет управлять твоей могучей рукой воля неба! — кричали Нохаю кипчаки.

С торговой площадки стали быстро выталкивать и разгонять купцов и их вьючных животных. Подъезжавшие со всех сторон всадники образовали широкий круг, где должен был произойти поединок, суд аллаха. Несколько седобородых стариков вызвались быть беспристрастными судьями.

Схватка началась.

Иесун Нохай помчался яростно на курда и вдруг повернул коня в сторону, когда Утбой хотел нанести ему встречный удар копьем. Пролетев вперед, копье его воткнулось в землю.

Тогда Нохай быстро повернул коня и, набросившись на курда, стал наносить ему молниеносные удары блестящим мечом.

Утбой, видимо тоже опытный воин, сперва ловко отражал удары, но когда шлем его оказался рассеченным, он свалился с коня, который помчался через площадь и был перехвачен зрителями.

Нохай остановился возле лежащего врага и занес копье над его искаженным, залитым кровью лицом.

— Сдаешься ли ты, навозный жук, лживый шакал?

— Я дам тебе выкуп, какой хочешь,— простонал Утбой,— пощади меня!

— Чья белая кожа покрывает твое седло? Говори правду, и я подарю тебе твою подлую жизнь.

— Возьми с меня выкуп,— стонал курд,— моего коня с седлом, все мое оружие, даже кошелек золотых динаров, только ни о чем меня не спрашивай и отпусти!

Нохай опустил копье еще ниже, так, что конец его слегка коснулся лица Утбоя.

— Я возьму весь твой выкуп, но ты сознайся честно, жив ли и где скрывается неукротимый Джелаль эд-Дин?

— Я никогда не только не убивал Джелаль эд-Дина, но даже его и не видел. Я солгал...

В это время на площадку, где происходил бой, вернулся вскачь арабский юноша на поджаром легком гнедом коне. Он приблизился к Нохаю.

— Не убивай этого человека-гиену! Осмотри белую замшевую кожу на седле, и тогда пусть он сожрет труп своего отца!

— Я все скажу! — воскликнул лежащий курд. Он с трудом поднялся и, шатаясь, прошел к своему коню. Расстегнув ремни, он хотел кинжалом отрезать половину кожи, но арабский юноша вырвал чепрак из его рук и развернул. По форме это была кожа, содранная с человека, и когда отогнулась часть, покрывавшая голову, оттуда вдруг рассыпались светлые шелковистые женские волосы...

Крик пронесся по толпе. А Утбой Курдистани, размазывая рукавом обильно полившиеся слезы, всхлипывая, бормотал:

— Это была моя самая любимая, но самая коварная невольница! Я застал ее в греховной близости с моим конюхом, вислоухим губошлепом. Рука этого подлого раба висит на шее моего коня! Я отрубил ее!

Курд снял с себя пояс с мечом, кинжал и положил на землю. Повод коня он передал Нохаю.

— Вот мой выкуп, а вот кошелек с золотыми динарами! Я все потерял: и любимую невольницу, и верного коня,

и честное имя! — И он, спотыкаясь, пошел в сторону под крики и хохот «буйных».

Вдруг над лагерем пронесся громкий голос, подобный хриплому призыву дикого оленя на вершине горы. Это Субудай-багатур на коне, похожем на прежнего саврасого иноходца, утонувшего в болоте на пути к Новгороду, въехал на середину площадки, где происходил поединок. За ним следовали на конях его четыре спутника.

— Слушайте, смотрящие мне в глаза, воины непобедимого Бату-хана! Слушайте внимательно, воины лагеря «буйных»! С вами говорит великий аталык Субудай-багатур! Прекратите драки и ссоры! Готовьтесь к скорому походу для разгрома нечестивых шакалов «вечерних стран»! Великая Яса мудрого Правителя, чье имя непроизносимо, воспрещает всем воинам его победоносного войска враждовать между собой, красть друг у друга, говорить неправду. Кто нарушит этот закон — увидит смерть!

Весь лагерь «буйных» затих. Каждый старался услышать, что прикажет великий непобедимый полководец, одноглазый советник Бату-хана:

— Слушайте новый приказ джихангира: собирайтесь немедленно в десятки и сотни и выбирайте себе начальников. Великий Бату-хан назначит вам тысячников и темника. Из вашего лагеря «буйных», где до сих пор не было ни порядка, ни силы, ни единой могучей руки, с сегодняшнего дня, после приказа джихангира, вырастет передовое храброе войско, которое станет его зорким глазом и чутким ухом. Отныне ни один воин не посмеет больше бродить по военному лагерю великого Бату-хана, ни поблизости от него, без приказания, и если он не будет иметь своего десятка и пайцзы на шее, такой воин-бродяга будет зарублен на месте... А вашим тысячником, по приказу джихангира, будет самый смелый из смелых хан Нохай,— доблесть его вы сейчас увидели.

Все «буйные» стали сговариваться между собой, обсуждая, кого избрать своими начальниками. Только молодой араб не мог забыть своего врага-курда. Он снова увидел его в толпе и протиснулся к нему, горя злобой и бешенством.

— Я, Юсуф ас Сакафи́, клянусь страшной клятвой, что ты, поганый хвастун Утбой, от меня не спасешься! Я поймаю тебя и с живого сдеру твою свиную шкуру, чтобы ею покрыть спину моего осла.

Курд отбежал и, скрываясь во мраке ночи, воскликнул:

— Я спасся сперва от бешеного Иесу́н Но́хая, а теперь и от безумного араба Юсуфа. И это тоже хорошо!

Бату-хан со своими четырьмя спутниками медленно возвращался в свою ставку.

— Все эти разноязычные «буйные» воины особенно будут страшны для мирных жителей «вечерних стран». Они окажутся мне очень полезны, когда в походе я крепко зажму их в своей руке. Между собою они больше враждовать не посмеют. Как передовой отряд, они внесут ужас и смятение в те земли, куда за ними двинутся мои главные тумены. Я их посылаю немедленно против урусов,— пусть они сожгут город Кыюв!

Глава шестая

НАМЕЧЕННЫЙ ПОХОД

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«Джихангир Бату-хан,— да сохранит его всевидящий! — сегодня утром мне сказал:

— Я тебя призвал, мой верный учитель, чтобы ты со всем усердием начал снова записывать то значительное, что должно сохраниться в памяти наших потомков. Я повелел всем темникам, чтобы завтра, в день начала «месяца конских скачек» (1 октября), они подняли свои тумены, посадили на коней и двинули их на закат солнца. Поход должен быть стремительным, как разразившийся в мирной степи бешеный ураган. В этом — удача задуманного. Это принесет небывалые победы, перевернет кверху копытами и животами всех надменных жителей «вечерних стран», чтобы они перестали думать, будто никто не сможет их одолеть и раздавить. Поэтому я начинаю поход внезапно, пока они лежат в мирной дремоте, почесывая за ушами и посасывая сладкое вино...

Эти слова заставили меня задрожать, и колени мои онемели. Саин-хан пристально покосился на меня и спросил:

— Почему твои зубы стучат? Ты боишься?

— Нет, великий! Я не боюсь и не сомневаюсь, что ты сумеешь разгромить «вечерние страны», что ты заставишь их жителей ползти на коленях, почтительно вымаливая крохи твоей милости. Но я боюсь, хватит ли у тебя силы, здоровья и неусыпной осторожности, чтобы избежать удара в спину, когда все уже будет тебе особенно благоприятно?..

Саин-хан вцепился своей жесткой, как лапа орла, рукой в мое плечо:

— Признавайся, кого ты подозреваешь?

— Всех! Всех, кто захотел бы, после одержанных тобою побед, стать на твое место...

— Назови имена! Почему ты отводишь глаза?

— Мне придется перечислять подряд десятки твоих подвластных темников и тысячников. Но разве ты захочешь начать поход ужасом расправы среди твоих помощников?

— А что лучше?

— Лучше заставить тайных врагов усерднее служить тебе!

Я увидел редкое: на темном, как древесная кора, всегда неподвижном лице Саин-хана сжатые губы растянулись, как щель, в подобие улыбки, и показалась белая полоска хищных зубов. Его глаза оставались колючими и недоверчивыми. Он даже мне, своему старому учителю, не поверил и старался проникнуть в мое сердце. Затем он сказал медленно:

— Мой робкий, как дрожащая мышь, наставник! У нас в монгольской степи говорят: «Вскочив в седло, надо взмахнуть плетью, а не сползать на землю». Завтра начинается небывалый поход против народов, которые во сто раз сильнее моего войска. Все, что ты мне сейчас сказал, я давно знаю, и лучше тебя. Запомни важное: я разделил все мое священное войско на пять главных орд. В каждой...— Он задумался, потом добавил: — Много тысяч всадников. И я доверил их лучшим, самым опытным и отчаянным в нападении багатурам. Пять злобных беркутов зажмут в своих когтистых лапах мое разноплеменное войско. С одной из этих орд я пойду сам. Все мои орды уже овеяны бессмертной славой. А какие грозные полководцы их поведут: мой почтенный старший брат хан Орду, мой военный советник Субудай-багатур, мои родичи кюряганы: Менгу, Бурундай, Шейбани, Кадан, Пайдар и другие. Я им назначил точно число дней, в которые они, не останавливаясь нигде для отдыха в богатых городах, должны помнить одно: охватить железными объятиями первую половину «вечерних стран» и сплести пальцы своих рук в указанном мною месте в указанный срок. И я уверен, что такая встреча и сбор моих разноплеменных войск произойдет точно в заранее мною выбранный день. Тогда я дам короткую передышку нашим чудесным коням и бесстрашным воинам, а потом поведу мою великую Синюю Орду дальше. Я захвачу увертливого, как ядовитая змея, Фредерикуса, который себя называет императором германов, италийцев, саксов, арабов, а сам затаился, как филин, на морском острове. Но я выковырну его оттуда и натравлю друг на

друга, как злобных собак, и этого императора, и его заклятого врага, хитрого старого колдуна папу. Я поставлю обоих перед собой на колени и буду говорить с ними, как с жалкими дрожащими цыплятами. А затем я их обоих отдам на потеху моим верным шаманам, чтобы они их сварили живыми в котле!

Я смотрел с удивлением на взбешенного джихангира и старался запомнить его слова.

Саин-хан продолжал, и голос его был подобен зловещему мурлыканью тигра:

— Первая короткая передышка будет в столице урусов Кыюве, последняя — на берегу великого безграничного «последнего моря», омывающего вселенную. Тогда я выполню волю Священного Правителя, моего деда...

Саин-хан задыхался и стал жадно пить вино из золотой чаши. Вдруг он резко повернулся. Около двери почтительно сидел на ковре, опустив голову и скрестив руки на груди, молодой его племянник, хан Нохай. Из озорства он так глубоко надвинул шапку на лоб, что нельзя было разглядеть его глаз.

— Зачем ты пришел? Какой совет имеешь ты дать нам?

— Прости меня, великий джихангир! Я невольно услышал конец твоей речи и загорелся твоим огнем. Разреши мне прибавить к числу намеченных тобою к разгрому столиц еще одну.

— Какую? — И пальцы Саин-хана сжались с такой силой, что он погнул золотую чашу, и на ковер полилось красное вино.

— Я вижу ясно, что ты также захватишь столицу греков Рум, чтобы не оставлять врагов у себя за спиной. Ведь после захвата Рума ты будешь иметь тысячи лучших кораблей, стоящих во всех гаванях вселенной, которые помогут расширить твое могущество, разнести твою славу по всем морям. Разреши мне участвовать в твоем набеге на Рум.

Саин-хан не показал виду, что разгневался на племянника, а стал говорить медленно, будто нехотя:

— Не собрался ли ты учить меня? Я тебя уже назначил тысячником в тумене моего почтенного брата, хана Орду. Ты вместе с «буйными» должен первым ворваться в столицу урусов Кыюв. Там ты постарайся достойно проявить свою дерзость. Разрешаем уйти! Разрешаем уйти! — закричал он с прорвавшимся вдруг бешенством.

Хан Нохай склонился до земли и, прошептав обычные пожелания, бесшумно удалился. Когда занавеска за ним опустилась, Саин-хан сказал:

— Он похож на пса, который грызет большую кость. Пока не сгрызет ее до конца, он ее не оставит. Думает только о греческом Руме, о его завоевании, чтобы посадить туда царицей свою гречанку. Разве полководец, любящий битвы, может казнить такого удальца?

Весь этот разговор происходил в «золотом домике». Придется ли мне еще раз побывать в нем, или я затеряюсь в неведомых просторах вселенной, через которые направляется страшное войско Бату-хана?

Я записал вещие слова джихангира, потому что и подвиги и ошибки великих людей и то, как они эти ошибки исправляют,— все это должно быть увековечено в летописях на поучение нашим потомкам, да сохранит их и нас всемогущий!»

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

МГЛА ДВИНУЛАСЬ НА «ВЕЧЕРНИЕ СТРАНЫ»

Глава первая

ХАН МЕНГУ ПЕРЕД КИЕВОМ

Когда летом предыдущего года Бату-хан остановился в низовьях Итиля, никто не решался спросить его: скоро ли двинутся войска на запад, на дальнейшее покорение вселенной... Он не любил, когда кто-либо задавал ему вопросы или подавал советы. Бату-хан начинал тогда злобно шипеть и вспоминать по именам проклятых злых мангусов. Ему казалось, что, выслушивая чей-либо совет, он теряет часть своего величия самодержавного владыки. Однажды он сказал своему любимому двоюродному брату Менгу-хану:

— Скоро мне понадобится твоя помощь...

— Всегда я хочу помочь тебе, но до сих пор ты мне ничего не поручал.

— Отлично! Я доверяю тебе тумен правого крыла моего несравненного войска. Ты завтра же выступишь в поход. Ты пересечешь куманскую степь и пройдешь до реки Днепра, до богатого главного города урусов Кыюва. Там ты призовешь к себе старшего коназа урусов и строго прикажешь ему, чтобы он принес мне клятву покорности и верности. После этого ты пришлешь сюда гонца, а сам на время отступишь обратно в степь на дневной переход, но ни в коем случае не занимай своими багатурами Кыюва, хотя бы он даже и пожелал мне покориться.

— Сделаю, как ты приказал!

— Если коназ урусов и жители города не захотят добровольно признать меня своим единственным верховным владыкой, ты еще не начинай осады Кыюва, а все же отойди назад в степь и там жди меня, откармливая коней. Когда же я приду к Кыюву, то помни, что только я, и никто другой, первым въеду в столицу урусов. Тогда

я дам своему тумену право первому начать грабеж этого богатого и прославленного города.

— Я услышал, великий, твои слова, и все будет исполнено, как ты приказал!

— Можешь идти!

Менгу-хан опустился на колени, низко склонился перед братом, коснувшись головой ковра, а когда он снова выпрямился, Бату обнял его, и оба брата в знак дружбы, громко сопя, понюхали и лизнули друг другу щеки.

Выполняя приказ Бату-хана, хан Менгу с отборным войском быстро двинулся через степь. Разграбив по пути все встречные половецкие стойбища, он, наконец, подошел к Киеву. Там Менгу принял киевских послов, знатных бояр, и услышал от них категорический отказ добровольно покориться татарам.

Киевляне, поднявшись на стены города, с тревогой всматривались в даль, в восточную степную сторону, и им казалось, что по бескрайней равнине какое-то страшное чудовище протянуло во все стороны свои гигантские щупальца: там, постепенно стягиваясь против города, непрерывным потоком подходили монгольские отряды и ставили свои юрты.

Раздавалось щелканье бичей, ржание коней, стоны и рев верблюдов, мычание волов, крики погонщиков, скрип телег на высоких, в рост человека, колесах и многоголосый гул и гомон татарской орды.

Степняки развьючивали верблюдов и коней, ставили большими кругами свои юрты. Задымились костры. Поставленные на камни и треножники, закипели большие котлы.

Посреди лагеря вырос богатый шатер-юрта хана Менгу. Шатер был окутан белым войлоком и перевит узорчатыми полосами. Над крышей из дымового колеса — решетки стал завиваться голубой дымок. Там, внутри шатра, был разведен тлеющий костер из кизяка — сушеного конского навоза, перемешанного с соломой. В соседних юртах разместились знатные монголы его свиты.

Рядом с шатром возвышался шест: на нем развевалось знамя Менгу-хана — длинный бамбуковый шест с небольшой перекладиной наверху, с которой свисали пять пушистых черных хвостов монгольских яков. Это было священное знамя, означавшее, что его владелец — ближайший родственник покойного Священного Правителя, великого завоевателя мира Чингиз-хана.

Только чингизиды могли пользоваться таким священным знаменем.

Менгу-хан прискакал верхом на пегом коне в сопровождении большой свиты вооруженных монгольских всадников и опытного переводчика, хорошо знавшего русский язык, кипчака Хабула.

Переводчику было приказано вместе с двумя тургаудами переправиться через Днепр и разузнать все, что происходит в Киеве и чего следует ожидать и скоро ли приедут с поклоном к хану Менгу киевский князь и знатные бояре?

Менгу-хан повелел приготовить две большие ладьи и убрать их коврами. На этих ладьях отправились три знатных татарских военачальника вместе с охраной.

Когда лодки отчалили, несколько трубачей стали неистово трубить в очень длинные кожаные трубы, извещая русских о выезде в Киев знатного посольства.

Когда ладьи пересекли Днепр и пристали к правому берегу, там их встретили знатные бояре в расшитых узорами дорогих собольих шубах и высоких бобровых шапках. Русские воины копьями отгоняли сбежавшуюся толпу любопытных. Переводчик Хабул объяснил боярам, что на тот берег Днепра прибыл Менгу-хан, брат повелителя всех монголов Бату-хана. Хан Менгу ждет, что киевский князь сейчас же прибудет к нему для переговоров, а он будет ждать его в своем шатре.

Однако русские бояре ответили:

— Наш князь находится сейчас в своих палатах, и ему, как главному хозяину нашего древнего славного города, непристойно ездить к язычникам на поклон. Он приглашает начальников татарского войска подняться в его палаты, и там почтенные гости сами расскажут, какая нужда, какая забота привела их в Киев.

После горячих пререканий было решено, что в княжеские палаты пойдут только три татарских военачальника, переводчик Хабул и три ближайших князю боярина. Встречные киевляне жадно всматривались в татар, о которых говорилось так много ужасного. Татары медленно шли по узкой улице по направлению к княжескому дворцу и все время о чем-то тихо совещались. Они взобрались на первую стену, опоясывавшую город, и долго осматривались кругом, желая все хорошенько запомнить.

Наконец на полпути Хабул вдруг сказал русским спутникам:

— Наш преславный хан Менгу отправил нас для переговоров, а не для поклонов вашему коназу. Если бы русский коназ хотел нас почтить и повидать хана Менгу, то он вышел бы сюда, к нам навстречу. Теперь мы решили не

идти к вашему коназу и вернемся назад, на тот берег. А вы ждите нас снова и тогда увидите, что с вами будет.

— Так вы лазутчики, а не послы! — закричали бояре.— Вы ходили на стену, чтобы узнать, как мы укрепили Киев. Бейте их! Не выпускайте коварных!

Набежала толпа. Монголов схватили и вместе с переводчиком сбросили со стены.

Менгу, не дождавшись возвращения своих послов, понял, что Киев добровольно не сдастся, но, исполняя повеление Бату-хана не осаждать города, решил повернуть обратно.

Постояв на левом берегу и полюбовавшись издали расписными теремами киевской знати и золотыми главами многочисленных церквей,— татары были уверены, что это настоящее листовое золото,— Менгу-хан увел свое войско в степь.

Глава вторая

В ШАТРЕ ХАНА КОТЯНА

Главный и старейший половецкий хан Котян в своем кочевье в Шарухани[1] пребывал в глубоком и тяжелом раздумье и не находил себе ни в чем утешения. Напрасно приходили к нему его высокие, стройные сыновья и, сняв лисьи шапки, почтительно гладили его руки, украшенные сверкающими перстнями. Котян гладил их по голове и разрешал сесть на цветные подушки, лежавшие вдоль стенки круглого шатра, убранного пестрыми коврами.

Они поочередно рассказывали последние новости из жизни степи. Все жаловались на то, что больше совсем не приходят караваны купцов с морского побережья. Некому стало продавать коней, скот, меха, кожи.

— Кто сейчас поедет в нашу степь? Все боятся татар. Их шайки быстро проносятся по всей степи, точно они убегают от кого-то, а на самом деле они рыщут в поисках добычи и высматривают все, что у нас делается. Не раз их уже видели совсем неподалеку от Шарухани.

Котян тяжело вздохнул, покачал головой и посмотрел вверх, на клочок синего неба, видимый в отверстие крыши, сквозь которое выходил дым от костра.

— Сегодня я получил замечательное известие, не знаю — на радость или на горе.

— От Бату-хана?

---

[1] Шарухань — кочевье половцев, близ нынешнего Харькова.

— Сейчас вы все узнаете. Эй, мальчики! Приведите сюда «божьего человека», которого сторожат в соседнем шатре! — Котян несколько раз постучал по медным чашкам с водой.— Скорее!

Два подростка, сидевших близ входа, сорвались с места и убежали. Вскоре они вернулись, поддерживая под локти сухопарого человека, с клочьями седых волос на лице. Голова его была обернута куском пестрой ткани. На поясе висели медные и железные приборы, какие обычно позвякивают у лекарей и коновалов. Лицо его казалось истощенным, со впалыми щеками, но когда он вскидывал голубые глаза, в них светилась живая наблюдательность. В одной руке он держал небольшую книгу в потертом кожаном переплете, в другой — высокий посох с загнутым концом, каким обычно пастухи ловят убегающих овец.

— Здравствуй на много лет, великий хан великого куманского народа! — приветствовал он Котяна.

Котян сейчас же приказал:

— Эй, мальчики, дайте божьему человеку подстилку и принесите лепешек и кувшин кумыса!

Один из сыновей Котяна взял пеструю ковровую подушку и положил перед странником. Тот уселся на ней и пробормотал молитву.

— А теперь скажи нам свое имя, кто ты и из какой земли? Зачем бродишь по свету, такому тревожному в наши страшные годы?

— Я только слуга божий, по имени Юлиан. Я скитаюсь по этому грешному свету, излечивая больных и успокаивая душеспасительными молитвами умирающих. Происхожу я из страны мадьяр, из их славной столицы Буды. Господь бог и добрые люди мне всюду помогают, жалеют и не дают умереть с голода. Сейчас я иду от грозного царя татар Бату-хана.

— Что ж ты хотел мне сказать особенно важное? — спросил хан Котян.

— Если ты не всем здесь доверяешь, зная их болтливость, то прикажи лишним покинуть твой шатер.

— Уйдите все! — приказал, нахмурясь, Котян.— Пусть останутся только два моих старших сына. Толмача мне тоже не надо,— ты достаточно хорошо говоришь по-кумански.

Кроме старших сыновей все сидевшие в юрте встали, прижав руки к груди, склонились и мелкими шажками вышли из шатра.

Юлиан начал вполголоса:

— Не смотри на то, что я одет нищим. В моих руках находится письмо самого великого хана татарского Бату к мадьярскому королю Беле, которое я получил из собственных рук монгольского владыки для того, чтобы показать его тебе.

Котян вздрогнул и сразу выпрямился.

— И ты можешь мне его прочесть? Письмо Бату-хана?

— Вот для этого я и пришел к тебе, доблестный хан Котян, пройдя очень тяжелый и опасный путь.

Юлиан порылся за пазухой и достал небольшой свиток. Он разгладил его на колене и вопросительно взглянул на Котяна.

— Ну, читай!

— Это письмо,— начал Юлиан,— написано уйгурскими буквами, но на монгольском, то есть на татарском языке. Бату-хан повелел передать его мадьярскому королю Беле. Но так как я знал, что при дворе этого короля не нашлось бы мудреца, который смог бы прочесть и объяснить такое письмо, то я упросил одного ученого язычника перевести это загадочное письмо на куманский язык.

— Что же это было за письмо?

— Высокомерное послание Бату-хана, более похожее на приказанье. В нем говорилось от его имени так.— И старик стал читать: — «Я — великий хан, посланный небесным владыкой, который дал мне право возвышать тех, кто преклоняется передо мной, и поражать гневом тех, кто противится мне. Я удивлен, что ты, маленький король мадьяр, до сих пор не ответил ни на одно из посланных мною тебе тридцати писем. Я узнал, что ты, король Бела, намерен принять к себе весь народ куманов, моих рабов. И я тебе приказываю не принимать их в твоем королевстве. Им, при их жизни в шатрах, легко и возможно будет убежать от меня, но как ускользнешь от меня ты, когда ты имеешь дома, дворцы и целые города? Поэтому я, великий хан татарский, которому вестник небесного царства дал высшую власть над вселенной, право оказывать милость мне покоряющимся и душить моих противников, я удивляюсь тебе, маленький король мадьяр».

Юлиан обвел всех спокойным взглядом, тщательно свернул письмо и заговорил снова:

— Я для того и совершил этот путь к тебе и разыскал тебя в степи, чтобы предостеречь. Несомненно, Бату-хан скоро двинется со всем своим войском на западные страны и нападет прежде всего на ваши куманские кочевья. Раз ты не пошел с ним, он тебя не пощадит, а будет мстить за то, что потерял в твоем народе сильного союзника. Поэто-

му я советую тебе,— уходи скорей к мадьярам. Король Бела примет тебя, как брата. Торопись.

Котян сидел, опустив голову. Руки его дрожали. Потом он повел широкими плечами, точно стряхнул с себя неудобный груз, и повернулся к сыновьям. Они сидели, видимо потрясенные, впиваясь взглядом в отца.

— Что вы мне скажете на это письмо? Говори ты, младший, Кучум!

— Что сказать? Бату-хан говорит, что он написал королю Беле тридцать писем и не получил от него ответа. Напишет он еще тридцать первое, чтобы испугать Белу, а сам не двинется с места из своей новой столицы, где ему живется спокойно и хорошо. Он ведь потерял много своих воинов во время похода на русские княжества. Он даже не мог дойти до самого богатого города Новгорода и вернулся обратно. Где ему думать о походе на Мадьярское королевство! Он пугал, чтобы все трусливые ему покорились.

— А ты мне что скажешь, что посоветуешь, мой старший сын Мучуган?

— Меня встревожило, очень встревожило это письмо. Спасибо «божьему человеку», что он принес его нам и предупредил об опасности. Мне ясно, что Бату-хан, покорив и разорив столько городов, может считать, что его войска самые сильные в мире. Он уже попробовал крови и опьянел от своих успехов. Сейчас его войска отдохнули, и он хочет идти покорять все народы, всю вселенную. Ведь он и раньше не раз требовал, чтобы мы, куманы, двинулись вместе с ним, под его начальством, на «вечерние страны».

— Что же ты мне посоветуешь? Что нам делать? — тихо спросил Котян.

— Выбор ясен. Если нам покориться Бату-хану, это значит добровольно, без боя, подставить свою голову под отточенный татарский меч. Нельзя ждать ни одного дня. Мы должны сворачивать шатры и уходить в Мадьярское королевство. Жадные и хищные татары помчатся вслед за нами, но там, на мадьярской равнине, когда нам придется драться с татарами, мы уже будем всегда чувствовать рядом крепкую дружескую мадьярскую руку.

В шатре стало тихо. Только донеслось отдаленное ржание коня.

— Ты хорошо сказал. Ты сказал, как истинный воин. Верно, сын мой, колебаний быть не может. Я приказываю немедленно разослать гонцов во все наши куманские кочевья и объявить: «Сворачивайте шатры, вьючьте добро и спешно уходите из нашей степи к Карпатским горам». Уходить надо быстро, ночью. Пока татары узнают и пой-

мут, что это у нас не обычная перекочевка, а что мы уходим совсем с нашей дедовской земли, мы будем уже далеко!

Котян встал, схватился за голову и простонал:

— Тяжело! Ой, как тяжело! Прощай, дедовская земля! Отныне мы, бесприютные скитальцы, пойдем искать себе новую родину!..

Глава третья

РАССКАЗ ТАМБЕРДЫ

Осенью этого крайне засушливого года Бату-хан наконец решил двинуться со своей многотысячной ордой на запад, «на закат солнца», для давно им задуманного покорения «второй части вселенной».

Перед важными решениями Бату-хан обыкновенно ни с кем не советовался, а сразу объявлял ближайшим помощникам свой приказ. Так и теперь. Но сперва он долго расспрашивал тех своих багатуров, которые недавно проезжали по кипчакской степи, вылавливая там пастухов или неосторожных путников. Он хотел заранее узнать и понять, что происходит в великой степной равнине, через которую скоро придется двинуться всему его войску.

Один из сотников, расторопный и смелый Тамберды, по приказу Бату-хана, побывал в Шарухани, видел там хана Котяна, был им обласкан и узнал многое. Но Тамберды с большим трудом выбрался из Шарухани и, встревоженный, примчался обратно к Бату-хану.

Тамберды рассказывал:

— Во всей куманской степи теперь идет крайняя сумятица. Все куманские племена, раньше кочевавшие там мирно и свободно, теперь переходят с места на место и гадают: что им делать и куда податься? Они всего боятся, никому не верят и говорят, что татары, когда-то разгромившие соединенные войска урусов и куманов в битве при Калке, теперь хотят окончательно добить их, куманов, и отнять все их стада, богатства и особенно коней, нужных им для задуманного Бату-ханом похода на «вечерние страны». Всех же куманов, говорят, Бату-хан сделает своими конюхами и пастухами.

— Верно! — прервал Бату-хан.— Всех куманов давно следует подогнуть под мое колено и запретить им прикасаться к мечу.

— Что ты прикажешь мне дальше делать? — спросил Тамберды.

— Ты немедленно вернешься обратно и скажешь хану Котяну, что я повелеваю ему прибыть сюда, а его войску ждать нас и быть готовым выступить следом за моим доблестным войском. Не теряй времени! Завтра ты должен быть уже далеко!

Когда некоторое время спустя Тамберды вернулся, Бату-хан призвал его к себе. Вид у сотника был подавленный.

— Ну, что делает главный, самый сильный и вредный куманский хан Котян? — спросил Бату-хан.— Почему он до сих пор не приехал ко мне и не объявил на коленях о своей преданности? Он бы мне теперь пригодился!

— Вай! Вай! Я уже не застал хана Котяна в Шарухани! На истоптанной земле валялись остывшие угли костров, я видел отверстия от шатровых кольев, которые еще не успело засыпать землей, я видел голодных собак, бродивших в поисках пищи, но я не видел никого из тех, кто мог бы мне рассказать, куда ушел хан Котян со своими кочевниками.

Бату-хан слушал не прерывая, но лицо его все мрачнело и пальцы быстро шевелились. Тамберды знал, что это один из признаков великого гнева Бату-хана. Он упал на четвереньки, охватив голову руками, а Бату-хан несколько раз сильно ударил пяткой его склонившуюся голову.

— Как ты прозевал это? Отчего так поздно рассказал мне все? — прошипел Бату-хан.— Я бы успел схватить и раздавить Котяна!

— Где мне было говорить с тобой! Ты всегда знаешь все раньше и больше нас всех,— простонал Тамберды под тяжелой ногой Бату-хана.— Ты великий, всезнающий!

Бату-хан задумался. К нему подошел любимый, всегда добродушный хан Менгу и, спокойно сняв ногу Бату-хана со спины Тамберды, опустил ее на ковер.

Бату-хан мрачно молчал и продолжал быстро шевелить пальцами. Но хан Менгу хорошо знал, чем лучше всего можно успокоить рассерженного монгольского владыку и вернуть ему «веселое сердце». Он тихо приказал стоявшему у входа в шатер тургауду немедленно привести из соседней юрты сказочника и певца былин, улиге́рчи.

Улигерчи, старый, сутулый, с седой реденькой бородкой, быстро явился. Поклонившись, он без шума уселся на ковре у ног Бату-хана, слегка проводя пальцами по струнам своего хура.

Бату-хан впился глазами в певца.

— Спой мне, мой старый верный спутник, о том, что меня мучает, что непрерывно жжет мое сердце! Ты сумеешь помочь мне!

Улигерчи набрал в грудь воздуха и стал тянуть такую длинную и монотонную песню, подыгрывая на хуре, что казалось, будто он поет не переводя дыхания.

«Великий светящийся» двинулся на закат солнца
И направился через бесконечную прекрасную степь,
Которую не пройти насквозь и за многие месяцы.
Кочевал он в ней всегда летом и осенью,
Когда листья желтеют и ветер их подбрасывает кверху.
Кочевал он, видя, как падает снег,
Как ураган наметает сугробы.
Все-то кочевал он без остановки,
Хватал солнце и держал его на приколе,
Хватал он луну и пристегивал к своему седлу.
    Однажды долго отдыхал великий в своей юрте,
    Вспоминая былые походы...
    И вдруг вскочил он и зашумел,
    Как темно-черный беркут, когда выпустят его,
    Сняв с головы шапочку, закрывающую глаза.
    Качнулся он, как охотничий желтый сокол,
    Когда пустят его, сняв с ноги ремень.
    Заревел он, как смелый барс,
    Прыгнувший на утес с вершины горы:
— Братья старшие, вельможи и подданные!
Народ мой могучий, бесчисленный!
Ничего не упуская, вы все слушайте!
Я же, не запинаясь, скажу вам:
Славное великое имя мое
В десяти странах света уже прогремело.
И необъятная доблесть моя
Наполнила Алтай, Хангай и куманскую степь.
Но всю огромную силу свою
Нигде еще полностью я не показал.
Теперь я затосковал и отправляюсь поискать:
Нет ли где славного витязя,
Что с криком на меня бросится?
Нет ли оружия, что зазвенит, приближаясь?
Нет ли верхового коня моего соперника,
Что со ржанием и грохотом на меня помчится?
    Теперь, мои смелые багатуры,
    Скорей обрядите и приведите мне верхового коня!
    Седлом его оседлайте! Полное вооружение дайте!
    Если окажусь я могучим славным витязем,
    То вернусь с несметной добычей,
    Стадами скот пригоню я, областями народ приведу я.
    Вернусь я, завладев многими новыми подданными.
    Юрта за юртой народ будет кочевать ко мне!
Начался поход. Потряс он синее небо,
Заставил дрожать великую золотую землю.
Тяжелая черная пыль вилась над ними.
Слышался топот коней сотен тысяч всадников,
Красная пыль поднялась над ними,
И впереди удалялся шум многих тысяч воинов
Моего непобедимого войска...

Бату-хан вскочил с трона, несколько раз потряс испуганного улигерчи могучими руками и, достав из цветного мешочка, висевшего на ручках трона, кусок желтого индийского сахара, затолкал его в рот певца, сказав:

— Ты успокоил мое сердце, ты отогнал мои заботы! Завтра ты получишь сильного спокойного верблюда, на котором отправишься со мной в новый поход. Сперва я покорю главный город широкобородых урусов — Кыюв, и там ты будешь, как всегда, петь на моих пирах и разгонять мою тоску. А затем я направлю дальше, на «вечерние страны», мое бесчисленное войско.

Глава четвертая

ГОРИТ ПОЛОВЕЦКАЯ СТЕПЬ

После долгих молений, заклинаний и колдовских плясок шаманы указали день, особенно благоприятный для начала похода, и пять отдельных орд сурового, не знающего улыбки неодолимого владыки Бату-хана двинулись с берегов великой реки Итиль, сразу утонув в беспредельных голубых просторах ковыльных кипчакских степей.

Каждый тумен, насчитывающий десять тысяч всадников, шел своим, заранее намеченным путем, не перебивая друг другу дороги, только тесно прикасаясь крыльями, как на охотничьей облаве, следя, чтобы ни один зверь, ни один путник, ни одно кочевье упрямых, непокорных, клокочущих враждой кипчаков не ускользнули в прорывы между монгольскими отрядами.

Эти отряды двигались настойчиво и неуклонно в сторону Днепра, делая остановки только на ночь, когда необходимо было подкормить усталых коней.

Вечерами, греясь у костров, все говорили о том, что Бату-хан, избранный вечным синим небом быть их повелителем, готовится, как будто бы распростертыми лапами дракона, сразу охватить всю еще не покоренную часть урусской и кипчакской земли и одним стремительным натиском раздавить всякую дерзкую попытку к сопротивлению.

Впереди войска, нащупывая пути и переправы, рыскали разведочные отряды каждого тумена; за ними наступали главные силы, а позади подтягивались, стараясь не отставать, бесчисленные скрипучие арбы, запряженные медлительными волами, двигались в облаках пыли гурты скота и важно шагали караваны верблюдов, навьюченных разобранными юртами, войлоками, котлами, железными таган-

ками, мешками с походной едой, всем, что может пригодиться в пути всегда ненасытному, прожорливому монгольскому войску.

Каждый тумен должен был сам заботиться о себе, и все они различались друг от друга своим внешним видом, боевыми выкриками, именами своих опытных суровых полководцев. Среди них были немногие старые, прославленные еще в походах Священного Правителя Темучина Чингизхана, были испытанные в войне с последним шахом Хорезма неукротимым Джелал эд-Дином, были темники, разгромившие земли кавказских племен, были недавно прошедшие через страну булгар под начальством уверенного и всегда веселого Шейбани-хана, уже назначившего булгарам правителей-баскаков. Был среди них стремительный Бурундай, уничтоживший в глубине засыпанных снегом русских лесов войско Владимирского князя Гюрга (Юрия). Но особенно грозным считался всегда победоносный одноглазый Субудай-багатур вместе с неудержимым, как пущенная стрела, Джебэ-нойоном. Да и другие темники: Менгу, Кадан, Пайдар, Нарин-Кэхэн, Курмиши и прочие — все считались бесстрашными тиграми.

Радостно шли в этот поход монголы и присоединившиеся к ним отряды других племен. На что могли надеяться, какое сопротивление могли теперь оказать встречные народы? Их оставалось уже мало, их печальная участь уже предсказана колдунами-шаманами. И все двинувшиеся в поход всадники верили, что упорный и уже озаренный славой счастливого победоносного завоевания Бату-хан пройдет в зареве пожаров грозой по всем «вечерним странам» и дойдет вплоть до «последнего моря», омывающего «поднос земли»[1]. Там его верные нукеры разожгут огромный костер, языками пламени облизывающий багровые тучи, в честь и в память замыслившего покорение вселенной Священного Правителя и всех изрубленных в битвах монгольских багатуров. Там Бату-хан въедет на пятнистом, как барс, коне на вершину кургана и вонзит свое блестящее копье в покоренную им землю. Тогда он воскликнет: «Услышь нас, взирающий с облаков Потрясатель Вселенной! Твоя воля выполнена. Вселенная покорена!»

И тогда не знающий улыбки Бату-хан впервые рассмеется, и смех его будет похож на клёкот орла.

---

[1] Монголы представляли себе землю (вселенную) по своему виду похожей на разостланный плащ (или поднос), окруженный беспредельным морем.

Главая пятая

АРБА СОТНИКА АЗАРГА́-ТАХЯ́

Большая монгольская арба медленно и неуклонно ползла в облаках пыли по желтеющей ковыльной степи, увлекаемая тремя парами рыжих волов. С пронзительным, точно полным тоски и отчаянья, визгом и скрежетом поворачивались высокие, в рост человека, деревянные колеса без спиц, оставляя в нетронутой почве степной равнины две длинные, глубокие колеи.

Впрочем, левое переднее животное этой упряжки было не рыжее, а пегий, с белыми пятнами, огромный свирепый бык, и звался он Арбан-цаг (десятый), потому что такого красавца обычно держали как вожака в упряжке какого-либо знатного тайджи или нойона, в которой насчитывалось пять, а то и десять пар волов. Первый вожак должен непременно иметь какое-либо заметное издали отличие, чтобы хозяин легче мог найти свою повозку среди многих тысяч скрипучих возов двинувшегося в поход монгольского войска.

Эта повозка была собственностью простого, незнатного монгола, сотника Азарга́-Тахя́, который поседел в походах, совершив сперва длинный путь от счастливой сладкоструйной реки Керулен на далекой родине монголов до главной столицы царства Цзиней, трудолюбивых, искусных в разных мастерствах китайцев. Оттуда Азарга́-Тахя́ совершил новый путь, еще более длинный, через безводные пустыни Гоби до Ургенча, столицы веселых, добродушных хорезмийцев, считавших себя до вторжения монголов самым сильным и счастливым в мире народом. Эти первые походы Азарга́-Тахя́ совершал под начальством величайшего из людей, чье имя теперь монголам нельзя произносить вслух, того, кто принес народу монголов неизмеримую славу, а его князьям и военачальникам — несметные богатства. Некоторая часть захваченных богатств перепадала и простым монгольским воинам. Но много ли можно увезти с собой на хотя и крепком, но небольшом коне с плохим старым седлом и парой истрепавшихся переметных сум? Счастлив был тот, кто имел собственную повозку, запряженную неутомимыми выносливыми волами, да еще в той повозке должна была сидеть верная жена, имея возле себя быстроглазого мальчика или девочку, помощницу в работе. Такая жена — верный друг в пути, заботливая хозяйка, умеющая сберечь вещи, захваченные в набеге, которые Азарга́-Тахя́, проносясь вскачь, бросал в повозку, зная, что его жена всему найдет свое место и припрячет.

Эту арбу Азарга́-Тахя́ нашел когда-то брошенной возле Ургенча, усадил в нее свою жену, которая до этого ездила служанкой-рабыней в обозе его начальника, темника Курмиши́. Азарга́-Тахя́ наполнил тогда арбу доверху разными одеждами и запряг в нее сперва двух тощих верблюдов с болтающимися от голода горбами. Потом дела его стали все более улучшаться, расцветая, как степь весной. Благодаря терпению и бережливости его верной жены он из беспечного бродяги превратился в расчетливого хозяина, особенно после того как хан Курмиши́ назначил его десятником, а через два года сотником и стал давать ответственные поручения.

А повозка обратилась надолго в передвижное жилище семьи Азарга́-Тахя́. Эта семья постепенно росла. Кроме пегого быка и пяти волов, появились две собаки: одна большая темная лохматая овчарка, волкодав, была верным сторожем, другая — черная борзая, поджарая и стремительная, явилась главной кормилицей семьи: она носилась по степи, ловила сусликов и зайцев, иногда и лисиц, свою добычу неизменно приносила хозяйке, которая, содрав шкурки, жарила или варила тушки зверьков, давая объедки верным собакам.

В арбе ехало еще трое детей: девочка лет трех и два мальчика пяти-шести лет, которых хозяйка подобрала в Сарае, где работали на постройке домов пригнанные из Владимира и Рязани пленные широкобородые урусы.

Крайне истощенные, они умирали во множестве. Особенно умирали дети. Похожие на маленькие скелеты, на тонких ножках, они жалобно просили: «Дай хлебца! Дай корочку!»

Женщина спросила пленных, кто родители детей, показав руками, будто нянчит и качает ребенка. Один указал пальцем на землю, потом на небо и махнул рукой, а другой сказал:

— Бери их, да корми получше! Здесь они все одно пропадут.

Когда арба тащилась по степи, мальчики бежали рядом, а девочка сидела на руках у приемной матери и так же, как и она, повторяла: «Кха-кха!» — таким возгласом монголы погоняют быков.

А когда накрапывал дождь и крутил легкий снег, мальчики тоже взбирались на арбу и сидели рядом, вместе с тремя курицами и петухом со связанными лапами. Женщина покрывала их всех одним большим войлоком с прорезанными отверстиями, из которых выглядывали любопытные головки детей. Новая мать стала причесывать их по-

монгольски, обрезав все волосы и оставив только небольшую косичку с цветным лоскутом на левой стороне затылка.

Азаргá-Тахя́ изредка навещал арбу,— ему нельзя было отдаляться от своей сотни. Поэтому вся забота ложилась на его жену: она с помощью обоих мальчиков распрягала волов, и они паслись поблизости, охраняемые верными собаками. На рассвете женщина с помощью собак опять сгоняла волов к арбе, подводила их под ярмо, и арба катилась дальше, к новым заботам и тревогам, а может быть, и к богатству: впереди предстояло захватить большой город Кыюв, где все крыши богатых домов, говорят, покрыты золотом. Азаргá-Тахя́ обещал постараться отломить хоть один маленький кусочек от такой золотой крыши.

Глава шестая

ЖЕЛЕЗНАЯ ПОВОЗКА

Обоз Субудай-багатура был очень небольшой: четыре быстроходных верблюда везли его походный шатер и кожаные китайские сундуки; в них хранились пергаменты с чертежами земель, через которые проходило монгольское войско. Там же хранились путевые книги походов.

Кроме того, в этом маленьком личном обозе великого аталыка находилась его боевая железная колесница. Это был железный ящик, поставленный на два высоких колеса. На все четыре стороны были прорезаны узкие щели, предназначенные для наблюдения и пускания отравленных стрел. Кто подойдет без разрешения к колеснице, будет ранен стрелой и вскоре в корчах умрет.

Говорили, что внутри повозки сидит стрелок-девушка, охраняя сон Субудай-багатура, который часто, даже днем, во время переходов, спал в этой колеснице.

Кроме того, в повозке еще находилась маленькая лохматая собачка китайской породы, которая по слуху узнавала шаги всех близких своему хозяину и молчала при их приближении, но если она принималась яростно лаять, это означало, что приближается неизвестный человек.

Железную повозку везли четыре коня, запряженных по два. На левом переднем сидел возница.

Субудай-багатур однажды уговаривал Бату-хана тоже завести себе такую же прочную повозку, чтобы предохранить себя от предательского нападения.

Бату-хан сердито ответил:

— Меня достаточно охраняет твой зоркий глаз!

Глава седьмая

ПИСЬМО ХАЛИФУ ПРАВОВЕРНЫХ

«Святейшему, величайшему повелителю праведных халифу Мустансиру,— да будет над ним мир! — его преданный слуга, почитатель, исполнитель его дальновидных предначертаний и усердный посол при особе непобедимого хана Белой, Синей и других бесчисленных орд мунгальских, джихангира Бату-хана, желает вечной славы и успеха, и осуществления надежд, и постоянного здоровья и счастья,— безошибочный стрелок из лука, укротитель своенравных коней Абд ар-Рахман говорит: «Мир тебе, защитник собрания верных!» — и просит не отвращать от него твоего ока милости и привета.

Пишу я тебе среди холодных бесконечных степей и холмов, засыпанных белым снегом, сквозь который пробиваются высокие кусты желтой травы. Только завернутые в бараньи шкуры кочевники кипчаки могут переносить этот мучительный холод с пронизывающими ветрами, спасаясь в кожаных или шерстяных шатрах, согреваясь около костров, поддерживаемых охапками камыша или сухим конским пометом. Вода в такое холодное время замерзает и обращается в твердый прозрачный камень, и через застывшие широкие реки, ставшие удобными гладкими дорогами, могут бесстрашно переходить, точно по земле, всадники на конях или тяжелые груженые повозки, увлекаемые десятками больших волов.

Этим холодным временем пользуется непобедимое храброе войско монгольское и в зимнюю пору предпринимает свои опустошительные страшные походы. Да сохранит аллах тебя, повелитель правоверных, от встречи с этими звероподобными воинами, не знающими поражений. А сосчитать количество их и других союзных им племен — невозможно: войско растекается по степи, как разбушевавшееся море, и кто тогда сможет сосчитать его?

Но все же я попытаюсь тебе сообщить приблизительное число воинов. При дворе великого хана пребывают неотлучно около сорока темников. Каждый темник имеет под своей рукой десять тысяч всадников. Хотя некоторые из темников иногда только носят это почетное звание, но сами отрядов не имеют,— все-таки можно приблизительно считать, что войско Бату-хана, состоящее из двенадцати отдельных орд, в каждой орде имеет от трех до шести туменов. Итак, все войско татарское заключает в себе от трехсот до четырехсот тысяч всадников. Все они закалены

в боях и подчиняются беспрекословно своим строгим до свирепости начальникам. Случаев неповиновения у них не бывает. Они, как бешеные, бросаются туда, куда укажет палец их темника, и до сих пор не было той силы, которая смогла бы остановить или разметать их яростный натиск.

По полученным от лазутчиков сведениям, во всех «вечерних странах» едва ли найдется такое большое и могучее войско, как монгольское. Судьба «вечерних стран» предрешена: они будут покорены, ограблены и брошены под копыта могучей дикой монголо-татарской конницы.

Я уже послал тебе с надежными людьми из арабских преданных купцов два донесения, а именно:

Первое письмо из «Орлиного гнезда» «Старца Горы», главы общины страшных карматов-исмаилитов, тайных убийц. Он мне сказал, что великий монгольский хан будто бы очень к нему благоволит и называет своим «братом». Но это ложь. Я осторожно спросил об этом Бату-хана во время одной вечерней пирушки. Саин-хан ответил, что «Старца Горы», запрятавшегося в своем «Орлином гнезде», постигнет судьба всех охотничьих птиц, когда они попадают в руки охотника. Или орел научится быть полезной ловчей птицей и станет приносить хозяину добычу, или тот свернет ему шею. «На земле есть один владыка (он имел в виду себя), и до тех пор, пока «Старец Горы» сам не приедет к нему с поклоном преданности и не сложит к его ногам всех накопленных богатств, он будет считать его непокорным врагом, и его судьба уже предрешена в небесной «книге судеб».

Второе письмо я послал тебе из устья Итиля, прибыв ко двору великого хана Бату и побеседовав лично с ним. Я выслушал его планы завоевания «вечерних стран», расхвалил эти планы и получил разрешение сопровождать его в походе.

Сейчас я пишу *третье* письмо у костра, на берегу великой реки Днепра. Передо мною на противоположной стороне раскинулась главная столица царства урусов, величайшего из великих земель. Столица эта называется Кыюв. Я вижу, какой это большой и прекрасный город. В нем много домов бога урусов с позолоченными крышами. И Кыюв, так же, как другие столицы, обречен на разрушение и пожары. Урусы до сих пор всюду мужественно защищались. Но даже если они теперь заявят татарам о своей покорности, это их не спасет от обычного монгольского разгрома. Вероятно, урусы добровольно не покорятся,

а станут отчаянно защищаться. Бату-хан сказал в кругу своих приближенных, где он милостиво разрешает мне присутствовать, такое слово:

«Я не допущу, чтобы существовали другие великие столицы. Будет только одна «столица столиц» — моя боевая ставка Кечи-Сарай на великой реке Итиль. Из Кечи-Сарая будут вылетать молнии моих повелений, которые заставят трепетать и повиноваться все народы вселенной!»

Но аллах лучше все знает, он один все предвидит, и в его руках наше будущее. Да будет милость его над всеми нами!

Я надеюсь, что ты, повелитель праведных, святейший халиф Мустансир, посмотришь на прибывающих к тебе моих гонцов оком благорасположения и покроешь их полою твоей щедрости.

Пусть перед тобою будет открыта дверь Каабы[1], вечно желанной, а земля перед ней останется навсегда пылью на лбах всех склоняющихся перед тобою!

---

[1] Кааба — мусульманская святыня в Мекке.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

НА ДНЕПРЕ

Глава первая

ПРОЧЬ ИЗ НОВГОРОДА!

В этот грозный 1240 год, когда татары начали готовиться к походу на «вечерние страны», в далеком вольном Новгороде тоже царила тревога. На этот богатый торговый город точили зубы другие хищные недруги. Они приезжали на небольших пузатых кораблях, привозили разные заморские «ценные» и дешевые товары, а сами высматривали, как бы отхватить от новгородской и псковской земли кусок пожирнее. Германцы, шведы, датчане, финны ввязывались в боевые схватки с мужественными новгородцами. На призывы Новгорода о помощи всегда откликались «низовые» рати переяславльцев, владимирцев, суздальцев, полочан, приходившие в Новгород под начальством доблестного и мудрого князя Ярослава Всеволодовича или его молодого сына Александра. Новгородцы упросили Александра Ярославича остаться у них на княжение, а вскоре к нему приехала молодая жена его Александра, дочь полоцкого князя Брячислава.

Среди приближенных молодой княгини снова оказался товарищ ее с детских лет Вадим, ученик иконописной мастерской.

Когда-то отец Вадима, Григорий, любимый ловчий князя Брячислава, погиб на охоте в схватке с медведем. Князь Брячислав захотел помочь осиротевшей семье и вырастил Вадима вместе со своими детьми, которые особенно полюбили мальчика за то, что он умел вырезывать из липового дерева коньков, петушков или мужика с дудкой. Больше всего Вадим старался угодить маленькой веселой синеокой Санюшке и всегда придумывал для нее самые интересные игрушки.

Когда Вадим из мальчика превратился в юношу, князь Брячислав сказал ему однажды:

— Вижу, что склонен ты не к воинским забавам и не к ратному делу, а тянет тебя больше к мирным рукомеслам. Поэтому решил я отправить тебя в Новгород, где имеется прославленная иконописная мастерская, а в ней работает опытный изограф отец Макарий. Вот к нему-то я тебя и пошлю. Там ты научишься расписывать и образа и стены наших святых церквей, а это — светлое и высокое дело!

Жаль было Вадиму расставаться с княжеской семьей и привычной обстановкой, но учиться ему хотелось, и он беспрекословно подчинился.

Вскоре Вадим поселился в Новгороде вместе со своей няней и начал работать под руководством старого изографа, строгого и требовательного отца Макария.

Когда Александр Ярославич, женившийся на Брячиславне, приехал с нею в Новгород, Вадим стал частым гостем в княжеских хоромах. В семье князя Вадим был принят как родной. Но каждый раз, находясь ли в толпе, окружавшей княжеское крыльцо во время праздников, или сидя у князя в горнице, Вадим жадно следил за каждым словом, каждым движением молодой княгини. Кусая губы, наблюдал он, какой радостью озарялось ее лицо, когда она взглядывала на Александра, как светились ее синие глаза, как беззаботно она смеялась, играя с большим серым котом.

Скрывая от всех свое безнадежное чувство, Вадим постепенно пришел к решению уйти куда угодно, возможно дальше, только прочь из Новгорода!

Однажды, вернувшись в свою мастерскую с обеда у князя Александра, Вадим опустился на ременчатый стул перед кленовой доской, на которой он выписывал образ пресвятой девы Марии. Богородица, с которой он писал, была смуглая, с черными скорбными глазами, с кудрявым младенцем на руках. Вадиму было наказано точно воспроизвести образ, списав его с редкостной иконы, привезенной из Царьграда. Тяжело вздохнув, Вадим взял глиняные вапницы (горшочки с краской) и приступил к работе. Работа спорилась, появлялась узорчатая одежда, но, помимо его воли, на доске постепенно вместо смуглой скорбной богоматери вырисовывался другой, никогда не покидавший его, светлый, улыбчатый образ синеокой княгини.

Вдруг Вадим услышал за собой тяжелый вздох и оглянулся: позади него стоял отец Макарий, сурово нахмурив мохнатые брови.

— Безумец! — прошептал монах.— Дерзновенный грешник! Что деется в душе твоей? Какие бесовские стра-

сти клокочут в тебе? Кого ты рисуешь? Ведь это предерзостная переделка святой иконы! Если отец игумен увидит твой соблазнительный образ, он на тебя оковы велит наложить, в поруб глубокий засадит, а если, не дай бог, сам владыка услышит,— то не быть тебе в живых, истинно говорю! Сгниешь ты в порубе, как слуга антихриста! Немедля соскобли твое мастерство! А поверх ты напишешь другой образ заново. И поскольку девий лик в тебе разжигает греховные страсти, то пиши на этой доске образ святого апостола Петра, лысого и брадатого, или святого Власия, скота покровителя. Я же, по долгу своему, все же пойду к отцу архимандриту и спрошу его: какую эпитимью наложить на тебя, дерзновенный грешник!..

Шаркая ногами, отец Макарий ушел. Вадим бережно сложил кисти и вапницы в небольшой сундучок, старательно завернул нарисованный им образ в свой холстинный передник и осторожно вышел боковой дверью в монастырский сад.

Надо было торопиться. Дремавший у ворот сторож, закутанный в тулуп, не обратил особого внимания на всегда щедрого Вадима. Быстро дошел «дерзновенный грешник» до избушки на окраине города, где жила его старая няня. Вадим объяснил ей, что уходит на богомолье недалече, в подгорный монастырь. Сказать старухе правду у него не хватило духу. Выбрав из своих вещей только то, что можно было легко унести с собой, Вадим уложил все в котомку и закинул ее за плечи.

Нянюшка заплакала:

— Родимый мой, на кого ж ты меня покидаешь, старую да слабую? Чую: не к добру ты уходишь в такую непогоду.

— Не горюй! Я скоро вернусь,— тогда подарю тебе баранью шубу и новый платок. Не плачь, лучше помолись обо мне!

Вадим обнял старушку, прижал ее к себе, а она целовала и нежно гладила его по лицу.

— А если без меня тебе что-либо понадобится, сходи на княжий двор к молодой княгине Брячиславне, она тебя без помощи не оставит.

Вадим вышел из избы и, выломав из плетня на огороде палку покрепче, бодро зашагал по дороге.

— Киев! Я должен добраться до Киева! Там, в Печерском монастыре, говорят, схоронились от мирской суеты и искусные мастера-изографы, там я найду себе опытного наставника, там я забуду свою тоску!

В пути через несколько дней Вадим присоединился к ватаге скоморохов, направлявшейся проторенной дорогой в сторону Полоцка и Смоленска. Они стали уговаривать его поступить в их ватагу:

— Жить станешь привольно. Всюду тебя накормят и напоят на гулянках и свадьбах. А для нас ты станешь размалевывать потешные «хари» да скоморошьи наряды.

Однажды, когда Вадиму удалось отстать от скоморохов, в глухом месте на него напали лихие люди, избили, отобрали все ценное, пощадив только икону и краски. Обессиленный, лежал Вадим на дороге под раскидистой елью и думал, что уже пришел его конец.

Мимо проезжал старый крестьянин. Он подобрал избитого Вадима, привез в свой домишко. У него Вадим прожил некоторое время. Старик кормил его, бабка поила горячим молоком. Когда Вадим немного окреп, он рассказал, что с ним было.

— Жаль, что ты в дороге от скоморохов отстал,— они люди веселые и душевные. А вот как пошел ты один, тебя и пристукнули! Теперь много лихих людей бродит по дорогам. Слава богу, тебя еще сохранила от смерти чья-то молитва. Нынче ходить надобно с опаской, попутчиков выбирать с оглядкой. А твоя икона мне очень по сердцу. Лик ее похож на мою дочку Настю,— упокой, господи, ее душеньку! Такие же у нее были синие глаза и лицо светлое, доброты несказанной. Был у меня зятюшко — охотник Андрей. Обвенчались они с Настенькой и жили — души друг в друге не чаяли. Родился у них сынок, тоже мы его Андреем назвали. А тут заболела моя Настенька огневицей, всего дней пять промаялась, да и богу душу отдала. А внучек с нами остался. Мы с бабкой его сберегли, козьим молоком поили. Вот он здесь перед тобой. Как-то зять Андрей сказал мне: «Тоска меня замучила. Не могу здесь жить, уйду бродить по свету». А он смелый был охотник, один на медведя ходил с рогатиной, пять шкур медвежьих нам домой принес. Ушел он от нас, и долго о нем ни слуху ни духу не было. Думал я, что он так и сгинул неведомо где, потому все смерти искал. А недавно пришел к нам мой сродник и принес подарочки: сапоги крепкие, мало ношенные, а жене холстины на сарафан, да мальчонке рубашку красную. И тот человек — богомолец праведный, по святым местам ходит, милостыней кормится, нам все подарочки эти в сохранности принес. Так вот он и сказывал, что зять мой Андрей большим человеком стал: он плоты гонит по Днепру от Смоленска и до Киева. Сам на переднем плоту сидит и указывает плотовщикам, как «глав-

ной струи» на реке держаться и как всеми плотами зараз повороты делать. Если, сказывал, прозевать крутой поворот, то плоты на берег выскочат и стащить их оттуда почти непосильное дело.

— А нельзя ли мне к нему попасть, к твоему зятю Андрею? — спросил Вадим.

— Вот и я о том же подумываю. Добирайся до Смоленска, а там спросишь на берегу Андрея-плотовщика, вата́мана; тебе всякий его укажет. Он за лето, говорил нам странник, раза четыре во время сплава обернется, а то и пять, как выйдет. Из Киева Андрей обратно в Смоленск на коне скачет, чтобы там новые, уже связанные плоты спустить в Днепр. Ты ему передашь от меня, что мы живы и здоровы, сынок, мол, растет и тятьку домой поджидает с гостинчиком. Пусть к нам скорее возвращается!

На прощанье Вадим подарил гостеприимному хозяину Прохору Степановичу написанную им икону. Поблагодарив за подаренную одежонку и за хлеб-соль, он двинулся в путь.

Благополучно добравшись до Смоленска, Вадим увидел на берегу множество плотов, приготовленных к плаванью. Расспрашивал у всех встречных людей, где можно найти плотовщика Андрея — ватамана, пока не услышал:

— Да вот он и сам перед тобой!

Статный крепкий мужик. Соколиный взгляд. Холодные пытливые серые глаза. Лицо обветренное, загорелое.

— Ты откуда и почему сюда пришел?

— Тесть твой, Прохор Степанович, с тещей шлют тебе низкий поклон от черной брови до сырой земли, и сынок Андрюша тоже низко кланяется.

Андрей склонил голову, провел рукой по глазам, как-то весь согнулся, но сейчас же выпрямился и спросил:

— Ну, как старики? Здоровы?

— Все в твоем доме, слава богу, спорится: и урожай был сходный, хлеба не полегли. А люди опасались, потому что лето было дождливое. И теща твоя хозяйничает, хлопочет, за коровой и за козой присматривает и за внуком ходит — он растет бойкий, непоседа.

— А ты, молодец, куда путь держишь?

Вадим рассказал, что он хочет попасть в Киев на выучку к изографам в Печерскую обитель.

Подумал Андрей и сказал:

— Гляди на передний плот. Видишь, там соломенный шалашик? Его я отдаю тебе. В нем ты укроешься и от

дождя и от холода. Заберешься в него и спи на соломе до самого Киева.

На всех плотах были низкие длинные будочки, сплетенные из соломы, вышиной до пояса. Нужно было влезать туда ползком и лежать растянувшись.

На утро следующего дня плоты поплыли вниз по течению. Вадим лежал на соломе в будке, выглядывал оттуда, и ему казалось, что плот стоит на воде неподвижно, а мимо него бегут обратно и села, и поля, и берега, заросшие густым лесом. Не раз он видел, как медведица с медвежонком или ветвисторогий красавец олень подходили к воде, пили и медленно возвращались в чащу, косясь и оглядываясь на проплывавшие плоты.

К переднему плоту была привязана большая лодка — «дубовик». В ней хранился огромный железный якорь: его поднимали несколько человек. Андрей сидел на переднем плоту и зорко смотрел вперед. Когда река делала крутой поворот, он, зная хорошо весь путь, заранее выплывал вперед на дубовике и приказывал, где сбросить якорь в воду. От якоря тянулся толстый пеньковый канат. Река уносила плоты вперед, как будто прямо на изогнутый берег, но туго натянувшийся канат удерживал передний плот посреди реки, а за ним стремительным течением Днепра заворачивались другие пять плотов, и все они вытягивались посреди реки в новом направлении, так что задний плот оказывался передним.

Тогда Андрей подавал знак гребцам на лодке, и они вытаскивали якорь обратно в дубовик, а вся связка плотов неслась дальше. Дубовик объезжал плоты, а Андрей с гребцами переходил на задний плот, ставший теперь передним. Канат привязывался к скрепам, связывавшим бревна. Андрей снова садился впереди и ждал следующего поворота реки, где все повторялось.

Так Вадим летом 1240 года на плоту благополучно прибыл в стольный город Киев.

Глава вторая

ВАДИМ В КИЕВЕ

Киев поразил Вадима своей живописной красотой. Раскинувшийся на холмах, густо заросший высокими раскидистыми деревьями, Киев издавна славился богатыми постройками, величием церквей, золотыми куполами, множеством боярских хором и каменных палат и бесчисленным

количеством домиков киевлян — невысоких, глинобитных, с выбеленными стенами, с камышовыми крышами.

Вадим и Андрей прошли по Подолу, нижней прибрежной части Киева, где проживали многочисленные рабочие умельцы — искусные мастеровые разных специальностей — и где были расположены также всевозможные мастерские.

Громыхали кузницы, стучали плотники, люди толпились перед мастерскими, гончарными, литейными, оружейными и прочими. Всюду трудились киевские и приезжие издалека работные люди.

— Вот здесь живут и трудятся много моих друзей,— сказал Андрей.— Каждый год я сюда приплываю несколько раз и доставляю здешним умельцам отборные лесины: и березовые, и дубовые, и липовые, и кленовые,— какие кому понадобятся. Ты можешь тут встретить и твоих новгородцев, и псковичей, и полочан. Особенно много сюда прибыло суздальцев и владимирцев после татарского погрома; они переселились в Киев, хотели найти себе мирный труд и тихую жизнь, да вряд ли и здесь найдешь тишину. Татары еще не успокоились, и хотя осели в низовьях Волги, а кто их знает? Вдруг их ненасытный людоед хан Батыга задумает злое и налетит сюда своей несметной ордой?

В Киеве сразу же Вадим услышал разговоры нерадостные. Старый знакомый Андрея кузнец Григорий, имевший свою кузницу на Подоле, встретил его с хмурым и озабоченным лицом:

— В недобрый час приплыл ты к нам в Киев, любезный друже Андрей. А лесины твои нам все же понадобятся, хотя теперь нечего и думать о постройках новых домов. Все силы теперь брошены на городские стены: надо укреплять Киев, надо опоясываться более высокими валами. Настают времена тяжкие. Остаться бы только нам самим живыми!

— Да что случилось? Где ты беду чуешь? — спросил удивленный Андрей.

— Ты, верно, уже заметил, что не первый год из Дикого поля через Днепр плавятся и бегут мимо Киева и половцы, и бродники, и всякие другие степняки-кочевники. Они говорят, что хотят перебраться в угорскую степь Пушту, а в этом году бегут они уже не отдельными семьями, а целыми стойбищами и родами. Бегут, как ошалелые. Говорят, что они боятся татар, которые охотятся за ними по всей половецкой степи, избивая без жалости, а то, захватив пленных, гонят их назад, в низовья Волги, и там

продают, как скотину, в рабство приезжим купцам бухарским и персидским.

— Плавали мы до сих пор по Днепру и беды не чуяли,— сказал Андрей.

— Посмотри на ту сторону,— продолжал кузнец Григорий.— Видишь скопище людей и пеших и на конях? Там сгрудились и верблюды и телеги, нагруженные всяким добром. Быки тянут целые возы. Это половцы или другие степняки. Они у нас нанимают не только ладьи, но и паромы и плоты, чтобы только поскорее переправиться на нашу сторону. А платят они хорошо, скотом или кожами, почти не торгуясь, только бы им переправиться скорее на наш правый берег.

Из разговоров Вадим узнал, что к Киеву из степи однажды летом уже подходил большой отряд татарской конницы, и тогда татары стояли долго на противоположном левом берегу. От них приплывали на ладьях послы, которые заявили нашим боярам, «городским старцам», что татарский владыка требует, чтобы Киев сдался на их полную милость, и обещает, что татары Киева не тронут и не обидят ни одного жителя, а только наложат на город ежегодную дань.

— Да можно ли татарам верить? — говорил кузнец.— На их уловку мы не пошли и проводили честью. Татары долго ждали, что Днепр замерзнет, а зима была теплая. Постояли они и откатились обратно в степь.

— Друже Григорий,— спросил Андрей,— а ведь ежели в этом году зима будет ранняя и суровая и примчатся сюда немилостивые татары, а Днепр замерзнет, то им легко будет перейти на нашу сторону и в великом множестве обрушиться на Киев. Что вы тогда станете делать?

— Вот об этом и думают и гадают и князь наш, и его бояре, да и все киевляне. А это что за молодец с тобой?

— А это новгородец Вадим. Приплыл со мной от Смоленска на плоту. Хочет учиться в Киево-Печерском монастыре. Объясни, Вадим, как тебя назвать по твоему рукомеслу?

— И постриг монашеский хочешь принять? — спросил кузнец.

— Я учусь образа писать. У нас зовутся такие иконописцы изографами,— сказал Вадим.— Но я не собираюсь постричься в монахи, а только хотел бы поселиться где-нибудь в городе и ходить в иконописную мастерскую для обучения.

— Ежели тебе надо сейчас поселиться где-нибудь, то я тебя провожу к моему другу, соседу горшене Кондрату.

Он живет в верхнем городе, а здесь, на Подоле, ютится его лавчонка совсем неподалеку. Идем к нему.

Кузнец проводил Вадима и Андрея к своему «дружку» Кондрату. Чернобородый приветливый хозяин стоял за прилавком под деревянным навесом; на прилавке были расставлены рядами глиняные миски, горшки и кувшины, расписанные яркими красками; тут же кузнец обратился к хозяину:

— Друже мой Кондрат, не нужен ли тебе помощник, молодец на все руки? Он сейчас без крова, только что прибыл на плоту из Смоленска. Не сможешь ли ты его приютить в своей хате?

Горшечник, прищурив один глаз, посмотрел на Вадима:

— А ты что умеешь делать?

— Что велишь, то и сделаю! — ответил Вадим.

— Он молодец покладистый и тихий,— сказал Андрей.— А в пути он нам из глины вылепил и медвежонка, и коня, и скомороха с дудкой.

— Повремени здесь маленько, и я тебя провожу к себе домой. А это твой, что ли, пес?

Вадим оглянулся. Возле него стояла лохматая собака, приплывшая с ним на плоту. Она умильно поглядывала, виляя хвостом, точно понимая, что разговор идет о ней.

— Видно, теперь моим стал! — И Вадим погладил собаку по лохматой голове.

— Ну ладно,— сказал горшечник.— Как потерял я хозяйку, тошно мне стало жить одному в хате. Пожалуй, я пущу тебя к себе, все же вдвоем будет и теплее и веселее, а то у меня дома только кот да голуби на крыше. Бобылем живу. А пустолаечку бери с собой.

С этого дня Вадим поселился в хате горшечника Кондрата, а его собачонка жила в будке близ дома и усердно лаяла на всех проходящих.

Вадим отправился в Печерский монастырь, на южной окраине города. Побывал в иконописной мастерской, нашел там несколько монахов-изографов. Он сговорился приходить к ним, чтобы одолеть любимое живописное искусство.

Рядом с хатой горшечника Кондрата стояла другая хата, отделенная плетнем. Оттуда часто слышались песни и девичий смех. Однажды из-за плетня показались две веселые девушки-подростки. Они заговорили с Вадимом:

— Здравствуй, сосед! Ты будешь тоже таким же молчальником, как твой хозяин? Или ты от рождения немой?

Вадим подошел к ним:

— Здравствуйте и вы! Что вы тут поделываете и почему у вас всегда дымит печь, а вас самих нигде не видно?

— Ты и это заметил? У нас бабушка строгая. Она бублики печет и торгует ими в хлебном ряду на Подоле, а мы ей дома помогаем. Работы у нас много.

— Как же вас звать? — спросил Вадим.

— Меня Софьицей, а сестру — Смиренкой.

Дали они Вадиму пару бубликов и скрылись, крикнув:

— Вот и бабушка идет!

Глава третья

ДРУГ СТЕПНЯКОВ

В низовьях Днепра к его обрывистому берегу со старыми ивами пристала лодка, длинная, прочная, просмоленная,— такую лодку в народе называли «дубом». Гребцы-«дубовики», подобрав весла, выскочили на землю, все дюжие, с засученными выше колен портами, с расстегнутыми на груди рубахами. Волосы острижены в скобку, и на шее гайтан с небольшим деревянным крестиком; лица загорелые до черноты. Гребцы прикрепили канатом лодку к старой иве, вцепившейся мощными корнями в склон берега.

— Русы! — сразу поняли несколько степняков торков[1], стоящие настороже возле густых зарослей камыша, куда в случае беды они могли бы скрыться.

В лодке оставалось несколько купцов-греков. Другие путники были паломники к «святым местам», вернувшиеся из Царьграда. Их можно было узнать по длинным высохшим пальмовым ветвям, большому деревянному кресту, который бережно держал один из сидевших, да еще по их протяжным духовным песням.

Некоторые из прибывших, выйдя из лодки, молились на восток и клали земные поклоны. Три женщины в длинных одеждах, туго повязав голову темными платками до бровей, держались неразлучно и пели пронзительными голосами «духовный стих», усевшись рядком около костра, разведенного гребцами.

Степняки засуетились и скрылись в камышах. Вскоре они вернулись. Впереди медленно и важно шагал, очевидно, их на́больший в меховой шапке из облезлой лисы. Он торжественно опирался на высокий посох из перевернутого кверху корнем деревца. Это корневище было искусно выде-

[1] Торки, как и встречающиеся далее берендеи, часто обозначаемые собирательным именем «черные клобуки»,— кочевые племена тюркского происхождения, сосредоточенные в то время в пограничных местах Киевского государства.

лано в виде головы чудовища с рожками. Вместо глаз были вставлены два красных камешка. На поясе старшины висел короткий широкий нож. Длинные полуседые волосы, заплетенные в косу, ниспадали на одно плечо.

— Здешний князь торков! — сказал один из гребцов, не раз уже плававший по Днепру.

— Колдун и лечец! — добавил другой.

За своим старшиной два торка несли на руках изможденного старика с серебристой бородой, в бедной выцветшей рясе. Они бережно опустили его на песок около костра. Женщины-паломницы стали суетиться около старца, повернули его на спину. Один кочевник подсунул ему под голову кожаную суму. Женщины соединили руки старика на груди и вложили в белые сухие пальцы медный восьмиконечный крест, висевший у него на цепочке на шее.

— Отходит! — шепнула, вздохнув, одна.

— Кончается! — подтвердила другая.

— Какое! Еще поживет! — убежденно возразила третья.— Такие с виду мощи — самые живучие! Моему деду даже зажженную свечу в руки сколько раз вкладывали, а он на спине так еще три года пролежал, и даже вставал, когда у нас пекли блины со снетками...

— Со снетками? А ты не с Чудского ли озера? — неожиданно очнувшись, спросил умирающий старик.

— Оттуда, дедушка! Из-под Талабска, что близ Пскова. Слыхал, чай?

— Бывал я и на Талабском озере... Пробовал блинов со снетками. Прасковья меня угощала.

— Какой живучий! — сказала одна женщина.— Она кто тебе была, Прасковья-то, сродственница или так?

— Пожалела меня, укрыла. Я бежал тогда из Пскова от боярина Твердилы Иванковича. В холопах у него был. Лютый был боярин.

— А Твердило этот, видно, был злобный кобель?

— Поедом ел, холопов порол до смерти. Я потом в чернецы постригся уже в Киеве.

— А теперь чего же ты помирать собрался здесь, а не на родной стороне?

— Устал я!.. От бродячей жизни устал. Все кости ноют. Покоя просят... На родную сторонку хотел бы добраться, да, видно, не придется...

Старик снова вытянулся и затих. Глаза остановились. Рот полуоткрылся. Одна женщина прошептала, обращаясь к остальным:

— Надобно с лодки призвать нашего монаха. «Отходную» пусть прочитает.

Она быстро пробралась в лодку и на корме растолкала свернувшееся тело, прикрытое тулупом.

— Вставай, отче Мефодий! Старик там немощный на берегу кончается, если уж не помер...

Протирая глаза и расправляя длинные спутанные волосы, приподнялся чернобородый тощий монах и удивленно стал осматриваться, поводя темными глазами.

— Куда ж это нас господь принес? Неужели приехали в родную землю? Ну и трепали же нас смерти на море!

— Вставай, очнись, святой отче! Опосля дивиться будешь. Иди за мной.

— А что за монах? Откуда он?

— Его на берег здешние степняки притащили. Верно, один из ваших монахов будет. Пожелал на родной земле богу душу отдать. О родном доме все вспоминает, и о снетках, и о Прасковье. Только едва ли до них доберется.

Монах встал, длинный, тощий, в старой выцветшей рясе, и сейчас же снова повалился, так как лодка покачнулась. Собрал все свое скудное имущество: кожаную сумку, посох из «ливанидова древа» (кедра ливанского), глиняный кувшин и деревянную миску. Подхватив старый тулуп, он последовал за женщиной, осторожно переступая через лежавшие тела. Выбравшись из лодки и подойдя к умирающему старцу, он нараспев прочел несколько молитв, потом опустился на колени и склонил свое оттопыренное ухо к устам лежавшего. Долго он слушал, потом отодвинулся и спокойно уселся рядом на земле. Все бывшие поблизости внимательно за ним следили.

— Спит! — сказал монах и вздохнул.

Гребцы стали варить в медном котле похлебку.

По-видимому, поблизости находился табор степняков. Стали приходить и взрослые и дети и на некотором расстоянии садились на пятки, обнимали колени, следя блестящими глазами за всем, что происходило на берегу. Они переговаривались вполголоса, размахивая руками, и при громких окриках гребцов все вдруг разом поднимались, готовые бежать.

Покончив с похлебкой, гребцы, владельцы «дуба», стали сзывать путников обратно в лодку.

— Эй, странники-богомольцы! Живее садитесь в дуб, того и гляди дождь нагрянет. Заранее укладывайтесь и лежите тихо. Потому в пути по дубу ходить заказано!

Все поспешили в лодку. Остались на берегу только умирающий старик и тощий монах, который вынул из сумки

потрепанный Псалтырь и начал его громко нараспев читать. К нему подошел один из гребцов.

— Что же ты медлишь, отче преподобный?

— Не видишь, что ли, иеромонах кончается!

— Так давай перенесем его в лодку. Ему место найдется.

— Меня не ворошите,— простонал умирающий.— Схороните здесь под этой ивой.

— Ждать нам никак нельзя,— дорога дальняя. И тебе здесь оставаться не след: место глухое, рядом степняки — народ разбойный, ненадежный.

— Все едино: ежели господь повелит, то и степняки не тронут.

— Но сей седовласый брат наш имеет священный сан иеромонаха, и я не могу его здесь одного покинуть, аки зверя лесного.

Гребцы отошли, потолковали меж собой и направились к лодке. Один остановился и сказал:

— Все одно его хоронить: что здесь, что у порогов! В последний раз говорю: давай мы его перенесем в лодку!

— Я останусь с отцом болящим,— ответил монах и продолжал, не двигаясь, смотреть в Псалтырь,— а в Киев я и пешком дойду.

— Ой, не дойдешь! Путь долгий да буераками дикими изрезан, а народ тут беспокойный. Лучше подожди, за нами другой дуб скоро приплывет,— на нем и доедешь.

— Я в самый ад кромешный попал, когда татары всех православных рубили в Рязани, и все же неиссеченный домой вернулся. Мне ли перед этими степными братьями робеть! Поезжайте с богом, путь вам добрый!

Гребцы размотали канат, перекинули через плечо бечеву, влезли в прикрепленные к ней лямки и мерными шагами пошли берегом. Один из гребцов на корме с длинным веслом и другой, стоявший с шестом на носу лодки, направляли дуб на «чистую воду», отталкиваясь от подводных камней.

Два монаха остались на берегу. Читавший Псалтырь изредка посматривал на неподвижное лицо больного и замолкал, прислушиваясь к его дыханию. Издалека еще долго доносилась мерная песня, которую завели дубовики, упорно шагавшие вперед против течения реки.

Старшина, скрывавшийся в камышах, снова подошел к монахам, опустился рядом с ними на землю и положил свой посох. К нему приблизились несколько других степняков и уселись вокруг.

Молодая женщина в просторной одежде с множеством разноцветных бус на шее принесла глиняный кувшин с мо-

локом. Старшина что-то ей пробормотал. Она опустилась в головах лежавшего монаха и, окунув руку в кувшин, начала с пальца, как младенцу, капать молоко в полуоткрытый рот умирающего. Его губы зашевелились, и он с усилием стал глотать.

Старшина тронул за плечо читавшего Псалтырь монаха, указал рукой на небо и сказал:

— Тенгри...

Потом он сжал ладонь в кулак и, вглядываясь в глаза монаха, добавил несколько непонятных слов.

Старик прошептал едва слышно:

— Это он говорит... «Тенгри»... по-ихнему небо... Хочет, чтобы все люди были братья... Как пальцы на руке... И собирались, когда нужно, в одну десницу... Я у них прожил три года с евангельской проповедью. И этот старик, ихний старшина... тоже, как другие, у меня крестился... А колдуном по-старому остался... чтобы свои боги не разгневались.

Больной затих. Монах, отложив Псалтырь, наклонился к нему:

— Скажи мне, отче: кому весть о тебе подать, ежели я в Киев доберусь? Может, в обитель какую зайти?

Старик еле слышно прошептал, задыхаясь:

— В Киеве найди тысяцкого Дмитро... Скажи ему, что известный ему иеромонах Вениамин, тот, что последние годы «черных клобуков» и торков просвещал, а теперь к смерти готовится от старческой немощи,— посылает воеводе Дмитру свое благословение на подвиг ратный, ибо бегут уже отсюда на закат солнца все степняки перед врагом лютым, именуемым татарами, а воинам их несть числа... Но святою правдою и нашей крепостью мы, сыны русские, их одолеем! Пусть встанут крепко за землю родную, и силы небесные принесут нам победу!

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КИЕВА

Глава первая

ТРЕВОГА В КИЕВЕ

Прошло горячее засушливое лето 1240 года, миновала золотая осень, и все это время мимо Киева тянулись длинной вереницей и всадники разных кочевых племен Дикого поля, и пешие люди, и нагруженные телеги: «черные клобуки», половцы и другие степные обитатели уходили прочь из Дикого поля; непрерывно на лодках и плотах переправлялись через Днепр и двигались дальше, мимо Киева, в надежде найти где-то там, за лесистыми Карпатскими горами, спокойную трудовую жизнь.

Скрипели тяжелые возы, запряженные волами, медлительной поступью шагали двугорбые верблюды, навьюченные частями разобранных войлочных шатров, пылили стада овец с неизменным козлом впереди и проносились табуны разношерстных коней. Вокруг них скакали завернутые в шкуры конюхи в войлочных малахаях с длинными гибкими жердями, «укрюками», с петлей на конце. Они старались сбивать коней вместе в табуны, не давая им разбрестись по привольной беспредельной Дикой степи.

С тревогой поднимались жители Киева на старые земляные валы, на широкие стены, опоясывавшие древнюю русскую столицу. Пристально всматривались киевляне в голубые степные дали, где то и дело появлялись все новые и новые черные точки, по мере приближения превращавшиеся в отряды степняков, и казалось, конца им не будет...

— Что же это творится в Диком поле? — вздыхали озабоченные киевляне.— Откуда, за какие грехи насылает господь бог на православных христиан новые беды?

— Если половцы, и торки, и черные клобуки уходят со своих стародавних стоянок за лесистые Карпаты, на угорские равнины, то это — ой! — не к добру! Зря степняки никогда не потянутся в чужедальнюю сторонку. Что же их гонит? Какая тревога?

— Значит, погнал кто-то, кто посильнее!

— А кто посильнее? Только татарин! Неужели и впрямь

до нас доскачут страшные татары, мунгалы дикие, безжалостные, что пожгли и разграбили Залесскую Русь?

В прибрежных уличках Подола нарастала тревога. Все умельцы — оружейники, кузнецы, молотобойцы, все, умевшие ковать железо и выделывать из него оружие, принялись за спешную работу. Со всего города приходили киевляне, и молодые и даже глубокие старики, давно забывшие о воинских делах. Сходились в кружки, приносили с собой и точили мечи, заржавевшие копья и топоры. Все искали какого-нибудь оружия, скупали все, что могло послужить защитой от жестоких врагов.

Оказавшиеся в Киеве половцы и другие степняки бродили по Подолу и, почти не торгуясь, забирали все, что еще оставалось в железных рядах.

— Неужто татарский Батыга-хан и взаправду доберется до нас? — толковали киевляне.— Как мы его встретим? Он ведь только одного и ждет, чтоб мы сдались без боя. Враги жалости не знают и всех, кто с ними борется, приканчивают.

— Разве им тесно стало в кипчакской степи?

— А где самый набольший половецкий хан Котян? Почему он ушел из степи и погнал всех своих конников к уграм?

— Если он так заторопился, значит, его теснил кто-то, кто посильней его и кто летит сюда, как буря.

— Чего пугаешь! Если зима будет теплая и Днепр не заледенеет, не остановится, то не перебраться татарам на нашу сторону. Тут мы их и отшибем.

— А если задует сиверко и река станет? Тогда мунгалы вмиг перекинутся на нашу сторону и разольются по всему Киеву, как река в половодье. Заглянут во все наши дома и все, даже подвалы, оберут.

— Как мунгалы разольются? А мы сложа руки станем смотреть на них без отпора?

— И уйти-то нам тогда будет некуда.

— А мы и не собираемся уходить! На своей земле и жить и умирать надо.

В этот страшный год погода долго стояла осенняя. По Днепру, откуда-то сверху, из-под Смоленщины, приплывали последние плоты и приставали к левому, степному, берегу. Оттуда на ладьях плотовщики переправлялись в город, шли по торговым рядам, предлагая связками беличьи, лисьи и заячьи шкурки, висевшие у пояса. Раньше такие шкурки тут же бы расхватали, а теперь никто их не брал.

— Ну что нам шкурки? Свою бы шкуру сберечь!

— Эх, рано панихиду запели,— отвечал один плотов-

щик.— Татар, что ли, испугались? Мы их под Переяславлем видели и гоняли. Храбры они, когда впятером бросаются на одного. Если дружно встретить татар и всем встать стеной на защиту Киева, то им с вами никак не совладать.

Крайне встревоженные люди расходились по домам.

Глава вторая

В КНЯЖЕСКИХ ХОРОМАХ

В стольном городе Киеве в «детинце» (крепости) у ворот княжеских палат стоял рослый дружинник в остроконечном шеломце. Он перегородил копьем вход во двор, отталкивая упрямо ломившегося туда высокого тощего монаха. Тот в гневе стучал посохом:

— Да пусти ты меня, непонятливый!

— Сказано тебе: великий князь строго приказал никого к нему на княжий двор не впускать, ни конного, ни пешего.

— А про духовный сан, про священнослужителей так уж князь ничего не сказал?

— Ни калику перехожего, ни монаха длинноризца — все одно не пущу!

— Пойми, чадо мое, что я пришел издалека, с низовьев Днепра, близ моря, еще подалее порогов. И я видел, какая там у степняков замятня́,— все плавятся через Днепр. И еще видел другое, многое и страшное, о чем князю поведать должен. А ты, гордыней обуян, стоишь передо мной, истукан каменный.

— Не пущу! — упрямо отвечал дружинник.— Князь Данила делом занят: куда-то спешно снаряжается и дружину с собой берет.

— Я, сынок, должен беспременно его увидеть. Ведь грамотку я принес от отца Вениамина, бывшего духовника тысяцкого воеводы Дмитрия.

— Говорю: лучше отойди от греха! — резко ответил дружинник.— Все одно не пущу!

В это время к воротам подлетел взмыленный могучий конь и остановился, удержанный сильной рукой всадника. За ним, гремя ратными доспехами, примчался еще десяток конных воинов.

— Здоров буди, воевода Дмитро! — приветствовал всадника стоявший у ворот дружинник.

— Спасибо, Степан! — зычным голосом ответил воевода.— Князь Данила дома?

— Князь в гриднице, спешно снаряжается в путь-дорогу. Сейчас я тебе открою ворота.

— Снаряжается в дорогу? — удивился приехавший.— Верно, в поход?

— Князь сам тебе скажет, а нам неведомо.

Всадник соскочил с коня и увидел перед собой тощего монаха. Тот, загородив дорогу, кланялся в пояс:

— Позволь слово молвить.

— Ты с каким челобитьем, святой отче, кто тебе надобен?

— Ежели князю Даниле недосуг перед дорогой, то я и за тебя вознесу молитвы к господу, если ты меня выслушаешь.

— Говори, только поскорее, а то и мне недосуг.

— Я прибыл издалеча, из Царьграда, а перед тем был еще во святом граде Иерусалиме. Через низовья Днепра я плыл на ладье, и в месте незнаемом увидел, как степняки принесли на берег умиравшего иеромонаха Вениамина.

— Отец Вениамин? Не тот ли, которого я знал?

— Истину рек: он самый. Принесли его мирные кочевники, чада его духовные, святое крещение принявшие. Отец Вениамин их крестил.

— А со степняками приднепровскими ты говорил? Что они замышляют? Супротив нас или с нами?

— Об этом я и хочу речь повести. Степняки сами у нас же подмоги просят. Говорят, что уже видели татарские разъезды по другую сторону Днепра. Подъезжали, сказывают, конники, страшные, лохматые, захватили несколько рыбарей и с ними назад в степь умчались. Степняки днепровские теперь стали наши дружки, и они нас молят: «Ты, говорят, спроси Киевского князя, как нам быть: держаться ли своих заповедных мест или уходить дальше, к уграм? Будет ли Киев рубиться против татар, или киевляне, покинув город, укроются в лесных Карпатах?»

Тысяцкий в гневе воскликнул:

— Так я и знал, что здесь уже беды натворили! Нет твердой руки! Всё князья меняются! Разве можно нынче покинуть Киев? Этакую твердыню! Идем к князю, отче. Как звать-то тебя?

— Мефодием звать. Иеромонах Мефодий, родом я из Переяславля-Залесского.

— А отец Вениамин тоже с тобою прибыл?

— Нет, преславный воевода! Отдал он господу свою праведную душу на берегу Днепра, и там же я схоронил его иссохшее бренное тело. Сам он, умирая, просил меня об этом. Оттого я и задержался. Приехал сюда я на клячонке, ее мне дал окрещенный старшина степняков вместе с треб-

ником отца Вениамина. А святое евангелие его заветное старшина просил оставить в память их первоучителя.

— Упокой, господи, душу праведника, отца Вениамина в селениях райских! — сказал воевода и перекрестился.

— А ты пойди к настоятелю Десятинной церкви и скажи, что прислал тебя я, воевода Дмитро. И настоятель тебя там пристроит.

Ворота уже были открыты. Передав дружиннику поводья своего рослого коня, тысяцкий пошел вперед.

Тысяцкий Дмитро поднялся по запорошенным снегом ступеням в просторные сени, где сидели несколько дружинников. Увидев своего воеводу, они вскочили и выпрямились.

Разглаживая длинные свесившиеся усы, гордый, суровый, вошел тысяцкий в гридницу. Знакомый покой — просторный, с дубовыми скамьями вдоль стен. Против двери, у задней стены, длинный стол на точеных ножках, покрытый бархатной скатертью. Как будто все по-прежнему...

Повернувшись к переднему углу, Дмитро перекрестился на образа в серебряных окладах. Три золоченые лампадки на цепочках спускались с потолка, и в них тихо мерцали неугасимые огоньки, зажженные еще ранней весной в «страстную седмицу». Несколько поставцов раньше были уставлены драгоценными блюдами, кубками, чарками, ковшами серебряными и золотыми,— многие из них передавались из рода в род, захваченные в походах. Сейчас большая часть драгоценностей была убрана.

По стенам всегда было развешано охотничье и боевое оружие. И про него много можно было рассказать: когда и в каких боях и у каких степных удальцов оно было отбито. Почему же теперь и его нет?

В гридницу стали входить призванные князем бояре и именитые люди киевские,— степенные, в дорогих кафтанах, по зимнему времени подбитых мехом. Крестясь на образа, поглаживая бороды, они кланялись тысяцкому, садились на скамьи вдоль стен и тихо переговаривались.

Из внутренних покоев вышел молодой слуга в синем кафтане, обшитом на рукавах и воротнике красной каймой. Он подошел к тысяцкому и прошептал:

— Князь сейчас в большой заботе. Повелел сказать, что выйти не может!

— Мне с тобой некогда толковать. Беги сейчас же обратно к князю и скажи, что тысяцкий Дмитро с передовых валов на Диком поле прискакал в спешке и должен с князем неотложно совет держать!

— Никак не удастся! Князь нынче в сердцах: крепко приказал его больше не тревожить.

— А ты меня не растревожь! — прохрипел Дмитро.— Беги сейчас же и поясни князю, что я жду его и не уйду отсюда! — И он с такой силой толкнул слугу, что тот ударился в дверь, за которой тотчас же скрылся.

Бояре удивленно поднялись с мест и направились к тысяцкому. Тот стоял у окна, заложив руки за спину.

— На что ты прогневался, воевода Дмитро? Поведай нам!

— Повремените немного. Не уходите! Все сейчас узнаете. Только князя Данилу дождемся.

— Скажи хоть слово одно!..

— Одно слово? — Тысяцкий окинул бояр суровым взглядом: — Война! Она летит на нас, как буря!

Бояре, пораженные, переглянулись.

— Упаси боже! Что же это за напасть обрушилась на нас!

Двери распахнулись, и в гридницу быстро вошел князь Данила Романович, статный, красивый.

Дмитро стоял выпрямившись, сжимая рукоять меча, и смотрел на князя. А тот тихо спросил:

— Зачем прискакал? Народ полошить? Можно ли так? Если и вправду грозит беда, надо ратным воеводам тайно собраться и обсудить, как поднять народ... Как собрать отряды из охочих людей и дать им смелых начальников... Почему молчишь? Теперь сбегутся горожане на вече, все будут шуметь без толку, а что мы можем сказать им в ответ?

— Да,— медленно и угрюмо вымолвил Дмитро,— надо созвать вече... И кто знает: не будет ли это вече последним вечем Киева?

— Почему последним? — сказал, отступив, пораженный князь.— Зачем пугать народ? Киев готовится к обороне и устоит против всякого врага, пока подоспеет подмога. А я уже позаботился об этом, послал гонцов с грамотами к доброжелателям нашим: королю ляшскому и королю Беле угорскому, чтобы немедля присылали нам ратную помощь.

— Так они тебе и пришлют! — воскликнули собравшиеся.— Только на себя надо полагаться!

Дверь открылась. На пороге стояла княгиня, жена Данилы, смуглая и черноглазая. Ласково прозвучал ее певучий голос:

— Что здесь за тревога? О чем спор? Зачем ты гневаешься, княже? Успокой сердце свое!

К княгине подошел тысяцкий Дмитро и низко склонился:

— Да хранит тебя господь, княгинюшка пресветлая! Прости, что растревожил. Недобрые вести привез я из Дикого поля и должен растолковать князю Даниле Романовичу, что откладывать оборону нельзя ни на день, ни на час. Надо точить мечи, крепить стены, готовить народ к обороне.

— Уходи обратно в свой терем, Анна! — сказал князь сурово.— Не место тебе здесь.

— Позволь мне остаться тут с тобою. Я тоже хочу все знать. Если грозит беда и враг наступает, хочет захватить наш город, то жены русские станут на защиту рядом со своими мужьями и вместе будут биться за родной дом. Русская земля — моя святая родина! Успокойся, князь Данила! — Она подошла к мужу и прижалась к его плечу.

Князь Данила наконец уже более спокойно обратился к тысяцкому:

— Скажи мне, воевода Дмитро: верно ли, что столь неминуемо беда грозит Киеву?

— На Киев несется волчьим скоком, не делая передышки, сам татарский царь Батыга, со всем своим несметным войском.

Княгиня схватилась за голову, потом, овладев собой, выпрямилась и сказала:

— Княже Данила! Отчего же ты не сядешь за стол? Отчего не посадишь рядом воеводу Дмитро и не пригласишь собравшихся присесть поближе, чтобы спокойно выслушать, что нам расскажет преславный воевода?

Князь сел за стол в красном углу. С одной стороны поместилась княгиня Анна, с другой — тысяцкий. Бояре и остальные именитые киевляне уселись на скамьях вдоль гридницы. Полные тревоги, они тихо переговаривались:

— А можно ли ждать добра и какой-либо подмоги от королей ляшского и угорского? Да и станут ли они плечом к плечу вместе с нами биться против татар?

— Вот за этим-то я и спешу к королю Беле,— пояснил князь.— Ведь если мы будем бороться с татарами вразбивку, они по очереди смогут легче одолеть нас, чем если бы мы стали против них одной стеной.

— А что же делать нам в Киеве? — спросил, нахмурясь, один из бояр.— Пока придут сюда угры и ляхи, нам придется выдержать первый, а может быть, и последний, татарский натиск.

— Продержаться до моего возвращения с подмогой и слушаться во всем воеводу Дмитро, которого я оставляю

здесь вместо себя. Стены у Киева крепкие, врагу их не одолеть. Держитесь изо всех сил, отбивайте ворогов. Разбойники будут напирать на все ворота, а вы бросайте со стен на них камни, лейте горячую смолу, не давайте прорваться в город. Ведь Киев опоясан надежными стенами. Они оберегут его, и татары нас не одолеют. А мы у них милости не попросим: постоят и уйдут.

— Это мы и сами знаем и сделаем, как надо. Только ведь татары напористые и будут лезть, пока не одолеют стен. У хана Батыги, говорят, воинов без числа, и он их жалеть не станет.

— А если татары проломают где-нибудь стену и хлынут туда, в пролом?

Князь Данила сказал:

— Я оставляю за главного начальника воеводу Дмитро. Он меня заменит. Как воин многоопытный, он сумеет наладить защиту Киева. А сейчас я тороплюсь скорее к королю угорскому Беле, чтобы заставить его спешно выступить на помощь Киеву со всеми своими войсками и половецкими конниками хана Котяна.

Он обернулся к боярам:

— Теперь я должен покинуть вас. Кони ждут. Ступай собираться, Анна.

Княгиня, закрыв лицо руками, прошептала.

— Боже, какое страшное время настало!

Князь Данила обнял безмолвно стоявшего воеводу Дмитро, поцеловал его, но тот оставался неподвижным и сумрачным.

— Вернется ли? — говорили бояре.— Дорога дальняя.

Со двора послышались крики:

— По коням! В дорогу! Вперед!

Все бывшие в гриднице замолкли и, точно обессиленные, снова опустились на скамьи.

Дмитро стоял у окна и видел, как Данила и его дружинники садились на коней и один за другим выезжали из ворот.

Он повернулся к сидевшим и тихо сказал.

— Не оставим мы Киева без защиты, хотя бы нам пришлось на стенах города сложить свои головы.

— Верно! Верно! — раздались голоса.— Мы Киева родного не покинем, будем биться до смерти за его святыни.

— Здесь под нами священная дедовская земля, политая русской кровью. Кто только не приходил к Киеву, не бился под его стенами! Наши отцы и деды кровь свою проливали, чтобы отстоять мать городов русских, могилы наших прадедов.

После длительного совещания собравшиеся разошлись, дав клятву не отступать перед врагом и, если будет нужно, отдать свою жизнь для защиты родной земли.

Глава третья

ПОСЛЕДНЕЕ ВЕЧЕ КИЕВА

...Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.

А. С. Пушкин

Ранним утром в конце ноября этого страшного года стал тревожно звонить вечевой колокол. Он звонил часто, упорно, настойчиво, своим зовом поднимая сонных киевлян, призывая идти не мешкая «постоять вече» на площади перед собором святой Софии, послушать и решить неотложные дела. Все почувствовали в этом частом звоне, что вече будет необычное. Все узнали чистый беспокойный звон вечевого колокола, слегка надтреснутого, и сразу отличали его от равномерного звона других благозвучных колоколов киевских церквей.

Вадим в это утро, как всегда, уже побывал в своей иконописной мастерской. Накануне наставник строго ему наказывал:

— Списывать образ надо точно, без самочинных вольностей, от которых расшатывается древлее благочестие!

Поэтому Вадим старательно всматривался в икону сурового праведника греческого письма и старательно воспроизводил каждую морщинку, «нарубал» каждую прядь волос, каждую складку одежды великомученика Власия.

«Да я и сам уже становлюсь великомучеником,— думал Вадим.— Жжет меня тоска неугасимая, гнетет пуще вериг железных...»

В мастерскую вбежал его товарищ, соученик по иконописной работе, юный послушник Касьян, и стал торопить:

— Бросай работу! Вечевой колокол, говорят, общий сход выбивает. Зовет на большое вече всего Киева. Бежим туда вместе! Я тебя проведу прямо к тому месту, где всего виднее.

Испросив благословение у своего наставника, оба юноши направились по узкой заснеженной улице. По обеим сторонам тянулись плетни и дощатые заборы, за которыми виднелись голые верхушки деревьев и камышовые крыши побеленных хаток. Над крышами летали сизые и пестрые голуби, из глиняных труб вились дымки — хозяйки, верно, пекли хлеб. Все казалось таким мирным и благодатным.

В одну открытую калитку они увидели, как две лохматые собаки с лаем бросились на распушившуюся кошку, вскочившую на плетень. Все — как всегда!

Однако, повернув на следующую улицу, юноши стали замечать, что тревога уже начала охватывать киевлян: громко хлопали калитки, выходили, запахивая шубы, хозяева, выползали старые деды, подходили друг к другу и, приложив ладонь к уху, расспрашивали: что случилось? Все ускоренными шагами направлялись к Софийской площади в верхний город.

— Эй, Вадим, иди к нам! Земляков встретишь!

Это были кузнец Григорий и днепровский плотовщик Андрей, спокойный, уверенный, как всегда. Через плечо висела кожаная котомка, на поясе за спиной засунут топор с длинной рукоятью, какой носят лесорубы.

— Татар видел?

— Каких татар? Неужели пленных пригнали? — спросил Вадим.

— Вишь, чего сказал! Сперва сумей их попленить! Иди за мной, сейчас покажу.

Андрей повел своих молодых друзей через переулок на холм, заросший старыми липами, где обычно летом собиралась молодежь и водила хороводы. Теперь здесь было пусто и все засыпано снегом. С этого холма открывался вид на далекие просторы заднепровских степей.

— Гляди туда, к восходу. Видишь много черных дымков?

— Это камыши горят?

— Нет! Это татары греются у костров.

Вдали на заснеженной беспредельной равнине, сверкающей в лучах солнца, виднелось много черных дымков, относимых в сторону порывами ветра. Бесчисленные черные точки, рассыпавшиеся по степи, медленно, но неуклонно направлялись к Киеву.

— А вот эти чернушки, как маковые зерна, разбросанные вдали? Что это? — спросил Касьян.

— Вот это и есть татары! Вчера татарские разъезды уже подходили почти к самому Киеву.

Вадим удивленно смотрел на Андрея. Никакой тревоги не видно было на его лице. Он оставался таким же спокойным, каким бывал в бурю и непогоду, когда сидел на переднем плоту и холодными серыми глазами следил за днепровскими бушевавшими волнами.

— Видно, уже мне заказана дорога домой, к моему Андрюшке! — тяжело вздохнув, сказал плотовщик.—

А доведется ли увидеть его еще раз — один бог знает! Идем на вече. Послушаем, что там скажут.

Андрей и оба юноши быстро прибыли на Софийскую площадь.

На площади возвышался прославленный храм святой Софии, премудрости божией, построенный князем Ярославом Мудрым двести лет назад. Некогда храм был богато украшен. Он славился искусно сделанной византийской живописью, украшавшей все стены храма. На Софийской площади обычно происходили всенародные вечевые собрания. Но, кроме того, здесь почти всегда, круглый год происходил торг. Русские и иноземные купцы доставляли сюда свои лучшие товары. Булгарские купцы (с верхней Волги) привозили дорогие меха, немцы — янтарные украшения, разноцветные сукна. Мадьяры приводили своих дорогих отборных коней, а полудикие половцы продавали скот и кожи. Купцы из Крыма привозили соль, дешевые бумажные ткани, вина и душистые травы.

На площади оказались знакомые.

— Эй, друже Андрей, иди к нам: своих увидишь, знакомых найдешь! — кричала кучка людей, примостившихся на краю площади на высокой груде сложенных бревен. Оттуда можно было удобнее смотреть, как будет проходить это вече киевлян, призванное решить судьбу стольного города, решить и свою собственную участь.

Уже неделю назад киевляне видели примчавшихся обожженных, вымазанных в копоти беглецов из Чернигова и Переяславля (южного). Они с проклятиями и слезами рассказывали, как к ним нахлынули татары в волчьих треухах и долгополых шубах, окружили города огромными толпами, как звери, набрасывались на стены и непрерывными лавинами взбирались по приставным лестницам, врывались в проломы и затем рубили всех встречных, и больших и малых, рубили без жалости, без надобы, и стариков и матерей с грудными детьми.

Киевляне, встревоженные известиями, сперва не хотели верить черным слухам:

— Господь бог покарает злодеев! Есть правда на земле! Были у нас Илья Муромец, Добрыня Никитич, Святогор-богатырь! И теперь на защиту родной земли тоже явятся у нас новые богатыри, отобьют и разгонят нечестивых татар-сыроядцев.

Софийская площадь все более заполнялась народом. Люди становились широким полукругом, оставляя свободными середину площади и каменную паперть Софийского

собора. На ней должны были выступать именитые бояре, тысячники и воеводы.

Все посматривали на высокие двери собора, за которыми шла обедня: оттуда должны были выйти на паперть все знатнейшие люди во главе с князем.

Наконец послышалось громкое пение, и в открывшиеся двери стали выходить певчие в длинных до земли стихарях, обшитых золотыми позументами. За ними шли два громогласных дьякона, размахивая серебряными кадилами, иереи в парчовых ризах и, наконец, поддерживаемый двумя отроками митрополит в золотой митре, опираясь на высокий посох. Все духовенство расположилось по правую сторону от соборных дверей, а по левую встали именитые бояре и ратные люди.

В народе зашептали:

— А где же князь?

Обычно князь шел сразу за духовенством, окруженный боярами и дружинниками, блистающими посеребренным оружием. Но князя не было видно.

Певчие снова запели торжественную молитву, но она показалась скорбной и хватающей за сердце. Когда пение затихло, два бирюча по обеим сторонам паперти проревели в трубы:

— Стой тихо, народ честной! Сейчас будет слово держать наш славный киевский воевода тысяцкий Дмитро.

Толпа быстро затихала. Вперед выступил всем известный и почитаемый воевода, высокий, сильный, с длинными седыми свисающими половецкими усами. Громко и уверенно он начал:

— День сегодня тяжкий, готовьтесь, други! Предстоит нам стать грудью против очень сильного ворога...

Высокий благообразный старик из переднего ряда крикнул встревоженным голосом:

— А где же князь Данила? Как же решать без князя? Пошлите за ним!

— Куда делся князь? — раздались голоса.

Тысяцкий Дмитро, не обращая внимания на выкрики, продолжал спокойно говорить:

— Князь Данила Романович уехал из Киева. Уезжая, мне сказал: «Главный хан татарский Батыга — враг сильный и злобный. Против него нам одним не справиться, нужна сильная подмога. Я немедля поеду к своему другу королю угорскому Беле и расскажу, что татарские полчища грозят не только нам, но и всему христианскому миру. Я буду просить короля угорского поспешить к нам на подмогу со всем своим войском». И князь Данила Романо-

вич, сказав это, спешно уехал, а мне повелел держаться изо всех сил и отбиваться, пока не придут на помощь угорские и ляшские рати. Но, кроме князя, у Киева есть еще более высокий хозяин — вече киевское. И я, по старому дедовскому обычаю, спрашиваю вашей воли: согласно ли вече поставить меня во главе всех ратных сил Киева, главным воеводой, и доверяете ли мне созывать всех способных к бою людей, собирать их в дружины? Если вече мне это прикажет, я возьму в свои руки оборону нашего города. С божьей помощью мы постараемся отбросить татар, вспоминая, как отцы и деды наши отбивали не раз и печенегов, и черных клобуков, и торков, и половцев и как их всех деды наши колотили и отгоняли назад в Дикое поле.

Все вече на мгновение, точно в раздумье, затихло, а потом раздались дружные крики:

— Согласны! Согласны! Будь нашим воеводой и защитником, Дмитро. Мы тебя знаем! Верим тебе! Ты назад не потягнешься! А мы тебе поможем!..

Вдруг, выйдя из толпы, к воеводе направился человек, одетый по-иноземному, и с низким поклоном что-то тихо прошептал. Дмитро кивнул головой и сказал:

— Пускай говорит.— И воевода передал бирючам, что им нужно объявить.

Бирючи прокричали:

— Люди киевские! Сейчас вам будет речь держать иноземный бискуп латынский Иоаким. Слушайте чутким ухом и ответ ему дайте едины усты!

Послышался нежный звон колокольчика, и на паперть медленно стали подниматься один за другим двенадцать католических монахов. Все вече с любопытством смотрело на них. Они были диковинно, по-иноземному, одеты в белые длинные рясы и подпоясаны простыми пеньковыми веревками. Белые шлыки откинуты на спину. Головы на макушке выбриты. Поверх белых ряс еще накинуты черные мантии.

Все двенадцать иноземцев выстроились в ряд. Впереди них торжественно выступил и остановился, подняв глаза к небу, их настоятель с большим серебряным крестом в руках. По сторонам его стали два мальчика в белых до колен стихарях. Один позванивал в серебряный колокольчик.

Настоятель заговорил слегка нараспев, сладким, медовым голосом. По выговору в нем узнавался иноземец.

— Уже прошло двадцать лет, как я и другие отцы доминиканцы монастыря пресвятой девы Марии живем в преславном городе Киеве. Многие горожане знают нас и убедились на деле, что мы полны самой горячей дружбы к русским людям, жителям дорогого нам Киева. Мы всегда

помогали неимущим, лечили больных, пригревали страждущих, кормили голодных. И теперь ваша русская беда — это наше горе, всех христиан. Поэтому, когда мы услышали, что Киеву грозит страшный враг — король татарских язычников хан Батыга — и что он надвигается сюда с могучим войском, мы обсудили между собой и пришли вам сказать то, что надумали.

В толпе пронесся шорох и раздалось несколько голосов:

— Непонятное что-то он говорит. К чему это он ведет?

— Его святейшество папа римский поручил нам, доминиканцам, вразумлять язычников словом божиим, дивным светом, принесенным людям господом нашим Иисусом и его учениками, святыми апостолами. Для такой проповеди мы все, наша скромная братия, научились говорить по-кумански. И теперь, в грозный день, наступивший для всего христианского мира, мы хотим послужить приютившему нас великому городу Киеву нашими знаниями и нашим усердием. Мы так рассудили: ведь слово божие всех учит любить друг друга. И мы думаем: зачем воевать с татарами, проливать невинную кровь человеческую? Не лучше ли с татарами договориться, предложить им кончить весь спор мирно, полюбовно, во взаимной дружбе? И мы, братья доминиканцы, предлагаем себя как послов к татарскому владыке Батыге. Мы с ним поговорим, расспросим, что он хочет от Киева и чем его можно умиротворить...

Точно буря пронеслась то толпе:

— Не слушайте умильного слугу татарского! Уходи отсюда, латынский предатель!

— Не бывать этому! — громко воскликнул тысяцкий Дмитро и повернулся к латынскому монаху-настоятелю.— О какой татарской дружбе ты говоришь, хитроумный отец? Разве татары не обещали нам много раз и мир и дружбу, а мы эту дружбу увидели на развалинах Рязани, в сожженном Суздале, и на стенах разгромленного Владимира. Если бы мы знали, о чем ты надумал с нами говорить, то мы бы тебя сюда на вече и близко не подпустили. Уходи, отец! Мы с недругами говорим по-своему, по-старинному, с мечом в руке!

— Уходи, латынец! Уходи от нас! — кричали голоса из толпы.

Шум и крики увеличивались.

— Вон его! Откуда он взялся, татарский угодник? — гудело вече.

Воевода Дмитро немного подождал, пока католические монахи сошли с паперти, все ускоряя шаги. Затем Дмитро снова обратился к затихшему вечу:

— Люди киевские! Как нам подобает встретить идущих на нас врагов: с поднятым мечом или преклонив покорно голову?

Высокий чернобородый детина, с виду кузнец, со следами сажи на лице, стоявший на груде бревен, мощным голосом крикнул на всю площадь:

— Дайте слово сказать! И отцы и деды наши перед половцами, черными клобуками и другими ворогами спины не сгибали, а мечами и топорами отгоняли их назад. Сможем ли мы покорно встретить сыроядцев-татар? Да они вытопчут конями наши посевы, порубят сады, сожгут наши хаты и уволокут в плен наших жен и детишек. У нас только один исход: смело бороться за нашу волю, родину и веру православную! Так встретим же недругов, как встречали наши отцы и деды. Не сдадим Киева! Будем биться до последнего, и жены и дети наши будут тоже биться рядом с нами. Не отдадим родной земли!

Все вече бурно шумело, со всех сторон слышались крики:

— Постоим за землю русскую! Берите мечи и топоры!

Воевода поднял руку. Бирючи прокричали:

— Стой тихо, вече киевское! Слушай!

— Люди киевские, запирайте свои дома и все выходите на стены. Пусть каждая улица соберет свою дружину и во главе ее станут уличные старосты.

Дмитро могучим голосом горячо закончил речь:

— Люди киевские! И наши внуки и правнуки будут вспоминать, как в Киеве их деды и прадеды не склонились перед жестоким врагом, а бились до последней капли крови. И потомки наши будут вспоминать нас с любовью и учиться, как нужно защищать родину, отдавая жизнь за нее.

Отовсюду слышались крики:

— Встанем за родную землю! Защитим наших жен и детей! Умрем, но не сдадим Киева!

С этого часа все киевляне без устали продолжали подготовку своего города к защите: и днем и ночью они укрепляли старые стены, поперек улиц делали завалы из бревен и камней. К стенам привезли большие котлы, чтобы кипятить воду и смолу.

Люди стекались также из окрестных селений под защиту киевских стен и увеличивали число добровольных бойцов. Вооружались кто чем мог. Оружейники и кузнецы заготовляли воинские доспехи, ковали щиты и мечи, рогатины, секиры, стрелы, а уличные старосты раздавали оружие всем горожанам.

Глава четвертая

У ШАТРА БАТУ-ХАНА

Первое время Бату-хан, поставив свой походный шатер на восточном, левом, берегу Днепра, выжидал, пока крепкий лед не скует многоводную реку.

Одним утром Бату-хан сидел на меховом ковре перед своей юртой, завернувшись в тигровую шубу. По сторонам его неподвижно застыли главные багатуры. Они видели, как монгольские всадники, обернув копыта коней войлоком, приближались к противоположному берегу и там пускали стрелы в защитников города, толпившихся на стенах. Заметив приближение передового отряда татар, задвигались пешие воины, а русские всадники смело бросились навстречу врагам. На льду начались яростные схватки. Киевляне бились доблестно, поражая короткими копьями, сверкающими прямыми мечами или топорами с длинными рукоятками налетающих на них татарских всадников.

Бату-хан спросил своего опытнейшего в воинском деле советника Субудай-багатура, как, по его мнению, нужно дальше повести осаду города.

— Вижу, что и в Кыюве урусов не легко будет покорить! — ответил одноглазый, всегда мрачный старик.— Вспомни, что и Рязань и Ульдемир[1] урусы бешено защищали. Надо послать отряды в обход для нападения на город сразу со всех сторон. Но сперва мы должны сделать широкий пролом где-либо в городской стене.

— Не торопись! Скоро ты увидишь дрожащих послов здесь на коленях с мольбой о пощаде! Разве они не видят, сколько нас? Разве наше войско даже издали не должно внушить им смертельного ужаса? — насмешливо сказал всегда враждующий с Бату-ханом Гуюк-хан.— Не для чего бесполезно проливать священную монгольскую кровь. Надо выжидать и взять город измором.

— Ты никогда не был и не будешь полководцем! — ответил угрюмо, с презрением Бату-хан.— Субудай-багатур, почему медлят наши стенобитные тараны?

— Они скоро должны прибыть,— сказал подошедший китайский строитель Ли Тун-по.— Но сейчас тараны пустить на лед нельзя, сперва для них нужно приготовить прочную переправу, иначе они своей тяжестью сломают лед и провалятся на дно реки.

Субудай-багатур отдал распоряжение нукерам, и вскоре

[1] Ульдемир — Владимир.

к берегу подошла толпа пленных кипчаков, которых монголы подгоняли, подкалывая копьями. Пленные стали разбирать бревна, лежавшие на берегу, переносить на лед и устилать ими путь на другую сторону. Недавно еще нарядные кипчаки, теперь одетые в жалкие лохмотья, имели крайне измученный вид. Ноги их были обернуты обрывками шкур. Все они работали молча, злобно косясь на своих новых свирепых хозяев, зная, что за малейшее неповиновение им грозила немедленная смерть. Бревна укладывались на лед поперек реки, так что постепенно создавалась деревянная дорога к противоположному берегу.

Бату-хан, казалось, был совершенно равнодушен ко всему происходящему и больше заботился о своем пятнистом, как барс, жеребце. Он поднялся и, подойдя к привязанному на приколе возле юрты коню, стал кормить его кусками сухих лепешек, расплетать и снова тщательно заплетать многими косичками густую шелковистую гриву. Но в то же время Бату-хан зорко следил за всем, стараясь скрыть от окружающих свою тревогу.

Еще один отряд конных татар был послан на другую сторону. Сперва русские большой толпой вышли из ближайшего леса и смело схватились с татарами, которые то набрасывались на них, то опять быстро уносились прочь. Ясно было видно, как взлетали прямые русские и слегка изогнутые монгольские клинки, вспыхивая в лучах яркого утреннего солнца.

По всему городу, на каменных стенах, на деревянных и камышовых крышах, засыпанных снегом, чернели тысячи вооруженных киевлян, наблюдавших за началом битвы. О покорной сдаче города хан Гуюк больше не говорил. Всем стало ясно, что предстояла отчаянная борьба.

Вскоре через реку по уложенным на льду бревнам поползли два камнемета и пробивной таран. Каждое сооружение тащили десятки быков. Сбоку шли, подгоняя животных, толпы пленных и в опасных местах подкладывали под колеса колья и доски.

Бату-хан пожелал увидеть пленных киевлян, захваченных на другом берегу. Нукеры помчались к месту схватки, набросили на двух бившихся русских воинов арканы и приволокли их по льду к шатру своего владыки.

Бату-хан с любопытством рассматривал лежащих перед ним русских. Под ударами плетей они с трудом приподнялись. Первым был рослый воин в овчинном полушубке. Он пошатывался и держался за плечо другого пленного. Дерзко и со злобой смотрел он на всех и отвечал неохотно на вопросы толмача.

— Откуда ты родом? Чем промышляешь?

— Из-под Смоленска. По Днепру плоты гоняю.

— Если ты смоленский, зачем дерешься здесь за Кыюв?

— Как же не биться? Город поди тоже наш, русский!

Толмач передал Бату-хану ответ пленного.

— Спроси у этого упрямца, был ли он в Новгороде? Знает ли он новгородского коназа Искендера?

— В Новгороде был и живал там подолгу, а князя Александра как не знать! Слава о нем далеко летит.

— Говори правду, или тебе отрубят голову: сколько войска здесь, в Кыюве?

— Сколько людей, столько и воинов. Теперь каждый взялся за топор или рогатину.

Ответ рассердил Бату-хана.

— Этот наглец упрям, но, может быть, он что-либо умеет делать? Передать его скованным Ли Тун-по. Такой без цепей убежит.

Следующим пленным оказалась молодая женщина. Она была тяжело ранена. Истекала кровью. Лежала на спине, не в силах подняться. Поставить на ноги ее так и не удалось. Глаза женщины, большие и широко раскрытые, смотрели в небо. Она прикусила нижнюю губу, стараясь сдержать стоны.

— Зачем притащили женщину? — гневно спросил Бату-хан.— Я приказал привести тех, кто бьется с нами.

— У них все женщины тоже дерутся рядом со своими братьями и мужьями,— объяснил толмач.

— Какой народ! — проворчал Бату-хан и добавил: — Чтобы у нее больше не было сыновей — мстителей нашим детям и внукам,— прикончить ее!

На поляне, на берегу Днепра, поблизости от большого шатра Бату-хана, стоял другой шатер его родича, тоже чингизида, хана Гуюка.

Гуюк сидел на верблюжьем вьюке, перевязанном кожаными ремнями, и смотрел на другую сторону Днепра, где раскинулся широким привольем многолюдный Киев, еще недавно казавшийся татарам легкой добычей и источником сказочного обогащения.

Уже несколько дней шло сражение за этот прославленный город, а победы еще не было видно. Первыми, обойдя лесистый холм и проломив ворота, туда ворвались «буйные» хана Нохая, после чего в той стороне заклубились дымки подожженных домов. Однако перед вторым поясом стен «буйные» были задержаны отчаянно бившимися киевля-

нами, и Бату-хану пришлось на помощь своему передовому отряду послать другой тумен.

Внимание Гуюка привлекла группа русских пленных, которых, подгоняя ударами плетей, вели монгольские тургауды. Хан сделал им знак приблизиться.

Усталые, хмурые лица. Изодранная одежда. Они стояли молча. Наклонившись к хану Гуюку, переводчик быстро зашептал, что-то высыпая перед ним на ковер.

— Вы мастера? Эти украшения сделаны вами? — спросил Гуюк.

— Скажи твоему хозяину — нет среди нас умельцев,— твердо ответил старший, полуседой человек с окладистой бородой.

— Не скрывайте ничего, говорите правду! Хан Гуюк дарует вам жизнь. Вас отправят на берега Итиля, в Сарай, и там вы будете спокойно работать на хана Бату, или пошлют еще дальше, в Каракорум, столицу великого кагана. Там тоже нужны искусники-мастера. Хан сумеет оценить ваше старание и работу и наградит щедро по заслугам.

— Не умельцы мы! Защитники Киева, и все! — крикнул молодой синеглазый парень.

— Не мастера? Все вы не мастера? Вас спрашивают в последний раз. Выходите, кто мастер! Прочим смерть сейчас, здесь! — гневно прошипел Гуюк.

Он выжидающе посмотрел на стоящих перед ним русских. Они молча истово крестились, но ни один не вышел из рядов.

— Убивай! Сегодня твоя сила! А уменье свое мы врагу не продадим! — твердо сказал один из пленных, на которого обвешанный оружием монгол уже накидывал аркан.

Глава пятая

КОНЕЦ ВАДИМА

Прямо с веча Вадим пошел в Печерский монастырь, чтобы проститься со своим наставником-изографом.

— Прости меня, отче, что я с тобой все спорил и мало о тебе заботился: даже дров на зиму не припас! — И он поклонился, коснувшись рукой земли.

— И ты меня прости, если я чем тебя обидел и не успел научить как следовало,— сказал старик и вытер рукавом рясы глаза.— А о дровах не тужи. Какие там дрова! Теперь бы лишь голова уцелела! Куда же ты отсюда пойдешь?

— Сперва домой зайду, а там вместе с моим хозяином-горшеней пойду на стены свое место искать.

— Неужели для нас последний час настал? — ужасался монах.— Неужели господь допустит, чтобы татары-сыроядцы ворвались сюда? Стоял же доныне Киев много сот лет — и кто только не приходил, кто не нападал: и печенеги, и берендеи, и торки, и половцы! А всех их отбивали наши деды и прадеды. Даст бог и сейчас отобьем!

Старик благословил Вадима и, пожелав удачи в ратном деле, отпустил.

Хата, крытая камышом, где жили Вадим с Кондратом, была наполовину врыта в землю. Внутри имелись две комнаты: одна просторная, в два оконца, другая поменьше, с одним. Круглая печь занимала большой угол комнаты.

В комнате побольше вдоль стен на столиках в плоских ящиках помещались в образцовом порядке затейливые изделия. Они показывали, что Вадим становился искусным мастером, перенимая у Кондрата заброшенное последним ремесло, трудное и хитроумное. На одном из столов лежали разнообразные сланцевые формочки для отливки крестиков, подвесок, колец и других металлических украшений. Тут же находилось множество маленьких глиняных горшочков с красками.

Вадим застал Кондрата в разгаре работы. С большим волнением выслушал тот рассказ Вадима обо всем, что было на вече.

— Как же так? Жили мы, беды не знали, и вдруг все смешалось! Выходит — бросай работу, раз всех зовут: «Ступайте на стены!» Ну что же, прятаться не станем! Пойдем и мы со всеми, а дома оставим хозяйничать старого кота Любомудра.

Мастер затушил огонь в печи. Прикрыл тряпицами формочки. Вышел поговорить с соседями. Вадим долго сидел за столом, и мысль о работе уже не шла ему в голову.

Ночью оба долго не могли заснуть, все ворочались, Кондрат кряхтел и тяжело вздыхал.

На утро следующего дня мастер одел чистую рубаху, взял сумку с краюхой хлеба, засунул за пояс топор, второй дал Вадиму, и они вышли. Кондрат повесил замок на входную дверь, за которой слышалось царапанье и жалобное мяуканье кота.

У калитки соседнего домика стояли Смиренка и Софьица.

— Пойдемте и вы с нами! Приказ для всех один. Захватите только кувшин с водой и тряпья чистого, чтобы раны перевязывать.

— Мы уж и сами так порешили. Вот только бабушку дождемся и придем.

Татары со всех сторон уже обложили город. Вся жизнь Киева перешла на улицы. Наверху, на стенах, собралось множество людей. Все жадно следили за тем, что происходило внизу. Жители Подола перешли в верхний город.

Как только Вадим с Кондратом поднялись на стену, несколько длинных татарских стрел воткнулись в снег рядом с ними. Сзади послышались крики:

— Прячьтесь! Прячьтесь!

А кто-то уже стонал:

— Окаянная, в плечо впилась!

Вадим жадно продолжал смотреть вдаль. Он находился на внутренней стене, окружавшей холмистую часть города. Всюду чернели люди, их было много сотен: мужчин, женщин, подростков. А ниже расстилался застывший Днепр, засыпанный снегом.

— Смотри туда, за реку! — шептал Кондрат.— Ведь это татары, их целая туча!

Действительно, на противоположный берег страшно было взглянуть: там скоплялись татары в большой силе. Дымились костры без счета, доносился рев верблюдов, ржание коней и глухой шум от передвижения множества скрипучих повозок страшной орды, вперемешку с гиканьем, свистом и гортанными возгласами скакавших во всех направлениях всадников.

Их было много, во много раз больше, чем защитников, и далекие черные точки на горизонте говорили о том, что монгольские войска все прибывают и что конца этому пока не видать.

Вадим забежал домой. Голодный, исхудавший пес радостно бросился ему навстречу.

— Кормить-то тебя теперь некому! — сказал Вадим, гладя его лохматую голову.

Через забор он увидел соседок. Девушки наперебой стали расспрашивать его о том, что делается на стенах. Напуганные всеми разговорами о татарах, шумом, суетой и волнением, царившим в городе, сами они ни за что не хотели уходить далеко от дома, да и бабушка все не возвращалась.

— Вдруг как раз без нас и придет! Заругается, что дом один оставили.

Вадим ничего не сказал соседкам, хотя еще накануне узнал, что бабушка их погибла: старушка понесла свои последние бублики не на торжище, как обычно, а на стену,

где раздала их защитникам. Там меткая татарская стрела поразила ее.

Вадим пошел к себе в землянку. Пока здесь все еще было привычно и тихо. Вот стол, за которым он обычно работал, готовые отлитые крестики, подвески, браслеты. Кучка прозрачного янтаря, из которого он делал украшения. В маленьких горшочках «вапницах» яркие краски всех цветов. Сколько радости они ему давали когда-то...

Отломив краюху зачерствелого хлеба, он половину отдал собаке, а вторую, завернув в чистую тряпицу, спрятал за пазуху. Положил остатки хлеба в большую глиняную корчагу, стоявшую на полу. Позвал кота, но тот не откликнулся: видно, выскочил во двор. С грустью окинув глазами в последний раз свое жилище, Вадим вышел из дому и запер двери снаружи на замок. Махнув стоявшим у калитки девушкам на прощание рукой, он быстро зашагал в ту сторону, откуда доносился шум и крики многих голосов. Вдруг какой-то непривычный звук поразил Вадима: глухие тяжелые удары с равномерными промежутками, следовавшие один за другим. Это монгольские тараны начали свою разрушительную работу.

Киевляне, расставленные по указанию воеводы Дмитро на всех стенах, окружающих город, не могли предвидеть, куда враг направит свой главный удар.

Чей-то истошный голос закричал:

— Татары прорвались в город!

Действительно, после огромных усилий и потерь монголам с помощью мощных таранов удалось проломить Лядские ворота, и вражеская конница неудержимой лавиной ринулась по главному пути, устилая дорогу телами убитых — и своих и русских воинов. Отчаянный бой разгорался по всем улицам. Схватив чью-то оброненную палицу, Вадим кинулся в самую гущу свалки, где увидел окруженного врагами Кондрата, который отбивался топором от наседавших на него монголов. Тихий Вадим, до этого дня не представлявший себе, что он может кого-то убить, бросившись на защиту друга, сильным ударом палицы поразил в голову вражеского коня, который рухнул вместе с всадником. Столкнувшись с неожиданным препятствием, лошадь второго монгола тоже свалилась, и Кондрату удалось вырваться из вражеского кольца. Он что-то крикнул Вадиму, но в шуме тот ничего не мог разобрать.

Неожиданно из ближайшего переулка, прямо на Вадима, с гиканьем и воем вылетел новый монгольский отряд. Вадим увидел перед собой мохнатые конские морды, сверкающие взмахи мечей, смуглые узкоглазые лица. Он успел

отскочить в сторону и теперь стоял, прислонившись спиной к дереву. Он видел, как один из всадников, в блистающем на солнце шлеме, вдруг скатился с седла, пораженный чьим-то копьем. Зацепившись ногой за стремя, он волочился по снегу, увлекаемый длинногривым конем. Вадим подскочил, поднял меч и вдруг почувствовал, что кто-то сзади обхватывает его сильными руками. Прерывистое горячее дыхание обожгло шею. Извернувшись, Вадим выскользнул из железных объятий и ударил монгола рукояткой меча по голове. Падая, монгол увлек за собой Вадима, но тот вскочил, готовый снова ринуться на противника. В это мгновение длинная вражеская стрела пронзила ему грудь. Вадим упал. Несколько всадников пронеслось над ним и умчалось дальше. Ему казалось, что наступила полная тишина. Сознание постепенно затуманивалось. Он видел только небо над собой, синее, ослепляюще яркое. Небо? Нет! Это близко, близко склонились над ним такие знакомые, такие любимые синие глаза...

Кругом уже полыхал пожар.

Когда монголы добрались до улицы, где жил Вадим, его соседки Софьица и Смиренка, перепуганные насмерть, закрылись в доме.

Вдруг кто-то неистово стал колотить в дверь, за которой слышались крики и шум борьбы.

— Ой, спрятаться бы, да куда?

— Залезем в печку, Смиренка, она ведь сегодня не топлена. Спрячемся в ней. Там и не догадаются нас искать.

Девушки залезли в печь и, тесно прижавшись друг к другу, лежали там, выжидая, что будет.

Они не обращали внимания на возрастающий снаружи шум и запах гари, который становился все сильнее; только бы татарские изверги их не нашли!

В это время несколько монгольских всадников, мчавшихся по улице, заметили, что у одной землянки на двери не повешен замок. Двое соскочили с коней, привязали их к плетню и бросились к двери. Она оказалась запертой изнутри. Дружными усилиями им удалось, наконец, сорвать ее с петель.

Войдя внутрь, монголы с удивлением обнаружили, что землянка была пуста. У стены между окнами стоял большой сундук. Сбив с него замок, монголы торопливо начали выбрасывать на пол содержимое. Там были женские наряды, шубы, холстина и разные другие вещи.

Жадность охватила обоих дикарей. Они принялись вы-

рывать друг у друга из рук понравившиеся им вещи и в пылу дележа и ссоры не заметили, как от упавшей на крышу землянки груды горящих щепок и досок солома сразу запылала со всех сторон.

Наконец, когда, связав похищенное в узлы, монголы уже направились к двери, горящая крыша рухнула, похоронив под своими обломками и степных хищников, и спрятавшихся в печке девушек.

В ушах как будто слышится церковный хор, жалобно стонут нежные женские голоса... Нет! Это вьюга воет. Кондрат с трудом, медленно приходит в себя. В висках стучит. Или это его тормошит и толкает кто-то?

— Дядя Кондрат! Дядя Кондрат! Слышишь меня? Очнись, вставай! О господи! Что же мне с тобой делать? Если брошу и уйду, то татары тебя прирежут.

Кондрат очнулся. Над ним склонилось молодое лицо.

— Ты, что же, не узнаешь меня? Ведь я племянница твоя, Любаша. Я тебе коня привела.

У Кондрата руки и голова болят так, что сил нет терпеть. Но нужно встать и пробираться туда, куда ушли уцелевшие киевляне. Он с трудом узнает свою племянницу в мужском кафтане и меховой шапке.

— Очнулся? Вот хорошо! Значит, долго жить будешь. Я тебе хорошего коня привела. Татары мимо нас густой толпой промчались, видно, туда на площадь, против Десятинной. А один конь ихний всадника где-то потерял и отбился. Вижу, зацепился поводом за дерево. Тут я и схватила его.

— А тебе самой конь пригодится. Садись на него да уезжай скорей, пока цела. Видишь, что здесь творится!

— Бери, дядя Кондрат, бери! Я себе другого добуду. Сейчас много коней без хозяев разбежалось по Киеву. А из города я до конца не уйду. Как все, так и я, буду биться вот чем,— и она показала Кондрату небольшой топор, засунутый за пояс.

Девушка помогла Кондрату подняться в седло. Пора было покидать это место. Кругом пылали дома, и языки пламени взлетали к небу, к багровым, точно раскаленным облакам. Видно было, как горящие головни и доски, кувыркаясь в воздухе, уносились вверх вместе с клубами дыма.

Конь, которого привела Любаша, был какой-то непривычно лохматый, и седло на нем было тоже чудное, не русское. Конь храпел, прижимая уши, и норовил укусить.

— Скорей! Скорей! — торопила девушка.— Ведь сыроядцы могут опять сюда нагрянуть. Прощай, дядя Кондрат! — И Любаша скрылась в мутных сумерках.

Кондрат быстро поскакал переулком, каждое мгновение ожидая новой встречи с татарами.

. . . .

Поднимайтесь вы, люди русские!
Ночью спите — не спите во Киеве,
А точите мечи вы булатные,
Да острите вы стрелы каленые!
Приближаются злые татарове,
А хотят они, недруги лютые,
Чтоб из косточек терем выстроить,
Желтым ребрышком терем выстелить,
А из русских рук, тела белого
Хочет враг, чтоб скамью ему сделали...[1]

Песня разливалась, жалобная, как стон. Это пела Любаша, племянница Кондрата, работая на городской стене, где она и другие женщины Киева плели из лозы большие корзины, которые тут же наполнялись песком и глиной: ими заделывались проломы в стене.

В эти тяжелые дни в Киеве не было ни одного человека, для которого не нашлось бы дела, и дела самого неотложного, нужного. Дети подносили камни, ветки лозняка, старики варили смолу и кипятили воду, а кто мог держать в руках меч, копье или лук и колчан с калеными стрелами, а то и просто топор,— всякому было указано место, и с этого места его могла заставить сойти только смерть.

Но день за днем ряды мужественных защитников заметно редели, а заменить их становилось уже некому. Татары выпускали в осажденных тучи стрел, а когда, наконец, ворвались в город, их было так много, что своей конницей они сметали все, что попадалось на их пути. Не храбростью, не силой и доблестью отдельных багатуров одолевали враги, а несметным своим количеством, когда на каждого русского, да часто и не воина вовсе, а простого ремесленника или горожанина, раньше в руках не державшего меч, приходилось по несколько хорошо вооруженных, опытных в боях татарских воинов.

Однако никто не просил пощады, просили только у бога сил, чтобы выстоять до конца, чтобы умереть, не опозорив слабостью своего доброго имени. Знали, что задавит их враг,— но не сдавались.

Уже не одна улица была завалена телами убитых, перемешавшихся в последней схватке, уж все тесней сжималось вражеское кольцо и податься было некуда, а люди еще радовались, видя, сколько сил теряет противник, замечая,

---

[1] Стихотворная обработка *Н. Белинович.*

что из посылаемых на поддержку ворвавшимся монголам новых отрядов ни один не возвращается обратно. Дорого отдавали осажденные свою жизнь, держась из последних сил, разя врага чем и как могли.

Глава шестая

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КИЕВА

Во время самого отчаянного боя Бату-хан долго находился на колокольне одной из церквей, откуда наблюдал за всем происходившим и давал гонцам приказания.

Постепенно, с большим трудом монголам удалось прорваться сквозь завалы из камней и бревен до площади, где перед древним храмом происходила последняя отчаянная битва.

Когда Бату-хан прискакал на эту площадь, то увидел повсюду груды тел убитых и раненых воинов и тяжело храпящих бившихся коней. Бой кончался у высоких дверей Десятинной церкви. Даже на ее кровле находилось множество людей, метавших в татар стрелы и камни.

Бату-хану указали на пожилого статного воина в блестящих латах. Из-под рассеченного шлема по лицу стекала кровь. Он стоял, прислонившись к стене храма, и, широко раскрывая рот, тяжело, с трудом дышал.

— Этот высокий багатур — главный начальник здешних войск, Дмитро,— объяснил толмач Бату-хану.— Если прикажешь, твои нукеры прикончат его.

— Мертвый он мне не нужен. Взять его живым и невредимым и привести в мой шатер. Я хочу говорить с ним.

Ловко брошенный аркан обвился вокруг раненого воеводы и свалил его на землю. Татары, связав Дмитро, положили его поперек коня и, прикрутив веревками, увезли.

Красивый каменный храм с позолоченными куполами был переполнен женами и детьми самых знатных людей города, нашедших там свое последнее прибежище. Туда же были снесены их ценные вещи, меха и одежды, которые так надеялись захватить хищные и жадные монгольские воины, каждый из которых лелеял мечту о сказочном обогащении при взятии Киева.

В полутемном храме было душно, кругом слышались причитания и стоны, некоторые громко молились, надеясь на какое-то чудесное спасение. Плакали дети.

Несколько человек еще накануне начали рыть подкоп, чтобы выбраться из храма на противоположный склон

холма, и ночью, пользуясь темнотой, скрыться в ближайшем лесу.

Землю из подкопа вытаскивали наверх в деревянных ведрах, с помощью длинных веревок. Подкоп был уже достаточно глубок. У людей появилась надежда на спасение. Они твердо решили не открывать осаждающим дверей.

Однако монголы не могли больше ждать, так как кругом все сильнее бушевал пожар и уже трудно было оставаться среди дыма, огня и падавших отовсюду, подхваченных вихрем горящих досок и обломков зданий и заборов.

Тогда Бату-хан в гневе приказал:

— Проломить каменную стену «дома молитвы»!

Вскоре притащили стенобитный таран. Опытные нукеры поставили его против одной из стен храма и стали раскачивать бревно, тяжелое, с железным наконечником, упорно ударяя им в стену, пока она не была пробита; прекрасное здание рухнуло, похоронив под своими развалинами всех, кто укрывался внутри него, вместе с их богатствами. Монголам так и не удалось ничем воспользоваться.

На площади уже нельзя было оставаться: кругом пылали дома. Бату-хан со своими приближенными помчался прочь, с трудом вырвавшись из огненного кольца.

Приказание татарского владыки было выполнено: к его походному шатру на левом берегу Днепра нукеры привели связанного воеводу Дмитро.

Придворный летописец Хаджи Рахим вместе с лекарем Дудой Праведным обмыли и перевязали раненого, стараясь остановить кровь целебными травами. Дмитро держался мужественно и не издал ни одного стона. К нему подошел Бату-хан. Он долго пристально смотрел на израненного воина, как бы изучая его и что-то обдумывая, потом медленно сказал:

— Ты настоящий багатур. Я охотно возьму тебя в мое войско, чтобы ты служил мне.

Воевода молчал.

— Что ты мне посоветуешь: оставаться ли моему войску здесь, на земле урусутов, или же сейчас двинуться дальше, покорять «вечерние страны»? За правдивую речь я не наказываю, а награждаю. Отвечай мне правдиво.

Дмитро заговорил с трудом:

— Оставаться здесь татарам нет выгоды. Русская земля тобою уже покорена. Город Киев сожжен. В нем не осталось ни одного целого дома, ни одного не израненного защитника. А ты любишь войну, ищешь новых побед и захвата новых богатых городов. Скорее уходи дальше, завое-

вывать другие земли. Да ведь ты и сам не останешься здесь...

Дмитро говорил медленно, то и дело облизывая сухие запекшиеся губы.

Бату-хан с подозрением посмотрел на него и тихо сказал Субудай-багатуру:

— Я думаю, что он потому мне советует немедленно двинуться дальше, что хочет поскорее освободить свою землю от грабежа моих воинов.

Затем, обратившись снова к воеводе, спросил:

— А где, в какой стране я найду самые лучшие корма для наших коней?

— Конечно, в привольных угорских степях.

— Ты поедешь со мной,— сказал Бату-хан,— и будешь в пути моим советником.

— Плохой я тебе советник: жить мне уже осталось немного,— отвечал равнодушно Дмитро.— Скоро я умру и тебе желаю того же!

Бату-хан вздрогнул. Окружающие переглянулись. В эту минуту, запыхавшись, подбежали два татарских сотника и, подхватив Бату-хана под руки, быстро посадили его на коня.

— Великий джихангир! Здесь проклятое место! В Кыюве нам нечего больше делать. Пора уходить отсюда.

Удаляясь от Киева вслед за Бату-ханом, Гуюк-хан тихо говорил одному из своих приближенных:

— Вечно синее небо было здесь немилостиво не только к Бату-хану, но и ко мне: когда джихангир направил свое войско на осаду Кыюва и тумен за туменом уходил туда, а обратно ни один не возвращался, я сказал Саин-хану: «Великий джихангир! Бог войны Сульдэ дает победу только самым доблестным. Не следует ли тебе самому повести свой тумен непобедимых на этот непокорный город? При одном твоем приближении откроются ворота, а наши воины обретут новую силу сказочных багатуров». Он посмотрел на меня и промолчал, но совету моему не последовал. Жаль! Ведь по воле неба и он бы мог не вернуться, если бы ринулся в самую гущу боя, и тогда этому безумному походу наступил бы конец.

— А если бы войско все же захотело идти вперед, а не назад? — спросил собеседник.

— Тогда кто-либо другой, не менее доблестный, мог бы заменить Бату-хана, став во главе нашего войска...

— И это был бы ты!

— Тс! Тс! Молчи! Часто и деревья имеют уши!

Глава седьмая

ПИСЬМО ХАЛИФУ БАГДАДСКОМУ

На берегу оледенелого, засыпанного снегом широкого Днепра, напротив Киева, в походной войлочной юрте Абд ар-Рахмана, возле тлеющего костра сидел на пятках Дуда Праведный и дописывал тростниковым калямом последние завитки на длинном узком листе. Он вздохнул, тихо прошептал молитву и вопросительно посмотрел на своего молодого господина, задумчиво сидевшего близ него.

— Закончил письмо? — спросил Абд ар-Рахман, кутаясь в просторную кипчакскую баранью шубу.

— Все написал, что ты хотел,— ответил Дуда.— Прочесть тебе?

— Прочти, мой мудрый наставник.

Медленно, нараспев, как обычно читаются священные книги, Дуда начал:

— «Во имя аллаха! Мудрому, хранителю высшей правды, благосклонному ко всем приходящим, восприимчивому к добру, вождю общины правоверных, самому праведнейшему среди праведных, Мустансиру, халифу багдадскому,— да возвеличит его аллах своим благословением, да развернутся его бесчисленные знамена, украшающие его доблестные рати, да увеличится число прибывающих к нему послов! Самые горячие, исходящие из сердца пожелания шлет из далекой, занесенной снегом безграничной степи его верный, преданный слуга, состоящий послом при грозном владыке татарской небесной Синей Орды Бату-хане, Абд ар-Рахман, прозванный «Укротителем диких коней».

Посылаю очередное письмо и молю скоропреходящего праведного Хызра, чтобы он охранил на всех длинных и опасных путях через долины, реки и горы тех гонцов, в чьих надежных руках будет храниться этот свиток, этот скорбный стон моего сердца.

А наблюдал я с неотрывным вниманием за тем, как происходила осада богатейшего прекрасного города урусов Кыюва, и об этом сейчас поведаю тебе, хранителю высшей правды.

Этот город, стоящий на нескольких холмах, опоясан тремя рядами стен. Только благодаря камнеметам и двум тяжелым таранам татарам удалось разбить ворота, после чего татарская конница неудержимым потоком ворвалась в Кыюв. Первый главный удар был нанесен в те ворота, откуда прямая дорога ведет к вершине холма, где находятся палаты бояр, самые почитаемые «дома молитвы» и дво-

рец великого князя кыювской земли. По этой дороге, пробивая себе путь через толпы отчаянно бившихся горожан, и промчались впереди других «буйные» конники Иесун Нохая.

Я проехал вслед за монголами, с трудом пробираясь через наваленные грудами тела урусов и татар, застывших в последней предсмертной схватке. И тут я понял, почему татары одолевают этот мужественный народ: их было в два-три раза больше, чем урусов. Все дома по обе стороны улицы снаружи были заперты замками: значит, все население, до последнего человека, покинуло свои жилища и вышло защищать Кыюв — одни на крепостных стенах, другие на улицах города.

Я должен признаться тебе, мой великий покровитель, что я ни разу не обнажил своего светлого дедовского меча, так как эти урусы, так мужественно умиравшие за свою столицу, вызывали во мне только удивление и сочувствие любовью к своей земле и полным бесстрашием.

Однако, несмотря на эту мужественную защиту, Кыюв пал.

Тебе, вероятно, известно, что монголы имеют обычай сейчас же после битвы свозить тела всех своих убитых воинов и складывать их рядами на бревнах, досках, хворосте и соломе для погребального костра. Такой костер монголы поджигают и долго ходят вокруг него, распевая священные песни, пока костер не догорит дотла. У них считается преступным и позорным оставить тело своего павшего воина без погребения на костре. Однако в Кыюве Бату-хану пришлось отменить этот обычай: весь город пылал, сам похожий на громадный погребальный костер.

Монголы вынуждены были поспешно бежать из охваченного пламенем Кыюва. Повсюду запасенные урусами на зиму стога сена и склады зерна тоже сгорели, так что никакого корма для коней ни в городе, ни вокруг него больше не оставалось. Татарский владыка повелел войску двинуться дальше, на «вечерние страны», куда направлюсь и я.

Здесь я кончаю письмо. Спасенный мною от смерти арабский купец поклялся, что доставит его в Багдад и передаст в твои священные руки.

Для свободного и спешного проезда через захваченную монголами землю я для него с трудом достал медную пайцзу на шею с изображением летящего сокола. Эта пайцза дает гонцу чрезвычайные права.

Да увековечит и сохранит аллах твое царство! Да облегчит все твои дела преуспеванием и славой! Еще раз молю

о том, о чем уже писал: остерегайся непобедимого владыки монголов! Его кровавая цепкая рука дотянется и до тебя через Курдистанские и Армянские горы — до самого Багдада. Собирай скорее могучее войско ислама под зеленым знаменем пророка, готовься к защите нашего великого священного города! Монголы способны нанести Багдаду внезапный удар. Они уже теперь говорят об этом. Согласно твоему приказу, я буду и дальше сопровождать Бату-хана в его походе и постараюсь возможно скорее прислать тебе следующее донесение о новых битвах и, несомненно, о новых победах татар.

Должен тебе сказать, что взятие Кыюва, столицы урусов, обошлось татарам слишком дорого: положив на его холмах лучшую половину своего огромного войска, Бату-хан, кроме дымящихся развалин, здесь ничего не приобрел. Татары, надеявшиеся на богатую добычу, начинают роптать. Все это привело Бату-хана в бешенство. До сих пор никогда я не видел татарского владыку в таком гневном исступлении.

Благословен будет час, когда я снова тебя увижу процветающим и далеким от всех ужасов и опасностей, которые несет с собой война».

Глава восьмая

ПОСЛЕ УХОДА ТАТАР

Татарам не удалось зажечь поминальный костер в честь своих багатуров, павших при захвате Киева. Поднявшийся снежный буран мешал людям двигаться. Холодный порывистый ветер, обжигая лицо, залеплял снегом глаза.

Бату-хан укрылся в своей походной юрте. Никто никогда еще не видел его в такой ярости. Даже самые близкие боялись в этот день нарушить одиночество джихангира. Два окаменевших у входа часовых нукера с удивлением видели, как их всегда величавый повелитель метался по шатру, рвал в клочья узорный шелковый халат, бросал на землю и топтал ногами богатые серебряные кубки, а потом, охватив голову руками, протяжно завыл и вдруг, упав среди мягких ковровых подушек, сжался в комок и затих.

В соседнем шатре собрались чингизиды, среди которых появился даже всегда шипевший, злобный Гуюк-хан. Монголы говорили:

— Видно, жители этого города призвали всех своих злых духов-мангусов, и они решили засыпать снегом наше доблестное войско, чтобы не дать ему найти и унести все

сокровища, накопленные здесь в течение столетий. Наш повелитель сейчас подобен разъяренному тигру, от которого ускользнула уже бывшая в лапах добыча. Разве могли мы подумать, что под стенами этого города Бату-хан уложит половину, и лучшую половину, своего непобедимого войска?

Приближенные Гуюка перешептывались:

— Бату-хану не будет удачи в этом походе. Он навлечет на себя и на нас гнев Священного Правителя тем, что не выполнил установленного погребального обряда и не совершил положенных молений.

Утром следующего дня Бату-хан повелел всему войску двинуться дальше. Он сказал:

— Почетный поминальный костер в честь наших павших багатуров сделали вместо нас вечно синее небо и бог войны Сульдэ, уничтожив навсегда этот упрямый город.

Уходя, на самой окраине сгоревшего Киева монголы устроили «ям» — военный и почтовый пост; там расположились конники, охранявшие табун лошадей, предназначенный для гонцов. Эти гонцы прибывали из Сарая и главной столицы монголов Каракорума или неслись обратно туда, чтобы не прерывалась связь между далекой монгольской родиной и уходящими все дальше на запад войсками Бату-хана. Монголы окружили свой ям валом и оградой и держались настороженно ко всем, кто приближался к стоянке. Однако иногда покинувшие ям гонцы бесследно исчезали, и в этом татары чувствовали руку где-то затаившихся смелых мстителей. То же случалось и с разведчиками, разъезжавшими по окрестным брошенным селениям в поисках еды и сена.

Пожары в городе продолжались еще несколько дней после того, как монгольское войско ушло на запад и последние скрипучие арбы, запряженные верблюдами и быками, которых погоняли женщины, скрылись на дорогах, ведущих к Карпатам.

Прекрасный, богатый Киев обратился в дымящееся обугленное пожарище, заваленное бесчисленными телами убитых. Постепенно белый снег прикрыл своим холодным плащом следы небывалого побоища.

Кое-где из подвалов и развалин стали показываться немногие уцелевшие жители, изможденные, ослабевшие, больше похожие на тени, чем на живых людей.

Монахи, их было немного, вернувшиеся с крепостных стен и укрывшиеся в подземные ходы Печерского монастыря, служили панихиды, молясь за «убиенных» русских

воинов, доблестно павших при защите своей древней столицы.

Сюда же, в монастырские пещеры, приносили раненых. Измученные, голодные, потрясенные событиями этих страшных дней, люди все же продолжали твердо верить, что придет время, когда правда и милосердие восторжествуют, татары уйдут назад в свои далекие степи и отстроится новый Киев, который расцветет — прекрасный, вольный и могучий.

Долго в великом запустении лежала киевская земля. Вот что писал по этому поводу проезжавший мимо Киева через пять лет после описываемых событий (1246) Плано Карпини, известный францисканский монах, отвозивший в ставку великого кагана — Каракорум письмо от римского папы:

«Они (монголы) осадили Киев, который был столицей Русии, и после долгой осады взяли его и убили жителей города. Когда мы ехали отсюда через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на поле; ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь сведен почти ни на что. Едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Русию».

Глава девятая

«ВПЕРЕД! СКОРЕЙ ВПЕРЕД!»

Когда Киев во всех концах запылал, как огромный костер,— татары, увлеченные грабежом богатого города, с трудом вырвались из него и умчались вскачь.

Бату-хан в первый день разгрома города остановился на ночлег близ небольшой церковки. Походная юрта монгольского повелителя была поставлена посреди церковного двора. Рядом с юртой на приколах стояли кони Бату-хана; среди них любимый белоснежный жеребец Сэтэр, укутанный попоной, стянутой красными шерстяными веревками. Кони неохотно ели жесткое сено, наваленное перед ними. Бату-хан не раз выходил из юрты, подкармливая собственноручно коней лепешками, и бранил нукеров за то, что те не сумели найти лучшего корма.

— Это не сено, а горе, и больше похоже на жесткую солому, которой упрямые урусы покрывают свои жилища.

Нукеры оправдывались:



ЗАРЕВО (Фрагмент). *1978*



БИТВА (Фрагмент). *1979*

— Все стога сена, бывшие поблизости, урусы подожгли, чтоб они нам не достались. Скорей бы уйти отсюда, туда, где земля не покрыта снегом и где мы найдем пастбища для наших коней. Здесь же наши кони худеют: им уже нечего есть.

Другие нукеры говорили между собой:

— Если стоять на месте, то это значит потерять наших дивных коней и самим вернуться обратно пешими. Не видать тогда нам больше родной юрты, наших исхудавших от голода и ожидания жен и не видать нам больше нашей новой столицы близ «золотого домика» на берегах многоводной реки Итиль.

Нукеры, посылаемые на разведку, возвращаясь, сперва являлись к Субудай-багатуру, который поместился внутри церкви вместе со своим новым иноходцем. Они рассказывали, что в урусов вселились злые мангусы: ни один не сдается, а все бьются до последнего дыхания.

Вечером Бату-хан призвал главных темников. Настроение было тревожное. Заговорил старый монгол, начальник разведки:

— Над русской землей лютует непогода, но еще больше на нашем пути лютует урусский народ, урусы не покорились. Они затаились, и этой тишине верить нельзя. Урусы нас подстерегают повсюду: на перекрестках дорог, в глубине оврагов или вылетая нежданно неизвестно откуда. Они рубят наших воинов и забирают их коней.

Темники говорили:

— Весь народ урусов воюет с нами. Если часть их земли нами и разгромлена, то все же урусы смирились только временно и грозят нам всякими бедами.

Бату-хан выслушивал темников и тысячников, говоривших то, что уже все знали. Он был молчалив, и его смуглое лицо казалось окаменевшим. Две думы неотвязно преследовали его: огромные потери лучшей части войска, погибшего при взятии Киева, и глухой ропот, начавшийся среди монголов, ожидавших большой добычи в прославленной богатством столице урусов, сгоревшей вместе со всеми своими сокровищами.

Переводя суровый взгляд поочередно на сидевших военачальников, Бату-хан пошевеливал сосновой веткой угли костра и только изредка спрашивал:

— А ты что нам скажешь полезного?

Некоторые высказывались, что здесь, на киевской земле, борьба с урусами снова оказалась крайне трудной.

Хан Нохай, как всегда веселый и беспечный, воскликнул:

— Наш бесстрашный Саин-хан уже одолел своих врагов, пройдя победоносно через все земли от Рязани до Кыюва! Теперь мы остановились у границы, где начинаются земли галичан, а за ними лежат королевства «вечерних стран». Нужно, чтобы эта остановка здесь была недолгой.

Всегда ехидный, всем недовольный Гуюк-хан сказал:

— Мы оставляем позади себя тлеющие и непотухающие костры возможных восстаний. А впереди не встретим ли мы еще более упрямых, чем урусы, других противников? Не загасив тлеющих костров позади себя, не делаем ли мы новую ошибку, двинувшись вперед?

— Ошибку? Ты назвал мой поход ошибкой? Какой же совет ты хочешь нам дать? — тихо, как бы равнодушно, протянул Бату-хан, но в его словах все сидевшие почувствовали затаенную угрозу: ведь в этом высказывании Гуюк-хана скрывалось как бы осуждение всего задуманного похода на «вечерние страны», начатого, как известно, Бату-ханом по завету «взирающего с облаков единственного, всезнающего Священного Правителя». А за осуждение его воли, согласно обычаю, должно последовать немедленное наказание: два могучих пельвана переломают виновному спину.

Тревожный шепот пробежал по рядам собравшихся. Все с волнением ждали, как поступит теперь Бату-хан с наследником великого кагана?

Однако Гуюк-хан не смутился и так же самоуверенно и дерзко продолжал:

— После множества ненужных жертв во время осады и захвата Кыюва, не следует ли нам сделать передышку? Не отдохнуть ли в Галиче и Кременце или других городах богатой Волынской земли, где собрались, наверное, толпы знатных жителей и богатых купцов, укрывшихся там со всем своим имуществом. В этих городах наши воины смогут захватить хорошую добычу, а изголодавшиеся кони подкормиться. Только после этого можно будет двинуться на «вечерние страны».

— По-видимому, именно этого ты особенно захотел,— сказал Бату-хан.— Поэтому тебе и поручается быстро покорить города Волынской земли. А для того, чтобы ты сам не сделал ошибки, как ты назвал захват и разгром Кыюва, я тебе в помощь назначаю хана Бурундая с его войском. Отправиться туда вы должны немедленно.

Это уже было твердое приказание. Гуюк-хан, скрывая бешенство, склонился, скрестив руки на груди, и хотел встать, но Бату-хан остановил его:

— Подожди! Выслушай, что скажут другие темники и что мы сейчас решим.

Все сидевшие вокруг огня насторожились, стараясь не проронить ни одного слова.

Бату-хан продолжал:

— Наш одаренный девяносто девятью способностями и достоинствами сын великого кагана, Гуюк-хан, заговорил о передышке. Что подумают правители «вечерних стран», когда услышат о нашем решении остановить свой стремительный поход? Вероятно, вы все слышали или знаете о том письме, о том потрясающем послании, которое отправил наш высокий правитель великий каган королю франков Людовику, прозванному «святым»?

Темники зашевелились, послышались восклицания:

— Мы только слышали о таком письме, но нам его не читали! Просим прочесть его!

— Сейчас вы его услышите! Усердный Хаджи Рахим! Ты хранишь переписанное для меня это письмо. Прочти нам.

— Сейчас прочту, мой повелитель! — ответил летописец великого похода.

Он стал рыться в своей потертой кожаной сумке, достал пергаментный свиток и разгладил его на коленях. Затем стал читать нараспев:

— «Именем бога вседержителя повелеваю тебе, королю франков Людовику, быть мне послушным и торжественно объявить, чего ты желаешь: мира или войны? Когда воля небес исполнится и весь мир признает меня своим владыкой, тогда воцарится на земле блаженное спокойствие и народы увидят, что мы для них сделали. Но если ты дерзнешь отвергнуть божественное повеление и скажешь, что земля твоя очень отдалена, горы неприступны, моря глубоки и что ты нас не боишься, то всесильный облегчит трудное и, приближая отдаленное, покажет тебе, что мы можем с тобою сделать».

Хаджи Рахим посмотрел вопросительно на Бату-хана и, видя утвердительный знак его руки, свернул письмо и опять бережно спрятал его в свою сумку.

Бату-хан обратился к Субудай-багатуру:

— Что ты скажешь об этом послании? Дай мудрый совет.

Субудай-багатур, вытирая рукавом вспотевший лоб, сказал:

— Это послание великого кагана королю франков есть в то же время повеление и для нас. Мы должны раздавить сопротивление всех встречных народов и ворваться победителями в страну франков, где правит король, прозванный «святым», хотя на самом деле он дерзкий лгун и неисправи-

мый преступник. Он до сих пор не прислал нам ответа, и если он не захочет встретить нас покорностью, то мы должны своим копьем выполнить волю великого кагана, заставить короля франков встать на колени, поцеловать землю и выказать нам полное повиновение.

Сидевший недалеко от Бату-хана арабский посол Абд ар-Рахман при упоминании о франках вздрогнул и подался вперед. Вот когда заговорили наконец о земле, которая была для него целью всего предпринятого похода! Только бы добраться туда целым и невредимым! Обнажить свой меч против народа, сражавшегося когда-то с его прославленными предками...

— Джихангир! — воскликнул он, и голос его непривычно зазвенел.— Я буду просить у тебя чести переступить границу земли франков, начальствуя над твоими доблестными воинами! Дай мне тысячу всадников, и я приведу заносчивого короля Людовика на аркане к твоему шатру!

Все обернулись к Абд ар-Рахману. Бату-хан поднял брови, потом улыбнулся:

— Молодец! Обещаю исполнить твое желание, а ты принеси мне победу.

— Молодец! Молодец! — повторили все присутствующие.

Гуюк-хан спросил:

— Какой же путь ты выбрал, чтобы наше доблестное войско привести в страну франков?

— Сперва пусть выскажет свои думы наш доблестный Субудай-багатур. Потом скажу я.

Старый одноглазый полководец вздрогнул, передернулся и начал говорить медленно, точно заикаясь, вытирая губы левой здоровой рукой:

— Наш главный враг и противник в этом великом походе — это отсутствие корма для коней и пищи для войска. Проклятые широкобородые урусы хорошо знают это и при нашем приближении сжигают все запасы. Поэтому наша сила только в нашей быстроте. Мы должны налетать на мирные народы раньше, чем они приготовятся к битве, раньше, чем они успеют спрятать или сжечь свои запасы, которыми должны нас кормить. Мы должны налетать на эти народы, как стая ястребов или соколов, что набрасываются на мирно пасущееся стадо гусей или уток раньше, чем те успеют разлететься. А каким путем направится наше войско, объявит, если только пожелает, наш великий джихангир.

Бату-хан обвел угрюмым взглядом всех сидевших и сказал:

— Народы «вечерних стран» уже давно ожидают нашего прихода, но в то же время трясутся и молятся своим богам, чтобы мы не пришли. Мои лазутчики доносят, что правители этих стран теперь отправляют друг к другу послов, устраивают совещания, ставят дозорных на горных перевалах, где они заваливают проходы огромными камнями и деревьями. И в то же время они ссорятся и спорят между собой, кто будет у них главным военачальником соединенных войск. Все они говорят о войне и бесплодно теряют время, а мы на них надвигаемся, как туча, и пока я не вижу никого, кто собрал бы их войско в одну грозную силу, чтобы первым напасть на меня.

— Верно! Верно! — закричали сидевшие.— У них никого нет, кто посмел бы первым напасть на непобедимые войска нашего джихангира.

— Поэтому мы будем продолжать идти вперед, все вперед до «последнего моря»!

. .

От Киева, где татары понесли огромные жертвы, они двинулись в сторону заходящего солнца, направляясь через Галицко-Волынскую Русь. Передовые отряды монголов подходили к стенам встречных городов, требовали покорной сдачи, и если жители, открыв ворота, впускали их, они сейчас же растекались по всем улицам, врывались в жилища, забирали все, что находили, и, подобно саранче, истребив все на своем пути, вьючили добычу на небольших, но выносливых монгольских коней и приканчивали всех тех жителей, которые осмеливались сопротивляться. Так, где налетом, где лживыми обещаниями, татары взяли города Колодяжин, Каменец и другие, но город Данилов не открыл им своих ворот. Горожане вместе с прибежавшими из окрестных селений крестьянами мужественно и геройски защищались, сбрасывая камни и сбивая топорами и рогатинами взбиравшихся на стены татар.

Помня приказ Бату-хана «не задерживаясь идти вперед на заход солнца», монголы прекратили осаду Данилова и двинулись дальше на запад.

Гуюк-хан, дойдя до Кременца, рассчитывал быстро овладеть им. Он помнил повеление Бату-хана, сказанное с презрительной усмешкой, и хотел поскорее разделаться с Кременцом, раздавив его, как яйцо. Но здесь случилось неожиданное.

Перед ним оказался город — неприступная крепость на горе. Дорога вилась по крутому каменистому подъему. На верху прочных стен видны были жители, готовые к защите.

Гуюк-хан сидел на гнедом жеребце и мрачно смотрел вверх на запертые городские ворота. И дорога и боковые скаты холма, на котором был расположен город, блестели, как стекло. Что бы это могло быть? Он приказал переводчику с двумя всадниками подняться к воротам и потребовать немедленной сдачи города, обещая пощадить покорных жителей и не тронуть их имущества. Однако подняться к воротам оказалось невозможным: жители, услышав о приближении монголов, полили гору водой, и теперь она вся обледенела. Кони скользили и падали. Со стен раздавались крики и смех, летели камни.

Гуюк-хан в бешенстве приказал дожидаться стенобитных машин, следовавших за войском. Через два дня прибыл один камнемет. Его везли двенадцать быков, но втащить машину на гору по обледенелой дороге оказалось невозможным, поэтому пришлось оставить ее внизу. С грохотом она стала швырять тяжелые камни, направляя их в городские ворота. Но камни — одни не долетали, другие, долетев, из-за дальности расстояния, не могли сломать прочных ворот. Все попытки монгольских воинов взять Кременец окончились неудачей.

Гуюк-хану привели нескольких захваченных ранее пленных. С ними вместе пришел толмач, которого татары давно возили с собою. Оборванный, в жалких лохмотьях с тяжелой цепью на ноге, он представлял, однако, для них большую ценность, так как мог объясняться и по-командски, и по-татарски, и по-русски.

— Кто защищает этот проклятый город? — спросил Гуюк.

— Пленные говорят, что князь Даниил Галицкий поручил защиту Кременца тысяцкому Никодиму, а тот приказал жителям полить водой эту гору, держаться изо всех сил, не верить татарам и не открывать им ворота.

Простояв безуспешно под Кременцом несколько дней, Гуюк-хан приказал своему войску двинуться дальше, а захваченных пленных перебить.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

МОНГОЛЬСКИЙ АРКАН НАД ЕВРОПОЙ

Глава первая

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ПОД УДАРОМ МОНГОЛОВ

По свидетельству современных хроник, объятые ужасом при известии о вторжении полчищ диких монголов, европейские государства стали принимать спешные меры, собирать войска и вооружать население.

Все ожидали, что во главе объединенных войск Европы встанет германский император Фридрих II Гогенштауфен и поведет их против страшных орд Бату-хана.

Но император оставался в Италии, где шла напряженная борьба между его партией и партией главы всех католиков девяностолетнего римского папы Григория IX, который три раза во всех церквах повелевал предать анафеме императора Фридриха II и рассылал послания германским правителям, призывая их к избранию нового императора. Сам же папа находился в то время во Франции, в городе Лионе. Эта длительная распря между папой и императором и их сторонниками препятствовала всякому успешному начинанию для спасения Европы. Видя полную неподготовленность европейских государств, папа стал призывать всех правителей Европы организовать общий крестовый поход против монголов, даже соглашаясь на то, чтобы во главе всех войск встал ненавистный ему император Фридрих II.

Пока Фридрих из своей виллы на острове Сицилия рассылал приказы и пространные послания своим вассалам, войска Бату-хана несколькими потоками вторглись в европейские земли. Все дошедшие до нас сведения о движении монгольских войск носят крайне запутанный характер и их очень мало. Вот некоторые из них, почерпнутые из различных летописных источников:

«После падения Киева в декабре 1240 года старший из

внуков Чингиз-хана, Батый, во главе пятисот тысяч конных монголов, выступил для покорения западного христианства.

Первой на его пути была Польша. Зимой 1241 года монголы вторглись в Малую Польшу, взяли и сожгли Сандомир и Краков.

Затем Батый разделил свое войско. Одна, более многочисленная часть пошла через Татры (Карпаты) на королевство Венгерское. Это был трудный путь, так как все главные горные проходы были заблаговременно завалены огромными вековыми деревьями. Батый приказал поджечь эти деревья, и черные клубы дыма от гигантских костров возвестили населению о движении монгольского войска.

Пока одна часть монголов вступила в венгерские пределы, другая направилась на север, в Великую Польшу, а отсюда прямо к границам чешским. Страх перед этим свирепым врагом распространился далеко по всем западным землям.

Однако в Германии стали вооружаться только в некоторых областях, там, где опасность была ближе. Несколько князей послали помощь королю польскому, Генриху Благочестивому, который готовился к бою в Нижней Силезии.

Другие вспомогательные отряды поспешили в Чехию, где король Вячеслав, бросив все дела, стал заниматься приготовлением к обороне. Под его знаменами собралось до сорока тысяч пехоты и до шести тысяч конницы, с которыми он спешно выступил из Праги к силезской границе, намереваясь соединиться с войсками Генриха Благочестивого. В это время монголы, под начальством хана Пайдара (Петы), быстро продвигались к Лигницу.

Близ Лигница король Генрих, не посоветовавшись с королем Вячеславом и вопреки ожиданию последнего, вступил в несчастную битву с монголами 9 апреля 1241 года. Десять тысяч христиан полегло в этой героической битве, закончившейся для них страшным поражением. В их числе пал и сам Генрих.

Король Вячеслав был уже на другой день со своим войском в Лигнице, так как находился в пределах государства, в округе Жетовском, и если бы Генрих дождался его, возможно, эта битва окончилась бы иначе.

Узнав о приближении короля Вячеслава, монголы не отважились вступить в новое сражение и поспешно направились обратно в Верхнюю Силезию, опустошая все огнем и мечом.

Германские союзники Вячеслава, видя, что опасность от их земель отвратилась, разошлись, и король Вячеслав

должен был ограничиться охраной рубежей чешских и моравских.

Монголы тщетно пытались вторгнуться в Чехию через Глацкую область: горные проходы всюду были завалены камнями и защищены. Но, по прошествии трех недель, монголы овладели Опавской областью и оттуда открыли себе дорогу в Моравию. Они взяли Опаву, Пшеров, Литовль, Иевички и другие города один за другим. Сожгли и разрушили знаменитые древние монастыри в Градище, Райграде и других местах. Плодородную Гану опустошили вконец, все на своем пути предавая огню и разграблению.

Народ бросал имущество и бежал в горы и леса, чтобы не сдаваться врагу.

Только три города: Олоомуц, Брюн и Уничов — монголы осаждали, но без успеха. Отдельные крепости и замки, храбро защищаясь, тоже отразили нападение врага. Так прославились Внеслав и Братислав на Гостыне.

Тем временем король Вячеслав собрал против татар новые силы и пошел им навстречу в Моравию. Ему помог и Фридрих Удалой Австрийский.

При Олоомуце, обложенном татарами, произошла кровавая встреча: здесь предводитель чешского войска, Ярослав, нанес татарам чувствительное поражение, и от его храброй руки пал хан Пайдар.

Вслед за тем монголы покинули Моравию и спешно направились в Венгрию, где соединились с главным войском Бату-хана».

Глава вторая

БИТВА ПРИ ЛИГНИЦЕ

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«Молю всевидящего и всезнающего дать мне достаточно сил и умения, чтобы описать правдиво этот необычайный поход грозного Бату-хана на земли народов «вечерних стран», объяснить причины блистательного успеха его вторжения и разгрома растерявшихся противников.

Еще в те дни, когда Бату-хан осаждал Кыюв, он отправил правое крыло для покорения ближайших земель, а также и для разведки, чтобы установить, какие вражеские силы он может встретить впереди.

Один из татарских отрядов дошел до города Люблина и, разорив все на своем пути, возвратился к главному войску с большой добычей.

Другие татарские отряды переправились через замерзшую реку Вислицу и повернули на большой богатый город Краков. Там один из монгольских отрядов был разбит войском краковского воеводы Владимира, который, выйдя ночью из осажденной врагами крепости, набросился на спящих татар, рассеял их и освободил из плена значительную часть своих соотечественников. Во время сражения пленные разбежались и скрылись в лесах. Все же население покинуло Краков, и он загорелся сразу со всех концов, подожженный уходящими жителями».

После того как Бату-хан разделил на пять частей свое огромное войско, оно обрушилось на Западную Европу.

Ввиду многочисленности монгольских орд трудно было дать им достойный отпор. 9 апреля 1241 года под Лигницем произошло решительное сражение, где попробовали испытать свои силы войска «вечерних стран», столкнувшись с дикими преемниками Потрясателя Вселенной Чингиз-хана.

Первыми двинулись на монголов стройные ряды пехотинцев, состоявшие из чешских горняков, нашивших себе на грудь большие белые кресты в знак того, что они готовы умереть за родину, но не отступить. Они шли правильными, тесными рядами и пели воинские песни. Следуя своим обычным уловкам, монголы стали притворно отступать, как будто в беспорядке, и этим увлекать за собой противника в сторону топкого болота. Когда смелые пехотинцы, уже считая себя победителями, бросились вдогонку за монголами и, потеряв порядок, отделились от остального войска, монголы нежданно повернули, забили в медные щиты и с криком стали скакать вокруг пехотинцев, избегая вступать в рукопашный бой. Татары старались истреблять их издали, метко поражая длинными стрелами. Чешские горняки отчаянно защищались, и все доблестно пали в бою.

Два других отряда чехов и поляков, поспешивших на помощь горнякам, тоже подверглись стремительному нападению монголов и тоже погибли в отчаянной схватке. Рыцари прусского Тевтонского ордена, построившись своим обычным строем «клином», как будто несокрушимой лавиной ринулись на монголов. Однако, несмотря на свое отличное вооружение, закованные в железо рыцари ничего не могли поделать с быстро ускользавшими от них легкими монгольскими всадниками, которые внезапно поворачивали обратно, кружились вокруг рыцарей, яростно налетали и в конце концов стрелами и мечами разгромили прославленную конницу германских рыцарей, считавшихся в то время лучшими воинами «вечерних стран».

В этой битве сказалось преимущество легких татарских коней. Рыцари, закованные в железо, хотя и имели грозный вид, но их большие тяжелые кони скакали медленнее монгольских. Кроме того, им не удалось избежать топких мест, где они проваливались и были не в силах подняться, поражаемые издали татарскими лучниками.

В тот день пал смертью храбрых начальник соединенных войск, смелый, но несчастливый в бою Генрих герцог Силезский.

Разорив окрестности Лигница, но не тронув города, где за крепкими стенами укрылось население, монголы повернули на Ратибор и, выполняя строгий приказ Бату-хана, вторглись в Моравию. Предав все огню и мечу, они затем двинулись в Богемию.

Король Богемский Венцеслав послал для борьбы с монголами опытного чешского военачальника Ярослава, приказав, не вступая в сражение в открытом поле, только защищать город Брно. Ярослав нашел в Брно мало войска. Оставив часть его для защиты города, сам он с пятью тысячами пеших воинов и пятью сотнями всадников двинулся к Олоомуцу, к которому уже подходили монголы. Едва Ярослав вошел в город, как его начали окружать передовые татарские отряды.

Однако Ярослав, дождавшись ночи, сам решился напасть на монголов и под покровом темноты внезапно обрушился на их спавший лагерь, прежде чем татары успели принять меры к обороне.

Хотя из участвовавших в смелой вылазке только небольшая часть вернулась в город, все же это была победа, весть о которой разнеслась по стране, показав, что и монголов можно одолевать.

Во время яростной ночной схватки был убит один из крупнейших монгольских военачальников чингизид хан Пайдар и сопровождавший его в походе Мусук, названый брат младшей жены Бату-хана Юлдуз-Хатун.

На следующий день после боя монголы сложили тела хана Пайдара, Мусука и других павших своих воинов на огромный погребальный костер, подожгли его и с воплями и воинскими песнями долго ходили вокруг костра. В честь «благородных теней» погибших монгольских воинов, нашедших свой конец вдали от родины, были перебиты захваченные пленные, приносившие дрова для костра, чтобы потом, в заоблачной жизни, они стали верными рабами монгольских покойников.

Пламя и дым костра поднимались до самых облаков, ставших кровавыми.

Через три дня после этого печального поминания своего вождя и его багатуров монголы, сняв осаду Олоомуца и выполняя строгий приказ Бату-хана собраться в заранее указанный им день на венгерской земле, двинулись туда.

Однако можно думать, что в тех случаях, когда монголам не удавалось быстро овладеть тем или иным городом, они снимали осаду, ссылаясь на якобы полученный об этом приказ Бату-хана.

Глава третья

СМЕЛЫЙ ПЕВЕЦ

Уже несколько дней татары штурмовали Сандомир. Они сбивали длинными стрелами с каменных стен его упрямых защитников, плетьми и ударами палиц гнали истощенных, оборванных пленных, приказывая им взбираться по шатким приставным лестницам на укрепления города, откуда доносились проклятья, крики и выливались на головы осаждающих кипяток и горящая смола.

Огненным валом дымящих костров был охвачен когда-то веселый Сандомир, славный песнями, прекрасными женщинами, сладким хмельным медом в замшелых кувшинах. Теперь это был город плача, невыносимых мук и горя.

Все горожане — и молодые, и седоусые деды, и отцы — неутомимо швыряли камни, били мечами, кольями, топорами, сбрасывая со стены все прибывавших воющих татар.

Измученные женщины, не зная страха, подносили камни, кормили и поили защитников, перевязывали раны.

Иногда из-за темноты или налетевшей снежной вьюги натиск монголов затихал, и тогда слышались только плач и вопли в городе да протяжные песни, похожие на волчий вой, безжалостных косоглазых пришельцев.

Темными ночами монголы подолгу сидели на корточках вокруг пылающих костров, смуглые, неподвижные, уставившись пристальным взглядом в раскаленные докрасна угли, а за спинами некоторых жались их покорные жены, такие же неподвижные, узкоглазые, с будто окаменевшими скуластыми лицами, прислушиваясь, что скажут воины: скоро ли кончится осада этого упрямого города и настанет день, когда к ним в повозки снова полетят охапки окровавленных одежд, разрозненных сапог, а то и теплая шуба или серебряный кубок... А сзади к повозкам будут опять привязаны, с закрученными за спиной руками, стонущие от боли и унижения пленные. Хорошо, если попадется краси-

вая девушка, молодая сильная женщина или не очень израненный мужчина, их легче можно продать на невольничьем базаре или обменять хотя бы на пару новых шаровар.

Осада Сандомира сразу пошла успешнее, когда к стенам города прибыл с туменом своих «бешеных» всадников сам джихангир Бату-хан. С ним приползли четыре диковинные стенобитные машины.

В одно пасмурное утро машины загромыхали, и в стены полетели огромные камни. Каждый камень был настолько тяжел, что его с трудом поднимали четыре человека и клали в громадный ковш на конце бревна. Эти ковши беспрестанно швыряли камни в стены и в железные городские ворота, внушая ужас стойким защитникам, которые поняли, что никакое мужество больше не поможет против ухищрений сильного врага.

Сопротивление вскоре было подавлено. В широкие проломы стен на низкорослых храпевших конях ворвались ревущие и воющие татары. Они карабкались через груды наваленных камней и неудержимыми потоками разлились по узким улицам города.

Сандомир был взят. Жители с ужасом ожидали своей участи. Монголы врывались в дома, захватывали все, что им нравилось, и заставляли израненных горожан самих же нести отобранные у них вещи на площадь, где монгольские сотники делили добычу между воинами, оставляя одну пятую часть Бату-Хану и еще другую пятую часть награбленного для отсылки в далекую Монголию великому кагану всех татар.

Во многих местах город пылал. Деревянные дома частью поджигались самими жителями, пришедшими в отчаяние, но не желавшими, чтобы родные жилища осквернялись издевательством насильников. Кто мог попрятались в подвалах, еще надеясь на какое-то спасение.

Монголы заставили пленных расчистить от бревен и камней главные ворота своего города, и в полдень в Сандомир въехал Бату-хан со своей нарядной, блистающей металлическими доспехами свитой. Он был в серебряном шлеме, украшенном перьями цапли, и в позолоченной кольчуге. На плечи была накинута малиновая, расшитая золотом шуба, подбитая темным соболем. Он сидел на пятнистом, как барс, пляшущем на ходу жеребце, украшенном золотой сбруей.

Въехав на главную городскую площадь, заставленную возами бежавших из окрестностей поселян, Бату обратил внимание на величественный каменный дом с двумя высокими башнями.

— Это жилище ляшского бога?

— Ты верно сказал,— подтвердил переводчик.— Это костел латынян, а рядом длинное каменное здание — это монастырь, где живут латынские монахи, посвятившие себя молитвам и переписке священных книг.

— Я хочу увидеть, как молятся здешние латынские шаманы. Пусть они споют мне свои песни! — Бату-хан направил коня к дверям костела.

Высокие двери из черного дуба были широко открыты. Каждую створку украшали резные изображения святых. В притворе Бату-хан на несколько мгновений задержал коня перед огромной картиной, нарисованной на стене.

— Что за люди здесь изображены?

— Это «Страшный суд»,— объяснил переводчик.— Здесь показано, как все мертвецы встанут из гробов в последний день вселенной. Они явятся перед богом, и всевышний владыка будет судить их за преступления, совершенные каждым в жизни...

— А кто этот падающий вниз человек с лицом, искаженным злобой, с хвостом и рогами?

— Это бог зла, который толкает людей на преступления. Ляхи таких духов зовут «дьябли»...

— Этим дьяблам ляхи тоже молятся?

— Нет, они им не молятся, но их боятся.

— Пусть лучше нас боятся! — сказал подошедший хан Орду.— Рабы должны бояться своего господина.

В костеле Бату-хан проехал между двумя рядами деревянных скамеек. Копыта монгольских коней звонко цокали по каменным плитам. Бату-хан остановился перед алтарем и пожелал узнать, что нарисовано на иконах, чья статуя раскрашенной женщины стоит на пьедестале возле алтаря и почему она обвешана цветами, ожерельями и лентами? Узнав, что это «матерь божия», он снова спросил:

— Где же певцы? И монахи, служители этого дома? Почему они до сих пор меня не встретили и ничего мне не поют? Приведите их сюда.

Сойдя с коня, Бату уселся, подобрав ноги, на широком резном кресле, обитом зеленым бархатом. На нем во время богослужений обычно сидел сандомирский воевода.

Нукеры бросились исполнять приказание Бату-хана, и вскоре притащили старого священнослужителя в длинной черной сутане с костяными четками в руках. Старик не выказывал страха. С трудом подойдя к Бату-хану, он остановился, близорукими глазами всматриваясь в лицо грозного татарского повелителя.

— Скажи мне, старик, где все твои шаманы? Почему они попрятались?

Ксендз, подняв глаза к небу, медленно перекрестился.

— Пан бог призвал к себе души всех братьев нашей святой обители. Они бесстрашно сражались против врагов веры Христовой и пали на стенах нашего несчастного города, перебитые твоими жестокими воинами. Я один остался в живых, чтобы сторожить этот святой храм и молиться о моих погибших братьях.

— Я ценю таких храбрых противников. Хаджи Рахим! Где Хаджи Рахим?

Из группы приближенных Бату-хана, стоявших позади кресла, вышел летописец и мудрец Хаджи Рахим, с белой чалмой на голове, в длинной темной одежде, подпоясанной куском полосатой ткани. Он выделялся среди блиставших оружием соратников Бату-хана своим скромным, почти бедным видом.

— Мой почтенный учитель! Позаботься о старике и расспроси его об этом латынском доме бога и о его шаманах, погибших на стенах города. Ничто не должно быть упущено и забыто в книге моих походов.

— Слушаю и повинуюсь, великий хан! Позволь только тебе предложить нечто из того, что заслуживает внимания: ты пожелал, чтобы тебе здесь пели молитвы, какие поются ляшскому богу. А петь некому! Рядом же на площади я видел певца, который ходит из города в город и поет песни. Он избит, и кровь стекает по его лицу. Но он продолжает гордо стоять на груде камней и смело поет. Воины его зарубят, а он бесстрашен...

Бату-хан обратился к одному телохранителю:

— Приведи с площади певца!

Вскоре тургауд вернулся, ведя под руку бедно одетого юношу с белокурыми кудрями до плеч. Одной рукой тот держал лютню, другой прижимал платок к голове. По лицу стекала алая кровь. Ноги в широких шароварах были без сапог: татары успели уже их стащить. Певец вполголоса бормотал проклятья, исподлобья поводя серыми глазами.

Бату-хан приказал стоявшему поблизости Дуде расспросить певца.

Дуда спросил:

— Нам передавали, что ты на площади пел преступные песни, призывая жителей Сандомира к упорному сопротивлению. Верно ли это?

— Да, я это делал, и, если останусь жив, я опять буду песнями призывать мой народ к борьбе за свою свободу.

Но я не побоюсь спеть такую песню даже перед повелителем татар, пришедшим погубить нашу прекрасную родину...

— Вот за этим-то наш доблестный Саин-хан и призвал тебя.

Певец выпрямился и недоверчиво посмотрел на безмолвно сидящего Бату-хана. Каменным было его лицо, и никто не сумел бы проникнуть в думы всемогущего вождя с узкими, как щелки, скошенными глазами.

— Я не побоюсь этого сделать, хотя меня ждет лютая казнь!

Переводчик объяснил, что никому не дано угадать последнее слово владыки. Может быть, казни не будет и он даже получит награду.

— Пускай поет! — сказал Бату-хан.

Тогда певец, отбросив окровавленный платок, попробовал струны лютни. Он запел хриплым, но полным глубокого чувства голосом, а Дуда Праведный тихо переводил:

Заплакали в селах, будто на погосте:
Ой, лихо нам, лихо! — Пепел да кости!
Девушки малины в лесу не сбирают,
Пастухи скотины в поле не гоняют.
Ой, лихо нам, лихо!
Татарва конями хлеба потоптала,
Девиц полонила, сынов порубала,
Ой, лихо нам, лихо!

— Так и надо народу непокорному! — сказал Бату-хан.— На то и война!

Батыю поганому ночью не спится...

Дуда запнулся, но под грозным взглядом Бату-хана робко продолжал переводить:

— Что ж тебе, Батыю, не спится, не лежится?
«Человечьей крови я хочу напиться...»
Ой, лихо нам, лихо!
Поганцу языческому... Народа мучителю...

Дуда остановился, но против ожидания Бату-хан, видимо, остался доволен и заметил:

— Великий правитель и должен быть жесток.

Жрут человечину волки да собаки.
Кровь человечью пьют вурдалаки.
Осиновый кол вурдалаку в спину,
Волка лесного мы бьем дубиной!

Бату-хан более внимательно прислушивался и следил за движениями певца, нетерпеливо требуя перевода.



ШТУРМ ГРАДА. *1969*



ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД (Фрагмент). *1965*

Ой, лихо-то, лихо,— да ворогам нашим!
Села мы построим, землю запашем!
Будем мы вами мосты мостити,
Хану да ханятам голову рубити.
Будете снопами лежать вы в могиле!
Встань же, отчизна, в славе и силе!
Встань, наша мати, рви свои путы,
Бей и гони ты ворогов лютых[1].

Бату-хан слушал невозмутимый, непроницаемый. Певец, обессиленный, вдруг зашатался и прервал песню. Его колени стали подгибаться. Изо рта по подбородку поползла кровавая змейка. Выпавшая из рук лютня жалобно зазвенела.

Дуда, поддерживая певца, уложил его на каменные плиты.

Бату-хан медленно перевел свой взгляд в сторону задумчиво стоявшего Хаджи Рахима.

— Что ты скажешь на это, мой мудрый учитель?

Хаджи Рахим быстро подошел к Бату-хану, склонился и прошептал что-то ему на ухо.

Бату-хан скрипучим голосом сказал:

— Ты был и навсегда останешься дервишем, гонимым ветром беспокойства. Мои монгольские улигерчи поют так же прекрасно и смело, но этот юнец дерзко осудил сынов великого Потрясателя Вселенной и оскорбил их... Разве за это награждают? Подайте коня!

В этот день вечером, в монастыре близ храма, в узкой монашеской келье, Хаджи Рахим, низко склонившись над своей «Путевой книгой» при свете потрескивающего светильника, писал:

«В ляшском городе Сандомире, завоеванном грозными татарами, победоносный Саин-хан, как обычно, проявил свое великодушие, слушая в доме бога бесстрашного молодого певца, перед ним отважно призывавшего ляхов к защите своей родины.

Джихангир меня спросил, чем наградить певца?

— Поступи так, как имел обыкновение делать великий Искендер Двурогий. Ты завоевал землю ляхов, теперь постарайся завоевать сердца твоих новых подданных: подари певцу ценную одежду с твоих плеч. Тогда и внуки и правнуки ляхов будут и в сказках и песнях вспоминать с изумлением о твоей великой щедрости.

Я тогда думал: «Что значит одна шуба из богатств Бату-хана, когда он прибавил новый изумруд к ожерелью, составленному из завоеванных им столиц покоренных народов?»

---

[1] Стихотворная обработка *Н. Павлович.*

Может быть, певец предсказал правду?.. Возможно, что пройдут века и будут сметены с подноса вселенной многие народы, как дым от порыва ветра. Будущее кто знает? Но навсегда осталась бы в веках песня о том, как великий завоеватель Бату-хан наградил любящего свою землю больше жизни бесстрашного певца, сбросив для него со своих плеч драгоценную шубу. Но Бату-хан этого не сделал, а приказал прикончить певца, и тот остался один лежать бездыханный на каменных плитах ляшского храма».

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«Согласно приказу Бату-хана возможно подробнее описывать его необычайный поход для разгрома «вечерних стран», я постоянно опрашиваю приводимых ко мне пленных, которые рассказывают о своей стране, ее жизни, нравах обитателей, и я с изумлением узнал о том, как беспечны они были и не готовились к возможности вторжения татар. Никто из мадьяр не верил, что азиатские орды смогут докатиться так далеко и что они так сильны. В этих беседах с пленными мне очень помогает писец арабского посла Дуда, прозванный «Праведным». Его знание множества языков удивительно: он сразу понимает речь приведенных пленных и мне ее пересказывает. Из этих разговоров я узнал многое, что постараюсь поведать в моей «Путевой книге».

В то время когда войско убитого хана Пайдара опустошало Ляшское королевство, Силезию и Моравию, сам Бату-хан двинул свою орду через лесистые Карпаты, чтобы ворваться в страну мадьяр.

Тем временем Данила Романович, князь Киевский, покинув Кыюв, прибыл в столицу мадьяр Буду, где нашел их короля Белу. Данила умолял короля возможно скорее соединиться с воинскими силами урусов для общей борьбы с татарами и немедленно прислать свое войско для помощи изнемогающей урусской земле.

Хотя король Бела и был крайне встревожен приближением могучего неприятеля, но он еще не хотел верить, что монголы действительно исполнят свою угрозу и вскоре появятся в мадьярских пределах. Поэтому он ограничился тем, что послал только несколько отрядов мадьяр и куманов в Карпаты для наблюдения за горными проходами, приказав завалить их срубленными деревьями.

О великой опасности, которая надвигается на страну мадьяр, горячо предупреждал также только один хан Котян, но приближенные Белы ему не доверяли и утверждали, что он старается «проползти к сердцу короля» и «стать его правой рукой». Котян, однако, был дальновиднее всех».

Глава четвертая

В СТРАНЕ МАДЬЯР

В конце 1240 года в стране мадьяр получили первые грозные известия о разрушении Киева, об ужасающем состоянии многих русских княжеств, истерзанных татарскими дикими ордами. Эти известия заставили правителей королевства Мадьярского, Польши, Богемии и других государств Центральной Европы задуматься над тем, что, быть может, и им предстоит испытать такие же или еще более страшные дни несчастий. Передавались слухи, будто полмиллиона конных дикарей, вынырнувших из неведомых глубин Азии, уже приблизились к границам мадьярской земли, что они воодушевлены своими непрерывными победами и крайне опасны умением быстро перебрасывать огромные скопища своих воинов, которые не боятся никаких трудностей и препятствий и могут разгромить всякое европейское войско, вставшее на их пути.

Беспечные успокаивали себя:

— Татары, покорив русские княжества, уже захватили так много земли, что пресытились и дальше не двинутся.

Современный католический летописец, монах Фома из города Спалато[1] в Далмации, опасаясь за участь Мадьярского королевства, писал: «Благополучие и благоденствие, царившее в стране за последние годы, сделало мадьяр беспечными. Они совсем не заботились о своем будущем и не принимали никаких мер для укрепления и защиты своей родины». Летописец сурово обвинял мадьярскую аристократию в изнеженности: «Молодые люди из высших сословий спали до одиннадцати часов, и затем, разодетые в роскошные одежды, более подходящие для женщин, они посвящали свое время пустым удовольствиям. Они издевались над грозными предсказаниями надвигавшейся беды и легкомысленно не хотели верить в возможность какихлибо вторжений неприятельских войск. Они говорили, что все это пустые выдумки монахов и священников, пугающих прихожан с целью заставить их более усердно посещать церковь и делать ей более щедрые пожертвования».

Один из мадьярских священников в конце 1240 года прислал парижскому епископу подробные сведения о грозном «биче божием», который пока еще находится на русской реке Днепре, но его отряды уже приблизились к границе Мадьярского королевства.

---

[1] Спалато, или Сплит — город на берегу Адриатического моря.

А между тем богатая от природы страна мадьяр не имела хорошо организованной армии и нужного порядка: в разных местах среди населения возникали междоусобицы и столкновения. Главные кормильцы страны, скромные труженики, мадьярские крестьяне, угнетаемые знатью, были не только недовольны, но даже крайне озлоблены против своих поработителей-землевладельцев. Они не могли забыть о том, что их отцы и деды когда-то были свободными и эти пашни тогда были их собственностью и только в начале XIII века указом короля все крестьяне-пахари были объявлены крепостными, а обрабатываемая ими земля признана собственностью знатных титулованных помещиков — большей частью немцев, прибывших из Саксонии. Вся страна оказалась раздробленной на множество мелких феодальных владений. Высокомерные новые хозяева при озлобленности угнетенных крестьян сделали свою страну беззащитной против наступления всякого врага. Кроме того, помещики-аристократы, считая себя главными правителями страны, всячески ограничивали власть короля Белы, выступая против него на съездах и не допуская никаких послаблений и льгот в пользу безземельных нищих крестьян.

Глава пятая

ПУШТА

Один из венгерских поэтов прошлого века так описывал пушту, степную равнину, на которой произошла первая встреча татарской конницы с мадьярским войском:

«В пуште, этой пустынной, привольной степи, свирепствуют страшные ураганы, зимой залепляющие снегом лицо, а летом засыпающие глаза песком, ураганы такой силы, что они подчас даже опрокидывают путника. Пушта излюблена пастухами и кочевниками, но она кажется безотрадной городским жителям. По всей пуште скот пользуется бесчисленными колодцами. Обычно колодец состоит из глубокого сруба, опущенного в песчаную почву, и обнесен низкой стеной. Деревянное ведро, плавающее на поверхности воды, привязывается к концу длинной тонкой жерди, другой конец которой прикреплен к деревянному коромыслу, но так, чтобы оно могло свободно двигаться. Коромысло, в свою очередь, приделано к верхушке столба, вкопанного в землю. Рядом с колодцем находятся два длинных корыта, одно ниже другого. Из верхнего поят лошадей, из другого — мелкий скот, вливая в корыто воду, зачерпнутую из колодца.

Поблизости стоит крытый сарай «исталло», рядом непокрытые загородки для скота «акол».

Кругом безграничные поля. Кое-где поднимаются грядки высокого подсолнечника. Часто встречаются болота и камыши, в которых скрываются стаи волков. Кое-где виден уединенный выселок — скромная усадьба, оберегаемая мохнатыми дворняжками. Это всего несколько небольших построек, окруженных гигантскими стогами сена и соломы.

После нашествия татар и впоследствии, в XV веке, турок-османов которые уничтожали и сжигали все постройки, мадьярские деревни долго еще представляли собой кучу подземных нор и развалившихся лачужек, откуда показывались оборванные, несчастные крестьяне, погрязшие в невежестве и нищете».

Вот еще картина пушты, которую набросал другой мадьярский поэт:

«Я опять вижу мои родные места. Я проходил степью, которую нежно обнимают руки Тисы и Дуная, как руки матери, укачивающей и ласкающей своего младенца. Через привольную равнину проходит дорога. Ужасная жара. Поэтому скот не пасется на свежей траве, а лениво отдыхает. Около загородки дремлет пастух в войлочном плаще. Собаки также ленивы из-за жары и даже не смотрят на проходящего путника.

Вот здесь, в узкой впадине, тянется ручеек. Его течение даже незаметно. Только тогда полетят брызги воды, когда пронесется птица-рыболов и коснется ручья крыльями. Изгиб ручейка красив, и на его желтом песке видна стая пестрых пиявок и быстро бегающих водяных жуков.

Там вдали стоит высокий колодезный «журавль». Стоит он печально: когда-то там был колодец, но он давно завалился. Теперь около него только яма, заросшая травой.

Кажется, будто одинокий «журавль» смотрит на далекий фантастический мираж. Что он там видит? В этой затихшей, заснувшей, покинутой людьми пустоши какие только сны не прилетают к одинокому путнику, прилегшему отдохнуть около покинутого длинного «журавля»!»

Глава шестая

ГОРОДА-БЛИЗНЕЦЫ

Путник, проезжавший через страну мадьяр, в своих записках так передает впечатления от того, что ему удалось увидеть. Вот его описание мадьярской столицы Буды и ее близнеца Пешта.

«Два города искони лежали один против другого, разделенные ленивым течением Дуная. Во время ледохода, или весеннего разлива, они оказывались окончательно отрезанными друг от друга. В остальное время их соединял зимой лед на реке, а летом — мост, уложенный на больших ладьях; они были связаны канатами и прикреплены к столбам, вкопанным на каждом берегу. Мост настолько широк, что по нему могут проехать одновременно, не зацепившись, две встречных повозки, даже два воза с сеном.

Каждый из городов, и Пешт и Буда, опоясан каменной зубчатой стеной и глубоким рвом. Въезд в город допускается только через два подъемных моста, которые на ночь поднимаются на железных цепях. Тяжелые прочные ворота, окованные железом, охранялись вооруженной стражей в стальных доспехах. Столица казалась недоступной какому бы то ни было вторжению.

Буда лежит на западном, а Пешт на восточном берегу Дуная. Отсюда начинается степь, так называемая пушта. Она представляет собой песчаную холмистую равнину, переходящую затем в привольную степь, заросшую высокой травой, камышом и мелким кустарником.

В пуште пасутся табуны прославленных легких в скачке мадьярских коней, на которых предки мадьяр (гунны), как пели их песни в «доброе старое время», огненным неотразимым потоком пронеслись по европейским королевствам, герцогствам и другим феодальным владениям, пронося повсюду ужас и разгром, пока «воля провидения» не вернула их обратно в родные мирные степные просторы.

Буда окружен внушительной зубчатой стеной с бойницами. Посреди города возвышается скалистый холм, весь застроенный дворцовыми зданиями. Королевский дворец тоже напоминает крепость, с высокой башней посредине, где всегда ходят часовые, внимательно наблюдающие за окрестностями.

Отдельные дома в Буде тоже походили на маленькие крепости. Улицы, тесные, извилистые, на ночь перегораживались цепями. Узкие окна домов, выходившие на улицу, напоминали бойницы».

Все эти предосторожности говорили о постоянной тревоге, возможности тайных заговоров и опасении внезапных нападений. Опасности грозили королю отовсюду: и внутри городских стен и вне города, со стороны окружающих Буду феодальных замков надменных аристократов, где каждый барон, граф или герцог гордился своим родством с германскими королями и высшей иностранной знатью. Они захватили исключительную власть и положение в Мадьярском

королевстве, и каждый считал себя имеющим права на королевский трон.

Только мадьярские крестьяне были лишены всего, всяких прав, даже на свои земельные наделы. Они не смели также носить и хранить оружие. Не всегда так было: полвека назад они еще были свободными. Теперь землей завладели аристократы, прибывшие из Германии, Силезии, Семиградья и других мест якобы для создания прочной государственной власти в стране и защиты королевского престола. При таком положении власть короля была крайне стеснена и урезана и зависела от совета знатнейших лиц страны.

Когда король Бела получил письмо хана Котяна, благодарившего за разрешение куманам переселиться в Мадьярское королевство, он созвал членов верховного королевского совета. На этом совещании присутствовал придворный летописец, известный в истории под именем «Нотарий». Он вел «хронику» и описывал главные события того времени. Настоящее имя его осталось неизвестным, но его хроника сохранилась до нашего времени, получив название «Хроники Анонима». В ней можно найти описание некоторых дальнейших событий.

Бела сообщил верховному совету о скором прибытии куманского хана Котяна и его орды. Все члены совета во главе с австрийским герцогом Фридрихом стали яростно упрекать короля Белу за то, что он согласился допустить в страну огромную орду куманов, которых они считали врагами мадьярского народа.

Глава седьмая

КОНЕЦ ХАНА КОТЯНА

Много раз видевший тяжелые горести и несчастья в жизни своего народа, хан Котян еще раз испытал страшный удар судьбы. После гибельного для него и для русских сражения при реке Калке и затем беспрерывных стычек с татарами в Диком поле в течение семнадцати лет Котян надеялся найти спокойную жизнь для себя и своего народа в стране мадьяр. Он заблаговременно отправил посольство к Беле, прося его принять в число своих подданных и разрешить поселиться в пуште всему куманскому народу в количестве сорока тысяч шатров.

Король Бела был обрадован, получив это известие, тем более что Котян просил разрешения поселиться навсегда в Мадьярском королевстве, обещая стать верным защитником короля и своей новой родины.

Таким образом половецкий народ, «куманы», пройдя через южные Трансильванские отроги Карпатских гор, прибыл на мадьярскую равнину. Со своими табунами и стадами скота они широко разлились по привольным степям.

Охотно согласившись принять куманов при условии полной покорности и принятия ими христианства, король преследовал тройную цель: во-первых, приобретение римским папой новых верующих — католиков, во-вторых, для своего королевства он надеялся получить сильное войско из мужественных опытных всадников, в-третьих, лично для себя он рассчитывал из куманов создать гвардию, надежную дружину телохранителей для защиты своего королевского трона от посягательств.

Кроме того, в куманах Бела надеялся иметь постоянных ценных союзников в предстоящей борьбе с татарами, так как куманам были уже хорошо известны военные приемы и уловки татар.

В своих же мадьярских крестьянах Бела не видел надежных воинов главным образом потому, что угнетаемые властными землевладельцами мадьярские крестьяне, в то время бывшие бесправными закрепощенными рабами, так ненавидели своих угнетателей-хозяев, что, по мнению короля, получив оружие, они прежде всего направили бы его против своих же господ.

А между тем то, что король Бела согласился принять хана Котяна в свое подданство, было одной из причин, почему Бату-хан объявил ему войну: Бела принял себе в союзники народ, родственный татарам, и Бату-хан, через отправленных им монгольских послов, потребовал выдачи ему Котяна и всех его родичей для немедленной казни.

Тем временем хан Котян с сыновьями прибыл в столицу Буду, где был очень сердечно принят Белой. Котян предостерегал короля о неминуемой опасности: следом за куманами уже двигалась татарская орда под начальством самого Бату-хана.

Котян подтвердил снова, что все куманы отдают себя всецело под покровительство и власть короля и будут биться рядом с его войсками.

Однако внутри Мадьярского королевства куманы были приняты с недоверием и даже враждебно знатными землевладельцами, которые старались восстановить против куманов также и простой народ.

«Это племя,— говорили они,— по своим грубым нравам, по кочевым обычаям более похоже на передовой отряд наших врагов, чем на мирных жителей. Не верьте

им! Это татарские лазутчики! Они не станут нашими защитниками, а предадут нас!»

Стали возникать частые недоразумения между пришельцами, разлившимися по всей стране, и коренным населением. Передавались даже слухи, что король и его приближенные при всех недоразумениях всегда оправдывали только куманов и брали их сторону.

Эти несогласия становились губительными в тревожный роковой год, когда с каждым днем все более приближалась страшная татарская орда, когда все силы государства должны были объединиться и приготовиться к смелому отпору.

Знатные вельможи продолжали настаивать на безусловной выдаче хана Котяна татарам и на изгнании всех куманов из страны мадьяр. Они еще не подозревали, что стремительно наступавший Бату-хан так силен и так близок, что он может появиться внезапно. Они легкомысленно воображали, что воззвание папы римского ко всем верующим христианского мира с призывом объединиться для борьбы с язычниками и обещанная королю Беле помощь некоторых государей Европы, желавших, по их словам, создать сильную армию против татар, имеют такую силу, что удержат грозного хана Бату от вторжения в Венгрию. И придворные феодалы безрассудно убили приехавших к королю Беле для переговоров татарских послов, вызвав этим яростный гнев Бату-хана.

Во время созванного королем Белой совещания, на которое явился и хан Котян с сыновьями, землевладельцы и влиятельная мадьярская знать открыто говорили:

«Пусть король Бела теперь сам воюет с татарами, если он на нашу гибель призвал предателей-куманов! Пусть они ему и помогают, раз он отдал им мадьярские земли, принадлежащие только нам».

Король напрасно пытался спасти хана Котяна, своего гостя и родственника (мать Белы была кипчакской княжной). Он предложил собранию сперва расследовать, действительно ли хан Котян предатель и лазутчик Бату-хана. Котян поклялся королю, что все его воины будут биться рядом с мадьярскими и умрут, защищая свою новую родину. Но вооруженные вельможи набросились внезапно на хана Котяна с криками: «Изменник! Лазутчик татарского хана! Смерть ему!»

Несмотря на свой преклонный возраст, обладая необыкновенной силой, хан Котян отчаянно защищался скамейкой и убил нескольких, пока не упал, изрубленный мечами феодалов. Вместе с ним были убиты и его сыновья. Аристократы отрубили им головы и выбросили через окна на улицу для показа толпе. Они кричали:

— Все куманы изменники! Все будут казнены таким же образом!

Когда куманы узнали о гибели своего любимого вождя, они немедленно снялись со своих временных стоянок, навьючили шатры и ушли со всеми своими стадами в низовья Дуная, в Добруджу, к болгарскому царю Коломану, покинув Мадьярское королевство в самую трудную для него пору, когда все силы страны должны были бы соединиться для защиты от нашествия небывало грозного врага, когда каждый воин был особенно дорог.

Куманов охотно принял к себе в подданство болгарский царь, предоставив им степные земли, удобные для пастбищ, и объявил, что создаст из них особое конное войско в сорок тысяч всадников.

Пока на разных совещаниях в Буде время проходило в бесполезных спорах, Бату-хан, разбив мадьярские сторожевые отряды в Карпатах, охранявшие горные проходы, внезапно вторгся в страну через перевалы Мункача и Унгвара.

Получив эти тревожные известия, король Бела потребовал от всех феодалов, прибывших в Буду, как можно быстрее собрать и привести к нему свои отряды для создания объединенного сильного мадьярского войска.

Призвав свои войска, стоявшие в городах Альбе и Стригонии, Бела переправился через Дунай и стал укреплять боевой лагерь, сооружая вокруг него земляные валы. Он разослал по всей стране гонцов, призывая народ подняться на защиту родины. Свою семью и государственную казну он отправил на север, к границе Австрии, но там эта казна была немедленно захвачена и присвоена австрийским герцогом.

Глава восьмая

СРАЖЕНИЕ У РЕКИ САЙО

Вернувшись из Польши и Германии, правое крыло татар быстро направилось, согласно приказу, в Мадьярское королевство для соединения с главной ордой. Стремительный Бату-хан, легко опрокидывая незначительные передовые отряды мадьяр, вошел в пределы Венгрии и направился к Буде. Приблизившись к городу, Бату-хан расположился огромным лагерем и разослал часть войск для разорения окрестностей. Отдельные всадники подъезжали к самым стенам города, стараясь выманить осажденных на равнину.

Король Бела не решался делать вылазок, но архиепи-

скоп Колочский Уголан, прибывший со своим отрядом, стал упрекать короля в малодушии и сам, вопреки приказанию последнего, вышел из города с небольшим отрядом своих сербских воинов из подчиненной ему области.

Монголы стали, как всегда, притворно отступать к болотистому месту равнины и перешли его, заманивая за собой противника. Архиепископ Уголан бросился преследовать татар, но его тяжело вооруженные всадники, попав на топкое место, не могли свободно продвигаться по болоту. Тогда монголы быстро вернулись, окружили их со всех сторон и перебили издали длинными стрелами. Сам Уголан с тремя всадниками с трудом вырвался из этой ловушки. Несмотря на неудачу, он продолжал убеждать короля Белу снова перейти в наступление, набросившись всеми своими силами на татарские войска, считая их незначительными. Однако Бела не решился выйти из укрепленного лагеря.

Бату-хан продолжал грабить и опустошать страну, рассылая мелкие отряды во все стороны. Епископ Вардейнский, шедший к Пешту с собранным им войском, узнав, что один из монгольских отрядов проходит невдалеке с награбленными богатствами, напал на него. Татары притворно побежали. Погнавшись за ними и наткнувшись на засаду, где затаился второй монгольский отряд, мадьяры были разбиты, и сам епископ едва спасся, примчавшись к королю с печальным известием.

Монгольское войско, простояв два месяца перед Будой, неожиданно поднялось с треском барабанов, грохотом маленьких щитов и тягучими призывами длинных труб. Оно двинулось по тем дорогам, по которым недавно пришло, как будто возвращаясь обратно в свои родные степи.

Король Бела, выйдя со своими войсками из Буды, опрометчиво двинулся вслед за монголами. Из осторожности он остановился на западном берегу Сайо (Соленой) близ моста, заблаговременно построенного на ладьях, скрепленных канатами. Для защиты этого моста была поставлена охрана из тысячи мадьярских воинов. Однако часть татар, переправившись через реку вплавь, уже находилась на другом ее берегу, выжидая удобного случая для наступления.

Мадьяры стали немедленно создавать боевой лагерь, окружая его земляными насыпями. Через несколько дней, прошедших в полном спокойствии, монголы внезапно начали обстреливать мост из китайских катапульт, непрерывно швырявших огромные камни, летевшие на большое расстояние. Они отогнали этим мадьярских защитников и за-

тем беспрепятственно стали переправляться и по мосту и вплавь на другую сторону реки. Вскоре многочисленное татарское войско уже окружило укрепленный лагерь мадьяр, поражая стрелами его защитников.

Германские феодалы, бывшие начальниками отдельных мадьярских отрядов, увидели, что они окружены со всех сторон татарами. В лагере поднялось паническое смятение. Боевой порядок развалился.

Брат короля Белы герцог Калман, архиепископ Уголан и гроссмагистер германских рыцарей были единственными, которые решились броситься на неприятеля, но их смелое нападение было отбито татарами с большими потерями для мадьяр. Тогда ни уговоры короля Белы, ни мужественная настойчивость Уголана и Калмана не могли более заставить германских феодалов со своими отрядами выйти из лагеря для новой битвы. Они прятались за насыпями, полные растерянности и нерешимости.

Только герцог Калман решился вновь напасть на монголов и вышел из лагеря со своим отрядом. Пока мадьяры мужественно бились, некоторые вельможи со своими телохранителями покинули лагерь, надеясь спастись бегством. Монголы умышленно свободно пропустили их, не тронув. Тогда и прочие воины, заметив это и полагая, что единственным средством спасения теперь оставалось бегство, последовали за ушедшими отрядами. Король Бела, видя, что воины его разбегаются, также спешно выехал из лагеря.

Когда мадьяры оставляли лагерь, монголы сперва издали последовали за ними, не нападая, но также не давая им возможности рассеяться. В конце концов они внезапно набросились на них со всех сторон и перебили. Так бесполезно и бесславно погибла большая часть мужественных мадьярских воинов по вине враждовавших с королем и между собою вельмож и неумения короля Белы подчинить их своей воле.

Король Бела с очень немногими спутниками спасся только благодаря быстроте и выносливости своих коней.

Рано утром из монгольского лагеря выехало несколько всадников и направилось на восток. На вьючных конях были прикручены большие мешки: это, по давно установленному монгольскому обычаю, как свидетельство одержанной победы Бату-хан посылал в Каракорум свой страшный дар — тысячи правых ушей, отрезанных у погибших в боях противников.

Овладев покинутым лагерем, монголы нашли в нем королевский шатер и случайно забытую в нем королевскую золотую печать. Они пошли на хитрость. Бату-хан велел своим толмачам написать будто бы от имени короля Белы ко всем мадьярам, как владельцам поместий, так и простому народу, такого рода обращение:

«Не бойтесь ярости и жестокости этих собак-монголов или татар. Берегитесь покидать ваши жилища. Хотя мы были принуждены выйти из нашего лагеря вследствие внезапного нападения монголов, но мы надеемся, с божьей помощью, вскоре вновь взяться за оружие. Молитесь только богу, чтобы он помог разбить наших врагов.

Король Бела».

В составлении этого воззвания принимали участие несколько сдавшихся в плен германских вельмож, и они же показали монголам, как следует прикладывать печать к воззванию, переписанному в большом количестве и разосланному по округам.

Множество мадьяр, желавших убежать в леса и горы, обманутые этим письмом, перестали принимать меры для самообороны, спокойно оставаясь в своих жилищах, и таким образом все сделались жертвами свирепых монголов, не пощадивших никого.

Монголы окружили оба главных города Пешт и Буду, в которых почти не было войск, взяли их приступом, ограбили и сожгли, а жителей перебили.

Так монгольский владыка Бату-хан в 1241 году стал временным повелителем Мадьярского королевства.

Глава девятая

ПУТЬ К «ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ»

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«Священный Правитель, вероятно, ликовал, наблюдая с облаков, как на реке Сайо его смелый внук разгромил все мадьярское войско.

После этой битвы Бату-хан объявил правителем Мадьярского королевства хана Шейбани. Во все округа были разосланы татарские «кнези», они же являлись верховными судьями. Им было поручено собирать для татар лошадей, скот, подарки, оружие и одежду.

Некоторые знатные землевладельцы добровольно поступили на службу к монголам как «кнези», и это они распространяли ложное письмо короля Белы, будто бы призывающего народ не сопротивляться татарам, посылать им дары и мирно оставаться в своих домах[1].

Сперва под властью татар мадьяры жили как будто спокойно, однако назначенные из монголов «кнези» вскоре стали требовать, чтобы население присылало им красивых женщин и уплачивало дань скотом. Затем они потребовали, чтобы из всех селений явились мужчины, женщины и дети с новыми ценными подарками, а приняв эти подарки, монголы всех явившихся беспощадно перебили.

Было ли все это известно Бату-хану? Если и да, то ему это было безразлично. Он горел одним желанием: идти вперед и догнать ускользающего от него короля Белу, который обещал мадьярам вернуться и восстановить независимое королевство. Двигаться дальше было весьма трудно, так как всем ордам пришлось пробираться горными тропами, где было крайне мало корма для коней и где их неподкованные копыта разбивались о каменистую почву.

Сам Бату-хан, посылая разведчиков, упрямо стремился вперед, преодолевая крутые горные склоны, и захватил город Загреб. Всюду он получал известия, что только что здесь проехал король Бела со своей свитой. Бату-хан двинулся дальше на запад к морю. Наконец с одной вершины показалась синяя морская равнина, и все спрашивали друг друга: «Это ли «последнее море»? Спустившись к нему, монголы приблизились к небольшому городку, окруженному высокой каменной стеной. Это оказался старинный город Спалато. В его небольшой гавани не было ни одного корабля. Только несколько белых парусов медленно уходило в туманную даль.

На требование Бату-хана выдать изменника и предателя короля Белу жители города покорно раскрыли ворота и вышли навстречу татарам во главе с градоправителем и несколькими священнослужителями. Упав на колени, они клялись, что король Бела, хотя и провел у них некоторое время, но, опасаясь мести гнавшихся за ним монголов, перешел на корабль и вместе со всеми своими приближенными ранним утром отплыл в море. Их клетчатые паруса еще долго были видны в отдалении.

---

[1] Об этом свидетельствует летописец, священник Рогериус, который оказался в Венгрии под монгольской властью и оставил ценные исторические записки.

Бату-хан в ярости приказал своим воинам обыскать весь город и, не щадя жителей, отобрать у них все съестные припасы, которых оказалось довольно много на складах, так как они доставлялись туда венецианскими купцами на кораблях. После трудного голодного пути через горы азиатские воины наедались, пили вино и бесчинствовали.

Бату-хан подъехал к каменистому берегу, на который набегали и в пене обрушивались прозрачные волны. Бату-хан сдерживал коня, обнюхавшего соленую воду, но не пожелавшего ее пить. Саин-хан сказал:

— До сих пор не было ни одной реки, которую бы не переплывали наши дивные монгольские кони. Теперь кони дошли до предела, здесь моя воля уже бессильна. Великий Потрясатель Вселенной завещал моему отцу, преславному Джучи-хану, пройти все земли на закат солнца до того места, куда может ступить копыто монгольского коня. Дошел ли я до этого предела — не знаю! Идти дальше мой конь не желает. Теперь пришлось бы плыть по воде. Но недостойно для доблестного багатура менять прочное седло на вертлявую лодку. Я все же буду продолжать мой путь вдоль берега до города Тригестума[1]. Там я решу, следует ли моему победоносному войску идти дальше, чтобы трепать убегающие дрожащие толпы италийцев, франков и германов, или воткнуть в землю копье и остановить поход!»

---

[1] Тригестум — Триест.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

БАТУ-ХАН НА БЕРЕГУ АДРИАТИКИ

Глава первая

СМЯТЕНИЕ И УЖАС В ЕВРОПЕ

Если бы легкокрылый гений истории с быстротой человеческой мысли мог пролететь в 1241 году над «вечерними странами», то он увидел бы величайшее смятение и ужас, охватившие народы Европы и их правителей при известии о появлении на восточной границе страшных загадочных татар, завернутых в звериные шкуры, о их невероятных стремительных переходах через Польшу, Германию, Богемию, Венгрию и о разгроме прославленных германских рыцарей и других войск в битвах при Лигнице, Люблине, Сандомире, Кракове, Бреславле и в других местах и, наконец, о полном разгроме мадьярского войска в битвах при Сайо, Буде и Пеште.

Дальнейшее вторжение татар в Италию и Францию казалось неминуемым. Что могло бы удержать грозных завоевателей? Император германской империи Фридрих II Гогенштауфен писал красноречивые воззвания ко всем королям, герцогам и баронам, призывая их объединиться в одну сплоченную сильную армию и оказать мужественное сопротивление азиатским дикарям Бату-хана, но сам он был невидим и недоступен, укрывшись в своем загородном дворце на острове Сицилия.

«Время,— писал император,— пробудиться от сна, открыть глаза телесные и духовные. Уже татарская секира лежит у подножия дерева, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью всему христианскому миру. Уже давно мы слышим о татарской угрозе, но считали опасность отдаленной, когда между нами находилось столько храбрых народов и королей. Но теперь, когда одни из этих монархов погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом и защитой христианства против свирепого неприятеля».

Римский папа, бежавший из Рима во Францию и укрывшийся в Лионе, писал оттуда также пространные послания, призывая верующих на «священную войну» то против болгар, то против русских схизматиков, обещая каждому, взявшемуся за оружие и объявившему себя крестоносцем, прощение грехов и самых страшных преступлений и прошлых, и настоящих, и будущих. В то же время папа проклинал императора Фридриха II, обвиняя его в предательстве, в том, что это он, как слуга дьявола, призвал татар к набегу на Европу.

А в народе говорили: почему же святейший отец сам не приедет к границам Мадьярского королевства и не воодушевит собирающиеся там христианские войска?

Слухи, один другого ужаснее, распространялись в народе: говорили, что бесчисленное татарское войско занимает пространство на двадцать дней пути в длину и пятнадцать в ширину. Будто бы огромные табуны диких лошадей следуют за ними. Сами татары вышли прямо из ада[1] и потому наружностью не похожи на других людей.

Лично видевший вторжение монголов на Балканский полуостров ученый архидиакон монах Фома из Сплита записал в своей «Хронике»:

«Эти люди малого роста, но груди у них широкие. Внешность их ужасная: лицо без бороды и плоское, нос тупой, а маленькие глазки отстоят далеко друг от друга.

Одежда их непроницаема для холода и влаги, сшита из сложенных двух кож, шерстью наружу, так что похожа на чешую. Шлемы у них из железа или кожи. Оружие их — кривой меч, колчан и лук. Их стрелы с острыми наконечниками из железа и кости. Татарские стрелы на четыре пальца длиннее наших. На черных знаменах своих они имеют длинные пучки из конских волос.

Татарские кони, на которых они ездят часто также и без седла, малы ростом, но крепки, привыкли к усиленным переходам и голоду. Кони, хотя и не подкованы, легко взбираются на горы и скачут по ним, как дикие козы, и после трехдневной усиленной скачки они довольствуются коротким отдыхом и малым фуражом.

И люди эти особенно не заботятся о своем продовольствии, как будто живут от самой суровости воспитания: они не едят хлеба, пища их — мясо, а питье — кобылье молоко и кровь.

С собой татары ведут много пленных, в особенности

---

[1] Название «татар» сближали с греческим словом «тартар» (ад), а потому считали татар выходцами из ада.

много вооруженных куманов, которых они гонят впереди себя и убивают, если увидят, что те не бросаются слепо в бой. Сами татары неохотно идут в бой первыми.

Почти нет реки, которую бы они не переплыли на своих конях. Через большие реки им приходится все-таки переплывать на меховых бурдюках, надутых воздухом, или на камышовых плотах.

Походные шатры их сделаны из ткани или из кожи. Хотя татар огромные полчища, но нет в их таборах ни ропота, ни раздоров,— они стойко переносят лишения и страдания и упорно борются».

В Европе все верующие ожидали, что объявленный «священный крестовый поход» против татар возглавит крайне богомольный король французский Людовик IX, еще при жизни объявленный «святым». О том, как он переживал известия о вторжении в Европу татарского хана Бату, записал в своей «Хронике» монах Матье Пари, королевский придворный духовник:

«Когда сей ужасный поток гнева божьего разразился над нами, то благочестивая Бланш, мать короля Франции, вскричала, услышав эти новости:

— Король Людовик, сын мой, где вы?

Он, подойдя, спросил:

— Мать моя, что вам угодно?

Тогда королева, испуская глубокие вздохи и разражаясь потоками слез, сказала ему в рассуждении сей опасности как женщина, но с решительностью незаурядной дамы:

— Что же делать, сын мой, при сем ужасном обстоятельстве, невыносимый шум от которого доносится до нас? Мы все, как и святая блаженная церковь, осуждены на общую гибель от татар!

На эти слова король отвечал печально, но не без божественного вдохновения:

— Небесное утешение поддерживает нас! Ибо если эти татары, как они себя именуют, дойдут до нас или мы пойдем за ними в те места, где они живут, то мы все равно попадем в рай на небесах!

Таким образом, он сказал: «Побьем ли мы татар, или сами будем побиты ими, мы все равно пойдем к богу либо как верующие, либо как мученики».

Среди растерявшихся, перепуганных монархов Европы одним из тех, кого не покидали упорство и вера в лучшие дни, был мадьярский король Бела IV. Гонимый татарами, он сперва укрывался в городе Загребе, затем пребывал в маленькой приморской крепости Трогир, затем покинул

ее и выжидал некоторое время со своей семьей и свитой на венецианских торговых кораблях, прячась среди мелких прибрежных островов. Он узнавал от приплывавших к нему рыбаков, что происходит на Адриатическом побережье. Король Бела рассылал воззвания к мадьярскому народу, уговаривая своих подданных не терять мужества и надежды на скорое освобождение страны от ворвавшихся хищников. Русские князья Михаил Черниговский и Даниил Галицкий тоже надеялись на скорое возвращение в свои города и верили в возрождение разграбленной татарами родины.

Король Бела отправлял своих послов с просьбой о помощи и к римскому папе, и к германскому императору Фридриху II, и к французскому королю Людовику IX, но ответ он получил только от папы римского, который ограничился обещанием своего «благословения» всем, кто поднимет оружие против татар.

Глава вторая

ПОСЛЕДНЕЕ ЛИ ЭТО МОРЕ?

Как разбушевавшийся ураган мчится через горы и долины, все опрокидывая и сметая на своем пути, так монгольская орда проносилась через Мадьярское королевство, неуклонно направляясь к западу. Крепко, по привычке, держась тысячами, сотнями и десятками, свирепые всадники в долгополых шубах во всякую погоду, на низкорослых взлохмаченных конях, проникали во все города и селения, гонялись за убегавшими в леса и болота испуганными жителями, карабкались на горные хребты, куда мадьяры и славяне угоняли стада мычащего голодного скота и жалобно блеявших овец. Добычи было так много, что монголы уже не знали, что с ней делать.

Устраивались частые пиршества, где поглощались незнакомые раньше вина, найденные в подвалах мадьярских баронов в покрытых плесенью кувшинах и крепких замшелых бочках. Во время пиршеств монголы пели дикие песни, вспоминали бескрайние золотистые просторы Гоби, голубые реки и дремлющие в облаках снежные вершины родных горных хребтов Саяна и Хингана, убежище медведей, барсов, оленей и диких коз.

Опьяневшие монголы, засыпая, твердили, что когда-нибудь все же им удастся дойти до «последнего моря». Тогда Бату-хан въедет на скалу, нависшую над бурными волнами, и совершит возлияние айрана из старой можжеве-

ловой миски своего деда в честь небесных духов, покровителей монгольских племен, непобедимых, бесстрашных багатуров, подчинивших своему острому копью всю вселенную. И тогда...— Монголы не могли еще предвидеть, что будет тогда и как они станут управлять завоеванной вселенной...— Тогда кто захочет, останется с трусливыми жителями «вечерних стран», чтобы бить их плетьми по склонившимся затылкам, приучая к покорности монгольскому бунчуку. Кто же соскучится, тот сможет вернуться в родные далекие степи.

Монголы пели пронзительными, тягучими, как завывание волков, голосами:

Сколько лет я уже в походе!
Я сам, бесстрашный удалец, уже состарился
И оброс клочками седых волос.
Прежде я был беспечным весельчаком,
Мог пить айран всю ночь, не пьянея,
Теперь же я состарился до того,
Что после тринадцатой чаши мадьярского вина,
Когда я натягиваю мой черный могучий лук,
Сделанный из рогов хинганского козла,
Я уже не различу острия не знавшей промаха
Моей длинной камышовой стрелы.
О седая старость! Зачем ты проглотила мою золотую юность!

И вдруг, как вспышка зарницы, пронеслась по всем монгольским стоянкам весть, что, пока монголы воевали, они уже приблизились к заветному «последнему морю», что оно близко, бурное и глубокое, то бирюзовое в тихую погоду, то черное и пенистое в грозу, и все обрадовались, что конец похода, кажется, уже близок...

Но другие вести примчались и опрокинули радостные надежды монголов. Переводчики, расспросившие пленных, объясняли:

— Впереди бирюзовое море очень близко, но это совсем не то «последнее море», в котором каждый вечер плавится и тает золотое солнце. Это узкое море, вернее залив, а за ним лежит цветущая Италийская земля, где находится богатейшая столица столиц всех «вечерних стран» — знаменитый город Рум.

— Но как же нам попасть в эту заманчивую богатую столицу Рум? — рассуждали монголы.— Захватить ее мы сумеем, во всем мире нет такого сильного войска, которое бы опрокинуло могучий натиск монголов. Но как переплыть это бирюзовое море? Наши кони привыкли идти только через реки или плывут проверенными бродами с помощью кожаных бурдюков. А здесь, по-видимому, придется переплывать на небольших кораблях? Но у нас столько

захваченной добычи, что если мы погрузим ее и, кроме того, коней и воинов на корабли, то они пойдут ко дну, и мы окажемся в подземном царстве коварного бога Эрлика, владыки злых мангусов. Не проще ли объехать это море берегом?

— Все-таки добычу нашу придется оставить временно на этом берегу,— возражали другие монголы.

— Разве можно оставить? С гор спустятся дерзкие славяне и растащат нашу добычу, которую мы завоевали с таким трудом.

Все-таки монголы радовались, что какое-то море близко и произойдет перемена в их походе: может быть, за ним появятся снова степи и привольные луга.

Вскоре передовые отдельные потоки монгольских конных отрядов достигли Адриатического моря, растянулись по берегу и остановились перед приморскими городами. Города были окружены высокими каменными стенами, за которыми затаились перепуганные жители.

Перед кочевниками плескались прозрачные волны и выкатывались на берег, омывая разноцветную гальку и мелкие раковины. Мохнатые длинногривые кони входили в воду, подозрительно обнюхивали набегавшие волны, били нетерпеливо копытами, фыркали, но отказывались пить морскую соленую воду.

Конь для монгола и верный друг, и покорный слуга, и мудрый учитель. И монголы сказали:

— Нет! Мне и моему коню моря не нужно! Наши горные пенистые ручьи и степные голубые реки куда лучше. Их сладкую воду охотно пьют наши кони. А что здесь мы будем делать? Наш грозный владыка Саин-хан сам видит, что достаточного корма нашим коням здесь нет,— они уже объели все горные кустарники и от голода, точно верблюды, грызут бурьян и древесную кору. Конечно, Саин-хан и мудрый Субудай-багатур лучше все знают, и скоро мы услышим новый приказ, который решит: пойдем ли мы дальше, или остановимся здесь?

Глава третья

НЕОТВРАТИМОЕ

Подъезжая к площадке, выбранной для военного совета, Бату-хан говорил арабскому послу:

— Бог войны только один — наш величайший бог Сульдэ. Он невидим, и никаких истуканов ему ставить не надо.

Если бы я остановил здесь мой поход на «вечерние страны», то на этом холме нужно было бы высечь из камня не бога, а белоснежного коня, того коня, благодаря которому монгольское войско только и могло совершить такие великие походы. Это будет храм монгольскому коню, и я заставлю все народы ползать перед ним на брюхе и целовать его копыта.

Около площадки поднималась одинокая старая сосна с обломленной и обугленной верхушкой — след молнии, которую метнул с неба бог войны. Тут же несколько небольших деревьев были обрублены на высоте роста человека, и их концы заострены, как тонкие лезвия копий. Все проезжавшие мимо монголы косились на эти острия, соображая, что их владыка Бату-хан, видно, на кого-то прогневался и здесь готовится виновным жестокая казнь.

Слуги разостлали походные ковры. Должны были приехать все чингизиды, находившиеся в войске, и главные начальники отдельных отрядов.

Бату-хан, подобрав под себя ноги, уселся на своем походном троне — стопке девяти войлочных чепраков.

Справа от него поместился его брат хан Орду, огромный и грузный, обычно ездивший на двух сменных конях, так как ни один конь долго не выдерживал дородного хозяина. Рядом с ним сидел двоюродный брат хан Менгу, всегда живой и веселый, наиболее из всех чингизидов близкий и преданный Бату-хану. Далее обыкновенно размещалась свита Гуюк-хана, сына великого кагана всех татар, но сейчас там никого из них не было.

Слева от Бату-хана расположились на ковре молчаливый и угрюмый великий аталык Субудай-багатур и другие знаменитые полководцы: Курмиши, Бурундай, Кадан, вернувшиеся из походов в Германию, Польшу и Чехию. Загорелые, обветренные, суровые, непроницаемые, верные соратники монгольского повелителя. Арабский посол Абд ар-Рахман поместился на краю узорчатого ковра, напротив Бату-хана; рядом с ним сидел летописец Хаджи Рахим, а позади них — переводчик Дуда Праведный.

Все молчали. Изредка только слышался шепот. Ожидали решения Бату-хана и обсуждения плана вторжения в Италию через богатые приморские города Тригестум и Венецию, чтобы оттуда идти дальше.

— Гонец издалека! — сказал кто-то.

Два всадника быстро приближались вскачь и остановили коней у подножия холма. Звеня оружием, на холм поднял-

ся начальник охранной сотни Арслан-мэргэн, заменивший погибшего в бою под Краковом Мусука. Вытирая лицо желтым шелковым платком, он выпрямился, остановился на краю ковра и оглянулся. За ним медленно шагал, весь покрытый белой пылью, коренастый монгол. Его свисавшие по углам рта редкие усы казались от пыли седыми.

— Встань здесь рядом! — приказал Арслан-мэргэн.

Монгол вытащил из-за пазухи кожаную трубку и, держа ее бережно на вытянутых руках, произнес твердо и четко заученные им заранее слова:

— «Послание владыке улуса Джучиева, повелителю Синей Орды и «вечерних стран», Бату-хану от Туракины, великой правительницы земель монгольских...»

Бату-хан встал, и сидевшие встали. Кто-то встревоженно прошептал:

— Неотвратимое совершилось!

Бату-хан сказал особенно торжественным голосом:

— Подойди ко мне!

Монгольский гонец приблизился мелкими шажками, опустился на колени и, расставив руки, поцеловал ковер. Затем, оставаясь на коленях, он распустил ремень, обвязанный вокруг кожаной трубки, и вытащил из нее свернутый пергамент. К нему на красном шнурке была прикреплена сделанная из синего воска круглая печать великого кагана. Бату-хан двумя руками принял пергамент, приложил его ко лбу, губам и груди, затем развернул свиток. Он молча прочел послание. Прикрыл рукавом глаза и оставался некоторое время неподвижным. Очнувшись и держа перед собой пергамент, он передал его хранителю печати Ак-Хасану.

— Прочти, что пишет хранительница великого престола, моя высокочтимая тетка Туракина.

Ак-Хасан бережно взял свиток двумя руками, приложил его ко лбу и затем громко, нараспев прочел:

— «Священный Правитель, заботливо наблюдавший с небес за жизнью любимого им монгольского народа, призвал к себе в несметные полки заоблачного войска сына своего, моего возлюбленного мужа, сверкающего доблестью Угедей-кагана. Слушайте все, у кого в жилах течет горячая благородная кровь Священного Правителя: приезжайте немедленно в Каракорум, на курултай[1], для избрания преемника великого кагана, нового властителя безграничного царства монгольского».

---

[1] Курултай — собрание, в данном случае — съезд членов рода Чингиз-хана и высшей монгольской знати.

Некоторые полководцы, подняв руки, завыли, но, видя, что Бату-хан остается холодным и непроницаемым, замолкли.

По-прежнему невозмутимый, с глазами, устремленными вдаль, Бату-хан сказал:

— Сегодня, и завтра, и все девять дней мы будем совершать жалостливые обряды в память великого кагана, оплакивая того, кто ушел от нас в светлое царство заоблачных теней. Но пусть никто без моего приказания не осмелится уехать отсюда в Каракорум. Начатая мною война требует своего завершения и полного разгрома «вечерних стран». А великий курултай произойдет в назначенное мною время.

Бату-хан сел, и все молча и бесшумно опустились на землю. Гонец, пятясь на коленях, сполз с ковра, поднялся на ноги и остановился позади Арслан-мэргэна. Бату-хан провожал его пристальным взглядом.

— Разреши доложить,— сказал Арслан-мэргэн.

— Говори.

— Гуюк-хан и с ним вся его свита и его охранный отряд сегодня на заре внезапно покинули наш лагерь. Гуюк-хан настолько торопился, что оставил половину своих коней, скота и вьюков. Его воины сказали, что Гуюк-хан уже объявил им о своем спешном возвращении в Каракорум. Я все же успел догнать Гуюк-хана. Он стегал плетью коня и крикнул мне: «Пускай Саин-хан занимается поисками «последнего моря», мне же предстоит другая, более высокая и важная задача: поднять высоко и грозно над всеми народами вселенной девятихвостое знамя Священного Правителя».

Все ждали, что скажет Бату-хан. Он указал рукой на заостренные колья:

— Вот то высокое место, которое заслужил Гуюк-хан! Воин в походе, покидающий без разрешения вождя свое войско, становится предателем своего народа. Как же Гуюк-хан будет исполнять «более высокую и важную задачу», как он говорит, если первый показывает пример неповиновения? Гуюк-хан сам приблизил свой последний день. Бог войны Сульдэ его осудит.

— Позволь сказать слово! — прервал наступившее молчание посол арабского халифа Абд ар-Рахман.— Твой ясный ум правильно отметил: «Наша великая война требует своего завершения». Пока ты сам не повернешь колеса судьбы в новом направлении, после того как раздавишь гордыню и злобу враждующих между собой королей «вечерних стран», война окончиться не может. А тем време-

нем хранительница престола великого кагана Туракина сможет управлять делами царства сама, с помощью своих мудрых и опытных советников. Только когда копыта твоего серебристо-белого коня омоются волнами «последнего моря», окружающего нашу землю, ты повернешь обратно свое непобедимое войско, и тогда все народы вселенной признают в тебе единого, величайшего владыку, кагана, но только в тебе, а не в убежавшем Гуюк-хане.

— Да живет много лет наш любимый, великий Саин-хан! — воскликнул хан Менгу.

— Да здравствует наш грозный, непобедимый Саин-хан, покоритель народов мира! — повторили все хором.

Глава четвертая

УПРЯМЫЕ ГОРЦЫ

Ленивые волны набегали на каменистый берег и откатывались назад, унося с собой гальку и мелкие розовые двухстворчатые раковины. Татарская сотня на невысоких, длинногривых конях рассыпалась по берегу. Кони тянулись к воде, но, попробовав, фыркали и отворачивали морды. Послышались крики приказов. Две полусотни отъехали в разные стороны. Впереди каждой покачивался ханский черный треугольный флажок на конце гибкого бамбукового копья.

Из-за холма показалась новая группа всадников. Знаменосец на пегом коне держал бунчук самого Бату-хана, пятиугольный, из желтого шелка, с изображением белого кречета, державшего в когтях черного ворона. Девять густых хвостов, прикрепленных к знамени, качались при налетавших порывах свежего ветра.

Сразу привлекал внимание ослепительной красоты молочно-белый жеребец с живыми черными глазами, исхудавший от долгого пути, но сохранивший легкость движений и беспокойную пляску тонких стройных ног. Ехавший на нем Бату-хан остановился у самой воды на сыром берегу, усыпанном мелкими раковинами. Натянув поводья, он некоторое время пристально всматривался в жемчужную даль.

— Что это за корабли? — спросил он, указывая рукой.

К нему подскакал на рыжем нарядном мадьярском коне Абд ар-Рахман. Блистая стальными латами и посеребренным шлемом, молодой посол, загорелый до черноты, прищурил глаза, заслоняя их от солнца рукой.

— Я думаю...

— Теперь не время думать,— сухо прервал Бату-хан.— Теперь уже надо все точно знать.

С другой стороны приближался на ширококостом саврасом коне Субудай-багатур. Натягивая поводья искалеченной рукой, старый полководец другой рукой потрепал по шее своего коня и сказал:

— Видишь, Саин-хан, мой конь не хочет пить эту морскую воду. Но ведь это еще далеко не «последнее море». Это только залив, где надеется от нас укрыться на кораблях убежавший от тебя мадьярский король Бела вместе с остатками его разбитого войска. Не старайся, предатель Бела! Тебе от нашего копья не скрыться!

— А кто тебе сказал, что на одном из этих кораблей король Бела?

— Захваченные пленные: они клянутся, что Бела и его свита на этих кораблях ждут попутного ветра.

— Я хочу сам говорить с пленными.

— Сейчас, мой повелитель, они будут здесь.

Субудай повернул коня и хлестнул плетью. Саврасый засеменил обратно ровной иноходью.

Свита Бату-хана расположилась на склоне холма, перекидываясь шутками, и всматривалась вдаль. На бирюзовой поверхности моря, как стая белых лебедей, рассыпались бесчисленные корабли с повисшими от безветрия парусами. Солнце переливалось яркими блестками на едва колеблющейся морской глади.

В этой свите находились: болезненный сын Бату-хана Сартак, братья Орду и Берке, летописец Хаджи Рахим и несколько темников. Слуги с запасными конями и навьюченными мулами растянулись вдоль дороги. Прибывали новые группы татарских всадников. Все жадно стремились к заветному бирюзовому морю, на берегах которого ожидалась какая-то новая перемена, более счастливая пора в наступлении на «вечерние страны» и дележ новых захваченных богатств.

Послышались крики монголов и вопли пленных. Несколько татарских всадников гнали десятка два пленных. Они были избиты и ободраны до крайности. Пленные были в овчинных безрукавках, расшитых цветными узорами, и широких шароварах, перехваченных у лодыжек ремнями. Длинные до плеч темные кудри растрепались во время борьбы. Руки, связанные за спиной, разодранные, когда-то белые рубахи, на ногах кожаные пошевни — все носило следы отчаянной борьбы, и кровь продолжала сочиться из свежих ран.

Некоторые шли, спотыкаясь, видимо, покорившись не-

минуемой гибели, другие продолжали упираться, и монголы, ругаясь, беспощадно хлестали их плетьми.

Позади ехал Субудай и торопил воинов. А за великим полководцем следовал на мышиного цвета старом осле Дуда Праведный. Он усердно колотил пятками бока осла, стараясь ускорить его ленивый ход.

На берегу монголы выстроили пленных; половина из них сейчас же уселась на землю, угрюмо, как затравленные звери, озираясь по сторонам.

Бату-хан заметил прибывших пленных и направился к ним. Один из монголов стал снова хлестать сидевших:

— Ты не видишь, упрямая шкура, кто перед тобой на белом жеребце? Это повелитель мира!

Сидевшие извивались, стараясь уклониться от ударов. Бату-хан остановил воина, подняв руку:

— Довольно.

— Кто вы, непокорные, осмелившиеся воевать с покорителем вселенной? — прохрипел Субудай-багатур.

Тогда подъехавший рыжий Дуда доказал, что он действительно знает двадцать два языка различных народов вселенной. Он заговорил на непонятном наречии. Пленные сразу оживились. Сидевшие стали выкрикивать слова, похожие на проклятья.

— Амен! — прервал их Дуда и обратился к Субудай-багатуру.— Эти люди из горного славянского племени. Они живут на вершинах гор в селениях, похожих на крепости, и, гордые, никогда живыми не сдаются в плен, а бьются до последнего издыхания.

— Как же вы захватили этих упрямцев? — спросил Бату-хан.

Один из сопровождавших ответил:

— Нам было приказано привести пленных. Мы на них набросили арканы и поволокли по камням, а потом связали.

— Спроси их, почему они сопротивляются, если их мало, а мое войско бесчисленно, как небесные тучи?

Дуда, соскочив с осла, снова заговорил с пленными.

Сперва пленные кричали все сразу, потом Дуда убедил их, чтобы отвечал кто-нибудь один. И статный юноша с израненным опухшим лицом, слизывая кровь с разодранной губы, стал горячо что-то доказывать.

— Чего он хочет? — спросил Бату-хан.

— Это пастух из селения, что лежит вон там, высоко, на горном перевале. Там еще продолжаются бои и видны клубы дыма от горящих хижин. Он говорит, что живут они, распахивая клочки земли между скалами. Что они никому жить не мешают. Что они поселились далеко от большой дороги. Что,

кроме них, никто не умеет сеять ячмень и пшеницу на такой высоте над обрывами. Что у них нет другой родины и счастья, кроме этих горных скал и их бедных хижин.

— Скажи им, что я хвалю храбрых тружеников и позволю им жить свободно, если они покорятся и поцелуют копыто монгольского коня.

Дуда объяснил пленным слова монгольского владыки, выслушал их ответ, погладил задумчиво свою рыжую бороду и сказал:

— Они согласны поцеловать копыта твоего коня и будут верно служить тебе, но просят вернуть их детей. Твои воины захватили их и увезли в свой лагерь.

— Это хорошо! — сказал Бату-хан.— Из этих детей у нас вырастут опытные смелые воины. Субудай-багатур, покажи мне чертеж земли. Я хочу понять, далеко ли город Тригестум?

— Сейчас покажу, великий! — сказал одноглазый полководец и, вложив пальцы левой руки в рот, свистнул так пронзительно, что, казалось, эхо отозвалось в горах. Это ответил издали его слуга, узнав свист хозяина. Вскоре пробиваясь через ряды всадников, примчался старый монгол на свирепого вида игреневом коне, держа в поводу еще другого коня с вьючными сумами.

Он достал кожаный кошель и подал его Субудай-багатуру. Тот вынул пергамент, на котором был нарисован грубый чертеж Мадьярского королевства и Адриатического побережья.

Пленных развязали; они еще с трудом двигали руками, затекшими после туго завязанных ремней. С кряхтением нагибаясь, они поочередно целовали копыта равнодушно стоявшего коня.

Бату-хан указал плетью вдаль:

— Как зовется селенье и крепость там, в тумане, на берегу?

Один из пленных стал объяснять:

— Это город Спалато. В нем находится дворец римского императора.

— Я хочу его увидеть. Будут ли еще города?

— Разве мелкие гавани и крепости. Затем будет один богатый город с гаванью, полной венецейских кораблей, Тригестум. Там в крепости живет важный начальник, и у него много воинов.

— А что будет еще дальше?

— Будет устье реки Падус, где лежит богатейший торговый город Венеция. И все эти корабли на море венецейских купцов.

— А во сколько дней из Венеции можно проехать дальше до столицы «вечерних стран» Рума?

— Простым людям теперь туда не доехать: всюду заставы. Там ожидают твоего нападения. Но ты же разрешения ни у кого не спросишь и проедешь в Рум во столько дней, во сколько пожелаешь.

— Много ли войска там собралось?

— Какое там войско! Никто не хочет воевать. Все убегают. Даже, говорят, сам император убежал из Рума на остров Сицилию.

— Не для чего срезать яблоко. Оно уже созрело и само упадет в твою ладонь! — воскликнул ненавидевший всех франков Абд ар-Рахман.

— Что прикажешь сделать с этими пленными горцами? — спросил Субудай.

Бату-хан не ответил, и вдруг, против ожидания, провел пальцем черту сверху вниз,— этого жеста боялись все: им он осуждал на смерть.

Площадка, где происходил совет Бату-хана, опустела. Заостренные колья остались устрашением для других неудачников. Слуги убирали ковры, разложенные для совещания ханов.

Невдалеке, на склоне горы, среди кустов репейника, лежали упрямые пленные. Они лежали раскинувшись, как будто крепко спали. Но вместо лиц у них были черные окровавленные месива костей и сгустков крови. Когда горцы поняли, что будут убиты, они отчаянно стали бороться, сами набрасываясь на монголов, пока не пали в неравном бою.

Всем им поочередно раздробил головы суковатой тяжелой дубиной могучий монгол, придворный палач. Он и сейчас еще расхаживал близ убитых пленных и волочил за собой свое грозное оружие. Он ожидал, пока писарь арабского посла, рыжебородый Дуда, кончит затянувшийся разговор с последним из пленных, нищим монахом в оборванной старой рясе. Монах все время то кланялся, стараясь коснуться пальцами земли, то поднимал высоко над головой тонкий деревянный крест и быстро шептал молитвы, а ветер трепал его взъерошенную бороду.

Монгол свирепо хрипел.

— Мне приказал сам Бату-хан прикончить всех без исключения дерзких пленных. Разве можно ослушаться приказания Саин-хана?

Дуда, сняв с шеи медную овальную дощечку пайцзу, потряс ею перед лицом монгола.

— Всякое последующее приказание отменяет предыдущее! — твердил он.— Сейчас сюда подъедет великий аталык Субудай-багатур, и он мне отдаст живьем этого пленного шамана. Он мне нужен для важного дела. Отойди!

— Пусть мне прикажет, что хочет, наш одноглазый Субудай-багатур, а я все-таки его не послушаюсь, когда мне что-либо повелел сам Бату-хан,— жить ему и царствовать тысячу и один год!

— Сейчас посмотрим! — сказал Дуда, стараясь оттолкнуть монгола. Тот мрачно покосился и, подняв волочившуюся дубину, поставил ее перед собой.

Субудай-багатур быстро приближался на саврасом коне, густой хвост которого спускался до земли.

Дуда бросился к Субудаю, крича:

— Великий, несравненный, остановись! Важное дело скажу я.

Субудай натянул поводья. Конь, фыркая, остановился.

— Говори быстро и коротко!

— Отдай этого человека мне!

— Для чего?

— Он знает важное. Он обошел все земли «вечерних стран», видел всех королей и их войска. Он мне все расскажет, а я...

— Врет! — отрезал Субудай, тронув коня.

— Я проверил. Он не врет!

— Тогда не трогать его! — обратился Субудай к монголу, затем повернулся к Дуде: — А ты мне все напишешь, что он расскажет. Все! Быстро! Сегодня вечером! Отдай ему этого шамана! — свирепо прохрипел он палачу и хлестнул своего жеребца плетью. Тот прыгнул вперед, а палач в испуге, закрывая голову руками, отбежал в сторону, и за ним волочилась, дребезжа, его суковатая дубина.

Глава пятая

КРОВАВАЯ РУКА

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«Произошло это таким образом. В месяце сафаре (марте) этого года один монгольский конный отряд появился перед небольшим городком, каких много на берегу Адриатического моря. Городские ворота были закрыты. Жители попрятались. Город казался вымершим.

В этом отряде находился сам Бату-хан вместе со своими ближайшими темниками. Погода предвещала бурю, и Саин-

хан сказал, что хочет провести сутки в этом городке и там отдохнуть.

Слова джихангира — это воля аллаха! Нукеры стали колотить камнями в старинные городские ворота. Какие-то испуганные люди показались на стене и тотчас скрылись.

Бату-хан приказал пустить зажигательные стрелы. Несколько больших дымящихся стрел полетели в город, где в одном месте повалил густой дым. На стене снова показались люди, по-видимому, знатные горожане и монахи, которые размахивали крестами и что-то кричали.

После того как вновь пущенные стрелы вызвали еще один пожар, крики и вопли усилились, и ворота раскрылись. Оттуда вышла процессия в цветных богатых одеждах. Впереди два старика несли серебряное блюдо с угощением и бархатную подушку, на которой лежали большие ключи от города.

Саин-хан спросил:

— Кто правитель города?

— Вот он! — сказали все, указывая на старика в длинной синей одежде, расшитой золотыми цветами.

Правитель города обменялся взглядом со своими спутниками, и все опустились на колени и склонились до земли, а он положил подушку с ключами у ног Бату-хана.

— Как называется ваш город?

— Салоно! Спалато! Сплит! — ответили хором правитель и его спутники, продолжая стоять на коленях.

— Слишком много названий для такого маленького города! — мрачно заметил Субудай-багатур.

— А это что за развалины? — спросил Саин-хан, указывая плетью на огромные каменные стены и полуразрушенные арки на соседнем холме.

— Это развалины дворца Диоклетиана[1].

— А кто такой был этот Диоклетиан?

— О! — сказал правитель города.— Это был самый могучий римский император. Он владел всей вселенной.

— Никогда не слыхал я о таком повелителе, который владел всей вселенной. Только Священный Правитель владел ею, а до него еще был покорителем вселенной Искендер Великий, Двурогий. А вашего владыку вы сами придумали.

— Нет! Не сердись на нас, мы сказали истинную правду.

— Когда он жил?

— Это было очень давно. Тысячу лет назад. Тогда

[1] Диоклетиан — римский император; правил с 284 по 305 г. н. э.; умер в 313 г.

император Диоклетиан приказал построить себе дворец, вывезя из Египта, которым он владел, искусных мастеров.

— Зачем же он выбрал для дворца такое плохое место?

— Потому что он был родом отсюда, славянин из Диоклеи, и здесь же хотел закончить свою жизнь. Он разделил свою власть между тремя выбранными соправителями, а сам поселился здесь, в великолепном дворце, отказавшись от управления империей и занимаясь только выращиванием капусты и других овощей в своем дворцовом саду. Только этими овощами он и питался.

— Почему же этот великолепный дворец в развалинах? Почему вы плохо смотрите за ним?

— Мы уже от дедов наших получили вместо удивительного дворца одни его развалины.

— Ничего другого вы и не заслуживаете.

Саин-хан пожелал осмотреть развалины. С несколькими спутниками он направился к ним, приказав мне, правителю города и второму вельможе тоже сопровождать его.

Развалины в значительной степени еще сохраняли общий вид дворца. Здание построено из громадных каменных плит. Каких трудов стоило рабочим доставить сюда эти глыбы! Здание скорее походило на крепость: квадратное, с высокими стенами, несколькими залами, с куполообразными потолками. Часть потолков рухнула, иные сохранились.

В одном зале мы нашли нечто вроде большого трона. Рядом находилось каменное изображение сказочного чудовища — спокойно лежащего льва с головой человека. Эта статуя, как нам сказали, была тоже привезена из Египта; называется она «сфинкс», считается божеством, и там, в Египте, все ему поклоняются.

Мы сошли с коней. Слуги разостлали ковер на возвышении, бывшем троне римского императора. Два костра запылали по обе стороны трона, на котором уселся Бату-хан.

Правитель города стал перед Бату-ханом на колени, держа блюдо с разнообразной едой. Сквозь отверстие рухнувшей крыши видны были несущиеся серые облака, предвещавшие бурю.

— Все это ты будешь есть сам! — сказал Бату-хан правителю города, указывая на блюдо,— и если после этого ты останешься жив, то я тебя помилую. Но если ты умрешь или заболеешь, то весь твой город будет сожжен.

Правитель города со своим спутником, дрожа от ужаса, отошли в сторону, сели на обломок колонны и стали торопливо есть принесенное угощение, запивая вином. Возле них стояли нукеры и наблюдали за ними, иногда подкалывая копьями.

Саин-хан сперва тоже наблюдал, потом приказал привести своего коня. Серебристо-белый Сэтэр был приведен двумя нукерами и остановился перед троном, позвякивая серебряной сбруей. В его черных блестящих глазах отражались огоньки костров.

Бату-хан достал из кожаного мешочка, заткнутого за пояс, кусок желтого сахару и дал коню. Затем, выхватив небольшой нож, сделал надрез на шелковистой белой шее коня, припал губами к ране и стал высасывать кровь. Конь забился, пытаясь вырваться и подняться на дыбы, но два нукера повисли на нем, вцепившись в уздечку и обхватив руками его голову.

Бату-хан напился конской крови: она вымазала ему лицо и стекала по белоснежной шее коня.

— Вот единственный напиток, пить который можно не опасаясь! Жив ли еще правитель города?

— Жив! Жив! — воскликнуло несколько голосов.

— Подождем до ночи. Если он не умрет, то его можно помиловать. А город я все же разрешаю моим воинам разграбить.

Бату-хан прижал ладонью сделанный им разрез на шее коня и свою окровавленную руку приложил к отшлифованной светлой стене позади трона. На стене отпечаталась рука Бату-хана с пятью расставленными пальцами.

— Это останется памятью обо мне и о моем посещении дворца когда-то великого владыки «вечерних стран». Но, вернувшись на берег Итиля, я не стану строить для себя дворец и не стану близ него сажать бесполезные овощи. Повелителю народов предначертаны более великие дела. И я предпочитаю умереть воином в седле во время похода».

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

НАЧАЛО РАЗЛАДА

Глава первая

БАТУ-ХАН ПЕРЕД ТРИЕСТОМ

Конный отряд монголов быстро продвигался к северу вдоль каменистого берега лазурного Адриатического моря. Всадники растягивались цепочками по узким тропинкам, поднимаясь на отроги скалистых гор, выпирающих в море, как огромные лапы задремавшего чудовища. Воины в долгополых меховых одеяниях спускались в долины, где был старательно возделан каждый клочок земли, и скакали прямо через посевы, увидев где-либо в стороне небольшой ручеек. Они поили коней и дальше опять взбирались на крутизны или спускались вниз, стремясь в неведомое будущее, все вперед и вперед, следуя точному приказу своего грозного повелителя.

Перейдя через один из скалистых отрогов, выдававшихся в море, всадники невольно остановились, пораженные тем, что увидели. Радостная великолепная картина открылась перед ними. Внизу, как большое голубое блюдо, лежал морской залив. Его окружали гигантским амфитеатром уходящие во все стороны невысокие хребты, покрытые зеленеющими посевами, рощами и садами. Недалеко от берега на одиноком холме возвышались каменные стены небольшой крепости.

Повсюду по отлогим склонам гор виднелись селения, бесчисленные домики, простые хижины и каменные храмы с остроконечными колокольнями, укрывшиеся в густой зелени садов. Селения сменялись небольшими квадратами лугов и пашен, где трудились, как муравьи, неведомые люди. По дорогам тянулись вереницы повозок, запряженных волами, и пылили стада коров и овец и навьюченных ослов.

Голубые дымки поднимались к небу, спокойному, безоблачному, синему. Все говорило о благодатном крае, со-

зданном многими поколениями тружеников среди природы, щедрой и радостной.

Горные хребты, как простертые руки, протянулись к голубому заливу, где в просторной гавани рябили разноцветные паруса множества кораблей.

— Вот перед тобой знаменитый, славный богатый Тригестум. Какая красота! Какой богатый край! Это будет лучшая жемчужина в ожерелье завоеванных тобою городов. Не презирай его, не упусти из своих рук Тригестума: это сверкающий алмаз, какого у тебя еще не было. В этой огромной спокойной гавани могут поместиться тысячи кораблей.

Так говорил Абд ар-Рахман, блистающий серебряной отделкой стального панциря и весь сияющий в утренних лучах поднявшегося над лесистыми хребтами южного пылающего солнца. Всадник горячился так же, как и его жеребец, плясавший, грызя удила, сдерживаемый сильной рукой опытного наездника.

— На что мне все это! — отвечал как бы нехотя Бату-хан. Он сидел спокойно на неподвижно застывшем серебристо-белом коне, не проявляя никакой радости.

— Как на что? Почему ты так равнодушен? — воскликнул Абд ар-Рахман.— Взгляни вниз, на это множество кораблей, стоящих у берега, как лебединая стая с уже поднятыми для взлета белыми крыльями. Они все готовы к бегству. Ужас перед твоим именем проносится, как ураганный вихрь, опережая твое непобедимое войско и сметая с твоего пути все трусливые народы. Тебе суждено завоевать весь мир. Все развращенные от лености и рабской покорности «вечерние страны» обречены пасть перед тобой. Но не отказывайся сам от того, что тебе завещано Потрясателем Вселенной. Ведь, кроме тебе покорной суши, есть еще беспредельное море, омывающее со всех сторон вселенную. Ты должен подчинить себе также и это свободное, синее, как бирюза, море. Вот здесь, в этой великолепной гавани, ты можешь начать завоевание морей; захватить тысячу белопарусных кораблей; и они будут разносить по всем странам твою волю и взамен привозить для тебя богатства других народов. Ведь это лучшая гавань всего этого моря... Вот она здесь, перед тобой, и ждет только, чтобы ты протянул к ней свою властную могучую руку и привязал ее арканом к своему седлу.

Бронзово-смуглый монгольский повелитель в легком шлеме, на этот раз украшенном пучком черных орлиных перьев, спокойно повернулся. Его взгляд как будто искал кого-то среди безмолвно ожидавшей свиты и, наконец, остановился на одном всаднике:

— Иесун Нохай! Разрешаем приблизиться.

Молодой всадник с дерзким и веселым лицом легким прыжком коня оказался перед говорившим.

— Тебе нравится этот город, эта гавань с кораблями и эти бесчисленные сады? Абд ар-Рахман расхваливает все это, называя сказочной страной, лучше которой нет.

— Пока эта страна полна наших врагов, она мне противнее, чем логовище мангусов или визгливых шакалов. Но ты ее покоришь и двинешься дальше, обратив всех жителей в своих рабов. Тогда я полюблю также ее.

— Сегодня вечером я созываю военный совет: надо обсудить, что нам делать завтра и послезавтра.

Глава вторая

ПЕСНЯ УЛИГЕРЧИ

Всегда озабоченный Субудай-багатур сказал:

— Надо вперед выслать разведчиков. Пусть выяснят, много ли войска в Тригестуме? Однако разве подобает тебе, Саин-хан, нашему владыке, самому с горстью всадников идти в такую опасную разведку? Наверное, там поджидает нашего вторжения сам кайсар[1] Фредерикус. Эти мангусы, должно быть, собрали там огромное войско, скрывающееся за холмами, и подготовились к решительной битве, в которой надеются в один день разгромить и уничтожить твои, до сих пор непобедимые тысячи тысяч воинов. Ведь если германские, италийские и франкские полководцы еще не сделали этого и не подготовились к битве,— они ишаки и безмозглые бараны... Конечно, они уже спешно сделали все, что нужно: призвали на войну всех, кто способен держать меч и копье и метать стрелы. Клянусь вечно синим небом, что где-то впереди нас, наверное, уже собрано огромное войско и оно набросится на нас, когда мы войдем в город, беспечно радуясь воображаемой победе. Ведь не безумцы же они, чтобы, разинув рты, поджидать нас и не готовиться к решительной схватке?

Все темники молчали или поддакивали, привыкнув к мудрости, осторожности и далекому предвидению опытного старого Субудай-багатура.

Только молодой хан Нохай, как обычно, начал спорить и предлагать неожиданные советы, вызывающие общее удивление и даже веселье.

— Все, что сказал сейчас прославленный Субудай-бага-

[1] Кайсар — переделанное «кесарь», «цезарь», то есть император.

тур, правильно и ясно. Не мне указывать что-либо почитаемому всеми нами великому аталыку. Но я прошу как милости разрешить мне испробовать такую мою дерзость: приказать мне с сотней или даже только с десятком моих «буйных» отчаянных головорезов примчаться прямо в Тригестум. И я сейчас вам расскажу, что мы там увидим и как нас там встретят.

— Ну расскажи, а мы послушаем и сделаем, как признаем нужным! — сказал Бату-хан, приподняв правую бровь.

— Мы не станем осторожно разведывать и спрашивать что-либо у жителей: сколько войска в Тригестуме и кто их начальник? Нет, мы ворвемся в город с диким гиканьем, размахивая мечами и крича: «Сдавайтесь! Сам великий завоеватель Вселенной, грозный Бату-хан подходит к вашему городу! Расстилайте ковры, ставьте угощенье и вино,— сегодня будет наш общий праздник!»

Все темники переглянулись, сдерживая улыбки.

Нохай взглянул на Бату-хана. Тот смотрел вдаль, на широкое море, где тихо стали подвигаться бесчисленные корабли и от порывов налетевшего ветра то полоскались, то раздувались паруса.

Хан Менгу спросил:

— Если ты знаешь, что произойдет в Тригестуме, то, может быть, ты нам расскажешь, готовятся ли его жители к защите города?

— О нет! Жители забирают семьи и более ценные вещи и убегают из города, надеясь укрыться в лесах. На площади собираются богачи и вельможи, все разряженные, в сверкающих латах с петушиными перьями на шлемах и, звеня золотыми колючками на каблуках, хвастают, топорщатся, а сами галдят, как гуси. Они кричат, что их бог не допустит вторжения монгольских орд. Ведь у каждого вельможи имеется полтора-два десятка нарядных воинов, отлично вооруженных. А все они ссорятся и до сих пор не сумели соединиться в одно сильное войско, так как не сговорились, кого выбрать главным начальником,— каждый у них хочет быть главным.

— А как они тебя встретят, хан Нохай? Тоже приготовят угощение?

— Нет! Услышав о нашем приближении, все военачальники умчатся в свои каменные замки и запрутся там, надеясь, что мы не сумеем проломать их зубчатые стены.

Что же молчит Бату-хан? Все ожидали его решения. Казалось несомненным, что после слов Нохая Саин-хан прикажет немедленно двинуться на Тригестум всему своему

войску. Но он ни на кого не смотрел, и по лицу его иногда пробегала тень, точно он был чем-то недоволен.

Наконец Бату-хан сказал:

— Слова отчаянного Иесун Нохая согрели мое сердце. Он и не мог сказать по-иному. Но главная наша задача состоит не только в том, чтобы брать город за городом, а в том, чтобы прочно укрепить великое Монгольское царство, которое уже необычайно широко раздвинуло свои границы и будет опираться на два крайних моря: на море китайцев, откуда солнце ежедневно встает и расправляет крылья, и на «последнее море», где солнце ежедневно расплавляется и тает. Как же нам поступить сейчас? От моего повеления зависит весь дальнейший успех нашего похода. Перед каждой решительной битвой нужно предположить, что противник очень умен и сделает самое важное и полезное, чтобы добиться победы.

Все молча переглядывались.

— Думая так, мы должны действовать с крайней осторожностью, подходя к Тригестуму,— продолжал Бату.— И я еще подожду немного: прежде всего мне важно узнать волю неба. Пусть всеведущие шаманы прибегут сюда, помолятся и мне объявят волю бога войны Сульдэ и других богов небожителей.

— Ты можешь услышать сейчас камлание[1] нашего лучшего, опытнейшего шамана,— сказал Субудай-багатур.— Он приехал с нашей далекой родины, с Хангайских гор, и уже находится совсем близко, в моем обозе. Я пошлю нукера за ним, и еще сегодня вечером при свете костров он будет молиться и петь перед тобою наши родные степные песни.

Вечером в просторной пещере под нависшей скалой был разведен костер. Монгольские ханы расположились вдоль стен. Простые воины оставались снаружи близ коней.

Начиналась буря. Вспышки молний и раскаты грома следовали не переставая. При каждой вспышке на мгновенье освещалась внутренность пещеры, и ясно видны были монголы, тесно прижавшиеся друг к другу.

Ни о каком движении вперед в ближайший день нельзя было и думать: потоки воды стремительно скатывались с гор, набухали в ущельях, сдвигали огромные камни. В такое время все монголы старались укрыться под защи-

---

[1] Камлание — совершение шаманского обряда.

той скал и завидовали счастливцам, собравшимся возле Бату-хана в пещере.

Вошедший тургауд доложил, что он привез знаменитого улигерчи — певца монгольских воинских былин Буру-Джихура, который хочет передать великому Саин-хану привет от всех степных родичей джихангира. Тот милостиво сказал:

— Пускай он нам споет, пока буря свирепствует, а на рассвете, быть может, она утихнет, и мы двинемся дальше.

Нукер подбросил в костер охапку бурьяна. Отсыревшие ветки трещали и плохо горели. Густой дым стлался над головами сидящих и медленно выплывал наружу.

— Вот он! — зашептали все.— Вот улигерчи и шаман Буру-Джихур!

В пещеру вошел монгол в промокшей одежде, старый, с двумя длинными седыми прядями волос, падавшими с висков на плечи. Он держал в руках плоский кожаный мешок со струнным инструментом, а тургауд тащил на плече его переметные сумы.

Сидевшие раздвинулись, и Буру-Джихур грузно втиснулся между ними. Из-под нависших мохнатых бровей смотрели точно всегда удивленные и ласковые глаза, казавшиеся особенно светлыми на темно-бронзовом лице с клочками седых волос.

Он вытащил из мешка инструмент, и его крючковатые пальцы быстро забегали по струнам, наполняя пещеру красивыми переливами стонущих звуков. Он стал оглядываться, осматривая поочередно всех сидящих, и его внимание привлек один. Он отличался от других уверенным взглядом и тем, что над его шлемом поднимался пучок длинных черных орлиных перьев. Улигерчи посмотрел вопросительно на окружающих, потом на монгола с перьями, и все сидевшие утвердительно закивали головами. Буру-Джихур старческим, немного сиплым, но задушевным голосом затянул длинную ноту. Эта нота дрожала, то повышаясь, то понижаясь, а певец не переводя дыхания все тянул, и слушатели удивлялись, откуда у него такая сила и столько воздуха в груди. Наконец он со стоном оборвал ее. Тогда монгол с перьями спросил, не резким голосом приказания, а слегка нараспев, как обычно певцы рассказывают сказки про подвиги багатуров:

— Скажи нам, почтенный гость, дивный седовласый улигерчи, где твоя далекая родина? Как твое славное имя? В ком тебе нужда, к кому далекие, чужедальние помыслы? Говори все и, не утаивая, рассказывай.

Улигерчи снова запел, так же тягуче, под переборы струн:

— Здравствуй, милое дитя мое! Узнаю тебя по могучим плечам, по широким твоим крыльям. Ты отрада всех людей! Ты черно-пегий барс, бродящий с грозным рыканьем по хребтам черной горы Хангай! Ты сердце всего народа, дорогой сын мой! Ты одинокий сивый коршун, с клекотом носящийся над вершиной горы! Твоя прекрасная держава ханская окрепла, как яшмовая скала. Все твои многочисленные подданные начали наслаждаться высшим счастьем. Буду и я к тебе приезжать в год три раза.

— Приезжай и каждый раз пой нам песню о том, как живет великий монгольский народ, какие у него скорби, какие радости!

Старик певец ответил:

— Какие у нас могут быть радости? Нельзя наслаждаться, когда над нами навис злобствующий враг-неприятель. Нельзя наслаждаться, когда рядом поднимаются зловредные препятствия. Все беспокоятся, как ты справишься с врагом? Тут вот, на заход солнца, живут, говорят, злобные мангусы. Изобильны они всем, а видом отвратительны. Отправился ты овладеть их стадами и табунами и народом — подданными. Про тебя ведь в старинных сказаньях говорится, что предстоит тебе завладеть семьюдесятью восемью странами...

— Семьдесят восемь стран! Верно! Мне надо захватить столько стран! — сказал воин с орлиными перьями на шлеме.

— На радость — радость, на охоту — охота! — воскликнули хором сидевшие обычное монгольское приветствие.— Ты рожден, чтобы содрогнулись твои проворные беспокойные враги! Настала пора, когда прекрасные владения иноземных королей станут рукавицей славного багатура, его заседельными переметными сумами...

Весь вечер улигерчи Буру-Джихур пел песни-былины про широкие просторы монгольских степей, где пасутся бесчисленные дикие куланы, легкие и быстрые, как ветер, или табуны прекрасных монгольских коней, про густые леса Хангая, про Саяны, полные дивных ценных зверей. Он воспевал подвиги монгольских багатуров Бум-Эрдени, Шарха-Бодена и Дайна-Кюрюля, которые не боялись врагов и покоряли самых страшных чудовищ...

Все слушавшие покачивали головами, тяжело вздыхали и нараспев повторяли со стоном:

— О наша далекая прекрасная родина! О голубой Керулен, золотой Онон! Чужая сторона трудна, все чужие

люди заносчивы! В чужой стороне береги верного богатырского коня: он тебе и счастье-богатство принесет, он из беды выручит и домой невредимым доставит!

Глава третья

ВЕСТНИК ИЗДАЛЕКА

К утру следующего дня буря утихла. Последние потоки воды еще бежали по скатам. Небо было ясное, синее.

Субудай-багатур медленно проезжал береговой тропой, время от времени взглядывая на небо: не появятся ли снова грозовые тучи?

— Смотрите, смотрите! Ведь это беркуты! — заревел он, указывая плетью на небо.— Может быть, наши? Скорей, Долибхо, беги в обоз и приведи сюда обоих орлятников с орлицами. Да чтобы не упустили они их! Если орлы улетят,— могут не вернуться.

Субудай ускакал, но вскоре возвратился обратно со своим старым слугой Саклабом, который прибежал за ним, держа в руках освежеванную тушу барана. Великий аталык остановился и всматривался в небо, синее, просторное, спокойное. Там высоко, так высоко, что они казались двумя черными лоскутками, парили два орла. Они кружились, налетали друг на друга, сцеплялись, падали камнем вниз, снова разлетались и опять реяли в воздухе, чертя большие круги.

Седобородый Саклаб растянул баранью тушу на большом плоском камне, подложив под нее черную шкуру. Ножом, висевшим на поясе, он быстро рассекал тушу на мелкие части.

Вдруг над старым Саклабом точно пронеслась буря. С неба стремительно свалился камнем огромный желто-бурый орел, прямо на рассеченного барана, схватил большой кусок мяса и скачками бросился в сторону, размахивая широкими крыльями и подпрыгивая, намереваясь снова взлететь. На него набросились со всех сторон находившиеся поблизости монгольские воины.

Орел, видимо, был охотничий, прирученный. Он перестал биться. Монголы перенесли его на тушу, где, вцепившись в мясо, орел начал когтями и клювом выдирать куски.

— Есть! Есть! — закричал один из монголов, обнявший орла за шею. Он отцепил кожаный мешочек величиной в ладонь, укрепленный под крылом, и поднес, согнувшись, Субудай-багатуру. Тот, не смотря, сунул мешочек за пазуху и затем, хлестнув плетью коня, умчался.

Глава четвертая

ПОСЛЕДНИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«Дай мне силы, о мудрейший и всеведущий, чтобы я мог правдиво описать это тайное совещание, на котором решался вопрос: быть или не быть «вечерним странам» в монгольском кулаке? Броситься ли вперед на толпу бледнолицых сынов «вечерних стран» или осторожно и обдуманно повернуть коней назад, чтобы временно затаиться в кипчакских степях, отдыхая и накапливая силы, а затем снова прыгнуть вперед, когда сверкающий в небе неизменный Покровитель монгольских племен протянет руку в сторону заката солнца и крикнет:

— Туда! Начинайте!

На совещании были только чингизиды (кроме самовольно ускакавшего Гуюка) и некоторые начальники отрядов. Из молодых присутствовал ставший любимцем Бату-хана всегда веселый, шутник, дерзкий тысячник Иесун Нохай и неизменный советник Субудай-багатур.

Соединив концы пальцев и опустив глаза вниз, мы все долго сидели молча, ожидая первого слова или приказа нашего повелителя. Наконец Бату-хан прервал молчание.

— Вестники не обманули нас. Орел-гонец принес второе послание, важное, которое во мне вызвало тревогу. Наверное, и вы тоже задумаетесь, чтó это послание должно означать и как нам поступить.

Все сидевшие зашевелились:

— Поведай нам, Саин-хан, что случилось?

— Вы знаете, что я уже давно отправил в холодные снежные земли далекого русского Новгорода моего верного темника Арапшу, приказав ему зорко наблюдать за каждым шагом беспокойного коназа Искендера. Сегодня с одного из ближайших наших постов я получил извещение, что Арапша возвращается и скоро будет здесь. Он сообщает также, что только что Искендер одержал блестящую победу над врагами, которые вторглись в его землю, и что его войско в этой битве только окрепло.

— Ясно одно,— мрачно сказал Субудай,— этот Искендер становится опасным!

— Почему? Ведь он находится так далеко от нас.

— Объясни им, чем стал опасен Искендер, коназ урусов,— сказал Бату-хан, и его черные узкие глаза пытливо посмотрели на каждого из сидевших.

— Если вы этого не понимаете и если приказывает наш Саин-хан, то я вам объясню! — медленно заговорил Субудай, ни на кого не глядя.

Воцарилась такая тишина, что явственно доносилось журчание струйки воды, стекавшей со скалы.

Субудай продолжал:

— Мы находимся на расстоянии двухмесячного пути от ставки Бату-хана на низовьях Итиля и на расстоянии многих месяцев пути на сменных конях от главной столицы всех монголов Каракорума...— Субудай поднял над головой руки и склонился до земли в знак горестного воспоминания о кончине великого кагана.— Нам нужно сохранить безопасным и неприкосновенным этот наш великий путь, помня, что это путь не только Священного Правителя, впервые его проложившего через беспредельные пустыни Гоби и Кызылкумов, но что только по этому пути к нам прибывают и будут прибывать для нашей поддержки новые отряды родных и единственно всегда нам верных монголов, непобедимых багатуров.

— О, как это верно! — простонал кто-то.

— Кто сейчас наши самые главные противники? — продолжал Субудай.— Кто сможет перерезать этот путь, эту жилу, связывающую нас с родным Монгольским царством? Не император ли Фредерикус? Нет! Этот император — теперь соломенное чучело, которым германцы и франки не смогут испугать даже тех облезлых собак, что бегают вокруг наших монгольских лагерей.

— Верно, верно! — воскликнули темники.

— И куда только он запрятался, этот прославленный император?

— Куда запрятался? Туда, откуда легче всего убежать! — презрительно усмехнулся Иесун Нохай.

— Правдоподобно! Но теперь нам опасны все же два человека. На юге Абескунского моря, в Тавризе, стал что-то готовить наш опасный враг, чингизид, хан Хулагу. Он ненавидит нашего владыку Саин-хана, завидует ему и собирает войско, чтобы напасть на нас и захватить Кечи-Сарай. Рано или поздно нам все же придется с ним биться и его разгромить.

— С Хулагу мы справимся! — раздались голоса.

— Кто же второй противник? Объясни нам, славный и премудрый Субудай-багатур.

— Вы сами должны догадаться. Барс не опасен, пока он мал и сосет матку. Но с молоком он всасывает новые силы, у него растут зубы, и он становится грозен, когда выходит, могучий и вольный, на вершины Хинганских хребтов. Так и теперь...

Субудай замолк. Все затаили дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова. Великий аталык вынул из-за пазухи небольшой кожаный мешочек с висящими на концах узкими ремешками.

— Передай Хаджи Рахиму! — приказал Бату-хан.— Пусть он нам прочтет! Это весть от Арапши, принесенная орлом-письмоносцем. Этого орла я оставил на одном из военных постов, а здесь сберегалась его орлица. Сам Арапша спешит сюда вслед за ним.

Я осторожно вскрыл мешочек и вынул сложенный в несколько раз кусок тонкого пергамента. Разгладив на колене исписанный лоскуток, я сперва прочел про себя все, что там было написано, потом поднял глаза на Саин-хана.

— Читай! — приказал он.

Я начал медленно разбирать мелко написанные строки, и руки у меня дрожали.

— Пишет Арапша Бесстрашный... «Великому хранителю грозного меча Священного Правителя, могучему владыке земель небесной Синей Орды и завоевателю «вечерних стран», шлет срочное донесение его верный тургауд и желает благополучной и победоносной жизни еще тысячу и один год...»

— Дальше! Дальше!

— «Доношу тебе, что германские всадники, согнав множество земледельцев из покоренного ими населения, живших в лесах, встретились с войском коназа Искендера Новгородского на льду большого озера. Со своей привычной дерзостью коназ Искендер сразился с германцами...»

— Дальше! Дальше! Кто кого побил? — воскликнули монгольские ханы.

— Сейчас прочту. Здесь неразборчиво написано. Вот понял: «Искендер разбил германцев и погнал их, как баранов...»

— Ай да смелый багатур! — воскликнули со смехом сидевшие монголы, но все замолкли, заметив, что Бату-хан опустил глаза и нахмурился, как будто в гневе.

— Что еще написал Арапша? — спросил он.

— Он пишет: «Теперь коназ Искендер Новгородский имеет испытанное войско, полное веры в свои силы, готовое к любому походу, и урусы начинают говорить, что Искендер задумал освободить все урусские земли. Вслед за этим крылатым вестником я еду сам и лично расскажу все, что видел».

Бату-хан заговорил быстро, с яростным гневом, облизывая пересохшие губы:

— Я хочу видеть этого Искендера. Надо его вызвать немедленно сюда, к моему шатру, и тут я решу, что с ним сделать.

— А если Искендер откажется приехать? — спросил хан Менгу.

— Тогда я двину мои отряды на Новгород, и никакие морозы, или болота, или разливы рек уже не удержат моего войска. Я обращу всю северную урусскую землю в мертвую равнину, такую же, как теперь окрестности Кыюва и многих других городов.

Все переглянулись. У всех явилась одна и та же тревожная мысль. Нохай, самый невоздержанный, бросил несколько слов:

— А как же Тригестум? Неужели...

Бату-хан понял, что всех беспокоило, и сказал:

— Осторожность так же нужна полководцу, как ему нужна смелость и дерзость. Да, теперь я полагаю, что наиболее осторожным будет повернуть мое войско обратно в кипчакские степи для отдыха коней и главное,— для охраны моей ставки Кечи-Сарая... и затем для подготовки к новому походу...

— Не делай этого! — воскликнул Иесун Нохай и бросился на колени перед Бату-ханом.— Не делай! Это будет роковая непоправимая ошибка!

— Молю, не поворачивай обратно коней! — поддержал Нохая арабский посол Абд ар-Рахман.— Прикажи войску немедленно двинуться вперед. Через день ты овладеешь Тригестумом. Через семь дней твой передовой отряд ворвется в Венецию, а через месяц в твоих руках будет великая столица Рум, а с нею владычество над всей вселенной!

— Не надо колебаться! Вперед, иди вперед до «последнего моря», как завещал нам Священный Правитель! — сверкая единственным глазом, заревел Субудай-багатур.

Бату-хан погладил по щеке Иесун Нохая и указал рукой, чтобы он сел на свое место. Затем обратился к Субудай-багатуру:

— Мой мудрый учитель, как ты думаешь: не захочет ли всегда беспокойный Искендер теперь, когда у него сохранилось целым все его войско, а я нахожусь так далеко,— двинуться на мою ставку Кечи-Сарай, чтобы захватить ее и отрезать мне путь возвращения в нашу далекую родину? Но только не говори мне сладких речей утешения, а скажи самую горестную правду, все, что подсказывает твое верное сердце.

— Я буду говорить с тобой, как с внуком Священного

Правителя, и скажу то, что думаю. У Искендера Новгородского сейчас войско непобедимое потому, что оно верит ему и в его новые победы. И если он поведет это войско, урусы пойдут за ним куда угодно, даже в подземное царство огненных мангусов. Коназ Искендер может появиться в твоей ставке Кечи-Сарае раньше, чем ты туда успеешь вернуться, даже если бы ты этого захотел. Часть его войска приплывет на плотах и ладьях, а всадники примчатся берегом великой реки Итиль. В Кечи-Сарае Искендер захватит все, что захочет: теперь коннице передвигаться легко, всюду корму для коней много...

Бату-хан смял в руках шелковый платок и с треском разорвал его. Он опустил голову и, не глядя ни на кого, тихо сказал:

— Скажи еще, мой мудрый учитель, что ты думаешь: двинется ли Искендер на Кечи-Сарай, или не двинется?

Субудай-багатур без колебаний ответил:

— Все же я твердо уверен, что Искендер этого не сделает, а останется на севере.

— Почему?

— Потому что, во-первых, ты рожден под счастливой звездой и удача всегда тебе сопутствует. А во-вторых, я помню завещание Священного Правителя, а он никогда не ошибался. Это завещание я слышал своими ушами из уст его: «Монгольское войско должно пройти до «последнего моря», и оно легко пройдет этот путь под покровительством бога войны Сульдэ, всюду водворяя Ясу Священного Правителя...» И сегодня я предвижу ясно, что ты шутя возьмешь и Тригестум, и Венецию, и столицу италийцев Рум, а короли и бароны «вечерних стран» прискачут, обгоняя друг друга, чтобы тебе поклясться в верности и вымолить у тебя пригоршню твоих милостей. И я тебе твердо советую еще раз: не отказывайся от своего счастливо задуманного дальнейшего похода на «вечерние страны». Продолжай его. Покори и разгроми эти проклятые страны германцев и франков. Уже так много сделано. Не останавливайся! Прикажи завтра же двинуться вперед!

— А я приказываю завтра же повернуть коней обратно в Кечи-Сарай! — властно сказал Бату-хан.

— Я не пойду с тобой! Теперь наши пути расходятся! — прохрипел Субудай.

С изумлением все посмотрели на владыку монголов. До сих пор Саин-хан и Субудай-багатур были всегда одна мысль и одна воля. Что разъединило их?

Бату-хан вскочил. Его руки дрожали. Он кричал:

— Ты ли, мой воспитатель, говоришь это? Ты ли, мой

великий аталык, смеешь отказаться выполнить мою волю? Ты должен поддержать мое решение и похвалить мою осторожность. Нам нужно сберечь то великое, что уже создано мною: царство Синей небесной Орды. Ведь если и ты будешь осуждать меня, я не остановлюсь ни перед чем: я прикажу казнить даже тебя...

— Казни и меня заодно! — воскликнул Иесун Нохай.— Я с тобой не останусь, если ты повернешь коней обратно. Перед тобой гораздо более великое будущее, чем Синяя Орда и Кечи-Сарай, запрятавшийся в камышах Итиля. Отпусти меня с моей тысячей «буйных»! Болгарский царь уже звал меня к себе на службу, чтобы захватить Рум-Византию, древнюю столицу греческих царей. Но не он, а ты, великий Саин-хан, должен овладеть Византией. Отпусти меня!

— И я отправлюсь с тобою, храбрый Иесун Нохай,— прохрипел Субудай-багатур. Он со злобой тряс головой и ударял себя в грудь.— У меня за пазухой здесь приказ более высокого правителя, чем ты, которому я должен повиноваться. Да! Да! Это приказ твоего деда — величайшего полководца вселенной, выжженный в моем сердце. От него это завещание! И там сказано: «Мы должны идти вперед, все вперед, пока не дойдем до «последнего моря». И там мы должны омыть волной копыта монгольского коня. А все покоренные страны получат законы Ясы». Так нас учил мудрейший, и храбрейший, и единственный. И ты, внук его, не смеешь не выполнить его воли, непобедимый Саин-хан!

— Послушайся Субудай-багатура! — горячо стал умолять Иесун Нохай.— «Вечерние страны» уже лежат перед тобой, готовые лизать твои ноги, и покорно виляют облезлыми хвостами. Ты уже преодолел самое трудное: разгромил урусов и их столицу Кыюв. Ведь такого бешеного сопротивления, какое оказали его жители, тебе больше никто никогда не оказывал и не окажет. Помнишь ли ты, сколько мы потеряли при взятии Кыюва наших неодолимых багатуров? А теперь ты хочешь повернуть обратно? Не делай этого! Ты пожалеешь потом. Перед тобой открываются новые победы: как же ты можешь отвернуться от них? До конца твоей жизни ты будешь жалеть о твоем решении, и тысячу лет затем твои потомки станут упрекать тебя, что ты не выполнил завета Священного Правителя. А все хвастуны бароны и герцоги «вечерних стран» теперь будут еще хвалиться, что мы испугались их петушиных перьев на шлемах, что мы были повсюду разбиты в разных, выдуманных ими местах и что мы, несравненные, непобеди-

мые багатуры Священного Правителя, пешком, без коней, как побитые собаки, поплетемся обратно в свои далекие степи...

— Они не посмеют этого сказать!

— Но они уже говорят!

— Довольно! Молчать! — закричал Бату-хан.— Эй, тургауды! Сюда, ко мне!

Два монгольских воина вбежали и остановились, положив ладони на рукоятки мечей.

— Внимание и повиновение! — крикнули они.

Бату-хан, дрожа от гнева, хрипел, указывая на Иесун Нохая:

— Взять его! Переломить ему хребет и выбросить на съедение собакам!

Тургауды заколебались и отступили.

— Что я вам приказал? Возьмите этого дерзкого преступника Иесун Нохая и казните его по древнему обычаю, по велению наших законов, переломив ему спину.

Оба тургауда нерешительно подошли к Иесун Нохаю и стали вязать ему руки, закручивая их за спину. Все сидевшие на коленях подползли к Бату-хану и стали уговаривать его простить виновного.

Бату-хан, отталкивая встречных, быстро вышел наружу и вскочил на подведенного коня. За ним тургауды повели связанного Нохая. Он шел смело, с гордо поднятой головой, и воскликнул:

— Мне суждено умереть! Но я не боюсь смерти. В каждом бою я ждал встречи с ней. Но я молю тебя, Саин-хан, об одном, пока мне еще не переломили спину: позволь мне на прощанье спеть перед боевыми товарищами последнюю предсмертную песню[1] монгольского воина...

— Разрешаю! Пой! — сказал Бату-хан, сдерживая плясавшего белого жеребца. Лицо Бату-хана передергивалось гримасами бешенства.

— Эй, старый улигерчи Джихур! — крикнул Нохай.— Подойди сюда, сядь и подыграй мне на хуре согласно нашим степным законам-обычаям!

Старый улигерчи приковылял, опустился на землю, вынул из мешка хур и, держа его перед собой на ремне, перекинутом через шею, быстро стал перебирать крючковатыми пальцами. Все бывшие у Бату-хана чингизиды и темники окружили певца и опустились на землю.

---

[1] У монголов и китайцев существовал древний обычай, по которому осужденный на смерть шел к месту казни с песней, в которой воспевал свои подвиги.

Иесун Нохай запел:

О небо синее, услышь мой вопль-молитву,
Монгола-воина с железным сердцем!
Я привязал всю жизнь свою к острому мечу и гибкому копью
И бросился в суровые походы, как голодный барс.
Молю: не дай мне смерти слабым стариком
Под вопли жен и вой святых шаманов!
Не дай мне смерти нищим под кустом
В степи под перезвон бредущих караванов!
А дай мне вновь услышать радостный призыв к войне!
Дай счастье броситься в толпе других отважных
На родины моей защиту от врагов,
Вновь совершить суровые походы!
Очнись же, задремавший багатур, скорей седлай коня!
На шею гибкую надень серебряный ошейник!
Не заржавел ли меч? Остра ли сталь копья?
Спеши туда, где лагерь боевой
Кишит, как раздраженный муравейник!
Пылят по всем дорогам конные полки,
Плывут над ними бунчуки могучих грозных ханов.
Разбужены все сиплым воем боевой трубы,
Повсюду гул и треск веселых барабанов!
О небо синее, дай умереть мне в яростном бою,
Пронзенным стрелами, с пробитой головою,
На землю черную упасть на всем скаку
И видеть тысячи копыт, мелькнувших надо мною!
Когда же пронесутся, прыгая через меня, лихие кони
И раздробят копытами мое израненное тело,
А верные друзья умчатся вдаль, гоня трусливого врага,
Я с радостью услышу, умирая, их затихающие крики.
Затем мои товарищи вернутся и проедут шагом,
Отыскивая на равнине боя тела батыров павших.
Они найдут меня, уже растерзанного в клочья,
И не узнают моего всегда задорного лица.
Но они узнают мою руку, даже в смерти сжимающую меч,
И бережно подымут окровавленные клочья тела,
Их на скрещенных копьях отнесут
И сложат на костер последний, погребальный,
Туда же приведут моего верного друга в походах
Пятнистого, как барс, бесстрашного коня
И в сердце поразят его моим стальным мечом,
Чтоб кровью нас связать в загробной жизни.
А джихангир, сойдя с коня, молочно-белого Сэтэра,
Сам подожжет костер наш боевой
И крикнет павшим: «Баатр дзориггей! Бай-уралла!
Прощайте, храбрецы, до встречи в мире теней!»
Тогда в свирепом вихре пламени и дыма,
Подхваченные огненным ревущим ураганом,
Как соколы, взовьются из костра все тени багатуров
И улетят в заоблачное царство...

Бату-хан несколько раз закрывал рукавом глаза. Он медленно сошел с коня и приблизился к Иесун Нохаю, выхватил из-за пояса нож с костяной ручкой, сам быстро

перерезал веревки, которыми тургауды связали Иесун Нохая. Он погладил его по лицу ладонью.

— Ты растопил, как масло, мое сердце! Ты истинный дивный воин! Тебе суждены великие победы, и смерть будет убегать от тебя! Я забыл все твои дерзкие слова. Говори: какая будет твоя просьба, какая забота?

Нохай, бледный, с закрытыми глазами, прошептал:

— Если ты все же не пойдешь вперед, на «вечерние страны», а повернешь коней обратно в степи,— разреши мне уйти с туменом «буйных» к болгарскому царю. Я обещаю тебе или убить его, или сделать твоим верным слугой-союзником. И мы покорим для тебя Рум-Византию, чтобы стала морскими воротами твоего великого царства небесной Синей Орды.

— Разрешаю! — сказал Бату-хан.

— Тогда разреши и мне уехать с Иесун Нохаем! — мрачно прохрипел Субудай-багатур.— Может быть, мы с ним еще дойдем до «последнего моря». Я привык к боевым походам и не хочу в Кечи-Сарае лежать на ковре и вздыхать, вспоминая прошлую боевую жизнь.

Бату-хан остановился, недоверчиво взглянул на своего старого воспитателя и сердито сказал:

— Мои крылья достаточно выросли и окрепли, и я смогу летать без твоей помощи. Разрешаю и тебе меня покинуть!..

Бату-хан направился к коню и вдруг повернулся к Субудай-багатуру, стоявшему с поникшей головой, старому и как-то сразу одряхлевшему. Их взгляды встретились. Они ждали несколько мгновений, потом оба бросились навстречу и обнялись, положив головы на плечо друг другу».

С этого дня сотнями горных тропинок монгольское войско двинулось обратно на восток, чтобы вернуться в Дешт-и Кыпчак, в низовья реки Итиль.

Субудай-багатур, угрюмый и нелюдимый, ехал в своей железной повозке и очень редко выходил из нее. Вскоре он должен был расстаться с Бату-ханом и со своими старыми верными соратниками.

Позади остались встревоженные, перепуганные «вечерние страны», где долгое время после ухода монголов не мог установиться мирный порядок, но где все же придворные певцы воспевали выдуманные подвиги своих королей, герцогов и баронов, вернувшихся в свои замки.

О тысячах же безыменных героев, которые полегли на равнинах Европы, мужественно защищая свои родные земли, никто из них не пел.

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

У ЛАЗУРНОГО МОРЯ

Глава первая

В ВИЛЛЕ ИМПЕРАТОРА

Мраморная вилла римско-германского императора Фридриха II Гогенштауфена, окруженная фруктовым садом, где несколько стройных пальм качали пышными верхушками, была расположена невдалеке от города Палермо, на северном берегу острова Сицилии. В бурю беспокойные волны, в пене и брызгах, обрушивались на широкие каменные ступени.

Близ виллы, в небольшой бухте, стояли на якорях две прекрасно оснащенные фелуки[1]. На них император в случае опасности мог всегда отплыть в Александрию или Бейрут, к своим арабским друзьям.

Сюда гонцы, совершавшие длинный путь, привозили подробные донесения то о разгроме соединенных саксонских, чешских и германских войск, в том числе тевтонских рыцарей, павших при городе Лигнице в отчаянной схватке с татарскими конными воинами, то об осаде Буды, то о приближении отрядов Бату-хана к Адриатическому морю.

Быстро угасал багровый закат, и в последних лучах римский император читал последнее донесение один на террасе своей виллы. Вскочив с кресла, он нервно ходил взад и вперед, погружаясь в думы. Вынув охотничий кинжал, он строгал свою трость и бросал щепки в темно-синие волны, беспрерывно ударявшие о каменные ступени.

Великий канцлер пришел с докладом. Император ответил, что сегодня он не расположен заниматься делами государства. Решение важных вопросов откладывалось на следующее утро, после чего император намеревался, по его словам, выехать на север, в Неаполь или Геную.

— А может быть, и дальше? — спросил осторожно канцлер, но не получил ответа.

[1] **Фелука** — парусное судно, ходившее также и на веслах.

Канцлер покосился на развернутый свиток с черной восковой печатью, прикрепленной на желтом шнурке, но уже не решился спросить, какие новости с далекого севера привели его господина в столь явное беспокойство.

— Ваше величество, приехал еще один гонец! Он привез письмо от наместника Тригестума. Я не решился вскрыть его. Может быть, вы найдете возможным выслушать это послание?

Канцлер всматривался в нервное лицо Фридриха, стоявшего возле каменной балюстрады и продолжавшего машинально строгать драгоценную трость. Император повернулся к неподвижно ожидавшему канцлеру и, прищурив злые серые глаза, процедил сквозь зубы.

— Гонец с Адриатики? Что может он привезти? Опять стоны перепуганного наместника, который просит разрешения «лично прибыть, чтобы доложить о неотложных делах...» Неотложных!.. А все дела сводятся к тому, что наместник дрожит от страха, слыша отдаленный грохот копыт надвигающейся татарской конницы, и хочет покинуть вверенный ему город и весь округ якобы для важного личного доклада... Вернее сказать: хочет бежать!

— Вполне правдоподобно, что это так. Письмо только подтвердит прозорливость вашего величества.

— Читайте!

Канцлер подошел к маленькому столу с тремя выгнутыми ножками и положил кожаную сумку. Серебряным ключиком он отпер замок и достал свиток, перевязанный красным шнурком. Он стал читать вполголоса, стараясь произносить слова возможно четко и выразительно. Когда он кончил длинное послание, император швырнул остаток трости в море и сказал, скривив презрительно губы:

— Что же написал мне наместник в такой тревожный час, когда каждое известие дорого? Что он ничего не знает, что ему говорят, будто татар много, слишком много, что их владыка хан Бату уже прибыл в Спалато и скоро может оказаться в Тригестуме, что собранные отряды добровольцев убегают в леса и горы, что знатнейшие герцоги и бароны со своими телохранителями имеют очень храбрый вид, когда потрясают мечами, но затем они тоже бегут в свои каменные замки, где запираются. А где же армия, которая встанет грозной стеной против татар? Они свободно пройдут и в Рим и в Лион. Так не создаются победы!..

«Надо уезжать в Египет,— подумал Фридрих.— Займусь там снова арабской философией».

Император резко повернулся и быстро направился во внутренние покои дворца.

Глава вторая

НЕЖДАННЫЙ ВЕСТНИК

Вечером император находился в своей библиотеке у стола, покрытого арабской черной шалью, расшитой серебряными узорами. Перед ним была развернута большая книга в кожаном переплете с медными застежками. «Великий» и «неповторимый», как его называли почтительные приближенные, сидел в большом темно-лиловом бархатном кресле. На высокой спинке был водружен искусно вырезанный из дуба щит с золоченым гербом древнего королевского рода Гогенштауфенов. Два посеребренных льва, разинув пасти, поднятыми лапами поддерживали этот щит.

Разносторонний ум императора германской империи Фридриха II интересовали многие предметы: и военное искусство, и древняя литература Эллады и Рима, и медицина, но более всего он увлекался прошлым Востока, его многовековой мудростью, творениями восточных ученых и поэтов. Он уже с юных лет изучил арабский язык, на котором свободно объяснялся и со своими слугами арабами, потомками завоевателей Сицилии[1], а также с арабскими учеными, приглашенными из Багдада и Каира в основанный им университет в Палермо. Все девять греческих муз и еще десятая — восточная — могли бы считать его своим верным поклонником.

В этот вечер, отложив государственные дела, император погрузился в любимую работу: он был занят составлением трактата «Охота с прирученными соколами и кречетами». Рядом на столе лежало другое, философское сочинение Фридриха: «Три самозванца: Моисей, Христос и Мухаммед»[2], за которое римский папа еще один раз, третий, наложил на императора проклятие католической церкви.

Бесшумно подошел молодой бронзоволицый араб в темно-синем балахоне, с пестрой чалмой на голове. Скрестив руки на груди, он остановился в двух шагах от стола.

Фридрих поднял голову и сдвинул на затылок бархатную шапочку на пышных белокурых кудрях с едва заметной сединой.

— Что случилось? — спросил он по-арабски.

Слуга, ворочая белками, с таинственным видом наклонился и прошептал:

— Часовой вызвал сотника, сотник вызвал камергера,

---

[1] Арабы в течение двух с половиной веков (827—1061) владели Сицилией.

[2] Некоторые ученые полагают, что Фридриху II неправильно приписывается это полемическое сочинение.

камергер приказал мне, твоему верному Осману, доложить тебе, государь, что приплыл рыбак, несмотря на бурю, и привез гонца, ободранного, как бедный дервиш, монаха, который имеет тебе передать что-то важное.

— Пусть камергер Иоахим приведет этого гонца сюда ко мне.

Араб, скользя босыми ногами по багдадскому темно-вишневому ковру, бесшумно исчез.

Император подложил под себя левую ногу в сиреневом шелковом чулке, перевязанную у колена голубым бантом, соединил пальцы в алмазных перстнях и беспокойно посматривал на тяжелую темную резную дверь.

«Какое важное известие? — думал он.— Теперь все известия важны... Набег беспокойного арабского султана?.. Дьявольская выходка злобствующих епископов, подстрекающих к вражде со мной французского короля?.. Новые буйства германских герцогов?.. Нет! Не то! Приехал на лодке в бурю? Монах оборванец? Для меня сейчас самым важным является наступление через Тригестум на Венецию татарского войска. Вот где опасность! Вот где надвигающийся ужас! Вот где черная туча, которая может окутать мглою, пеплом, дымом горящих селений беспечную солнечную Италию... Бродяга? Оборванный монах? Неужели оттуда?»

Император поправил щипчиками фитиль масляной лампы.

Дверь приоткрылась. Вошел и остановился камергер Иоахим, в бархатном малиновом камзоле, с тонкой золотой цепью на шее... Поглаживая аккуратно подстриженную лопаточкой седую бороду, он выждал, пока за ним не проскользнул человек в длинной черной монашеской рясе и стал, подняв глаза к потолку, торопливо читать молитву, совершая крестное знамение.

— Подойди сюда! — сказал император. Он наклонился вперед, подпирая рукой подбородок, и пытливо всматривался в подходившего монаха, желая угадать, насколько тот заслуживает доверия.

— Ваше величество! — сказал почтительным, бархатным голосом камергер, соединив ноги в красных башмаках с серебряными пряжками.— Я позволил себе побеспокоить вас, так как гонец клянется именем всевышнего, что он прибыл из грозного татарского стана и привез важные известия.

Фридрих, пораженный, откинулся назад на спинку кресла и острым взглядом пронизывал монаха.

— Здравствуй, брат во Христе!

— Да сохранит господь бог на многие годы нашего

мудрого императора Фридриха! — ответил монах и поклонился в пояс, показав давно не бритую на макушке тонзуру[1].

— Кто ты? Как тебя зовут? Откуда ты прибыл? Говори, ничего не утаивая, как на исповеди.

Монах стоял спокойно. Его лицо загорело до черноты. Взлохмаченные волосы и полуседая неряшливая борода. На груди на медной цепочке большой крест из пальмового дерева. Его длинная одежда выцвела от солнца и дождей. Босые ноги в стоптанных и перевязанных бечевкой сандалиях, рукава в отрепьях и истощенное лицо говорили о долгих скитаниях, но глаза оставались живыми и горели лихорадочным огнем.

— Мое имя — брат Иаков, родом я из Болоньи. Раб божий из ордена тамплиеров. Ходил по бесконечным дорогам вселенной, когда близ Спалато...

— Спалато?! — воскликнул удивленный император.— Продолжай дальше!

— Да, наш великий государь! Близ Спалато я был схвачен передовым отрядом татарских всадников. Один из них хотел меня заколоть, но я показал на этот крест на груди, на мои длинные волосы, выбритую макушку, и тогда другой татарин оградил меня и спас от гибели. После чего, захлестнув арканом, они поволокли меня в свой лагерь...

— Татарский лагерь?

— Да, великий государь!..— монах зашатался и ухватился за край стола.— Прости меня за слабость! Я от голода потерял последние силы.

Император ударил палочкой в висевший рядом на подставке бронзовый арабский щит. Раздался мелодичный звон. В дверях показался слуга-араб.

— Принеси кувшин крепкого вина, хлеба, апельсины и кусок сыру!

— Разреши, я сяду на пол? — сказал монах и опустился на пятки на ковер.

— Сейчас вино тебя подкрепит. А пока, брат Иаков, продолжай рассказывать, что испытал и увидел.

— Этот крест господень оградил тебя! — многозначительно сказал камергер.

— По приказу своего великого хана татары очень уважают христианских священнослужителей и монахов, щадят их и не убивают.

Монах, видя, что его рассказ уже заинтересовал императора, с наслаждением причмокивая, стал пить небольши-

---

[1] Тонзура — выбритое место на макушке головы у католических духовных лиц.

ми глотками из серебряной кружки принесенное слугой вино и продолжал, растягивая свой рассказ:

— Я был доставлен в лагерь главного татарского императора...

— Император только один: августейший римский император! — поправил камергер.

— Прошу простить меня, скитальца-невежду! Но я имел в виду главного татарского владыку Бату-хана, облеченного необычайной безграничной властью над всеми.

— И ты его видел? — спросил Фридрих.

— Не только видел, но едва спасся из его лап.

— Как же это произошло? — Император сделал знак камергеру, и тот подлил монаху еще вина.

— Татары приволокли меня к берегу моря, где на бугре, на коврах, сидели главные татарские военачальники. Посреди них — сам Бату-хан, перед которым все приходящие падали на брюхо.

— Какой он с виду?

— Еще молодой, сухощавый, загорелый, среднего роста, глаза раскосые, черные длинные перья на шлеме. Когда смеется, то показывает зубы, как у волка, острые и белые. А взглядом так и буравит каждого насквозь... Рядом с его шатром — я так и обомлел, даже руки похолодели,— несколько деревьев срублены в рост человека и наверху заострены, как копья. Если кто рассердит хана, его сажают на такой кол.

— И при тебе сажали?

— Нет, государь, господь избавил меня от такого ужасного зрелища. Вместе со мной татарские всадники привели несколько славянских горцев.

— Пленных?

— Да, государь. Это смелые славяне. Живут на самых высоких горах. Своим сопротивлением они доставили татарам много затруднений, поэтому нескольких пленных притащили к самому Бату-хану. И он захотел посмотреть, что за удальцы такие славяне? Он сам их расспрашивал и предложил поступить в его войско. А те, израненные, избитые, в окровавленных повязках, ничуть не испугались и говорят: «Отпусти нас домой, к нашим женам и детям. А с вами, татарами, нам не по пути». Бату-хан их похвалил и каждому приказал нацепить на шею медальку,— называется «пайцза»,— с его именем. Каждый, у кого такая медалька, большой человек и может через все войско татарское пройти свободно, и никто не посмеет его тронуть... Но немедленно вслед за тем он же приказал их казнить...

— И ты тоже получил медальку? — спросил, грозно сдвинув брови, император.

— Нет, ваше величество! Со мной было иначе...

Камергер еще подлил вина, а монах, очищая от кожуры апельсин, продолжал:

— Переводчиком у татар был пожилой человек, одетый как мусульманские священники-муллы, в полосатой рясе, с белым полотенцем, накрученным на голову. У него была длинная рыжая полуседая борода. Он так хорошо объяснялся со славянами, что они даже позвали его к себе быть у них священником. Но рыжий переводчик засмеялся и сказал, что он доволен своей службой у татар и ничего лучшего ему не надобно.

— С длинной рыжей бородой? — задумчиво сказал Фридрих.— Каких он примерно лет?

— Думаю, ему лет шестьдесят, если не больше... Он меня повел в свою палатку...

— И стал тебя допрашивать? Сколько у меня войска? И ты ему рассказал? — Император вскочил в гневе.

— Ваше величество! Я ему ничего не сказал, клянусь святой девой! Да ничего такого он меня и не спрашивал, а говорили мы совсем о другом...

— Ведь если ты наговорил ему лишнего, то я должен тоже тебя казнить. Ведь это придаст татарам смелости ворваться в Италию!

— Не дай господи! Но позвольте, ваше величество, сказать то, ради чего и как я к вам приехал.

Фридрих успокоился, опустился в кресло и снова стал пытливо всматриваться в лицо монаха, которому, видимо, очень нравилось сидеть на ковре в роскошной вилле самого императора, пить великолепное вино и есть апельсины и виноград.

— Я перейду теперь к самому важному. Этот переводчик,— его зовут Дуда,— привел меня к своей палатке...

— Дуда?! — воскликнул император.— Высокий, тощий, с рыжей бородой?

— Верно, верно, ваше величество!

— Говори скорее дальше. Ведь минуло столько лет, а он все еще жив, пройдя через необычайные потрясения и страдания!

Монах продолжал:

— Переводчик Дуда усадил меня на овчину и сказал: «Я тебя выведу невредимым из татарского лагеря, но за это можешь ли ты исполнить мою просьбу?» — «Охотно!» — ответил я...— «Если ты хочешь заработать большую награду, то отправляйся немедленно в Тригестум, оттуда в Вене-

цию, а затем проберись на остров Сицилию, где явишься к августейшему императору Фридриху. Постарайся передать ему лично, из рук в руки, это письмо. А я на дорогу дам тебе горсть серебряных денег...»

— Да где же письмо?! — воскликнул император.— Что же ты не отдал его сразу? Болтливый дьявол!

Монах вскочил, полез рукой в складки своей просторной одежды и стал рыться сперва в правом, потом в левом кармане, затем, вытаращив испуганно глаза, снова продолжал шарить дрожащими руками.

— Оно было, клянусь спасением души! Куда же оно девалось? Слава всемогущему, вспомнил. Я его спрятал в тряпке, которой подпоясаны мои штаны!..— И монах вытащил и подал на широкой грязной ладони горсть больших грецких орехов.

— Ты что, издеваться надо мной вздумал? Какое же это письмо!

— Вскройте, ваше величество, осторожно орехи, и в них вы найдете несколько листочков. Сам переводчик Дуда свернул их в комочки, затолкал в скорлупу и каждый орех склеил еловой смолой.

Император осторожно коснулся орехов холеными пальцами, сверкнувшими голубыми искрами алмазов. Осмотрел со всех сторон, взял со стола маленький кинжал и расщепил им орехи. Внутри каждого действительно были бумажные комочки. Император осторожно разгладил их на коленях, положил на стол и погрузился в чтение.

«Что это? — думал он.— Арабское письмо?» Он стал читать дальше и убедился, что это были — санта Мария! — латинские слова, написанные арабскими буквами. Император стал переписывать латинскими буквами загадочное письмо, и тогда он его понял...

Глава третья

ПИСЬМО ДУДЫ ПРАВЕДНОГО

«Августейший великий император!

Тебе шлет привет и пожелания долгой жизни, благополучия, счастья и славы твой бывший лекарь, неизменно преданный доминиканец, исследователь арабской магии и алхимии, которого прозвали «Дуда Праведный».

Я точно выполнил твою волю и неотлучно сопровождал твою воспитанницу, Марию Клармонте, из Вифлеема, по направлению к морю, надеясь посадить юную девушку на указанный тобою корабль. Ночью в горах на наш караван

напали арабские разбойники и всех путников потащили в свои становища. В числе попавших в рабство оказались и мы с Марией. Знание арабской речи нас выручило. Я уверил разбойников, что я мусульманский знахарь, мудрец и прорицатель, а Мария — это моя внучка, и что я из необходимости, находясь среди крестоносцев, притворялся, будто исповедую христианскую веру. Успешно вылечивая арабских воинов, перевязывая и зашивая их раны, я не брал никакой платы, и они стали относиться ко мне с уважением, тоже прозвав «Дуда Праведный». Затем нас продали в Багдад, где мы прожили несколько лет.

Теперь я должен сообщить тебе горестную весть. Приготовься к тяжелому удару. Твоя воспитанница, светлая, безгрешная Мария, тосковала по тебе и медленно угасала, постоянно повторяя твое августейшее имя, пока ее слабые уста не прошептали его в последний раз. Она так исхудала, что разрушение, обычно следующее за смертью, почти ее не коснулось, и несколько дней она лежала на носилках, которые я сплел из камыша своими руками, обложенная цветами и ароматичными травами, будто только уснула, и я не решался предать ее земле.

В том домишке, где я жил, была каморка с окошком. Днем я его закрывал ставнями от беспокойных мух, а ночью в это окошко светила луна и бросала печальные серебристые лучи на прекрасное лицо Марии... Каждую ночь проводил я в слезах, оплакивая раннюю кончину твоей воспитанницы, которая до последнего дня верила, что настанет счастливое мгновенье, когда она приплывет на корабле в родную Сицилию и снова увидит тебя, августейший император.

В день, когда халиф багдадский приказал мне отправиться, сопровождая его посольство, к татарскому хану, я нанял старика, и мы отнесли останки безгрешной Марии на кладбище, расположенное на высоком берегу великой реки Евфрата. Там мы вырыли могилу под одинокой пальмой. Я поставил узкую каменную плиту, вырезав на ней арабскую надпись «Мариам» с изображением пальмовой ветви.

После этого я мог спокойно отправляться в путь как лекарь и писарь арабского принца Абд ар-Рахмана, которого халиф багдадский отправил послом к могущественному царю татарскому Бату-хану. С войском этого грозного полководца, состоя при арабском принце, я добрался до Адриатического моря и близ города Спалато мне удалось спасти от жестокой смерти на острие кола доброго монаха, брата Иакова, и он клятвенно обещал доставить это письмо, мой августейший повелитель и покровитель, в твои

всесильные руки. Умоляю наградить его соответственно заслугам и твоей, всегда неизменной щедрости.

Мое будущее темно. Скажу только, что, пройдя с войском Бату-хана через столько поверженных и разоренных стран, я увидел ад, страшней которого не придумает никто из смертных. Если бы монголы двинулись на римские и франкские земли, то горем и кровью залилась бы вся вселенная.

Кончая письмо, могу сообщить тебе весть, которая обрадует родной мне итальянский народ: грозный Бату-хан сегодня объявил арабскому принцу, что он останавливает свой поход на запад и поворачивает войска обратно в свое становище в устье Итиля.

Я буду счастлив, если это письмо дойдет до твоего проницательного взора и я окажусь первым, сообщившим радостную весть, что пожар войны, надвигавшийся на мирную Италию, остановился у ее границ. Хотел бы я снова посетить мою дорогую родину и записать на прочных листах все, что я увидел и пережил в восточных странах, но будущее мое в руках всевышнего».

Император откинулся на спинку кресла. Его глаза блуждали, на лице были слезы. Камергер стоял неподвижно, ожидая распоряжений.

— Известия исключительной важности! Преданный мне человек доносит, что татары остановились и, несомненно, поворачивают обратно...

— О санта Мария! — воскликнул камергер и набожно перекрестился.

— Если это известие будет подтверждено донесением наместника Тригестума, то это значит, что грозный вал бушующего татарского моря докатился до наших пределов и затем отхлынул обратно в свои дикие, варварские степи... Что остановило татар? Сейчас это неразрешимая загадка! Ведь они могли с огнем и мечом пройти по всей Италии, Франции, Испании и водворить повсюду на целые тысячелетия свою власть, ввести языческую религию и страшные законы свирепого Чингиз-хана... Этого гонца монаха я отблагодарю!..

А монах лежал на ковре, на боку, подложив руку под лохматую голову, похрапывал и сопел... Император бережно сложил полученные листки и спрятал их в перламутровую шкатулку, которую достал из стола.

Затем он ударил палочкой в бронзовый щит и сказал вошедшему слуге-арабу:

— Скажи кормчему фелуки, что я свой отъезд в Египет откладываю.

ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ

КОНЕЦ ПОХОДА

Глава первая

БЕСЕДА НА БЕРЕГУ ДУНАЯ

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«Вскоре закончится моя путевая книга, с которой я никогда не расставался: ни днем, когда верхом на коне, я хранил ее в дорожной сумке, ни ночью, когда я опускал на нее усталую голову, обнимая вместо подушки. Сейчас в книге осталось очень немного чистых листков. На них я запишу сегодняшнюю беседу с моим когда-то бывшим учеником, а теперь повелителем многих покоренных им земель.

Повинуясь воле Бату-хана, все монгольское войско, оставив нетронутым Тригестум, повернуло обратно. Переправившись через Дунай у разрушенных городов-близнецов Буды и Пешта и пройдя мадьярскую степь пушту, войско остановилось на отдых у границ Болгарии.

На этой зеленой равнине, удобной для коней, джихангир произвел смотр своим сильно поредевшим войскам, прибывавшим отовсюду, устроил воинские игры в честь павших в боях, и здесь же завтра он объявит свою волю: куда дальше направится татарская орда.

Сегодня под вечер, выйдя из шатра, Саин-хан усадил меня рядом с собой на берегу стремительно текущей реки Дунай, в том месте, где она, вырвавшись из скалистых тисков, делает поворот и затем спокойно направляется на восход солнца к морю.

С нами был только недавно вернувшийся хан Арапша, много важного рассказавший об Искендере Новгородском, его земле и войске.

На противоположном берегу расстилалась болгарская земля, плодородная равнина, покрытая лугами и небольшими рощами. Она была пустынна: население, опасаясь

татарских войск, ушло в глубь страны. Только два-три раза показывались вдали болгарские всадники с короткими копьями.

Обращаясь к Арапше, Бату-хан спросил:

— Может быть, и ты уже слышал споры: почему бы теперь по пути не раздавить еще маленькое Болгарское царство? Мы сильны, нам ничего не стоит копытами наших коней растоптать этот народ! Пусть так думают все, но вам двоим я могу доверить тайное: я не могу больше посылать в «заоблачное воинство» своих багатуров! Мы скоро пойдем опять через земли урусов. А вдруг Искендер Новгородский подстерегает нас там и ударит на мое сильно ослабленное войско своими прославленными победой дружинами и отобьет у нас всю захваченную нами добычу и пленных? Нет! Мы не будем громить болгар, не будем задерживаться! Скорей домой, в Кечи-Сарай! А ты, мой верный Арапша, поедешь обратно в Новгород к Искендеру. Надеюсь, что это еще не поздно. Следи за ним, доноси мне обо всем. Я повелеваю ему прибыть в Кечи-Сарай! Я сам хочу видеть его, говорить с ним. Ты много ценного мне рассказал о нем: это враг опасный, сильный, умный...

Мы долго еще говорили в этот вечер с Бату-ханом. Он приказал мне на следующий день отправиться вперед с одним из его отрядов, чтобы обрадовать Юлдуз-Хатун вестью о скором возвращении из похода ее повелителя.

Итак, приближается день, когда я перестану нанизывать концом тростинки слова повести о тех поразительных событиях, битвах, разгроме городов и потоках крови и слез, невольным свидетелем которых сделала меня судьба.

Но я постараюсь вкратце сказать и о судьбе тех необычайных людей, с которыми мне пришлось расстаться.

С разрешения Бату-хана Иесун Нохай со своими «буйными» переправился через Дунай, чтобы присоединиться к войскам царя болгарского. Он повез с собой румийскую царевну Дафни, которая терпеливо и мужественно следовала за ним в походе и чье искусство врачевания спасло жизнь Нохая, раненного в битве при взятии Кыюва. Она же обещала ему помочь проникнуть в византийскую столицу.

Вместе с ними ушел и посол халифа Абд ар-Рахман, чье мужественное благородство спасло не одну жизнь от ненужной жестокости Бату-хана. Он направился в Багдад, обратно к своему халифу, чтобы предостеречь его от того, что, подобно урагану, может нежданно обрушиться и на его цветущие земли. Я рад, что предсказание, сделанное этому доблестному юноше гадалкой на берегу реки Итиль, о котором он часто вспоминал во время похода, так и не сбылось.

Оставил нас также упрямый великий аталык Субудай-багатур, не примирившись с тем, что его воспитанник и ученик отказался дойти до «последнего моря».

Еще раньше покинул нас и Дуда Праведный, человек-загадка: несмотря на постоянное с ним общение и дружбу, я так и не знаю, кому он по-настоящему служил и куда теперь направится.

Счастлив путник, который после долгих скитаний наконец видит вдали очертания заветной Мекки!»

Глава вторая

КАК ЗАСВЕТИЛАСЬ ЗВЕЗДА ЮЛДУЗ-ХАТУН

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«...Я должен написать о том нежданном и потрясающем, что я застал, когда вернулся в Кечи-Сарай. Пыль покрывала и платье, и мою бороду, и моего терпеливого утомленного иноходца.

Переправившись на другой берег в большой лодке с двенадцатью гребцами, прикованными железной цепью к скамейкам, я омыл водой великого Итиля мои руки и лицо и возблагодарил всемогущего и всеведущего, который сохранил меня невредимым в этом необычайном походе на «вечерние страны» и дозволил снова увидеть молодую строящуюся столицу неукротимого и ненасытного в борьбе Бату-хана.

Вдали на холме показались причудливые очертания «золотого домика», где ждала возвращения татарского владыки его верная спутница жизни, преданная и кроткая Юлдуз-Хатун. Вдоль отлогого берега реки за время нашего отсутствия выросло много шалашей и домиков, слепленных из глины и покрытых камышовыми крышами. В них поселились купцы и ремесленники, прибывшие из разных стран. Повсюду брели утомленной походкой, часто в одних жалких отрепьях, различные пленные, многие с железными оковами на босых ногах.

Медленно поднимался я по склону песчаного бугра, ведя в поводу моего коня. Хотя самое достойное место для доблестного человека — это седло благородного коня, но я, дервиш, все же предпочитаю сидеть на ковре возле светильника и беседовать с мудрой книгой. Я радовался, чувствуя под ногами твердую, ставшую мне уже родной, землю молодого города, и не предчувствовал той страшной беды, которая меня ожидала.

Два часовых, сидевших у ворот «золотого домика», играли в кости. Увидев меня, они вскочили и, побежав навстречу, поцеловали край моей одежды. Покачивая головами, они то подымали вверх руки, то ударяли себя по лицу:

— Горе! Горе! Для Саин-хана жгучее горе! Для всех нас большое горе!

— Скорей говорите, что случилось?

— Только ты нас не наказывай за то, что мы первые тебе сообщили «черную весть».

— Не бойтесь, говорите смело!

— Нашей доброй госпожи Юлдуз-Хатун больше нет!

Сказав это, часовые бросились к воротам, взяли в руки свои копья и встали по сторонам входа, неподвижно вытянувшись, как подобает воинам, стоящим на страже.

— Абдулла! Садык! Быстрей сюда! — крикнул один.

Ворота открылись. Оттуда выбежали слуги, приняли моего коня, а я, растерянный, не понимая, что случилось и почему, вошел внутрь дома, поднимаясь по лестнице скорби...

Белый гроб из гладко оструганных досок. В нем на цветных шелковых подушках лежит она. Легкая узорчатая шелковая одежда. Узкие маленькие руки сложены на груди. В одной руке несколько свежих цветов. Я боюсь поднять глаза, чтобы взглянуть на знакомое, такое дорогое мне лицо. Столько лет безнадежно любил я ее, увидев впервые девочкой, когда она мне приносила молоко и лепешки. Никогда я не проговорился ей о моей беспредельной любви, даже ничем не показав вида, что она для меня жизнь, вся радость жизни, весь смысл моей жизни.

По другую сторону гроба на ковре сидит завернутая в узорчатую белую «шаль скорби» китаянка И Ла-хэ. Когда-то она потеряла мужа и всех своих детей... Теперь она лишилась последней своей привязанности. Она сидит, как неживая, напоминая китайского идола, опустив глаза на свои руки, которые перебирают темно-красные гранатовые четки. Не сказав мне ни слова привета, она тихо шепчет:

— Гроб собственноручно сделал наш мудрый друг строитель дворцов Ли Тун-по. Он приехал недавно, за два дня до гибели нашего дорогого жаворонка. Юлдуз-Хатун внимательно и жадно слушала его рассказы о походе. Ее мало обрадовали привезенные им подарки, присланные самим Бату-ханом. Из них она мне сейчас же отдала эти гранатовые четки, точно предчувствуя, что эти камни, похожие на капли крови, будут всегда мне напоминать

о моем горе. Она была особенно потрясена, когда неосторожный Ли Тун-по рассказал о гибели вместе с ханом Пайдаром ее названого брата Мусука. «Где он похоронен?» — спросила она, ставши бледной, как снег. «Тело его сожжено на костре вместе с телами хана Пайдара и других павших воинов,— ответил Ли Тун-по.— Все наше преславное войско трижды объехало костер и спело погибшим багатурам боевые песни почета и скорби».

После этого рассказа Юлдуз-Хатун точно окаменела. Она все время и днем и вечером безмолвно сидела в углу комнаты и часто тихо плакала. Такой печальной я видела ее только после того, как умер отравленный ее маленький сын, которого так желал и ждал Бату-хан. Она не хотела никого принимать. Но раз к ней пришли две жены Саин-хана,— конечно для того, чтобы увидеть охваченную горем Юлдуз-Хатун и этому порадоваться. Они принесли виноград, яблоки и сладких лепешек на меду. Я шепнула моей госпоже, чтобы она не ела этих подарков. Она мне ответила: «А мне теперь все равно». Вскоре ханши ушли, а у Юлдуз-Хатун начались боли, точно после отравы. Она стонала, извивалась и постепенно теряла силы. Прибежавшие лекари и звездочеты ничем не могли помочь, а тебя, Хаджи Рахим, тогда не было. А вскоре...— китаянка, глотая слезы, указала на тело Юлдуз-Хатун.

Я поднял взгляд на лицо покойной, моей мечты, радости моей скитальческой жизни. Обычно нежные и ласковые черты и добрая улыбка теперь исчезли: она была величественна, строга и спокойна. Тонкие темные брови слегка сдвинулись. Она казалась такой далекой от всего, что оставила на земле. Мне хотелось, и в душе я страстно молил, чтобы ее ресницы дрогнули и приоткрылись на мгновенье всегда чарующие глаза...

Мне казалось, что она безмолвно мне говорила: «Смотри на меня в последний раз. Я улетаю далеко в созвездие Плеяд. Когда мы встретимся,— не знаю, но остановка за тобой, я там буду тебя ждать...»

Так мне чудилось, так я безумствовал. Моя голова кружилась. Разве меня стала бы она ждать?

Вошел Ли Тун-по. Мы обнялись, как старые друзья, и у обоих на глазах были слезы. Нас еще более связало общее горе.

Втроем мы стали тихо обсуждать, что делать? Где и как похоронить Юлдуз-Хатун? Ведь она была только наложницей владыки великого хана чингизида, хотя и значила для Бату-хана больше, чем все его жены вместе.

Мудрая китаянка И Ла-хэ предложила следующее:

— На моей далекой родине, в Китае, есть такой обычай: китайский император, желая почтить память своей любимой, хоронит ее в саду дворца, где она жила. Над могилой ставится памятник из мрамора или дикого камня. Позовите только самых близких друзей, и похороним тело нашей маленькой госпожи здесь, в этом небольшом, но прелестном дворцовом садике. Наверное, найдется искусный ваятель, который высечет на белом надгробном камне рисунок надломленного цветка и над ним звезду — Юлдуз.

Ли Тун-по очень похвалил предложение китаянки и сказал, что никому не уступит этой работы, а сам сделает такой памятник к приезду Бату-хана.

Сегодня на закате дня мы похоронили тело нашей маленькой госпожи Юлдуз-Хатун в чудесном садике, где она проводила когда-то так много времени. По окончании печального обряда я остался один. В благоговейной тишине наступающего вечера передо мной проносилась вся моя долгая скитальческая жизнь, жизнь без любви, без счастья. Где найти утешение? Я поднял взгляд к небу, уже потухающему, и увидел яркую одинокую звезду. И я подумал, что это переселившаяся в иной мир душа Юлдуз-Хатун посылала мне свой далекий привет... Но тайны вселенной кто может разгадать?

Вот какую печальную запись я должен был внести в мою «Путевую книгу» вместе с описанием походов победоносного войска Бату-хана».

Глава третья

ТРЕВОЖНЫЕ ДУМЫ БАТУ-ХАНА

(Из «Путевой книги» Хаджи Рахима)

«Когда мы узнали, что Бату-хан приближается к Кечи-Сараю, никто не захотел быть «черным вестником» и сообщить ему о смерти Юлдуз-Хатун, и я вызвался это сделать. Вопреки обычаю, он не убил меня, но и не расспрашивал ни о чем, и хотя стал еще более задумчивым и молчаливым, но, видимо, его тревожило нечто другое.

Спустя несколько дней он вызвал меня к себе и сказал:

— Меня постигло новое огорчение. Я решил проверить, как идут военные занятия моего сына Сартака. Не предупредив его, я приблизился к тому кольцу шатров, в середине которых находится его юрта.

Я требовал, чтобы даже в походе, во время стоянок, по утрам, Сартак беседовал с приставленным к нему китай-

ским ученым и теперь продолжал эти занятия, изучая его полезную книгу «Правила для полководца или искусство побеждать». Этого учителя-воина, еще перед началом похода на «вечерние страны», мне прислал из царства китайцев начальник левого крыла монгольских войск Мухули.

Бесшумно подошел я к шатру Сартака, удержав рукой тургауда, желавшего откинуть дверную занавеску, и стал прислушиваться. Из шатра доносились тихие голоса. Говорили шепотом, но я понял, что там колдовали. Неведомый мне сиплый голос говорил: «Это драгоценный порошок, привезенный из священной Мекки. Его надо смешать с порошком, приготовленным из толченых летучих мышей, сердца белого голубя и семи черных скорпионов. Всю эту смесь надо высыпать на железную сковородку и медленно поджаривать на огне. После этого она приобретает волшебную силу против всех твоих врагов... и они погибнут...»

Я вошел в шатер. Сартак сидел перед костром, на котором на треножнике грелась сковорода. Рядом с моим сыном сидел мусульманин, потомок Мухаммеда, судя по зеленой чалме, закрученной на его голове. При виде меня оба они в ужасе окаменели.

А старый учитель военного искусства лежал неподалеку на ковре, и возле него стоял глиняный кувшин и красивая фарфоровая чашка с вином.

Он с закрытыми глазами напевал: «Все прекрасно, и силуэт девушки на холме в час заката, и тень ивовых ветвей, упавшая на колею дороги...»

Сартак и мусульманин молча смотрели на меня расширенными глазами. От сковороды поднимался одуряющий дым.

Я спросил мусульманина:

— Что сегодня предсказало твое гадание?

Он сейчас же стал быстро и уверенно говорить:

— Предсказано, что, несомненно, хану Сартаку уготовано славное царствование на много лет.

— А что предсказано тебе, всеведущий мусульманин?

Колдун ответил, заикаясь:

— Мне? Да, мне предсказано, что я стану твоим любимым придворным лекарем и звездочетом на много лет и, обласканный твоими щедротами, проживу счастливо долгую жизнь, увидя своих внуков и правнуков.

— Ты берешься предсказывать то, что произойдет через много лет, а сам не предвидишь даже того, что с тобой произойдет сегодня, сейчас. Значит, твои предсказания лживы и никому не нужны. Тебе сегодня отрубят голову. Тургауды! Отведите этого лгуна и обманщика к моему

брату Берке-хану и скажите, что я отдаю ему для бичевания и расправы ненужного мне колдуна. Хан Берке любит мусульман и всегда окружен ими.

Бату-хан пристально посмотрел на меня. Потом продолжал:

— Так я приказал. Теперь, богатый знаниями Хаджи Рахим, скажи мне, правильно ли я поступил?

— Что могу сказать я, червяк, ползущий по ветке могучего дерева, боясь, что всякая летящая мимо птица проглотит меня. Но все же я припомню тебе, что бы сказал и как поступил твой мудрый дед, Священный Правитель! Сказать ли?

— Говори!

— Ты окружен мусульманами. Но ведь не они, а твои родичи, монголы из Гоби, Керулена, Онона и Хингана, твоя главная верная опора. На одного монгола приходится по десяти, а то и по двадцати кипчаков.

— Ты мне говоришь то, что я давно знаю, но я хочу знать иное: если я сегодня умру, переправляясь на коне через Итиль, кто встанет на мое место? Мой сын Сартак? Я не доверяю и в то же время завидую коназу урусов Ярославу Суздальскому. Он изо всех сил старается оживить и укрепить раздавленные мною княжества. А больше всего я завидую ему в том, что у него есть такой сын, как юный Искендер, который уже одержал ряд побед и продолжит заботы отца о расцвете и укреплении своей земли. Я, конечно, не допущу этого и постараюсь раздавить урусов, чтобы держать их, как табун кобылиц, которых я могу доить. Но...

Бату-хан задумался и указал рукой на восток, в сторону монгольских степей:

— Там ли расцветет будущее величие Синей Орды, или позади, в тех странах, которые я только что разгромил?

Я заметил осторожно:

— Если ты ищешь настоящего величия, то оно должно быть повсюду, а не только в одной стороне.

— Но для кого будет это величие? Кто станет моим преемником? Кто сможет твердо держать грозный бунчук моего деда! Сартак? Он до сих пор не участвовал ни в одном бою. Тургауды оберегали его, чтобы ни одна стрела, пущенная вражеской рукой, до него не долетела. А Искендер Новгородский, как мне рассказал Арапша, постоянно сам бросается в гущу боя и одерживает даже с малым войском нежданные победы... Я еще надеялся, что, когда вернусь в Кечи-Сарай, тут меня встретит Юлдуз-Хатун. Она протянет на своих нежных руках наследника, такого же багатура,

каким был мой отец Джучи или любимый тобой Искендер Двурогий. Но опять моя надежда не сбылась. Тайные враги, сторонники Гуюк-хана, погубили моего наследника и его мать. Пусть не думают, что им удастся ускользнуть от моей беспощадной мести! Я ничего не забываю! Я еще разыщу их и прикажу сварить живьем!

В моей душе сейчас переплетаются великие замыслы и жгучая тоска. Мы сегодня снова пойдем в шатер Сартака и там проверим: может быть, Сартак спорит со своим военным учителем, обдумывая новые смелые военные походы? А как я был бы счастлив, если бы убедился, что я ошибаюсь, что в Сартаке крепнет истинный воин и полководец!..

Мы некоторое время еще продолжали сидеть, вспоминая соратников, которые полегли в этом походе на «вечерние страны» и которым не пришлось больше увидеть родные степи и строящийся среди них Кечи-Сарай. Много говорили мы и о кроткой Юлдуз-Хатун, чьи нежные песни и мудрые советы украшали прежде наши вечера в «золотом домике».

Уже стемнело, когда Бату-хан направился со мной проведать, как идут военные занятия его сына. Перед юртой Сартака стояли трое, и все, увидев нас, опустились на колени: брат нашего владыки — Берке-хан, осужденный колдун-мусульманин и палач «меч гнева».

Бату-хан поднял брата и лизнул его в щеку:

— Знаю, о чем ты будешь сейчас просить. Бери этого обманщика себе и слушай его лживые предсказания! Но помни: сегодня он своим волшебным порошком хотел отравить меня, а завтра, может быть, и для тебя приготовит отраву. Ведь он это делает, конечно, по чьему-то наущению. Постарайся узнать, кто его хозяин, кто его толкает на это. А сам он пусть не забывает, что поблизости от наших шатров в землю воткнуты заостренные колья и на одном из них он может найти свой конец!..

Мы вошли в шатер. Китаец сидел около костра. Возле него горел на подставке светильник. Сартак, болезненный и худой, почтительно подойдя к отцу, подождал, пока тот погладил его по лицу. Затем мы уселись на подложенных подушках. Китаец развернул перед собой свитки рукописей. На них были рисунки, изображающие воинов в иноземных одеждах и с чуждым нам оружием. Были также чертежи крепостей и земляных укреплений. С китайцем я встречался раньше и не раз беседовал с ним. Он был уже стар, с реденькой седой козлиной бородкой, с очень истощенным шафранно-желтым лицом — последствие неумеренного по-

требления гашиша. Он и меня уговаривал испробовать это средство, которое, по его словам, утешает во всех горестях жизни и дает возможность побывать в иных мирах и беседовать с самыми знаменитыми людьми древности и познать самые необычайные радости. Но руки его постоянно тряслись, и я не хотел, подобно ему, потерять свою волю и ясность духа.

Бату-хан сказал Сартаку:

— Послушай меня, сын мой. Когда-то священная прабабка твоя, как мне много раз передавал мой отец, должна была скитаться в степях Монголии. За ней гнались проклятые кераиты, и только благодаря ее волчьей хитрости и упорству она избежала плена и гибели. В такую тяжелую пору у нее в пути родился мальчик, мой преславный отец Джучи. У нее не было во что завернуть ребенка, чтобы спасти от жгучего мороза, и она облепила его тестом и только поэтому невредимым довезла до своего кочевья. В таких страшных испытаниях голода и лишений вырастал твой дед. Ты же родился на шелковых подушках и был покрыт собольими пеленками. Сумеешь ли ты стать закаленным, сильным воином, бесстрашным багатуром? Я к тебе приставил самого ученого китайца, знающего все хитрости, все искусство прежних великих завоевателей. Учишься ли ты у него? Объясняет ли он тебе все, что ты должен и хочешь знать?

— Я все стараюсь понять,— шептал почтительно Сартак.— Но твои битвы, твои победы меня гораздо большему научили, чем все им сказанное.

— Пусть теперь твой учитель расскажет мне о военном искусстве, а я послушаю: может быть, он и мне окажется полезным.

Китаец сложил ладони и несколько раз помахал ими в сторону Саин-хана, затем начал рассказывать на ломаном монгольском языке, которому он научился, находясь много лет в плену у монголов.

— Самые знаменитые и знающие китайские ученые, написавшие прославленные сочинения, говорили, что на войне главные правила для полководца: хитрость, изобретательность и обман...

— Мудрые правила! — заметил Бату-хан.— Но это еще мало!

— Все прославленные китайские полководцы отличались именно этими качествами. Главное правило воинского отряда — обманывать, быстро передвигаться, вводить в заблуждение противника. Поэтому, будучи сильным — кажись слабым, будучи боеспособным — кажись небоеспо-

собным, если ты к неприятелю близок, кажись, будто ты далек от него, и будучи далек — показывай вид, будто близок.

Бату-хан внимательно слушал дальнейшие разъяснения учителя китайца и наконец сказал:

— И это все нужное, чтобы стать великим полководцем? Ты не учитель воинского искусства, а слепая летучая мышь!

Он покосился на Сартака: тот сидел с полуоткрытым ртом и сонными глазами.

Бату-хан встал. Китайский учитель, прервав свою речь, несколько раз поклонился. Мы вышли из шатра. Звездное покрывало простерлось над нами. Кругом, и вблизи и далеко, мелькали огоньки костров. Бату-хан сказал:

— Теперь ты видишь, может ли из моего сына вырасти настоящий джихангир, повелевающий народами... Кому верить? На кого, на чьи железные плечи переложу я часть своих забот? Мы недавно прошли по земле урусов. Я не доверяю этому великому племени, которое, как гибкое дерево, гнется, но не ломается. Я истреблял их без жалости, а мне доносят, что они снова поднимают голову, что они строятся, они собирают отряды. Я потерял на их земле слишком много своих лучших воинов, надеясь раздавить урусов навсегда. Что с того, что я разрушил и сжег Кыюв! Я понес там огромные, незаменимые потери. Кыюва больше нет. Вместо богатейшей столицы — гора, покрытая трупами, которых так много, что мы, непобедимые завоеватели, не могли исполнить нашей священной обязанности — устроить погребальный костер павшим в битве. Холмы Кыюва покрыты десятками тысяч трупов, где перемешались воины и наши и урусов, вместе с их женщинами и детьми, бившимися до последнего дыхания...

Теперь я хочу расширить и укрепить столицу созданного мною царства Небесной Орды Кечи-Сарай. Среди пленных, захваченных мною в Кыюве и других городах урусов, я приказал отобрать тех, кого они называют «умельцами». Эти люди знают всяческие ремесла и могут быть нам полезными.

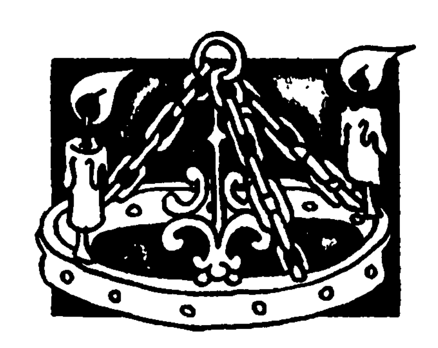
Меня вызывают на мою далекую родину, в Каракорум, на выборы нового великого кагана всех монголов, но я туда не поеду. У меня новая родина, и это царство я крепко держу в своем кулаке. И если даже меня выберут на курултае великим каганом, я откажусь и посоветую вместо себя избрать правдивого и смелого моего брата хана Менгу. Но я предвижу, что на курултае все подчинятся желанию властной вдовы — правительницы Туракины —

и выберут ни к чему не способного ее сына, злобного хана Гуюка. Но это их дело! Все мое могущество теперь здесь, в степях Дешт-и Кипчака. И я задумываюсь над тем, что станет с созданным мною царством после моего ухода в заоблачные войска Священного Правителя? Разве мой сын Сартак способен натянуть поводья и вздернуть на дыбы могучего монгольского коня? Чья железная рука удержит и сохранит для нас эти огромные завоеванные мною земли? Кому я их передам? Меня покинул в походе коварный Гуюк-хан — это хорошо! Но от меня ушел и тот, кто меня воспитал,— старый Субудай-багатур, и тот, кого воспитал я, надеясь, что он станет моей верной опорой и помощником — молодой Иесун Нохай. Вчера ты мне сказал, что тоже от меня уходишь... А еще постоянной тревожной тенью стоит на севере молодой коназ Новгородский Искендер. А вдруг он двинется сюда со своим войском? Эти думы терзают меня днем и ночью. Но о них не должен знать ни один человек. Темным и беспокойным кажется мне будущее моего царства...

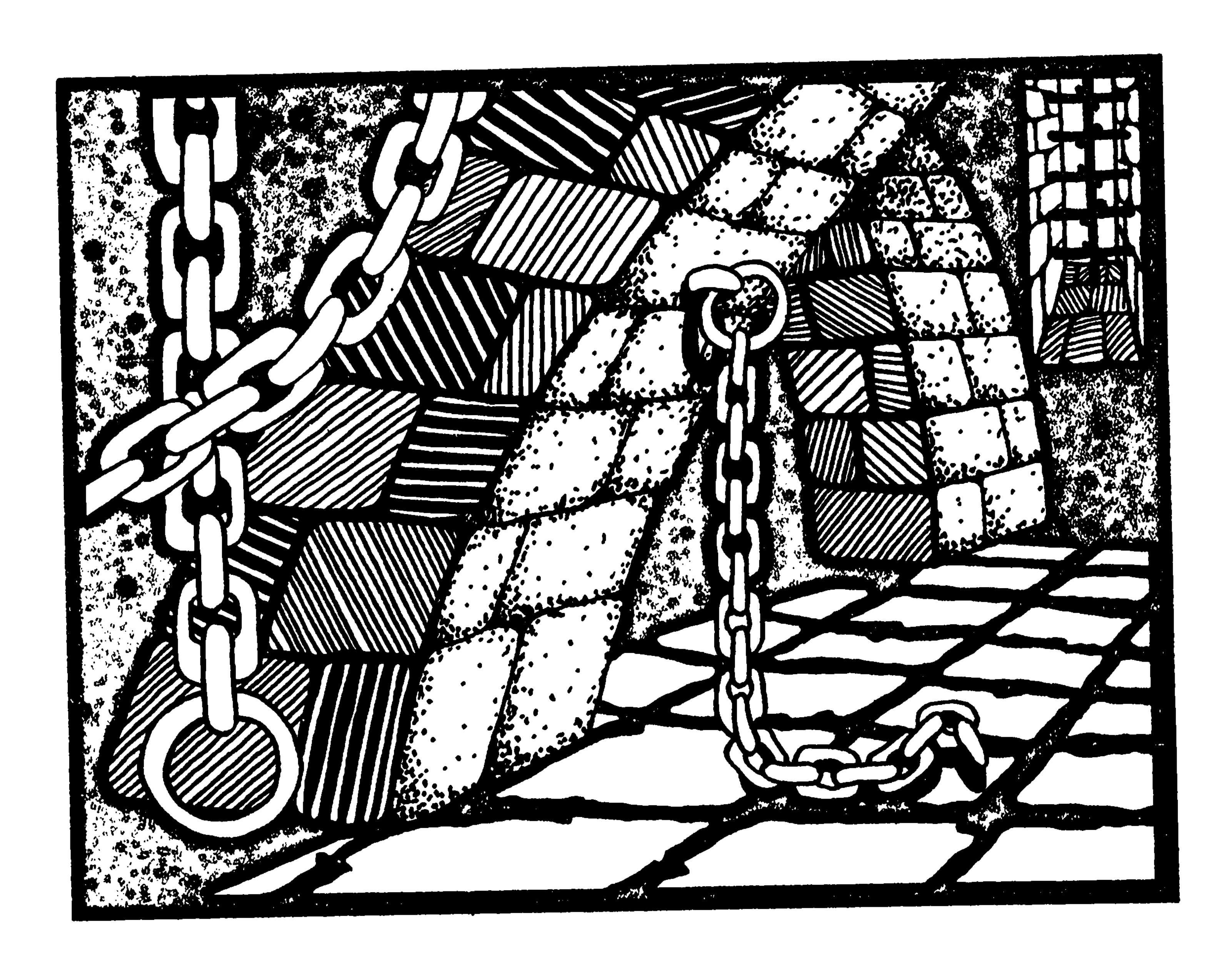
Это была моя последняя беседа с Бату-ханом.

Теперь, заканчивая эту книгу и вспоминая все, что я слышал и видел за эти страшные годы, я могу только пожелать моим будущим читателям, чтобы им не пришлось испытать самое ужасное, что может быть в нашей жизни,— всесокрушающего урагана жестокой и бессмысленной войны».

1940—1951



РАССКАЗЫ



В ОРЛИНОМ ГНЕЗДЕ «СТАРЦА ГОРЫ»

БАШНЯ ДЖИННОВ

Застигнутые бурей в Курдских горах, видя, как быстро надуваются мелкие ручьи, обращаясь в пенистые бешеные водяные валы, как по склонам летят и прыгают мелкие камни, точно выпущенные из пращи, как низвергаются только что возникшие водопады, промокшие спутники уже считали себя почти погибшими, ожидая последнего, главного вала — «силя», который огромной водяной струей прорвется сквозь ущелье, неся в своих клокочущих недрах деревья, вывернутые с корнями, пляшущие камни, перепуганных диких животных — медведей, пантер и оленей — вместе с неудачливыми охотниками, оказавшимися на пути водяного шквала.

Поэтому путники особенно обрадовались, заметив в стороне, на склоне горы, полуразвалившуюся древнюю каменную башню.

— Абд ар-Рахман! Там наше спасение! — крикнул Дуда, обтирая рукавом свою намокшую бороду.— Скорее укроемся среди этих развалин, посланных нам аллахом!

Все торопливо поднялись по тропинке к подножью башни, окруженной полуразвалившейся оградой из больших камней.

Абд ар-Рахману показалось, что какое-то существо мелькнуло впереди и укрылось в башне. «Кто это? Пастух или охотник, а может быть, один из разбойников, подстерегающих караван? Нет ли там еще других?» Но думать было некогда. Готовый ко всему молодой арабский посол подошел к древней постройке.

Никаких признаков жизни в башне не замечалось. Сквозь провал в стене, заросший диким колючим кустарником, виднелось мрачное подземелье, куда не проникал дождь. Там было достаточно светло, чтобы разглядеть покрытые пеплом угли, черепки разбитой глиняной посуды и вязанку хвороста.

— Ведь мы идем не по главному караванному пути,— сказал шепотом Дуда.— Коварный курд, наш проводник, нарочно привел нас сюда, в дикое, глухое место. Я предчувствую, что, в дополнение к буре, вскоре сюда проберется шайка курдских разбойников и мы не сможем выполнить нашу задачу — передать «салям» халифа владыке татар.

— Я готов ко всему,— ответил, как всегда, беспечно Абд ар-Рахман.— Но больше всего я верю в мою счастливую звезду и в твою хитрость, мой обремененный знаниями, несравненный учитель. Горевать еще рано. Лучше позаботимся поскорее развести огонь. Хворост сухой, и скоро мы там обогреемся.

Проводник-курд быстро, с помощью кремня и кресала, высек огонь; затлел кусочек трута, вспыхнул хворост, и вскоре в подземелье разгорелся небольшой костер. Тем временем Дуда вместе с погонщиком провели двух верблюдов под камышовый навес. Там же стреножили и привязали обоих коней.

Буря продолжала еще свирепствовать. В подземелье все опустились на каменные плиты вокруг костра.

Один Дуда, полный тревоги, продолжал ходить вокруг башни, обследуя стены и стараясь прочесть надписи, нацарапанные на замшелых камнях. Вернувшись в подземелье, он развесил свой широкий плащ и полез к черной нише в стене, но стремительно отскочил, когда там, шипя, показалась голова большого ушастого филина с круглыми желтыми глазами.

— Плохое место: гнездо шайтана! — сказал проводник, ставя на угли медный котелок с мутной водой. Он достал из походной сумы муки и кусок вяленой баранины, опустил в котелок и стал помешивать похлебку.

Дуда, по своему обыкновению, которому он не изменял в течение всего пути, зажег масляный светильник, поставил его на каменный выступ стены и уселся под ним на корточках. Он раскрыл перед собою священную книгу и стал записывать на полях и на вложенных в нее длинных листках все, что путники видели и пережили за последние дни. Он писал арабской вязью, но слова были иного, непонятного языка. Когда, бывало, любопытные заглядывали в священную книгу, Дуда всегда им объяснял, что пишет на языке древних магов заклинания и молитвы, чтобы отгонять злобных джиннов, старающихся погубить мирных путников, насылая на них нежданные беды.

Вот что на самом деле писал Дуда:

«Мы выехали из славного города Багдада, столицы расслабленного и слишком недальновидного халифа Мустан-

сира, который своей беспечностью погубит и столицу правоверных, и весь халифат. День нашего выезда был радостным. Предзнаменования нам обещали благополучный и удачный путь. Ни одна женщина нам не пересекла дороги, и над нами в синем небе чертил широкие круги большой орел.

Друзья юного Абд ар-Рахмана примчались из его родного кочевья на отборных клейменых аргамаках самых древних, славных конских родов. Когда мы выехали на равнину, все провожавшие нас удальцы устроили в честь уезжавшего друга «фантассио». Они носились наперегонки, скакали, стоя на седлах, и в это время метали в воздух камышовые дротики, подхватывая их на скаку. Все пели боевые песни, к вечеру друзья распрощались, пожелав Абд ар-Рахману удачи и славы.

В дороге я убедил Абд ар-Рахмана никогда не пренебрегать осторожностью и хитрыми уловками. Зная, что нам будут встречаться хищные и злые люди, желающие порыться в наших переметных сумах, прорезать их снизу и вытащить ценные вещи, мы поэтому на дно переметных сум насыпали жареного проса и туда же положили кожаные свертки с подарками халифа.

В каждом селении и кочевье, которое мы проезжали, мы расспрашивали обо всех дорогах. Мы указывали город, к которому будто бы направляемся, а отъехав немного, отпускали проводников, сворачивали с пути и ехали совершенно в другую сторону. Ночевали в укромных местах между скалами.

Мы встретили караван паломников-хаджей, возвращавшихся из святого города Мекки. Они шли медленно, распевая священные песни. Хотя все они считаются теперь праведниками-хаджи, но многие из них были так же любопытны и вороваты, как простые смертные, и всеми способами старались разузнать, что хранится в наших дорожных сумах. Они вымаливали подачки и особенно еду.

Если бы мы одаривали всех, то у нас не осталось бы ничего, с чем бы мы могли добраться до стоянки великого татарского хана. Несмотря на то, что двигаться вместе с караваном паломников было более безопасно от разбойников, все же мы среди ночи оставили славных хаджей и поехали дальше одни.

Сперва мы направились дорогой на Казвин, славный, богатый город. По пути нам встречались курдские селения. Я объявил как-то, что я лекарь, исцеляю безнадежно больных, возвращаю старикам молодость и силы, а меня сопровождает мой молодой помощник.

Все окрестные ханы, услышав это, прискакали лечиться у меня, привезли своих больных жен и всяких свежих и сушеных плодов, риса и ягнят. Все требовали, чтобы мы их лечили. Приобретя такую славу, я стал опасаться, что мы уже не выберемся от курдов. Одной ночью, при ярком лунном свете, мы направились сперва на север, потом на восток и попали во владения могущественного царства ассасинов — тайных убийц, возглавляемых загадочным и недосягаемым «Старцем Горы».

Один охотник-курд взялся нас снова вывести на большую дорогу, ведущую к Казвину, и мы попали в ущелье, где разразилась небывалая буря. Потоки воды грозили нам гибелью. Мы укрылись в древней башне, где я при тусклом огоньке светильника пишу эти строки. Удастся ли нам спастись? Я верю в бога, который нас не оставит своей милостью, а еще больше полагаюсь на нашу находчивость и упрямство...»

Так писал Дуда и вдруг замер в испуге. Ему послышался свист, потом другой. Еще свист с противоположной стороны.

— Кажется, мы в западне! — прошептал Дуда.

— Я без боя не сдамся,— тихо ответил Абд ар-Рахман и протянул руку к копью.

— Мы пропали! — застонал курд-проводник.— Это разбойники-карматы[1], слуги «Старца Горы».

Хриплый голос властно проревел из той ниши, где недавно шипел филин:

— Путники, не шевелитесь! Не пробуйте убежать, иначе прервется, как нитка, ваша жизнь.

Дуда, схватив горящую головню, закричал:

— Кто смеет такими дерзкими словами оскорблять посланника халифа, потомка пророка Мухаммеда, да будет над ним величие и мир!

Абд ар-Рахман вскочил, готовый к бою.

— Путник, не шевелись, не шевелись! — раздались голоса, и во всех проломах стены показались люди с натянутыми большими луками. Длинные стрелы были готовы послать смерть. У этих людей с черными курчавыми бородами из-под остроконечных высоких овчинных шапок блестели настороженные глаза.

---

[1] Карматы, или ассасины,— могущественная мусульманская (шиитского толка) секта, своими убийствами терроризировавшая в течение 150 лет все государства Ближнего Востока. Они применяли одуряющее курение гашиша, добываемого из сока конопли. Крестоносцы первые прозвали курильщиков гашиша карматов ассасинами, после чего во французском языке это слово получило значение вообще «убийц».

— Зачем вы прибыли в эти запретные владения грозного «Старца Горы»?

— Именно к нему мы и едем! — не колеблясь, сочинил Дуда.— Мы посланы священным приказом халифа всех правоверных Мустансиром, да укрепится его власть и величие! И мы должны положить в руки владыки этих гор послание халифа и редчайший подарок, им посылаемый.

Тот же голос снова проревел:

— Покажите немедленно этот подарок и послание халифа!

Абд ар-Рахман закричал:

— Эй ты, храбрый удалец, запрятавшийся в совиной дыре! Выходи-ка сюда, и я испытаю крепость твоего заржавленного меча.

Все затихло, и еще раз прохрипел голос из темноты:

— Отвечайте то, что вас спрашивают! Скажите ваши имена. Докажите, что вы говорите правду!

— Прежде чем вам отвечать, объясните, кто вы, нападающие на мирных путников? Кто дал вам право угрожать нам?

Голос из темноты ответил:

— Вы — наши пленники, а мы — слуги потомка великого Абдаллаха ибн-Меймуна Каддаха. На этой горе находится его неприступный дворец Дар-аль-Хиджре. Всякий путник, проезжающий через этот край, должен оставить у подножья горы достойный дар, и тогда Ала-ад-Дин, великий Даый[1], либо разрешит ехать дальше, либо прикажет прекратить навеки путь дерзких.

Дуда ответил:

— Теперь я понял, что мы находимся во владениях великого многознающего учителя и защитника всех страждущих, правнука великого Хасана Саббаха... Мы счастливы, что прибыли наконец к той священной горе, которую мы разыскиваем уже сто дней. Ты расскажешь всезнающему учителю, что его желает навестить и поцеловать перед ним землю славный Абд ар-Рахман, потомок прославленного Мухаммеда, и ученый лекарь Дуда, прозванный Праведным, излечивающий все болезни.

Люди с натянутыми луками отступили обратно в темноту. Затем хриплый голос снова сказал, уже более милостиво:

— Отдыхайте спокойно до утра и набирайтесь сил. Утром вам придется сделать трудный переход по скалам и подняться на вершину горы, где находится крепость и дворец Дар-аль-Хиджре.

---

[1] Даый — посвященный в религиозные таинственные обряды.

Утро настало солнечное. В бирюзовом небе кружились два орла. Стаи ворон и пестрых сорок пролетали с карканьем в поисках трупов, выброшенных на прибрежные скалы ночным ураганом.

Караван снялся со стоянки, и все двинулись в путь, направляясь в таинственное обиталище владыки карматов.

Дорога тянулась по склону горы. Видно было далеко, как тропинка, едва заметная на узком карнизе, высеченном в скале, вилась над мрачным ущельем, где в туманной глубине бурлил еще не успокоившийся после бури поток. Коням и особенно тяжело навьюченным верблюдам приходилось двигаться весьма осторожно, так как часто встречались поперечные трещины, размытые дождем, где всякая ошибка грозила падением вниз, в пропасть.

Далее путники вступили в дикий, труднопроходимый лес. Густо разросся невысокий искривленный дубняк, среди которого поднимались стройные стволы вязов, широко раскинувши свою пышную зелень. Между деревьями разрослись кусты высокой цепкой ежевики, сплошной стеной загородившие доступ в лес, где, по словам проводника, пасутся пятнистые кабаны и их подстерегают хищные тигры.

Чем выше поднималась дорога, тем шире открывались голубые дали, показывались нагроможденные в диком беспорядке вершины горных хребтов. Дорога то спускалась в седловину, то взбиралась на перевал.

Два больших черных грифа пронеслись над головами. Один взмывал широкими кругами, поднимаясь все выше. Второй несся за ним вдогонку. Первый держал что-то в когтях и, когда приблизился другой, выронил свою ношу. Преследовавший гриф прямой стрелой скользнул вниз и уже над самой скалой снова взлетел кверху.

Перед Абд ар-Рахманом упала на дорогу оброненная грифом голова газели с двумя черными рожками, видимо, разбившейся во время бури. Один глаз, черный с синевой, был полузакрыт. Рыжеватая шелковистая шерсть уже обсохла и блестела на солнце.

Проводник поднял голову за рожки и подал ее Абд ар-Рахману. Подъехавший Дуда сказал:

— Небо шлет тебе свой привет. Это означает, что тебе предстоит большая удача.

Абд ар-Рахман отдал голову курду:

— Сегодня вечером ты эту голову разделишь с вожаком верблюдов.

— А ты, почтенный ага, разве не хочешь отведать ее?

— Меня накормит владыка этих гор. Аллах, мой покровитель!

На одном перевале шедший впереди кармат поднял руку с копьем и приказал всем остановиться. Он торжественно сказал:

— Аламут!

Опустившись на колени, он склонился до земли. Другие карматы тоже выразили свое почтение к святилищу их владыки. Подойдя к Абд ар-Рахману, вожак сказал вполголоса:

— Может быть, ты раздумал? Немногие приезжают в это орлиное гнездо «Старца Горы», но только очень счастливым удается вернуться обратно под свой родной кров.

— Хан двух слов не говорит. Вперед! А там будь что будет!

Абд ар-Рахман пристально всматривался, стараясь разглядеть всю котловину между двумя вершинами горы. Он старался узнать, сколько тропинок ведет к этому, укрывшемуся среди диких хребтов становищу загадочного «Старца Горы».

«Тропинок кругом несколько,— думал он.— Старый хитрый барс, вероятно, сам озабочен тем, чтобы иметь возможность ускользнуть от врагов. Некоторые тропинки ведут на соседние хребты. Одна опускается в глубокое ущелье, и, может быть, она наиболее удобна для бегства. На хребтах путники всегда заметны издалека... Что же представляет собой грозный «Старец Горы»? Нет такого человека, которого нельзя было бы очаровать или одурачить. Нужно только избрать наиболее верный способ...»

Аламут казался естественной крепостью. На четырех сторонах небольшой котловины возвышались четыре каменные сторожевые башни, где показывались часовые. Ряд низеньких каменных зданий с плоскими крышами полукругом опоясывали площадь. Одно здание, вероятно, главное жилище старца, было двухъярусное, с четырьмя балкончиками. Посреди плоской крыши поднимался остроконечный минарет, выложенный сверкающими на солнце изразцами. На балкончике минарета показался муэдзин, запевший тонким, высоким голосом обычный утренний призыв к молитве.

Прибытие нежданных путников вызвало смятение в мирно безмолвствующем Аламуте. Вооруженные ассасины сбежались со всех сторон и выстроились в ряд перед главным зданием. Несколько трубачей изо всех сил стали подавать сигналы, дудя в длинные кожаные трубы.

Главное здание было огорожено каменной стеной в два человеческих роста. Тяжелые ворота, обитые железом, охраняли вход.

Слуги в черных остроконечных овчинных шапках, подпоясанные кожаными ремнями, на которых висели широкие кривые ножи, подбежали к путникам и взяли под уздцы лошадей. Дуда спустился на землю первым, степенно подошел к Абд ар-Рахману и почтительно взялся за его стремя. С низким поклоном он хотел помочь своему ученику, но тот легко соскочил с коня и шепнул Дуде:

— Требуй помещений для почетных гостей! Требуй, а не проси!

Дуда, проведя руками по бороде, сложил их перед собой и произнес молитву, повернувшись лицом к востоку, где солнце уже ярко светило, поднявшись над голубыми скалистыми хребтами.

Ассасины, с копьями у ноги, стояли полукругом. К ним подбегали все новые. С раскрытыми ртами следили они за каждым движением прибывших редких гостей. Дуда обратился к одному ассасину, казавшемуся начальником: голова его была украшена огромной чалмой из индийской узорчатой ткани:

— Где помещение для почетного посла от великого халифа правоверных Мустансира Багдадского? Он послан к владыке вашему — да будет над ним мир и нескончаемые победы!

Начальник оглянулся, поговорил с ассасинами и ответил:

— Сперва мы должны проверить те грамоты, которые везет этот неведомый удалец, чтобы убедиться, насколько он действительно почетный посол.

Дуда воскликнул:

— Я «кятиб», секретарь и великий хранитель драгоценных грамот, бережно везу их и покажу только после того, как мой высокий повелитель совершит нужные молитвы и омовения, указанные пророком Мухаммедом,— величие над ним и почет! Когда он облачится в полагающиеся для приема одежды и предстанет перед взорами вашего достопочтенного владыки,— слава ему и многие годы безмятежного процветания! Если же вы не укажете нам такого помещения, то мы сейчас же повернем наших коней и направимся снова в трудный путь через эти горы, которые мы прошли, несмотря на чрезвычайные тяготы и опасности.

Начальник так же, как Дуда, провел ладонями по своим щекам, сложил их перед лицом, произнес молитву и тихо дал приказание окружавшим его людям. Несколько ассаси-

нов бросились бегом к зданию, находившемуся в стороне от главного дома. Другие ассасины подбежали к коням и верблюдам.

— Я вас прошу следовать за мной в этот приют для почетных гостей, а верблюды будут отведены в другое здание.

— Нет! Верблюды будут находиться тоже возле нас,— резко ответил Дуда.— В переметных сумах на верблюдах находятся священные предметы и все грамоты. Чужие руки не посмеют их коснуться. Мы не расстанемся с верблюдами!

— Следуйте за мной,— сказал начальник.— Я, великий визирь владыки этих гор, клянусь, что ничто не грозит безопасности вашей и всех вьюков, которые следуют за вами.

— Аджаб, аджаб! (Удивительно!) — воскликнули ассасины.

Весь маленький караван пошел к железным воротам, которые со скрипом и скрежетом отворились. Близ крайних небольших домиков, предназначенных для почетных гостей, все вьюки были сняты, перенесены внутрь одного из них: там оказалась узкая длинная приемная, пол которой был покрыт коврами вдоль стен. Посреди одной стены находилось углубление, выложенное камнем,— обычный у горцев очаг, где сейчас же были зажжены пучки сухого вереска.

Проводник-курд был уведен ассасинами куда-то для допроса, а погонщик верблюдов, почти черный араб, остался возле животных, опустил их на колени и стал жалобно вопить, требуя корма для них и себя.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТАЙНЫХ УБИЙЦ

Почтительный слуга в овчинной остроконечной шапке, в черном чекмене, перетянутом матерчатым кушаком, и в широчайших, как пузыри, синих шароварах безмолвно вырос перед Абд ар-Рахманом. В левой руке он бережно держал тремя пальцами красный плод граната, в правой — плеть с гирькой на конце. Многозначительно поднимая и опуская брови, он доложил как что-то очень важное, что «защитник правой веры и бесчисленных карматов» готов допустить пред свои очи блистательного посла халифа багдадского,— да будет над ним величие и мир!

Слуга объяснил, что гранат дарится послу как знак благоволения великого Даыя Ала-ад-Дина к приехавшему гостю, а плеть означает, что если гость не выполнит предлагаемого, то у владыки Аламута имеются все возможности заставить гостя покориться.

Абд ар-Рахман ответил коротко:

— Пеки! (Ладно!)

И оба путника направились на прием к владыке ассасинов.

* * *

В приемную залу с нарисованными на стенах павлинами торжественно вошли двое слуг, неся на вытянутых руках подносы, покрытые расшитыми тканями. На одном стояла большая серебряная чаша, окруженная девятью маленькими серебряными стаканчиками. На другом лежал кривой кинжал дамасской узорчатой стали с резной рукоятью из дымчатого мекского камня.

За слугами торжественно выступал в парчовом халате точно окаменевший Дуда, в огромном белом тюрбане, подпоясанный серебряным поясом, на котором висели кожаный продолговатый калямчи (футляр для камышинок — калямов) и бронзовая чернильница. В руках он нес, прижимая к груди, наполовину завернутую в шелковый цветной платок священную книгу, продиктованную аллахом своему посланцу Мухаммеду. Весь Коран, в кожаном переплете с серебряным тиснением, был размером не больше ладони и написан искуснейшим багдадским каллиграфом. Последним шел Абд ар-Рахман легкой походкой джигита-охотника.

— Берикеля! (Молодец!) — раздался чей-то тихий возглас восхищения.

Низкий широкий трон на точеных ножках, обитый пестрым бархатом. На высокой спинке трона вышитое золотыми нитками изображение летящего орла. На троне, подобрав под себя ноги в шерстяных полосатых носках, страшный, лохматый старик в черной овчинной остроконечной шапке, надвинутой на брови. Седые растрепанные космы свесились на лицо. На щеках, покрытых красными пятнами, седые клочья бороды. Правая рука лежала на подлокотнике кресла, и пальцы, унизанные алмазными перстнями, быстро шевелились. Абд ар-Рахман понимал, что глава ассасинов ждет: «Поцелует ли гость его правую руку?» Но упрямая гордость вольного кочевника ему под-

сказывала: «Ты не поцелуешь этой, залитой кровью, орлиной лапы!»

Приблизившись, Абд ар-Рахман остановился. Слуги с подарками встали сбоку. Дуда, подойдя к трону, опустился на колени и поцеловал ковер.

Старик вдруг выпрямился, встал и взял из рук Дуды священную книгу. Громко произнеся обычную молитву, он передал Коран одному из приближенных, с огромным тюрбаном на голове (знак учености). Затем он перебрал другие подарки и спросил:

— Для чего этот нож? И что означает изображение двух соединенных рук на серебряной чаше?

Абд ар-Рахман склонился и ответил:

— Эти две соединенные руки означают, что халиф багдадский Мустансир желает иметь с тобой долгую и прочную дружбу, которая будет поддерживаться и в мире и на войне силою оружия, в знак чего посылается этот кинжал!

— Прекрасно сказано, прекрасно! — сказал старик и снова взобрался на трон.— Садитесь, почтенные гости. Эй, мальчики, принесите подушки!

Слуги разложили перед троном подушки. Абд ар-Рахман и Дуда уселись на них.

Старик начал расспрашивать о здоровье халифа, о его возрасте, сколько он имеет коней и любит ли их. Спросил, как зовут почтенных гостей и куда они держат путь.

Услышав, что Абд ар-Рахман едет в недавно созданную боевую стоянку грозного татарского хана, старик фыркнул и стал почесывать пятерней свою ногу.

— Как вы решились отправиться в берлогу хищного свирепого тигра? Какая нужда могла толкнуть вас на такую опасность?

— Я обещал халифу, моему высокому покровителю, что буду сопровождать страшного, до сих пор непобедимого Бату-хана в его походе на „вечерние страны“. Я обещал также халифу, что буду посылать ему с особыми гонцами донесения обо всех битвах, победах или завоеваниях городов, которые предстоят татарскому войску и о которых знает пока только аллах всеведущий.

— Говори, говори все, что ты знаешь и слышал о татарском хане. Для нас, защитников истинной веры, провозглашенной пророком Мухаммедом,— да будет над ним величие! — очень важен этот поход нечестивых язычников-монголов, потому что они идут также на еще более нечестивых наших врагов — крестоносцев. Эти шакалы давно пытаются ворваться в наши земли и перекусить горло всем мусульманам.

— Пока я знаю только, что аллах — слава ему и величие! — разгневался на своих верных сынов и послал на них страшную казнь в виде безжалостного повелителя татар, который не дает никому пощады и оставляет на своем пути угли, политые кровью и слезами.

— Нужно его перехитрить,— прошипел старик.— Нужно его убедить, что для его же славы и величия он должен объявить себя правоверным. Тогда все народы, исповедующие учение пророка Мухаммеда,— молитва над ним и привет! — объединятся с монголами, над всеми протянется монгольская рука, и тогда мы провозгласим Бату-хана имамом...

— И махди![1] — добавил Дуда, скромно опустив глаза.

— Если Бату-хан действительно искренне примет веру, оставленную праведным Алием[2], то, может быть, в его лице мы увидим победоносного Махдия...— тут «Старец Горы» осекся, приподнял пальцем кверху свою правую «бровь сомнения» и строго уставился на Дуду.— А ты кто такой, что так смело произносишь это священное для всех правильно верующих имя?

Дуда, поняв, что он сказал что-то лишнее, повернулся к Абд ар-Рахману:

— Может быть, ты, смелый потомок Альманзора, вместо меня лучше ответишь на вопрос всеведущего, прославленного и всемогущего Ала ад-Дина Хуршаха?

Абд ар-Рахман сказал:

— Это мой секретарь, кятиб, ученый советник и лекарь, отмеченный в Багдаде как источник мудрости.

— Ты лекарь? — прервал старик.— Это прекрасно! Мне очень нужен знающий, опытный лекарь. У меня столько болезней, что я не нахожу себе покоя ни днем, ни ночью. Какие болезни ты лечишь?

— Я излечиваю все болезни, о которых говорит Абу Али Ибн-Сина[3] в своей превосходной книге «Канун-Фит-

---

[1] Махди — обещанный легендами мусульманский пророк и вождь, который должен объединить всех мусульман и принести им победу над неверными.

[2] Алий — зять пророка Мухаммеда, отколовший от «правоверных» мусульман (суннитов) значительную секту последователей (шиитов), которые в течение столетий, до настоящего времени, враждовали друг с другом.

[3] Ибн-Сина, известный в Европе под именем Авиценны,— знаменитый ученый родом из Бухары, составивший медицинскую энциклопедию «Канон», в которой собрал все имевшиеся на Востоке сведения по медицине, сохранив их тем самым для мировой культуры. Согласно некоторым древним арабским писателям, он тоже состоял членом секты исмаилитов (шиитов), равно как и его отец.

тибб», и он же указывает найденные им целебные средства, которые совершенно излечивают болезни и объясняют причины, почему возникает та или другая боль в теле.

— Мы хорошо знаем Абу Али Ибн-Сину. Он тоже был наш, правоверный, кармат, федавий[1], и брат и отец его тоже были наши карматы. А ты можешь ли разыскать нужные лекарства, которые меня вылечат и на которые указывает этот мудрец? Я тебя за это осыплю своими милостями, всеми, какие только может пожелать сын Адама.

— Лекарства не для чего долго искать,— ответил Дуда.— Главные из них я обычно храню и вожу с собой. И если только злоумышленники не тронут наших походных мешков, то я охотно тебе их предоставлю.

— Слава аллаху, который привел тебя ко мне! — воскликнул старик.— Отныне я назначаю тебя моим придворным лекарем, и ты навсегда останешься здесь. А твой молодой спутник может свободно поехать дальше один.

— Я сделаю все, что могу,— возразил Дуда,— но не из-за тех милостей, которыми ты хочешь меня осчастливить, а по долгу человеколюбия. Остаться же здесь, у тебя, я не имею права. Я обязан выполнить приказание халифа.

— Не шути со мной! Ты, вероятно, и не подозреваешь, какие беды обрушатся на тебя, если ты осмелишься не выполнить моей воли.

— Что промолвил наш владыка, то свято! — сказал один из приближенных.— И ты не пожалеешь, что остался.

— Ты не пожалеешь! — воскликнули хором карматы, сидевшие полукругом по сторонам трона.— Ты увидишь ночи восторгов, сладость безумного опьянения, полет в райские сады! Никто до сих пор не пожалел, что остался с нами, и ты, посвященный в звание федавия, испытаешь высшее блаженство на земле.

— Когда ты начнешь лечить меня? — спросил строго владыка ассасинов.— Я не могу ждать, страдания мучают меня беспрерывно.

— Сегодня я разотру мази, приготовлю лекарство и завтра явлюсь к тебе.

— Тогда я разрешаю вам сейчас меня покинуть!

Выказав все принятые обычаем знаки почтения, Дуда и Абд ар-Рахман покинули приемную «Старца Горы» и, предшествуемые двумя слугами, прошли в отведенный для них домик.

---

[1] Федавий — отдавший себя аллаху, «посвященный».

МИЛОСТЬ ИЛИ ЗАПАДНЯ?

Когда оба арабских путника отошли от дворца владыки ассасинов и часовые остались позади, сопровождавший их мрачный слуга в черном чекмене приблизился и тихо сказал:

— Наш повелитель приказал вам передать, что он очень доволен беседой с вашей милостью и приглашает вас обоих прийти сегодня вечером в запретный для всех непосвященных сад наслаждений.

— Какой сад? — удивился Абд ар-Рахман.— Где здесь, между голыми скалами, может вырасти сад?

— Есть райский сад, и я вас туда проведу после захода солнца, когда тени покроют вас своим плащом от всех любопытных с жадными глазами.

Безмолвный слуга снова зашагал впереди и довел их до предназначенного для гостей дома.

Оставшись наконец одни, оба скитальца принялись обсуждать, как им быть. Не отказаться ли? Не приготовлены ли там крученые веревки, чтобы облегчить путь в тот райский сад, откуда нет возврата?

— Это западня! — говорил Дуда.— Они хотят нас провести подальше от «любопытных с жадными глазами», чтобы мы бесследно и неведомо ни для кого исчезли из этого скорбного мира.

— А что же мы можем сделать?

— Бежать! — говорил Дуда и трясся мелкой дрожью.— Бежать, не теряя времени, побросав и верблюдов, и подарки халифа. Пробраться пешком, перелезая через скалы, в сторону моря к городу Трапезунду, где спасут византийские греки.

— В первый же день нас выследят дикие курды, схватят, вытряхнут нас из наших одежд и сбросят в ущелье,— отвечал спокойно Абд ар-Рахман.— Чего ты боишься, Дуда Праведный? Пропой семью семь молитв скороприходящему Хызру и безропотно ожидай решения своей судьбы. А я, наоборот, хочу пойти в сад наслаждений. Может быть, мы и в самом деле увидим дивные рощи рая Мухаммеда, полные прекрасных сказочных гурий, где мы испытаем какое-нибудь новое, неизвестное до сих пор наслаждение?

Помолчав, Абд ар-Рахман добавил:

— Почему мы должны этого избегать? Я думаю, что кровавый, огненный Иблис или Джебраил[1] ждут нас уже

---

[1] Иблис — дух зла в мусульманских поверьях; Джебраил — добрый и светлый архангел Гавриил.

давно для пыток и казней в своем царстве последнего Страшного суда. Так будем радоваться, пока мы еще можем двигаться, петь и смеяться. Не ты ли сам меня всегда учил: «Иди с тем, кто тебя зовет!» Почему же ты сегодня не хочешь отозваться на приглашение «Старца Горы»? Кто другой сможет потом рассказывать своим внукам: «Я вместе с ужасным «Старцем Горы» Ала ад-Дином увидел то, что обыкновенным смертным увидеть не удается».

Когда с заходом солнца длинные тени проползли по дворцовой площадке, молчаливый слуга уже стоял возле двери почетного домика. Абд ар-Рахман и ученый, но робкий Дуда выждали еще немного, пока солнце окончательно не погрузилось за горы и в темных ущельях стали плавать голубоватые клочья тумана.

Тогда они вышли из дома, и слуга повел их к горному перевалу. Откуда-то из темноты вынырнули тени сторожевых ассасинов. Они бесшумно подошли, подняв копья.

— Назад, или увидишь смерть!

Слуга позвонил крохотным бубенцом и тихо произнес условленный пропуск. Стражники отступили на шаг назад.

— Проходите!

С вершины перевала открылся вид на небольшую долину, с трех сторон окруженную скалами, а с четвертой была пропасть, наполненная до краев, как чаша молоком, белым туманом. Взошла луна, в ее бледном свете можно было рассмотреть густой сад с правильными рядами деревьев. Посреди сада над прудом взлетала струя фонтана. Впереди показалось продолговатое белое здание, перед которым горели огоньки плошек, обычно зажигаемых в честь почетных гостей. На крыше дома тоже засветилась цепочка веселых огоньков.

— Какой заманчивый приют устроил для себя суровый владыка тайных убийц! — тихо сказал Абд ар-Рахман.— А мне здесь нравится! Пока ничто не предвещает нашей близкой кончины!

— Это хитрая западня! Ловушка для доверчивых! — ворчал Дуда.— Хызр скороприходящий! Охрани нас своей благостной помощью!

Послышались нежный голос и тихий перебор струн лютни. Перед входом в здание на ковре сидела певица в белом, как лунный свет, легком платье. Она тихо пела персидскую песню. Рядом с ней крохотный уродец-карлик с очень большой головой и страшным лицом выбивал быструю глухую дробь на небольшом барабане.

Приблизившись, Дуда прошептал:

— Покажи щедрость!

Абд ар-Рахман достал из матерчатого скрученного пояса замшевый кошелек и бросил музыкантам по серебряной монете.

Открылась входная дверь, откуда выскользнули четыре девушки, миловидные, с сильно накрашенными лицами, в узорчатых одеждах и бархатных шапочках, обшитых серебряными бляшками, которые позванивали при каждом движении. С почтительными поклонами, прикладывая руки к груди, они приглашали войти внутрь.

— Почтенные, долгожданные гости! Придите в этот сказочный приют радости, забвения и блаженства!

Дуда и его ученик обменялись взглядами и пожали плечами, как бы говоря: «Ну что же, пойдем! Испытаем нашу участь!»

Внутри оказалась небольшая прихожая, сонный слуга и множество туфель, стоявших парами.

«Значит, гости уже собрались,— подумал Абд ар-Рахман.— Нас будут показывать, как заморских зверей, как диковину».— И он смело шагнул за цветную занавеску.

Большая продолговатая зала. Вдоль стен разложены узкие коврики и камышовые циновки. На каждой цветная ковровая или шелковая подушка.

В глубине, в задней стене, большая ниша. В ней посредине низкое широкое кресло. На его спинке изображение, подобное уже виденному, золотого летящего орла.

По обе стороны ниши с потолка спускались узкие длинные полосы ткани; на них изречения из Корана и загадочные наставления. Два из них поразили Абд ар-Рахмана: «Торопись насладиться сегодняшним днем» и «Мудрый ничему не удивляется!»

Оглянувшись, Абд ар-Рахман заметил, что в зале уже находится много людей. Одни лежали неподвижные, равнодушные ко всему, подложив подушку под голову. Некоторые сидели, перебирая четки, и тихо шептали молитву. Одна из девушек прошла вперед и близ ниши указала два коврика, пригласив расположиться на них.

Откуда-то донеслись нежные звуки: как будто переливы флейты и свирели и равномерные удары в бубен.

Абд ар-Рахман растянулся на коврике и вдруг услышал сдержанный стон. С удивлением он увидел, как лежащий Дуда, закрыв лицо руками, вздрагивает.

Абд ар-Рахман сел возле Дуды. По лицу его наставника текли слезы, и большие капли скатывались по рыжей бороде.

— Что с тобой, дорогой мой учитель? Что огорчило тебя?

— Не расспрашивай меня! Налетели старые воспоминания. Мир полон соблазнов, и мы должны бежать от них, а куда убежишь из этой ловушки коварного Иблиса? — И Дуда снова стал всхлипывать.

— Если нам суждено погибнуть,— ответил Абд ар-Рахман,— так, по крайней мере, последний день мы проведем с достоинством и, наверное, увидим что-либо удивительное. Я не согласен с этим правилом: «Ничему не удивляйся!» Напротив, я люблю удивляться, я хочу бродить по свету, чтобы видеть необычайное, а особенно таких людей, которые своей мудростью или смелостью вызовут мой восторг!

— Ты еще не испытал горьких разочарований, какие пришлось пережить мне за мою долгую скорбную жизнь. Поэтому ты и говоришь как беспечный юноша.

— А я бы хотел до глубокой старости прожить беспечным юношей!

Тихий разговор был прерван хриплыми звуками боевых труб, раздавшимися снаружи дома.

— Сам идет! Сам владыка Аламута направляется сюда! — послышались голоса, и все лежавшие поднялись на колени и опустились на пятки, сложив руки на животе.

Раскрылись двери, и в залу вошли сперва два воина в блестящем вооружении. Они стали по сторонам входа. За ними следовали один за другим несколько придворных. Далее шагали поэты: они отличались большими тюрбанами, концы которых свешивались на левое плечо, на поясе висели калямдары, и под мышкой они прижимали большие книги, в которых были увековечены их вдохновенные песни.

По зале пронесся все усиливающийся шорох приветствий и благопожеланий. Вошел грозный глава ассасинов и на мгновение остановился. Он угрюмо и недоверчиво посмотрел по сторонам, потом двинулся дальше. Правой рукой он опирался на высокий посох с резным набалдашником из слоновой кости, под левую руку его поддерживал великий визирь, почтительно семенивший ногами. Шаги владыки были медленны и внушительны. На бледном лице казалась особенно черной накрашенная борода. Пронизывающие глаза и нахмуренные брови делали лицо грозным.

— Да хранит вас аллах! — повторил он несколько раз и прошел к нише, где опустился в кресло.

Слуга принял от него посох и встал позади. Великий визирь опустился на колени с левой стороны, но тут же вскочил, чтобы оправить недостаточно красиво спускавшиеся складки широкой одежды своего господина. Тот,

погладив бороду и сжав конец ее в кулаке, обратился ко всем бывшим в зале:

— Мои преданные друзья! Сегодняшний день я хотел бы посвятить отдыху от государственных трудов и забот, услышать радостные песни, провести время в сладостной беседе, узнать что-либо новое. Пусть красноречивые бахши сперва споют, радуя слушателей, свои лучшие газели.

Четыре поэта торопливо прошли в нишу, и заметно было, как каждый старался сесть поближе к трону. После короткого безмолвного взаимного отталкивания поэты уселись полукругом.

Каждый по очереди читал нараспев свои стихи. Владыка, вероятно, их уже не раз слышал, потому что рассеянно смотрел по сторонам и даже раза два зевнул. Когда четвертый поэт прочел последнюю свою газель, воспевавшую достоинства и величие владыки Аламута, Дуда вдруг поднялся, быстро прошел почтительными мелкими шажками к трону, поклонился до земли и, поцеловав ковер между руками, попросил разрешения прибавить свою газель к тем божественным песням, которые он сейчас слышал.

— Охотно послушаю песню моего почтенного гостя.

Дуда опустился на колени, пятым в ряду поэтов, и зажал руками свои уши, как это делают муэдзины во время молитвы на минарете. Он откинул назад голову и смотрел вверх, отчего его рыжая борода стояла торчком. Потом он запел необычайно тонким голосом, мало подходившим к его внушительному виду.

Абд ар-Рахман внимательно следил за каждым движением владыки карматов. Сперва крайнее удивление отразилось на его лице и даже испуг, когда Дуда пронзительно запел; потом у владыки открылся от изумления рот, наконец лицо осветилось милостивой улыбкой. Чем дальше, тем больше он выражал свое благоволение, одобрительно кивая головой.

Вот что пел Дуда:

  Слава богу, причине всех причин,
  Распорядителю дел, строителю веков,
  Чье существование необходимо!
Когда великий властитель Аламута,—
Да возвеличит бог помощь его! —
Послал меня к себе и я предстал
  Перед его пронзительным взором,
  То я оробел при виде его величественной осанки.
  Я умилился, взглянув на его прекрасное лицо.
И я понял тогда, что стремился к нему всю жизнь,
Не переставая искать его в моих скитаниях,
Пока это стремление не привело меня к нему.

Молва о нем сопутствовала мне на бесконечных дорогах,
И до встречи с ним я считал все слухи преувеличенными,
Но, увидев его, я убедился, что он прекраснее молвы о нем,
Пока человек не скажет слова,
До той поры его достоинства
Недостаточно заметны, точно затерялись в лесу;
Но не думай, что всякая лесная чаща необитаема,
Может быть, в ней дремлет могучий барс?
И я увидел и понял его, как муравей может понять
Величие горы; и я сказал себе:
Не обольщайся его мягкой улыбкой,
За ней скрывается могучая воля,
Перед которой преклоняются львы.
За ней скрывается проницательный ум,
Которого остерегаются и правители.
Он — море! Ныряй там, когда оно спокойно,
Но берегись его, когда оно запенится!
Волны увлекут тебя в его пучину.
Он достиг неба своей высокой мыслью,
И звезды говорили с ним о своих тайнах,
С ним, мудрейшим и прекраснейшим владыкой Аламута.

Оборвав свою песню на очень высокой ноте, Дуда склонился к ковру и оставался в таком положении, пока владыка не сделал знак своему визирю, и тот поднял Дуду.

Владыка ассасинов сказал:

— Ты понял меня, мои тяжелые труды и мои заботы о людях. И я хочу отблагодарить тебя так, как бы ты сам этого захотел.

— Твое ласковое слово — моя высшая награда! — ответил Дуда.— Единственно, чего я прошу: не препятствуй нашему дальнейшему пути к лагерю великого хана татарского. Я клянусь, что каждый месяц буду посылать тебе подробные донесения обо всем значительном, что мы увидим!..

— Нет! Ты так меня очаровал, что отныне я оставляю тебя навсегда моим постоянным дворцовым лекарем... Но и твой молодой спутник все-таки должен подчиниться правилам, которые исполняют все приезжающие в Аламут. Завтра он узнает от моего визиря решение своей судьбы. А теперь я разрешаю всем собравшимся заняться сладостной отрадой, дающей забвение от всех огорчений, какие нам приносит жизнь...

Владыка ассасинов встал. Служанки задернули шелковую занавеску, закрывшую нишу. Там была потайная дверь, через которую владыка удалился, чтобы тоже заняться сладостной дурманящей отрадой, дающей забвение.

Вытянувшись на камышовой циновке, Абд ар-Рахман лежал на боку и посматривал в сторону Дуды. В ушах его еще как будто звучали слова наставника: «Держи в руке трубку, притворяйся, будто куришь, а сам удерживайся. Не затягивайся ни в коем случае, иначе, забыв осторожность, ты потеряешь разум и сам призовешь на себя беду. Незаметно гляди по сторонам, бойся подползающего гада, вора и убийцы».

Но отчего сам почтенный Дуда Праведный забыл осторожность? Он смотрит на гурию-служанку, как она нагревает шарик гашиша над огнем, как его прилепляет изнутри к медной чашечке трубки, как трубку опускает на огонек, вкладывает конец трубки себе в рот, затягивается дымом, смешно вытянув губы и сморщив маленький носик, и затем, тряхнув головой, обращается к Дуде. Почему Дуда, всегда такой степенный и невозмутимый, теперь жадно протягивает дрожащие руки, выхватывает трубку у гурии и, быстро выпуская дым, долго ее курит, растянувшись на ковре, и на лице его написано блаженство?

И почему он забыл о своем ученике? Почему он весь погрузился в посасывание трубки,— ее он держит уже двумя руками. Его глаза закатились под лоб, он беспомощно уронил голову и шепчет:

— Еще! Еще одну трубку! О маленькая Мариам, я зову тебя! Вспомни обо мне, спустись с облаков сюда, на грешную землю, где я погибаю! Мариам, дай мне возможность еще раз тебя увидеть, и тогда я готов умереть!

А душный бурый дым наполняет всю залу, медленно плывет темными слоями над одурманенными курильщиками.

Все они в упоении: одни издают звуки скорби, другие что-то бормочут, иные стонут. Один быстро говорит, воображая, что обращается к толпе:

— Слушайте меня, смелые барсы, орлы скалистых гор! Внимайте мне, непобедимые львы золотой пустыни! Я вам говорю, я, скиталец Абу-Джихан-Гешт, прозванный «Острием судьбы» и «Талисманом победы». Я обошел все страны нечестивых гяуров, скрываясь под облачением торговца янтарем, бирюзой и волшебным корнем растения маджнун, дающего силу мужества и возвращающего старикам здоровье юности. Скитаясь по вселенной, я изучил все дороги, по которым можно будет провести могучее, непобедимое, благородное войско правоверных. Я проникал во

дворцы королей и в запретные киоски их жен, перед которыми я расстилал багдадские шелка и рассыпал золотые женские украшения сказочной Индии... Королева саксов на коленях умоляла меня остаться при ней смотрителем ее любимых кошек, но я гордо отказался. Королева германов готова была наложить на себя руки и уже держала кинжал против сердца. Но я вовремя отнял это острое оружие. Я приберег его для татарских ханов Бату и Угедея, которые уже трепещут, услышав о моем приближении.

— Почему же ты ушел от королевы германов, хотя там тебе так хорошо жилось? Королева была красива? — спросил сосед.

— Она была золотисто-рыжая, с дивным бледным лицом, подобным полной луне. Под левой грудью у нее скрывалась родинка, похожая на большую мышь и даже покрытая шерстью. Я обещал ее вылечить от этой родинки. И не раз тайком она уговаривала меня убить короля германов, обещая, что меня изберут владыкой на его место. Но король проведал это, послал за мной убийц, и я едва спасся, спустившись по веревке из спальни королевы. Веревка оборвалась, и я упал прямо на часового, стоявшего под окном. Я вмиг заколол его кинжалом, а сам ускакал на королевском дивном коне, проехал много стран, пока не прибыл сюда...

— А кинжал ты привез с собой? — протянул чей-то сонный голос.

— Разумеется, привез.

— Покажи!

— Не могу же я приходить с кинжалом сюда, во дворец сладостных восторгов. Он у меня спрятан в укромном месте под скалой. Я его захвачу с собой, когда отправлюсь в лагерь татарского хана. О, это изумительный кинжал, украшенный золотом, изумрудами и алмазами...

Со всех сторон слышались тихие разговоры, постепенно замиравшие, по мере того как курильщики погружались в глубокое забвение.

Абд ар-Рахман докуривал трубку, сделал последнюю затяжку, и сейчас же над ним склонилась гурия-служанка, взяла трубку и вставила ему в рот другую, уже дымящуюся. Абд ар-Рахман снова начал втягивать приторный дым, голова его все сильнее кружилась, стены задвигались и наклонились... «Землетрясение? Но почему нет шума? Нет, все это я вижу в гашишном безумии»,— подумал Абд ар-Рахман.

Пол под ним стал качаться и то проваливался, то взлетал кверху. «Мало этих чудес, мало! Я хочу увидеть что-либо еще более необычайное». Он повернулся на спину и отчетливо увидел, как в середине потолка раздвинулись доски и оттуда показалась змеиная черная голова с узкими светящимися глазами. Длинная черная шея все более вытягивалась и свешивалась, извиваясь кольцами.

«Ядовитая змея Эфа»,— решил Абд ар-Рахман. Вдруг змея сорвалась и упала с глухим шумом, а наверху в потолке осталось ровное квадратное отверстие, сквозь которое виднелись темно-синее небо и оранжевые звезды.

«Куда девалась змея? Самая страшная змея, несущая мгновенную смерть?» Абд ар-Рахман приподнялся на локте и вдруг увидел, как невдалеке перед ним поднялась плоская змеиная головка с блестящими сердитыми глазками. Змея точно чего-то искала, поворачиваясь во все стороны и покачиваясь, тонкая и гибкая. Их взгляды встретились. Змея поползла к Абд ар-Рахману. Огромный рот приоткрылся, показывая два острых верхних зуба и раздвоенный трепещущий язык...

Желая выхватить кинжал, Абд ар-Рахман осторожно протянул руку к поясу, но нащупал только пустые ножны. «Кто похитил кинжал?» — и он закрыл глаза, чувствуя, как легкий, тонкий язык коснулся его щек и сжатых губ...

Он снова открыл глаза. Змеиная черная головка тихо удалялась, скользя между лежащими телами, и за ней, извиваясь, уползало длинное черное туловище.

Бесшумная гурия вставила в рот Абд ар-Рахману новую дымящуюся трубку, и опять он наклонил конец ее над светильником, втягивая дым, задыхаясь и теряя сознание...

* * *

Абд ар-Рахман приходил в себя. Видения, теряя четкость, постепенно исчезали. Кровь стучала в висках сильно и равномерно, точно тяжелые шаги идущего человека, и сквозь клубы дыма Абд ар-Рахман увидел возле себя сидящую на коленях девушку с грустными глазами. Облокотившись на руку, она вглядывалась в лицо Абд ар-Рахмана и тихо шептала:

— Очнись, очнись, чужеземец! Выслушай меня! Ты богатый, сильный, молодой, смелый. Вот я тебе приготовила новую трубку, но ты не затягивайся, а только притворись, что куришь, сам же слушай, что я тебе буду говорить. Вам отсюда уже не выбраться. Страшный старик

придумал для вас необычайную казнь. За дворцом, в особом дворе, находится его зверинец. Там стоят большие железные клетки. В них посажены лев, тигр, горный медведь, барс и две гиены. Старик любит садиться в кресло перед клетками и наблюдать, как через отверстие наверху в клетки сбрасывают к зверям осужденных людей. Там приготовлена одна пустая клетка для «Рыжей лисицы», как старик называет твоего длиннобородого спутника. Старик ни за что его не отпустит, ожидая от него исцеления. Тебе же грозит страшная смерть: тебя бросят в клетку с гиенами, а если ты их задушишь, то будешь отдан на растерзание тигру...

— Что же мне делать? — прошептал Абд ар-Рахман, схватив маленькую руку, зазвеневшую серебряными запястьями.

— Спасу тебя я, если у вас обоих хватит смелости тайком покинуть Аламут. Сегодня вы накурились гашиша, и у вас не хватит для дороги сил, но завтра, когда стемнеет, вы навьючите верблюдов, оседлаете коней и будете ждать меня. Я проберусь к вам, как тень, и поведу тропинкой, которую знают немногие.

— Чем я смогу наградить тебя?

— Увези меня с собой и сделай снова свободной. Я буду верно служить тебе, а прибыв в город Рудбар, или Казвин, где сейчас находятся монголы, мы окажемся далеко, куда не дотянется страшная лапа «Старца Горы». Там ты мне дашь награду, достаточную, чтобы я могла вернуться на свою родину.

— Из какого ты племени и как тебя зовут?

— Я гречанка Дафни, знатного византийского рода царей Комнинов. Корабль, на котором я плыла, потерпел крушение около Трапезунда. Мне удалось спастись, ухватившись за доску. Всех выплывших на берег захватили в рабство дикие, жестокие курды. Они отвезли меня в подарок здешнему владыке, «Старцу Горы». Но я не покорюсь! Я непокорная орлица и решила бежать отсюда...

— Ты обретешь свободу, хотя бы это мне грозило смертью. А уверена ли ты, что нас не заметят часовые?

— Старый убийца сегодня запил и будет пьянствовать, как обычно, семь дней, от пятницы до пятницы. За это время все в Аламуте тоже будут пить и курить гашиш. Я постараюсь, чтобы каждый получил вдвое больше вина и гашиша. Не теряйте времени и готовьтесь к бегству. Завтра вечером мы двинемся в путь!..

* * *

...Дафни оказалась права. На другой день ночью, когда весь Аламут, начиная со своего грозного владыки, «Старца Горы» Ала-ад-Дина и кончая последним погонщиком мулов и часовым, лежал одурманенный волнами гашиша, наслаждаясь картинами неземного блаженства,— Дафни незаметно вывела маленький караван посланцев багдадского халифа на тайную тропинку, и путники углубились в горы, держа путь на север, к устью великой реки Итиль, где была ставка татарского хана...

1946(?)

ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕЧТЫ

Два воина в блестящих латах и высоких ботфортах с медными шпорами освещали пылающими факелами вход в каменную башню. Тюремщик, гремя большими ключами, отворял ржавую железную дверь, ведущую в страшное подземелье, откуда узникам не было возврата.

Император вошел в мрачную каменную пасть. Там начинался спуск. Он вспомнил, что должно быть тринадцать ступеней. Повеяло холодом и сыростью. Впереди шел факельщик, за ним тюремщик. Красное пламя трепетало, и тени прыгали по стенам и сводчатому потолку, с которого свешивались мокрые известковые сталактиты и густая серая паутина.

За императором следовал второй воин с факелом, камергер Иоахим и слуга-араб с корзиной, в которой находились кисти винограда, апельсины, кувшин вина и серебряная кружка. Сегодня император хотел проявить милость к заключенным.

За поворотом открылся темный коридор с несколькими низкими дверями по обе стороны. В одной из них, в «глазке», императору почудился чей-то тревожный взгляд.

— Которую камеру прикажешь открыть? — спросил тюремщик, толстый, с опухшим красным лицом и узкими глазами-щелками под нависшими щетинистыми бровями.

— Где находится Пьетро де ла Винья?[1]

— Имена заключенных мне неведомы. Мне говорят только их номера.

— В девятой камере,— сказал камергер Иоахим.

— Она в конце второго коридора.

Все двинулись дальше, в боковой узкий проход, еще более сырой и темный. Глухой шум раздался впереди

---

[1] Пьетро де ла Винья — выдающийся итальянский государственный деятель, философ и поэт XIII века, вышедший из бедной, незнатной семьи и своими выдающимися способностями проложивший себе дорогу; достиг высокого положения, став канцлером (первым министром) царствовавшего в то время в Сицилии наследника Великой Германской империи — Фридриха II Гогенштауфена.

Фридрих II сам был поэтом, покровителем ремесел и искусств, основателем Поэтической академии в Палермо и Неаполитанского университета и непримиримым врагом папства, в борьбе с которым прошла вся его жизнь. Однако, когда завистливые придворные, оклеветав, обвинили Пьетро де ла Винья в измене, Фридрих вверг того в темницу и ослепил. Историки не колеблясь утверждают, что де ла Винья был невиновен и погиб в тюрьме, покончив с собой в порыве отчаяния.

Данте в своей поэме «Ад» (песнь 13) встречается с Пьетро де ла Винья. Когда Данте с Вергилием вступают во второй пояс Ада, где караются причинившие себе вред и где самоубийцы превращены в узловатые древесные стволы, на которых гнездятся гарпии, Пьетро отвечает на вопрос Вергилия:

...Я тот, кто оба сберегал ключа
От сердца Фредерика и вращал их
К затвору и отвору, не звуча.

Хранитель тайн его, больших и малых,
Неся мой долг, который был мне свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.

Развратница, от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,— Зависть,
Чума народов и дворцовый яд,—

Так воспалила на меня придворных,
Что Август, их пыланьем воспылав,
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных.

Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый — стал перед собой не прав.

Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!

И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от извета,
Которым зависть ранила меня!

в темноте. Большие рыжие крысы, прыгая одна через другую, с писком метнулись навстречу, под ноги шедшим, и быстро разбежались, исчезая в щелях между плитами, метнув черными голыми хвостами.

— Бесовское отродье! — проворчал тюремщик.— Я приносил несколько котов, так проклятые крысы их загрызли и сожрали.

Небольшая низкая дверь в девятую камеру подалась с визгом после сильного нажима плечом угрюмого тюремщика. Узкий подвал, сложенный из каменных плит. На стенах еще кое-где сохранилась штукатурка, густо покрытая зеленоватой плесенью.

Вдоль стен повисли восемь заржавленных железных цепей с кандалами. В дальнем углу сидел на соломе человек. Он поднялся, зазвенев цепью, которой одна его нога была прикована к стене. Шатаясь, он ухватился за стену худой, костлявой рукой. Старик с длинными, седыми, пожелтевшими космами, ниспадавшими на плечи, полуприкрытые отрепьями истлевшей одежды, он застыл, как бы прислушиваясь. Вместо глаз зияли две гноящиеся красные впадины.

Все с ужасом и жалостью смотрели на изможденного старика, похожего на выходца из могилы. В воцарившейся тишине слышалось только потрескивание горящих факелов и шипение капель смолы, падавших на сырой пол.

— Здравствуй, Пьетро де ла Винья! — с трудом выговорил император.

— Кто вы? — хрипло спросил узник.— Зачем пришли? Неужели, чтобы привести в исполнение последнюю милость августейшего императора? Я давно всеми забыт, даже смерть не приходит за мной, чтобы увести в царство теней.

— Он безумный...— прошептал тюремщик.— Уж столько лет каждый раз, как я приносил ему пищу и воду, он все время разговаривает один, воображая, что у него полная камера людей.

— А помнишь ли ты свое имя? — спросил император.

— Теперь я только девятый узник, единственный оставшийся в живых в этой каменной щели, безымянный мечтатель...

Император, взволнованный, прикрыл глаза рукой, сделал знак камергеру, чтобы тот продолжал разговор с узником.

— Наш великий августейший император, как всегда,

захотел проявить свою милость. Он прислал тебе вина и плодов.

— Я до глубины души признателен моему августейшему владыке за его новую милость, хотя время сделало меня безразличным к мирским радостям.

— Почему ты говоришь: «Новую милость»? — спросил император.— Какие же раньше ты видел его милости?

Старик вздрогнул и как-то насторожился, ему послышалось что-то знакомое в услышанном голосе.

— Самая великая милость, мне оказанная,— та, что император разрешил мне пребывать в этом приюте чудесных встреч.

— Каких встреч? С кем?

— Когда судьба сыграла со мной горькую шутку и после того, как я занимал одно из первых мест в империи, я был ввергнут в мрачную клоаку, я сказал себе: «Все к лучшему. Это испытание моего мужества. Я не покорюсь судьбе и не впаду в уныние, которого ожидают мои враги...» И тогда я создал себе собственный прекрасный, сказочный мир, в котором начал жить, не зная границ между веками, странами, народами.

— Я же сказал, что он безумный,— пробормотал тюремщик.

— Говори, говори дальше,— приказал, задыхаясь от волнения, император.

— Со мною вместе к этой стене были прикованы восемь человек: один патер, провозгласивший в церкви, что наш великий император трижды проклят его святейшеством папой Григорием, и призывавший богомольцев также проклинать нашего благодетеля Фридриха Второго. Затем два удальца, в пьяном виде бранившие в таверне нашего милостивого покровителя. Один морской пират, два купца, обманывавшие народ, аптекарь, продававший зелье для вызывания дьявола, и, наконец, монах, ходивший по базарам, проповедуя, что настали последние времена, и в мир явился антихрист в лице императора Фридриха.

— И все они были казнены?

— Нет. Хуже. Они умерли здесь от уныния, от слез, оттого, что разучились смеяться, постепенно видя смерть одного за другим, а я, ослепленный по милости императора, от этих ужасов был избавлен. Все они бранили и проклинали того, кто посадил их на цепь в подземелье, а я его восхвалял и благодарил за щедрость, сочиняя и записывая радостные песни.

— Записывал? — удивился император.— На чем же ты писал их?

— Я их записывал осколком кремня на заплесневелой стене. Теперь я знаю, что они не умрут, что они останутся жить после моей смерти, и юноши и девушки будут повторять их.

С удивлением слушал император речь старика. Он приказал факельщику подойти поближе и пытался прочесть каракули, выцарапанные на стене дрожащей рукой слепого. Записей было много, но известковые капли, медленно стекавшие по стене, смывали драгоценные строки.

— Мне трудно прочесть твои песни,— сказал император.— Время их быстро смывает. Может быть, ты их помнишь? Скажи нам ту, в которой ты восхваляешь императора Фридриха за милость, оказанную тебе. Как все это необычайно! — шепотом промолвил он, обращаясь к камергеру.

— Конечно, я помню многие свои песни. Слушай! — И старик с глубокой взволнованностью и страстью прочел:

Великим ты себя считаешь, император.
А слышен ли тебе насмешки тонкой свист?
Безжалостный тиран, надменный триумфатор,
В народе шепчутся: «Он дьявол, антихрист».

В исканьях же твоих заслуги несомненны:
Востока дивный мир открыл ты для веков,
Переведя «Канон» бессмертный Авиценны
И в школы пригласив арабских мудрецов.

Ты выжег мне глаза, замкнув в темнице тесной,
Меня послал ты в мир незримый и чудесный,
Куда пришли Гомер, Анакреон, Спартак...

В безумстве грез моих они, приняв участье,
Беседами со мной давали столько счастья,
Что стал лазурным днем мой долголетний мрак.

Изумленный пламенной речью узника, Фридрих прошептал:

— Я «безжалостный тиран, надменный триумфатор»? Однако! Он говорит со мной и непочтительно, и дерзко... Правильно я наказал его! — И, обращаясь к старику, он сказал: — Прочти мне еще твои стихи.

— Хорошо. Слушай:

Она вошла ко мне... Светился нимб волос
Вокруг лица ее с алмазными глазами,
Меня коснулся шелк благоуханных кос,
И грязный, влажный пол покрылся вдруг цветами...

Я осязал тепло ее атласных рук,
И жарких, жадных уст к устам прикосновенье,
И не было в тот миг на свете страшных мук,
Каких не принял бы, чтоб удержать виденье.

Я снова молод был, беспечен, полон сил,
Свободен, как орел, и я ее просил:
«Не уходи, побудь, желанная, со мною!»

Но, тая медленно, как тучка в вышине,
Она с улыбкою шепнула нежно мне:
«Я снова возвращусь. Ведь я зовусь *мечтою*»...

— Какой неукротимый, несгибаемый старик,— проворчал император и сказал узнику: — Ты больше не останешься в этой сырой яме. Камергер Иоахим, прикажи расковать Пьетро де ла Винья. Приставь к нему писца, которому он продиктует свои песни. Затем принеси их мне. Я тебя прощаю, Пьетро де ла Винья! Твоя волшебница мечта снова к тебе прилетела и широко открыла двери в новую, счастливую жизнь. Я возвращаю тебе свободу!

* * *

Через день Фридрих получил первую часть песен, записанных усердным секретарем со слов ослепленного канцлера-поэта.

А еще через день император призвал камергера Иоахима и сказал:

— Я прочел все песни, сочиненные Пьетро де ла Винья. Это непокорный, слишком самостоятельный ум. Такие песни мне не нужны, и они опасны, волнуя простой народ. Но я обещал ему свободу и не откажусь от своих слов.

* * *

Согласно повелению императора, в подземную темницу отправились камергер Иоахим с письменным приказом смотрителю дворцовой охраны, опытный кузнец с клещами и молотом для того, чтобы расклепать кандалы, брадобрей, слуга-араб с ведром теплой воды, мылом и мочалкой и второй слуга с чистым бельем, одеждой и башмаками.

Слепой узник встретил гостей спокойно и покорно предоставил себя в их распоряжение для мытья, стрижки и переодевания. Когда Пьетро де ла Винья был уже в нарядной бархатной одежде, вымытый, красиво обстриженный и, главное, свободный, без цепей на ногах, он

попросил на короткое время оставить его одного, чтобы он мог подумать и прочесть необходимые молитвы перед вступлением в новый, счастливый период своей жизни.

Все вышли из камеры и ждали в коридоре, тихо переговариваясь. Ждать, однако, пришлось долго. Наконец Иоахим приоткрыл дверь и с криком бросился в камеру. Все последовали за ним и увидели, что бывший великий канцлер лежал на полу с разбитой головой: он сам размозжил ее о каменную стену. Кровь залила все его лицо. Он сжимал в руке обломок камня, а на стене, на плесени, появилась новая нацарапанная надпись:

«Я не хочу получить из рук злобного, несправедливого императора Фридриха никакой милости, никакого дара, хотя бы даже это была моя желанная свобода...»

1944(?)

ТРИ СЧАСТЛИВЕЙШИХ ДНЯ БУХАРЫ

(Сказка)

Некоторые старые туркестанцы, быть может, помнят о Сала-Эддине, который появился в Бухаре, как вспышка яркого света, как непонятная, неожиданная встряска всей бухарской жизни.

Это был сын (один из многочисленных) предпоследнего эмира Мухаммеда Али Бахадур-хана, и то, что он наделал в Бухаре, вызвало такой переполох и такое волнение во всех религиозных организациях и братствах знатнейших «святых» имамов, муштехидов, улемов и так далее, что они потом в течение многих лет с ужасом шепотом говорили о Сала-Эддине, как о неожиданном появлении Иблиса или джинна.

Однажды, проезжая по городу, эмир заметил около мануфактурной лавки девушку, покупавшую цветной платок. У эмира бывали внезапные капризы и причуды. Ему понравилась эта девушка, ее голубые глаза, печальные и ласковые, ее тонкий юный стан, и он приказал сопровождавшему его куш-беги узнать, кто она.

На другой день куш-беги уже доложил, что девушку зовут Асафат-Гуль, что ее отец торговец старинными книгами, что Асафат-Гуль ему помогает в переписке книг и делает это замечательно искусно. Отец, Ахмед-Китабчи,

знаток восточной мудрости, много путешествовал, жил в Каире, Стамбуле, Багдаде. Всюду он разыскивал старинные книги и собрал большую библиотеку. Родом он узбек, а жена его — татарка из Казани, и от нее у Асафат белое тело и голубые глаза.

Причуды эмира здесь проявились в том, что он призвал к себе Ахмеда-Китабчи, долго с ним говорил о его путешествиях, отобрал много книг для своей знаменитой, редкой по богатству библиотеки и щедро ему заплатил, а в конце концов заявил, что берет его молоденькую дочь себе в жены: «Среди моих жен еще не было ни одной ученой».

Свадьба была очень скромной, потому что Ахмед-Китабчи сам просил об этом. Эмир отвел для Асафат-Гуль небольшой домик с садом и виноградником. Он часто к ней приезжал, слушал, как она ему читала отрывки из древних узбекских поэтов, и беседовал с ней на разные политические темы. Асафат-Гуль, как полутатарка, имела свободные и независимые мнения и рассказывала эмиру, как живут азербайджанские и татарские девушки, как они учатся в гимназиях и на высших курсах, что от этого никакого разврата нет; они с увлечением изучают науки, особенно медицину, делаются фельдшерицами и врачами и оказывают замечательную помощь мусульманским женщинам, запертым в ичкари, которые не любят и боятся докторов-мужчин.

С тихой, умной Асафат-Гуль эмир прожил в очень дружеских отношениях несколько лет и с любовью ласкал Сала-Эддина, мальчика, которого она ему подарила. Этот период дружбы с Асафат-Гуль имел очень хорошее влияние на эмира, обычно раздражительного, легко впадавшего в бешенство, когда он десятками казнил или бросал в страшные подземные ямы — зенданы — всех вызвавших его немилость.

Родственники несчастных обращались к Асафат-Гуль, и она умела спокойно и ласково разгладить морщины на лбу эмира, умоляя его прощать виновных и освобождать из заключения невинно пострадавших.

Этот период морального влияния Асафат-Гуль на свирепого владыку считается одним из самых светлых в истории Бухары.

Когда мальчику было семь лет, Асафат-Гуль получила разрешение эмира пригласить учителя-татарина для преподавания ему русского языка и письма и старого улема, который должен был просветить ученика в арабской богословской мудрости.

В это время эмир стал ездить в Крым, на свою великолепную дачу. Один раз он с собой увез и Асафат-Гуль, но вскоре отправил ее обратно, стесняясь при ней устраивать разгульные пиры со своими приближенными.

Когда Сала-Эддину исполнилось семнадцать лет, эмир разрешил ему, по просьбе Асафат-Гуль, вместе с учителем-татарином уехать в Константинополь, чтобы там поработать в библиотеках Стамбула. Говорят, что сын из Константинополя отправился в Египет, в Каир, оттуда в Париж. Учитель-татарин так осторожно и замкнуто жил со своим воспитанником за границей, что эмир ничего не подозревал о том, где и как они проводили свое время.

Только через два года эмир узнал от бухарских купцов, что Сала-Эддина в Константинополе нет и он бродит по Европе. Это рассердило его, но он все же послал своего старого векиля с письмом, в котором только говорил: «Пора вернуться на родину».

Сала-Эддин сейчас же приехал в Крым, на дачу к отцу. Эмир был восхищен стройной фигурой сына, его скромностью, умением носить европейский костюм, умением говорить по-турецки, арабски, французски и в благодарность подарил ему золотой перстень с бриллиантом, а учителю — с жемчужиной.

Сала-Эддин провел больше месяца у отца — все время в беседах. Он доказывал, что в Бухаре надо ввести новые порядки, что нельзя управлять народом только террором и казнями, что нужно дать подданным надежду на новую жизнь. Он умолял отца выпустить на волю всех сидящих в зенданах и тюрьмах, простить осужденных на смерть, изгнав их из пределов Бухары.

— Никогда до сих пор ни один эмир не разбрасывал щедро милости, никогда он не давал прощения тысячам страдающих. Попробуй свою строгость заменить такой лаской, чтобы все население тебя благословляло... И имя твое будет прославляться и сейчас, и в веках.

Эмир хмурился, но с удивлением слушал сына.

— Ты знаешь сказку Шехерезады «Тысяча и одна ночь»? Там говорится, как халиф поручил одному крестьянину заменить его на несколько дней и сколько добра за это время сделал крестьянин.

На эмира напала одна из его причуд:

— Хорошо. Я тебе поручаю заменять меня в Бухаре в течение трех дней и даю тебе всю власть казнить, прощать, выпускать из тюрем и сажать в зенданы.

Придворные каллиграфы написали высочайший указ,

который давал Сала-Эддину всю власть в Бухаре: «Как будто мы сами приказывали».

Первый день пребывания в Бухаре Сала-Эддин провел у своей матери в беседах и рассказах о том, что он видел в Европе и у эмира.

На другой день он, уже в бухарском халате, с ханской саблей на боку и в тюрбане, появился в главном тронном зале эмира и призвал к себе всех старейших и ближайших сотрудников отца.

Сала-Эддин передал приказ куш-беги, тот его передал кадию-колону, который трижды прочел высочайший указ, и всё высшее духовенство и сановники с изумлением слушали о необычайной власти, которую получил молодой сын эмира. Все остальные сыновья эмира были в страшном негодовании.

Сала-Эддин держался очень строго и твердо. Он заявил, что властью, полученной от отца, он будет давать распоряжения, и горе тому, кто их не исполнит. Затем он всех отпустил, приказав остаться только куш-беги и начальнику бухарских войск. Он объявил, что начальником армии временно назначает своего татарского учителя, приказав ему выбрать из сарбазов самых надежных 50 человек и поставить их стражей во дворце. Во дворе они разбили лагерь, развели костры, стали в котлах варить рис и сидели тесным кругом, распевая свои полудикие песни.

Утром дворец был полон знатнейшими жителями Бухары. Все хотели выразить свое почтение новому заместителю его величества эмира.

Эмир Абдулла Мухаммед Али Бахадур-хан обыкновенно принимал своих подданных, сидя на золоченом троне. Правую руку он держал на подушечке, прикрепленной к ручке кресла, и каждый подходивший получал милостивое разрешение поцеловать руку, украшенную драгоценными перстнями.

Сала-Эддин принимал стоя, поставив одну ногу на нижнюю ступеньку трона. Он обратился к пришедшим с такими словами:

— Али-Хазрет Сейид эмир [1] находится сейчас в Крыму, в своем дворце-даче. Он очень болен, настолько, что русский император прислал экстренным поездом своих врачей, сестер милосердия и аптекарей.

— А чем болен наш обожаемый повелитель, свет мира?

— У него воспаление легких, осложненное плохим состоянием сердца.

---

[1] Али-Хазрет Сейид эмир — его величество высокородный эмир.

— Да хранит его аллах! — раздались восклицания.

— В минуту опасной болезни его величество послал меня сюда, в Бухару, щедро разбросать горсти благодеяний и ласки на всех страдающих, бедствующих и угнетенных, чтобы молились о его здоровье во всех мечетях священного города. Я получил высшее разрешение его величества действовать по своему усмотрению: «Как будто мы сами приказывали»,— и в этом мне выдан указ за собственноручной подписью его величества, с приложением золотой печати.

Все стояли, раскрыв рты, и с удивлением посматривали друг на друга, ожидая, что будет дальше.

Сала-Эддин продолжал:

— Теперь слушайте меня, почтенные люди Бухары. Я хочу дать народу три дня радости, полной, беспредельной солнечной радости, и волей, мне данной, приказываю:

1. Открыть все тюрьмы «об-хона» в Бухаре и выпустить арестованных на свободу. Пусть судьи во главе с кадием-колоном не ужасаются и не ворчат.

2. Повелеваю: призвать сто рабочих с веревками. Пусть они спустятся во все зенданы и оттуда вытащат гниющих там заключенных. Эти же рабочие пусть вымоют несчастных, а смотритель дворца каждому выдаст шаровары, халат, кавуши и чалму. Все освобожденные в течение трех дней могут уходить куда хотят, даже за пределы Бухары.

3. Разрешаю всем желающим свободно читать газеты, русские и другие, и отныне это чтение не будет считаться государственным преступлением.

4. Я высоко ценю преподавание по книгам ислама и уважаю всех муштехидов, улемов, всех, кто преподает священное слово, и щедро награжу всех тех, кто достойно держит закон веры. Но нельзя бухарскому народу оставаться на той ступени знания, на которой шло преподавание пятьдесят и сто лет назад. Нам необходимо в Бухаре открыть университет, где бы в первую очередь преподавали медицину. Разве не в Бухаре впервые зазвучал голос Абу Али Ибн-Сины, ставшего мировым светочем науки и гордостью бухарского народа?

Университет открыть завтра же и для этого составить комиссию под председательством моего наставника Газиза Губайдуллина, с правом приглашения профессоров.

5. Всем сарбазам, которым задержано жалованье, уплатить за три месяца вперед, взяв необходимые средства из специальной сокровищницы его величества.

Мои приказания окончательны и отмене не подлежат. Можете идти!

В этот вечер Сала-Эддин был у своей матери. Она внимательно его выслушала, и по ее прекрасному лицу потекли слезы.

— Мой дорогой сын! Все, что ты приказал,— чудесно. Три дня бухарский народ будет счастливейшим из всех народов. Не думаешь ли ты, что можно изменить те суровые, страшные обычаи, которые установились в Бухаре в течение столетий? Все эти муштехиды, имамы, улемы, муллы, дервиши не допустят никаких новшеств, и страшные наказания и смертные казни снова воцарятся, потому что его величество, твой отец, не верит своему народу и думает, что его можно держать в руках только ужасом. Это самая неправильная политика.

Сала-Эддин засмеялся:

— Я все это прекрасно знал, но я хотел дать Бухаре три дня чудесной сказки, незабываемой сказки за все время существования моей родины.

Сала-Эддин задумался, опустился на ковер у ног матери и долго оставался неподвижным.

— Ты права, моя драгоценная. Мы с тобой исполнили свой долг, но если через три дня мы не уедем из Бухары, то нам грозит гибель, как многим, пострадавшим за то, что они хотели дать бухарскому народу свет знания.

В это время вошел слуга и сказал, что молодому принцу принесли подарки. Просят разрешения передать лично.

— Пусть войдут!

Вошел почтенный, благообразный гулям и за ним несколько слуг. Они расставили на ковре корзинки со всевозможными фруктами, два глиняных кувшина с вином и большое пестрое блюдо с различным печеньем и сладостями.

— Твои почитатели,— сказал гулям,— просят тебя принять эти скромные дары для счастья твоего и твоей высокочтимой матери.

Гулям и слуги поцеловали край одежды Сала-Эддина. Он наградил каждого золотым тилля, и все ушли.

Но через минуту гулям вернулся и стал на колени.

— Выслушай меня,— сказал он.— Я прожил много лет и научился ненавидеть людей. Я стал доносчиком и джасусом и причинил людям много зла. Но, увидев тебя, я понял, что на свете бывают также прекрасные, чистые праведники, и я решил сделать хоть одно доброе дело — предупредить тебя о большой опасности.

Не прикасайся к этим подаркам... Все они отравлены

самым страшным ядом индийской змеи. Прикажи бросить все это в глубокую яму и забросать кирпичами и землей. Подарки посланы твоими братьями, которые боятся, что ты хочешь захватить власть в Бухаре. Не выдавай меня!

Сала-Эддин бросился к гуляму и обнял его:

— Ты мне брат! Ты мне отец!

Гулям тихо вышел.

Сала-Эддин договорился с матерью, что она немедленно уедет в Самарканд, под защиту русской власти. У нее сохранилось достаточно драгоценностей, подаренных эмиром. На эти средства она решила нанять маленький дом с садом и в нем ожидать результатов «сказки», задуманной ее сыном.

Вся Бухара собралась на другой день около дворца эмира. Все думали, что это безумная шутка, что великий кадий и установленные традиции в жизни Бухары сильнее тех необычайных приказов, которые объявил Сала-Эддин.

Однако сказка становилась былью: отворились двери тюрем, и оттуда выходили, испуганно озираясь, заключенные. Они не верили, что кончились их многолетние страдания в тесных, переполненных камерах. Убедившись, что им действительно возвращена свобода, они быстро стали расходиться во все стороны, все ускоряя шаг, и, наконец, побежали.

Самое страшное зрелище потрясло толпу, когда из зенданов, из грязных дыр, прокопанных в земле, рабочие стали вытаскивать заключенных. Это были едва живые мертвецы: худые как скелеты, выпачканные своими экскрементами, в которых им приходилось лежать в течение долгого времени, обросшие волосами, как дикобразы, они плакали от радости, звали друг друга. Многие из них ослепли в темноте и теперь, ползая на четвереньках, стукались головами. У большинства пробывших в тюрьмах и зенданах много лет уже не сохранилось родных. А может быть, они боялись назвать их имена, чтобы не навлечь на них какие-либо наказания.

Сала-Эддин проехал через площадь верхом и остановился, рассматривая вытащенных заключенных.

— Остался ли еще кто-нибудь в зенданах? — спросил он.

— Только трупы,— ответили рабочие.

— Много их?

— Очень много.

— Приказываю поднять на поверхность все тела, отвезти за город и там похоронить в одной братской могиле.

Сала-Эддин ждал, пока рабочие не вымыли заключенных, вылив на них много ведер воды. Затем каждый был

облачен в халат, шаровары и, вдев ноги в кавуши, обмотал голову тюрбаном.

Задумчивый, ехал он обратно, не отвечая на приветствия толпы. Тяжелые, тревожные мысли его угнетали. Он направился к матери и убедился, что она уже уехала в Самарканд; потом подождал возвращения своего учителя Газиза Губайдуллина, и они долго беседовали, обдумывая дальнейший план действий.

На другой день было совещание нескольких выдающихся ученых Бухары по поводу открытия университета имени Абу Али Ибн-Сины. Большинство говорило уклончиво, что еще преждевременно открывать университет, что проще посылать молодежь учиться в Россию.

На четвертый день этих необычайных событий все в Бухаре ожидали, что еще придумает молодой заместитель эмира.

Сала-Эддин во дворце больше не появлялся. В этот день он ехал вместе с матерью Асафат-Гуль в поезде на запад, в сторону Красноводска. Они прибыли в Баку, оттуда в Самсун, на маленьком пароходике переплыли Черное море и оказались в Стамбуле. Там Сала-Эддин прожил много лет, работая над сочинением «История последних независимых эмиров Средней Азии».

В Бухаре в народе сохранилось такое мнение: «Если солнце освещало лучами бедный бухарский народ, то это продолжалось только три дня, когда Сала-Эддин был заместителем его величества эмира бухарского». А некоторые неверующие говорят: «Никогда никакого Сала-Эддина не было. Никогда и никто не выпускал из зенданов и тюрем,— кто туда попадал, тот обрекался на смерть... Сала-Эддин только символ неизбежной революции, чаяний и надежд народа». Такова сказка о Сала-Эддине.

Верно, что никогда не было Сала-Эддина, не было ни одной светлой страницы в мрачной, необычайно свирепой и глупой политике истребителей своего народа — бухарских эмиров. Но светлый день все-таки настал, и впервые из зенданов и тюрем вышли искалеченные заключенные, когда во время революции 1918 года в Бухару прибыл поезд с отрядом войск ташкентского Совдепа и раскрыл двери тюрем. Внезапное прибытие красноармейцев спасло жизнь многим, в том числе молодому учителю, осужденному на смертную казнь за чтение русских газет...

Этот счастливец — теперь почетный член Академии наук Таджикистана, крупнейший таджикский писатель Садриддин Айни...

1944

ЧТО ЛУЧШЕ?

(Восточная сказка)

Ястреб летал над аулом, высматривая, нельзя ли где-нибудь стащить цыпленка. А куры, замечая скользящую по земле тень ястреба, кудахтали, сзывая под свои крылья разбежавшихся цыплят.

Поравнялся с ястребом пролетавший мимо большой, могучий беркут и говорит ему:

— Неужели тебе не надоест летать все время над аулом, так близко от земли, что тебя легко подобьет стрелой охотник? Полети со мной выше, под облака. Не бойся высоты, ты увидишь, как привольно там летать, как прекрасен мир, когда на него смотришь с вышины, как чудесны голубые дали... Ты увидишь, как за пустынями раскинулось синее море, а на равнинах пасутся дикие козы и медленно проходят караваны...

Послушался ястреб и полетел рядом с беркутом, и они подымались все выше и выше, и вскоре аул показался ястребу величиной с тарелку, а все люди маленькими, как черные мураши.

Страшно было ястребу лететь с могучим беркутом, но он не хотел, чтобы тот считал его трусом, и продолжал подыматься еще выше. Вскоре, однако, страх одолел его, и он стал жаловаться беркуту, что у него закружилась голова.

— Нет, теперь лети! — ответил беркут.— Иначе тебе придется испытать силу моих острых когтей.

Оба хищника взлетели еще выше.

— Что же теперь ты видишь? — спросил беркут.

— Ничего не вижу! — сказал ястреб.— Я боюсь смотреть вниз.

— Для тебя гораздо опаснее летать над домами, чем здесь, в небесном просторе... А я все вижу. Вот там, на горе, пасутся бараны. А среди них сидит пастух и крошит хлеб в чашку молока. А в молоке плавает черный волос...

— Это тебе легко сочинять: сейчас проверить нельзя.

— Почему нельзя? Если не веришь, полетим поближе.

Полетели они к горе и видят, что пастух действительно вытаскивает из чашки с молоком черный волос и неистово ругается. И подивился ястреб зоркости глаз беркута.

— Верно я сказал? Будешь теперь летать со мной под облаками?

— Нет, здесь, над землей, безопаснее.

Взмахнул беркут сильными крыльями и, ничего не сказав, улетел.

Через несколько дней, летая над аулом, ястреб вдруг увидел своего знакомого беркута. На мусорном холме, привязанный веревкой за ногу, нахохлившись, сидел беркут, тоскливо распластав могучие крылья. Вокруг стояли аульные ребята и дразнили сердитую, беспомощную птицу, бросая в нее щепки.

Ястреб стал кружиться над беркутом, и дети разбежались.

— Как же ты, могучий царь воздуха, стал игрушкой маленьких детей? Ты, наверное, попал в западню? Но как же ты, видевший с недосягаемой высоты волос в чашке молока, не заметил расставленных силков?

— На все воля аллаха и собственная неосторожность. Иной переплывает бурные моря, а тонет в колодце. Иной счастливо сражается на войне и погибает дома от укуса тарантула... Человека спасают его воля и настойчивость. А здесь, в неволе, оставаться не могу и не стану... Я добьюсь свободы!

— Тебе отсюда, от человеческой хитрости, не вырваться! Здесь ты найдешь свой конец! — сказал ястреб и улетел.

На другой день ястреб снова пролетал над аулом и спустился проведать беркута. Однако его на холме уже не было. На приколе висел обрывок веревки.

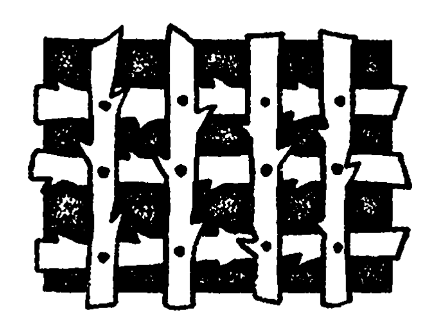
А высоко в небе ястреб увидел черную точку, делавшую широкие круги.

«Все же моя работа вернее и безопаснее»,— решил ястреб и стал летать над аулом, отыскивая беспечного, неосторожного цыпленка. Облюбовав себе одного, ястреб камнем упал на него и только что хотел подняться вверх, как на него набросилась курица с взъерошенными перьями и так его теребила, что ястреб не мог от нее вырваться.

Это заметила хозяйка курицы, схватила полено и ударила ястреба,— тот и ноги протянул.

Круживший под облаками беркут своим зорким глазом видел печальный, бесславный конец ястреба. Но что он в это время подумал — точных сведений мы не имеем...

1944




КАРТА
МОНГОЛЬСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ
XIII ВЕКА
Составил С. В. Киселев
МЕРКИТЫ Племена XII века
Границы государств XII, начала XIII века
Границы земель покоренных монголами при Чингиз-Хане (ум. 1227 г.)
Границы государств чингизидов, образовавшихся после смерти Чингиз-Хана
Граница наибольшего распространения власти монголов к 1294 г. (год смерти Хубилая)
Походы войск Чингиз-Хана
Место битвы на Калке
Место битвы при Перване
Походы войск Бату-Хана
Походы войск преемников Чингиз-Хана до 1224 г.
Масштаб 0—600—1000 км
РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА
ПОЛОВЦЫ КИПЧАКИ
ЗОЛОТАЯ ОРДА
БУЛГАР
БАШКИРЫ
Сибирь
ХОРЕЗМСКОЕ (Аральское) МОРЕ
АБЕСКУНСКОЕ (КАСПИЙСКОЕ) МОРЕ
ХАЗАРСКОЕ (ЧЕРНОЕ) МОРЕ
ГОСУДАРСТВО ХОРЕЗМШАХОВ
ГОСУДАРСТВО КАРА-КИТАЕВ
ГОС. ДЖАГАТАЙСКОЕ
МОНГОЛО-КИТАЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
ИМПЕРИЯ ЦЗИНЬ
ИМПЕРИЯ СУН
СИ-СЯ
ТИБЕТ
ГОС. ГУРИДСКИХ МАМЛЮКОВ
Индия
Индокитай
КЕМЕР
ЧАМПА
АВА
Иран
ХУЛАГ
Аравия
РУМ
НИКЕЯ
ГРУЗИЯ
ХЕЛАТ
ВЕНГРИЯ
ПОЛЬША
ЧЕХИЯ
ЛИТВА
ОРДЕН
Бавария
Новгород
Тверь
Смоленск
Владимир
Чернигов
Рязань
Киев
Судак
Сарай-Бату
Каракорум
Бухара
Самарканд
Отрар
Ургендж (Ургенч)
Кашгар
Лхасса
Бейпин
Ханфу
Хабач
о. Цейлон
Ганг
Енисей
Обь
Иртыш
Лена
оз. Байкал
оз. Балхаш
1223
1241
1229
1212
1219
1206-1209
1214
1210
1227
1231
1232
1258
1259
1276
1279
1282
1288
1292
1260

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

«Чингиз-хан» — первая книга трилогии В. Яна об «ордынских нашествиях». О зарождении ее замысла писатель рассказывал: «...Около полувека назад (в конце 1903 года. — *М. Я.*), пересекая восточный угол Великой персидской соляной пустыни Дешти-Лут, что значит «Лютая пустыня», я был поражен обилием развалин селений и городов. Ехать приходилось по голой, выжженной солнцем безводной пустыне. Изредка попадались кочевья арабов и белуджей, их похожие на распластанные крылья летучих мышей черные шерстяные шатры. По склонам пустынных гор кое-где паслись стада баранов и коз.

Однажды, во время ночлега в степи, подошедший к костру задумчивый седобородый пастух, опираясь на длинный посох, по обыкновению вязал на спицах серый шерстяной чулок, и так объяснил причину множества развалин: «Ты не думай, ференги (иноземец. — *М. Я.*), что всегда у нас было так пусто и печально. Раньше страна наша была богатой и многолюдной. С гор в ущелья стекали чистые холодные ручьи, орошая посевы и сады счастливых мирных жителей, процветали различные ремесла искусных мастеров... Но через эти земли прошли ненасытные завоеватели и все залили кровью убитых мирных скотоводов и землепашцев. От горя и ужаса напитанная кровью земля сморщилась и высохла. От пролитых слез вдовиц и детей она стала соленой. По этим равнинам промчались воины Искендера Великого, «потрясателя мира» Чингиза, хромого Тимура, хана Бабура, Надир-шаха... Здесь пролегал великий путь переселения народов, теперь здесь дорога скорби и слез...»

Пастух стоял, покачивая головой, возле горящего костра. Его тень, падая на отвесную гладкую скалу, вырисовывалась гигантским силуэтом восточного кочевника в остроконечном шлеме, а посох казался копьем. Я подумал тогда, что, быть может, на этой же скале, некогда, так же отраженные багровым светом костра, вырастали силуэты воинственных «потрясателей» народов Азии...

Тогда у меня впервые зародилась мысль написать роман о нашествии завоевателей, прошедших с победой по землям мирных жителей, оставивших после себя груды развалин и неугасающую ненависть в памяти немногих уцелевших, в котором центральной фигурой стал бы один из таких могущественных восточных деспотов.

Эта мысль меня преследовала много лет, но реальное осуществление она получила только с того момента, когда мои скитания по равнине Вселенной заменились странствиями по страницам бесчисленных книг, собранных в тихих залах Государственной Ленинской библиотеки в Москве».

«...Меня не раз спрашивали, почему из образов великих завоевателей Азии я выбрал именно Чингиз-хана? и как, на чем я построил его образ? Здесь виноват случай... Много лет тому назад в путешествии по Северному Ирану, новый 1904 год мы встретили в пустыне, отметив его

наступление залпом из винтовок и скромным пиршеством. Эта новогодняя ночь, морозная и тихая, которой начался год, оказавшийся роковым для России, стала знаменательной и для меня. В эту ночь под утро я увидел странный сон.

Мне приснилось, что при входе в свою юрту сидит Чингиз-хан. Он сидел на пятке левой ноги, руками охватив правое колено. Пригласил меня сесть рядом, и мы стали беседовать. Неожиданно он предложил мне побороться... «Ты же меня сильнее?» — «А мы попробуем»,— ответил он спокойно. И мы стали бороться в обнимку, по-русски, переступая с ноги на ногу. Я почувствовал, как Чингиз-хан могучими объятиями начинает гнуть мне спину, сейчас переломит хребет!.. «Что делать? Как спастись?..» — подумал я во сне.— «Ведь сейчас будет мой конец! Смерть! Темнота!..». Но счастливая мысль осенила меня: «Ведь это только сон! Нужно проснуться!..» И, сделав усилие, я проснулся. Пустыня спала. Не было Чингиз-хана, пронизывающего взгляда его колючих глаз. Но с этой минуты образ завоевателя стал для меня живым...»

О начале работы над этой темой автор записал в дневнике: «...*Пришла новая глава в моей работе.* В «Молодой гвардии» (Издательство.— *М. Я.)* мне сказали: «Вы предложили тему повести «Чингиз-хан». Какая грандиозная тема! Она охватывает половину земного шара. От Китая до Венгрии. Во сколько времени можете ее написать?» — «Месяц — лист».— «А не можете ли писать лист в полмесяца?.. Начинайте работать немедленно!» Дан размер — 12 листов. Срок — февраль... Итак, фигура высокого монгола, умом и волей охватившего всю Азию, выплывает перёдо мной... Как написать книгу — в виде повести с приключениями выдуманных лиц или биографии — полной массовых сцен?..»[1] (15.VIII.34). «...описать ли всю жизнь Чингиз-хана или ограничиться одним периодом, даже эпизодом его жизни? Я пришел к выводу, что необходимо изучить возможно подробнее всю его жизнь и эпоху, обстановку, в какой он находился. *А эпизод выбрать наиболее близкий и значительный для советского читателя* — вторжение армии Чингиз-хана в Среднюю Азию, на те земли, где теперь живут народы советских республик...»

«...Бороться с Чингиз-ханом я решил уже наяву и принялся изучать самым тщательным образом его жизнь, историю Монголии, быт кочевников, их фольклор и т. п. Я не буду перечислять все прочитанные книги, их очень много: это — монгольские, китайские, персидские, арабские летописи — Рашид ад-Дина, Ибн аль-Асира, Джузджани, Несеви и многие другие; всевозможные сочинения русских и европейских ученых: Бартольда, Владимирцова, Березина, Козмина, Д'Оссона, Говорта и других историков.

Кропотливая работа над изучением источников и материалов о жизни и деятельности Чингиз-хана имела одну цель: установить возможно точнее несомненные *«ориентиры», отправные точки, на которых можно бы базироваться, создавая правдивый и живой образ* этого беспощадного завоевателя...»

«Продолжая изучать материал, я одновременно начал писать и фрагменты повести. Но я писал сцену за сценой не в том порядке, как они помещены в книге, а свободно, как они вспыхивали в моем воображении, торопясь закрепить их на бумаге, так как каждое новое впечатление,

---

[1] Здесь и далее цитируются: дневники В. Яна за 1934—1950 гг.; конспекты лекций и бесед с читателями, статьи «Как я работал над своими книгами», «Историческая достоверность и творческая интуиция», «Создание исторического образа Чингиз-хана», «Как я работал над повестью „Батый“», «Александр Беспокойный (Невский) и Золотая Орда», «История и современность», «Над чем я работаю».— Архив В. Яна; В. Ян «Путешествия в прошлое», журнал «Вопросы литературы», 1965, № 9.

подобно волнам реки, смывает предыдущее, и если сразу их не записать, то потом восстановить невозможно. Так, одной из первых написанных сцен была смерть Чингиз-хана».

«Необычайные люди в истории всегда привлекают к себе внимание пытливых потомков. Каким образом один человек может объединять массы, направлять их согласно своим планам — на завоевания, в походы, посылая на смерть?..» «О Чингиз-хане написано немало исследований, и этот *«гениальный дикарь»*, как его называет выдающийся монголовед академик Б. Я. Владимирцов, будучи организатором, а не только разрушителем, подобно Александру Македонскому предусмотрительно заботился о том, чтобы его мысли, планы, воспоминания и распоряжения не были забыты после его смерти. Он лично диктовал своим секретарям указы и законы, составившие целый *«кодекс»*, названный «Яса Чингиз-хана»... Передо мною все время стоял вопрос: в чем сила и значение Чингиз-хана как исторической личности? Какую роль он сыграл в мировой истории? Были или не были у этого разрушителя, «бича Божия на Земле», также какие-то теплые, человеческие, положительные черты?..»

«К числу главных особенностей его характера нужно отнести необычайные организаторские способности. Он всюду вводит свой *железный порядок*. Забирает все в свои руки, вносит мир и спокойствие по всей монгольской равнине, где до него свирепствовали столетние войны крупных и мелких племен и феодалов. Он самыми жестокими мерами прекратил этот хаос... Он не был «самодур», а имел свои определенные страшные цели, которые решил выполнить, утверждая — *«чтобы всюду водворить мир — нужна война!»* Его мучило только одно — сознание своей старости и неизбежность скорой смерти...»

«У Чингиз-хана, которого китайский мудрец Чан-Чунь назвал *«кровавым демоном»*, была порочная основная идея, мечта, увлекавшая его в походы: желание покорить Вселенную хищническими беспощадными средствами, истребляя человечество без малейшей жалости. Он уверял, что хочет везде водворить порядок. Какой порядок? Добра, любви, высшей правды? Нет! Он сам так высказался: *«Я хочу всюду водворить тишину кладбища,* снести с подноса Вселенной города, чтобы всюду расстилались зеленые привольные степи, паслись монгольские сытые кони, стояли монгольские кочевья, где полногрудые монголки кормили бы своим молоком толстых веселых детей!..»

«Под могучей десницей Чингиз-хана в Монгольских степях водворился мир. Но большинство кочевников были нищие батраки, лишенные скота, тогда как ханы владели тысячеголовыми стадами, и среди голодных бедняков (харагу) часто происходили волнения. Тогда Чингиз-хан объявил, что скоро все монголы станут богатыми и счастливыми. Весной 1211 года Чингиз-хан с двухсоттысячной конной армией внезапно двинулся на дремлющий самовлюбленный Китай. Через несколько месяцев его Северо-Восточная часть оказалась во власти монгольского завоевателя... А через три года, во главе вдвое большего войска, решив покорить Западные народы Земли вплоть до «обтекающего Вселенную «Последнего моря», за которым, по представлениям монголов, «начинается «Страна Вечного Мрака», пересекши Великую пустыню Гоби, Чингиз-хан в 1219 году прибыл на берега Черного Иртыша. Отсюда начался его поход в Среднюю Азию и дальше на Запад до реки Калки, где произошла знаменитая битва с русскими воинами...»

Эпоха и события этого военного похода легли в основу содержания романа В. Яна «Чингиз-хан».

«...Читая восточные летописи, я убедился, что монголы побеждали более ужасом, который они внушали своей численностью, дисциплиной и зверствами, чем своей храбростью и силой. Они сами в своих

песнях пели: «Ужас летит впереди наших коней и бросает противников на колени...»

Среди множества проявлений трусости, предательства, желания подарками, покорностью избежать монгольского меча *я искал смельчаков — «богатырей духа»*, которые не боялись монголов, а храбро бросались в бой с ними. Чингиз-хан ненавидел этих смельчаков и, жестоко расправляясь, подвергал мучительным казням.

Таким был защитник Отрара Инальчик-Каир-хан, который полгода держался против осаждающих; обезоруженный, он под конец отбивался одними кирпичами и был схвачен врагами. Чингиз-хан натешился над таким упорным противником, приказал влить в глаза и уши Инальчик-хана расплавленное серебро...

Защитник Ходжента Тимур-Мелик мужественно бился с монголами, а после падения города он участвовал в героической защите Ургенча, и далее, вплоть до своей трагической смерти, тоже в мучениях, боролся с жестокими захватчиками.

О борьбе жителей Ургенча с осаждающими монголами нельзя говорить без чувства глубочайшего уважения к его защитникам. К сожалению, мы не знаем их имен, но пример жителей огромного города, бесстрашно сражавшихся с завоевателями,— образец для нынешних поколений среднеазиатских народов, напоминает, какие у них были героические предки...

Один из самых светозарных героев народов Средней Азии — Джелаль эд-Дин, получивший торжественное звание «последнего Хорезмшаха», тогда, когда Великого Хорезма уже не существовало, а были только истерзанные, ограбленные монголами провинции с разбежавшимся населением... он зажег в горах сигнальные огни, призвав добровольцев к борьбе, и возле него стала возникать армия. В битве при Перване хорезмийцы Джелаль эд-Дина разгромили войско монгольского хана Шики-Хуту-Хо... Джелаль эд-Дин призывал местных феодальных правителей объединиться, чтобы общими силами изгнать завоевателей. Но, занятые пограничными ссорами, ханы не хотели поставить перед собой *единую великую задачу освобождения Родины* и были поодиночке покорены монголами... По преданиям, Джелаль эд-Дин долго скитался, призывая к борьбе, пока не был предательски заколот во сне вероломным убийцей...»

Не только провидческий сон в иранской пустыне, а и другие раздумья привели В. Яна к теме трилогии. По его убеждению, «ордынское иго» имело неизмеримо огромные последствия для всех народов, населяющих пределы нашей страны, в особенности оно сказалось на всей последующей истории русского народа и его государства: централизация государственной власти, исполнительность вместо своеволия, дисциплина воинского строя, многие азиатские обычаи, словообразования и прочие проявления «ордынского» влияния, привнесенные в жизнь, быт и речь русского народа, во многом изменили общественные отношения на Руси.

Тернист оказался путь к опубликованию «Чингиз-хана».

В разгар работы над повестью писателю, часто видевшему во сне героев своих творений, вновь приснился Чингиз-хан, и он записал в дневнике (1.III.35):

«Я был вчера в объятьях Чингиз-хана,
Он мне хотел сломать спинной хребет!
Но человек — игра и радостей и бед,
И светится еще звезда Софера-Яна!..»

Летом того же года писатель заканчивает первый вариант повести: «...постепенно образы, толпившиеся лихорадочно в голове, ложились ровными строчками на бумаге. Люди, затерянные в тумане столетий,—

забитый крестьянин Курбан, дервиш Хаджи-Рахим, смелый Джелаль эд-Дин,— все начнут жить в памяти читателя... Мой «Чингиз-хан» заканчивается так: «Все живущее, даже самые могущественные владыки, погибает, повесть остается» ... Останется ли жить моя повесть?..» (12.VI.35).

Долгие годы редакции не решались признать новаторства повести, увидеть ее достоинства, о каких заговорили позже. Книга настораживала своей темой — рисующей мрачный период отечественной истории, удивляла необычной формой построения, стилем и языком, столь не похожими на «обычные» книги. Однако писатель продолжал идти к цели с еще большим упорством.

Годы, когда создавался «Чингиз-хан», затем «Батый», для нашей страны были наполнены величайшими общественными потрясениями, связанными с коренной ломкой народной жизни — индустриализацией и коллективизацией — и одновременно с ожесточением человеческих отношений, выискиванием «вредителей» и «врагов народа», натравливанием одних на других, массовыми репрессиями и политическими процессами.

В эти же годы все явственнее чувствовалось, как человечество сползает к пропасти мирового конфликта. Фашизм и милитаризм наступали в Европе, Африке, Азии. Вспыхнула и захлебнулась в крови «испанская война»; Япония вторглась в Китай, затем в боях у озера Хасан провоцировала СССР и МНР; Германия, разорвавши Версальский договор, поглощала сопредельные ей государства. «...Каждый день потрясающие известия из-за границы. Этот маниак и нахал Гитлер допускает невероятные наглости. *Грозит новая война.* Вся Германия подчиняется его бредням. А Саади сказал: «В то время, когда нужна суровость,— мягкость неуместна. Мягкостью не сделаешь врага другом, а только увеличишь его притязания...» (28.IX.38). «...Телеграммы теперь удручающие: великие державы постановили, вопреки желанию Чехословакии, разрезать ее и отдать Германии!.. Разве Гитлер этим удовлетворится?» — записал В. Ян.

В середине 1937 года появился просвет на затянутом тучами творческом небосклоне В. Яна: в редакции «Жургазобъединения» (впоследствии «Гослитиздат».— *М. Я.)* в серии «Исторические романы» заинтересовались «Чингиз-ханом». В дневнике писателя запись:

«...позвонил в «Серию», вызвал Курскую (редактор. — *М. Я.).* «Какой общий вывод? Положительный или отрицательный?⟨...⟩». «Конечно, положительный. Чем больше я вчитываюсь в повесть, тем больше она мне нравится...» (14.IX.37). «Длинная беседа с Курской... Рукопись принимается... Но она предлагает ее разбить на две и прибавить «Батыя», чтобы вышла трилогия...» (16.IX.37). «Работал над планом трех отдельных повестей, связанных единством исторического сюжета — нашествием монголов на Запад: I. «Последние дни Великого Хорезма». II. «Чингиз-хан». III. «Батый»...» (17.IX.37).

«Разговор с Курской по телефону: «Рукопись послана рецензенту в Ленинград...» (11.X.37). «Курская сказала, что получена благоприятная рецензия ученого из Исторического музея — „ценный труд, отвечающий современным требованиям исторической науки, желательно напечатать. С. В. Киселев“» (профессор, позже член-корр. АН СССР. — *М. Я.)* (22.XI.37).

«...Был у И. И. Минца, ...одного из редакторов Серии «Исторические романы». От его последнего слова зависела судьба рукописи будет она напечатана или нет?.. Минц: «В общем рукопись мне понравилась и поэтому я ее прочел быстро, в два дня. Потому и прочел быстро, что

понравилась. Книга необходимая. Она заполняет большой исторический пробел. Сразу видишь перед глазами всю эпоху. Книгу следует напечатать...» (10.VI.38)[1]

«Все боюсь поверить, что книга будет напечатана. Ведь это сохранится бессмертная сторона моего «Я», моего ума, моей личности. Все истлеет, забудется, исчезнет, а книга будет жить, и сохранятся образы Чингиз-хана, Субудая, Хаджи-Рахима и других героев... Я рукописью еще недоволен и мог бы ее перерабатывать несколько месяцев, но я решил категорически передать ее и пусть она идет в мир корявой, как идут корявые люди и ничего! Успевают, побеждают и даже бывают любимы!..» (22.VIII.38).

«...В «Молодой гвардии» мне предложили высокие условия гонорара за «Чингиз-хана» и напечатать его в срочном порядке (помимо «Серии») в «Жизни Замечательных Людей» отдельной книгой...» (27.IX.38). «...Поздно вечером мне звонили из «Молодой гвардии», что профессор С. В. Бахрушин прислал очень хороший отзыв о «Чингиз-хане» (С. В. Бахрушин, позже член-корр. АН СССР.— *М. Я.),* «Прекрасный восточный язык, а не «выкрутасы», правильно показан Чингиз-хан, и пр.» (7.X.38). «... «Чингиз-хан» должен выйти в двух вариантах, в двух издательствах... Мне жутко!..»

В последние дни декабря 1938 года В. Ян получил самый лучший новогодний подарок, о каком может мечтать автор: курьер принес ему толстую пачку гранок — набранную повесть «Чингиз-хан», и он записал: «...Странное волнение я испытал; все то, что толпилось в моем воображении,— разные лица, их разговоры, переживания, битвы, страдания, радости, казни, мудрые поучения, красивые обороты речи,— все это было передо мною, *точно отпечатки ног невидимо прошедшей богини Истории и ее свиты».*

В канун первомайского праздника 1939 года автор получил сигнальный экземпляр книги и записал: «Habent sua fata libelli[2]. — Какая судьба постигнет эту книгу? Будут ли ее ругать ядовитые критики или хвалить? *Сохранится ли она в течение столетий, и ее будут с наслаждением читать наши потомки, или она утонет в мутном потоке забвения?..»* (29.IV.39).

Первая рецензия на «Чингиз-хана» появилась в журнале «Октябрь» (1939, №7). З. С. Кедрина писала: «...В эпоху новых захватнических войн вполне законно возникает интерес к деяниям знаменитых завоевателей прошлого... Ставшая столь одиозной на Западе фигура Чингиз-хана в советской художественной литературе впервые получила освещение на страницах повести В. Яна... в строгом соответствии с исторической правдой...»

Академик Е. В. Тарле в статье «Исторические книги для детей» (газета «Известия», 1940, № 300) высоко оценил «Чингиз-хана», рекомендовал его юным читателям. Иначе встретили книгу некоторые коллеги автора, писатели-историки: «...В романе «Чингиз-хан»... мастерство чередуется с небрежностью и беспомощностью, а превосходное знание и тонкое понимание истории — с безвкусным упрощением ее и даже с грубыми историческими ляпсусами...» — писал С. Хмельницкий (журнал «Литературный современник», 1939, № 10—11). «...Автор книги о Чингиз-хане В. Ян знает материал хорошо, он разработал его с тщательностью, пожалуй, редкой для историка-беллетриста... Однако... в результате получился «завлекательный» роман. Как художественное произведение

---

[1] Подробнее о встрече и беседе И. И. Минца с В. Яном см. статью В. Осокцкого «Уроки мастера» (наст. собр. соч., т. 1, стр. 6).

[2] «Книги имеют свою судьбу». Изречение римского грамматика Теренциана Мавра (III в.н.э.).

повесть В. Яна не удовлетворит читателя...» — сообщал Г. Шторм («Исторический журнал», 1940. № 4—5).

«Чингиз-хан» В. Яна стал поистине «бестселлером», в библиотеках на книгу записывались в очередь. В Гослитиздате уже шел разговор о новом ее издании. Автору сообщили, что тогдашний президент Академии наук СССР академик В. Л. Комаров пришел на какое-то заседание, где он председательствовал, и «в кармане пиджака торчала толстая книга. «Что за книга? Почему он носит ее с собой?» — «Стал читать и не могу оторваться, хочу дочитать, узнать, что дальше было? И откуда взялся этот «Ян»?..» (9.V.39).

Через четыре месяца после издания «Чингиз-хана» — 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, возвестившая о «новоявленном Чингиз-хане» — претенденте на мировое господство.

Весь 1940 год В. Ян готовил к печати «Батыя». Рукопись была завершена к началу 1941 года.

Роковое утро воскресенья 22 июня 1941 года В. Ян встретил на даче под Москвой. Вернувшись в город, он написал в Союз писателей и в МК ВКП(б): «Сейчас я хочу держать в руках оружие, а не перо». Ему ответили: «Перо может быть так же нужно фронту, как и оружие». Тогда он опять засел за свой письменный стол... Дальнейшая судьба «Чингиз-хана» и вышедшего в свет вскоре «Батыя» неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Обе книги выполняли патриотическую роль в борьбе с врагом, воодушевляя советских воинов героическими подвигами их предков, призывали сопротивляться врагу, воспитывали стойкость и мужество в самый тяжелый — первый период войны, когда наша армия отступала.

Еще несколько месяцев В. Ян продолжал работать в Москве; в конце октября, когда немцы подошли к столице, по рекомендации Союза писателей он выехал, как надеялся, ненадолго, вначале в Куйбышев, затем в Ташкент. О высоком признании патриотического значения своей книги, присуждении «Чингиз-хану» Сталинской премии первой степени, автор узнал в апреле 1942 года в Ташкенте.

Время ответило на вопрос писателя о судьбе его книги: за истекшие полвека «Чингиз-хан» был переведен на 50 языков, издан свыше 120 раз у нас и в 30 зарубежных странах.

«Батый» — вторая книга трилогии. «...О Чингиз-хане существует довольно обширная современная ему литература. Что касается Бату-хана, или, как принято его называть по-русски, «Батыя», дошедшие до нас о нем сведения современников крайне скупы. Разгромленные русские города, сожженные монастыри, где велись летописные записи, сохранили крайне бедные, ничтожные заметки. Восточные летописи говорят о походе Батыя по нескольку строк. Монголы, видимо, считали важным делом завоевание Китая и относились равнодушно к походу на «длиннобородых урусутов», которых Бату-хан должен был разгромить, вырезать, а их земли обратить в безмолвную пустыню...

Между тем для советского читателя тема повести «Батый», история великого похода монголов на Запад в 1236—1243 годах, завоевание монголо-татарами русской земли и возникновение «монгольского ига» — это самая мрачная, самая кровавая страница русской истории. По определению К. Маркса, в день несчастной битвы при реке Сити князя Суздальского Юрия с армией Батыя, когда князь пал вместе со знатнейшими людьми, — «судьба России была решена на 2 ½ столетия» («Хронологические выписки»).

Об этом вторжении монголов ни в русской, ни в мировой художественной литературе до сих пор ничего написано не было. Древние сказания — «Слово о погибели Русской земли» (по рукописи XV века) или «Сказание о нашествии Батыя» (рукописный сборник XIV века),— дают

крайне скупые данные о вторжении монголов. Поэтому для описания мрачной эпопеи завоевания монголами Руси приходилось прибегать ко всевозможным исследованиям историков, собирать по крупицам мелкие детали, чтобы показать ту эпоху, битвы, штурмы городов в ярких, занимательных эпизодах и сценах.

Чтобы передать все своеобразие жизни и речи как восточных народностей, участвовавших в великом походе, так и русских героических защитников, я внимательно изучал произведения различных средневековых авторов, близких к XIII веку, как восточных, так и европейских. Я читал труды русских ориенталистов: Березина, Васильева, Бичурина, Кафарова (Палладия), Бартольда, Якубовского, Баллода и других. Одновременно мною были детально изучены замечательные исследования западноевропейских историков: Д'Оссона, Кордье, Леви и некоторых других — венгерских, сербских и болгарских.

В результате все более отчетливо и выпукло стал вырисовываться образ главного вождя похода — Бату-хана, следовавшего правилу, что «великий военачальник должен окружать себя тайной». Может быть, поэтому, по выражению восточного летописца, „у Батыя была тысяча побед и ни одного поражения...“».

В. Ян стал работать над «Батыем» с августа 1935 года, расширяя и углубляя в новой повести тему бессмертия и сопротивления русского народа иноземным нашествиям.

«...Хочу его (роман.— *М. Я.*) сделать *насыщенным пламенной любовью к Родине,* воспеть Русь такой, какой она была и 700 лет назад, но чтобы и сейчас читающий наслаждался картинами близкой нам природы, чтобы каждый перелистывал страницу за страницей, не в силах оторваться... *Чтобы от книги веяло бодростью* даже в самые тяжелые минуты разгрома татарами; *русские не пали окончательно духом, а затаили в себе нетленные искры упорства и устойчивости,* которые в дальнейшем так ярко вспыхнут победой на Куликовом поле...» (3.XII.37).

«...*Хочу чтобы моя книга вызывала ненависть к насильникам, пробуждала сочувствие к страдающим, будила дух протеста и желание бороться за свободу и справедливость...* чтобы положительный герой был привлекателен и вызывал желание подражать ему...» (21.III.38).

«...При писании повести мне не приходится напрягать фантазию, чтобы придумывать те или другие положения или главу, наоборот — каждая глава уже имеет готовые «вехи», сигнальные «курганы (или «огни на курганах»), которые... будут, как кружево, оплетать интересными деталями и ситуациями основную линию фабулы романа» (1—8.III.39).

В феврале 1940 года В. Ян сдал «Батыя» в Гослитиздат, а через два месяца представил в Детгиз сокращенный и переработанный для детей вариант этой повести под названием «Нашествие Батыя» и записал: «...Не верится, что в результате кропотливой ежедневной работы (шесть лет! — *М. Я.*) уже готовы две первые книги трилогии».

«Нашествие Батыя» было подписано к печати 5 июня 1941 года и напечатано массовым тиражом. Стали остросовременными и призывно зазвучали в дни Великой Отечественной войны названия глав и частей: «Народный сполох», «Держите крепко топоры!», «Черная туча над русской землей», «Рязанская земля горит!», «Спешите на оборону Родины!». В образах своих далеких предков, бесстрашно защищавших родную землю от завоевателей, читатели военных лет находили прообразы героев советских воинов.

В Гослитиздате «Батый» был опубликован в 1942 году; за годы войны несколько раз переиздавался Гослитиздатом, Воениздатом, Политиздатом, Учпедгизом, некоторыми местными издательствами. Тогда же «Батый» получил высокую оценку виднейших литературоведов тех лет. Книга переведена на 35 языков, издана более 90 раз.

Сам автор так характеризовал книгу: «...В «Батые» я показал беззаветно-мужественное сопротивление наших предков и героические образы простых людей, покоренных, но не сломленных страшным ураганом монгольского нашествия и на обломках сожженных городов и селений сейчас же начавших снова строиться...»

«К „Последнему морю“» — завершающая книга трилогии. Начатая в 1940 году в Москве, она была продолжена в Ташкенте и закончена в Москве незадолго до кончины автора.

Как-то, в начале работы над третьей книгой исторической эпопеи, писатель сказал, что в его повестях *сосуществуют Запад и Восток*, азиатский и русский «миры» той эпохи.

Писатель многие годы создавал эту книгу как монолит, где структурно взаимослиты «русская» и «азиатская» части повествования и где полярные и противостоящие фигуры — это князь Александр Ярославич (Невский) и Бату-хан (Батый), и называл повесть «Александр Беспокойный и Золотая Орда». При этом автор отдавал предпочтение образам Александра и его соратников, русских людей, говоря, что хочет на страницах книги свести *«Добро и Зло», «Свет и Тьму», «Свободу и Насилие».*

«...о сюжетном построении создаваемой мною повести. В ней пять частей: *Первая часть:* «Детство и юность Александра» (от бегства братьев Александра и Андрея в Переяславль и до разгрома шведов в Невской битве). *Вторая часть:* «Это было в Багдаде» (В Багдаде и Сарае — столице Золотой Орды подготовка Батыя к походу на Запад; поездка Александра в Орду выкупать русских пленных). *Третья часть:* «Поход Батыя» (Поход армии Батыя через Русь на Западную Европу до Триеста, возвращение в Сарай после разгрома). *Четвертая часть:* «Александр в Новгороде» (Наступление немецких крестоносцев и битва на Чудском озере). *Пятая часть:* «Эпилог» (В Золотой Орде и возрождающейся Руси).

Впоследствии писатель расширяет план повести: «...первоначальный план III книги: Александр Невский («пусть медвежата подрастут»), разгром Запада Батыем, строительство и крушение Золотой Орды и Куликовская битва («медвежата выросли»)... Хочется в роман ввести самую необузданную фантазию, необычайные положения, заговоры, погони, демонические характеры, сильные страсти...» (15.II.41).

«...Трагическому периоду нашей истории, возникновению на Волге царства Золотой Орды, нашествию на Европу монголо-татар и замечательной деятельности Александра Невского посвящена третья, заключительная часть моей трилогии...»,— говорил писатель.— «Какая ее основная мысль? 1. «Золотая Орда» — была ЗЛО — *«кровавое болото»,* по выражению К. Маркса, которое всегда было самым страшным врагом. 2. Почему Батый повернул и не пошел дальше на Европу?.. Он получил в Триесте известие, что молодой русский князь Александр разбил тевтонских рыцарей... русские могут ударить в тыл монгольскому войску. 3. ...Александр своей победой на Чудском озере... спас Европу от татарского нашествия... 4. Не идеализировать Золотую Орду, наоборот, показать, как она душила и разрушала все, что ей попадалось в руки. Все просвещение и культура на Руси после завоевания татар — угасли. Богатая страна — обеднела» (18.X.45).

В конце декабря 1948 года писатель сдал в Гослитиздат последнюю книгу эпопеи «Александр Беспокойный и Золотая Орда» и в Детгиз переработанные для детей и юношества главы этого произведения о юных годах Александра и записал в дневник: *«...Трилогия закончена!..* Скажу словами Пушкина: *«Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний!..»* Мне кажется, что я с великими трудностями поднялся на вершину высокой скалистой горы и смотрю вокруг. Какие дали! Пиши о чем хочешь!.. Но крайняя усталость охватила меня...» (31.XII.48).

Вскоре выяснилось, что считать «многолетний труд» законченным преждевременно. В апреле 1949 года оба издательства потребовали переделки рукописей. Предложения Детгиза были несущественны и приемлемы. Но в Гослитиздате автору заявили: *«Вы недостаточно показали историческую роль и величие Древней Руси и славного сына Великого русского народа Александра Невского»*, и его фигура в повести *«проигрывает в масштабе»* по сравнению с фигурой Батыя и предложили «доработать роман в направлении, указанном рецензентами».

«...проф. А. А—й прислал свою рецензию... наполненную издевательствами и бранью,— пишет В. Ян в дневнике. — Меня он обвиняет в невежестве, любви к воспеванию предательства, желании возвеличить врагов (немцев, шведов) и принизить русских... Я потрясен, но в таких случаях оглушительных ударов я не только не сдаюсь, а сжимаюсь в кулак и готовлюсь сделать новый прыжок... чтобы опрокинуть и отбросить препятствие и выйти опять на свободную, благополучную дорогу...» (12.IV.49). А на педантичные замечания историка, указавшего на «ляпсусы, или моменты, вызывающие превратные толкования», писатель заметил: «...но ведь я же не историк, не преподаватель истории, а только *сказочник, рассказывающий сказки, услышанные от «друга сердечного — сверчка запечного»*. Эти сказки я слышал и на берегу озера Ильмень в деревне Неронов Бор, и на Чудском озере, в селении «полуверцев» Печоры, и в вятских лесах, и в безграничных песках Азии» (13.IV.49).

В письме издательству автор, принимая некоторые замечания историка, защищал свою концепцию рукописи как *«соответствующую исторической правде»*. Но в Гослитиздате все же рекомендовали автору разделить рукопись на две: одну — для Гослитиздата (исключив вовсе Александра, как персонаж), другую — для Детгиза (молодые годы Александра Невского).

Такой совет в корне противоречил замыслу автора свести вместе «Свет и Тьму», противопоставив Александра и Батыя, и писатель еще некоторое время продолжал дорабатывать произведение по своему раннему плану; но в начале 50-х годов, неотвратимо больной, уже не в состоянии работать самостоятельно, автор уступил давлению своих «добрых советчиков». Так появились две повести — «Юность полководца» (Детгиз, 1952) и «К „Последнему морю“» (Гослитиздат, 1955)[1]. Поскольку без изображения взаимоотношений Александра и Батыя обойтись было невозможно (поездки князей Александра и его отца Ярослава в Золотую Орду и даже в ставку Великого Кагана в Монголии — *исторические факты*, трагические, но вынужденные и необходимые для сохранения от разгрома уцелевшей части Руси), то в повести «К „Последнему морю“» Александра Ярославича заменил вымышленный персонаж — «посол Новгородский Гаврила Олексич» (см.: Часть четвертая. «Новгородский посол у Бату-хана»). Фигура этого посла устроила редакцию Гослитиздата, которую «коробило» оттого, что «Александр Невский ездил на поклон к Батыю». В одной из последних дневниковых записей автор пометил: «Я весь вечер погружался в русскую историю... и я убеждался, как не прав был А. А—й, какая сложная была обстановка и свары князей в XIII веке» (18.IX. 49), и *«...мне теперь очень жаль, что я согласился на «разделение»* моего такого «полноводного романа»...» (24.XII.50).

Печатать «К „Последнему морю“», даже в измененном виде, не спешили, и автору уже не суждено было увидеть напечатанным завершающий том своего двадцатилетнего труда. 5 августа 1954 года он скончался.

Здесь уместно указать на изданную в 70-х годах книгу советского историка, члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто «Александр Нев-

---

[1] «К „Последнему морю“ было издано свыше 50 раз, в том числе 20 — за рубежом.

ский» (Серия ЖЗЛ, «Молодая гвардия», 1974). Правдиво, без утайки и прикрас, нарисована в ней картина взаимоотношений Александра и Батыя, вполне соответствующая изображенной в первоначальной рукописи В. Яна. Тяжел жребий, выпавший на долю князя, победителя шведов и тевтонов, русского народного героя, вынужденного «склонить выю» перед Золотой Ордой ради того, чтобы спасти русский народ от полного уничтожения (У В. Яна в «Юности полководца»: «медведь убит, и заменить его некому... медвежата малы, и вся наша забота — медвежат вырастить... нужно время долгое, пока... медвежата медведями станут. Тогда и разговор будет другой...»). Горестна его доля, закончившаяся, как и для его отца, преждевременной смертью (по общему убеждению, он отравлен на обратном пути из ставки Великого Хана). Ученый-историк не увидел «клеветы на русский народ» в поездке Александра к Батыю, когда не только не «пострадало», а возвысилось в ореоле мученичества «величие Древней Руси и ее славного сына» Александра Беспокойного (Невского).

Говоря о причине отказа Батыя от дальнейших завоеваний и отступления от берегов Адриатики, В. Т. Пашуто пишет: *«Народы Руси защитили Европу от татаро-монгольского порабощения.* Вот что записал современник нашествия Фома-хронист города Сплита на Адриатике: „Татары из-за Руси, сильно им противостоящей, не могли продвинуться дальше, имели неоднократно столкновения с русскими и много крови было пролито, долго, однако, они были сдерживаемы русскими“».

«Наступление... подобно стреле на излете, утратило силу и замерло на Адриатике. У Батыя не было сил удерживать все разоренные земли. Известие о смерти императора, великого хана Угедэя (11 декабря 1241 г.) стало удобным *предлогом* поспешного отступления. Народы, что отстаивали в суровую пору нашествия свои очаги, и *«прежде всего народы Руси, спасли Вену и Париж, Лондон и Рим, города и культуру многих стран от разорения...»*

Завершающая книга трилогии В. Яна при подготовке к печати была значительно сокращена; некоторые ее главы редакция Гослитиздата исключила как «вызывающие нежелательные аналогии». К ним относятся публикуемые нами как самостоятельные рассказы — «В орлином гнезде „Старца Горы“» и «Возвращение мечты». Рассказы «Три счастливейших дня Бухары» и «Что лучше?» близки им по тематике и созданы в тот же период. Впервые эти рассказы напечатаны в сборнике «Загадка озера Кара-Нор» (М., „Советский писатель“, 1961).

«...Я бы желал одного, чтобы мои читатели яснее осознали, какую огромную борьбу пришлось вынести нашим предкам для защиты родной земли. Каким безмерным разрушениям и потрясениям она подвергалась и как, однако, ничто не могло сломить волю к жизни русского человека, как наша Родина вставала из обломков и пожарищ, с каждым разом возрождалась все могущественнее и прекраснее...

В моих книгах я старался рассказать о героизме мирных народов, дававших мужественный отпор любым вторгавшимся в их земли хищникам, желавшим их поработить, несшим смерть, горе и разрушение... Только в прекрасном созидательном труде, в мирном сотрудничестве всех свободолюбивых народов — залог счастья человечества. И *мой труд — посильная доля, вносимая в общее дело торжества справедливости и добра, в великую идею мира!..»*

М. В. Янчевецкий,
ответственный секретарь Комиссии
по литературному наследию В. Яна.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Григорьевич ЯН

Собрание сочинений
в четырех томах

Том III

Редактор тома
Е. А. Ромашкина

Оформление художника
А. А. Шпакова

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1970

Сдано в набор 19.12.88. Подписано к печати 7.06.89.
Формат 84 × 108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28,14. Усл. кр.-отт. 29,40. Уч.-изд. л. 30,93.
Тираж 1 700 000 экз. (4-й завод: 700 001—950 000).
Заказ № 180. Цена 2 р. 90 к.

Набор и изготовление фотоформ в ордена Ленина и ордена Октябрьской революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Уральский рабочий», 620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

Индекс 70579